П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

ПЕРЕПИСКА

с Н. Ф. фон МЕКК

1876 – 1878

МУЗЫКА

Под общей редакцией
Б. С. Ишибышевского

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

ACADEMIA
Москва—Ленинград

П. И. Чайковский в 1877 г.

С фотографии, подаренной им Н. Ф. фон-Мекк

БИБЛИОТЕКА

8
5 | 8

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

ПЕРЕПИСКА

с Н. Ф. фон-МЕКК

I

1876—1878

Редакция и примечания
В. А. Жданова и Н. Т. Жегина

Вступительная статья
Б. С. Пшибышевского

БИБЛИОТЕКА
МУЗ. ТЕХНИКУМА
ЛЕН. ГОС. КОНСЕРВАТОРИИ
Инвент. № 7315

69

1989

67
59
9
58

ACADEMIA
1934

Труды Дома-Музея П. И. Чайковского

Супер-обложка и переплет по рисункам А. Толоконникова

О ЧАЙКОВСКОМ

Полное издание переписки П. И. Чайковского с его почитательницей Н. Ф. фон-Мекк, переписки, охватывающей самый плодотворный период жизни великого композитора и содержащей богатейший материал для выяснения его личности и творческого образа, представляет собой выдающийся интерес не только для широких масс любителей «Евгения Онегина» или «Пиковой дамы», но и для музыкальной науки, для которой научная разработка проблемы Чайковского является одной из сложнейших, но вместе с тем и исключительно заманчивой задачей. К сожалению, нужно констатировать, что до сих пор почти ничего не сделано в этой области, если не говорить о сугубо эстетских, немарксистских старых работах Игоря Глебова или еще более старых писаниях Лароша, Кашкина и др. Ничего существенного в деле научного познания Чайковского не достигли и западно-европейские ученые. Между тем огромная популярность произведений Чайковского в широких массах трудящихся, исключительно высокая ценность этих произведений, наконец проблема использования их в деле развития советской музыки настоятельно требуют отчетливого выяснения классовой природы этого творчества, определения места Чайковского в истории музыки и установления нашего отношения к нему.

Эпоху, в которой развернулась творческая деятельность Чайковского, как нельзя лучше охарактеризовал Ленин в своей статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»: «Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и которая замечательно рельефно отразилась как в его гениальных художественных произведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 года и до 1905 года... Устами К. Левина в «Анне Карениной» Л. Толстой чрезвычайно ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.

«...Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким..., теперь для Левина казались очень важными. Это, может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как сложатся эти условия, есть единственно важный вопрос в России,—думал Левин».

«У нас теперь все это переворотилось и только укладывается»,— трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 гг. То, что «переворотилось», хорошо известно или, по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это—крепостное право и весь «старый порядок», ему соответствующий. То, что только «укладывается», совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения. Для Толстого этот «только укладывающийся» буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала—Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой «Англии», связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй... Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился» и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, к а к о в «укладывающийся» новый строй, к а к и е общественные силы и как именно его «укладывают»; какие общественные силы с п о с о б н ы принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки»*.

Уже первый том переписки Чайковского с Н. Ф. фон-Мекк выявляет автора «Патетической симфонии», именно как человека этой «эпохи ломки в России, когда старое бесповоротно, у всех на глазах рушилось, а новое только укладывалось», эпохи, которую Н. Ф. фон-Мекк, взволнованная и напуганная революционной деятельностью «Народной Воли», пыталась характеризовать стихами Мицкевича из его поэмы «Дзяды»:

Глухо всюду, темно всюду,
Что-то будет, что-то будет?**

Сам Чайковский в письме от 23 ноября/5 декабря 1877 г. говорит о себе: «Итак, Вы видите, мой милый друг, что я весь состою из противоречий и что, доживши до очень зрелого возраста, я ни на чем не остановился, не успокоил своего тревожного духа ни на религии, ни на философии».

---

* *Ленин*, Сочинения, изд. 2-е, т. XV, стр. 100—103.
** Письмо от 11 февраля 1880 г.

Всеми чувствами, всей душой он тяготеет к старому, хотя разумом понимает, что оно безвозвратно погибло, а нового, того, что «укладывается», он не видит или не хочет видеть. Его снова и снова влечет к старым верованиям, он любит древние церкви, любит запах ладана и церковное песнопение, даже сам с умилением сочиняет ряд церковных произведений но, с другой стороны, он скептик, отрицает православную догматику и смятенно ищет нового религиозного мировоззрения в философии Спинозы. «Я очень люблю также всенощное бдение. Отправиться в субботу в какую-нибудь древнюю небольшую церковь, стоять в полумраке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя и искать в себе ответа на вечные вопросы: для чего, когда, куда, зачем, пробуждаться от задумчивости, когда хор запоет: «От юности моея мнози борят мя страсти». и отдаваться влиянию увлекательной поэзии этого псалма, проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворятся царские врата и раздастся: «Хвалите господа с небес!»—о, все это я ужасно люблю, это одно из величайших моих наслаждений!

«Итак, с одной стороны, я еще связан крепкими узами с церковью, с другой, я, подобно Вам, давно уже утратил веру в догматы... Я, как и Вы, пришел к убеждению, что если есть будущая жизнь, то разве только в смысле неисчезаемости материи и еще в пантеистическом смысле вечности природы, в которой я составляю одно из микроскопических явлений» *.

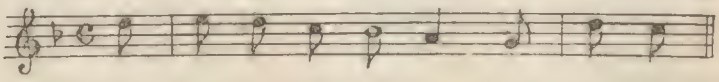
Но все же к пантеизму, не говоря уже об атеизме, он не пришел. Слишком сильны были в нем «впитанные с молоком матери начала, привычки, традиции». Истый сын своей эпохи, он ищет успокоения в непротивленчестве, в апеллировании к «Духу». 28 марта 1881 г. Чайковский пишет Н. Ф. фон-Мекк: «...в душу мою все больше и больше проникает свет в е р ы. Да, милый друг, я чувствую, что все более и более склоняюсь к этому единственному оплоту нашему против всяких бедствий... Я уже часто нахожу неизъяснимое наслаждение в том, что преклоняюсь перед неисповедимою, но несомненною для меня премудростью божьею. Я часто со слезами молюсь ему (г д е о н, к т о о н,—я не знаю, но я знаю, что о н есть) и прошу его дать мне смирение и любовь, прошу его простить меня и вразумить меня, а главное—мне сладко говорить ему: г о с п о д и, да будет воля твоя, ибо я знаю, что воля его с в я т а я».

Дворянин по происхождению и воспитанию, Чайковский весь пропитан идеологией и настроениями старой помещичьей усадьбы, тоскует по ней, ставит ей поэтический памятник в своем «Онегине», в грезах все снова и снова уходит под сень Ларинского дома, наконец, не являясь сам помещиком, создает себе иллюзию усадебной жизни то в селе Фроловском, то в Клину под Москвой. Но вместе с тем он с ясной отчетливостью сознает обреченность этой усадьбы, неминуемую гибель своего класса и ощущает ее, как неумолимую судьбу. «Фатум» — таково название одного из первых

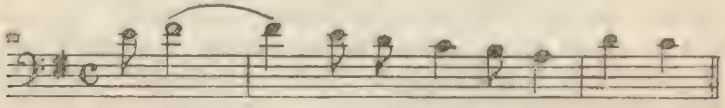
* Письмо от 23 ноября/5 декабря 1877 г.

его произведений. «Фатум» — одно из часто повторяющихся слов в его письмах. «Фатум», пессимистическая идея обреченности — лейтмотив его лучших произведений. Излагая в письме к Н. Ф. фон-Мекк от 17 февраля/1 марта 1878 г. идейное содержание своей IV симфонии, Чайковский следующим образом характеризует лейтмотив этой симфонии: «Это фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как Дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать». И ниже — глубоко пессимистическое резюме первой части симфонии: «Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоропроходящими сновидениями и грезами о счастье... Пристани нет... Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою». Идея обреченности проходит красной нитью и через V и VI симфонии. Она же является стержневым мотивом «Пиковой дамы». Как только Герман показывается на сцене, сразу ему сопутствует мотив обреченности:

Виолончели

Этот мотив как будто лишь предваряет первую арию Германа:

Я и - ме - ни е - ей не зна - ю .

Но по мере развития действия выясняется, что фраза виолончелей, как и начало арии, не что иное, как фаталистический мотив трех карт:



Три - кар - ты, три кар - ты, три кар - ты

Эта двойственность настроений и воззрений, страстная приверженность к старому укладу, с одной стороны, и понимание его обреченности, с другой, отразились, естественно, и на общественно-политических взглядах Чайковского. Убежденный монархист, он глубоко предан Романовым и желает им всяческих успехов как в военных, так и в дипломатических

делах. Потрясенный революционными событиями в России, он больше всего думает о царе: «И как жаль нашего бедного, доброго государя, так искренно желающего добра и встречающего такие убийственные разочарования и огорчения» *. Но вместе с тем, несмотря на благоволение, оказываемое ему со стороны двора и придворных кругов, он ненавидит Петербург, «этот проклятый город, где царит чиновническое самоуправство» **, и искренно любит старую, полудеревенскую, слегка фрондирующую Москву. Озабоченный судьбами России, понимая, что старый самодержавный строй клонится к упадку, и поэтому отвергая политику Катковых, желавших во что бы то ни стало сохранить его в неприкосновенности, Чайковский, однако, подобно Толстому, «пугается» английских образцов для политического переустройства России и готов скорее искать рецептов в древнефеодальном укладе. «Весьма вероятно, — пишет он 3 января 1882 г. Н. Ф. фон-Мекк,—что я очень плохой политикан. Быть может, все, что я говорю, очень наивно и неосновательно, но только, когда случается думать обо всем, у нас происходящем, я не нахожу никакого другого исхода, и для меня просто кажется непостижимым, как эта мысль недоступна тем, от кого наши судьбы зависят. Катков, называющий парламенты *говорильнями* и так ненавидящий слова «народное представительство», «конституция», напрасно, мне кажется смешивает идею земского собора, который и в старину собирался в случаях, когда царь нуждался в совете, с европейскими палатами, парламентами и т. д. Земский собор, может быть, именно отвергнет конституцию в европейском смысле; не в том дело, чтобы нам непременно сейчас же дали ответственных министров и всю процедуру английских учреждений, а в том, чтобы раскрыть истину, чтобы облечь правительство доверием народа и дать ему указание, как и куда нас вести».

Естественно, что при наличии таких взглядов Чайковскому, как и Толстому, чужд был поворот дворянства на путь капитализма, говоря словами Ленина—на путь «прусского» развития России. Подавно чужд и даже ненавистен для него был революционный путь. Его отношение к революционной борьбе «Народной Воли» отличается крайней реакционностью. 20 февраля 1880г. он пишет Н. Ф. фон-Мекк: «Но все эти музыкальные и всякие другие интересы дня теперь стушевались перед картиной грандиозного безобразия, которое представляет в эту минуту наше бедное отечество. Руки опускаются и уста немеют. Я чуть с ума не сошел от злобы и бешенства по получении известия о новом покушении на жизнь государя. Не знаешь, чему более удивляться: наглости и силе омерзительной шайки убийц или тому бессилию, которое обнаруживает полиция и все, на ком лежит обязанность ограждать и оберегать государя. Спрашиваешь себя: чем это все кончится? — и теряешься. Но только все это

---

* Письмо от 13 апреля 1878 г.
** Письмо от 7 февраля 1877 г.

нестерпимо больно и горько». После убийства Александра II, 1 марта 1881 г., он восклицает: «Хотелось перелететь в Россию, узнать подробности, быть в среде своих, принять участие в сочувственных демонстрациях новому государю и вместе с другими вопить о мщении. Неужели и на этот раз не будет вырвана с корнем отвратительная язва нашей политической жизни?» * В этом своем отношении к революционному движению Чайковский не знает никаких колебаний, никакой двойственности. Классовым инстинктом он чувствует, что именно с этой стороны угрожает главная опасность старому строю, за который, несмотря на все осознание его обреченности, он судорожно цепляется. Даже в случаях, где его личная симпатия на стороне определенного революционного деятеля, он неумолим в осуждении его действий и всех защищающих его. В деле Засулич, «невольно внушающей симпатию», он все-таки сурово осуждает оправдавший ее суд присяжных. «Но в том-то и дело, что симпатия к ее личности и ненависть к наглому и жестокому произволу петербургского префекта — сами по себе, а отвращение к тем проявлениям антипатриотического духа, которыми ознаменовалось ее оправдание... — само по себе» **. На следующий день (13 апреля) он по этому вопросу добавляет: «... и признаюсь Вам, что волосы становятся дыбом, когда узнаешь, как безжалостно, жестоко, бесчеловечно поступают иногда с этими заблуждающимися юношами и увлекающимися либеральничанием девицами. С другой стороны, нельзя не возмущаться, видя легкомысленность, невежественность людей, стоящих во главе судебного ведомства. Оказывается, что люди, заправлявшие всей процедурой дела Засулич, действовали необычайно неразумно вследствие желания попопулярничать и полиберальничать».

В этой специфической классовой умонаправленности коренится и основная причина (хотя, быть может, и неосознанная) холодного, почти отрицательного отношения Чайковского к Стасову и петербургским «кучкистам», Римскому-Корсакову, Бородину и др., являвшимся, несомненно, выразителями поворота дворянства на капиталистический, «прусский» путь развития России. В то время как Чайковский в письмах к Н. Ф. фон-Мекк не скрывает своей антипатии к Писареву и Некрасову, укоряя последнего в кокетливом либеральничании ***, Римский-Корсаков в своей «Летописи» подчеркивает, что «веяние 60-х годов коснулось и нас. Были между нами прогрессисты и ретрограды. К первым главным образом принадлежал П. А. Мордовин, ко вторым — А. Я. Бахтеяров. Читался Бокль, бывший в большом ходу в 60-х годах, Макколей, Стюарт Милль, Белинский, Добролюбов и т. д ...все симпатии мои были к Мордовину. Бахтеяров, восхищавшийся Катковым, был мало симпатичен, да и убеждения его мне были не по сердцу. Он был ярый крепостник и дво-

* Письмо от 15 марта 1881 г.
** Письмо от 12 апреля 1878 г.
*** Письмо от 24 марта 1878 г.

Н. Ф. фон-Мекк в 70-х годах

рянин с сословной спесью»*. Уже этой одной цитаты из писаний Римского-Корсакова, до конца жизни оставшегося «прогрессистом», достаточно для выявления той глубоко принципиальной разницы в общественно-политических взглядах, какая существовала между Чайковским и «кучкистами». Для характеристики В. В. Стасова Чайковский не находит других слов, как: «Этот человек чрезвычайно противен, как музыкальный критик: он очень запальчив, пристрастен, односторонен и даже туп, но, как личность, Стасов — человек в сущности добрый и порядочный»**. Самую большую, даже несколько злобную антипатию Чайковский питал к Мусоргскому, который стоял на крайне левом фланге «кучкистов», приближаясь к народническому движению, и которого сами «кучкисты» считали потерянным из-за слишком большого пристрастия к «серому мужичку» (Римский-Корсаков в «Летописи»). Для Чайковского Мусоргский был «отпетым человеком». «По таланту он, может быть, выше всех предыдущих («кучкистов». — *Б. Л.*), но это — натура узкая, лишенная потребности к самосовершенствованию, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость»***.

Эти черты представителя гибнущего класса, все еще борющегося за свое бытие, но одновременно сознающего свою обреченность, роднят Чайковского с Львом Толстым. Однако разница между ними существенная. В то время как Толстой ищет выхода из тупика в уходе от своего класса и надеется найти спасение в своем реакционно-утопическом, феодальном социализме, Чайковский, хотя и не без внутренней борьбы, не без сопротивления, не без попытки, как, например, в финале IV симфонии, забыться в разгуле крестьянского веселья, все же имеет мужество произнести и принять страшное для себя и для своего класса, но продиктованное законами исторического развития слово с м е р т ь. Он имел мужество взглянуть исторической правде в глаза и спеть себе и своему классу потрясающую отходную—«Патетическую симфонию».

В этом его сила, в этом его своеобразие сравнительно с другими идеологами умирающего дворянства, цеплявшимися за ту же усадьбу и думавшими ее спасти дешевеньким барским либеральничанием. В наследии Л. Толстого имеются произведения, в которых этот неумолимый приговор истории звучит с трагической силой. Такова прежде всего «Смерть Ивана Ильича» — произведение, независимо от того, хотел ли этого автор или нет, глубоко символическое. Однако этот рассказ не может служить определяющим для всего творческого облика Л. Толстого. Чайковский же в «Патетической симфонии» достиг апогея своего творче-

---

* Н. А. Р и м с к и й-К о р с а к о в, Летопись моей жизни, изд. 3-е, стр. 60—61.

** Письмо от 20 января/1 февраля 1879 г.

*** Письмо от 5 января 1878 г.

ства, дав музыкальную картину безвыходного отчаяния идеолога обреченного класса.

При сопоставлении Чайковского с Толстым напрашивается аналогия: Бетховен—Гете. Правда, Бетховен и Гете были представителями другого класса и другой страны, но и на них лежала печать трагической обреченности, а именно неспособности их класса — немецкой буржуазии — к революционному преобразованию своей страны, бесконечно отсталой и задавленной под сапогом феодальной реакции. Но в то время как Гете боялся осознания этой обреченности и ушел от немецкой действительности в область воздушных замков эллинской красоты, Бетховен в своей IX симфонии поднялся на высоту трагического поэта и высказал в музыкальных образах то, чего не посмел сказать никто из его современников, разве только один Гельдерлин в «Смерти Эмпедокла». И если я, в моей работе о Бетховене*, назвал первую часть IX симфонии величайшей немецкой (хотя и бессловесной) трагедией, то не менее законно, по моему мнению, рассматривать Чайковского, как создателя трагедий (опять-таки бессловесных—имея в виду в первую очередь его симфонии) обреченного на гибель русского дворянства.

Неправильно считать Чайковского элегическим художником, нытиком, упадочником и только. Конечно, в его творчестве много места занимает элегичность, но основное его восприятие мира было не элегическим, а трагическим, т. е. он, глядя на мир глазами умирающего класса, рассматривал и воспроизводил в музыкальных образах окружавшую его действительность не в статике, а в динамике, в трагической борьбе противоречивых начал, «добра со злом», в «единстве многообразия», говоря его же словами из письма к Н. Ф. фон-Мекк**.

Та внутренняя раздвоенность, та борьба противоречий, которые Чайковский столь ясно осознавал, естественно нашла свое выражение и в его творчестве. Отсюда огромная действенность его симфоний, отсюда диалектический метод развертывания музыкальной ткани, столь характерный для лучших его произведений. Стоит хотя бы бегло проследить мелодическое развертывание VI симфонии для того, чтобы в этом убедиться. «Трагический конфликт» этой симфонии заложен уже в первом мотиве:

Фаготы

являющемся своеобразным единством двух противоречивых начал: подъема и падения — восходящей и нисходящей секунд. Вырастающие

* Б. Пшибышевский, Бетховен, Музгиз, 1932, гл. VII.
** Письмо от 23 ноября/5 декабря 1877 г.

из этих секунд путем количественного нарастания две основные мелодические линии симфонии, нисходящая:

и восходящая:

в разных изменениях и вариантах являются основными противоречивыми движущими силами его произведения, пока не побеждает в четвертой части симфонии линия нисходящая, линия поражения:

завершающая собою всю эту бессловесную музыкальную трагедию.

По этому же принципу построены IV и V симфонии и вообще все лучшие инструментальные произведения Чайковского. Завершением его музыкально-динамического творчества является, конечно, «Пиковая дама», одна из самых потрясающих музыкальных трагедий в мировой музыкальной литературе.

Что этот динамический метод творчества применялся Чайковским вполне сознательно, об этом говорит его сугубо отрицательное отношение ко всякой статической музыке, в частности к музыке Вагнера и Брамса, в творчестве которых доминирует не динамическое, а статическое начало. О Вагнере Чайковский пишет Н. Ф. фон-Мекк: «...он совершенно упустил из виду музыку, которая по большей части блистает полным отсутствием в его последних четырех операх, ибо я не могу назвать музыкой такие калейдоскопические, пестрые музыкальные кусочки (он имеет в виду вагнеровские лейтмотивы — короткие музыкальные фразы, в неизменном виде чередующиеся одна за другой и составляющие по сути дела всю музыкальную ткань его опер. — *Б. Л.*), которые непрерывно следуют друг за другом, никогда не приводя ни к чему и не давая вам ни разу отдохнуть на какой-нибудь удобовоспринимаемой музыкальной форме» *. Не менее метка его характеристика Брамса: «Много каких-то приготовлений к чему-то, много намеков на что-то, долженствующее сейчас явиться и очаровать, но ничего из этого не выходит, кроме скуки...

---

* Письмо от 26 ноября/8 декабря 1877 г.

Например, возьмем начало концерта (скрипичного.—*Б. П.*). Оно красиво, как вступление к чему-то, это отличный пьедестал для колонны, но самой колонны нет, а тотчас за одним пьедесталом следует другой. Мне хочется сказать, что он никогда ничего не высказывает, а если высказывает, то не досказывает; искусно склеенные между собой кусочки чего-то составляют его музыку»*.

Этой принципиальной творческой установкой Чайковского объясняется и его чисто музыкальная антипатия к «кучкистам», над творчеством которых тоже довлеет статика музыкального мышления. Для Чайковского творчество «кучкистов» не что иное, «как культ разных пряных гармонизаций, оригинальных оркестровых комбинаций и всякого рода чисто внешних эффектов. Музыкальная идея ушла на задний план»**, и отнюдь не случайностью является то обстоятельство, что, в то время как «кучкисты» увлекались последними квартетами Бетховена (см. «Летопись» Римского-Корсакова), характерными своей сугубой статичностью, Чайковский пишет в своем дневнике 20 сентября 1886 г.: «В Бетховене я люблю средний период, иногда первый, но, в сущности, ненавижу *последний*, особенно последний квартет». Одним словом, Чайковскому ближе всего Бетховен — творец динамической (III, V симфонии и т. д.), а не статической музыки.

Вот почему правильно считать, что не Брамс, не Шуман, не Брукнер являются достойными преемниками Бетховена-симфониста, а именно Чайковский. Если какая-либо из симфоний, написанных после Девятой Бетховена, имеет право считать себя Десятой, то это прежде всего Патетическая симфония Чайковского. Этому не противоречит тот факт, что Чайковский, высоко ценя Бетховена, вместе с тем недолюбливал его. Это станет вполне понятным, если учесть, за что он так горячо любил Моцарта. Восторгаясь «Дон-Жуаном» последнего, он главным образом останавливается на тех сценах, в которых выявляется гениальное музыкально-реалистическое мастерство Моцарта. В письме от 16/28 марта 1878 г. Чайковский пишет Н. Ф. фон-Мекк о Моцарте: «... в музыке его нет субъективного трагизма, столь сильно и мощно сказывающегося в Бетховене. Это, однакож, не помешало ему создать объективно-трагическое лицо (он имеет в виду Донну-Анну из «Дон-Жуана».—*Б. П.*), самое сильное, самое поразительное из всех обрисованных музыкой человеческих образов». Чайковскому, великому музыканту-реалисту, черпавшему свою мелодику из мелодического источника окружавшей его русской действительности и с неподражаемой силой сумевшего дать музыкальные характеристики героев своих опер, не могла не быть чуждой абстрактность музыкальных образов Бетховена. Несомненно чужд ему был и революционный пафос последнего. Не чуждой была ему динамичность Бетховена. На-

* Письмо от 1 марта 1880 г.
** Письмо от 16 июня 1880 г.

оборот, в этом отношении Чайковский — прямой ученик Бетховена и прямой и, пожалуй, единственный до сих пор его продолжатель. Этим и определяется выдающееся место Чайковского в истории музыки и, следовательно, наше отношение к нему и его наследству, несмотря на чуждое нам классовое лицо этого наследства.

Многое из него будет забыто, и именно то, в чем Чайковский пытался отойти от самого себя, в чем он не сумел или не хотел говорить о том, что ему суждено было говорить всем историческим развитием. Сам Чайковский в письмах к Н. Ф. фон-Мекк делит свои произведения в основном на две категории: на написанные по внутренним побуждениям и на созданные под влиянием чисто внешних соображений. Так, например, проводя параллель между своими операми «Евгений Онегин» и «Орлеанская дева», он пишет: «Я не думаю, чтобы «Дева» была лучше и наиболее прочувствованным из всех моих писаний, но мне кажется, что это именно та вещь, которая может сделать меня популярным. Я чувствую, что «Онегин» и некоторые мои инструментальные вещи суть более близкие мне чада всей моей нравственной индивидуальности. Я написал «Деву» с меньшим самозабвеньем, чем, например, нашу (Четвертую. — *Б. П.*) симфонию или второй квартет, но зато с большим расчетом на сценические и звуковые эффекты, а ведь для оперы это главное»*.

Он, конечно, ошибался. Не «Орлеанской деве» суждено было сделать его популярным, а именно «Онегину», «Пиковой даме», последним трем симфониям. Вот вещи, которые останутся, потому что останется тот Чайковский, который развернул гениальные образы обреченности и гибели своего класса. Ибо новый класс из трагедий ушедших черпает не уныние, а новые силы для своего самоутверждения.

Еще несколько слов о самой переписке. Издание ее является ценным вкладом в эпистолярную литературу не только потому, что в ней раскрывается облик одного из крупнейших музыкантов всех времен, но и потому, что она — исключительно яркий историко-бытовой документ. Письма самой Н. Ф. фон-Мекк, давая необходимый материал, связывающий отдельные письма Чайковского и многое в них объясняющий, вместе с тем и сами по себе представляют большой интерес, так как они рисуют нам отчетливый образ идеологии командующих слоев русской столичной буржуазии, осуществлявшей своеобразное развитие русского капитализма под крылом и при помощи царизма. Судя по письмам к Чайковскому, Н. Ф. фон-Мекк была типичной представительницей этой буржуазии. В ней сочетались железнодорожная миллионщица с крепостной барыней, почитательница Некрасова и Писарева с убежденнейшей монархисткой, трезво-коммерческий взгляд на людей с сентиментально-восторженной любовью к певцу уходящего дворянства и

---

* Письмо от 19 июля 1880 г.

Библиотека ... Лен. гос. консерватории Инвент. №

ко всяким «вишневым садам», буржуазно-снобистское всезнайство и меценатство с подлинной дворянской культурой и барской широтой жеста. Все эти черты представительницы русского дворянства, перешедшего на путь капитализма, были глубоко чужды и неприемлемы для Чайковского. Естественно, настоящего контакта и искренности между ним и ею не было и не могло быть, и разрыв рано или поздно был неизбежен.

Болеслав Пшибышевский

ОТ РЕДАКТОРОВ ТЕКСТА

Переписка П. И. Чайковского с Н. Ф. фон-Мекк занимает исключительное место в эпистолярной литературе. Это не переписка друзей, не обмен письмами близких приятелей, это — стенограмма отношений двух лиц, лично не знакомых, не перекинувшихся ни одним словом, не слышавших даже голоса друг друга, но связанных более чем дружескими, своеобразными узами. Ни одного штриха, ни одной детали не добавлено в жизни к тому, что запечатлелось на этих страницах.

Переписка началась в знаменательный для Чайковского период. Мы привыкли видеть в нем всемирно известного композитора, но в семидесятых годах он далеко не был таким. Он заслужил пока только эпитет «талантливый». Его оперы изредка шли на императорской сцене. Его оркестровые произведения иногда исполнялись на симфонических собраниях, романсы, пьесы входили в быт. Одним словом, опусы талантливого профессора Московской консерватории были известны музыкальному миру. Имя Чайковского проникло и за границу. В нотных лавках (не во всех) продавались его произведения (не все), было несколько перепечаток. Европейские дирижеры и солисты пытались знакомить публику с новым русским композитором. Публика внимательно слушала, одобряла, но другие имена властвовали над нею. Не было и признаков того ореола, который впоследствии окружил Чайковского в России, в Западной Европе, во всем мире. Молодой Чайковский * уже испытал свои силы во всех родах музыкального искусства. Он обнародовал две оперы, балет,

* Чайковский родился в 1840 г. в Вятской губернии, в семье горного инженера. В 1859 г. кончил Училище правоведения и затем недолго служил в министерстве юстиции. В 1862 г. поступил в Петербургскую консерваторию, которую окончил в 1865 году. Тогда же переехал в Москву и занял место преподавателя теории музыки в музыкальных классах

три симфонии, четыре значительных оркестровых произведения, три квартета, фортепианный концерт, но известность его не успела еще подняться выше уровня популярности даровитого профессора-композитора. Перелом относится ко времени знакомства с фон-Мекк.

В начале 1877 года Чайковский начал два произведения, сразу выдвинувшие его: оперу «Евгений Онегин» и Четвертую симфонию. В сентябре 1878 года в русских концертах на Всемирной выставке в Париже его произведения покорили европейскую аудиторию. Осенью Чайковский покинул консерваторию и навсегда расстался с ненавистной ему педагогической деятельностью, весь отдавшись творчеству. Он стал пользоваться все большим и большим признанием *.

Тогда же, в 1877 году, произошло событие, наложившее отпечаток на всю его жизнь. Чайковский сделал первую и последнюю попытку жениться. Этот эксперимент вызвал в Чайковском жестокое потрясение. В число близких людей, оказавших ему в этот период его жизни поддержку, следует, кроме двух братьев, включить также новое, доселе почти неизвестное ему лицо — Н. Ф. фон-Мекк. Дальнейшая биография Чайковского неразрывно связана с ее именем.

Надежда Филаретовна фон-Мекк (род. в 1831 г.)—дочь смоленского помещика Филарета Васильевича Фролковского и Анастасии Дмитриевны, урожд. Потемкиной, дочери отставного подполковника смоленской шляхты Дмитрия Демьяновича Потемкина. Мать ее, энергичная, деловая женщина, была главой семьи. Отец, страстный любитель музыки, отстранил себя от хозяйства и большую часть времени предавался игре на скрипке. Н. Ф. фон-Мекк унаследовала от матери властность, деловитость, пытливый ум, от отца — любовь к музыке. Она получила домашнее, но разностороннее образование и с ранних лет стала учиться игре на фортепиано. Еще девочкой она аккомпанировала отцу и часто со старшей сестрой играла в четыре руки классические произведения великих немецких мастеров.

В 1847 году, шестнадцати лет, она вышла замуж за остзейского дворянина Карла Федоровича фон-Мекк, инженера путей сообщения госу-

---

московского отделения Русского музыкального общества. После открытия Московской консерватории, с 1866 г., стал профессором ее по классу гармонии и инструментовки. Умер в октябре 1893 г. от холеры.

* В сборнике биографий «замечательных людей», вышедшем в конце 1879 года, Чайковскому отведено одиннадцать страниц. Там говорится: «Чайковский — по преимуществу симфонист и оркестратор... Из написанных им опер пока еще ни одна не может быть признана вполне удачным произведением... Чайковский — человек, посвятивший себя всецело своему искусству и бескорыстным служением ему снискавший уважение всех знающих его людей. Дарования его, с каждым годом развивающиеся, дают нам полное право выразить надежду, что Чайковский займет видное место в летописи современной русской музыки» («Наши деятели. Галлерея замечательных людей России в портретах и биографиях», т. VI, изд. Баумана, Спб. 1879; цитаты на стр. 76, 81 и 85).

царственной службы. В шестидесятых годах фон-Мекк взял концессии на постройку железных дорог*. Совместно с П. Г. фон-Дервизом он построил Курско-Киевскую, Московско-Рязанскую и Либаво-Роменскую железные дороги. Концессионеры, сделав небольшие затраты на изыскания и другие предварительные расходы, добились правительственной гарантии на сумму, значительно превышавшую действительную строительную стоимость, и построили дороги на облигационный капитал, большею частью помещенный за границей. Московско-Рязанская дорога давала самое близкое соединение центра с черноземной полосой, что сохраняло за нею монополию хлебных грузов и возможность держать высокие тарифы. К тому же рабочим платили меньше, чем на казенных железных дорогах, и в результате концессионеры получали огромную прибыль. Вскоре фон-Мекк владели капиталом в несколько миллионов рублей.

Фон-Мекк стала играть роль богатой дамы-патронессы. Она покровительствовала молодым музыкантам, фрондируя против Н. Г. Рубинштейна, который недолюбливал ее, но не мог не считаться с нею. Среди музыкантов она выделила лично ей неизвестного профессора Чайковского. Слишком ответственно утверждать со всей категоричностью, но есть много оснований предположить, что она первая объявила Чайковского выдающимся, почти гениальным композитором. Его произведения она поставила на один уровень с классическими произведениями давно признанных авторитетов. Тогда это было слишком смело, могло показаться чрезмерной эксальтированностью, увлечением консерваторской дамы. История подтвердила правильность оценки.

Через покровительствуемого ею скрипача Котека, приятеля Чайковского, фон-Мекк узнала об его материальных затруднениях. Дама-патронесса нашла удобный способ притти на помощь: она заказала композитору несколько пустячных музыкальных работ, щедро оплатив их. Посредником был Котек. Затем последовал обмен любезно-официальными письмами, оказавшимися вступлением к совершенно несбычному, в течение тринадцати с лишним лет не прекращавшемуся диалогу.

Переписка началась в декабре 1876 года. В этом году скончался муж Н. Ф. фон-Мекк. Дела принял старший сын. В личной жизни фон-Мекк отчетливее стали проявляться особенности ее душевного склада. Врожденная меланхолия постепенно нарастала, и фон-Мекк заболела недугом, называемым ею мизантропией. Светские знакомства и интересы теряли свою прелесть, она замкнулась в семье, но суровость матери заставляла детей держаться в почтительном отдалении. Фон-Мекк была совершенно одинока, и все ее радости сосредоточились на любимом искусстве. В это время

---

* При каких условиях фон-Мекк получал концессии (взяточничество, интриги в придворных сферах) — см. *Е. М. Феоктистов*, Воспоминания. За кулисами политики и литературы, 1848—1896, изд. «Прибой», Л. 1929; *А. И. Дельвиг*, Полвека русской жизни. Воспоминания, т. II, изд. Academia, М.—Л. 1930,— по указателю.

случайно завязалось необычное знакомство с композитором, произведения которого она так ценила. Представилась возможность принять участие в его внешней судьбе, играть почти решающую роль. И помогать без покровительства, почтительно, восторженно. Само собой как-то, без обсуждения и предварительных условий, фон-Мекк взяла на себя заботы о материальном благополучии Чайковского, выдавая ему ежегодно по шести тысяч рублей. В нормальной обстановке или в периоды потрясений, во время приступов жестокой мизантропии или в минуты подъема, при всех условиях Чайковский стал находить в ней тот отклик, ту поддержку, которые в данную минуту ему были нужны. Она создавала исключительно благоприятную атмосферу для творчества, и Чайковский одну ее допускал в свою творческую лабораторию. Опять-таки само собой, без уговоров, без мотивировки, было решено лично не знакомиться и от других старательно скрывать свою дружбу. И мало кто знал об их знакомстве, и не встретились они никогда. Переписывались, живя в разных городах, еще чаще переписывались, живя в одном и том же городе.

«Милостивый государь» скоро сменился в письмах «дорогим», потом «другом» с увеличивавшимся количеством нежных эпитетов. Во многих письмах Мекк стала касаться того влияния, которое оказала встреча с Чайковским на ее жизнь, восторженно писала о восприятии его музыки: «Ваша музыка и Ваши письма доставляют мне такие минуты, что я забываю все тяжелое и все дурное, что достается на долю каждому человеку, как бы ни казался он хорошо обставленным в жизни. Вы — единственный человек, который доставляет мне такое глубокое, такое высокое счастье, и я безгранично благодарна Вам за него». «Сколько добра доставляют мне эти милые письма, каким благотворным бальзамом служат для моего истомленного сердца, одержанного несовладаемою тоскою. Когда я выхожу в свою гостиную и вижу на столе конверт с таким знакомым милым почерком, я чувствую ощущение, как от вдыхания эфира, которым прекращается всякая боль». «Моя любовь к Вам есть также фатум, против которого моя воля бессильна». «Я чувствую такую страстную привязанность к Вам, Вы так милы и дороги мне, что слезы выступают у меня на глазах и сердце дрожит от восторга. Боже мой! как я благодарна Вам за такие минуты, как светлее и теплее стала для меня жизнь, как много вознаграждает мне Ваше отношение, как многое искупает такая натура, как Ваша». «Я не могу Вам передать, что я чувствую, когда слушаю Ваши сочинения. Я готова душу отдать Вам, Вы обоготворяетесь для меня. Все, что может быть самого благородного, чистого, возвышенного, поднимается со дна души»*.

Неожиданную интимность она объясняла родством душ: «Меня давно уже поразила и продолжает изумлять та необыкновенная симпатия, та сверхъестественная тождественность мыслей и чувств, которые доказы-

* Письма №№ 26, 81, 112, 183 и 188.

ваются почти в каждом письме между нами. Такого сходства двух натур редко можно встретить в самом близком кровном родстве»*.

Ей вторил Чайковский: «Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца». «Мне кажется, что Вы оттого сочувствуете моей музыке, что я всегда полон тоски по идеалу, так же точно как и Вы. Наши страдания одинаковы, Ваши сомнения так же сильны, как и мои, мы одинаково с Вами плывем по безбрежному морю скептицизма, ища пристани и не находя ее. Не оттого ли моя музыка так родственна и так близка Вам?»**.

Для правильной оценки писем Чайковского необходимо вспомнить его признание, сделанное в дневнике десять лет спустя, 27 июня 1883 г. «Мне кажется, что письма никогда не бывают вполне искренни. Сужу, по крайней мере, по себе. К кому бы и для чего бы я ни писал, я всегда забочусь о том, какое впечатление произведет письмо, и не только на корреспондента, а и на какого-нибудь случайного читателя. Следовательно, я рисуюсь. Иногда я стараюсь, чтобы тон письма был проще и искренний, т. е. чтобы так казалось. Но кроме писем, написанных в минуты аффекта, никогда в письме я не бываю сам собой. Зато этот последний род писем бывает всегда источником раскаяния и сожаления, иногда даже очень мучительных. Когда я читаю письма знаменитых людей, печатаемые после их смерти, меня всегда коробит неопределенное ощущение фальши и лживости»***.

Как бы ни были сгущены краски в нарочито откровенном саморазоблачении, известная доля искусственности, фиктивности, вероятно, существовала, что не могло не отразиться на переписке с фон-Мекк. В комментарии к этой книге в нескольких случаях дополнительный материал на своего рода очной ставке уличает Чайковского в неискренности: тон и содержание не соответствуют полностью мыслям и настроению. Иногда стиль писем неестественен: многословие, риторика, при явном отсутствии потребности писать. Материальная зависимость не могла не внести некоторой напряженности. Как ни старался Чайковский уверить друга, что он не чувствует «той условности, которая лежит в основании обычных людских отношений», но в откровенных письмах к братьям он признавался, как тяжела была ему порой эта зависимость. Чайковский ждал, внутренне почти требовал субсидии, но он боялся обязательств, и территориальная близость, подчеркивавшая неловкость положения, просто сердила его.

---

* Письмо № 87.
** Письма №№ 114 и 53.
*** «Дневники П. И. Чайковского», М.—П. 1923, стр. 213—214.

Но все это отдельные штрихи, выделяющиеся при кропотливом анализе. А вместе с тем поражает поток чувства симпатии, благодарности, по крайней мере, в тот тревожный период, когда с помощью братьев и фон-Мекк Чайковский благополучно пережил душевное потрясение, от безнадежного отчаяния перейдя к наслаждению жизнью и творчеством. «Вы вместе с братьями воскресили меня,— писал он.— Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла». «Я вас люблю всеми силами души моей и благословляю ежеминутно судьбу, столкнувшую меня с Вами». «Друг мой, благодарю Вас за всю Вашу неоцененную дружбу ко мне. В ней я почерпаю великое утешение и никогда уже не паду духом до слабости». «Вы поистине мой добрый гений, и я не имею слов, чтобы выразить Вам силу той любви, которою я Вам отплачиваю за все, чем я Вам безгранично обязан». «Дружба Ваша сделалась теперь краеугольным камнем моего счастья и спокойствия». «Если моя любовь и благодарность к Вам когда-нибудь найдут случай выразиться фактически, то знайте, что нет жертвы, которой я не принес бы Вам». «Я сомневаюсь, чтобы когда-нибудь случай привел меня на деле доказать Вам, что я готов принести для Вас всякую жертву... и потому мне остается только услуживать и угождать Вам посредством музыки. Надежда Филаретовна, каждая нота, которая отныне выльется из-под моего пера, будет посвящена Вам»*.

Насколько действительно в этих новых отношениях Чайковский был самоотвержен, хотя бы просто бескорыстен? Осталась ли бы для него та же привлекательность новой дружбы, если бы не несла она с собой внешнего благополучия, одних преимуществ, без всяких обязательств и ущерба? Вопрос должен быть поставлен и решен биографами Чайковского. Конечно, совпадение взглядов на музыку, во многом — на общие вопросы жизни, в частности социально-политическая реакционность обоих корреспондентов, — все это создавало благоприятную почву для взаимной симпатии. Но не в этом, думается, причина так быстро выросших и окрепших отношений. Решающую роль должна была сыграть направленность их. В центре внимания — Чайковский, его судьба, его интересы. Жизнь его корреспондентки — второстепенное явление, затрагиваемое обычно лишь в той мере, в которой это нужно для него. Переписка посвящена Чайковскому-композитору, а все остальное играет в ней служебную роль.

Это обстоятельство придает материалам большую ценность. Переписка Чайковского с фон-Мекк — летопись его музыкальной жизни, его подробная, интересно написанная автобиография. Оба корреспондента хорошие стилисты. Они умели вести в письмах непринужденный светский разговор и выпукло зарисовывать важнейшие моменты жизни и творчества композитора, исторические события и быт музыкального

---

* Письма №№ 82, 86, 94, 104, 103, 89 и 37.

мира, нервное отношение к ним. Правда, в Чайковском удивляет исключительная мнительность, но не надо забывать особенности переписки: не личная беседа, а беседа в письме. И пишет Чайковский так легко, так живо. Письма его можно читать как талантливо написанные мемуары.

Для Чайковского в его отношениях с фон-Мекк момент сексуальный не играл никакой роли. Любовь к женщине ограничилась для него страстной привязанностью к матери и сестре. Другой любви к женщине он не знал. Но в нем была огромная потребность дружбы. С давних пор установились близкие, замечательные отношения с сестрой и братьями-близнецами. Чайковский избегал людей, тяготился обществом, был замкнут, но в дружбе с несколькими лицами он раскрывался до конца. В этой плоскости и установились отношения с этим другом.

Иначе было у фон-Мекк. Тон ее писем заставляет порой насторожиться. При очевидной откровенности безупречной дружбы, в них проскальзывает иногда вынужденная недоговоренность. А под влиянием музыки Чайковского Мекк порой говорила больше, чем хотела. В эти минуты в ее письмах уже не голос восхищенного друга, а крик любящего женского сердца. Так, например, осенью 1879 года по поводу полученного фортепианного переложения Четвертой симфонии, ей посвященной, она писала: «Это последнее слово искусства, дальше этого нет дороги, это предел гения, это венец торжества, это точка божества, за нее можно отдать душу, потерять ум, и ничего не будет жаль... До свидания, мой обожаемый друг, мой бог, моя любовь, мое счастье». «Я не знаю, можете ли Вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно Вас, при отсутствии личных сношений между нами. Знаете ли, что я ревную Вас самым непозволительным образом: как женщина — любимого человека. Знаете ли, что, когда Вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. Мне стало больно, горько, мысль о близости Вашей с этою женщиною была для меня невыносима, и знаете ли, какой я гадкий человек, — я радовалась, когда Вам было с нею нехорошо. Я упрекала себя за это чувство, я, кажется, ничем не дала Вам его заметить, но тем не менее уничтожить его я не могла — человек не заказывает себе своих чувств. Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с нею нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю Вас, как никто, ценю выше всего на свете. Если Вам неприятно все это узнать, простите мне эту невольную исповедь. Я проговорилась. Этому причиною — симфония. Но я думаю, и лучше Вам знать, что я не такой идеальный человек, как Вам кажется. К тому же это не может ни в чем изменить наших отношений, я не хочу в них никакой перемены, я именно

хотела бы быть обеспеченною, что ничто не изменится в конце моей жизни, что никто... но этого я не имею права говорить, простите меня и забудьте все, что я сказала; у меня голова не в порядке»*.

Чайковский обходил молчанием эти порывы. Вероятно, он старался их не замечать, забыть, отмахнуться от них, так как в этой плоскости отношения корреспондентов не могли бы долго продержаться. И у самой Мекк действительно не было потребности что-то изменить, она вполне удовлетворялась своей ролью. И тем более загадочным представляется нам неожиданный финал. Переписка велась тринадцать с лишним лет,—велась без перерыва, порой особенно интенсивно и насыщенно, порой более деловито. Чайковский прошел славный творческий путь, оба успели достаточно постареть. Менялось ощущение жизни, терялась сила жизни, менялись интересы и привязанности, а переписка все продолжалась. Постепенно менялся, правда, ее колорит, но все же не было как будто никаких оснований предполагать, что закончится она раньше смерти одного из корреспондентов. Прервалась же она за два года до смерти Чайковского, за три года до смерти фон-Мекк, в сентябре 1890 года. Закончилась так же неожиданно, как и началась,—по инициативе фон-Мекк без всяких объяснений. Причины остались неизвестными и Чайковскому. О них можно делать только догадки**.

Несколько редакционных замечаний.

В середине девяностых годов М. И. Чайковский, собирая материалы для биографии брата, снял копии почти со всех писем композитора к разным лицам. Переписка с фон-Мекк скопирована полностью в тринадцати переплетенных томах. Подлинники за первые три года (1876—1878 не сохранились, за исключением первого письма фон-Мекк. Первый том переписки публикуется по копиям М. И. Чайковского.

В интересах издания редакция нашла возможным воздержаться от точного воспроизведения особенностей начертания этих копий. Письма печатаются по установленной орфографии. В необходимых случаях, особенно в письмах фон-Мекк, запятые заменены точками и увеличено количество красных строк. Обозначенные цифрами числа в ряде случаев переведены в слова, собственные имена дополнены в прямых скобках, даты унифицированы: печатаются в верхнем правом углу, старый стиль

---

* Письма от 19 и 14 сентября 1879 г.

** Об этом будет сказано подробнее в последнем томе переписки. О знакомстве Чайковского с фон-Мекк библиография очень бедна. Кроме книги М. И. Чайковского, можно указать краткие заметки—в «Московских ведомостях» № 74, 1903; в «Русской музыкальной газете» № 13, 1903; в журн. «Мир божий» № 11, 1903; № 49, 1905; *Bienefeld*, Tschaikowsky und Frau von Meck, »Deutsche Musikerzeitung» № 49, Berlin, 58; *E. v. Tideböhl*, Tchaikowsky and Madame von Mekk, «Monthly Musical Record» № 412, London 1905.

раньше нового (в копиях перебой), место написания проставлено перед числом и месяцем, неполный год (77, 78 гг.) и неполные месяцы воспроводятся полностью. В случае отсутствия географической даты она восстанавливается в прямых скобках. Недатированные письма и письма, писавшиеся в течение нескольких дней, снабжены редакторской датой, печатаемой курсивом в верхнем левом углу. Основание датировки в необходимых случаях сообщено в примечаниях. Переводы иностранных текстов и объяснения терминов даны под строкой (ссылка звездочкой). Цифровые сноски имеют в виду примечания, приложенные в конце книги.

Чтобы сохранить место для материалов, имеющих отношение к основным вопросам, затрагиваемым в переписке, редакция отказалась от комментирования географических имен и ограничилась краткими примечаниями об общеизвестных событиях.

Отдельные письма и отрывки из переписки с фон-Мекк впервые публиковались только в биографии, составленной М. И. Чайковским. Из писем Н. Ф. фон-Мекк 1876—1878 годов опубликованы письма №№ 1,3 и 5. Из писем П. И. Чайковского полностью опубликованы №№ 2, 4, 6, 57, 82, 93, 96, 97, 101, 118, 158, 220 и 274; в значительных отрывках—№№ 10, 19, 27, 28, 31, 43, 46, 49, 51, 53, 56, 58, 63, 64, 66, 74, 77, 86, 90, 98, 100, 102, 108, 110, 113, 116, 117, 119, 126, 129, 130, 135, 137, 142, 146, 148, 151, 152, 163, 164, 169, 178, 180, 181, 182, 186, 196, 202, 211, 219, 227, 231, 232, 233, 241, 247, 251 и 276; в небольших цитатах—№№ 17, 21, 25, 36, 37, 40, 41, 54, 62, 68, 69, 71, 89, 103, 106, 107, 121, 122, 128, 134, 143, 145, 156, 157, 165, 167, 175, 235, 237, 238, 258, 264, 272 и 275. Почти все приведенные в примечаниях письма публикуются впервые; печатаются они по подлинникам и копиям, хранящимся в музее Чайковского в Клину. Иллюстрации воспроизводятся по фотографиям и подлинникам, находящимся в том же музее.

В примечания и алфавитный указатель введены два условных сокращения: Ж. Ч.—Модест Чайковский, «Жизнь Петра Ильича Чайковского». По документам, хранящимся в архиве имени покойного композитора в Клину. Три тома, изд. Юргенсона, М. 1900—1902; Р. М. О.—Императорское Русское Музыкальное Общество.

В редактировании музыкальных текстов и в комментаторской работе принимал участие Н. М. Шеманин. В комментаторской работе помогала Е. С. Серебровская, в выверке текстов—В. Т. Жегина. Ряд материалов для аннотированного указателя получен от Н. П. Чулкова и из архива Государственного академического Большого театра через О. С. Попову.

Редакторы приносят глубокую благодарность М. М. Ипполитову-Иванову за просмотр книги в рукописи.

В связи с предпринятым изданием переписки А. Л. Мекк (Давыдова) принесла в дар Музею Чайковского находившиеся у нее подлинники писем П. И. Чайковского и Н. Ф. фон-Мекк за 1879—1890 годы.

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ
ПЕРЕПИСКА
с Н. Ф. фон-МЕКК

[illegible]

1876 год

1. *Мекк — Чайковскому*

[Москва]
18 декабря 1876 г.
Пятница.

Милостивый государь
Петр Ильич!

Позвольте принести Вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить Вам, в какой восторг меня приводят Ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что Вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться Вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись, поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с Вашею музыкою живется легче и приятнее.

Примите мое истинное уважение и самую искреннюю преданность.

Надежда фон-Мекк.

2. *Чайковский — Мекк*

1876 г. декабря 19 (?) Москва.

Милостивая государыня
Надежда Филаретовна!

Искренно Вам благодарен за все любезное и лестное, что Вы изволите мне писать. Со своей стороны, я скажу, что для музыканта среди неудач и всякого рода препятствий утешительно думать, что есть небольшое меньшинство людей, к которому принадлежите и Вы, так искренно и тепло любящее наше искусство.

Искренно Вам преданный и уважающий

П. Чайковский.

1877 год

3. Мекк — Чайковскому

Москва,
15 февраля 1877 г.

Милостивый государь
Петр Ильич!

Не знаю, право, как и благодарить Вас за Ваше милое снисхождение к моей нетерпеливости. Если бы не мои задушевные симпатии к Вам, я боялась бы, что Вы меня избалуете, но я слишком дорожу Вашею добротою ко мне, для того чтобы это могло случиться.

Хотелось бы мне много, много при этом случае сказать Вам о моем фантастичном отношении к Вам, да боюсь отнимать у Вас время, которого Вы имеете так мало свободного. Скажу только, что это отношение, как оно ни отвлеченно, дорого мне как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре. Поэтому, если хотите, Петр Ильич, назовите меня фантазеркою, пожалуй даже сумасбродкою, но не смейтесь, потому что все это было бы смешно, когда бы не было так искренно, да и так основательно. Искренно Вас уважающая и душою Вам преданная

Н. фон-Мекк.

4. Чайковский — Мекк

1877 г. февраля 16. Москва.

Милостивая государыня
Надежда Филаретовна!

Позвольте Вас поблагодарить за более чем роскошное вознаграждение столь небольшого труда. Напрасно Вы не захотели сказать мне всего того, что думалось. Смею Вас уверить, что это было бы мне чрезвычайно интересно и приятно, хотя бы оттого только, что и я преисполнен самых симпатических чувств к

Вам. Это совсем не фраза. Я Вас совсем не так мало знаю, как Вы, может быть, думаете.

Если бы Вы потрудились в один прекрасный день удостоить меня письменным изложением того многого, что Вы хотели бы сказать, то я бы был Вам чрезвычайно благодарен. Во всяком случае, благодарю Вас от всей души за выражение сочувствия, которое я очень, очень ценю.

Искренно уважающий Вас и благодарный
П. Чайковский.

5. *Мекк — Чайковскому*

Москва.
7 марта 1877 г.
Понедельник.

Милостивый государь
Петр Ильич!

Ваш милый ответ на мое письмо доставил мне такое глубокое удовольствие, какого я давно не испытывала, но Вы знаете общее свойство человеческой натуры: чем больше хорошего получаешь, тем больше и хочется его, и хотя я обещала Вам не избаловаться, но начинаю сомневаться в своих силах, потому что позволяю себе обратиться к Вам с большою просьбою, которая, быть может, покажется Вам странною по своей непринятости, но ведь человек, который живет таким аскетом, как я, логично приходит к тому, что все то, что люди называют общественными отношениями, светскими правилами, приличиями и т. п., становится для него одним звуком без всякого смысла. Я не знаю вполне Вашего взгляда на этот предмет, Петр Ильич, но, по некоторым моим наблюдениям за Вами, мне кажется, что Вы менее, чем кто-нибудь, осудите меня за это, если же ошибаюсь, то прошу Вас искренно, скажите мне это прямо, без всяких комментариев, и последовательно затем откажите в моей просьбе, которая состоит вот в чем: дайте мне Вашу фотографию; у меня есть их две, но мне хочется иметь от Вас. Мне хочется на Вашем лице искать тех вдохновений, тех чувств, под влиянием которых Вы писали музыку, что уносит человека в мир ощущений, стремлений и желаний, которых жизнь не может удовлетворить. Сколько наслаждения и сколько тоски доставляет эта музыка. Но от этой тоски не хочешь оторваться, в ней человек чувствует свои высшие способности, в ней находит надежду, ожидание, счастье, которых жизнь не дает. Первое из Ваших сочинений, которое я услышала, была «Буря». Невозможно выразить то впечатление, какое она произвела на меня; я несколько

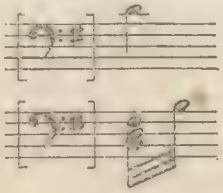
дней была как в бреду, не могла освободиться от этого состояния. Надо Вам сказать, что я не умею отделять музыканта от человека, и даже в нем, в служителе такого высокого искусства, я еще более, чем в других людях, ожидаю и желаю тех человеческих свойств, которым поклоняюсь. Мой идеал человека — непременно музыкант, но в нем свойства человека должны быть равносильны таланту; тогда только он производит глубокое и полное впечатление. Если же, напротив, в музыканте нет человека, то его сочинения, чем лучше они в музыкальном отношении, тем больше производят на меня впечатление обмана, лицемерия и желания эксплоатировать наивных людей. Я отношусь к музыканту-человеку как к высшему творению природы, и как ни много ошибок и разочарований по этому предмету я вынесла, я не могу оторваться от такого убеждения, и вследствие его я особенно чутко отношусь к музыкантам. И потому, как только я оправилась от первого впечатления Вашим сочинением, я сейчас хотела узнать, каков человек, творящий такую вещь. Я стала искать возможности узнать об Вас как можно больше, не пропускала никакого случая услышать что-нибудь, прислушивалась к общественному мнению, к отдельным отзывам, ко всякому замечанию, и скажу Вам при этом, что часто то, что другие в Вас порицали, меня приводило в восторг,—у каждого свой вкус. Еще на-днях из случайного разговора я узнала один из Ваших взглядов, который меня так восхитил, так сочувствен мне, что Вы разом стали мне как будто близким и, во всяком случае, дорогим человеком. Мне кажется, что ведь не одни отношения делают людей близкими, а еще более сходство взглядов, одинаковые способности чувств и тождественность симпатий, так что можно быть близким, будучи очень далеким.

Я до такой степени интересуюсь знать о Вас все, что почти в каждое время могу сказать, где Вы находитесь и, до некоторой степени, что делаете. Из всего, что я сама наблюдала в Вас и слышала от других сочувственных и несочувственных отзывов, я вынесла к Вам самое задушевное, симпатичное, восторженное отношение. Я счастлива, что в Вас музыкант и человек соединились так прекрасно, так гармонично, что можно отдаваться полному очарованию звуков Вашей музыки, потому что в этих звуках есть благородный неподдельный смысл, они написаны не для людей, а для выражения собственных чувств, дум, состояния. Я счастлива, что моя идея осуществима, что мне не надо отказываться от моего идеала, а, напротив, он становится мне еще дороже, еще милее. Когда бы Вы знали, что я чувствую при Вашей музыке и как я благодарна Вам за эти чувства! Было

время, что я очень хотела познакомиться с Вами. Теперь же, чем больше я очаровываюсь Вами, тем больше я боюсь знакомства, — мне кажется, что я была бы не в состоянии заговорить с Вами, хотя, если бы где-нибудь нечаянно мы близко встретились, я не могла бы отнестись к Вам как к чужому человеку и протянула бы Вам руку, но только для того, чтобы пожать Вашу, но не сказать ни слова. Теперь я предпочитаю вдали думать об Вас, слышать Вас в Вашей музыке и в ней чувствовать с Вами заодно. Как мне печально, что я до сих пор не слышала Вашей «Франчески да-Римини»; я с нетерпением жду, когда она выйдет для фортепиано.

Но однако извините меня, Петр Ильич, за все мои выражения, Вам ведь они ни к чему; но не пожалейте, если Вы дали возможность человеку, кончающему жить, почти уже мертвому, как я, на минуту почувствовать жизнь, да еще в таких хороших проявлениях.

Есть еще у меня к Вам покорнейшая просьба, Петр Ильич, которая, может быть, также покажется Вам нелепою. Я не знаю, как люди на это смотрят, но в таком случае Вы, пожалуйста, также откажите мне без церемоний. Дело вот в чем. Есть у Вас в «Опричнике» один номер, который меня с ума сводит; но прежде чем Вам сказать, что я хочу с ним сделать, я хочу Вам объяснить, почему я пришла к этому желанию. По моему впечатлению, ничто лучше этой музыки не передает величия смерти и отчаяния вечной разлуки. При ней в моем воображении всегда стоит такая картина: ярко освещенная церковь, на середине которой стоит гроб с мертвецом; у гроба — человек, оплакивающий потерю дорогого существа. Ночь. При первой теме этой музыки

горе мало-по-малу затихает, склоняется перед грандиозностью смерти, но при этом аккорде

тоска и отчаяние всею силою поражают человека, мысль, что никогда, никогда больше не увижусь, мутит ему рассудок, раздирает сердце, и в это время как будто голос из гроба

напевает ему печальные утешения. О, какая эта музыка! За нее можно жизнь отдать, я хотела бы с нею умереть! Так вот из этих-то мотивов, Петр Ильич, сделайте мне M a r c h e f u n è b r e, если можно. Я прилагаю здесь самую оперу, в которой я отметила то, что мне хочется иметь в марше, и если Вы найдете возможным его сделать, то покорнейше прошу для фортепиано в четыре руки. Если же Вы найдете мою просьбу неудобною, то откажите,—я буду огорчена, но в претензии не буду. Если же исполните, то, пожалуйста, Петр Ильич, не слишком скоро, потому что, право, это есть баловство, на которое я не имею никакого права и которым мне совестно пользоваться.

Позвольте мне издать Ваши переложения для меня, и могу ли я это сделать у Юргенсона или, лучше, у Бесселя?

Еще позвольте мне, Петр Ильич, в переписке с Вами откинуть такие формальности, как «Милостивый государь» и т. п.,— они мне, право, не по натуре, и позвольте просить Вас также в письмах ко мне обращаться без этих тонкостей. Не правда ли, Вы не откажете мне в этом? Душою Вам преданная и уважающая Вас

Н. фон-Мекк.

P. S. Не забудьте, пожалуйста, мою первую просьбу.

6. Чайковский — Мекк

Москва,
16 марта 1877 г.

Вы совершенно правы, Надежда Филаретовна, предполагая, что я в состоянии вполне понять особенности Вашего духовного организма. Смею думать, что Вы не ошибаетесь, считая меня близким себе человеком. Подобно тому, как Вы старались прислушиваться к отзывам общественного мнения обо мне, и я, со своей стороны, не пропускал случая узнать подробности о Вас и о строе Вашей жизни. Я всегда интересовался Вами как человеком, в нравственном облике которого есть много черт, общих и с моей натурой. Уж одно то, что мы страдаем с Вами одною и тою же болезнью, сближает нас. Болезнь эта — мизантропия, но мизантропия особого рода, в основе которой вовсе нет ненависти и презрения к людям. Люди, страдающие этой болезнью,

боятся не того вреда, который может воспоследовать от козней ближнего, а того разочарования, той тоски по идеалу, которая следует за всяким сближением. Было время, когда я до того подпал под иго этого страха людей, что чуть с ума не сошел. Обстоятельства моей жизни сложились так, что убежать и скрыться я не мог. Приходилось бороться с собой, и единый бог знает, чего мне стоила эта борьба[1].

Теперь я уже вышел настолько победителем из этой борьбы, что жизнь давно перестала быть невыносимой. Меня спасает труд, — труд, который в то же время и наслаждение. К тому же, благодаря нескольким успехам, выпавшим на мою долю, я очень ободрился, и хандра, доходившая прежде до галлюцинаций и безумия, посещает меня редко.

Из сказанного выше Вы легко поймете, что меня нисколько не удивляет, что, полюбив мою музыку, Вы не стремитесь к знакомству с автором ее. Вы страшитесь не найти во мне тех качеств, которыми наделило меня Ваше склонное к идеализации воображение. И Вы совершенно правы. Я чувствую, что при более близком ознакомлении со мной Вы бы не нашли того соответствия, той полной гармонии музыканта с человеком, о которой мечтаете.

Теперь позвольте поблагодарить Вас за те выражения любви к моей музыке, которыми так полно Ваше письмо. Если бы Вы знали, как приятно и отрадно музыканту, когда он уверен, что есть душа, которая так же сильно и так же глубоко перечувствует все то, что и он чувствовал, когда замышлял и приводил в исполнение свой труд. Спасибо Вам за Ваши добрые, теплые сочувственные отзывы. Ради подобающего случаю скромничания я не скажу, что недостоин их. Хорошо ли, худо ли я пишу, но несомненно одно, — это то, что я пишу по внутреннему и непоборимому побуждению. Я говорю на музыкальном языке, потому что мне всегда есть что сказать. Я пишу и с к р е н н о, и мне чрезвычайно отрадно встретить в Вас человека, оценившего эту искренность.

Не знаю, будете ли Вы довольны маршем и сумел ли я хоть приблизительно подойти к тому, о чем Вы мечтали[2]. Если нет, то не стесняйтесь сказать мне правду. Когда-нибудь я, может быть, сумею написать нечто более подходящее. Посылаю Вам кабинетную карточку, кажется, впрочем, не особенно удачную. В ближайшем будущем я собираюсь сняться (это для меня одно из самых невыносимых мучений), и тогда я с удовольствием пошлю Вам еще один свой портрет.

Искренно преданный Вам

П. Чайковский.

7. *Мекк — Чайковскому*

[Москва]
18 марта 1877 г.
Пятница.

Благодарю Вас, благодарю бесконечно, крепко жму Вашу руку, Петр Ильич, за фотографию, за милое изображение Ваше, которому я так обрадовалась, что как будто весь мир просветлел для меня, и на сердце стало легко и тепло. Пусть Вам будет всегда так хорошо, как мне было в эту минуту. Я радовалась и тому, что увидела Вас, и тому, что Вы исполнили мою просьбу, а то, по правде сказать, я начинала уже обескураживаться, не зная, как Вы ее приняли. В Вашем письме, так дорогом для меня, только одно меня смутило: этот Ваш вывод из моего страха познакомиться с Вами. Вы думаете, что я боюсь не найти в Вас соединения человека с музыкантом, о котором мечтаю. Да ведь я уже нашла его в Вас, это не есть больше вопрос для меня. В таком смысле, как Вы думаете, я могла бояться прежде, пока не убедилась, что в Вас именно есть все, что я придаю своему идеалу, что Вы олицетворяете мне его, что Вы вознаграждаете меня за разочарование, ошибки, тоску; да, если бы у меня в руках было счастье, я бы отдала его Вам. Теперь же я боюсь знакомства с Вами совсем по другой причине и другому чувству.

Позвольте мне, Петр Ильич, послать Вам мою фотографию. Эта карточка дорога мне, во-первых, потому, что я на ней не одна, а во-вторых, потому, что она есть работа (как фотография) одной из моих дочерей, и, посылая ее Вам, я, конечно, не ожидаю сделать Вам этим удовольствие, а хочу только до некоторой степени выразить Вам то глубокое чувство, которое питаю к Вам,—тем более, что я знаю, что Вы способны понимать и чувство матери.

Ваш «Марш», Петр Ильич, до того хорош, что, я надеюсь, он приведет меня в счастливое состояние сумасшедших, состояние потери сознания всего, что делается горького и обидного на свете. Нельзя передать того хаоса, какой поднимается у меня в голове и сердце при звуках этого марша. Они пробегают дрожью по всем моим нервам, я хочу плакать, я хочу умереть, хочу другой жизни, но не той, в которую верят и ждут другие люди, а иной, неуловимой, необъяснимой. И жизнь, и смерть, и счастье, и страдание — все перемешивается одно с другим: чувствуешь, как поднимаешься от земли, как стучит в виски, как бьется сердце, туманится перед глазами, слышишь ясно только звуки этой чарующей музыки, чувствуешь только то, что происходит внутри тебя, и как хорошо тебе, и очнуться не хочется...

Господи! как велик тот человек, который доставляет другому такие минуты, и как бы я хотела забраться к Вам в душу в то время, когда Вы сами слушаете, например, Вашу «Франческу» или другое что. А что за восторг эта «Франческа»! Может ли кто-нибудь лучше изображать и ужас ада, и прелесть любви, и все, что выше обыкновенного уровня чувств! Куда же Вагнеру с своим реализмом равняться с Вами: он профанатор искусства, к несчастью талантливый; да бог с ним... Хорошо, что мы не немцы, а то бы обязательно было восхищаться: теперь же можно сказать смело: слава богу, что у нас нет Вагнера, а есть Петр Ильич.

Ваше обещание дать мне еще фотографию меня очень обрадовало, и Вы извините меня, Петр Ильич, если я как-нибудь напомню Вам об этом; но как мне понятна и сочувственна Ваша неохота сниматься. Только так как уже эта жертва решенная, что Вы будете фотографироваться, то, пожалуйста, снимитесь так, чтобы Ваши глаза прямо смотрели на того, кто на вас будет смотреть, а то мне теперь обидно, что Вы отворачиваетесь от меня.

Извините меня, Петр Ильич, за такие длинные письма, но как Вы в музыке всегда находите что сказать, так я к Вам всегда имею что сказать, и всё еще не все говорю. Благодарю Вас еще много раз и прошу иногда вспомнить всею душою преданную Вам

Н. фон-Мекк.

P. S. Извините, Петр Ильич, что я только сегодня пишу Вам, но этому причиною то, что одному из моих детей, семилетнему мальчику, вчера делали операцию глаза,— то Вы поймете, конечно, что я не была в состоянии писать, тем более, что хлороформ, на который я рассчитывала как на облегчение страдания, не произвел на него никакого действия. Ему вдыхали столько, что пульс почти останавливался, а он не терял ни сознания, ни чувствительности, так что бедный ребенок вытерпел всю боль.

Мой товарищ по фотографии есть самая младшая пятилетняя моя девочка Людмила, или Милочка, как ее зовут в семействе, которую позвольте Вам отрекомендовать и просить полюбить. Она знает, что из царствующих особ я люблю баварского короля, и помнит его по Байрейту [1], куда он приезжал при нас. Сейчас она сделала мне вопрос, к кому я пишу, и на мой ответ, что я пишу Вам, потому что я Вас очень люблю, она спрашивает меня: «et pourquoi est-ce que tu n'écris pas au Roi de Bavière?»*. Она по аналогии чувства пришла к этому вопросу. Я хочу Вас немножко познакомить с этим субъектиком.

---

* «а почему не пишешь ты баварскому королю?»

8. Мекк — Чайковскому

1877 г. апреля 30. Москва.

Как я соскучилась так долго не получать от Вас ни одного слова, Петр Ильич, и как я рада представившейся возможности удовлетворить этому желанию! Если бы я имела на Вас какое-нибудь право, я бы воспользовалась им для того, чтобы просить Вас позволить мне писать Вам всегда, когда мне захочется, а для этого дать мне возможность знать всегда от Вас самого, где Вы находитесь, в особенности летом, когда я теряю всякую возможность знать что-либо об Вас. Для меня же Ваше обращение не только приятно и дорого, но и благотворно. Поэтому, милый Петр Ильич, если Вы, быть может, найдете возможным исполнить это задушевное желание мое и без всякого права с моей стороны на это, то скажите мне это, и Вы меня несказанно обрадуете.

Вчера я вернулась из Петербурга, и мне так не везет, что опять не слышала Вашего «Вакулу», ни разу не шел при мне, но за это я хочу себя вознаградить иным способом и для того обращаюсь к Вам, Петр Ильич, с покорнейшею просьбою: напишите мне сочинение, которое выражало бы и имело бы название у п р е к (для скрипки с фортепиано). У меня есть такое маленькое сочинение Kohne, которое называется «Le reproche»[1], также для скрипки с фортепиано. Оно мне очень нравится, но не выражает того, что бы я хотела, и к тому же, как кажется, относится к личности. Мой же упрек должен быть безличным, он может относиться к природе, к судьбе, к самой себе, но ни к кому другому. Мой упрек должен быть выражением невыносимого душевного состояния, того, которое выражается по-французски фразою: je n'en peux plus!*. В нем должны сказаться разбитое сердце, растоптанные верования, оскорбленные понятия, отнятое счастье,—все, все, что дорого и мило человеку и что отнято у него без всякой жалости. Если Вы когда-нибудь теряли то, что любили и ставили высоко, то Вы поймете это состояние. В этом упреке должен слышаться отчаянный порыв тоски, невозможность выносить дальше такое страдание, изнеможение и, если можно, смерть, чтобы хоть в музыке найти успокоение, которое не дается в жизни, когда хочешь. Ах да, в упреке еще должно слышаться в о с п о м и н а н и е отнятого счастья. Ничто лучше музыки не может выразить таких душевных состояний, и никто лучше Вас не умеет понять их в другом; потому и смело отдаю в Ваши руки свои чувства, ду-

* я выбился из сил!

мы, желания, и уверена, что не ошибаюсь в этот раз, что я в действительно чистые руки помещаю самую дорогую свою собственность.

Я никак не могу мало писать Вам, мне всегда хочется сказать Вам много, потому что я чувствую такую духовную близость к Вам, что мне хочется всю душу раскрыть перед Вами; я знаю, что Вы поймете все не по общим понятиям, а по Вашим собственным, а их я знаю. Ваши чувства и понятия выросли на музыкальной почве, но не в музыкальной среде, слава богу; оттого они благородны и возвышенны. Это не фразы и не приветствия, а только слабое выражение тех чувств и того восторга, которые Вы возбуждаете во мне.

Мне сказали недавно, что Вы уезжаете из Москвы 5 мая, а позже говорили, что нет, что Вы еще не так скоро уедете из Москвы. Которое из двух сведений верно? Пусть лучше последнее.

Не правда ли, Петр Ильич, Вы не забудете ни одной из моих просьб и, во всяком случае, скажете мне Ваше решение? До свидания. Я не хочу с Вами прощаться, потому что не хочу расставаться. Всею душою Вам преданная

Надежда фон-Мекк.

Если, быть может, Вам любопытно видеть то сочинение Kohne, о котором я говорила, то я пришлю Вам его, Петр Ильич, и тогда обратите внимание в тех же «Etudes caractéristiques» Kohne на «Danse Juive», он очень характерно, до смешного, написан.

9. Чайковский — Мекк

[Москва]
1 мая 1877 г.

Многоуважаемая
Надежда Филаретовна!

Я, разумеется, как и всегда, очень рад буду исполнить Ваше желание и как можно ближе передать в моей будущей пьесе все то, что желали Вы бы в ней слышать. Но на сей раз мне придется заставить Вас подождать больше прежних подобных же случаев. Теперь настало для меня очень суетливое время, и я не знаю, скоро ли найду минуту подходящего расположения духа. Во всяком случае, я на-днях напишу Вам обстоятельно. В эту минуту у меня сидят гости. Потрудитесь прислать пьесу K o h n e.

До свиданья, многоуважаемая Надежда Филаретовна.

Искренно преданный

П. Чайковский.

Чайковский — Мекк

Москва,
1 мая 1877 г.

Многоуважаемая
Надежда Филаретовна!

Несмотря на самые решительные отнекивания одного моего друга[1], хорошо и Вам известного, я имею основание предположить, что его милому коварству я обязан тем письмом, которое получил от Вас сегодня утром. Уже при прежних Ваших музыкальных заказах мне приходило в голову, что Вы руководились при этом двумя побуждениями: с одной стороны, Вам действительно хотелось иметь в той или другой форме то или другое мое сочинение; с другой стороны, прослышав о моих вечных финансовых затруднениях, Вы приходили ко мне на помощь. Так заставляет меня думать слишком щедрая плата, которой Вы вознаграждали мой ничтожный труд. На этот раз я почему-то убежден, что Вы исключительно или почти исключительно руководились вторым побуждением. Вот почему, прочтя Ваше письмо, в котором между строчками я прочел Вашу деликатность и доброту, Ваше трогающее меня расположение ко мне, я вместе с тем почувствовал в глубине души непреодолимое нежелание приступить тотчас к работе и поспешил в моей ответной записке отдалить исполнение моего обещания. Мне очень бы не хотелось, чтобы в наших отношениях с Вами была та фальшь, та ложь, которая неминуемо проявилась бы, если бы, не внявши внутреннему голосу, не проникнувшись тем настроением, которого Вы требуете, я бы поспешил смастерить что-нибудь, послать это «что-нибудь» Вам и получить с Вас неподобающее вознаграждение. Не промелькнула ли бы и у Вас невольно мысль, что я слишком податлив на всякого рода музыкальную работу, результатом которой являются сторублевые бумажки? Не пришла ли бы Вам неожиданно в голову мысль, что, будь Вы бедны, я бы отказался от исполнения Вашей просьбы? Вообще в моих отношениях с Вами есть то щекотливое обстоятельство, что каждый раз, как мы с Вами переписываемся, на сцену являются деньги. Положим, артисту никогда не унизительно получать вознаграждение за свой труд, но ведь кроме труда в сочинение, подобное тому, какого Вы теперь желаете, я должен вложить известного рода настроение, т. е. то, что называется вдохновением, а это последнее не всегда же к моим услугам, и я поступил бы артистически бесчестно, если бы, ради улучшения обстоятельств и злоупотребив своей технической умелостью, выдал Вам фальшивый металл за настоя-

щий. Тем не менее в презренном металле я действительно очень нуждаюсь. Долго было бы Вам рассказывать, как и почему человек, зарабатывающий средства, вполне достаточные для более чем безбедного существования, запутался в долгах до того, что они по временам совершенно отравляют его жизнь и парализуют рвение к работе. Именно теперь, когда нужно скоро уехать и перед отъездом обеспечить себе возможность возвращения, я попал в очень неприятное скопление денежных затруднений, из которого без посторонней помощи выйти не могу.

Эту помощь я теперь решился искать у Вас. Вы — единственный человек в мире, у которого мне не совестно просить денег. Во-первых, Вы очень добры и щедры; во-вторых, Вы богаты. Мне бы хотелось все мои долги соединить в руках одного великодушного кредитора и посредством его высвободиться из лап ростовщиков. Если бы Вы согласились дать мне заимообразно сумму, которая раз навсегда освободила бы меня от них, я бы был безгранично благодарен Вам за эту неоценимую услугу. Дело в том, что сумма моих долгов очень велика: она составляет что-то вроде трех тысяч рублей. Эту сумму я бы уплатил Вам тремя различными путями: 1) исполнением различного рода работ, как, например, аранжементов, подобных тем, которые я для Вас уже делал; 2) предоставлением Вам поспектакльной платы, которую я получаю с дирекции за мои оперы, и 3) ежемесячной присылкой части моего жалованья. Что касается первого способа уплаты, то я просил бы Вас принять к соображению, что Вы можете обращаться ко мне со всякого рода музыкальными работами постоянно и нисколько не стесняясь боязнью затруднить меня. Многолетняя опытность сделала то, что работа, подобная тем аранжементам, которые Вы мне заказывали, стоит мне весьма ничтожного труда, так что, если бы Вы в течение целых десяти лет ежедневно требовали бы от меня подобной работы, я бы не счел это достаточно ценным вознаграждением за ту услугу, которой я прошу у Вас. Другое дело — сочинение, подобное «Упреку». Оно требует известного расположения, соединения известных условий, которое не всегда возможно. Теперь, например, я, во-первых, поглощен симфонией, которую начал писать еще зимой и которую мне очень хочется посвятить Вам, так как, мне кажется, Вы найдете в ней отголоски Ваших сокровенных чувств и мыслей [2]. Всякая другая работа была бы мне в эту минуту тягостна, т. е. я говорю о такой работе, которая требует известных настроений. Во-вторых, я вообще нахожусь теперь в суетливо-нервном и раздраженном состоянии духа, неблагоприятном для сочинения,

невыгодно отражающемся и на симфонии, которая подвигается туго.

Мне бы очень было тяжело, если бы моя просьба показалась Вам неделикатною. Я решился на нее всего более оттого, что она раз навсегда исключила бы из наших сношений с Вами элемент денежный, весьма щекотливый, когда ему приходится всплывать так часто, как это до сих пор было. Мне кажется, что наши сношения с Вами сделаются теперь, во всяком случае, более искренними и простыми. Переписка, которая всякий раз влечет за собой, с одной стороны, уплату, а с другой — получение денег, не может быть безусловно искренна.

Я почему-то уверен, что, как бы Вы ни приняли это письмо, оно не может изменить Вашего мнения о моей честности. В случае, если б, паче чаяния, оно не понравилось Вам, прошу извинить меня. Я очень нервен и раздражен все эти дни, и весьма может статься, что завтра я буду раскаиваться в своем поступке.

Искренно преданный и уважающий Вас

П. Чайковский.

P. S. «Упрек» я все-таки непременно напишу, но не могу определить срока. Когда я решу положительным образом план своего летнего распределения времени, то напишу Вам. Пьесу Kohne потрудитесь прислать мне.

11. Мекк — Чайковскому

1877 г. мая 2. Москва. Понедельник.

Посылаю Вам книгу, Петр Ильич, в которой находится сочинение Kohne «Le reproche», в его «Etudes caractéristiques».

Судя по тому, что Вы мне пишете и что мне известно самой, я думаю, Петр Ильич, не было ли бы, быть может, удобнее отложить работу, о которой я Вас просила, до лета, когда кончатся консерваторские экзамены и Вы будете вполне свободны, а в настоящее время сделать другую, менее требовательную работу, о которой я Вас хочу просить, а именно, переложение для фортепиано в четыре руки Вашего п е р в о г о к в а р т е т а, что мне также очень хочется иметь.

Надеюсь получить от Вас ответ на оба мои письма и позволяю себе при этом случае напомнить Вам обещание Ваше дать мне еще Вашу фотографию последнего сеанса.

Я думаю, Вашим нервам сильно достается от консерваторских экзаменов; дай бог, чтобы они только неслишком расстраивались и чтобы летом можно было с избытком возвратить все здоровье. Искренно Вам преданная

Н. фон-Мекк.

12. Чайковский — Мекк

[Москва]
2 мая 1877 г.

Многоуважаемая
Надежда Филаретовна!

Вчера вечером я написал Вам письмо, которое сегодня утром раздумал было отправить к Вам. Но Ваша сегодняшняя записка окончательно убедила меня в тех предположениях, на которых основано мое вчерашнее письмо. Посылаю его Вам и прошу извинить и простить, если оно покажется Вам неделикатным.

Искренно Вам преданный

П. Чайковский.

Четырехручное переложение первого квартета уже печатается.

13. Мекк — Чайковскому

1877 г. мая 2. Москва. Понедельник.

Благодарю Вас искренно, от всего сердца, многоуважаемый Петр Ильич, за то доверие и дружбу, которые Вы оказали мне Вашим обращением в настоящем случае. В особенности я очень ценю то, что Вы сделали это прямо ко мне, непосредственно, и прошу Вас искренно всегда обращаться ко мне как к близкому Вам другу, который Вас любит искренно и глубоко. Что касается средств возвращения, то прошу Вас, Петр Ильич, не думать об этом и не заботиться, — я сама их найду.

Вы ничего не ответили мне на мою просьбу позволить мне писать Вам всегда, когда мне захочется получить от Вас письмо, т. е. вести с Вами переписку по внутреннему желанию, а не по делу только. Для набожных людей нужны апостолы, проповедники религии, большею частью искаженной. Для меня нужны Вы, чистый проповедник моего любимого, высокого искусства. Так если Вы непрочь, Петр Ильич, спасать мою, право, безгрешную относительно музыкального искусства душу для

7315

земного блаженства (музыкального), хотя не вечного, но восхитительного, то Вы позволите мне переписываться с Вами, и за это Вам какой-нибудь лорд-апостол отпустит один грех.

Что касается посвящения мне Вашей симфонии, то я могу сказать Вам, что Вы также единственный человек, от которого мне было бы это приятно и дорого. Искренно всею душою Вам преданный друг

Н. фон-Мекк.

P. S. Того человека, которого я обыкновенно к Вам посылаю, нет дома, и я должна послать француза; поэтому и адрес по-французски.

14. Чайковский — Мекк

[Москва]
3 мая 1877 г.

Я нахожусь в классе в консерватории и потому не имею возможности ответить Вам обстоятельно и выразить как следует мою благодарность. Вы мне очень, очень помогли, многоуважаемая Надежда Филаретовна. Благодаря Вам я начну теперь вести спокойную жизнь, и это наверное хорошо отзовется на моей музыкальной деятельности.

Сегодня или завтра я отвечу Вам обстоятельнее.

Искренно преданный и глубоко благодарный

П. Чайковский

15. Чайковский — Мекк

[Москва]
3 мая 1877 г.

Многоуважаемая
Надежда Филаретовна!

Я провел вчера один из самых тяжелых дней в моей жизни. Мне совестно было перед Вами. В глубине души я знал наверное, что Вы примете мое письмо так, как Вы его и приняли. Мне казалось, что с просьбами такого рода нехорошо обращаться к людям, которые, как Вы, не умеют отказывать; я упрекал себя в том, что, в конце концов, позволил себе эксплоатировать Вашу доброту, щедрость и деликатность. Напрасно изобретал я различные извинения для себя: внутренний голос говорил мне,

что я перед Вами виноват. Но сегодняшнее письмо Ваше проникнуто такой искренней дружбой, в нем так много самого теплого желания мне добра, что к чувству благодарности ни на волос не примешивается ощущения человека, сделавшего для достижения материальной цели неделикатный поступок. Я очень боялся этого ощущения — оно очень мучительно. Сердечный и дружеский тон Вашего милого письма сделал то, что мне кажется, как будто я поступил так именно, как следовало.

Таким образом, я Вам вдвойне благодарен: Вы не только оказали мне неоценимую дружескую услугу, но сумели оградить меня от собственных моих внутренних упреков совести и укоров. Я, кажется, дурно выражаю то, что хочу сказать. Как ни велика благодарность, но иго этой благодарности иногда тяжко. Нужно иметь бездну деликатности и такта, чтобы, оказывая такие громадные материальные услуги, какую Вы оказали мне, не наложить на одолжаемого этого ига.

Вы спрашиваете, будет ли мне приятно, если Вы будете писать мне всегда, когда Вам захочется. Пожалуйста, не сомневайтесь в этом, многоуважаемая Надежда Филаретовна. Переписка с Вами может быть только приятна для меня, хотя бы потому, что о музыке и по поводу музыки говорить всегда приятно, тем более с Вами. Я уже имел случай объяснить Вам, что чувствую к Вам самую искреннюю и теплую симпатию.

Я намерен это лето и хорошенько заняться и хорошенько полечиться. В прошлом году я пил воды в В и ш и, оказавшие на меня самое благотворное влияние. К сожалению, на меня там напала такая безумная хандра, что доктор посоветовал мне уехать, не кончивши курса, но усиленно приглашал возобновить лечение в нынешнем году [1]. По всей вероятности, в конце лета я поеду в Е с с е н т у к и на Кавказ, где источники имеют те же свойства, что и в В и ш и. До тех пор я проживу, вероятно, у сестры и хочу приняться за оперу, но прежде должен кончить симфонию, которую пишу теперь и посвящение которой Вы приняли. Из нее у меня готовы первые три части в эскизах. За финал я принимался, но в последнее время не расположен к работе и потому откладываю до лета.

Пьесу в pendant к «Reproche» я непременно напишу, но не скрою от Вас, что это сочинение мне неособенно нравится [2]. В этом роде можно сделать лучше, и я не теряю надежды перещеголять Kohne. Пожалуйста, не думайте, что это косвенный упрек Вам в дурном вкусе. Иногда в музыке нравится что-то совсем неуловимое и не поддающееся критическому анализу. Я не могу без слез слышать «Соловья» Алябьева!!! А по отзыву авторитетов это верх пошлости.

Еще раз благодарю Вас, добрая Надежда Филаретовна. Знайте, что Вы меня выручили из о ч е н ь, о ч е н ь скверного положения, и я никогда не забуду этой столь же великой, сколько и деликатно оказанной услуги. Надеюсь, что перед Вашим отъездом Вы еще напишете мне и дадите мне Ваш летний адрес. Очень буду рад вести с Вами деятельную корреспонденцию.

Глубоко Вас уважающий

П. Чайковский.

16. Мекк — Чайковскому

[Москва]
Сокольники.
26 мая 1877 г.

Пользуясь Вашим разрешением, пишу Вам, Петр Ильич, чтобы сообщить мой летний адрес и просить Вас дать мне также Ваш. На-днях я уезжаю из Москвы или, точнее сказать, из Сокольников, где живу в настоящее время у себя на даче. Еду первоначально в Киев, где пробуду несколько дней, оттуда в свое имение Браилов, Каменец-Подольской губернии. Это край по своей природе, растительности и климату прелестный. Свой Браилов я ужасно люблю, как самого по себе, так и по весьма дорогим воспоминаниям. Когда я бываю там, мне хочется, чтобы всем людям на земле было так же хорошо, как мне. Об Вас я буду там вспоминать больше, чем где-нибудь, потому что всегда человек там, где ему нравится, больше всего думает о тех, кого любит.

Я хочу поделиться с Вами моим удовольствием из семейной жизни (другой у меня, впрочем, и нет). Один из моих мальчиков, младший, тринадцатилетний, выдержал экзамен и принят в Училище правоведения, в приготовительный класс, а за старшего я еще в тревоге, потому что экзамены его еще не кончились, и первые предметы прошли неблестяще; я очень боюсь, что он не поступит, тем более, что ему уже четырнадцать лет. Я не знаю, ездите ли Вы в настоящее время за город «ins Grüne»*, как говорят немцы. А как теперь хорошо в этой зелени, с этим легким воздухом, горячим солнцем; в раю, должно быть, всегда лето.

---

* «на природу»

Меня очень беспокоило Ваше намерение ехать на Кавказ, я боялась опасности от войны. Если там нет опасности от регулярной войны, то она есть от набегов разных турецких отпрысков. Пожалуйста, будьте осторожны, Петр Ильич.

Хочу повторить Вам на расставание, что какое бы далекое расстояние ни разделяло нас, не забудьте нигде, Петр Ильич, что имеете во мне самого искреннего друга, всегда готового принять участие во всем, что Вас касается. Для писем и для телеграмм у меня один и тот же адрес. Далее же о каждой перемене адреса я буду Вам сообщать.

Я предполагаю пробыть у себя в деревне до половины августа, а тогда, если не будет войны с Австрией, то поеду за границу, но не решила еще куда.

Я надеюсь, Петр Ильич, получить от Вас теперь Ваш первоначальный адрес, а затем и далее Вы не откажете мне, неправда ли, давать известия о Вашем здоровье, расположении духа, препровождении времени. Мне все, все интересно об Вас знать и также Ваши дальнейшие адресы.

Затем, Петр Ильич, до свидания в письме. От всего сердца жму Вашу руку и прошу не забывать душою преданного Вам друга

Н. фон-Мекк.

P. S. Вас, быть может, удивит такая тщательная упаковка этого письма, но это потому, что конверт слишком транспарантен и сквозь него можно читать письмо.

17. Чайковский — Мекк

[Москва]
27 мая 1877 г.

Благодарю Вас за милое, доброе и дружеское письмо Ваше, многоуважаемая Надежда Филаретовна! Оно тем более дорого мне, что незадолго до получения его меня снова стала терзать совесть за то, что я как бы несколько злоупотребил Вашей изумительной добротой и щедростью. Но не будем больше говорить об этом. Знайте только, Надежда Филаретовна, что моя благодарность к Вам никогда не иссякнет и что я всегда буду помнить, сколько Вам обязан.

Теперь у нас экзамены приближаются к концу. Я очень устал и от них и от разных других забот, сопряженных с отъездом. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, очень тревожившее меня. Я ничего не могу писать Вам об нем теперь, но уже, ве-

роятно, в следующем письме моем я разъясню Вам, в чем дело и чем все это кончится. Большое счастье, что материальные заботы не усложняли моих душевных тревог, а то я заболел бы, мне кажется.

Я еду в воскресенье в деревню к К. С. Шиловскому, очень милому человеку, живущему со своей не менее милой супругой и семейством в своем имении близ Нового Иерусалима. Я буду иметь в своем распоряжении целый флигель и фортепиано. Хочу усердно приняться за сочинение оперы. Шиловский, по моему указанию, составляет мне либретто, взятое из поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Неправда ли, мысль смелая? Те немногие люди, которым я сообщил о своем намерении написать оперу с этим сюжетом, сначала удивлялись моей затее, а потом приходили в восторг. Опера эта будет, конечно, без сильного драматического движения, но зато будет интересна сторона бытовая, и потом сколько поэзии во всем этом! Одна сцена Татьяны с няней чего стоит! Если только я обрету то спокойное состояние духа, которое потребно для сочинения, то чувствую, что текст Пушкина будет действовать на меня самым вдохновляющим образом [1].

Симфонию свою я окончил, т. е. в проекте. В конце лета буду инструментовать ее. Я слышал, Надежда Филаретовна, что Вы никогда не соглашались на посвящение Вам пьес. Вы сделали для меня исключение, за которое премного Вам благодарен. Но если Вам неприятно, чтобы имя Ваше стояло на заглавии симфонии, то, если угодно, можно обойтись и без этого. Пусть Вы и я будем одни знать, кому посвящена симфония. Пожалуйста, распоряжайтесь как угодно. Аранжементы, напечатанные Юргенсоном, будут, конечно, продаваться в мою пользу, хотя мы еще и не уговорились насчет подробностей. Юргенсон поступил неправильно, поставив на заглавном листе выражение «собственность издателя», но это произошло от недосмотра. Благодарю Вас тысячу раз и за этот подарок.

Адрес мой следующий: Моск[овская] губер[ния], в заштатный г. Воскресенск, оттуда в сельцо Глебово, Константину Степановичу Шиловскому.

Желаю Вам счастья, здоровья и всякого благополучия, добрая Надежда Филаретовна.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Разумеется, я буду уведомлять Вас о всех переменах моего адреса. Насчет Кавказа я еще ничего не решил.

18. Мекк — Чайковскому

Браилов,
26 июня 1877 г.

Давно уже я ничего не знаю об Вас, милый Петр Ильич, а Вы не знаете, сколько радости доставляют мне Ваши письма, и не знаете, как мало радости имеют люди, кончающие жить.

В настоящем письме прежде всего я хочу поздравить Вас с наступающим днем Вашего ангела и пожелать Вам при этом, как и всегда, здоровья, радостей, счастья, которых Вы так достойны, как редко кто.

Если этот день Вы будете проводить в кругу Ваших друзей, то вспомните, что далеко от Вас (по расстоянию) находится человек, который любит Вас самым искренним, задушевным чувством, который мыслями и сердцем будет в этот день с Вами, а здесь будет пить Ваше здоровье с самыми горячими пожеланиями Вам всего лучшего в жизни.

Скоро месяц, что я живу в очаровательной Украине, но настоящий южный жар мы испытываем только два дня, и то с перемежающимся дождем, и все-таки здесь так хорошо, что я постоянно жалею, что Вас здесь нет; Ваша поэтическая натура вполне оценила бы этот прелестный край. В нем нет особенно выдающихся, грандиозных сторон природы, но он имеет такой постоянно милый, приветный характер, что мирит человека с жизнью, успокаивает больной мозг его.

Мои забавы здесь — это музыка, править лошадью на шарабане, катанье на лодке, стрельба из револьвера в цель, не заботясь о том, чтобы попасть в нее, игра на биллиарде, чтение и прогулки пешком. Занятия: дела по именью и сахарному заводу, с которыми я имею много хлопот, потому что требуется много людей, а Вы знаете, что хороших трудно достать. На-днях я собираюсь съездить в Одессу.

Домашнее общество у меня очень большое: старшая дочь, Беннигсен, с мужем и ребенком; вторая дочь, моя собственная, потому что не замужем, третья — девятилетняя, и четвертая — Ваша знакомая Милочка, и как чаще ее зовут в семействе, Bébé; эта девочка очень твердо знает Ваше имя и Ваш портрет. Затем сыновья: два мальчика — правоведы, и два — семи и восьмилетние; потом идут две француженки, две немки, двое Ваших учеников — Пахульский и Данильченко, студент, выдержавший на кандидата прав, и англичанин, гувернер старших мальчиков. Сверх того, главный управляющий, директор фабрики и много служащих. Я не сказала Вам еще, что и другой

мой сын выдержал экзамен и поступил прямо в Правоведение и щеголяет уже в форме, которая его очень забавляет.

Расскажите теперь Вы мне, Петр Ильич, что Вы поделываете в деревне. Мне так приятно, так хочется знать об Вас все. Правда ли, что Вы были в Киеве? Мне говорили, что видели Вас на улице в то время, когда и я была в Киеве. Вы, вероятно, теперь работаете над Вашею новою оперою. Я не позволю себе никакой критики либретто, избранного Вами, но скажу с уверенностью, что музыка будет гораздо выше сюжета. По этому поводу я скажу Вам, что я сторонница Писарева и поклонница Чернышевского; из этого Вы поймете мое отношение к Пушкину. Из поэтов той школы я люблю только Лермонтова. Новою же оперою Вашею я заранее восхищаюсь, потому что меня приводит в восторг видеть, как могущественно, как неудержимо вырываетесь Вы из той рамки, в которую ставите себя сюжетом (как это есть уже в «Опричнике»), как оставляете за собой этот ничтожный романтизм и улетаете в высшие сферы человеческих чувств и великих, часто неразрешимых вопросов. О, как я тогда восхищаюсь Вами, как поклоняюсь Вам! Ваша опера будет прекрасна, потому что восхитительно видеть, как орел вырывается из клетки и уносится далеко и высоко. Что за божественное искусство музыка и какую власть оно дает своим избранным служителям!

Вы писали мне, Петр Ильич, о Вашей симфонии и хотели, чтобы я сказала свое желание, что касается до ее посвящения,— то прежде, чем высказать это желание, позвольте мне сделать Вам один вопрос, а именно: считаете ли вы меня своим другом? Я по своему расположению, взгляду на Вас, участию и безграничному желанию Вам всего доброго, имею основание называть себя Вашим другом. Но так как Вы ни разу еще не назвали меня этим именем, то я не знаю, признаете ли Вы меня другом и относитесь ли ко мне как к другу. Если на этот вопрос Вы можете сказать мне да, то мне было бы ужасно приятно, если бы Вы на Вашей симфонии выставили, что Вы посвящаете ее Вашему другу, не называя никакого имени.

Если же на мой вопрос Вы не можете ответить мне утвердительно, то забудьте, Петр Ильич, все то, что я по этому предмету написала, и будьте уверены, что мои чувства к Вам не изменятся от этого ни на иоту. Буду с нетерпением ожидать вести от Вас. От всего сердца жму Вам руку и прошу иногда вспоминать самого преданного и верного друга

Н. фон-Мекк.

P. S. Есть у меня к Вам просьба о работе, да, я думаю, теперь Вам времени мало.

19. Чайковский — Мекк

Москва,
3 июля 1877 г.

Вчера вечером я приехал в Москву, многоуважаемая Надежда Филаретовна. По дороге, в Воскресенске, получил я письмо Ваше, полное, как и всегда, столь дорогого для меня дружеского расположения Вашего. Ради бога, простите, что я не написал Вам ранее. Вот краткая история всего происшедшего со мной в последнее время.

Прежде всего скажу Вам, что я самым неожиданным для себя образом с д е л а л с я ж е н и х о м в последних числах мая. Это произошло так. За несколько времени перед этим я получил однажды письмо от одной девушки, которую знал и встречал прежде. Из этого письма я узнал, что она давно уже удостоила меня своей любовью. Письмо было написано так искренно, так тепло, что я решился на него ответить, чего прежде тщательно в подобных случаях избегал. Хотя ответ мой не подавал моей корреспондентке никакой надежды на взаимность, но переписка завязалась. Не стану Вам рассказывать подробности этой переписки, но результат был тот, что я согласился на просьбу ее побывать у ней. Для чего я это сделал? Теперь мне кажется, как будто какая-то сила рока влекла меня к этой девушке. Я при свидании снова объяснил ей, что ничего, кроме симпатии и благодарности за ее любовь, к ней не питаю. Но, расставшись с ней, я стал обдумывать всю легкомысленность моего поступка. Если я ее не люблю, если я не хочу поощрить ее чувств, то почему я был у нее и чем это все кончится? Из следующего затем письма я пришел к заключению, что если, зайдя так далеко, я внезапно отвернусь от этой девушки, то сделаю ее действительно несчастной, приведу ее к трагическому концу. Таким образом, мне представилась трудная альтернатива: или сохранить свою свободу ценою гибели этой девушки (г и б е л ь здесь не пустое слово: она в самом деле любит меня беспредельно) или ж е н и т ь с я. Я не мог не избрать последнего[1]. Меня поддержало в этом решении то, что мой старый восьмидесятидвухлетний отец, все близкие мои только о том и мечтают, чтобы я женился. Итак, в один прекрасный вечер я отправился к моей будущей супруге, сказал ей откровенно, что н е л ю б л ю ее, но буду ей, во всяком случае, преданным и благодарным другом. Я подробно описал ей свой характер, свою раздражительность, неровность темперамента, свое нелюдимство, наконец, свои обстоятельства. Засим я спросил ее, желает ли она быть моей женой. Ответ был, разумеется,

утвердительный. Не могу передать Вам словами те ужасные чувства, через которые я прошел первые дни после этого вечера. Оно и понятно. Дожив до тридцати семи лет с врожденною антипатиею к браку, быть вовлеченным силою обстоятельств в положение ж е н и х а, притом нимало не увлеченного своей невестой, — очень тяжело. Нужно изменить весь строй жизни, нужно стараться о благополучии и спокойствии связанного с твоей судьбой другого человека, — все это для закаленного эгоизмом холостяка не очень-то легко. Чтоб одуматься, привыкнуть спокойно взирать на свое будущее, я решился не изменять своего первоначального плана и все-таки отправиться на месяц в деревню. Так я и сделал. Тихое деревенское житье в кругу очень милых людей и среди в о с х и т и т е л ь н о й природы подействовало на меня очень благотворно. Я решил, что судьбы своей не избежать и что в моем столкновении с этой девушкой есть что-то роковое. Притом же я по опыту знаю, что в жизни очень часто то, что страшит и ужасает, иногда оказывается благотворным, и, наоборот, приходится разочаровываться в том, к чему стремился с надеждой на блаженство и благополучие. Пусть будет, что будет.

Теперь скажу Вам несколько слов о моей будущей супруге. Зовут ее А н т о н и н а И в а н о в н а М и л ю к о в а. Ей двадцать восемь лет. Она довольно красива. Репутация ее безупречна. Жила она из любви к самостоятельности и независимости своим трудом, хотя имеет очень любящую мать. Она совершенно бедна, образованна не выше среднего уровня (она воспитывалась в Елизаветинском институте), повидимому, очень добра и способна безвозвратно привязываться.

На-днях произойдет мое бракосочетание с ней. Что дальше будет, я не знаю. Но лечиться вряд ли придется. Нужно будет хлопотать об устройстве нашего жилья.

В течение июня месяца я написал значительную часть оперы, и написал бы, конечно, гораздо больше, если бы не тревожное состояние духа. Я нисколько не раскаиваюсь в выборе сюжета. Не могу понять, Надежда Филаретовна, каким образом, любя так живо и сильно музыку, Вы можете не признавать П у ш к и н а, который силою гениального таланта очень часто врывается из тесных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки. Это не пустая фраза. Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть ч т о-т о проникающее в самую глубь души. Это ч т о-т о и есть музыка. Не могу также понять, отчего, будучи так чутки к музыке, Вы можете быть

сторонницей Писарева, который доказывал, что любить музыку так же глупо, как любить соленые огурцы, и что Бетховен настолько же велик, насколько велик повар у Дюссо.

Простите, что так заступаюсь за Пушкина и что нападаю на Писарева и его критические взгляды. Но я настолько же поклоняюсь первому, насколько глубоко ненавижу последнего за его презрение к моему искусству, и мне немножко досадно, что мы расходимся с Вами в этом случае.

Вы спрашиваете меня, могу ли я назвать Вас своим другом. Но можете ли Вы сомневаться в этом, и неужели сквозь строк Вы ни разу не прочли в моих письмах, что я глубоко дорожу Вашей дружбой и что моя дружеская симпатия к Вам самая искренняя, самая теплая? Как я был бы рад доказать Вам когда-нибудь не словами, а делом всю силу моей благодарности и моей искренней любви к Вам! К сожалению, я имею для этого только один путь: мой музыкальный труд. Зато уж в этой сфере я всегда готов служить Вам, и Вы напрасно не пишете о том труде, который Вы хотели от меня. Если я невсегда могу удовлетворить Вашему желанию, касающемуся сочинения той или другой пьесы, потому что невсегда могу находиться в том состоянии духа, который нужен для сочинения, то всегда могу исполнить ту или другую работу музыкальную, в которой Вы от меня нуждаетесь. Я даже усиленно прошу Вас заказывать мне как можно больше подобных работ, дабы я мог мало-по-малу уплатить Вам долг свой.

На симфонии своей я поставлю: «Посвящается моему другу», как Вы того желаете. Это совершенно согласно и с моим желанием.

Засим прощайте, мой дорогой, добрый и милый друг! Пожелайте мне не падать духом в виду той перемены в жизни, которая предстоит мне. Видит бог, что я исполнен относительно подруги моей жизни самых лучших намерений и что, если мы будем с ней несчастливы, то я виноват в этом не буду. Моя совесть спокойна. Если я женюсь без любви, то это потому, что обстоятельства сложились так, что иначе поступить я не мог. Я легкомысленно отнесся к первому изъявлению любви, полученному с ее стороны; я не должен был вовсе отвечать ей. Но, раз поощривши ее любовь ответами и посещением, я должен был поступить так, как поступил. Во всяком случае, повторяю, моя совесть чиста: я не лгал и не обманывал ее. Я сказал ей, чего она может от меня ожидать и на что не должна рассчитывать. Прошу Вас

никому не сообщать о тех обстоятельствах, которые привели меня к женитьбе. Этого, кроме Вас, никто не знает.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Передайте от меня Милочке самый нежный поцелуй.

20. Мекк — Чайковскому

Браилов,
6 июля 1877

Поздравляю Вас, от всего сердца поздравляю, дорогой друг мой, с новым шагом, который вообще и есть лотерея, но за Вас он меня только радует, потому что человеку с таким золотым сердцем, с такою деликатною способностью чувств, как у Вас, грешно было бы зарывать в землю такие сокровища. Вы доставили счастье другому человеку,—следовательно, будете счастливы и сами; да и, по всей справедливости, кому же и быть счастливым, как не Вам, который доставляет столько высоких наслаждений другим. В настоящем случае Вы поступили с тем же благородством, с тою же деликатностью, которые Вам только свойственны. Славный Вы, Петр Ильич, и, конечно, Вы будете счастливы.

Не нахожу слов, чтобы выразить Вам, как глубоко и искренно благодарна я Вам за дружбу и откровенность, которые Вы выражаете мне в Вашем письме, они дороги мне, как счастье. Будьте уверены, Петр Ильич, что я умею ценить Вашу дружбу и умею молчать о чем следует.

Мне было очень приятно, что Вы немножко рассердились на меня за Пушкина и Писарева, потому что в этих выражениях я вижу также проявление дружбы. Но ведь если я не схожусь с Писаревым в его отношении к музыке, то есть много чего другого, в чем я ему сочувствую. В Пушкине я, так же как и Вы, люблю музыкальную сторону его стиха, но ведь это объективность. Я очень рада, что Вы довольны выбором сюжета для Вашей оперы, потому что я тем больше прелести ожидаю от нее, и в ней я буду слушать Петра Ильича, а не Пушкина. Извините, милый друг мой, за упрямство, но что же мне делать, если я Вас ставлю неизмеримо выше Пушкина?

От всей души благодарю Вас за посвящение; эта симфония будет солнце моей жизни.

Я уверена, мой милый, хороший друг, что ни в Вашем новом и ни в каком положении Вы не забудете, что имеете во мне глу-

боко привязаннаго к Вам друга и будете относиться ко мне à part* всех искусственных, напускных взглядов людских и будете видеть во мне только близкого, любящего Вас человека. Вы будете писать мне о себе все, все откровенно, неправда ли, мой дорогой Петр Ильич? И Вы не будете меня стеснять ни в чем относительно Вас.

Я буду очень, очень рада, когда в следующем письме Вы напишете мне, что довольны Вашим новым положением, что Вы счастливы. Пошли Вам бог всего хорошего!

От всего сердца жму Вам руку. Не забывайте всею душою преданную Вам

Н. фон-Мекк.

21. Чайковский — Мекк

Москва,
15 июля 1877 г.

Вчера приехал я в Москву и, отправившись в консерваторию, получил письмо Ваше, дорогая Надежда Филаретовна. В том состоянии нервной возбужденности, в котором я теперь нахожусь, Ваши дружеские речи, Ваше теплое участие ко мне подействовали на меня самым благотворным образом.

Надежда Филаретовна! Как это ни странно, как это ни смело, но я должен, я принужден опять обратиться к Вам за материальною помощью. Вот в чем дело. Из известной Вам суммы у меня оставалось совершенно достаточное количество денег для путешествия на Кавказ и вообще для того, чтоб, не стесняясь в расходах, провести лето совершенно покойно. На сцену явилась женитьба. Все эти деньги ушли на свадьбу и на сопряженные с нею расходы. Между тем, я был совершенно покоен. Жене моей по наследству от отца принадлежит часть леса в Клинском уезде, рублей на четыре тысячи приблизительно. Перед самой женитьбой она начала хлопотать о продаже этого леса и была вправе ожидать, что эта продажа состоится. Ей было обещано все устроить. Мы рассчитывали часть этих денег употребить на жизнь в Москве до приискания квартиры, на устройство нашего будущего жилья, наконец, на мое путешествие в Ессентуки. Как очень часто бывает в подобных случаях с людьми непрактичными, ее просто надули. Продажа леса не состоялась. Таким образом, теперь мы должны п е р е б и в а т ь с я. Нам не на что жить, не на что нанимать квартиру, не на что мне

* независимо от...

ехать в Ессентуки, а между тем уехать куда-нибудь далеко, уединиться, успокоиться и одуматься, лечиться и, наконец, работать мне необходимо, для того чтобы отдохнуть от испытанных треволнений. И вот, ввиду всего этого я должен просить Вас увеличить мой долг еще рублей на тысячу. Не буду рассыпаться в извинениях. Мне тяжело писать Вам эти строки, но я делаю это потому, что Вы одни можете протянуть мне руку помощи, Вы одни в состоянии, не объясняя моей просьбы назойливостью и дурными побуждениями, вывести из крайне неприятного для меня положения.

Завтра или послезавтра я еду с женой к ее матери, живущей в деревне. Мы пробудем там дней пять, потом опять приедем в Москву, и засим я не знаю, что будет. Заранее знаю, что Вы мне опять поможете устроиться; если не ошибаюсь, Вы из тех, которые не умеют отказываться. Позвольте мне, Надежда Филаретовна, отложить рассказ о всем пережитом мною в последнее время до следующего письма. Во-первых, я теперь так нервно раздражен, что не в состоянии сделать покойное и обстоятельное повествование, во-вторых, я еще сам хорошенько не знаю, что со мной делается.

Я не могу еще решить, счастлив ли я или наоборот,— я знаю одно только: я совершенно не в состоянии теперь работать. Это признак тревожного, ненормального душевного настроения. Прощайте, мой милый и дорогой друг. Что бы со мной ни случилось, мысль о Вас меня поддерживает и успокаивает. Ваша дружба будет всегда отрадой моей жизни.

Искренно любящий Вас

П. Чайковский.

P. S. Потрудитесь отвечать мне в консерваторию; там всегда известно мое местопребывание.

22. Мекк — Чайковскому

Браилов,
19 июля 1877 г.

Получив Ваше письмо, я, как всегда, обрадовалась ему несказанно, но, когда стала читать, у меня сжалось сердце тоскою и беспокойством за Вас, мой милый, славный друг. Зачем же Вы так печальны, так встревожены? Ведь такому-то горю пособить легко, и расстраивать себя не стоит: поезжайте ле-

читься, пользоваться природой, спокойствием, счастьем и иногда вспомните обо мне. Я надеюсь, что следующее письмо Ваше будет пространное, что я из него узнаю об Вас все, все, а это такая радость для меня, я так жду Ваших писем.

Время летит возмутительно быстро. Вот уже половины лета как не бывало, а кому остается мало лет провести на земле, тому особенно их жаль. Хотя жизнью-то дорожить не стоит, но минуты хорошего дороги, а летом так хорошо!

Я была в Одессе. Город спокоен и весел, только квартиры в лучшей части города стоят пустые; зато укрепленный берег моря очень оживлен. Электрическое освещение очаровательно, но употребляется, как кажется, больше для забавы публики, чем для стратегичных целей, потому что не помешало турецкой шлюпке подойти под самый берег. Цены на все в Одессе, вопреки правил политической экономии, при уменьшении спроса поднялись безобразно, и на вопрос: почему все так дорого,— отвечают, что потому, что дела идут очень дурно.

Не теряйте времени, Петр Ильич, поехать на Кавказ, во-первых, потому, что позже может быть опаснее, и, во-вторых, чтобы побольше иметь времени отдохнуть, попить воды, набрать сил и здоровья к сезону труда и всяких раздражений.

Я посылаю это письмо отдельно от другого пакета, потому что тот нельзя запечатать.

Напишите мне скорее, мой дорогой, хороший друг. До свидания в следующем письме. Будьте веселы и счастливы. Не забывайте всею душою любящую Вас

Н. фон-Мекк.

23. Чайковский — Мекк

[Москва]
26 июля 1877 г.

Благодарю Вас, Надежда Филаретовна, благодарю. Боюсь сказать что-нибудь смахивающее на фразу и потому ничего не прибавлю к этому слову.

Я еду через час. Остановлюсь на несколько часов в Киеве с специальной целью написать Вам большое письмо и излить душу вполне. Если я выйду победителем из убийственной душевной борьбы, то буду этим Вам обязан, Вам, исключительно Вам. Еще несколько дней, и, клянусь Вам, я бы с ума сошел. Прощайте, мой лучший друг, мое провидение. Дня через три Вы получите мое подробное письмо.

П. Чайковский.

24. Чайковский — Мекк

Киев,
28 июля 1877 г.

Надежда Филаретовна! Вот краткая история всего прожитого мной с 6 июля, т. е. со дня моей свадьбы.

Я уже писал Вам, что женился не по влечению сердца, а по какому-то непостижимому для меня сцеплению обстоятельств, роковым образом приведших меня к альтернативе самой затруднительной. Нужно было или отвернуться от честной девушки, любовь которой я имел неосторожность поощрить, или жениться. Я избрал последнее. Мне казалось, во-первых, что я не премину тотчас же полюбить девушку, искренно мне преданную; во-вторых, я знал, что моя женитьба есть воплощение самой сладостной мечты моего старого отца и других близких и дорогих мне людей.

Но как только церемония совершилась, как только я очутился наедине с своей женой, с сознанием, что теперь наша судьба — жить неразлучно друг с другом, я вдруг почувствовал, что не только она не внушает мне даже простого дружеского чувства, но что она мне н е н а в и с т н а в полнейшем значении этого слова. Мне показалось, что я или, по крайней мере, лучшая, даже единственно хорошая часть моего я, т. е. музыкальность, погибла безвозвратно. Дальнейшая участь моя представлялась мне каким-то жалким прозябанием и самой несносной, тяжелой комедией. Моя жена передо мной ничем не виновата: она не напрашивалась на брачные узы. Следовательно, дать ей почувствовать, что я не люблю ее, что смотрю на нее как на несносную помеху, было бы жестоко и низко. Остается притворяться. Но притворяться целую жизнь — величайшая из мук. Уж где тут думать о работе. Я впал в глубокое отчаяние, тем более ужасное, что никого не было, кто бы мог поддержать и обнадежить меня. Я стал страстно, жадно желать смерти. Смерть казалась мне единственным исходом, — но о насильственной смерти нечего и думать. Нужно Вам сказать, что я глубоко привязан к некоторым из моих родных, т. е. к сестре, к двум младшим братьям и к отцу. Я знаю, что, решившись на самоубийство и приведши эту мысль в исполнение, я должен поразить смертельным ударом этих родных. Есть много и других людей, есть несколько дорогих друзей, любовь и дружба которых неразрывно привязывает меня к жизни. Кроме того, я имею слабость (если это можно назвать слабостью) любить жизнь, любить свое дело, любить свои будущие успехи. Наконец, я еще н е с к а з а л всего того, что могу и хочу ска-

П. И. Чайковский с женой в 1877 г.

ать, прежде чем наступит пора переселиться в вечность. Итак, смерть сама еще не берет меня, сам итти за нею я не хочу и не могу, — что ж остается? Я предупредил жену, что весь август месяц пропутешествую для своего здоровья, которое, действительно, пошатнулось и требует радикального лечения. Таким образом моя поездка стала представляться мне каким-то освобождением, хотя и временным, из ужасного плена, и мысль, что день отъезда не особенно далек, стала придавать мне бодрости. Проведши неделю в Петербурге, мы возвратились в Москву. Здесь мы очутились без денег, потому что мою жену ввел в заблуждение некто г. Кудрявцев, взявшийся продать ее лес и обманувший ее. Тут началась новая вереница тревог и мучений: неудобное помещение, необходимость устроить себе новое жилище и невозможность привести это в исполнение за неимением денег, невозможность мне уехать по той же причине, наконец, тоска и глупейшая жизнь в Москве без дела (заниматься я не мог и потому, что не было энергии для работы, и по неудобству жилища), без друзей, без единой минуты покоя. Не знаю, как я с ума не сошел. Тут пришлось ехать к матери моей жены. Здесь муки мои удесятерились. Мать и весь entourage* семьи, откуда я вошел, мне антипатичен. Кругозор их узок, взгляды мелки, все они друг с другом чуть не на ножах; при всем этом жена моя (может быть, и несправедливо) с каждым часом делалась мне ненавистнее. Мне трудно выразить Вам, Надежда Филаретовна, до какой ужасной степени доходили мои нравственные терзания. Перед отъездом в деревню, в совершенном отчаянии найти возможность выйти из ужасного положения и мучительно преследуя мысль о поездке, я обратился к хорошо знакомому Вам милому, дорогому другу, живущему теперь в Петербурге. Мысль, что он придет ко мне на помощь, уверенность, что освободит меня из убийственных тисков тоски и безумия, поддерживала меня. Но дойдет ли письмо? Предположение, что письмо не дойдет, повергало меня в ужас.

Мы воротились в Москву. Несколько дней еще тянулась эта убийственная жизнь. У меня было два утешения: во-первых, много пил вина, и оно ошеломляло меня и доставляло мне несколько минут забвения; во-вторых, меня радовали свидания [illegible] выразить, сколько братского участия [illegible] это единственный человек, знавший [illegible] и хороший человек в самом [illegible] ю, что несчастия всегда

приходят разом. Совершенно неожиданно я получил извести
о смерти одного из самых близких друзей моих, некоего А д а
м о в а. Я с ним вместе учился, мы вместе когда-то начали служ
бу; несмотря на совершенно различные дороги, мы сохранил
до последнего дня самые интимно-дружеские
пользовался всеми благами жизни: был совершенно здоровы
человек, имел превосход
богат по жене, был безусловно счастлив в семейной обстановк
и вдруг смерть! Это меня окончательно сразило. Наконец,
один прекрасный вечер я получаю письмо из Браилова... З
сим я внезапно ободрился, провел три дня в приготовлениях
к отъезду и в распоряжениях о будущем жилье, а потом,
в т о р н и к, в час пополудни, выехал. Не знаю, что будет дал
ше, но теперь я чувствую себя как бы опомнившимся от ужа
ного, мучительного сна, или, лучше, от ужасной, долгой б
лезни. Как человек, выздоравливающий после горячки, я е
очень слаб, мне трудно связывать мысли, мне очень труд
было написать даже письмо это, но зато какое ощущен
сладкого покоя, какое опьяняющее ощущение свободы и оп
ночества!..

Если знание моей организации не обманывает меня, то оче
может быть, что, отдохнувши и успокоивши нервы, возврат
шись в Москву и попавши в обычный круг деятельности, я
вершенно иначе начну смотреть на жену. В сущности, у
много задатков, могущих составить впоследствии мое счас
Она меня искренно любит и ничего больше не желает, как ч
я был покоен и счастлив. Мне очень жаль ее.

Я остался в Киеве на сутки. Завтра еду к сестре, а отту
на Кавказ. Извините, Надежда Филаретовна, что письмо
бессвязно, бестолково и темно. Я знаю однако же, что Вы п
мете все[1].

Я сказал Вам, что мои нервы, вся душа моя так уста
что я едва могу связать две мысли между собою. Это однак
не мешает этой усталой, но не разбитой душе гореть самой
конечно глубокой благодарностью к тому стократ дорогом
неоцененному другу, который спасает меня. Надежда Фила
товна, если бог даст мне силу пережить ужасную теперешн
минуту, я докажу Вам, что мой
ко мне на помощь. Я еще не
что мне хотелось бы сказать
дет излияния посредств
я оставлю после се
славы первостепе
деяться, что

Надежда Филаретовна, я благословляю Вас за все, что Вы для меня сделали. Прощайте, мой лучший, мой неоцененный, милый друг.

П. Чайковский.

P. S. Если напишете мне, адресуйте в Ессентуки, до востребования. Я напишу Вам, как только приеду туда.

Подробный адрес: По Ростово-Владикавказской дороге, на станцию Минеральные Воды, оттуда в Ессентуки, до востребования.

Буду с нетерпением ожидать письма Вашего в Ессентуки.

25. Чайковский — Мекк

Каменка,
2 августа 1877 г.

Надежда Филаретовна! Я здесь уже четвертый день. Я нашел здесь в сборе всех наиболее близких и дорогих мне родных, т. е., кроме сестры и ее семейства, моих двух любимых братьев. Здешний доктор, сестра и оба брата уговорили меня пить ессентукские воды здесь. Они боятся, что в Ессентуках (очень скучном месте) я начну хандрить, и в таком случае лечение впрок не пойдет. Мне так отрадно побыть немножко в среде этих людей, что я не мог не сдаться. Итак, я решил провести здесь недели три, а потом, совершив поездку в Крым или куда-нибудь в другое хорошее местечко, вернуться к 1 сентября в Москву.

В случае, если Вы были так добры, что написали уже мне в Ессентуки, то письмо это я во всяком случае получу; я написал туда в почтовую контору, чтобы письма, адресованные на мое имя, мне тотчас же переслали сюда. Если же Вы обрадуете меня еще письмами, то потрудитесь адресовать так: Киевской губернии, по Фастовской дороге, на станцию Каменка[1], Льву Васильевичу Давыдову, для передачи П. И. Ч.

Если б я сказал, что нормальное состояние духа вернулось ко мне, то солгал бы. Да это и невозможно. Одно время может только излечить меня, и я нисколько не сомневаюсь, что выздоровление придет постепенно. Но окружающие меня люди самым отрадным образом действуют на мою душу. Я покоен, я начинаю без страха смотреть на будущее. Одно мне досадно. Я решительно не могу еще приняться за работу. Работа

пугает и тяготит меня. Между тем, она именно и должна быть самым могущественным средством против болезненного состояния моего нравственного индивидуума. Буду надеяться, что жажда труда возвратится.

Получили ли Вы мое киевское письмо, Надежда Филаретовна? В нем я довольно подробно изложил Вам, что было на душе. Я очень, очень буду рад иметь известие о Вас. Боже мой, какие чудные, добрые души живут на свете! Встречаясь на тернистом пути жизни с такими людьми, как Вы, приходишь к заключению, что человеческий род вовсе не так черств и эгоистичен, как его представляют пессимисты. Случаются и изумительные исключения. Но изумительны они в полном смысле слова. Если один такой человек, как Вы, приходится на миллион других, то и этого достаточно, чтобы не отчаиваться в людях.

Я, кажется, плохо выражаюсь. На меня нашла какая-то отупелость. Но я знаю, что Вы не увидите пустой фразы там, где я бы хотел выразить самое глубокое и искреннее чувство любви к Вам.

До свиданья, мой дорогой друг. Буду ждать известия о Вас. Отчего Вы так грустно настроены? Почему Вы так мрачно взираете на будущее? О, если б я мог помочь Вам веселее смотреть на жизнь!

Прощайте.

Ваш до гроба преданный

П. Чайковский.

26. Мекк — Чайковскому

Браилов,
8 августа 1877 г.

Как я рада, Петр Ильич, что Вы не поехали на Кавказ, во-первых, потому, что я боялась за Вас, мне казалось там опасно; во-вторых, потому, что Вы находитесь теперь в кругу людей, которые не только любят, но и понимают Вас, а это есть наибольшее счастье во всех человеческих связях, а в-третьих, Вы теперь близко Браилова, и мне как-то весело на сердце от этой мысли.

Письмо Ваше из Киева я получила и глубоко благодарю Вас, мой несравненный друг, за сообщение мне всего, что с Вами происходило. Но как мне было больно, как жаль Вас, читая это письмо, я и сказать не могу. Несколько раз слезы застилали мне глаза, я останавливалась и думала в это время: где же

справедливость, где найти талисман счастья и что за фатализм такой, что лучшим людям на земле так дурно, так тяжело житься. А впрочем, оно и логично: лучшие люди не могут довольствоваться рутинным, пошлым, так сказать, программным счастьем. А чего бы я не дала за Ваше счастье! Но я также вместе с Вами хочу надеяться, что после некоторого отдыха, некоторого времени, проведенного с людьми, у которых с Вами столько общего (когда бы Вы знали, как мне симпатичны эти люди), Вы соберетесь с силами и тогда найдете все лучше того, чем до сих пор. Я не оптимистка, не раскрашиваю ничего дурного в жизни, но нахожу, что бывают положения, в которых необходимо se résigner*, или, вернее сказать по-русски, махнуть на них рукою, примириться, а затем привыкнуть, хотя, правда, это примирение синонимно отупению, — да что же делать, это все-таки легче, чем постоянно сознавать что-нибудь дурное и терзаться им. Впрочем, я по совести оговорюсь, что эта теория есть во мне продукт опыта, но и остается только теорией, потому что в моей натуре психологически и физиологически невозможно применение ее к практике, и только за Ваше спокойствие, за Ваше счастье я готова пропагандировать то, чему не сочувствую. Искренно говорю и желаю Вам и молю провидение, чтобы оно дало Вам ч у в с т в о в а т ь себя счастливым, и тогда все то тяжелое, что Вы испытали, будет только расплатою за хорошее, потому что ведь ничего хорошего нельзя иметь даром. Вы заметили мое расположение духа; Вы желали бы сделать мне жизнь веселее, но ведь уже и теперь Вы делаете мне ее лучше, приветнее. Ваша музыка и Ваши письма доставляют мне такие минуты, что я забываю все тяжелое, все дурное, что достается на долю каждому человеку, как бы ни казался он хорошо обставленным в жизни. Вы единственный человек, который доставляет мне такое глубокое, такое высокое счастье, и я безгранично благодарна Вам за него и могу только желать, чтобы не прекратилось и не изменилось то, что доставляет мне его, потому что такая потеря была бы для меня весьма тяжела.

Я еще не писала Вам в Ессентуки, потому что по моему расчету Вы еще не могли быть там. Через неделю я уезжаю за границу месяца на полтора, прямо отсюда в Вену, затем в Мюнхен, Милан, Флоренцию, Рим и Неаполь. Я и моя дочь очень любим Италию.

У нас здесь сильное военное движение[1]. У меня в самом имении лазарет на двести кроватей. На станции Жмеринка, с ко-

---

* смириться

торою у нас постоянные сношения, также лазарет и беспрерывная перевозка войск, так что она имеет вид военного лагеря: оживление большое, полки идут весело, с песнями, беззаботно, а там, бедные, складывают свои головы, и то без жалобы, без ропота. Недавно у нас между прочими военными обедали один полковой и один бригадный командиры. За столом так весело говорили, пили, много шутили, и теперь под Плевною один из них ранен, а другой убит; бедные семейства остались в горе и беде. О, боже мой, какое бесчеловечное дело — война, и какая обидная вещь — смерть!

У меня в семействе все заняты шитьем белья для раненых. Сегодня проходит Гродненский гусарский полк. Уже за гвардию пришлось приняться. Мой зять и сыновья поехали угощать солдат вином.

До свидания, мой милый, дорогой, незабвенный друг. Или Вы мне напишете в Браилов еще хотя несколько слов о Вашем [*Конец письма не сохранился.*]

27. Чайковский — Мекк

[Каменка]
11 августа 1877 г.

Дорогая Надежда Филаретовна!

Только что получил Ваше письмо и тороплюсь ответить только несколько слов, чтобы застать Вас еще в Браилове. Завтра пошлю Вам более подробное письмо в Вену.

Я чувствую себя неизмеримо спокойнее и лучше. Симпатичная среда, в которой я теперь вращаюсь, тишина и мир, а также леченье водами, которое я начал в прошлую субботу, совершенно воскресили меня. Нужно признаться, что я обнаружил среди постигшего меня испытания необычайное малодушие и совершенное отсутствие мужества. Теперь мне совестно, что я до такой ужасной степени мог пасть духом и поддаться мрачной нервной экзальтации. Пожалуйста простите, что я причинил Вам беспокойство и тревогу. Я т в е р д о уверен, что выйду теперь победителем из несколько тяжелого и щекотливого положения. Нужно будет побороть в себе чувство о т ч у ж д е н н о с т и относительно жены и оценить по достоинству ее хорошие стороны. А они у нее несомненно есть.

Я до такой степени теперь оправился, что даже приступил на-днях к инструментовке В а ш е й симфонии. Один из двух моих братьев, на суждение которого я очень полагаюсь, остал-

ся очень доволен тем, что я ему сыграл из этой симфонии. Надеюсь, что Вам она понравится тоже. Это главное.

До свиданья, милый и дорогой друг.

Ваш П. Чайковский.

Телеграфировать сюда можно и по тому же адресу: Фастовская жел. дорога, ст. Каменка.

28. Чайковский — Мекк

Каменка,
12 августа 1877 г.

Вы совершенно правы, Надежда Филаретовна, говоря, что есть случаи в жизни, когда нужно крепиться, терпеть и искусственно создавать себе хотя бы тень благополучия. Что-нибудь одно: или живи с людьми и тогда знай, что ты обречен на всякого рода невзгоды, или беги куда-нибудь подальше и изолируй себя, по возможности, от всяких случайных встреч и отношений, по большей части приносящих горе и тоску. Я всегда мечтал работать, пока есть силы, и потом, когда приду к убеждению, что на своем пути дальше итти не могу, скрыться куда-нибудь и издали, в щелочку смотреть, как люди копошатся в своем муравейнике. Мысль о том, что я когда-нибудь сойду со сцены и предамся тихой, созерцательной жизни в отдаленном уголке, была для меня большим утешением и целью. Теперь я лишил себя надежды на эту последнюю пристань, и, может быть, сознание того, что смысл моей упорной и неустанной работы утрачен, всего более содействовал тому скверному нравственному состоянию, в котором я находился до отъезда из Москвы. Новая связь приковывает меня теперь навсегда к арене жизни,— убежать нельзя! Остается, как Вы говорите, махнуть рукой и постараться быть искусственно счастливым. Знаете, что мне подбавило бодрости и готовности побороть злую долю? Это—та мысль, что в теперешнее время, когда будущность целой страны стоит на карте и каждый день сиротеет и обращается в нищенство множество семейств, совестно погружаться по горло в свои частные мелкие делишки. Совестно проливать слезы о себе, когда текут в стране потоки крови ради общего дела.

Меня весьма тронула Ваша симпатия к тем милым людям, среди которых я живу. Я могу сказать про них без преувеличения, что они принадлежат к небольшому числу самых лучших людей на свете. Между прочим, сестра моя вместе с своим мужем составляют живое опровержение того мнения, что безусловно

счастливых браков нет. Они уже семнадцать лет живут в таком абсолютном е д и н е н и и двух душ, что между ними разлад немыслим даже в мелочах. Сначала они любили друг друга не сознательно, вследствие инстинктивного взаимного влечения. Теперь их супружеская любовь есть плод сознания, что каждый из двух может служить лучшим украшением человеческой расы. Их счастье до того совершенно, что иногда делается страшно за них. А что, если судьба приготовит им один из тех сюрпризов, которые иногда падают, как снег на голову, в виде болезни, смерти и т. п.? Как бы то ни было, но созерцание этого ничем не нарушаемого и прочного (насколько вообще может быть прочно все земное) счастья весьма благотворно действует на человека, недовольного жизнью. Что касается моих двух младших братьев, то они выросли на моих глазах и отчасти под моим надзором (наша мать умерла, когда они были еще совсем маленькие), и я их люблю самой нежной отеческой любовью. Они близнецы, впрочем нисколько не похожие друг на друга ни в физическом, ни в моральном отношении. Общего между ними только то, что оба очень добры, оба умны и оба мне отплачивают за мою любовь такою же безграничною любовью. Но как странно судьба нас всех разбросала! Мы сходимся только изредка и случайно. Живем в разных городах, деятельности наши не имеют ничего общего между собою. Зато как отрадны бывают дни, когда мы не надолго сходимся все вместе!

Я очень рад, что Вы едете в Италию. Это действительно волшебная, чудная страна. Я только один раз совершил очень коротенькое путешествие, начиная от Венеции до Неаполя[1]. Притом я попал в Италию при очень неблагоприятной погоде. Я прожил в Неаполе неделю и ни разу не видел Везувия, до того упорно шли дожди, а в Венеции было при мне такое наводнение, что по площади св. Марка можно было на лодке кататься. Тем не менее, это путешествие осталось в моей памяти как сладкий, чудный сон. Желаю Вам благополучного путешествия. Я буду мысленно следить за Вами и ждать Ваших милых, дорогих писем.

Симфония н а ш а подвинулась несколько вперед. Первая часть будет мне стоить порядочного труда в инструментовке. Она очень сложна и длинна; вместе с тем, она, как мне кажется, лучшая часть. Зато остальные три очень просты, и оркестровать их будет очень весело. Скерцо представит один новый инструментальный эффект, на который я рассчитываю. Сначала играет один струнный оркестр, и все время пиццикато; в трио вступают деревянные духовые и играют тоже одни; их сменяет группа медных, играющая опять-таки одна; в конце скерцо все три

группы перекликаются коротенькими фразами. Мне кажется, что этот звуковой эффект будет интересен.

Прощайте, добрый и лучший из друзей. Вы не поверите, как я радуюсь, что Вы предпринимаете приятное путешествие и что испытаете много художественных наслаждений. Пожалуйста не скупитесь на письма и на сообщения о всем, что испытаете в поездке.

Безгранично преданный Вам

П. Чайковский.

P. S. Правильно ли я написал Вашу фамилию по-немецки?

29. Мекк — Чайковскому

Вена,
18/30 августа 1877 г.

Бессчетно раз благодарю Вас, Петр Ильич, за два Ваших письма, из которых одно я получила в Браилове, перед самым отъездом, а другое сейчас, в Вене. Сегодня, в семь часов утра, я приехала в Вену, и первым моим делом было послать на почту, потому что я всю дорогу нетерпеливилась получить скорее Ваше письмо, и мое терпение подверглось такому испытанию, которого я никогда не прощу судьбе. Нам от Браилова до Вены — расстояние на восемнадцать часов езды — пришлось ехать сорок три часа, потому что поезд Одесской дороги так опоздал, что я должна была ехать в Вену с пассажирским поездом.

Я с некоторым беспокойством ехала в Вену, так как отношения наши с Австриею довольно fragil'ны * в настоящее время, и я боялась каких-нибудь притеснений. Но однако, против ожидания, по всей дороге я пользовалась тою же любезностью и предупредительностью, как и всегда в этом путешествии. Вена — милый город, и вообще я люблю Австрию за то, что она очень во многом напоминает нашу матушку Россию. В настоящую минуту, впрочем, я чувствую только одно впечатление, — это радость от получения Вашего письма. И как я рада, дорогой Петр Ильич, что Ваше душевное состояние улучшилось и что Вы снова принялись за работу. Дай бог, чтобы это шло прогрессивно. Ваша или, как Вы так мило выразились, н а ш а симфония меня чрезвычайно интересует. Инструментовка скерцо меня восхищает заранее: я так люблю пиццикато, оно таким электрическим током пробегает мне по всем фибрам; смена

---

* непрочны

инструментов без содействия других будет очень оригинальна и, вероятно, очень красива. Какое богатство фантазии, сколько художественной изобретательности у Вас, и как же Вам не работать... ведь в мире редки такие единицы, как Вы!

Вот что мне еще ужасно нравится, что Вы также употребляете это исполнение «con sordine»*; это придает какой-то сдержанный, но тем более глубокий характер выражению, — да где же все пересказать, что у Вас так очаровательно!

А что Ваша опера, Петр Ильич, на чем остановилась? Она меня также очень интересует.

Накануне моего отъезда из Браилова, вследствие открывшихся грешков двух живущих у меня француженок, я должна была их уволить и очутилась с одною немкою при четырех детях от пяти до девятилетнего возраста. Это немножко трудно в путешествии, но у меня есть также существо, о котором я могу говорить с такою же любовью, как Вы о милых людях, окружающих Вас в настоящее время.

Существо это есть моя с о б с т в е н н а я (потому что она не замужем) дочь Юлия, о которой с В а м и, как с человеком, который все умеет понять и оценить и которого я так люблю и уважаю, мне особенно приятно говорить. Эту девушку редко кто сумеет оценить по достоинствам, потому что она, во-первых, не обладает красотой, на что почти единственно люди обращают внимание, а во-вторых, она так замкнута, так сосредоточена в себе, так мало ищет и ожидает чего-нибудь от людей, что близорукие, которые основывают все на внешности, находят это гордостью, напыщенностью и порешают, что она несимпатична, между тем как это совсем не то. Она очень умна, образованна, много читает, имеет огромную силу воли, самообладание и не любит никаких внешних проявлений. Она способна любить горячо и преданно, но не будет выражать этого никакими ласками. До сих пор она любит меня до самопожертвования, но никогда не ласкается ко мне, а заботится обо мне так, как бы она была мать, а я ее ребенок: няньчится со мною, боится за мое спокойствие, за мою безопасность, так что в семействе смеются, что «Юля боится, когда мама и по комнате ходит, как бы чего не случилось с нею». Она все готова делать, лишь бы мне было хорошо, готова взять на себя все трудное, тяжелое, лишь бы мне было легко. Учит и бережет младших братьев и сестер, занимается хозяйством, служит мне секретарем в путешествии, все обдумает и исполнит, и все это так, как будто бы она в свое удовольствие все это делает.

---

* «под сурдину»

Для себя во всех отношениях, материальных и нравственных, она чрезвычайно умеренна и строга, а к другим снисходительна и сострадательна, и все это без фраз, без всяких внешних выражений.

Но однако извините, милый Петр Ильич, что я так увлекаюсь. Быть может, надоело Вам, и не подумайте, пожалуйста, что это из пристрастия. Поверьте мне на слово, что как бы я ни любила кого-нибудь, но никогда не бываю ослеплена, но восхищаюсь безразлично, в постороннем ли человеке, как Вы, например, или в близком мне существе, одинаково горячо всем хорошим, а с Вами мне так приятно говорить о том, что мне дорого и мило.

До свидания, мой добрый, дорогой друг. Не забудьте меня, потому что я всегда и везде буду одинаково всею душою преданным Вам другом.

Н. фон-Мекк.

P. S. Мое имя на иностранных языках пишется: Meck. Если захотите обрадовать меня Вашим письмом, то прошу Вас до 9 сентября адресовать в Милан poste restante*.

30. Мекк — Чайковскому

Bellagio, Lago di Como,
26 августа / 7 сентября 1877 г.

Если я буду говорить о себе, Петр Ильич, то не подумайте, чтобы у меня случилось какое-либо горе, несчастье. Нет, у меня, слава богу, все обстоит благополучно, ничего такого, что люди признают причиною горя, у меня не произошло. А ведь за богатыми они не признают права личной тоски, собственного горя, говорят, что это с жиру бесятся. Пусть так, но тем не менее мне так тоскливо, так тяжело, что я желала бы смерти как блага, как успокоения. Вся окружающая меня обстановка не только не успокаивает, но усиливает это состояние. Это чудное озеро, эти горы в тумане, кипарисы и мирты под окнами, и во всем этом царящие звуки Вашей музыки, — господи, как это мучительно хорошо и как невозможно на земле! Как много создано природою и придумано людьми хорошего, и все это, как природа, так и музыка, только дразнит человека, указывая ему, что есть высокое и полное счастье, да для него оно недоступно. Человек, как только видит призрак такого

* до востребования

счастья, хватается за него и тут же убеждается, что это только оптический обман. И вот тоска, а тут еще природа и музыка доводят его до бессильного отчаяния, — и кто придумал такую злую шутку над человечеством и warum?* А так, видно, это «warum?» и останется без ответа, видно, проблему жизни при жизни никто не разрешит.

Однако я сегодня не в состоянии говорить в мажорном тоне. Лучше остановлюсь и подожду другого расположения духа.

Н. фон-Мекк.

31. *Чайковский — Мекк*

Каменка,
30 августа 1877 г.

Пишу Вам под грустным впечатлением, дорогая Надежда Филаретовна! Сегодня уехал отсюда младший из двух моих милых братьев; старший уже в Петербурге. Погода делается осенней, поля оголились, и мне уж пора собираться. Жена моя пишет мне, что квартира наша скоро готова. Тяжело мне будет уехать отсюда. После испытанных мной треволнений я так наслаждался здешним покоем. Но я уеду отсюда, во всяком случае, человеком здоровым, набравшимся сил для борьбы с фатумом. А главное, что я не обольщаю себя ложными надеждами. Я знаю, что будут трудные минуты, а потом явится привычка, которая, как говорит Пушкин:

...свыше нам дана,
Замена счастию она.

Ведь привык же я к своим консерваторским занятиям, которые прежде казались мне величайшим из бедствий.

Вы спрашиваете про мою оперу. Она подвинулась здесь очень немного, однако ж я инструментовал первую картину первого действия. Теперь, когда первый пыл прошел и я могу уже объективнее отнестись к этому сочинению, мне кажется, что она осуждена на неуспех и на невнимание массы публики. Содержание очень бесхитростно, сценических эффектов никаких, музыка лишенная блеска и трескучей эффектности. Но мне кажется, что некоторые избранные, слушая эту музыку, быть может, будут затронуты теми ощущениями, которые волновали меня, когда я писал ее. Я не хочу сказать этим, что

* почему?

моя музыка так хороша, что она недоступна для п р е з р е н н о й т о л п ы. Я вообще не понимаю, чтоб можно было преднамеренно писать для толпы или для избранников; по-моему, нужно писать, повинуясь своему непосредственному влечению нисколько не думая угодить той или другой части человечества. Я и писал «О н е г и н а», не задаваясь никакими посторонними целями. Но вышло так, что «О н е г и н» на театре не будет и н т е р е с е н. Поэтому те, для которых первое условие оперы — с ц е н и ч е с к о е д в и ж е н и е, не будут удовлетворены ею. Те же, которые способны искать в опере музыкального воспроизведения далеких от трагичности, от театральности, — обыденных, простых, общечеловеческих чувствований, могут (я н а д е ю с ь) остаться довольны моей оперой. Словом, она написана искренно, и на эту искренность я возлагаю все мои надежды.

Если я сделал ошибку, выбрав этот сюжет, т. е. если моя опера не войдет в репертуар, то это огорчит меня мало. Нынешнею зимой я имел несколько интересных разговоров с писателем гр. Л. Н. Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на э ф ф е к т, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей, — тот не вполне художник, его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину [1].

Благодарю Вас за дорогое письмо из Вены. Какое милое существо Ваша дочь Юлия! Радуюсь, что Вы имеете около себя такого друга. Прощайте, милый и добрый друг!

Ваш П. Чайковский.

32. Чайковский — Мекк

Москва.
12 сентября 1877 г.
9 часов утра.

Я вчера приехал в Москву и нашел Ваше письмо с Lago di Como, дорогая Надежда Филаретовна. Глубокая и безысходная тоска, которою оно проникнуто, звучит в совершенный унисон с тем состоянием духа, в котором и я нахожусь с самого отъезда из Каменки и которое сегодня невыразимо, несказанно и бесконечно тяжело. В конце концов, смерть есть действительно величайшее из благ, и я призываю ее всеми силами души. Чтобы дать Вам понять, что я испытываю,

достаточно сказать, что единственная мысль моя—найти возможность убежать куда-нибудь. А как и куда? Это невозможно. невозможно, невозможно!

Простите, что я не удерживаюсь от сообщения Вам моих горестей, когда у Вас и своих довольно.

Я еще не был в консерватории. Сегодня начнутся мои занятия. Домашняя обстановка не оставляет желать ничего лучшего. Жена моя сделала все возможное, чтобы угодить мне. Квартира уютна и мило устроена. Все чисто, ново и хорошо.

Однако ж я с ненавистью и злобой смотрю на все это...[1]

Тот же день.
11 часов.

Два часа тому назад я решил, что невозможно посылать Вам вышенаписанные строки. Теперь я передумал, писать Вам мне хочется, и без ответа я оставить Вас не могу. Между тем, писать к Вам неправду я тоже не могу. Весьма вероятно, что очень скоро тяжелое состояние духа пройдет и успокоится. Нужно пройти через трудные минуты, я это предвидел. Я был вооружен против них. Но я оказался слабее, чем думал. Боже, до чего жизнь тяжела и полна горечи, и как дорого нужно платить за немногие минуты счастья! Садясь за это письмо, я хотел притти на помощь к Вашей тоске и недовольству жизнью. Мне очень бы хотелось Вас утешить, но я не могу Вам сказать ничего, кроме того, что глубоко сочувствую Вам. Надежда Филаретовна, ищите утешения и примирения с жизнью посредством созерцания природы. Преимущество богатства в том и состоит, что оно дает возможность всегда убежать от людей и быть вдвоем с природой, которая в Италии лучше и роскошнее, чем где-либо.

Я инструментовал первую часть симфонии. Теперь несколько дней я буду п р и в ы к а т ь к новой жизни и работать не стану. Когда же почувствую потребность в т р у д е (первый признак нравственного выздоровления), примусь или за инструментовку оперы, или за доканчиванье симфонии, смотря по тому, что окажется нужнее. Во всяком случае, симфония будет окончена к зиме.

Прощайте, дорогая Надежда Филаретовна.

Ваш неизменный и глубоко любящий

Ваш друг П. Чайковский

P. S. Я адресую в Неаполь,—во Флоренции мое письмо уж не застанет Вас. Письмо Ваше из Вены я получил; получили ли Вы мое, адресованное в Милан?

33. *Мекк — Чайковскому*

Венеция,
29 сентября / 11 октября 1877 г.

От всего сердца благодарю Вас, дорогой друг мой, за Ваше милое письмо, которое я получила в Неаполе. Ничего лучшего и более благотворного нельзя сказать человеку, как «я понимаю тебя и сочувствую тебе». С какой бы радостью я исполнила Вашу программу: убежать куда-нибудь подальше от людей и жить с природою, но только Вы забыли, Петр Ильич, что для этого, больше чем материальные средства, надо иметь свободу. Деньги-то достать можно, а свободу ведь ни за какие деньги не купишь. Вот и теперь мне бы очень хотелось остаться подольше в Италии. Я так страдаю от холода, а здесь так тепло, так приветно, но обязанности (одиннадцать человек детей) гонят меня в Россию. Но обо мне говорить не стоит, я уже кончаю жить, да и жизнь-то моя ничего миру не приносит, а вот Вы, мой милый друг, об Вас надо заботиться. Вам надо если уже не счастье, то, по крайней мере, спокойствие и здоровье. Если для того, чтобы Вам уйти куда-нибудь еще отдохнуть, надо только некоторых материальных средств, то скажите мне это, Петр Ильич, ведь Вы же знаете, какого любящего друга Вы имеете во мне, и поймете, что я забочусь о Вас для себя самой. В Вас я берегу свои лучшие верования, убеждения, симпатии, что Ваше существование приносит мне бесконечно много добра, что мне жизнь приятнее, когда я думаю о Ваших свойствах, читаю Ваши письма или слушаю Вашу музыку, что, наконец, я берегу Вас для того искусства, которое я боготворю, выше и лучше которого для меня нет ничего в мире, так как из служителей его нет никого так симпатичного, так милого и дорогого, как Вы, мой добрый друг. Следовательно, мои заботы о Вас есть чисто эгоистичные, и, насколько я имею права и возможности удовлетворять им, настолько они м н е доставляют удовольствие, и настолько *я* благодарна Вам, если Вы принимаете их от меня.

Как бы хорошо Вам было приехать в Италию, Петр Ильич. Что за рай этот Неаполь, каждый шаг за город восхитителен. Итальянцы верно охарактеризовали впечатление, какое он производит, сложивши поговорку: voir Naples et mourir*. Действительно, увидевши его, остается только умереть, потому что лучше ничего нельзя увидеть.

* увидеть Неаполь и умереть.

В нынешнем году очень холодно в Италии, несоответственно стране, и так как я к холоду очень чувствительна, то и простудилась. В Неаполе, конечно, гораздо теплее. В настоящую минуту я сижу у балкона своего Hôtel'я, с которого очаровательный вид на Canal grande, в одну сторону обставленного дворцами в мавританском стиле, в другую соединяющегося с морем. Воды канала совсем голубые, солнце светит ярко, согревает упоительно. Боже мой, как хорошо!

Ваша незнакомая знакомка Милочка имеет привычную фразу для выражения своего восторга, это: Dieu! que c'est beau! * и приучила меня к такому выражению. Хотя оно звучит очень забавно в таком микроскопическом субъекте, как она, но в Италии оно на каждом шагу уместно.

Я не могу не попенять Вам, Петр Ильич, за Вашу мысль не написать мне всего о Вашем душевном настроении... За что же?.. Вы знаете, как преданно я люблю Вас и как дорожу Вашею дружбою. Поэтому прошу Вас, если Вы не хотите меня очень огорчить, пишите мне все, все о себе, не стесняясь моею тоскою, потому что я не придаю ей никакого значения.

Я рассчитываю не позже 15-го быть в Москве. Дорога утомляет меня ужасно, потому что мы слишком мало останавливаемся для отдыха, так как я должна торопиться возвращением в Россию.

Если захотите утешить меня Вашим письмом, Петр Ильич, то пишите, пожалуйста, на Рождественский бульвар в собственный мой дом.

Н. фон-Мекк.

34. Чайковский — Мекк

Clarens,
11/23 октября 1877 г.

Надежда Филаретовна! Вы, вероятно, очень удивитесь, получивши это письмо из Швейцарии. Не знаю, получили ли Вы письмо мое, писанное вскоре по приезде в Москву и адресованное Вам в Неаполь. Ответа на это письмо я не получал. Вот что произошло потом.

Я провел две недели в Москве с своей женой. Эти две недели были рядом самых невыносимых нравственных мук. Я сразу почувствовал, что любить свою жену не могу, и что

* Боже! как это прекрасно!

привычка, на силу которой я надеялся, никогда не придет. Я впал в отчаяние. Я искал смерти, мне казалось, что она единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такою лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее. Мои занятия консерваторские и домашние стали невозможны. Ум стал заходить за разум. И между тем, я не мог никого винить, кроме себя. Жена моя, какая она ни есть, не виновата в том, что я поощрил ее, что я довел положение до необходимости жениться. Во всем виновата моя бесхарактерность, моя слабость, непрактичность, ребячество! В это время я получил телеграмму от брата, что мне нужно быть в Петербурге по поводу возобновления «Вакулы». Не помня себя от счастья хоть на один день уйти из омута лжи, фальши, притворства, в который я попался, поехал я в Петербург. При встрече с братом все то, что я скрывал в глубине души в течение двух бесконечных недель, вышло наружу. Со мной сделалось что-то ужасное, чего я не помню. Когда я стал приходить в себя, то оказалось, что брат успел съездить в Москву, переговорить с женой и с Рубинштейном и уладить так, что он повезет меня за границу, а жена уедет в Одессу, но никто этого последнего знать не будет. Во избежание скандала и сплетней брат согласился с Рубинштейном распустить слух, что я болен, еду за границу, а жена едет вслед за мной.

Теперь я очутился здесь среди чудной природы, но в самом ужасном моральном состоянии. Что будет дальше? Очевидно, я не могу возвратиться теперь в Москву. Я не могу никого видеть, я боюсь всех, наконец, я не могу ничем заниматься. Но и ни в какое другое место России я ехать не могу. Я даже боюсь отправиться в Каменку. Кроме семейства сестры, у которой есть уже большая дочь, там живет многочисленное семейство матери ее мужа, его братья, наконец, целая масса служащих при заводе и разных других лиц. Как они будут смотреть на меня! Что я буду им говорить! Наконец, я не могу теперь говорить ни с кем и ни о чем.

Мне нужно прожить здесь несколько времени, успокоиться самому и заставить немножко позабыть себя.

Мне нужно также устроиться так, чтоб жена моя была обеспечена, и обдумать дальнейшие мои отношения к ней.

Мне нужны опять деньги, и я опять не могу обратиться ни к кому, кроме Вас. Это ужасно, это тяжело до боли и до слез, но я должен решиться на это, должен опять прибегнуть к Вашей неисчерпаемой доброте. Чтобы привезть меня сюда, брат достал небольшую сумму по телеграфу от сестры. Они очень

7315

небогатые люди. Опять просить у них невозможно. Между тем, нужно было оставить денег жене, сделать разные уплаты и приехать сюда как нарочно в такое время, когда курс наш у ж а с е н. Я надеялся, что Рубинштейн что-нибудь устроит мне в виде единовременного пособия. Надежда оказалась тщетной. Словом, я теперь дотрачиваю последние небольшие средства и в виду не имею ничего, кроме Вас.

Не странно ли, что жизнь меня столкнула с Вами как раз в такую эпоху, когда я, сделавши длинный ряд безумий, должен в третий раз обращаться к Вам с просьбой о помощи! О, если б Вы знали, как это меня мучит, как это мне больно! Если б Вы знали, как я был далек от мысли злоупотреблять Вашей добротой!

Я слишком теперь раздражен и взволнован, чтобы писать спокойно. Мне кажется, что все теперь должны презирать меня за малодушие, за слабость, за глупость. Я смертельно боюсь, что и в Вас промелькнет чувство, близкое к презрению. Впрочем, это результат болезненной подозрительности. В сущности, я знаю, что Вы инстинктом поймете, что я несчастный, но не дурной человек.

О, мой добрый, милый друг! Среди моих терзаний в Москве, когда мне казалось, что кроме смерти нет никакого исхода, когда я окончательно отдался безысходному отчаянию, у меня мелькала иногда мысль, что Вы можете спасти меня. Когда брат, видя, что меня нужно увезти куда-нибудь подальше, увлек меня за границу, я и тут думал, что без Вашей помощи мне не обойтись и что Вы опять явитесь моим избавителем от жизненных невзгод. И теперь, когда я пишу это письмо и терзаюсь чувством совестливости против Вас, я все-таки чувствую, что Вы мой н а с т о я щ и й друг, друг, который читает в душе моей, несмотря на то, что мы друг друга знаем только по письмам.

Я бы очень многое хотел сказать Вам, я бы хотел подробнее описать Вам мою жену и почему наше сожительство н е в о з м о ж н о, почему все это случилось, и я пришел к убеждению, что никогда к ней не привыкну, но тон спокойного рассказа теперь еще невозможен.

Почему Вы мне не писали из Неаполя? Не больны ли Вы были? Меня весьма это беспокоит.

Прощайте, Надежда Филаретовна. Простите меня. Я очень, очень несчастлив[1].

Ваш П. Чайковский.

Adresse: Clarens, pension Richelieu.

35. *Мекк — Чайковскому*

Москва,
17 октября 1877 г.

Как несказанно меня обрадовало Ваше письмо, милый, дорогой друг мой! В Москве меня так испугали Вашим отъездом, что я решительно не знала, что думать о нем и чем объяснить себе то, что я не знала об нем ранее. Теперь я знаю все, что было с Вами, бедный друг мой, и как ни больно моему сердцу от всего, что Вы перестрадали и чем испорчена Ваша жизнь, но я все-таки рада, что Вы сделали тот решительный шаг, который был необходим и который есть единственный правильный в данном положении. Раньше я не позволяла себе высказывать Вам своего искреннего мнения, потому что оно могло показаться советом, но теперь я считаю себя вправе, как человек всею душой близкий Вам, сказать мой взгляд на совершившийся факт, и я повторяю, что радуюсь, что Вы вырвались из положения притворства и обмана,—положения, не свойственного Вам и недостойного Вас. Вы старались сделать в с е для другого человека, Вы боролись до изнеможения сил и, конечно, ничего не достигли, потому что такой человек, как Вы, может погибнуть в такой действительности, но не примириться с нею. Слава богу, что Ваш милый брат подоспел к Вам на спасение, и как хорошо, что он поступил так энергично.

Что же касается моего внутреннего отношения к Вам, то, боже мой, Петр Ильич, как Вы можете подумать хоть на одну минуту, чтобы *я* презирала Вас, когда я не только все понимаю, что в Вас происходит, но я чувствую вместе с Вами точно так же, как Вы, и поступала бы так же, как Вы, только я, вероятно, раньше сделала бы тот шаг разъединения, который Вы сделали теперь, потому что мне несвойственно столько самопожертвования, сколько употребляли Вы. Я переживаю с Вами заодно Вашу жизнь и Ваши страдания, и все мне мило и симпатично, что Вы чувствуете и что делаете.

Еще, дорогой мой Петр Ильич, за что Вы так огорчаете и обижаете меня, так много мучаясь материальной стороной? Разве я Вам не близкий человек, ведь Вы же знаете, как я люблю Вас, как желаю Вам всего хорошего, а по-моему, не кровные и не физические узы дают право, а чувства и нравственные отношения между людьми, и Вы знаете, сколько счастливых минут Вы мне доставляете, как глубоко благодарна я Вам за них, как необходимы Вы мне и как мне надо, чтобы Вы были именно тем, чем Вы созданы; следовательно, я ничего и не делаю для Вас, а все для себя. Мучаясь этим, Вы портите мне

счастье заботиться об Вас и как бы указываете, что я не близкий человек Вам. Зачем же так, мне это больно... а если бы мне что-нибудь понадобилось от Вас, Вы бы сделали, не правда ли? Ну, так, значит, мы и квиты, а Вашим хозяйством мне заниматься, пожалуйста, не мешайте, Петр Ильич.

Как я рада, что Вы теперь на милом Женевском озере, в соседстве Château Chillon, Vevey, Montreux... Какие все милые места. Как жаль, что я не могу быть там, где-нибудь поблизости Вас, в Hôtel Byron, например, который я так люблю, в который рвалась все лето, как будто предчувствовала, что Вы хотя позже, а будете там. Но мне времени недостало, чтобы побыть на Женевском озере.

Петр Ильич, сделайте прогулку на станцию Вех, по направлению к St. Maurice, там очаровательное местоположение, но надо смотреть с террасы или сада отеля, который там есть.

Мы много жили на Женевском озере и в Швейцарии вообще и много экскурсий делали. Я в природе люблю до энтузиазма горы и моря, а моя Юля всему предпочитает горы. Сейчас у меня был Николай Григорьевич, чтобы сообщить мне, что он получил от Вас письмо и что Вы находитесь в Clarens. Это потому, что, когда я приехала в Москву, меня поразили известием, что Вы уехали куда-то за границу, и насказали мне таких ужасов, что я пришла в отчаяние и хотела знать, где Вы находитесь. Для этого просила брата узнать Ваш адрес у Рубинштейна. Н[иколай] Г[ригорьевич] сказал, что «Genève, poste restante», но на другой день я получила Ваше письмо, а на третий он приехал сказать, что адрес Ваш в Clarens.

Я не знаю, как Вы, Петр Ильич, а *я* не желала бы, чтобы кто-нибудь знал о нашей дружбе и сношениях; поэтому с Николаем Григорьевичем я вела об Вас разговор как о человеке, мне совсем постороннем. С полным неведением и невинным интересом я спрашивала его, надолго ли и зачем Вы поехали за границу. Он, как казалось, хотел возбудить во мне более горячее участие к Вам, но я удержалась в холодных размерах простой поклонницы Вашего таланта. Он мне говорил некоторые свои проекты на Ваш счет, которые Вам, вероятно, известны. Он говорил, что Ваши нервы в очень расстроенном состоянии. Но ведь теперь Вам лучше, Петр Ильич, не правда ли? Бог даст, скоро Вы совсем поправитесь, приметесь за работу, за нашу симфонию. Музыка будет опять Вас развлекать, наполнять жизнь. Боже мой, как бы я хотела, чтобы Вам было хорошо, Вы так мне дороги!.. А ведь будет хорошо: Вы отдохнете, поправитесь, и все пережитые страдания будут казаться сном, который никогда больше не повторится.

Но однако я Вам надоела, я никак не могу мало писать Вам. Правда ли, что у Вас есть сестра в Швейцарии? Это было бы очень хорошо для Вас в настоящее время.

Н. фон-Мекк.

36. Чайковский — Мекк

Clarens.
20 октября / 1 ноября 1877 г.
Suisse. Clarens.
Pension Richelieu.

Сегодня мне прислали из Москвы несколько писем, пришедших туда в мое отсутствие. В том числе получил я и Ваше немецкое письмо, дорогая Надежда Филаретовна. Как я ни привык полагаться безгранично на Вашу дружбу, как ни твердо я верю в Вас как в какое-то орудие провидения, спасающее меня в столь бедственную эпоху моей жизни, но каждое Ваше письмо всегда превосходит все, чего можно ожидать от самого великодушного, доброго, безгранично снисходительного к ошибкам других человека. Хоть бы единый упрек Вы мне сделали за все мои безумства! Вы все понимаете и прощаете, Надежда Филаретовна! Вы предлагаете мне материальные средства для отдыха. Я предупредил уже Ваше предложение в прошедшем письме моем, которое Вы теперь, вероятно, получили. В этом письме я просил Вас помочь мне еще раз, как это ни тяжело, потому что, чем Вы добрее, щедрее и снисходительнее, тем более совестно обращаться к Вам. Сегодняшнее письмо Ваше облегчило мою душу. Вы в самом деле являетесь в нем моим провидением. Если б Вы знали, как много, много Вы для меня делаете! Я стоял на краю пропасти. Если я не упал в нее, то не скрою от Вас, что это только потому, что я на Вас надеялся. Вашей дружбе я буду обязан своим спасением. Чем я отплачу Вам? О, как бы желал я, чтоб когда-нибудь я был Вам нужен! Чего бы я ни сделал, чтоб выразить Вам мою благодарность и любовь!

Я здесь останусь до тех пор, пока получу, благодаря Вам, возможность уехать в Италию, куда меня тянет неудержимо. Здесь очень хорошо, очень покойно, но несколько мрачно. Первые дни я не мог наглядеться на горы, которыми окружен со всех сторон. Теперь эти горы начинают пугать и давить меня. Ужасно хочется простора. Дня три тому назад пошли дожди, небо стало безнадежно серо, и солнце прячется с утра до вечера.

Вы пишете, что свободы не достанешь ничем, никакими средствами. Да, полной свободы, конечно, не достанешь. Но зато и та ограниченная свобода, которой я теперь пользуюсь, есть для меня верх наслаждения. По крайней мере, я могу теперь работать. Без работы жизнь для меня не имеет смысла. А работать, имея рядом с собой человека, столь близкого по внешности и столь чуждого по внутренним отношениям, было невозможно. Я прошел через ужасное испытание и считаю чудом, что вышел из него с душой не убитой, а только глубоко уязвленной.

Моя сестра, столь же умная, сколько и добрая, пишет мне, что съездила в Одессу, отыскала мою бедную жену и взяла ее к себе в деревню. Сестра обещала мне устроить наши будущие отношения с женой. Что весьма облегчит ее труд, это то, что жена моя обладает непостижимо спокойным нравом. Она, которая угрозой лишить себя жизни заставила меня притти к ней, перенесла мое бегство, разлуку со мной, известие о моей болезни с таким равнодушием, которое я положительно не могу себе объяснить. О, до какой степени я был слеп и безумен!

Добрый, дорогой, лучший друг мой, благодарю Вас!

Ваш П. Чайковский.

37. Чайковский — Мекк

Clarens.
25 октября/6 ноября 1877 г.

Дорогая Надежда Филаретовна!

Получил вчера письмо Ваше. Что я могу сказать Вам, чтоб выразить мою благодарность? Есть чувства, для которых слов нет, и если б я старался прибрать выражения, способные изобразить то, что Вы мне внушаете, то боюсь, что вышли бы фразы. Но Вы читаете в моем сердце, не правда ли? Скажу только одно. До встречи с Вами я еще не знал, что могут существовать люди со столь непостижимо нежной и высокой душой. Для меня одинаково удивительно и т о, ч т о Вы делаете для меня, и т о, к а к Вы это делаете. В письме Вашем столько теплоты, столько дружбы, что оно одно достаточно, чтобы заставить меня снова полюбить жизнь и с твердостью переносить житейские невзгоды. Благодарю Вас за все это, мой неоцененный друг! Я сомневаюсь, чтоб когда-нибудь случай привел меня на деле доказать Вам, что я готов принести для Вас всякую жертву; не думаю, чтоб Вы когда-нибудь могли найти надобность обратиться ко

мне с просьбой оказать Вам какую-нибудь крупную дружескую услугу,— и потому мне остается только услуживать и угождать Вам посредством музыки. Надежда Филаретовна! каждая нота, которая отныне выльется из-под моего пера, будет посвящена Вам! Вам буду я обязан тем, что любовь к труду возвратится ко мне с удвоенной силой, и никогда, никогда, ни на одну секунду, работая, я не позабуду, что Вы даете мне возможность продолжать мое артистическое призвание [1]. А много, много еще мне остается сделать. Без всякой ложной скромности скажу Вам, что все до сих пор мною написанное кажется мне так несовершенно, так слабо в сравнении с тем, что я м о г у и д о л ж е н сделать. И я это сделаю.

Я очень доволен своим настоящим местопребыванием. Независимо от того, что из окон у меня чудеснейший вид на озеро и Савойские горы, а слева на Montreux, мне очень нравится самая вилла, в которой мы поместились с братом. Кроме нас двух, здесь живут еще две больные немки, никогда не выходящие из комнаты. В table d'hôte* мы обедаем вдвоем. Тишина и мир здесь самые невозмутимые. Но не скрою от Вас, что меня неотступно преследует желание поселиться на долгое время в Италии, и я решился недели через полторы переехать с братом прямо в Рим и, наконец, в Неаполь или Соренто. Не знаю, испытывали ли Вы ощущение, которое должно быть знакомо всем северным жителям. После нескольких дней пребывания среди гор, когда досыта наглядишься на их чудные, причудливые формы, является жажда к равнине, к широкому горизонту, к безбрежной дали. Вот почему, несмотря на всю несказанную прелесть здешней местности, я хочу перебраться в Италию, причем всего более меня соблазняет Неаполь. Мне хочется только дорогой остановиться на несколько дней в Риме, чтобы возобновить то подавляюще грандиозное впечатление, которое произвел на меня четыре года тому назад собор Петра и Колизей. Итак, дорогой мой друг, следующего Вашего письма я буду ожидать в Риме, в poste restante, а за сим, избрав прочное местопребывание на несколько месяцев, я сообщу Вам мой адрес.

Вы желаете, чтоб я нарисовал Вам портрет моей жены. Исполняю это охотно, хотя боюсь, что он будет недостаточно объективен. Рана еще слишком свежа.

Она росту среднего, блондинка, довольно некрасивого сложения, но с лицом, которое обладает тою особого рода красотой, которая называется с м а з л и в о с т ь ю. Глаза у нее красивого цвета, но без выражения; губы слишком тонкие, а

---

* общий обеденный стол

поэтому улыбка не из приятных. Цвет лица розовый. Вообще она очень моложава: ей двадцать девять лет, но на вид не более двадцати трех, двадцати четырех. Держится она очень жеманно, и нет ни одного движения, ни одного жеста, которые были бы просты. Во всяком случае, внешность ее скорее благоприятна, чем противоположное. Ни в выражении лица, ни в движениях у нее нет той неуловимой прелести, которая есть отражение внутренней, духовной красоты и которую нельзя приобресть,— она дается природой. В моей жене постоянно, всегда видно ж е л а н и е нравиться; эта искусственность очень вредит ей. Но она, тем не менее, принадлежит к разряду хорошеньких женщин, т. е. таких, встречаясь с которыми, мужчины останавливают на них свое внимание. До сих пор мне было нетрудно описывать мою жену. Теперь, приступая к изображению ее нравственной и умственной стороны, я встречаю непреодолимое затруднение. Как в голове, так и в сердце у нее абсолютная пустота; поэтому я не в состоянии охарактеризовать ни того, ни другого. Могу только уверить Вас честью, что ни единого раза она не высказала при мне ни единой мысли, ни единого сердечного движения. Она была со мной ласкова—это правда. Но это была особого рода ласковость, состоящая в вечных обниманиях, вечных нежностях, даже в такие минуты, когда я не в состоянии был скрыть от нее моей, может быть, и незаслуженной антипатии, с каждым часом увеличивавшейся. Я чувствовал, что под этими ласками не скрывалось истинное чувство. Это было что-то условное, что-то в ее глазах необходимое, какой-то атрибут супружеской жизни. Она ни единого раза не обнаружила ни малейшего желания узнать, что я делаю, в чем состоят мои занятия, какие мои планы, что я читаю, что люблю в умственной и художественной сфере. Между прочим, всего более меня удивляло следующее обстоятельство. Она говорила мне, что влюблена в меня четыре года; вместе с тем, она очень порядочная музыкантша. Представьте, что при этих двух условиях она не знала н и е д и н о й н о т ы и з м о и х с о ч и н е н и й и только накануне моего бегства спросила меня, что ей купить у Юргенсона из моих фортепианных пьес. Этот факт меня поставил в совершенный тупик. Не менее того я удивлялся, узнав от нее, что она никогда не бывала в концертах и квартетных сеансах Муз[ыкального] общ[ества], между тем как она наверное знала, что предмет своей четырехлетней любви она могла всегда там видеть и имела возможность там бывать. Вы спросите, конечно: как же мы проводили время, когда оставались с ней вдвоем? Она очень разговорчива, но весь разговор ее сводился к следующим нескольким предметам. Ежечасно она по-

вторяла мне бесчисленные рассказы о бесчисленных мужчинах, питавших к ней нежные чувства. По большей части, это все были генералы, племянники знаменитых банкиров, известные артисты, даже лица императорской фамилии. Засим, не менее часто она с каким-то неизъяснимым увлечением расписывала мне пороки, жестокие и низкие поступки, отвратительное поведение всех своих родных, с которыми, как оказалось, она на ножах, и со всеми поголовно. Особенно доставалось при этом ее матери. У нее есть две подруги, с которыми и мне пришлось познакомиться. В течение нескольких недель, проведенных мною в сожительстве с женой, каждая из этих подруг беспрестанно падала или снова возносилась во мнении ее. При самом начале нашего знакомства была у ней еще одна подруга, про которую она говорила, что это сестра ее, так она ее любит. Не прошло двух недель, как эта с е с т р а внезапно упала в ее глазах до самой последней степени человеческой негодности. Когда мы были с ней летом в деревне у ее матери, то мне казалось, что отношения их превосходны. Когда я вернулся из Каменки, я узнал, что у них в Москве произошла уже крупная ссора, и вскоре я получил от матери ее письмо, где она мне жаловалась на свою непокорную дочь. Третий предмет ее неутомимой болтливости были рассказы об ее институтской жизни. Им конца не было.

Чтобы дать Вам почувствовать, до чего невозможно мне было добиться от нее хоть единого искреннего душевного движения, я приведу следующий пример. Желая узнать, каковы в ней материнские инстинкты, я спросил ее однажды, любит ли она детей. Я получил в ответ: «Д а, к о г д а о н и у м н ы е».

Мое бегство и известие о моей болезни, привезенное ей братом, она приняла с совершенно непостижимым равнодушием и тотчас же, тут же рассказала ему несколько историй о влюблявшихся в нее мужчинах, засим расспросила, что он любит есть, и побежала в кухню хлопотать об обеде. Ко всему этому справедливость требует, чтоб я прибавил следующее: она всячески старалась угождать мне, она просто пресмыкалась предо мной; она ни единого раза не оспаривала ни одного моего желания, ни одной мысли, хотя бы касавшейся нашего домашнего быта. Она и с к р е н н о желала внушить мне любовь и расточала мне свои нежности до излишества.

Читая все это, Вы, конечно, удивляетесь, что я мог решиться соединить свою жизнь с такой странной подругой? Это и для меня теперь непостижимо. На меня нашло какое-то безумие. Я вообразил себе, что непременно тронусь ее любовью ко мне, в которую я тогда верил, и непременно, в свою очередь, полю-

блю ее. Теперь я получил непоборимое внутреннее убеждение: она меня никогда не любила. Но нужно быть справедливым. Она поступала честно и искренно. Она приняла свое желание выйти за меня замуж за любовь. Затем, повторяю, она сделала все, что в ее силах, чтоб привязать меня к себе.

Увы! чем более она об этом хлопотала, тем более она отчуждала меня от себя. Я тщетно боролся с чувством антипатии к ней, которого, в сущности, она и не заслуживает; но что мне делать с своим непокорным сердцем! Эта антипатия росла не днями, не часами, но минутами, и мало-по-малу превратилась в такую крупную, лютую ненависть, какой я никогда еще не испытывал и не ожидал от себя. Я, наконец, потерял способность владеть собою.

Что дальше было, Вы знаете.

В настоящее время жена моя находится покамест у сестры. Затем она выберет себе постоянное местопребывание.

Вчера брат мой получил письмо от нее. Она является в нем в совершенно новом свете. Из кроткой голубицы вдруг она сделалась довольно сердитой, очень требовательной, очень неправдивой особой. Она мне делает массу упреков, смысл которых тот, что я бессовестно обманул ее. Я ответил ей. Я категорически объяснил ей, что вступать в пререкания с ней не намерен, ибо это ни к чему не ведет. Всю вину я беру на себя. Прошу у нее убедительно простить меня за зло, которое я ей все-таки причинил, и заранее склоняю голову перед всяким ее решением. Но жить с ней я никогда не буду; это я заявил ей в самой положительной форме. Засим, я, разумеется, взял на себя заботы об ее нуждах и просил ее принять от меня средства к существованию. Буду ждать ее ответа. В настоящую минуту я уже обеспечил ее на несколько времени[2].

Вот все, что я могу сказать Вам о моих отношениях к жене. Бросая ретроспективный взгляд на наше краткое сожительство, я прихожу к заключению, что le beau rôle* всецело принадлежит ей, а не мне. Не могу не повторить, что она поступила честно, искренно и последовательно. Она обманывала своей любовью не меня, а себя. Она была, кажется, убеждена, что в самом деле меня любит. Я же хотя и совершенно точно объяснил ей, что любви к ней не питаю, но обещался сделать все, чтобы полюбить ее. И так как я достиг совершенно противоположного результата, то, следовательно, обманул ее. Во всяком случае, она достойна сожаления. Судя по вчерашнему письму, видно,

* лучшая роль

что в ней проснулось и очень сильно заговорило оскорбленное самолюбие.

Я понемногу принимаюсь за работу и теперь могу с уверенностью сказать, что симфония наша будет окончена не далее декабря, и таким образом в этом же сезоне Вы ее услышите. Пусть эта музыка, тесно связанная с мыслью о Вас, скажет Вам за меня, что я люблю Вас всеми силами души моей, мой лучший, несравненный друг.

Прощайте.

Перед отъездом отсюда в Италию я еще напишу Вам. Благодарю, благодарю Вас, дорогая Надежда Филаретовна!

Ваш П. Чайковский.

P. S. Я очень радуюсь, что Вы не дали почувствовать Рубинштейну, что близко знаете меня.

38. Чайковский — Мекк

Clarens.
25 октября/6 ноября 1877 г.

Я вспомнил, Надежда Филаретовна, что недостаточно обстоятельно ответил Вам, и хочу дополнить то письмо, которое послал Вам сегодня утром. Относительно той громадной и слишком щедрой субсидии, которую Вы хотите высылать мне ежемесячно, я хотел заметить, что мне будет приятнее, если всю ее Вы станете посылать прямо мне, так как нахожу неудобным, чтоб Вы принимали на себя труд рассылки ее по разным местам. Переехавши в Италию и избравши себе окончательное местопребывание, я тотчас же пришлю Вам мой адрес. Не могу пропустить этого случая, чтоб еще раз не сказать Вам: спасибо, спасибо, спасибо!!!

Вы спрашиваете, был ли я в окрестностях Montreux. Мы с братом ежедневно ходим далеко в горы, а также нередко делаем пешие прогулки в Вевe или Шильон и Villeneuve, причем, проходя мимо Hôtel Byron, вспоминаю Вас. Я уже давно через Котека знал, что Вы в прошлом году там были. Gorges du Trient я видел прежде когда-то, но перед отъездом в Италию побываю и там. Погода здесь стоит удивительная, на небе совершенно чисто; изредка по нем ползают прозрачные, освещаемые самыми разнообразными способами облачка. Днем бывает тепло, как летом. Впрочем, эта чудная погода установилась только дня четыре тому назад. До тех пор шли дожди, было холодно, сыро и грустно. Сегодня

мы сделали превосходную прогулку пешком в Glion, в горы, через Gorge du Chauderon. Это такая очаровательная прогулка, лучше которой трудно что-нибудь себе представить. Она увенчалась тем, что мы попали на Rigi Vaudois, откуда открывается дивный вид на озеро и берега его. Мы возвратились другим путем, через деревню Sonzier, по прелестной тропинке среди виноградников. В воскресенье, если погода будет так же хороша, мы съездим в Bex и погуляем там.

Нервы мои, действительно сильно расшатавшиеся, теперь находятся в наилучшем состоянии. Я был бы в совершенно розовом настроении духа, если б не воспоминание о таком бесчисленном ряде необдуманных, глупых поступков моих! Работать я уже начал и надеюсь, что скоро она увлечет меня настолько, что я буду забывать о всем случившемся. Великое счастье, что жена моя обладает спокойствием духа à toute épreuve *. В письме к брату она рассказывает ему, как между Курском и Киевом в нее влюбился какой-то полковник.

Прощайте, мой несравненный друг.

П. Чайковский.

39. *Мекк — Чайковскому*

Москва.
29 октября 1877 г.

На этот раз пишу Вам второпях, дорогой друг мой, для того, чтобы застать Вас моим письмом в Риме, так как я не знаю, сколько времени Вы пробудете там.

Вы очень хорошо делаете, что переезжаете в Италию. Я рада за Вас. На меня горы также производят давящее ощущение, как и на Вас, хоть я их чрезвычайно люблю, но для Вашего душевного состояния, конечно, гораздо благоприятнее может быть ласковая природа Италии. В Риме: Trevi, Campidoglio, Forum Romano, Piazza Catena, Monte Pincio,— что за восхитительные места! A St. Pierre! Там дыхание захватывает от восторга и удивления! Из Рима поезжайте, Петр Ильич, в Неаполь, поселитесь в Hôtel Grande Bretagne на Villa Nazionale (бывшая Villa Reale). Там перед окнами море, вдали Sorento, Castellamare, Capri... этот очаровательный Capri со своим Grotte d'azur, с своею безалаберною, но оригинальною tarantelle. Если Вы не были, Петр Ильич, то съездите,

* при всяком испытании

пожалуйста, в Posilippo. Это очень близко, но надо доехать до того места, где берег выступает, где лежит Nisida, карантин, а наверху les bagnes*. Там так хорошо, что слезы подступают к горлу, сердце как будто перестает биться, и хочется умереть. О, как мне всегда хочется туда! Я много раз бывала в Риме и Неаполе и всегда даже вспоминать о них не могу без особенного биения сердца, без восторга.

Как я рада, что Вы можете работать. Чем Вы занимаетесь? Я очень много ожидаю пользы для Ваших нервов и душевного состояния от пребывания в Швейцарии и Италии, но не забывайте и Москву, мой милый, дорогой друг. Вспомните иногда, что есть там Ваш знакомый незнакомец, всею душою любящий Вас друг, сопутствующий Вам мысленно в путешествии и безгранично желающий Вам добра. На Posilippo вспомните обо мне.

Н. фон-Мекк.

40. Чайковский — Мекк

Clarens.
30 октября/11 ноября 1877 г.

Третьего дня после чудной прогулки среди теплого осеннего дня я возвращался домой, охваченный неодолимой потребностью написать Вам хоть несколько слов, дорогая Надежда Филаретовна. Мне хотелось сказать Вам, что я совершенно спокоен и счастлив, устроивши все свои дела так, что остается приняться с удвоенной энергией за работу и в ней найти, наконец, совершенное забвение того длинного кошмара, под гнетом которого я находился. Но дома меня ожидало разочарование, т. е. два письма от моей супруги, которые меня очень, очень расстроили. В первом письме она бросает мне в лицо множество самых оскорбительных обвинений; во втором, написанном через день после того, она, нисколько не отнимая всего того, что заключается в первом, напротив, впадает в самый обычный тон презмыканья и самоуниженья. Эти письма могут служить дополнением к тому портрету ее, который я нарисовал Вам. Меня расстроило, собственно, то, что из писем ее явствует сильное желание, чтоб я вернулся с повинной головой. Она только не знает, как приняться за это; то является кротким агнцем, готовым перенести все из любви ко мне, то, напротив, очень лютой и сердитой дамой, обвиняющей меня в бесчестности и обмане.

---

* тюрьмы для каторжников

Чтобы покончить все это, я в самых мягких формах объявил ей раз навсегда, что ни в какие пререкания, объяснения и взаимные обвинения входить не желаю. Я признаю себя очень виновным перед ней, даю ей слово, что, пока я жив, она ни в чем нуждаться не будет, но вместе с тем объявляю ей решительно, что жить с ней никогда не буду.

Все это меня еще очень волнует. Порою мне бывает все-таки жалко ее. У нее нет ни одного друга, она со всеми родными в ссоре; что она будет делать! Я советую ей найти себе занятия, хотя бы для развлечения, и вместе с тем доказываю ей, что как это на первый взгляд ни покажется ей странным, но все-таки я и мои родные — единственные друзья ее, потому что мне и им благостояние ее и довольство жизнью гораздо дороже, чем кому бы то ни было. В настоящую минуту она находится временно у сестры моей. Сестра, которая не совсем еще, кажется, поняла настоящий смысл моего разрыва с женой, судя по письму ее, надеется своим влиянием перевоспитать мою жену и в отдаленном будущем видит возможность нашего примирения. Теперь она уже, вероятно, получила мое подробное объяснение, почему это совершенно невозможно, и отбросит свое намерение перевоспитать жену мою. Я просил также сестру мою хорошенько объяснить своей belle soeur*, что я никогда не изменю своего намерения жить врозь и что жене нечего желать этого. Словом, не нужно пытаться возвратить прошлое, а лучше хорошенько подумать, как устроить на новых началах будущее. Сестра моя, при ангельской доброте сердца, очень умна, и я возлагаю на нее большие надежды; она придумает, где и как устроить мою жену.

Но довольно об этом. Теперь, принесши жене повинную голову, уверивши ее в моих дружелюбных чувствах и вместе с тем устроивши ее совершенно безбедное существование, я, кажется, могу иметь право перестать терзаться всем этим.

Извините, Надежда Филаретовна, что сообщаю Вам все эти подробности. Мне хочется говорить Вам все, что меня занимает и волнует.

Вчера утром я получил Вашу телеграмму, на которую тотчас же ответил. Я уже Вам объяснил, так сказать, географическую причину, по которой я решился переехать в Италию. Есть еще одна причина. Когда я приехал сюда, я был еще очень болен. Здесь очень хорошо, но каждый из окружающих меня предметов живо напоминает мне мои нравственные терзания. Кстати, со вчерашнего дня и погода стала мрач-

* невестке

ная. Через три дня я решился ехать. Я намерен несколько дней провести в Риме, в котором в первое мое путешествие я был только один день. Многое меня там поразило, и мне сильно хочется обстоятельно посмотреть на этот удивительный город. Сердце же мое едва ли не гораздо больше принадлежит Неаполю, и я думаю, что окончательно поселюсь на зиму там. Во всяком случае, я буду самым обстоятельным образом извещать Вас о моих перегринациях*, которые, впрочем, будут очень несложны, так как из Рима я могу уехать только в Неаполь. А покамест буду ожидать письма Вашего в Риме, в poste restante.

Хорошенько обдумывая все случившееся со мной, я несколько раз натыкался на мысль о провидении, пекущемся, между прочим, и обо мне. Я не только не погиб, когда казалось, что нет другого исхода, но мне теперь хорошо, и в будущем занимается заря счастья и успехов. Нужно Вам сказать, что относительно религии натура моя раздвоилась, и я еще до сих пор не могу найти примирения. С одной стороны, мой разум упорно отказывается от признания истины догматической стороны как православия, так и всех других христианских исповеданий. Например, сколько я ни думал о догмате возмездия и награды, смотря по тому, хорош или дурен человек, я никогда не мог найти в этом веровании никакого смысла. Как провести резкую границу между овцами и козлищами! За что награждать, да и за что казнить? Столь же недоступна моему разумению и твердая вера в вечную жизнь. В этом отношении я совершенно пленен пантеистическим взглядом на будущую жизнь и на бессмертие.

С другой стороны, воспитание, привычка с детства, вложенные поэтические представления о всем, касающемся Христа и его учения, — все это заставляет меня невольно обращаться к нему с мольбою в горе и с благодарностью в счастье. Мне очень захотелось узнать Вас с этой стороны, мой бесценный друг. Вы, наверное, дошли до примирения и додумались до истины. Не найдете ли Вы возможным (если с моей стороны не неделикатно просить у Вас об этом) хотя вкратце разъяснить Ваше отношение к религии? Прощайте, мой дорогой и лучший друг. Нет слов, чтобы выразить Вам мою любовь и благодарность.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Я писал Вам отсюда, кроме первого письма, три раза. Получили ли Вы все это?

---

* путешествиях в чужих краях

41. Чайковский — Мекк

Париж,
1 ноября 1877 г.

Дорогая Надежда Филаретовна!

Я совершенно неожиданно попал на один день в Париж. Дабы не залежались письма, которые я просил адресовать мне в Рим, я выехал из Clarens днем раньше, чем предполагал. В последние дни жизни в Кларенсе я очень страдал своею давнишнею болезнью, т. е. катаром желудка. У меня пропал совершенно аппетит, я скверно спал, и все это отражалось самым неблагоприятным образом на моем нравственном состоянии. Доктор, лечивший меня месяц тому назад в Петербурге, говорил мне, что в значительной степени та преувеличенная нервность, которою я страдаю, зависит от этой болезни. Я в прошлом году лечился с величайшим успехом в Виши, под наблюдением доктора Saligoux, к которому я питаю величайшее доверие. Прежде чем ехать в Неаполь, в страну, языка которой я не знаю, я решился посоветоваться с Saligoux и просить его назначить мне режим, которому я мог бы следовать, живя в Италии, и, кроме того, указать мне какое-нибудь средство и курс лечения. Я решился предпринять эту поездку в Париж, потому что, по отзывам сестры моей, жившей долго в Женеве, знаю, до какой степени там доктора плохи. Между тем, я сильно запустил свою болезнь, и то леченье, которому я подвергся нынче летом в Каменке, может быть, потому, что я не был достаточно покоен духом, не принесло мне пользы. Брат мой, который скоро должен будет со мной расстаться и который очень желал бы оставить меня здесь совершенно здоровым, уговорил меня сделать эту поездку. Мы решились совершить ее в воскресенье, а вчера, в понедельник, выехали и сегодня находимся здесь. Теперь я послал комиссионера отыскать моего Saligoux и жду ответа. Завтра побываю у него и выеду прямо в Рим завтра же или, если не успею, послезавтра. Письмо, о котором мне Вы телеграфировали в Кларенс, я получу в субботу, если выеду завтра. Я сделал в Clarens'е распоряжение, чтобы письма, которые могут притти после моего отъезда оттуда, были мне высланы прямо в Рим, где я намерен пробыть только несколько дней. Тотчас по приезде в Рим я напишу Вам.

Дорогою сюда я ласкал себя надеждою попасть на хороший концерт или хорошую оперу из новых (например, «Le Roi de Lahore»), но, как всегда бывает в подобных случаях, оказалось, что в Grand Opéra сегодня Relâche*, а концерта

* нет спектакля

никакого нет. В Opéra Comique даются какие-то три мелкие пьесы, а в Théâtre Lyrique — «Paul et Virginie» некоего Массе, что меня весьма мало интересует. Таким образом придется уехать не послушавши ничего интересного. Тем не менее, не скрою от Вас, что Париж, как и всегда прежде, производит на меня самое приятное впечатление: что за чудный, полный жизни город! что за движения! Мы ехали с железной дороги в Hôtel через длинную улицу Rivoli, — что это за великолепие!

Прощайте, дорогая Надежда Филаретовна. До следующего письма. Если будет время, то я напишу Вам завтра. В противном случае, до Рима. Несмотря на нездоровье, которое, впрочем, все-таки несерьезно, я чувствовал бы себя очень хорошо, если бы не предстоящее расставание с братом, при мысли о котором сердце у меня болезненно сжимается. Я докончил в Clarens инструментовку 1-го действия «Онегина» и послал ее Рубинштейну. Прощайте, дорогой мой друг.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Распечатываю это письмо по случаю телеграммы от Вас, которую мне сейчас переслала моя хозяйка из Clarens'a. Я как будто предчувствовал, что будет телеграмма, и на всякий случай дал ей свой здешний адрес. Разумеется, все мои кларенские письма Вы уже теперь получили и знаете, что первая lettre chargée* получена мною еще в прошлый понедельник. Мне ужасно совестно, что причиняю Вам столько беспокойства. Добрая, дорогая Надежда Филаретовна, простите меня.

42. Чайковский — Мекк

Париж,
2/14 ноября 1877 г.

Надежда Филаретовна! Оказалось, что мой доктор Saligoux зимой не практикует, а только живет в Париже; поэтому ни в аптеках, ни в «Almanach de 500 000 d'adresses» его адреса не знают. Между тем, мне оказалось тем более необходимо посоветоваться с хорошим доктором, что весь вчерашний день я чувствовал себя весьма дурно. Поэтому я обратился к хозяину отеля с просьбой указать мне хорошего доктора по внутренним болезням. Он дал мне адрес доктора Archambault, будто бы очень известного. Сегодня я был у него. Извест-

* денежное письмо

ный доктор не произвел на меня приятного впечатления. Нужно Вам сказать, что я питаю какой-то суеверный страх к докторам. Только к тем из них приятно обращаться, которые умеют относиться к своим пациентам как к людям, и притом страдающим, а не как к чему-то на что-то жалующемуся и долженствующему столько-то заплатить. Поэтому я так и желал видеть Saligoux, что он лечил меня с любовью и участием. M-r d'Archambault заставил меня очень долго ждать в каком-то великолепном салоне, потом, появившись из-под какой-то портьеры, жестом пригласил меня войти. Едва я начал рассказывать ему историю моей болезни, как он холодно и не без презрения сказал мне: «Oui, je sais tout cela par coeur. Vous n'avez pas besoin de me le dire»*. Засим он скорее сам указывал мне на разные симптомы моей болезни, чем расспрашивал меня. В конце концов он сел писать свою prescription** и потом, вставши, сказал мне: «Monsieur, votre maladie est inguérissable, mais on peut vivre avec elle jusqu'à cent ans!»*** Выслушав его prescription, состоящую из четырех пунктов: 1) принимать какой-то особого рода мел перед завтраком и обедом, 2) за четверть часа до еды пить стакан воды Hauterive, 3) брать des bains de Barèges**** и 4) остерегаться огромной массы различных предметов питания, — я положил на стол гонорар и ушел от него не успокоенный, не получивший доверия к его предписаниям, с сознанием, что я был не у человека-доктора, а у какого-то торговца докторскими советами.

Таким образом моя поездка в Париж оказалась почти напрасною. Это мне очень, очень, очень неприятно. Крюк я сделал очень немаленький, а добился весьма немногого! В сущности, я теперь жестоко караю себя за то, что не поехал прямо в Италию. Мне трудно объяснить Вам то, что меня теперь сердит и волнует. Мне как-то совестно перед Вами, Надежда Филаретовна! Мне кажется, как будто я что-то неподходящее сделал. Не отвечайте мне на это, — я знаю заранее, что Вы меня прощаете. Я сообщаю Вам только об этом неловком ощущении потому, что мне приятно сообщать Вам вообще все.

Всего страннее, что Archambault даже не спросил меня, чем я занимаюсь, отчего я так нервен. А ведь доктору все это нужно знать! Он только спросил, какой я нации, и на

---

* «Да, я знаю все это наизусть. Вам нет надобности мне это рассказывать».

** рецепт

*** «Ваша болезнь неизлечима, но с ней можно прожить до ста лет!»

**** горячие ванны в дер. Бареж в Пиринеях.

ной ответ, что я русский, заметил, что «le climat y est bien rude»*. Ну, господь с ним!

Завтра в 11 часов утра мы едем в Рим. Я очень боюсь, что нам придется приехать в субботу вечером (если я не ошибаюсь, то Рима двое с половиной суток), и таким образом ни в первый, ни во второй день, быть может, нельзя будет получить писем. Все это меня беспокоит, волнует и сердит. Я в недоумении: следовать мне предписанию знаменитого доктора или пренебречь его советами.

Прощайте, дорогая Надежда Филаретовна. Если б я не боялся сказать пошлой фразы, то спросил бы Вас: уж не надоедаю ли я Вам, что слишком часто пишу? Я много думал о Вас эти дни. Я горячо люблю Вас.

Ваш глубоко любящий друг

П. Чайковский.

43. Чайковский — Мекк

Флоренция,
6/18 ноября 1877 г.

Надежда Филаретовна! Мне просто совестно, что приходится писать Вам письмо, исполненное самых меланхолических чувств, и я решился было отсюда ничего не писать Вам, но теперь меня обуяло непреодолимое желание побеседовать с Вами. Мне тяжело быть лживым относительно Вас, даже при всяких оправдывающих обстоятельствах. Мы попали сюда случайно. Около Модены я почувствовал себя до того дурно, целый следующий день я так томился, что решился остановиться на один день во Флоренции, на что нам дает право билет, взятый в Париже, в коем сказано: «avec l'arrêt facultatif pendant trois jours»**. Дело, впрочем, не в болезни. Вчера вечером я принял строгие меры, и сегодня мне уж совсем хорошо. Дело в тоске, в жгучей, сумасшедшей тоске, которая не покидает меня ни на одну минуту. Живя в Кларенсе, среди самой безусловной тишины, среди покоя и весьма простой и удобной обстановки, я иногда грустил и хандрил. Не зная, как объяснить эти припадки меланхолии, я вообразил, что причиною их — горы!!! Какая наивность! Причины этих проходивших очень скоро припадков меланхолии были чисто внутренние. Я вообразил также, что стоит переехать гра-

* «климат там очень резкий».
** «с правом остановки в течение трех дней».

ницу Италии, и начнется нескончаемая радость. Вздор! Здесь мне в сто раз грустнее. Погода чудная; днем жарко, как в июле; есть на что посмотреть, есть чем рассеяться,—а меня терзает гигантская, колоссальная тоска. И чем оживленнее место, в котором я нахожусь, тем хуже. Как это объяснить, я не знаю. Мне кажется, что этого и нельзя объяснить. А главное, я не знаю, что делать. Если б я не просил всех переписывающихся со мной адресовать мне письма в Рим, то, кажется, и не решился бы ехать далее. Во всяком случае, до Рима необходимо доехать, а что там будет, я не знаю. Масса S e h e n s w ü r d i g k e i t e n* Рима пугает меня. Не смотреть на все, что там есть, как-то странно, а смотреть, так для этого нужно быть не больным, нравственно и физически, человеком, как я, а туристом, вояжирующим для своего удовольствия. Вести же жизнь туриста я решительно теперь не могу: это как-то странно, неловко, смешно при известных обстоятельствах русских вообще и моих в частности. Притом же, чтоб бегать с Бедекером в руках по улицам, музеям, церквам Флоренции и Рима, нужно иметь время, специально для этого предназначенное. Я же приехал отдыхать и отдыхать не посредством праздной беготни, а посредством работы. Мне в эту минуту кажется почему-то, что в Италии вообще и в Риме в особенности работать нельзя. В силу всего этого я теперь с т р а ш н о раскаиваюсь, что тронулся из тихого, мирного Clarens'a, где я так охотно и успешно принялся было работать. Я подумываю о том, что не лучше ли вернуться туда! Между тем, брат недели через две должен уехать. В настоящую минуту он находится в галлерее Питти, куда он ушел часа два тому назад. Я уже начинаю тяготиться его отсутствием и жду с минуты на минуту его возвращения. Что же будет, когда он уедет? Я не могу без содрогания подумать об этом. А в Россию ехать я тоже не могу и не хочу! Вот я и верчусь в этом cercle vicieux**!

Очень мне совестно, что я обращаю к Вам мои иеремиады***, к Вам, которая так много сделала, чтобы мне было хорошо и покойно! Очень мне хотелось умолчать обо всем этом перед Вами и дождаться Рима, где, наконец, мы будем завтра утром, но я поддался порыву сердца. Непреодолимо хотелось излиться перед Вами.

---

* достопримечательностей

** заколдованном круге.

*** жалобы.—Об-азное выражение, происходящее от названия книги «Плач Иеремии», приписываемой пророку ветхого завета.

Сейчас я пойду с братом гулять по улицам. Сегодня воскресенье. Движение на улицах большое: все дышит праздничным и веселым настроением. Авось и мне веселее станет.

Прощайте, милая, дорогая Надежда Филаретовна, и, главное, ради бога, не сердитесь на меня. Я знаю, что делаю только одни глупости и что кроме музыки я ни на что не гожусь. К чему я тронулся из Швейцарии, к чему я был в Париже, здесь? Глупо, адски глупо.

Глубоко любящий Вас

П. Чайковский.

44. Чайковский — Мекк

Рим,
7/19 ноября 1877 г.

Продолжаю свой дневник. Сегодня рано утром мы приехали в Рим. Я въезжал в этот столь знаменитый город с сжатым сердцем и полный тех ощущений, о которых я писал Вам вчера. До какой степени верно то, что радости почерпаются нами не из внешних предметов, а из самого себя. Этому может служить подтверждением мое теперешнее путешествие в Италию. В 1874 г. я ехал сюда при совершенно других обстоятельствах, и мне все улыбалось, несмотря на отвратительную погоду. Теперь я уехал из мирного швейцарского уголка, где начинал приходить в себя вполне, где так благотворно действовала на меня подчас и монотонная жизнь кларенского пансиона, и горько в этом раскаиваюсь. Я оказываюсь совсем больным человеком. Никакого шума я буквально переносить не могу; и вчера во Флоренции и сегодня здесь каждый проезжающий экипаж приводит меня в состояние бешенства, каждый крик, каждый звук раздирает мне нервы. Масса людей, двигающихся по узким улицам, начинает злить меня до того, что каждый встречный незнакомец представляется мне лютым врагом. Я теперь только понимаю всю неизмеримость глупости моей поездки сюда. Сейчас мы были с братом в соборе Петра, который тогда, в первую поездку, вызвал во мне слезы восторга. А теперь, кроме невыносимого физического утомления, я ничего не вынес. Я уж не говорю об улицах, о дурном воздухе, о грязи; всего этого я тогда не замечал. Я понимаю, что болезненное состояние застилает перед моими глазами все красоты Рима и выставляет во всей своей яркости его недостатки, но это мало меня утешает. В довершение всего, представьте мою злобу. Одевшись, мы пошли с братом на почту. Я был совершенно уверен, что получу письма от Вас, от сестры, от брата, из консерватории,

от некоторых других лиц, — ничего! ровно ничего, кроме уведомления от флорентийской хозяйки, что пакет с моими черновыми эскизами она получила и отправляет сюда. Всего более меня удивляет, что Ваша lettre chargée еще не дошла сюда! Грустный, раздосадованный и смущенный я вернулся в отель и вместе с комиссионером, хорошо говорящим по-французски, отправился еще раз на почту и получил еще подтверждение, что никакого письма для меня нет. Я убежден, что ни Ваше застрахованное письмо, ни остальные письма не пропали, но все-таки мне это очень неприятно.

Вчера и сегодня мы много говорили с братом о том, что мне теперь сделать, и пришли к следующим заключениям. Очевидно, дальше продолжать путешествие нельзя. Если мне было так ужасно скверно и во Флоренции и здесь, то и в Неаполе не понравится. Между тем, недели через две брат уезжает, и, чтоб сколько-нибудь продлить его пребывание со мной, я решусь, вероятно, проводить его до Вены. Засим, для меня теперь стало ясно, что один остаться я не могу. Поэтому я хочу выписать сюда моего человека[1], живущего праздно в Москве. Проводив брата, я отправлюсь вместе с моим слугой опять в Кларенс и окончательно поселюсь там. Мне очень понравился скромный пансион, где я жил, где было так дешево, так тихо, так нелюдно. Все это будет стоить много денег, но, ради бога, не подумайте, что мне не хватит тех, которые у меня еще есть и которые я имею в виду получить завтра. Мы ездим самым скромным и самым экономным образом. Но вот какой будет результат всего этого. Я надеялся, приехавши в Италию и утвердившись здесь, написать Вам, что присылаемых Вами денег слишком много, и просить Вас уменьшить мой бюджет. Теперь я, покамест, не решаюсь этого сделать. Надежда Филаретовна, простите мне, что я пустил на ветер столько денег своей поездкой в Италию! Я знаю, что Вы меня прощаете, но мне приятно просить Вас об этом. Этим я хоть несколько убавляю переполненную чашу моего гнева и злобы к самому себе. Боже мой, как это все досадно, как грустно!

Но я не вполне досказал Вам свои намерения. Так как я уж решился проводить брата до Вены и дождаться там моего человека, то тотчас по получении Вашего письма, завтра или послезавтра, мы отправимся в Венецию, где и проживем недели полторы-две, до поездки в Вену. В Венеции тихо, и я надеюсь, что я там займусь, а это для меня всего необходимее. Притом же я в Венеции был уже несколько раз, и осматривать там мне нечего. После этих двух недель мне придется пережить расставание с братом, но я к этому себя подготовлю и надеюсь пе-

перенести его бодро. Остальная часть зимы в К л а р е н с е улыбается мне, но если окажется, что я опять ошибся, то остается одно: вернуться в Россию, т. е. не в Москву и не в Петербург, а в деревню к сестре. Я в следующем письме напишу Вам, почему мне этого о ч е н ь, о ч е н ь не хочется. Теперь это даже невозможно, несмотря на всю мою любовь к жителям Каменки.

Уезжая отсюда, я попрошу на почте, чтобы письма, которые придут после меня, были отправляемы в Венецию. Вас же прошу мне написать в В е н у: H ô t e l G o l d e n e s L a m m, L e o p o l d s t a d t. А затем буду ожидать Ваших писем в Кларенсе. Но, ради бога, не думайте, что мне следующая присылка денег будет нужна уже в Вене. С тем, что у меня осталось и что я получу на-днях, мне будет вполне достаточно прожить в Венеции, съездить в Вену, устроить приезд в Вену моего человека (я сейчас напишу распоряжение мое об этом) и возвратиться с ним в Кларенс.

Прощайте, мой многолюбимый и дорогой друг. Когда-то мои письма к Вам перестанут быть бесконечными стенаниями и излияниями тоски! Надеюсь, что скоро. Как только я сброшу с себя невольную роль т у р и с т а, то буду покойнее. Я буду продолжать писать к Вам каждый раз, когда мне понадобится облегчить свою душу исповедью. Но, ради бога, не думайте, что я ожидаю от Вас ответов на каждое из моих писем. Я совершенно понимаю, что Вам некогда вести такую частую корреспонденцию.

Прощайте еще раз, дорогая Надежда Филаретовна.

Ваш П. Чайковский.

Я полагаю, что в Венецию Вы не успеете мне написать, но зато буду твердо веровать, что получу письмо от Вас в Вене.

Сколько времени пропало без работы! На всякий случай даю Вам свой венецианский адрес: H ô t e l S. G a l l o.

Простите, что письмо это так скверно написано.

45. Чайковский — Мекк

Рим,
9/21 ноября 1877 г.
12 часов ночи.

Сегодня утром мы ходили в Ватикан, смотрели великолепную коллекцию статуй и библиотеку. Оттуда отправились на почту, и в том отделении, где выдают простые письма, я

получил несколько писем. В том отделении, где выдаются lettres chargées, чиновник, порывшись несколько времени, объявил мне, что ничего нет. Совершенно озадаченный этим ответом, я отправился в грустном раздумье в ближайший кафе, чтобы прочесть письма и обдумать, как поступить относительно получения Вашего письма, которое, я был уверен, или пропало, или находится здесь, но, во всяком случае, не в дороге. Я решился на всякий случай телеграфировать Вам, чтобы попытаться разъяснить непостижимое недоразумение. Дорогой пришлось проходить мимо почты, и я решился еще раз зайти и попросить чиновника хорошенько поискать. К моему счастью, оказался на смене новый чиновник. Я ему подробно рассказал историю письма и попросил внимательно рассмотреть письма с буквой T в начале. Через пять минут он вынес мне Ваше письмо. По его объяснению, недоразумение произошло оттого, что перед фамилией стоит частичка de!!! Я же полагаю, что все дело в том, что итальянцы ленивы. Но, во всяком случае, это непозволительный беспорядок. Письмо лежит уже более пяти дней, а мне два дня сряду положительно утверждают, что его нет! Но, слава богу, теперь письмо в моих руках. Во-первых, благодарю Вас, Надежда Филаретовна; во-вторых, несмотря на все прелести Неаполя, о которых Вы пишете, я решительно повторяю то же, что писал Вам вчера. Я не в состоянии в настоящее время продолжать путешествие. Я не могу выносить никакого городского шума. Я болен и не могу воспринимать тех наслаждений, которые мне сулит действительно обаятельная красота Неаполя. Я должен поскорее уехать отсюда. Сегодня я ходил по музею Ватикана как идиот, мечтая как можно скорее очутиться в своей комнате и, по возможности, не слышать шума и не видеть людей. Итак, завтра вечером я еду в Венецию, где безвыходно просижу в комнате и постараюсь начать заниматься, а 20-го числа буду в Вене, где надеюсь получить от Вас письмо (Leopoldstadt, Hôtel Goldenes Lamm). Если будут от Вас письма сюда, то их перешлют мне в Вену. Около 25-го или 26-го числа я буду уже в Кларенсе, где засяду настоящим образом за дело. Сегодня, вернувшись домой от банкира Cerasi, я нашел карточку одного старого приятеля, который из списка иностранцев узнал о моем приезде и убедительно просил приехать обедать. В эту минуту я почувствовал всю необъятную силу той мизантропии, которой теперь страдаю. Мной овладел просто панический страх при мысли, что нужно будет рассказывать, как я попал сюда, почему я за границей, где моя жена и т. д. и т. д. Приятель этот — человек очень светский, очень пустой, но очень добрый. Я его не видел семь лет. Так

как не сегодня, то завтра пришлось бы с ним встретиться, потому что он пришел бы опять и добился бы свиданья, то я решился поехать обедать. Весь вечер я ждал с упорным и лихорадочным нетерпением минуты, когда можно будет уехать. Между тем, пришлось еще совершить прогулку в Колизей (сегодня лунная ночь), и только в двенадцатом часу я вернулся домой. Брат уже спит.

Надежда Филаретовна, я вчера писал Вам, что остановлюсь в Венеции в Hôtel S. Gallo. Мой сегодняшний приятель сообщил мне, что этого отеля более не существует, и посоветовал остановиться в Grand Hôtel. Если Вам вздумается мне написать туда, потрудитесь адресовать по этому адресу. Впрочем, еще раз повторяю, что около 20-го числа я буду в Вене.

Прощайте, дорогой, милый мой друг. Благодарю Вас.

Ваш П. Чайковский.

Я получил письмо от сестры довольно неприятного свойства. Она пишет, что жена моя считает себя обманутой и обиженной. Буду ей писать сейчас.

46. Чайковский — Мекк

Венеция,
11/23 ноября 1877 г.

Дорогая Надежда Филаретовна!

Последний день, проведенный в Риме, хотя и очень утомил меня, но вместе и до некоторой степени вознаградил за все мои невзгоды. В этот день, утром, я хлопотал о получении моей черновой симфонии, присланной мне из Кларенса; у меня было известие, что она выслана. Я спрашивал на почте, на железной дороге, в разных местах, указанных гидом; наконец, в бюро центральной администрации. Везде (так же, как накануне на poste restante) со мной были учтивы, искали, но, в конце концов, отвечали, что ничего нет. Вы можете судить о моем беспокойстве! Ведь если бы симфония пропала, у меня бы нехватило сил написать ее всю сызнова по памяти! Кончилось, однако ж, так же, как и накануне, т. е. я потребовал, чтобы поискали повнимательнее, и пакет нашелся. Чиновник, вручивший мне его, отвечал на мой вопрос: почему мне так долго пришлось хлопотать, чтобы получить пакет? — что будто они букву Т приняли за I !!!

Успокоенный с этой стороны, я отправился с братом в Капитолий, и многое там заинтересовало и затронуло меня за живое, особенно одна скульптурная фигура «Умирающего гладиатора». Не могу того же сказать о капитолийской Венере. Она и в первое путешествие и в этот раз оставила меня холодным. В два часа я должен был отправиться к моему приятелю Мосалитинову, который хотел кое-что показать мне в Риме. Мы отправились с ним, с братом и с одной его знакомой, Lady Hamilton (урожденной русской и, несмотря на громкое имя, чуть не умирающей с голоду) в Дворец цезарей. По дороге мы зашли в виллу Боргезе и осмотрели тамошнюю коллекцию картин. И здесь я был в состоянии воспринимать художественные впечатления, и потому несколько картин, в том числе смерть какого-то святого (кажется, Иеронима) Доменикина, очень сильно подействовали на меня. Впрочем, я должен откровенно сказать Вам, что я не из самых ярых любителей пластических искусств и мало одарен способностью тонко распознавать их красоты. Я скоро устаю от быстрого осматривания галлерей. Обыкновенно из целой массы художественных произведений одно, много два-три остановят на себе все мое внимание, я вникну в них до малейшей подробности, проникнусь вполне их настроением и засим все остальное осматриваю довольно поверхностно. Для того чтобы оценить все богатства, вмещаемые в себе Римом, такому недостаточно тонкому ценителю, как я, нужно прожить там год и каждый день осматривать. Как бы то ни было, но галлерея Боргезе оставила во мне очень приятное воспоминание и, кроме картины Доменикина, несколько Рафаэлей (портреты Цезаря Борджиа и Сикста V) остановили на себе мое внимание.

Но что за поразительное, подавляющее своей градиозностью впечатление я вынес из подробного осмотра Дворца цезарей! Что за гигантские размеры, что за красота! На каждом шагу задумываешься, стараешься воскресить в своем воображении картины далекого прошлого, и чем дальше идешь, тем живее рисуются эти грандиозно-изящные картины [1].

Погода была чудная. При каждом повороте менялись виды на грязный, как Москва, но еще гораздо более живописный и более богатый историческими воспоминаниями город. А тут еще рядом Колизей, руины дворца Константина. Все это так величественно, прекрасно и громадно! Я очень доволен, что уехал под столь хорошим и неизгладимым впечатлением. Вечером собирался писать Вам, но, уложившись, для того чтобы на другой день ехать, я так устал, что не в состоянии был рукой двинуть.

Сегодня в шесть часов утра мы приехали в Венецию. Хотя я всю ночь глаз не смыкал, хотя было еще темно и холодно, но своеобразная прелесть города очаровала меня. Мы остановились в Grand Hôtel. Окна выходят на Grand Canal и перед глазами S-ta Maria della Salute, изящное, грандиозное здание. Я только недоволен, что в этом отеле все оказалось дорого, тогда как меня уверяли, что, совершенно напротив, здесь и хорошо и дешево.

Целый день я бегал по Венеции и восхищался. Вообще я чувствую себя хорошо. Сегодня нужно будет выспаться, а завтра приняться за работу. Здоровы ли Вы, довольны ли Вы, веселы ли Вы, покойны ли Вы, мой милый, дорогой знакомый-незнакомый друг? До следующего письма!

Ваш П. Чайковский.

47. Мекк — Чайковскому

Москва,
12 ноября 1877 г.

Как долго я не могла писать Вам, милый, хороший друг мой! Зато теперь пишу такое длинное письмо, что Вы будете три дня читать его.

Благодарю Вас от всего сердца, Петр Ильич, за Ваши милые, дорогие письма. Мне в тот день весело и хорошо, в который я получаю Ваше письмо. Я желала бы, чтобы судьба дала Вам такое непрерывное счастье, какое Вы мне доставляете Вашими письмами.

Меня очень беспокоит, Петр Ильич, что Ваше здоровье так дурно, и мне кажется, что, предполагая пожить в Италии некоторое время, было бы хорошо обратиться к лучшему итальянскому доктору, которые хотя вообще очень плохи, но лучше других знакомы с местными условиями, но, конечно, употребить это как временную меру, а потом, Петр Ильич, посоветуйтесь в Вене с доктором внутренних болезней. Теперь самые лучшие доктора по всем отделам медицины находятся в Вене. Это отзывы наших русских врачей, а им можно верить. Я не помню имени известного доктора в Вене для внутренних болезней, но это легко узнать в каждой аптеке. Примите к сведению то, что мне известно от итальянских докторов, а именно, что вода в Неаполе и в особенности в Соренто ужаснейшая; потому будьте, пожалуйста, осторожнее, Петр Ильич, с употреблением ее. Лучше всего не пить ее вовсе и заменить сельтерской водой, которую доктора находят полезною при желудочных катарах.

Если же будете пить, то не иначе как с вином, и вообще пейте понемногу вино за завтраком и обедом. В Италии лучше всего пить Marsala. Потом не кушайте винограда, не смывши его водою, иначе он делает много вреда, как объяснял мне итальянский доктор. У меня так же, как и у Вас, антипатия к докторам, и я для себя почти никогда не зову их, но у меня большое семейство, поэтому мне по всей Европе приходилось иметь дело с ними. Берегите свое здоровье, дорогой мой Петр Ильич. Ваша жизнь столько хорошего доставляет другим.

Как я радовалась, что Ваш брат с Вами, и как жалею, что он скоро оставляет Вас. А который это из Ваших братьев? Я знаю, что у Вас есть братья-близнецы, и одного из них зовут Anatol. Он, кажется, воспитывает глухонемого мальчика,— так это? А другой из них, кажется, товарищ обер-прокурора в Петербурге, — как его зовут? Третий Ваш брат, должно быть, инженер, зовут его Николай. Он женат, но детей у него нет. А другие братья женаты? Расскажите мне, Петр Ильич, новейшую генеалогию Вашего семейства. Я не знаю, верны ли сведения, которые я имею, но, во всяком случае, они весьма неполны, а мне интересно знать все о близких Вам людях, потому что я знаю, как Вы любите Ваших родных, — значит, они хорошие люди и мне очень симпатичны.

Благодарю Вас очень, Петр Ильич, за присланный мне портрет Вашей жены. Я нашла его совсем таким, как ожидала, и поэтому никогда не желала отдать своих дочерей ни в какой институт. Редко кто может там сберечься, обыкновенно хорошие натуры портятся, дурные делаются еще хуже, а пустые становятся непробудно пустыми. Мне очень больно, Петр Ильич, что Вы так обвиняете себя и тревожитесь состраданием к Вашей жене. Вы не виноваты перед нею н и в ч е м и будьте вполне уверены и спокойны, что она нисколько не будет страдать в разрозненной жизни с Вами. Это одна из тех счастливых натур, вполне развитых к тому же соответствующим воспитанием, которые не могут горевать сильно и продолжительно, потому что они н и ч е г о не способны чувствовать глубоко; живут они жизнью объективною, даже просто материальною, о чем Вы и приняли заботу на себя; следовательно, идеал жизни таких натур — хорошо поесть и еще лучше выспаться — осуществляется Вами для Вашей жены, и Вы имеете право на одну только благодарность с ее стороны. Такие натуры не могут быть несчастливы уже потому, что они всегда довольны собою, следовательно, всегда могут процветать и душою и телом, а если что-нибудь и рассердит их, то это так же, как и все другие ощущения (чувств у них не бывает), проскользнет по поверх-

ности, не нанося никакой раны. Если Вам кто-нибудь скажет, что она плачет, не смущайтесь этим, Петр Ильич, будьте уверены, что это только для приличия. Если женщина, которая уже замужем, да еще за любимым человеком, не мечтает иметь ребенка, то у нее нет сердца.

Я при этом оговорюсь, что я сама вовсе не мечтательница и не сочувствую мечтателям, я, — реалистка, мне свойственна и необходима самая горячая поэзия, но реальная; счастье иметь ребенка полно этой реальной поэзией, и я страстно чувствую его.

Не поймите, Петр Ильич, моего реализма так, как, к сожалению, многие его понимают и практикуют, и между прочими в литературе Писемский. Я его терпеть не могу, — он оскверняет и оскорбляет чувство реалиста-человека; у него цинизм, а не реализм, это — животное учение. Меня огорчает и возмущает, когда реализм делают синонимным помойным ямам. Если, к несчастию, есть много на свете людей, которые любят забираться в грязь и барахтаться в ней, то они — циники. Реалисты же одарены от природы полным комплектом нравственных, эстетических и поэтических чувств, которые и проводят резкую черту между ними и циниками и делают им всякую грязь отвратительною. С другой стороны, реалисты отличаются от идеалистов тем, что не гоняются за невозможным, не создают идеалов по теологическим понятиям, не вдаются ни в какие отвлеченности и никогда ни о чем не мечтают, а просто думают, разбирают и разрешают вопросы, имеющие существенное значение в жизни, и разрешают их, руководствуясь здоровыми свойствами человеческой натуры, потому что мечтательность и всякие крайности принимаются как ненормальное, больное состояние человека. Реализм нисколько не мешает человеку пользоваться и отдыхом и благородными наслаждениями. Я реалистка, но я люблю музыку до страсти и не отказываю себе в этом наслаждении, но я и при нем не мечтаю ни о чем, а испытываю чисто физическое обаяние, от которого мне так хорошо, что я жалею, когда очнулась от него. Я восторженно люблю природу, но также, любуясь ею, я ни о чем не мечтаю, я только чувствую. Я люблю чтение, но в нем на меня производят впечатление только случаи из действительной жизни, а литературные вымыслы не действуют, разве в них становится какой-нибудь из тех социальных вопросов, которые меня сильно затрогивают. Я реалистка, но я у человека выше всего ставлю сердце со всеми его способностями. Конечно, сердце без ума мало полезно для человечества, но ум без сердца совсем вреден, в каких бы отвлеченных сферах он ни действовал. Извините, Петр Ильич, что я так заговорилась о реализме, но это вопрос, который меня лично

трогает и которому в литературе такие господа, как Писемский, Emile Zola и др., очень вредят, а в обществе также извращенное понятие о реализме.

Теперь я перейду к вопросу Вашему о моей религиозности.

Мне очень жаль, Петр Ильич, что в настоящем случае, когда Ваша больная душа нуждается в утешении, облегчении, я не могу Вам дать их,—у меня нет религии по общим пониманиям, я не дошла до примирения, да и не нуждаюсь в нем. Я не сама разрушила свои бывшие верования, напротив, по силе привычки я всячески старалась удержать их, но не могла: жизнь разрушила их до основания, но параллельно возвела новое здание, прочнее, вернее, жизненнее. Я не жалею о старом и этого не променяю ни на какое другое. Я не находила счастья в традиционном примирении: моя натура слишком неугомонна для этого, а истины там не было. Теперь же я нашла ее в своем новом культе, и с тех пор, когда для меня все выяснилось, все я привела в порядок и составила себе новый кодекс религии, мне стало легко, и я с завязанными глазами найду свою дорогу. Не думайте, что это произошло вследствие чтения разрушительных философий, — нет, напротив, пока я верила, я никогда не читала и не слыхала ни одной теории, могущей расстроить мои верования; одно только, что мой муж был протестант, но очень религиозный. Прочитала я кое-что тогда только, когда вполне реформировала свою религию. Мои настоящие убеждения также во многом напоминают школу пантеизма, но я не принадлежу всецело ни к одной из ее систем; я определяю свою религию как идеальный материализм, но и в нем я не принимаю сполна учения пантеистов. Мой бог есть мой нравственный идеал, которым я восхищаюсь, поклоняюсь ему и обожаю его, но не облекаю никакою ни решающею, ни исполнительною властью, — все это находится в самом человеке и руководится совестью с содействием разума.

Я признаю, как и все пантеисты, в природе силу, которую не может побороть человек, но называю ее не богом, как они, а судьбою, потому что эта сила составляется часто очень сложными комбинациями; но я не утрирую своих понятий о судьбе,— я не фаталистка, а, напротив, придаю большое значение человеческой силе воли. Вечную жизнь я понимаю только в виде метаморфозы, так как в природе ничего не пропадает. Мой рай и ад существуют только на земле, в жизни, и я нисколько не жалею о небесном блаженстве, потому что, когда я вижу на земле что-нибудь доброе, честное и хорошее, я так радуюсь, испытываю такое блаженство, какое вряд ли досталось бы в небе.

В нравственном отношении от перемены религии я не чувствую вреда сама и имею весьма убедительное доказательство того, что моя новая религия, по меньшей мере, не хуже старой в моей дочери Юлии. У нее также нет общечеловеческой религии: в церковь мы никогда не ходим, только в два года один раз, когда говеем, и то делаем для примера прислуге. О боге она имеет понятие мифичное, а будущую жизнь если не отрицает, то и не заботится о ней нисколько. Между тем, более высоконравственных убеждений и большей твердости и неуклонности в применении их к жизни, как у нее, и представить себе нельзя. Она очень уважает евангелие и каждое утро вместо молитвы читает главу оттуда, и, как искренняя поклонница христова учения, она очень человечна и снисходительна к другим и очень строга к себе.

Я не договорила о своих отношениях к личностям в религии. Матерь божия мне симпатична только с той минуты, как стала матерью. Иисуса Христа я признаю единственным гением на земле, почитаю его как человека идеи и высоко ставлю его учение, хотя многое в нем нахожу противоестественным, следовательно, невозможным, но понятно, что он должен был требовать слишком многого для того, чтобы достигнуть немногого. Мученикам христианства я восторженно поклоняюсь.

Дочери моей Юле не приходилось выдерживать никакой борьбы в религии, потому что я прямо воспитывала их (т. е. моих дочерей) почти совсем в своей школе, с очень малыми уступками, и я могу сказать без всякого пристрастия, Петр Ильич, что три мои дочери, которые замужем, — такие жены и семьянинки, какие редко бывают на свете. Вы спросите, быть может, для чего я делала эти уступки,—то потому, что не знала, хватит ли у них сил прожить жизнь, как следует, без таких заманок, как будущая жизнь и бог. Но я н и ч е г о не внушала им з а эти два предмета, я просто не касалась их и воспитывала детей по своей религии, не трогая другой, и в щекотливых случаях или вопросах также подставляла свою религию и сводила все к ней.

Однако мне, право, совестно, Петр Ильич, что письмо это так непозволительно длинно, но я хотела, чтобы Вы раз навсегда узнали, что́ я такое. Я боюсь, что вследствие этого Вы получите обо мне очень дурное мнение, но, прошу Вас убедительно, скажите мне вполне откровенно, какое впечатление произведет это ближайшее знакомство со мной и какими станут вследствие него Ваши отношения ко мне, и будьте уверены, что, что́ бы Вы мне ни сказали, *я* не разлюблю Вас, мой милый, единственный друг.

Теперь немножко о житейских делах. Вчера я была в Симфоническом собрании [1]. Лучший номер был симфония Бетховена, Седьмая. Гржимали играл Первый концерт Вьетана. Знаете ли Вы, что Губерт женился в эту среду на M-elle Баталиной, которая вышла за него, вероятно, par dépit amoureux*, потому что я слышала, что она была в Вас влюблена [2]. Бывши теперь в Петербурге, я, наконец, слышала Вашу оперу «Вакула». Что за прелесть! Как хороша партия тенора, как восхитительны танцы, да и всего не пересказать, что́ хорошо! Театр был полон. С каким нетерпением я жду Ваших новых сочинений!

Николай Григорьевич неутомимо продолжает свои концертные путешествия по России в пользу Красного креста. Это очень мило с его стороны.

Дают ли Вам серенады под окнами? Нам в Неаполе и Венеции каждый день давали, и с каким особенным удовольствием я слушала в Неаполе ту песню, которую Вы взяли для танца в «Лебединое озеро» [3]. В те минуты мне совсем чувствовалось Ваше присутствие там же, на балконе.

Однако надо Вам дать отдохнуть от моего письма. Всем сердцем любящая Вас

Н. фон-Мекк.

48. Мекк — Чайковскому

Москва,
13 ноября 1877 г.

У меня было готово к Вам письмо или, вернее сказать, целый том «Авторских признаний», когда я получила Ваше письмо из Рима, дорогой Петр Ильич. Я вижу, что Вы в таком состоянии духа, что мое длинное послание будет при нем совсем не кстати, но я посылаю Вам его, потому что, во-первых, Вы увидите в нем мою просьбу, относящуюся к Вене, куда Вы как раз и собираетесь ехать, а во-вторых, для того, чтобы все-таки Вы узнали мои взгляды и не считали меня лучше того, как я есть. Но я прошу Вас, дорогой Петр Ильич, прочитать этот журнал тогда только, когда Вы будете в совсем спокойном состоянии духа и когда Вам нечего будет делать.

Как меня печалит Ваше тоскливое настроение и нервное расстройство! Я очень рада, что Вы хотите ехать в Вену, потому что надеюсь, что Вы не откажете в моей просьбе посовето-

* вследствие неудачной любви

ваться там с доктором. Мне кажется также, что Вы стали бы спокойнее, если бы вернулись в Россию.

Вы меня так балуете Вашими письмами, что когда проходят дня три без них, то мне уже скучно и тревожно, и я начинаю гнать время и часами рассчитывать, когда я могу получить письмо.

Н. фон-Мекк.

P. S. Знаете ли Вы, что Карс взят? [1] Я так рада!

49. Чайковский — Мекк

Венеция.
16/28 ноября 1877 г.

Дорогая Надежда Филаретовна!

Дня четыре я уже не писал Вам. На другой день по приезде я собрался утром засесть за работу, но в ту минуту, как я взял перо в руку, мне принесли письмо от жены, на шестнадцати страницах. Все это письмо состоит из упреков, оправданий, самоуничижения, признаний в любви и т. д. и т. д. Оно меня очень расстроило, и весь этот день я не занимался. Зато на другой день я получил очень успокоительное письмо от сестры и принялся с жаром кончать инструментовку первой картины второго действия «О н е г и н а» (первое действие и первая картина второго действия должны быть готовы как можно скорее, чтобы послать их в Москву, где, по всей вероятности, они будут исполнены в консерваторских спектаклях). Работа пошла очень успешно, так что сегодня я уже окончил всю оркестровку. Остается вписать голоса, расставить знаки и сделать клавираусцуг*.

Венеция очаровательный город. С каждым днем я открываю в ней новые прелести. Вчера мы ходили смотреть церковь F r a r i, в которой между прочими красотами мавзолей К а н о в ы. Это чудо красоты.

Но что всего более мне нравится здесь, это тишина, отсутствие городской кутерьмы. Вечером, при лунном освещении, сидеть у открытого окна, смотреть на S-ta M a r i a d e l l a S a l u t e, которая как раз против наших окон, и налево в лагуну — просто очарованье! Очень весело также сидеть после обеда около кафе на площади св. Марка и глядеть на снующие толпы всякого народа... Даже узенькие, как коридоры, улицы мне нравятся, особенно вечером, при газовом освещении мага-

* Клавираусцуг — переложение оркестрового произведения для фортепиано.

зинов. Словом, Венеция мне пришлась по вкусу. Сегодня я уже начал обдумывать, куда мне отправиться после отъезда брата: в Кларенс, где очень покойно, тихо, дешево и хорошо (но подчас скучно), или сюда, где менее красот природы, но больше оживления, и оживления не оглушающего, не тяготящего, где меньше чистоты, меньше порядка, но больше интереса, исторических памятников и художественных сокровищ. Завтра я намерен поискать меблированной квартиры и, если найду что-нибудь подходящее, начну колебаться... О своем решении я, разумеется, своевременно сообщу Вам. Надежда Филаретовна! признаваться ли Вам? — я немножко сержусь на Вас. Каждый день жду от Вас письма и каждый день разочаровываюсь. Сегодня я был уверен, что, возвратившись после вечерней прогулки, найду на своем столе конверт с знакомым почерком. Нет! Получил два письма: от брата и от Юргенсона, а от Вас опять нет. Я уж начинаю подозревать, что письмо Ваше пропало, хотя все письма, адресованные мне в Рим, poste restante, я получаю очень исправно. Уж не больны ли Вы, уж не сердитесь ли на меня? Тысячи разных предположений приходят мне в голову. Подожду до завтра. Мы остаемся здесь три дня; в субботу 19-го уезжаем в Вену. Там я расстанусь с братом и дождусь своего человека. Затем или сюда, или в Кларенс.

Здоровье мое очень изрядно. Самое неприятное было то, что я потерял было сон, засыпал с трудом, с кошмарами, с вздрагиваниями и замираниями. Вот уже вторая ночь, что я сплю хорошо. Вообще Венеция для меня очень благоприятна. В каком отеле Вы останавливаетесь здесь?

Прощайте, милый друг. Если здесь не получу письма от Вас, то надеюсь получить, по крайней мере, в Вене (Leopoldstadt, Hôtel Goldenes Lamm).

Ваш П. Чайковский.

50. Мекк — Чайковскому

Москва.
18 ноября 1877 г.

Вчера и сегодня я получаю Ваши письма из Рима и Венеции, дорогой Петр Ильич, и не знаю, как мне благодарить Вас за то невыразимое удовольствие, которое Вы мне ими доставляете. Вы спрашиваете меня, весело ли мне. О да, мне очень весело, потому что я каждый день или получаю или ожидаю Ваших писем. Мне больше чем весело, я так счастлива в настоящее время, что боюсь за свое состояние, потому что, не-

смотря на мою блестящую обстановку в жизни, я так давно не чувствовала счастья, что сделалась недоверчива к нему, и мне кажется, что ко мне оно может притти только как предвестник страдания. Вы знаете, что я очень склонна к мистицизму и суеверна. Вам покажется, быть может, смешным, что человек неверующий может быть суеверен, что скептик может быть в то же время и мистик. Я не систематичным и последовательным путем пришла к этому, а просто это мое физиологическое свойство, которое, к тому же, поддерживается тем, что в природе есть много еще чего не расследованного и не понятого людьми, и оно тем сильнее действует, чем меньше есть средств сопротивляться ему. Но как бы то ни было и что бы ни ожидало впереди, в настоящую минуту мне хорошо, и я полной грудью вдыхаю в себя это ароматичное, благотворное счастье! Зачем Вам не так хорошо, как мне, мой милый, бесценный друг? А как бы я хотела этого! Вот она, та судьба, которую я признаю: случайности, сила обстоятельств, неожиданные движения сердца и воображения, давление чужих влияний, ненормальное состояние нервов и т. д. и т. д., — эта неотразимая, несокрушимая судьба, которая играет людьми безжалостно, часто портит всю жизнь! Но, милый друг мой, запаситесь твердостью и равнодушием ко всем нападкам и упрекам. Ведь Вы же знаете, что Вы тут не при чем, что эти обвинения есть продукт все той же натуры, того же воспитания, о которые, как об стену, разбиваются справедливость, добросовестность и всякие чувства. Вы должны знать, что такие натуры во всем, что им досадно, первым долгом стараются кого-нибудь обвинить и в этом находят полное утешение и большое удовольствие. Так не отнимайте же его у Вашей жены. Сделайте, как я, мой милый друг: меня не один человек, а сотни людей критикуют, осуждают и обвиняют и лично и вообще, по с в о и м взглядам. Я н и с к о л ь к о не смущаюсь и не волнуюсь этим, не стараюсь ни одним словом и ни одним шагом ни оправдываться, ни разуверять людей, во-первых, потому, что понятия бывают различны, а во-вторых, для того, чтобы не отнимать у людей удовольствия. И я нисколько не в претензии на людей, потому что, осуждая меня, они правы со своей точки зрения, а разница в том, что у нас точки отправления различные.

Я очень рада, Петр Ильич, что Вы хотя последний день в Риме провели оживленнее. Дворец цезарей и на меня производит большое впечатление, но тяжелое. Когда я с его высот смотрю на Рим, он всегда мне представляется пылающим. A Capitole этот вызывает такие поэтические воспоминания! A Forum'ы восхищают меня как место выражения свободных прав народа,

как вечевые колокола у нас на Руси. Вообще настоящий Рим восхищает меня своими историческими воспоминаниями и памятниками, хотя древний Рим больше отвращает, чем удивляет меня.

Петр Ильич, если Вы соскучитесь за границею и Вам захочется вернуться в Россию, но не показываться людям, то приезжайте ко мне, т. е. не ко мне лично, а в мой дом на Рождественском бульваре; у меня есть вполне удобные квартиры, где Вам не надо будет заботиться ни о чем. В моем хозяйстве все есть готовое, и между нами будут общими только хозяйство и наша дорогая мне дружба в т о м в и д е, к а к т е п е р ь, не иначе, конечно. В доме у меня ни я, и никто из моего семейства, и никто в Москве и не знали бы, что Вы живете тут. У меня в доме очень легко скрываться от всего света. Вы знаете, какую замкнутую жизнь я сама веду, и вся прислуга привыкла жить на положении гарнизона в крепости. Следовательно, Вы здесь были бы неприступны. Подумайте, дорогой мой друг, да и приезжайте прямо из Вены, только за три дня сообщите мне об этом.

Сегодня Симфоническое собрание[1], а главное, Фитценгаген играет Ваши вариации, а я не могла поехать, потому что вследствие эпидемической оспы мы всем семейством привили себе ее, и принялась только у девятилетнего мальчика Макса и у меня, и я не могу выезжать. Всем сердцем Вас любящая

Н. фон-Мекк.

51. Чайковский — Мекк

Венеция.
18/30 ноября 1877 г.

Третьего дня я излил Вам свое негодование на итальянские почты и беспорядки, обвиняя их в неполучении от Вас до сих пор письма, а вчера получил Вашу телеграмму, из которой усмотрел, что я во всем виноват, так как своими беспрестанными изменениями планов путешествия ставлю Вас в невозможность писать мне письма с уверенностью, что они дойдут. Сегодня я посылал в H ô t e l S. G a l l o, но письма Вашего еще нет; зато мне принесли Вашу телеграмму, в которой Вы спрашиваете, получил ли я lettre chargée. Я на нее ответил тотчас же, хотя с уверенностью могу предположить, что письмо мое, с изложением целого ряда различных треволнений по поводу получения вышеозначенного письма, уже получено Вами. Мне очень совестно и досадно, что своей безалаберностью я причиняю Вам беспокойства. Простите, добрый и милый друг мой.

Несколько дней, проведенных мною в Венеции, очень были для меня благотворны. Во-первых, я позанялся, и настолько усердно, что брат отвезет совершенно готовую вторую картину оперы к Рубинштейну; во-вторых, я чувствую облегчение своему нездоровью, хотя вчера вечером было мне не особенно хорошо, но это я объясняю маленькой простудой. В-третьих, я полюбил очень Венецию, я даже начинаю влюбляться в эту красавицу и решился, проводивши брата, вернуться сюда. Не смейтесь, ради бога, над моей изменчивостью, нерешительностью, но на этот раз я сообщаю Вам не предположение, а положительное решение. Я даже нанял себе очень милое помещение на Riva dei Schiavoni в Hôtel Beau Rivage. Вчера и сегодня я много бегал по городу, ища подходящего помещения. Сначала я хотел нанять меблированную комнату и осмотрел их целую массу. Везде грязно, хотя везде поместительно, везде больше, чем мне нужно, и хотя относительно недорого, но неуютно, неудобно. Сезон в Венеции очень плох, иностранцев мало, и везде, куда я появлялся смотреть квартиры, меня принимали с распростертыми объятиями, с уверениями, что я буду принят как родной, что за мной будут ухаживать и т. д. Из массы этих квартир я не знал, на какую мне решиться, как вдруг сегодня зашел в Hôtel Beau Rivage, который показался мне скромным, чистеньким и где я нашел совершенно подходящие две комнаты, правда, в четвертом этаже, но с прелестным видом на лагуны, остров S. Giorgio, Lido и т. д.

Завтра я еду в Вену, где проведу дня три-четыре с братом и потом мы расстанемся. Я думаю об этом моменте с ужасом. Одиночество для меня теперь ужасно, а знакомиться с новыми людьми я ненавижу и не умею. В Вене я найду своего слугу, которого я принужден был выписать, чтобы избегнуть безусловного одиночества. Возвратившись из Вены, я примусь за симфонию, за нашу симфонию, и не встану с места, пока не окончу ее. Вы услышите ее, наверное, в этом сезоне.

Знаете, что меня бесит в Венеции? — это продавцы вечерних газет. Если гуляешь по площади св. Марка, то со всех сторон слышишь: «Il Tempo», «Il Tempo», Signori! La gazzetta di Venezia»! Vittoria di Turchi!»* Эта виттория di Turchi повторяется каждый вечер. Почему они не кричат о наших действительных победах, а стараются приманить покупателей вымышленными турецкими? Неужели и мирная,

* «Il Tempo», «Il Tempo», синьоры! «La gazzetta di Venezia». Победа турок!»

красивая Венеция, потерявшая некогда в борьбе с теми же турками свое могущество, дышит все-таки общею всем западным европейцам ненавистью к России? Вчера я вышел из себя и пристал к одному из крикунов: «ma dove la vittoria?»* Оказалось, что под vittori' ей он разумеет турецкое известие о какой-то рекогносцировке, где несколько сот русских были будто бы побиты. «Так разве это победа?» продолжал я грозным голосом допрашивать его. Я плохо понял ответ его, но кричать «vittoria» он перестал. В сущности, нельзя не отдать справедливости добродушию, учтивости, готовности на услуги итальянцев. Это особенно кидается в глаза людям, приехавшим из Швейцарий, где народ так угрюм, неласков, неподатлив на шутки. Сегодня, когда я проходил мимо крикуна, он учтиво поклонился и вместо «grande vittoria di Turchi»**, которою оглашали воздух другие газетчики, крикнул мне вслед: «Grande combattimento a Plevna, vittoria dei Russi!»*** Я знал, что он врет, но это мне было приятно как проявление деликатности простого человека.

Когда же кончится, наконец, эта ужасная война? Война, в которой такие относительно ничтожные результаты добыты такой ужасной ценой! А между тем, драться нужно до тех пор, пока в лоск не будет положен враг. Эта война не может кончиться компромиссами и взаимными уступками. Тот или другой должен быть подавлен. Но как совестно требовать такой борьбы до последней крайности, до последней капли крови, когда сам сидишь в уютной, хорошо освещенной комнате, сытый, обеспеченный от непогоды и от физического страдания! Вот уж от нравственного страдания никто не обеспечен. Что касается меня, то есть одно средство, могущее заглушить его, это — труд. Но и работать не всегда хватает сил. Боже мой, если бы я только мог снова найти в себе силы и бодрости к новым трудам! Теперь я могу только доканчивать и доделывать старое.

В Неаполе издается по случаю открытия памятника Bellini альбом пьес, к участию в котором приглашены многие иностранные сочинители. Получил и я приглашение с месяц тому назад. Я отвечал, что напишу к сроку (к 1 декабря). Но срок подходит. Случилось то, чего со мной до сих пор никогда не бывало: я не мог выжать из себя ни одной

---

* «но где победа?»
** «большая победа турок».
*** «Большое сражение под Плевной, победа русских!»

нотки! Я опоздал, я невольно обманул издателей альбома.

Но надежды я не теряю. Кончу симфонию, кончу оперу, а там увидим. Прощайте, дорогой, милый друг, и простите за причиняемое Вам беспокойство.

Ваш преданный друг

П. Чайковский.

52. Чайковский — Мекк

Венеция,
19 ноября/1 декабря 1877 г.

Осталось два часа до отъезда. Сейчас мне принесли письмо Ваше, адресованное в Hôtel S. Gallo. Я последовал Вашему совету, дорогая Надежда Филаретовна, т. е. прочел только первый листик. Теперь я одержим припадком болезни, называемой «Eisenbahnfieber»*, и недостаточно покоен для прочтения главной сути письма.

Как только сяду в вагон и буду несколько спокойнее, то займусь чтением. Очень, очень благодарен Вам за это длинное письмо. Кроме того, что оно от Вас, письма вообще для меня такое наслаждение, такое благо.

Из Вены отвечу Вам обстоятельнее и насчет доктора и насчет возвращения в Россию. Что касается способа перевода денег, то прошу Вас поступить так, как Вам удобнее; мне же одинаково удобно получать их и помесячно и разом.

Я очень полюбил Венецию и решился попытаться прожить в ней еще приблизительно месяц после Вены. Понравится, останусь еще, а нет, так уеду куда-нибудь. Вы пишете, что лучше всего вернуться в Россию. Еще бы! Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу; это величайшее удовольствие. Но жить можно только в России, и только живя вне ее, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой, несмотря на все ее недостатки, родине. Но в том-то и дело, что мне невозможно вернуться в Россию. Ведь я об этом думаю ежеминутно и, благо Вы заговорили об этом вопросе, в следующем письме отвечу Вам обстоятельно по этому поводу.

Прощайте, т. е. до свиданья, мой лучший, милый друг.

Ваш П. Чайковский.

---

* «волнение перед отъездом».

53. *Чайковский — Мекк*

Вена,
21 ноября/3 декабря 1877 г.

Вчера вечером мы приехали в Вену. Переезд через Земмеринг произвел на меня чарующее впечатление. Погода была очень благоприятна. Дорогой я читал и перечитывал письмо Ваше, мой милый друг. Письмо это вызывает во мне желание отвечать Вам очень подробно. Но так как, чтобы ответить на все, требуется очень много времени, а у меня здесь его не будет достаточно (так как я должен до отъезда брата вписать голоса и знаки на партитуре), то я не буду отвечать на все сразу. Ваше письмо дает мне материалу на несколько писем.

Прежде всего спрошу Вас: как Вы можете себе представить, что Ваша profession de foi* способна изменить мое отношение к Вам или убавить мою горячую любовь и преданность к Вашей светлой, умной, доброй до бесконечности личности? Неужели только незначительный разлад во взглядах и убеждениях может изменить взаимное наше расположение друг к другу? Как я ни на волос не охладел в моей бесконечной симпатии к Вам, прочтя Вашу авторскую исповедь, так, надеюсь, и Вы не перестанете питать ко мне дружеские чувства, если я позволю себе возражать на некоторые места из письма Вашего.

Для меня ясно одно, это то, что теоретически Вы безвозвратно оторвались от церкви и догматических верований. Я вижу, что путем многолетнего обдумывания Вы составили себе самостоятельный катехизис религиозно-философический. Но мне кажется, что Вы ошибаетесь, говоря, что здание, построенное Вами параллельно с разрушившимся зданием прежней слепой веры, прочно, сильно и вполне заменяет Вам религию. В том-то и заключается трагизм человека, склонного к скептицизму, что, порвавши связь с традиционными верованиями и ища, чем заменить религию, он тщетно кидается от одной философской теории к другой, мечтая найти в ней ту непобедимую силу в борьбе с жизнью, которою вооружены люди верующие. Что ни говорите, а верить, т. е. верить не вследствие рутины и недостатка рассуждающей способности, а верить разумно, сумевши примирить все недоразумения и противоречия, внушаемые критическим процессом ума, есть величайшее счастье. Умный и в то же время верующий искренно

* исповедание веры.

человек (а ведь таких о ч е н ь много) обладает такой броней, против которой совершенно бессильны всякие удары судьбы. Вы говорите, что Вы, отставши от установленной религии, создали себе другую, но ведь религия есть э л е м е н т п р и м и р е н и я. Есть ли в Вас это п р и м и р е н и е? Я отвечаю: нет, ибо если б оно было, то Вы не написали бы мне того письма, которое я получил от Вас из Комо, помните?[1] Эта тоска, это недовольство, это неопределенное стремление к какому-то неопределенному идеалу, это отчуждение от людей, эта способность находить только в музыке, т. е. в самом идеальнейшем из искусств, ответ на мучительные вопросы,—все это служит мне доказательством, что Ваша собственная религия не приносит Вам того полного душевного мира, которым обладают люди, нашедшие в религии готовые ответы на все, что так мучит и терзает мыслящего и тонко чувствующего человека. И знаете что? Мне кажется, что Вы оттого сочувствуете моей музыке, что я всегда полон тоски по идеалу, так же точно, как и Вы. Наши страдания одинаковы, Ваши сомнения так же сильны, как и мои, мы одинаково с Вами плывем по безбрежному морю скептицизма, ища пристани и не находя ее. Не оттого ли моя музыка так родственна и так близка Вам?

Мне кажется также, что Вы ошибаетесь, называя себя реалисткой. Если под реалистом понимать человека, ненавидящего всякую фальшь и ложь как в жизни, так и в искусстве, то Вы, конечно, реалистка. Но если припомнить, что истинный реалист никогда не станет, как Вы, искать в музыке утешения и примирения, то, скорее, я назову Вас идеалисткой. Вы реалистка только в том смысле, что Вы не сентиментальны и не любите терять время на бесплодную и пошлую мечтательность, свойственную многим женщинам. Вы не любите фраз, пустословия, бездельного сентиментальничания, но это не значит, что Вы реалистка. Да Вы и не можете быть ею. Реализм предполагает непременно известную узкость ума, способность удовлетворять очень легко и дешево жажду познать и с т и н у. Лишенный этой жажды познавания существенных вопросов бытия реалист отрицает даже и самую надобность доискиваться истины и не верит тем, которые ищут примирения в религии, философии и и с к у с с т в е. Искусство, и особенно музыку, реалист ставит ни во что, ибо оно служит ответом на такой запрос, которого в его узкой натуре не заключается. Вот отчего мне кажется, что Вы ошибаетесь, стараясь поставить себя под знамя реализма. Вы говорите, что музыка производит в Вас только ф и з и ч е с к о е приятное ощущение. Ну, уж против этого позвольте восстать! Вы себя обманываете. Неужели же Вы

любите музыку, как я—И к е м* и соленые огурцы? Нет, именно В ы любите музыку так, как следует ее любить, т. е. отдаваясь ей всей душой, подчиняя себя беззаветно ее волшебному действию на душу!

Очень странно, быть может, что я позволяю себе оспаривать Ваше определение самой себя, но, по-моему, Вы — вот что. Во-первых, Вы очень хороший человек; таковы Вы от рождения. Вы любите добро, потому что Вы имеете к нему врожденное стремление и врожденную ненависть ко лжи и злу. Вы умны и, следовательно, Вы скептик. Умный человек не может быть не скептиком. По крайней мере, в его жизни должен быть период мучительного скептицизма. Когда врожденный скептицизм неминуемо привел Вас к отрицанию догматов и традиций, Вы стали искать исхода из арены сомнений, в которую впали. Вы нашли его о т ч а с т и в Вашем пантеистическом взгляде на мир, о т ч а с т и в музыке, но полного примирения Вы не нашли. Ненавидя з л о и л о ж ь, Вы замкнулись в тесный семейный круг, чтоб оградить себя от созерцания человеческих мерзостей. Вы делаете много добра, потому что вместе с страстной любовью к искусству и природе это есть неодолимая потребность Вашей благородной и чистой души. Вы помогаете ближнему не в виде взятки за будущее блаженство на небе, которому Вы не верите, но которое и не вполне отрицаете, а потому, что Вы так созданы, что не можете не делать добра.

Но я замечаю, что если б стал продолжать это письмо с намерением дойти до конца, т. е. высказать все, что хочется, то просидел бы целый день. Между тем, я уже сегодня работал, устал, и долее писать мне трудно.

Милая и дорогая Надежда Филаретовна, если с моей стороны глупо и наивно доказывать Вам, что Вы себя знаете не так хорошо, как я, если моя претензия определить Вам Вашу натуру смешна и дерзка, то простите меня. Я Вам могу сказать, что после Вашего письма Вы мне стали как-то еще ближе, еще дороже. О, как я Вас люблю, и как много, много мне хочется сказать Вам! Увы! словами всего не выскажешь.

Я буду Вам писать завтра и подробно расскажу Вам, как я отношусь к религии. Я буду также подробно отвечать Вам на Ваш вопрос о моем семействе, да кстати объясню, почему мне невозможно теперь вернуться в Россию.

До свиданья, дорогой друг.

Ваш П. Чайковский.

---

* виноградное вино

54. *Чайковский — Мекк*

Вена,
23 ноября/5 декабря 1877 г.

Продолжаю свой ответ Вам.

Я совсем иначе отношусь к церкви, чем Вы. Для меня она сохранила очень много поэтической прелести. Я очень часто бываю у обедни; литургия Иоанна Златоустого есть, по-моему, одно из величайших художественных произведений. Если следить за службой внимательно, вникая в смысл каждого обряда, то нельзя не умилиться духом, присутствуя при нашем православном богослужении. Я очень люблю также всенощное бдение. Отправиться в субботу в какую-нибудь древнюю небольшую церковь, стоять в полумраке, наполненном дымом ладана, углубляться в себя и искать в себе ответа на вечные вопросы: д л я ч е г о, к о г д а, к у д а, з а ч е м, пробуждаться от задумчивости, когда хор запоет: «О т ю н о с т и м о е я м н о з и б о р ю т м я с т р а с т и», и отдаваться влиянию увлекательной поэзии этого псалма, проникаться каким-то тихим восторгом, когда отворятся царские врата и раздастся: «Х в а л и т е г о с п о д а с н е б е с!», — о, все это я ужасно люблю, это одно из величайших моих наслаждений!

Итак, с одной стороны, я еще связан крепкими узами с церковью, с другой, я, подобно Вам, давно уже утратил веру в догматы. Догмат о воздаянии в особенности кажется мне чудовищно несправедливым и неразумным. Я, как и Вы, пришел к убеждению, что если есть будущая жизнь, то разве только в смысле неисчезаемости материи и еще в пантеистическом смысле вечности природы, в которой я составляю одно из микроскопических явлений. Словом, я не могу понять личного бессмертия. Да и как мы можем себе представить вечную, загробную жизнь вечным наслаждением? Но для того, чтобы было наслаждение и блаженство, необходимо, чтобы была и противоположность его — вечная мука. Последнюю я отрицаю совершенно. Наконец, я даже не знаю, следует ли желать загробной жизни, ибо жизнь имеет только тогда прелесть, когда состоит из чередования радостей и горя, из борьбы добра со злом, из света и тени, словом, из разнообразия в единстве. Как же представить себе вечную жизнь в виде нескончаемого блаженства? По нашим земным понятиям, ведь и б л а ж е н с т в о, если оно ничем и никогда не смущается, должно, в конце концов, надоесть. Таким образом, в результате всех моих рассуждений, я пришел к у б е ж д е н и ю, что вечной жизни нет. Но убеждение — одно, а чувство и инстинкт — другое. Отрицая

вечную жизнь, я вместе с тем с негодованием отвергаю чудовищную мысль, что никогда, никогда не увижу нескольких дорогих покойников. Я, несмотря на победоносную силу моих у б е ж д е н и й, никогда не помирюсь с мыслью, что моя мать, которую я так любил и которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда и что уж никогда мне не придется сказать ей, что и после двадцати трех лет разлуки я все так же люблю ее...

Итак, Вы видите, мой милый друг, что я весь состою из противоречий и что, доживши до очень зрелого возраста, я ни на чем не остановился, не успокоил своего тревожного духа ни на религии, ни на философии. Право, было бы от чего с ума сойти, если б не м у з ы к а. Вот, в самом деле, лучший дар неба для блуждающего в потемках человечества. Она одна только просветляет, примиряет и успокаивает. Но это не соломинка, за которую только едва хватаешься, это верный друг, покровитель и утешитель, и ради его одного стоит жить на свете. Ведь на небе, может быть, не будет музыки. Давайте же жить на земле, пока живется!

Теперь отвечу Вам на вопрос о моем семействе. Я должен Вас предупредить, что описание близких моих будет непрерывным д и ф и р а м б о м, но я уверяю Вас, мой милый друг, что в похвалах, которые я буду расточать моим родным, нет ничего преувеличенного. Глава моего семейства — мой отец, старик восьмидесяти трех лет. Отец мой служил очень долго в горных инженерах и управлял, между прочим, очень долго Камско-Воткинским заводом, Вятской губернии, где я и родился. В 1848 г. он вышел в отставку и жил на проценты с небольшого капитала, который он приобрел за много лет службы. В 1857 г. этот капитал он отдал в руки одной авантюристки, посулившей ему золотые груды. Капитал этот пропал в том же году безвозвратно. В 1858 г. он снова поступил на службу и был четыре года директором Технологического института. В 1862 г. он вышел в отставку и теперь живет пенсией в Петербурге. Мать моя скончалась в 1854 г. от холеры [1]. Она была превосходная, умная и страстно любившая своих детей женщина. В 1865 г. отец женился в третий раз. Мачиха моя — полуобразованная, но очень умная и необычайной доброты женщина, сумевшая внушить всем самое искреннее уважение своей нежной, беззаветной преданностью своему старому мужу. Мы все, т. е. сестра и братья, любим ее от всей души. Отец, некогда очень дельный инженер, теперь впал в ребячество. Он еще бодр и здоров телесно, но умственно очень ослаб. В нем осталась только его прежняя любовь к детям и ангельская доброта,

которою он всегда отличался, но которая теперь проявляется как-то особенно трогательно. Про этого человека можно сказать, что он мухи никогда не обидел. Все остальные проявления его ума и души сделались чисто детскими. Памяти он почти совершенно лишился, особенно после опасной болезни, постигшей его в прошлом году. Братьев у меня четыре. Старший, Николай, служит по железным дорогам и живет в Харькове. Он женат, но бездетен. После него иду я, после меня брат Ипполит, живущий в Одессе, женатый и тоже бездетный. Затем идут известные Вам близнецы Анатолий и Модест. Без преувеличения можно сказать, что эти два молодых человека составляют по своим нравственным и умственным качествам очень приятное явление. Меня соединяет с ними одна из тех взаимных привязанностей, которая и между братьями встречается редко. Они гораздо моложе меня, т. е. им десятью годами меньше моего. Когда умерла мать, им было четыре года. Сестра была в институте. Старший брат, человек хороший, но не из особенно нежных, не мог им заменить ласковой и любящей матери. Конечно, и я не был для них матерью, но я с самой первой минуты их сиротства хотел быть для них тем, что бывает для детей мать, потому что по опыту знал, какой неизгладимый след оставляет в душе ребенка материнская нежность и материнские ласки. И с тех самых пор между мной и ими образовались такого рода отношения, что как я люблю их больше самого себя и готов для них на всякую жертву, так и они беспредельно мне преданы. Оба воспитывались в Училище правоведения. Анатолий служит успешно: он теперь товарищ прокурора в Петербурге. Модест — натура необыкновенно богато одаренная, но без определенной склонности к какой-либо одной сфере деятельности; служил не особенно блестяще, он больше интересовался книгами, картинами, музыкой, чем своими докладами. Мы все с беспокойством думали о его будущности, как вдруг одной нашей общей приятельнице (М-me Давыдовой, жене директора Петербургской консерватории) пришла в голову мысль рекомендовать его некоему г. Конради, искавшему воспитателя для своего единственного глухонемого сына. Дело устроилось. Модест оказался вскоре превосходным педагогом. Он прожил год за границей для изучения метода воспитания глухонемых детей, и теперь он всей душой предан своему делу. Со мной теперь находится Анатолий. Вы спрашиваете, нельзя ли, чтобы после его отъезда ко мне приехал на смену Модест. Это было бы для меня величайшим счастьем. Есть маленькая надежда, что это устроится. Разумеется, это возможно только в том случае, если Конради

согласится, чтобы сын его отправился с ним. Для мальчика это было бы очень кстати: он слабенький, ему нужен чистый воздух и теплый климат. Я говорю: е с т ь н а д е ж д а, потому что я просил об этом брата в письме из Рима. Знаю одно: если будет малейшая возможность, он приедет.

Сестер у меня хотя две, но первая (от первой жены отца) гораздо старше меня, живет на Урале, и я ее очень мало знаю. Что касается моей настоящей родной сестры, то я уже писал Вам о ней. Это в полном смысле слова безупречная, чудная женщина.

Вы совершенно правы, что лучше всего было бы мне вернуться в Россию. И между тем, это теперь н е в о з м о ж н о, ибо н е к у д а. В Петербург я не хочу и не могу ехать, потому что не могу жить там, не видя отца, а видеть его теперь мне нельзя. Вы знаете, что я женился отчасти, чтобы осуществить его давнишнее желание видеть меня женатым. Когда случилось мое бегство из Москвы, моя болезнь и отъезд за границу, все это пришлось от него скрывать, и до сих пор он не знает хорошенько, в чем дело. Ему только сказали, что у меня расстроились нервы и что я уехал не надолго за границу с братом, потому что жена моя, по своим делам, не могла уехать, хотя при первой возможности и собирается ехать. Это ему очень не понравилось, и насилу могли успокоить его. Настоящую правду едва ли он когда-нибудь узнает. Мне трудно было бы лгать ему в глаза, и на его расспросы о жене и почему я живу без нее (она ему очень понравилась) я бы должен был, наконец, сказать правду, а говорить правду ему страшно. Бог знает, как это на него подействует. Вторая причина, почему я не хочу ехать в Петербург, это та, что мне нужно там, так же как и в Москве, прятаться от огромного количества знакомых, родных, приятелей и т. д. Это тяжело, а прятаться необходимо: я в таком состоянии, что, кроме самых близких людей, не могу без ужаса и невыносимой тоски встретиться ни с кем. Третья причина: я ненавижу Петербург, и один вид его наводит на меня хандру и уныние.

Про Москву и говорить нечего. Ехать мне теперь в Москву все равно, что обречь себя на сумасшествие. Трудно передать Вам, дорогая Надежда Филаретовна, те ужасные муки, которые я там вынес в сентябре. Я был на волос от гибели. Рана слишком свежа еще. Я могу жить в Москве (которую очень люблю) только в обычной обстановке, т. е. заниматься в консерватории, видясь ежедневно с целой массой людей, имеющих до меня дело. Ко всему этому я еще не приготовился, я еще болен, я не могу всего этого вынести.

Единственное место, куда я бы охотно мог поехать, если б не случилось того, о чем я напишу Вам ниже,—Каменка. Те-

перь Каменка надолго закрыта для меня. Когда сестра моя узнала все, что со мной случилось, то она тотчас же отправилась в Одессу, где была моя жена. Теперь я вижу ясно, что она сделала большую ошибку, не ограничившись свиданием с моей женой, а пригласив ее в Каменку. Сестра очень, очень добра и очень умна, но на этот раз она поступила не так, как бы следовало. Зная хорошо меня и сумевши сразу разгадать мою жену, она, тем не менее, принялась с невероятным увлечением п е р е в о с п и т ы в а т ь м о ю ж е н у, а мне посылать письма, в которых старалась меня уверить, что жена моя обладает, в сущности, многими достоинствами и со временем будет для меня отличной подругой жизни. Я несколько раз писал ей, что все это весьма возможно, что я был виноват во всем, что я принимаю на себя все последствия моего необдуманного поступка, но просил, ради самого бога, никогда даже не упоминать о возможности будущего сожительства. Не знаю, что сделалось на этот раз с сестрой. Она никак не могла понять, что моя а н т и п а т и я к жене, как бы она ни была не заслуженна, есть б о л е з н е н н о е с о с т о я н и е, что меня нужно оставить в покое и не только не расписывать ее достоинства, но и не поминать о женщине, самое имя которой и все, что ее напоминало, приводило меня в состояние безумия. Результатом всего этого было несколько писем жены, о которых я упоминал. Она являлась в них то лживой и злой, то покорной и любящей; то она обвиняла меня в низости и бесчестности, то прямо просила и умоляла возвратить ей мою любовь. Это было ужасно. Теперь сестра сама поняла свою ошибку и узнала, с кем имеет дело. Сначала она увлеклась своим добрым сердцем и жалостью к отвергнутой жене. Она понадеялась на благотворность своего влияния и привела только к тому, что жена моя, с дороги в Одессу писавшая брату, что ей очень весело и что в нее влюбился полковник, теперь, поощренная ласками сестры, вошла в роль несчастной жертвы. А главное, несмотря на то, что я устроил ей совершенно обеспеченное существование, она и не думает уезжать от сестры, говорит, что привязалась к ней и не может жить без нее. Сестра не может удалить ее сама. Положение вышло самое фальшивое. Та самая женщина, которая, конечно, не намеренно сделала так много зла мне, живет у моей родной сестры в доме, который я привык считать убежищем от всех бедствий и самым теплым уголком своим. Конечно, это долго продолжаться не может. Мой b e a u f r è r e * уже просил брата Анатолия, который, возвращаясь в Россию, заедет в Каменку,

---

* зять

взять на себя труд удалить мою жену, но для меня Каменка потеряла уже всю свою притягательную силу. Нужно Вам сказать, что К а м е н к а — большое имение, принадлежащее старшему брату моего зятя, который, т. е. зять, управляет ею. Кроме моего зятя, сестры и их большого семейства, там живет старушка Давыдова, мать зятя, с тремя дочерьми (чудное семейство, о котором я когда-нибудь расскажу Вам), старший брат зятя (хозяин имения) со своим семейством, целый штат лиц, служащих при имении и заводе. Все эти люди два месяца сряду видели мою жену ежедневно одну, без меня. Представьте себе, что жена наконец уедет и что я являюсь ей на смену!.. Это совершенно невозможно![2]

Я возлагаю большие надежды на брата Анатоля. Мне невыразимо тяжело будет расстаться с ним, но зато я знаю, что он устроит как следует мою жену. Как мало я ни питаю симпатии к этому существу, но не могу не жалеть ее и не упрекать себя. Она в полном смысле жалкое существо. Ей почти тридцать лет. У нее есть мать, сестры, братья. Со всеми ими она в ссоре. У нее нет ни одного друга, ни одного человека, любящего ее. В ней принимают искреннее участие только мои же родные и я сам. И к чему судьба столкнула ее со мной!

Но довольно об этом грустном предмете.

Я получил известие, что отправление моего слуги ко мне сопряжено с некоторыми формальностями, из-за которых дело замешкалось. Придется прожить здесь еще несколько дней, т. е. дня три или четыре. Погода стоит ужасная. Дождь льет не переставая. Третьего дня мы были в опере, и я испытал большое удовольствие. Давали «В о д о в о з а» Керубини. Я никогда прежде не слышал этой оперы. Какая прелесть, какая простота и скромность, но вместе сколько свежести, изящества и классической красоты форм. После оперы шел балет «Sylvia», о музыке которого теперь очень много толкуют. Это действительно своего рода c h e f - d ' o e u v r e. Автор этой музыки француз L é o D e s l i b e s. Я бы очень желал, чтобы Вы достали себе этот балет. Такого изящества, такого богатства мелодий и ритмов, такой превосходной инструментовки еще никогда не бывало в балетах. Без всякой ложной скромности я Вам скажу, что «О з е р о л е б е д е й» не годится и в подметки «Sylvi'и». Я был совершенно очарован![3] Здесь также бывает теперь много интересных концертов, но я в них не хожу, боясь встречи с разными известными мне представителями

нашего музыкального мира. Завтра идет в опере «Валькирия» из Вагнера, и я хочу сходить ее послушать.

Здесь повстречался теперь наш общий знакомый Котек, с которым мне очень приятно было увидеться. Я имел много доказательств его самой искренней дружбы ко мне, и в прошлом году я очень близко с ним сошелся. Мне кажется, что в нем много хорошего, и сердце у него очень, очень доброе. Он первый научил меня любить Вас, когда еще я и не думал, что буду когда-нибудь называть Вас своим другом. Он приехал за границу с очень скромной целью — не самому играться на эстрадах, а слушать других. Он познакомился с Иоахимом и хочет сойтись в Берлине, а теперь приехал на время в Вену, чтобы послушать Гельмесбергера и познакомиться с некоторыми из здешних артистов. Он очень много и усиленно занимается.

Тот же день.
Вечером. 12 ч.

Получил сегодня Ваше письмо от 18-го. Благодарю Вас тысячи раз, мой добрый, милый и дорогой Надежда Филаретовна, за все, что в нем заключается. В Вашем предложении приехать в Ваш дом в Москву очень много для меня соблазнительного. Я очень люблю Москву и охотно бы пожил в ней, если б можно было, в самом деле, обойтись без встречи с людьми, в совершенном затворничестве. Но возможно ли это? Сомневаюсь. Кроме того, выше я объяснил Вам, что как меня ни тянет в Россию и в Москву в особенности, но вместе с тем я знаю заранее, что по многим причинам мне там было бы в эту минуту тяжело. Но мне очень дорого то, что в случае сильного припадка Heimweh* есть уголок Москвы, который благодаря Вам готов для меня. Мысль эта очень утешительна. Как только приедет мой человек, я отправлюсь пожить в Венецию (Riva dei Schiavoni, Hôtel Beau Rivage). Я буду постоянно писать Вам, так же как и теперь, часто и обстоятельно. Переписка эта доставляет мне величайшее утешение и удовольствие. До следующего письма, мой дорогой и милый друг.

Ваш П. Чайковский

55. *Чайковский — Мекк*

1877 г. ноября 23. Вена.

Я забыл сегодня утром сказать Вам, что отсюда через шесть дней я еду в Венецию, где решился прожить месяц. Я на-

* тоски по родине

нял там в день отъезда помещение и дал задаток. Адрес следующий: Venezia, Riva dei Schiavoni, Beau Rivage. Итак, мой друг, адресуйте с сегодняшнего дня письма туда.

Ваш П. Чайковский.

Завтра буду писать Вам.

56. *Чайковский — Мекк*

Вена,
26 ноября/8 декабря 1877 г.

Я все еще в Вене, дорогая Надежда Филаретовна! Вчера я получил известие, что сегодня (в субботу) мой человек выезжает из Москвы. Хотя я ему написал подробные наставления, как вести себя дорогой, но не могу себе представить, как, не зная ни единого иностранного слова, он совершит свой переезд за границу. Думаю, что будет много трагикомических эпизодов. По временам мне приходит мысль, что с моей стороны не совсем благоразумно выписывать слугу из России. А с другой стороны, что же мне делать, если я знаю, что абсолютного одиночества перенести не могу? Кроме того, я знаю, что и братья будут покойны, если я буду не один. Не правда ли, что и Вы тоже советуете мне обеспечить себя от безусловного одиночества? Впрочем, Вы даже писали мне уже об этом. Несмотря на отвратительную погоду, несмотря на приближающийся час разлуки с братом, я провожу все последние дни приятно. Котек поселился в нашем отеле. Мы много играем в четыре руки и много толкуем про музыку. В будущее я не заглядываю и обольщаю себя надеждой, что все будет хорошо. Я суеверен, как и Вы. С некоторых пор во мне утвердилась мысль, что я нахожусь под покровительством если не провидения, то какого-то доброго духа, который ограждает меня от могущих угрожать мне бедствий. Еще будет много тяжелых минут, но в конце концов все будет хорошо...

Я слышал «Валькирию» Вагнера. Исполнение было превосходно. Оркестр превзошел сам себя; отличные певцы и певицы сделали все, чтобы выставить товар лицом, и все-таки было скучно. Какой Дон-Кихот этот Вагнер! К чему он выбивается из сил, гонится за чем-то невозможным, когда под рукой у него огромное дарование, из которого, если б он отдавался ему вполне и подчинялся его естественным стремлениям, он бы мог извлекать целое море музыкальной красоты? По моему мнению, Вагнер — симфонист по натуре. Этот человек наде-

Он гениальным талантом, но его губит его тенденция, его вдохновение парализуется теорией, которую он изобрел и которую во что бы то ни стало хочет приложить к практике. Гоняясь за реальностью, правдивостью и рациональностью в опере, он совершенно упустил из виду музыку, которая по большей части блистает полным отсутствием в его последних четырех операх. Ибо я не могу назвать музыкой такие калейдоскопические, пестрые музыкальные кусочки, которые непрерывно следуют друг за другом, никогда не приводя ни к чему и не давая Вам ни разу отдохнуть на какой-нибудь удобовоспринимаемой музыкальной форме. Ни одной широкой, законченной мелодии, ни единого раза певцу не дается простора. Он все время должен гоняться за оркестром и заботиться, как бы не пропустить свою нотку, имеющую в партитуре не большее значение, чем какая-нибудь нотка, назначенная для какой-нибудь четвертой волторны. А что он чудный симфонист, это не подлежит никакому сомнению. Я сейчас примером Вам докажу, до какой степени в нем симфонист преобладает над вокальным и вообще оперным композитором. Вы, вероятно, слыхивали в концертах его знаменитый «Walkürenritt». Что за грандиозная, чудная картина! Так и рисуешь себе этих диких исполинш, с громом и треском летающих по облакам на своих волшебных конях. Эта вещь в концерте всегда производит громадное впечатление. В театре, в виду картонных скал, тряпичных облаков, а также солдат, очень неловко проскакивающих через сцену на заднем плане, наконец в виду этого ничтожного театрального неба, претендующего изобразить нам громадные заоблачные выси, музыка теряет всю свою картинность. Следовательно, театр не усугубляет здесь впечатления, а действует как стакан холодной воды. Наконец, я не понимаю и никогда не понимал, почему признается, что «Niebelungen» составляют литературный chef-d'oeuvre. Как народная поэма — может быть, но как либретто — нет. Все эти Вотаны, Брунгильды, Фрики и т. д. так невозможны, так нечеловечны, так трудно принимать в них живое участие. Да и как мало жизни! Вотан битых три четверти часа делает выговор Брунгильде за ее ослушание. Какая скука! А все-таки бездна удивительно сильных отдельных красивых эпизодов чисто симфонического характера.

Вчера мы с Котеком изучали новую симфонию Брамса — композитора, которого в Германии возносят до небес. Я не понимаю его прелести. По-моему, темно, холодно и полно претензий на глубину без истинной глубины. Вообще, мне кажется, что Германия падает музыкально. Мне кажется, что теперь на

сцену выступают французы. У них много теперь новых, сильных талантов [1]. Слышал я недавно гениальную в своем роде музыку Делиба к балету «Сильвия». Я уже прежде познакомился по клавираусцугу с этой чудной музыкой, но в великолепном исполнении венского оркестра она меня просто очаровала, особенно в первой части. «Озеро лебедей» — чистая дрянь в сравнении с «Сильвией». Вообще за последние годы я не знаю ничего, что бы меня серьезно чаровало, кроме «Кармен» [2] и балета Делиба. Может быть, и Россия скажет новое слово, вообще вся остальная Европа. Но в Германии положительный упадок. Вагнер великий представитель эпохи падения [3].

Прощайте, дорогой и милый друг. Напишу Вам если не завтра, то послезавтра.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Если это возможно, то не потрудитесь ли передать от меня нежный поцелуй М и л о ч к е?

57. *Чайковский — Мекк*

Вена,
27 ноября/9 декабря 1877 г.

Брат и Котек отправились в большой филармонический концерт, в котором идет, между прочим, великолепная, столь любимая мною Третья симфония Шумана. Я предпочел однако же остаться дома. Боюсь, что пришлось бы встретиться с некоторыми из знакомых здешних музыкантов, а стоит только одному из них увидеть меня, чтоб завтра мне пришлось побывать, по крайней мере, у десяти здешних музыкальных тузов, знакомиться с ними, благодарить за внимание (в прошлом году они без всякой просьбы с моей стороны включили в свою программу мою увертюру «Р о м е о и Ю л и я», которая однако же была единодушно ошикана [1]) и т. д. Я бы очень помог распространению своих сочинений за границей, если б делал визиты т у з а м и говорил им комплименты. Но, боже мой, до чего я это ненавижу! Если б знали, с каким оскорбительно покровительственным тоном они относятся к русскому музыканту! Так и читаешь в их глазах: «Хоть ты и русский, н о я т а к д о б р и с н и с х о д и т е л е н, ч т о у д о с т о и в а ю т е б я с в о и м в н и м а н и е м». Господь с ними! В прошлом году мне пришлось быть, поневоле, у Л и с т а [2]. Он был учтив до тошноты, но с уст его не сходила улыбка, которая с величайшей ясностью говорила мне вышеподчеркнутую фразу. В настоящую

минуту само собою разумеется, что меньше, чем когда-либо, я расположен ездить к этим господам на поклоны!

Как грустны военные известия! Только что я было успокоился насчет ж р е б и я войны, как вдруг громом меня сразило известие о взятии турками «Е л е н ы»![3] Если б Вы знали, как торжествуют и празднуют здешние газеты это известие. Как не сетовать на наших военачальников: неужели нельзя было предвидеть нападение Сулеймана!

Мои молодые люди вернулись из концерта и усиленно зовут итти обедать. До завтра, добрый и милый друг.

Ваш П. Чайковский.

58. Чайковский — Мекк

Вена,
29 ноября/11 декабря 1877 г.

Мне очень совестно, мой дорогой и милый друг! Я очень хорошо помню, что в последнем письме моем закончил словами: д о з а в т р а, а между тем это было три дня тому назад, и во все это время я не написал Вам ни одной строчки. Только сегодня в $10\frac{3}{4}$ брат мой уехал. Не буду распространяться о своих ощущениях по этому случаю: Вы их понимаете и без моего описания[1]. Отъезд его замедлился вследствие различных задержек, которые пришлось испытать, прежде чем мой слуга мог получить паспорт. Наконец вчера в пять часов он приехал. Я очень ошибся как насчет тех неприятностей, которые вследствие незнания языка ему придется испытать, так и насчет того впечатления, которое з а г р а н и ц а должна произвести на него. В качестве русского мужичка, столь же сметливого, сколько и смелого и не теряющегося ни при каких обстоятельствах, он совершил свой переезд так, как будто всю свою жизнь ездил из России за границу. Что касается в п е ч а т л е н и й, то, по его мнению, дома в Вене гораздо хуже московских и вообще Москва не в пример лучше.

Грусть разлуки с братом значительно легче переносится мною вследствие известия о взятии Плевны. Я чуть не бросился в объятия к кельнеру, пришедшему вчера утром с кофе и со словами, что «P l e v n a i s t g e f a l l e n»*. Судя по здешним газетам, Австрия ощущает себя как будто обиженной этим успехом и злится на нас за то, что лучшая турецкая армия в плену.

---

* «Плевна пала».

Я было собирался сегодня же, в час пополудни, уехать в Венецию, но, во-первых, не имел времени собраться, возвратившись с проводов брата, а во-вторых, Котек, хотевший сегодня уехать вечером в Берлин, чувствует себя нездоровым, и я не хочу его оставить одного. Он так много выказывал мне беспредельной дружбы, что я не могу не платить ему тем же. Мне бы очень приятно было бы когда-нибудь распространиться в письме к Вам об этом добром, милом и талантливом мальчике, но не скрою от Вас, что меня стесняет боязнь коснуться предмета разговора, быть может, неприятного для Вас. Я до сих пор хорошенько не знаю, в чем он виноват перед Вами, но из некоторых признаков заключаю, что он как будто чувствует себя виноватым. Между тем, я о ч е н ь привязался к нему, и мысль, что он Вам, может быть, чем-нибудь досадил, просто тяготит меня. Что касается его отношения к Вам, то достаточно сказать, что еще до того, как я познакомился с Вами, я уже питал к Вам самую горячую симпатию вследствие всего того, что он говорил мне про Вас. У него очень хорошее сердце и много искренности. Эта искренность, доходящая часто до наивности, всего более мне и нравится в нем.

Завтра в половине второго я еду в Венецию и по приезде тотчас же напишу Вам. Я намерен тотчас же после устройства своего жилья приняться за окончание симфонии, которую начал оркестровать еще в Каменке. Я не встану, пока не кончу. Работа эта очень привлекает меня. Котек, которому я играл кое-какие отрывки, был очень доволен; ему очень понравилось. Так как он правдив, то это было мне очень приятно.

До свиданья, дорогая Надежда Филаретовна.

Глубоко преданный друг

П. Чайковский.

59. *Мекк — Чайковскому*

1877 г. ноября 29—30. Москва.

Москва,
29 ноября 1877 г.

Как я рада, что Вы не отворачиваетесь от меня, не отталкивате меня от себя, мой дорогой друг, а еще, напротив, с свойственною Вам деликатностью Вы стараетесь как бы утешить меня, поднять, вызвать во мне уцелевшие, как Вы предполагаете, обломки прежних верований, чтобы из них сложить что-нибудь. К сожалению, как бы я ни желала быть похожею на сделанный Вами портрет, но это не я. Вы сомневаетесь в том, чтобы та profession de foi была прочна и доставляла мне спокойствие.

Напротив же, та религия, которую имеют люди верующие, не может быть прочна, потому что не может выдержать строгой критики разума, не может доставлять спокойствия, потому что человек чувствует нетвердую почву под ногами, колеблется, а моя религия так проста, так рациональна и неоспорима, что прочнее ее во мне ничего нет. С моею религиею не надо примиряться, потому что в ней нет противоречий и неясностей, она примиряет с жизнью вполне, потому что указывает основательно, естественно и логично, что не может быть добра без зла, так же как не может быть и одного зла. Человек по своим природным свойствам попадает на тот или другой путь и затем, каковы бы ни были его убеждения, он должен искренно и неуклонно всю жизнь поступать соответственно им. Я не скажу, что человек д о л ж е н иметь сердце, д о л ж е н сострадать о ближнем, д о л ж е н умиляться добром и возмущаться злом; ничего он не д о л ж е н, потому что это все дается природою, развивается или не развивается жизнью. Если я вижу человека с сердцем и умом, я скажу с радостью: какой прекрасный человек, какое счастье встречать таких людей на своей дороге! Если я вижу человека без сердца и без убеждений, я скажу: какой гадкий человек, я никогда не хочу иметь с ним ничего общего, не потому, что он д о л ж е н быть лучшим, а потому, что он есть дурной. Человек, у которого на основании природных свойств сложились убеждения и который никогда в жизни не изменяет им, если ему и не счастливится, не везет в жизни,— потому что, Вы знаете, я признаю такую силу, которую называю судьбой, —всегда в своих несчастиях найдет утешение в том, что о н иначе не мог поступить. По случаю твердости убеждений скажу Вам вещь, которая Вам также будет несимпатична, Петр Ильич, потому что я знаю, что Ваше отношение к этому предмету иное. Я враг всякой внешности, начиная с красоты лица до уважения общественного мнения включительно. Все, что не имеет нравственного или существенного смысла, мне антипатично, но до такой степени, что я считаю унизительным для человеческого достоинства придавать значение его внешнему виду. Когда я слышу, что говорят о человеке, одаренном высшими нравственными и умственными свойствами, как о лошади или о мебели, у которых ничего и быть не может, кроме внешней красоты, я возмущаюсь всем своим существом; я красоте не придаю а б с о л ю т н о н и к а к о г о значения в человеке. Вы скажете, быть может, что это потому, что я старуха, то я на это также сообщу Вам, Петр Ильич, что я не всегда была старухою, а мои убеждения давно уже окончательно во мне сложились, и если, быть может, также Вы думаете, что

я и не мечтаю по причине старости, то я скажу Вам, что я мечтать перестала с семнадцатилетнего возраста, т. е. со времени выхода моего замуж.

Но я возвращаюсь к значению и действию внешности. Я связываю ее с твердостью убеждений, потому что люди именно легко подкупаются многими внешними предметами — и красотой, и обстановкой, и приличиями, и погоней за прогрессом, либерализмом, гуманностью, реализмом, материализмом, нигилизмом, глядя по тому, что в моде, демократизмом, революционными фантазиями, а уж перед общественным мнением ничто не устоит, перед фразою «что подумают об этом люди» все сводится к одной доктрине у в а ж е н и я о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я. Ну, как же мне не тосковать, когда у меня так диаметрально противоположны взгляды общелюдским? А я бы презирала себя, если бы подделывалась под общественное мнение и изменила бы в чем бы то ни было свои поступки из боязни того, как найдут это люди.

Но, боже мой, как я отвлеклась от своего главного предмета. Извините, Петр Ильич. Я возвращаюсь к уверению Вас, что я всеми силами своих понятий люблю свою религию и не променяю ее ни на какие блага, потому что без нее они и невозможны для меня. Вы только поймите, Петр Ильич, в чем состоит моя религия, и Вы увидите, как она дорога, как необходима мне, а следовательно, и как прочна. Моя вера есть вера в добро и правду, как я их понимаю,— бескорыстные, неподкупные, искренние, и, если бы я могла потерять эту веру, я перестала бы жить. Моя же тоска, как Вы совершенно верно определяете, есть, так же как и у Вас, тоска по идеалу, иначе говоря, по тем истинам, которым я поклоняюсь, и происходит она не от шаткости моих верований, а от жажды осуществления этих идеалов и неудовлетворенности в этом отношении, потому что мой идеал такой чудак и так далек от того совершенства, которое создали так называемые идеалисты и к которому стремится все человечество, что на него никто не хочет быть похож. Так вот, когда общий строй жизни или отдельные личности оскорбляют, осмеивают, топчут в грязь мой идеал, мои дорогие верования, я тоскую, тоскую до отчаяния (как это было в Bellagio), пока все та же религия не приходит на помощь и не берет верх над всем. Отчуждение от людей происходит от разладицы моих понятий с общечеловеческими. Люди не сочувствуют моим убеждениям, а я не умею подделываться под них. Но моя религия от этого нисколько не страдает, напротив, как человека верующего поддерживает в минуты страдания вера, надежда, любовь к богу, так и меня поддерживает моя вера в добро, любовь к

человечеству и надежда на лучшую будущность для него. Я так твердо верую в добро и правду (по-моему), что, если бы мне пришлось, как Галилею, выдержать за это пытку, я бы так же, как он, отойдя от орудия пытки, сказала: «а все-таки вертится». Я не на словах только готова вынести много, много за свою религию и не отступлюсь от нее ни на шаг. Вы скажете, быть может, Петр Ильич, что богатым не приходится и выносить, то я напомню Вам, во-первых, что богатые еще больше, чем бедные, дорожат и общественным мнением, и судом света, и отношением к себе людей. Я же не подкупаюсь этим ничем, хотя и чувствую, что о д и н в п о л е н е в о и н. Бывает жутко подчас, но моя вера поддерживает меня, я не склоняю голову ни перед несправедливостью, ни порицанием, ни даже перед насмешкою (которой так боятся все люди), я не боюсь ничьего суда, кроме своего собственного, и я уже говорила Вам, что меня даже ничто не раздражает, я не виню людей: они по-своему правы.

Второе скажу Вам, Петр Ильич, то, чего Вы, быть может, не предполагаете: ведь я не всегда была богата, большую часть своей жизни я была бедна, очень бедна, в особенности в один период моей жизни, о котором я Вам сейчас расскажу. Мой муж был инженер путей сообщения и служил на казенной службе, которая доставляла ему тысячу пятьсот рублей в год — единственные, на которые мы должны были существовать с пятью детьми и семейством моего мужа на руках. Не роскошно, как Вы видите... При этом я была кормилицею, нянькою, учительницей и швеей для моих детей, а также камердинером, бухгалтером, секретарем и помощником своего мужа. Хозяйство было, конечно, также все на моих руках. Работы было много, но я не тяготилась ею. Но вот что давило меня невыносимо. Я не знаю, Петр Ильич, знаете ли Вы, что такое казенная служба? Знаете ли, что при ней человек должен забыть, что у него есть разум, воля, человеческое достоинство, что он должен сделаться куклой, автоматом, — то вот этого-то положения моего мужа я не в состоянии была выносить и, наконец, стала просить, умолять его бросить службу, а на его замечание, что тогда нам нечего будет есть, я отвечала, что мы будем трудиться и не пропадем, но когда он, наконец, согласился исполнить мою неотступную просьбу и вышел в отставку, мы очутились в таком положении, что могли проживать только двадцать копеек в день на все. Тяжело было, но я ни одной минуты не жалела о том, что было сделано. Это было не последнее тяжкое положение в материальном отношении, а о нравственных страданиях, какие достались на мою долю в жизни, и говорить нельзя, и действительное, так сказать, существенное примирение я стала находить только

с тех пор, как переменила религию. Я не могу сказать, что с приобретением ее я перестала страдать,— это было бы невозможно, потому что у человека есть горячая кровь, есть нервы, сердце. Да неужели Вы думаете, Петр Ильич, что люди верующие не страдают? Отчего же они плачут перед богом? И они и я находим облегчение в своей религии, только мне не надо ни у кого его выпрашивать, я в себе самой его нахожу...

Что касается Вашего недоверия к моему реализму, то, пожалуйста, Петр Ильич, понимайте его только так, как я понимаю, и тогда Вы увидите и сами, что я реалистка. Да уже на что же Вам больше, когда я красоте не поклоняюсь, и это у меня выведено из жизни. Давно, давно уже я из всех наблюдений вывела твердое убеждение, что она не только не приносит никакой пользы человечеству, но деморализует его. Как первое впечатление красоты есть печать пошлости, так и все последствия его безнравственны, часто бывают возмутительны.

Теперь Вы спрашиваете: неужели я музыку люблю, как Вы — огурцы или Икем? Нельзя же сравнивать два различные предмета. Музыку я люблю за то состояние, в какое она меня приводит, а огурцы не приводят ни в какое, хотя все-таки первое есть физическое. Всякое то состояние, в котором не участвует разум, есть физическое. Теперь я Вас спрошу, Петр Ильич: неужели то состояние, в какое приводит человека бутылка Хереса, есть нравственное? Ведь люди его называют даже б е з н р а в с т в е н н ы м, с чем я совсем несогласна; мне у Шумана весьма симпатично то, что он пил, я еще больше от этого сочувствую его тоске. Но я опять отвлекаюсь. Так вот, музыка меня приводит в то состояние, в какое стакан Хереса, и это состояние я нахожу самым высоким, самым восхитительным. Это стремление куда-то так загадочно, необъяснимо и вместе с тем так роскошно, упоительно, что с ним хотелось бы умереть. Я недавно играла со скрипкою Ваше Andante из Первого квартета, и оно приводит меня всегда в такое состояние и оканчивается дрожью по всем нервам, но я никогда не бываю удовлетворена исполнением того места, где тема идет в тоне Si bemol mineur. Мне кажется, что никто не понимает той отчаянной тоски, какая в нем выражается, зато у меня самой захватывает дыхание.

Божественное искусство музыка, и вот где выражается божественная искра человеческой натуры! Не думайте, Петр Ильич, что это противоречие моей религии,— нет, напротив, я в ней-то и вижу начало той божественной искры, которая чувствуется в музыке; в моей-то религии и есть все самое благородное, самое правдивое и высокое, что есть в человеческой натуре, а музыка на эти-то свойства и действует. Я уверена,

что если бы самый закоснелый разбойник в ту минуту, когда он поднял бы нож над какою-нибудь жертвою, услышал музыку, он бросил бы нож и заплакал, и это было бы чисто физиологическим актом. Я прилагаю Вам вырезку из газеты о любви солдат к музыке; но неужели на них она производит нравственное впечатление? По-моему, нет: они также испытывают высшее физическое наслаждение, хотя оно, несомненно, имеет нравственные последствия,—но в отдельных случаях под моментальным органическим впечатлением; вообще же не изменяет и не улучшает человеческой натуры. Самое убедительное доказательство этому мы видим в среде музыкантов. С Вами, Петр Ильич, я могу говорить не стесняясь об этой среде, потому что Вы не из нее возникли и **никогда** принадлежать к ней не будете. Вы музыкант по призванию, по вдохновению. Вы и родились не таким, как те, другие, и воспитывались по другим традициям, чем те господа, и выработали себе понятия под иными влияниями, чем они. А между ними-то как мало порядочных людей, и **что́ замечательно**, что чем больше генераций прошла музыкальная профессия, тем худшие продукты, как людей, она доставляет.

Но однако как я с Вами заговорилась. Извините, пожалуйста, мой дорогой, снисходительный друг. Я воображаю, как я Вам надоела, но после столь многих лет я в первый раз прошла воображением многое прошлое и в первый раз говорю о нем. Так Вы уж простите мне это увлечение, мой хороший друг.

От всего сердца благодарю Вас, дорогой Петр Ильич, за описание мне Вашего семейства. Как мила и трогательна Ваша взаимная привязанность с двумя юношами-близнецами, какое золотое сердце надо иметь тем, которые способны на такие чувства. Какими славными мне представляются Ваши любимчики Анатолий и Модест. Какие красивые имена!

Как много у меня с Вами общих чувств и общих взглядов. Как понятно и как сочувственно мне все, что Вы выражали по поводу войны и нашей милой родины. Даже Вы употребили точно такую же фразу, которую я и моя Юля очень часто говорим друг другу, находясь за границей, что «жить можно только в России». Потом, Вы не любите Петербурга; я его также очень не люблю. Вы любите Москву; мы всею семьею очень любим ее, т. е. **моею** семьею, но не зятья: те отчаянные петербуржцы.

Работаете ли Вы теперь? Я с нетерпением буду ждать симфонию.

Послезавтра Симфоническое собрание [1]. Танеев будет играть концерт Шумана A-moll'ный.

Н. фон-Мекк.

60. Чайковский — Мекк

Венеция.
2/14 декабря 1877 г.

Дорогая Надежда Филаретовна! Приехал сегодня в Венецию и нашел здесь Вашу телеграмму. Вы уже видели из моего венского письма, что и я ликовал по случаю взятия Плевны. Благодарю Вас за то, что при получении столь радостного известия Вы вспомнили обо мне. Сегодняшнее письмо мое будет очень кратко. Вчера и сегодня я настоящий мученик. Я знал, что буду тосковать о брате, но не знал, что это будет так сильно. Венеция, которая казалась мне так симпатична, пока я был с ним, сегодня произвела на меня впечатление чего-то мрачного, пустынного, могильно-скучного. То, что я теперь испытываю, трудно передать словами. Это ужасно! Дорогой я вспомнил, что ничего не отвечал Вам из Вены насчет доктора. Простите меня, мой милый друг, но я не был ни у одного доктора. Во-первых, все последнее время я чувствовал себя отлично. Во-вторых, я боюсь докторов вообще, а знаменитых в особенности. В-третьих, я, право, убедился в совершенной бесполезности посещения знаменитых врачей. Только напрасно промучаешься с ними. Гораздо охотнее я бы поговорил с простым, н е з н а м е н и т ы м, но добросовестным и дружески расположенным ко мне врачом. В сущности, болезнь моя очень несложная, и самое главное для меня — гигиена. А в чем она должна состоять, я очень хорошо знаю и теперь буду по возможности следовать ей. Лучшим же лечением для меня — в о д ы, которых зимой пить нельзя. Что касается м е л а, особенным образом приготовленного по рецепту парижского доктора, то это сущее шарлатанство. Конечно, мел, как всякая щ е л о ч ь, есть хороший паллиатив для моей болезни, заключающейся в излишнем количестве отделяемых моим организмом кислот. Но к чему эти капсюли и вся эта процедура, прописанная им мне, когда так просто выпить стакан воды с ложкой соды, чтобы нейтрализировать кислоты? Простите за эти подробности, простите также, что я не исполнил Вашего желания. Даю Вам слово, что, если буду чувствовать себя худо, обращусь к врачу, а покамест буду воздерживаться от всего для меня вредного и надеюсь, что останусь еще долго в том отличном для моего здоровья фазисе, в котором нахожусь именно с тех пор, как я, убедившись в шарлатанстве парижской знаменитости, перестал следовать его предписанию.

Мне сегодня так ужасно грустно, что я не в состоянии больше писать Вам, милый и дорогой мой друг!

Простите меня.

Ваш П. Чайковский.

Как бесчестны итальянцы! Половину из всего, что мне обещал хозяин отеля, он не сделал и теперь уверяет, что не обещал мне ни лампы, ни большого стола, ни многих других нужных мне вещей.

61. *Чайковский — Мекк*

Венеция,
4/16 декабря 1877 г.

Милый и дорогой друг! Беру перо в руки и стыжусь, что опять приходится жаловаться на судьбу, изливать Вам тоску свою, стонать и плакать. Я стыжусь потому, что человек моих лет, имеющий возможность жить в в о л ш е б н о й Венеции, работать, видеть ежедневно чудные произведения искусства, словом, пользоваться всем тем, что составляет мечту любого европейца, прикованного к месту своей деятельности, не должен был бы, кажется, падать духом так часто [1]. Я хотел дождаться, пока успокоюсь, чтобы писать Вам без обычных моих стенаний, но, кажется, этого дождусь не скоро! Писать же Вам неправду я не хочу и не могу.

Тем не менее, вот уж второй день, что я работаю над симфонией и работаю очень усидчиво. Я надеюсь, что эта работа выгонит мало-по-малу из моего сердца тоску по милом брате. Как все здесь мне напоминает его! Как больно мне видеть и ходить по городу, где так недавно бродили мы с ним рядом!

Я получил от него телеграмму. Он уже в Каменке. Он телеграфирует, что все устраивается как нельзя лучше и что жена моя покидает, наконец, мою бедную сестру. Последняя обрадовала меня вчера длинным письмом. Она мало-по-малу пришла к заключению, что, в конце концов, всякий, имевший бы безумие сочетаться браком с моей женой, ничего другого не мог бы сделать, как убежать от нее. Сестра долго боролась. В лице моей жены она сначала видела только оскорбленную и покинутую женщину и кругом обвиняла меня, несмотря на всю свою любовь и жалость ко мне. Она даже вообразила себе сначала в моей жене разные качества и достоинства, которых в ней не оказалось при ближайшем знакомстве. Она, впрочем, не заметила в ней и каких-нибудь крупных нравственных недостатков,

нет,— но именно то отсутствие всякого присутствия, которое может быть хуже, чем какой-нибудь положительный недостаток.

То же самое пишет мне и мой зять. Оба эти письма доставили мне много удовольствия. Вследствие своей доброты и жалости к женщине, в самом деле жалкой, они оба сначала очень странно отнеслись ко мне, все стараясь дать мне понять, что я много наделал ей зла, точно будто я себя признавал ни в чем невиноватым. Сколько я им ни писал, что я сознаю всю неизмеримость своей, впрочем, невольной вины, они оба продолжали ставить мне на вид безумие моего поступка. Наконец теперь только они признают, что, раз сделавши глупость, мне ничего другого не оставалось, как бежать. Сестра прямо говорит, что сначала она никак не могла простить мне, что, испортив свою жизнь, я испортил в то же время жизнь невинной и любящей женщины. Теперь она поняла, что любви никогда не было; было только желание выйти замуж. Простите, что в сотый раз пишу Вам все о том же.

Я получил также очень радостное известие, что первый акт «Онегина» привел в восторг моих товарищей, начиная с Рубинштейна [2]. Я очень боялся их приговора. Это очень, очень приятно. А все-таки мне грустно, грустно ужасно. Брата нет со мной!

Прощайте, дорогая Надежда Филаретовна.

Ваш П. Чайковский.

Письма Вашего еще не получал.

62. Чайковский — Мекк

Венеция,
5/17 декабря 1877 г.

Только что получил Ваше рекомендованное письмо. Благодарю, дорогая Надежда Филаретовна! Признаться сказать, начиная со вчерашнего дня, я начал бояться, что письмо пропало. Оно шло очень долго [1]. Я уже был у банкира, который велел мне притти через три дня.

Читая Ваше сегодняшнее письмо, я очень раскаивался, что написал Вам из Вены опровержение Вашей теории, т. е. это было не опровержение, а отрицание того, что Ваша философия действительно в Вас имеется. Теперь я понимаю, что с моей стороны это было очень наивно и неловко. Люди склонны судить ближнего по своей мерке. Потому, что я не нахожу в своей душе силы выработать какие-нибудь прочные убеждения, пото-

му, что я, как флюгер, верчусь между традиционной религией и критическими доводами разума, то непременно захотел, чтоб и Вы плавали вместе со мной по морю сомнения. Я и забыл тогда, что могут быть люди, как Спиноза, Гете*, Кант, которые сумели обойтись без религии. Я и забыл, что, не говоря уже об этих колоссах, существует бездна людей, сумевших создать себе гармонический строй идей, заменивших им религию. Мне остается завидовать этим людям. Мне кажется, что я обречен целую жизнь сомневаться и искать выхода из противоречий. Всякие же попытки сравнить себя с Вами было очень неудачно. Из всего, что Вы мне писали, из некоторых биографических подробностей, сообщенных Вами в сегодняшнем письме, я пришел к заключению, что Вы, без всякого сомнения, человек с сильным характером, с непреклонной волей. Мне очень ясно стало, что такая цельная, сильная натура, как Ваша, не могла не притти к каким-нибудь твердым убеждениям. До какой степени в сравнении с Вами я слаб, неспособен к борьбе, нерешителен, жалок! Это я говорю вовсе не с целью кокетничать своим самоунижением, а вследствие действительного сознания всей д р я б л о с т и и с л а б о с т и своей души. В эту минуту мне кажется, что Вы должны были из моих признаний вывести то же самое заключение, и мне совестно перед Вами. Я испытываю перед Вами чувство, подобное тому, которое испытывает человека крошечного роста, разговаривающего с человеком огромного роста. Это не фраза. После всего того, что я прочел в Вашем письме, мое уважение, моя любовь к Вам сделались, если можно, еще сильнее, но вместе с тем я с неотразимою очевидностью сознал свою ничтожность.

Многое из того, что Вы пишете, мне чрезвычайно симпатично. Мне нравится Ваше горделивое отношение к общественному мнению. Когда я был в своем нормальном состоянии, когда я еще не был надломлен, как теперь, уверяю Вас, что мое презрение к «qu'en dira-t-on»** было, по меньшей мере, так же сильно, как Ваше. Теперь, сознаюсь, я как будто стал чувствительнее в этом отношении. Впрочем, я б о л е н, т. е. болен нравственно. Притом же, я всегда ненавидел п у б л и ч н о с т ь, всегда огорчался, когда видел, что мною много занимаются. А так как история моей женитьбы, моя болезнь не могли не наделать языков, то это меня раздражало. К сожалению, моя деятельность как артиста сопряжена с п у б-

---

* Кстати, читали ли Вы книгу Льюиса о Гете? Если нет, то прочтите. Какая громадная фигура! *(Прим. Чайковского.)*

** «что об этом скажут»

личностью, и роль постороннего, никого не интересующего созерцателя для меня невозможна. Отчего Вы говорите, что мы расходимся с Вами относительно человеческой красоты? Отчего Вы думаете, что я отвожу ей большое место при оценке человека? Да, красота человека, конечно, влияет на меня! Но что такое человеческая красота? Ведь это понятие чисто относительное и не имеющее ничего общего с абсолютной красотой, проявляющейся в искусстве. У французов существует вульгарное, но очень верное определение человеческой красоты: «beau qui plait»*. Но ведь plaire** может лицо и некрасивое, и с этим фактом мы встречаемся ежеминутно! Скажу больше. Лица, обладающие красотой в классическом смысле, редко нравятся. В лице человека, в его походке, манерах, движениях, взгляде нравится что-то неуловимое, не поддающееся определению. В сущности, это «нечто» есть отражение духовной красоты. В этом смысле я, конечно, поддаюсь легко обаятельному действию внешности человека. Следовательно, относительно взгляда на красоту людей существует недоразумение в словах. Под красотой человека разумеется внешнее отражение его внутренних качеств, но слова для этой внешности не существует.

В Вашем письме есть только одно, с чем я никогда не соглашусь, это Ваш взгляд на музыку. Особенно мне не нравится Ваше сравнение музыки с опьянением. Мне кажется, что это ложно. Человек прибегает к вину, чтобы обмануть себя, доставить себе иллюзию довольства и счастья. И дорогой ценой достается ему этот обман! Реакция бывает ужасна. Но как бы то ни было, вино доставляет, правда, минутное забвение горя и тоски — и только. Разве таково действие музыки? Она — не обман, она — откровение. И в том именно ее победоносная сила, что она открывает нам недоступные ни в какой другой сфере элементы красоты, созерцание которых не временно, а навсегда мирит нас с жизнью. Она просветляет и радует. Уловить и проследить процесс музыкального наслаждения очень трудно, но с опьянением оно не имеет ничего общего. Во всяком случае, это не физиологическое явление. Само собою разумеется, что нервы, следовательно материальные органы, участвуют в восприятии музыкального впечатления, и в этом смысле музыка услаждает наше тело. Но ведь известно, что провести резкое разграничение между материальной и духовной сторонами человека очень трудно.

* «прекрасен тот, кто нравится»
** нравиться

Ведь и мышление есть тоже физиологический процесс, ибо оно принадлежит к функциям мозга. Впрочем, здесь все дело в словах. Как бы мы различно ни объясняли себе значение музыкального наслаждения, но одно несомненно, это то, что мы любим с Вами музыку одинаково сильно. Роль ее в наших жизнях одинакова. Этого для меня совершенно достаточно. Мне приятно, что Вы так горячо любите и называете б о ж е с т в е н н ы м то искусство, которому я посвятил свою жизнь.

Мне ужасно нравится в Вашей философии взгляд на добро и зло в людях. Взгляд этот несколько фаталистичен, но полон самой х р и с т и а н с к о й снисходительности к порокам и недостаткам ближнего. Вы совершенно правы, говоря, что нелепо требовать от человека, которому н е д а н о добродетелей и ума, чтоб он сделался добр и умен. Здесь я опять натыкаюсь на кидающуюся в глаза разницу между Вашей индивидуальностью, принадлежащею к самому высшему разбору, и моей, всецело принадлежащей к категории низменных и слабых натур, несмотря на то, что природа наделила меня музыкальным дарованием. Я всегда заставлял себя смотреть на з л о человеческой натуры как на неизбежное отрицание д о б р а. Исходя из этой (если не ошибаюсь, выясненной С п и н о з о й) точки зрения, мне бы следовало никогда не поддаваться чувствам з л о б ы, н е н а в и с т и. Между тем, на практике оказывается, что я з л ю с ь, н е н а в и ж у, н е г о д у ю на людей так же точно, как человек, которому никогда не приходила в голову мысль о том, что каждый его ближний действует согласно указаниям его ф а т у м а. Я наверное знаю, что Вы недоступны мелким чувствам злобы и мстительности. Это мне ясно из всего, что я о Вас знаю и от Вас самих и от других. Вы уклоняетесь от удара, наносимого ближним, а не отплачиваете ему более сильным ударом. Словом, свою философию Вы проводите и на практике. А у меня опять та же раздвоенность: думаю одно, а делаю другое.

Очевидное доказательство вышеизложенному я Вам представлю сейчас. У меня есть один друг, некто Кондратьев, человек очень милый, приятный в обращении, но страдающий одним недостатком - э г о и з м о м. Этот эгоизм проявляется в нем в таких милых, джентльменских формах, что нельзя на него долго сердиться. В сентябре, когда я, перед своей болезнью, погибал в Москве с отчаяния и в пароксизме горя искал в комнибудь поддержки, случилось, что этот Кондратьев, живущий в деревне, в Харьковской губернии, написал мне письмо, как всегда наполненное изъявлениями самой горячей дружбы. Братьям я не хотел открываться, опасаясь смертельно огорчить

их. Чаша была переполнена. Я написал Кондратьеву письмо, в котором изложил весь ужас и всю безнадежность моего положения. Смысл этого письма, читаемый, конечно, между строчками, был такой: «Я погибаю, — спаси меня, поддержи и спеши!» Он человек очень состоятельный, совершенно свободный и готовый, по его словам, на всякие жертвы для друга. Я был убежден, что он явится ко мне на помощь. Потом произошло то, что Вы знаете. Уже в Кларенс мне доставили письмо его, пришедшее в Москву через неделю после моего бегства. В письме этом мой друг очень сожалеет меня и в конце пишет: «Молись, друг мой, молись. Бог поможет тебе выйти из этого положения». Дешево и сердито отделался! Сегодня ночью я читал третий том чудного романа Тэккерея: «Пенденнис». Там есть одно живым выставленное лицо майора, Пенденниса, очень часто напоминавшее мне Кондратьева. Случилось, что один эпизод особенно резко нарисовал мне моего друга. Я вскочил с постели и тотчас же написал ему письмо, где с совершенно излишнею горячностью напал на него с орудием насмешки, сквозь которую сквозила злость. Прочтя Ваше письмо, мне стало стыдно. Я тотчас же написал ему другое, прося простить меня за неумеренную и неуместную горячность. Вот видите, какое благодетельное влияние имеете Вы на меня, лучший друг мой, мое провидение и утешение!

В конце письма сообщу Вам о полученном мною известии, наполнившем меня самою сильною радостью. Брат Модест пишет, что отец его ученика посылает их обоих за границу. Это должно совершиться в скором времени. Я так рад, что не умею Вам выразить. Случилось это так. Когда брат Анатолий уехал, и я, проводив его, остался в Вене, на меня нашла отчаянная тоска. Вдруг в голове блеснула мысль, которую я тотчас же привел в исполнение. Я написал Конради письмо, прося его извинить меня, если просьба безумна, и, в случае неисполнения моего желания, ничего не говорить об этом брату. В письме этом, говоря о своем одиночестве, я прямо прошу Конради послать за границу своего сына с братом. Мальчик очень слабенький, и ему прежние зимние поездки приносили много пользы. Я употребил все свое красноречие, чтоб убедить Конради. Результатом этого была следующая телеграмма, полученная мною вчера от брата: «Tu as vaincu Conrady. Pars après couches avec Nicolas à l'étranger»*. Чтобы Вы знали, что означает après couches, я должен прибавить, что M-me Кон-

* «Ты победил Конради. Отправляюсь с Колей за границу после родов».

р а д и на-днях должна разрешиться от бремени. Само собою разумеется, что родители мальчика не могут отпустить его, пока у него не появится брат или сестра. Итак, недели через две-три я буду иметь возможность жить с милым братом и его учеником, которого я ужасно люблю. Нельзя себе представить, до чего этот бедный ребенок мил, умен, добр, нежен. Его привязанность к брату выше всякой меры. Видеть их вместе трогательно. Я до-нельзя счастлив. Благодарю Вас, мой дорогой друг, за предложение высылать мне «М о с к [о в с к и е] в е д [о м о с т и]». Это было бы очень приятно, но мой беспокойный нрав не дает мне долго сидеть на месте, и я боюсь даже на один месяц абонироваться на газету. Но вот у меня какая к Вам убедительная просьба. Я большой любитель чтения журналов, посвященных прошлому. В Москве я получал «Р у с с к и й а р х и в», «Р у с с к у ю с т а р и н у» и «Д р е в н ю ю и н о в у ю Р о с с и ю», но в нынешнем году я их не выписывал потому, что мог читать их даром. Не будете ли Вы так добры приказать выслать мне покамест один из этих трех журналов за нынешний год. Я бы был очень, очень счастлив, если б Вы доставили мне возможность прочитать «Русскую старину». Не беспокою я Вас этою просьбой? Извините за бесцеремонность.

«Персидские песни» Рубинштейна написаны на немецкий текст поэта Б о д е н ш т е д т а[2]. Этот Боденштедт (переводчик Лермонтова и Пушкина) сочинил несколько стихотворений в подражание Гафизу и выставил вымышленное им имя Мирзы Шаффи, воображаемого автора персидских оригинальных пьес. Между тем, мне лично известно, что Боденштедт (с которым я познакомился в прошлом году в Байрейте) персидского языка не знает. Я же переводил с немецкого текста. Неужели на нотах сказано: «п е р е в о д с п е р с и д с к о г о»? Если да, то я в этом не виноват, но это мне неприятно.

До свиданья, дорогая Надежда Филаретовна. Я теперь усердно работаю над симфонией. Первая часть почти готова. Могу сказать с уверенностью, что это лучшее мое сочинение.

Преданный и благодарный друг

Ваш П. Чайковский.

Ради бога, простите меня за мое маранье.

63. Чайковский — Мекк

Венеция,
9/21 декабря 1877 г.

Я не только усидчиво занимаюсь над инструментовкой н а ш е й симфонии, но поглощен этой работой. Никогда еще

никакое из прежних оркестровых моих сочинений не стоило мне столько труда, но и никогда еще я с такою любовью не относился к какой-либо своей вещи. Я испытал приятный сюрприз, принявшись за работу. Сначала я писал больше ради того, что нужно же, наконец, окончить симфонию, как бы это трудно ни было. Но мало-по-малу мной овладевало увлечение, и теперь мне трудно отрываться от работы. Дорогая, милая Надежда Филаретовна, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что эта симфония недюжинная вещь, что она лучшее из всего, что я до сих пор сделал. Как я рад, что она наша и что, слушая ее, Вы будете знать, что при каждом такте ее я думал о Вас. Если б не Вы, была ли бы она когда-нибудь окончена? В Москве, когда я думал, что для меня все кончено, я сделал на черновой рукописи следующую надпись, о которой забыл, и только теперь, принявшись за работу, нашел ее. Я надписал на заголовке: «В случае моей смерти поручаю передать эту тетрадь Н. Ф. фон-Мекк». Я хотел, чтоб Вы сохранили рукопись моего последнего сочинения. Теперь я не только жив, невредим, но, благодаря Вам, могу всецело отдаться работе, сознавая, что из-под пера выходит вещь, которой, мне кажется, суждено не быть забытой. Впрочем, очень может быть, что я ошибаюсь; увлечение своим последним сочинением свойственно, кажется, всем артистам.

Как бы то ни было, но я в эту минуту чрезвычайно ободрился благодаря интересной и увлекательной работе. Я очень равнодушно переношу разные маленькие неприятности, которые мне устраивает хозяин отеля. Во-первых, он отдал мне в наем две маленькие комнатки в четвертом этаже, когда оказывается, что за ту же цену живут другие ниже. Во-вторых, на том основании, что я приехал 14-го, а хотел приехать 12-го, он заставил меня заплатить полный пансион за 12-е и 13-е число. В-третьих, в счету сегодня оказались разные неожиданные надбавки; в-четвертых, кормит очень плохо; в-пятых, за дрова берет ужасно дорого и т. д. и т. д. Словом, отель оказался очень скверным, но переезжать я уже не буду, пока не разъяснится вопрос о приезде брата.

Дорогой друг мой, не сердитесь, если до окончания работы я буду писать Вам несколько реже и меньше. Я так устаю от работы, что вечером мне даже читать трудно, и глаза побаливают. Погода стоит восхитительная, но очень холодная. Только вчера появились облачка, но сегодня опять ясно. До свидания.

Любящий и глубоко преданный

П. Чайковский.

64. Чайковский — Мекк

Венеция,
12/24 декабря 1877 г.

Дорогая Надежда Филаретовна! Сегодня я получил радостное и уже решительное известие, что брат мой Модест вместе с своим милым воспитанником едет ко мне. Конради (отец ребенка), отпуская ко мне своего сына с своим воспитателем, потребовал, чтоб я поселился в месте, климат которого был бы подходящ к гигиене слабого мальчика. Он предложил Сан Ремо, около Ментоны, в котором можно устроиться очень удобно, так как в последнее время там настроено много пансионов и гостиниц. Там тепло, воздух здоровый и чистый, местоположение великолепное и жизнь простая, без светских забав и шума. Я не имею ничего против этого выбора. Во всем этом только одна маленькая неприятность, это, что придется оторваться от работы, в которую я теперь так безраздельно углубился. Дня три или четыре придется потерять. Но зато сколько радости, сколько отрады будет мне жить с милым братом, который, к тому же, не будет нисколько отвлечен от своего дела! Со стороны Конради этот поступок до того мил, что я не знаю, как ему выразить свою благодарность!

Никаких событий, достойных быть отмеченными в мою хронику, в последние дни не происходит. Венеция перед праздником значительно оживилась. Вечером очень весело пройтись по главным узеньким улицам, ярко освещенным и наполненным народом. На всех площадях выставлены палатки, столики с самыми разнообразными товарами. Большинство этих товаров имеет общее всей Венеции и всему венецианскому свойство издавать зловоние, вследствие чего воздух стал положительно отравлен; нельзя окна отворить. Погода опять стоит великолепная, ясная, а сегодня даже жарко на солнце.

Я получил вчера письмо от брата Анатолия, письмо самого успокоительного свойства. В Каменке меня любят по-прежнему; я совершенно утешен с этой стороны. Ведь мне все казалось, что меня там только жалеют. Это было мне очень горько. В последнее время я уже стал получать письма оттуда, весьма меня успокоившие; но все, что мне пишет брат мой, окончательно возвратило в меня уверенность, что все каменские жители, составляющие группу людей, очень, очень дорогих для меня, простили мне все и поняли, что я действовал в каком-то ослеплении и что вина моя была невольная. Жена моя еще там.

Она выразила моему брату желание итти в сестры милосердия. Брат взялся хлопотать об этом. Не стану вдаваться в подробности, но все, что я узнаю теперь о ней, действует самым благотворным образом на мою совесть. Она может быть вполне спокойна.

Сегодня я уже приступил к второй половине второй части симфонии. Работа с каждым часом делается легче. Я надеюсь, что, несмотря на перерыв, окончу все к нашему новому году[1]. Начиная с сегодняшнего дня, т. е. со дня получения моего письма, прошу, мой дорогой друг, считать уже меня жителем Сан Ремо и адресовать мне письма туда, покамест в poste restante (Italie Septentrionale, San Remo près Menton)

До свиданья, дорогая Надежда Филаретовна!

Ваш П. Чайковский.

P. S. Если придет сюда письмо или посылка после моего отъезда, то мне перешлют в San Remo. Я еду отсюда в самом конце этой недели.

65. *Мекк — Чайковскому*

1877 г. декабря 12—14. Москва.

Москва.
12 декабря 1877 г.

Я думаю, что это письмо найдет Вас уже в Венеции, дорогой мой Петр Ильич, что Вы уже получили ma lettre chargée и не исполнившую своего назначения телеграмму о взятии Плевны, которою я так хотела первая Вас обрадовать.

Я никогда не видывала до сих пор, чтобы люди, не связанные узами крови и воспитания, имели такое сходство вкусов, чувств, симпатий, внутренних отношений, как у меня с Вами, дорогой друг мой. Наши патриотические чувства не только одного характера, одной меры, но даже одинаковых проявлений. Наше чувство к музыке инстинктивно, внутренне совсем одно и то же, а только мы расходимся в определении названия этому чувству.

Все, что Вы говорили о Вагнере, о падении немецкой музыки, о Брамсе, о движении искусства у нас в России, все это привело меня в восторг, потому что указало мне, что наши мысли

до того сходятся, что даже в одно и то же время приходят в голову: я только что на-днях, разговаривая с Юлею о Брамсе, по поводу предполагавшейся к исполнению его симфонии, о музыке вообще и о положении музыкального искусства в разных странах, выражала, что я хочу в музыке жизни, чувств, живых выражений и представлений и что терпеть не могу в ней сухих теорий, философских проповедей или щеголяния знанием ее, что превращает некоторые сочинения в упражнения в модуляциях, где пестрота такая, что делается головокружение, чем, к сожалению, особенно часто злоупотребляет новейшая музыка. О Брамсе я говорила, что не люблю его. Вагнера терпеть не могу, а что теперь именно русская музыка выдвигается вперед. Я только не ставила, как Вы, на ранней очереди французскую музыку, потому что, мне кажется, она долго не подвинется вперед: французы так упорно держатся старого классицизма, что даже у себя тормозят всякое движение вперед. На это ведь уже жаловался Берлиоз в своих мемуарах, и как мы видим, что даже ни Гуно, ни Массене, при всем уважении к ним их соотечественников, не могли дать общего толчка музыке. Инструментовать-то они могут хорошо, но в своей концепции все держатся на старых началах. Оно, пожалуй, хорошо, во всяком случае лучше, чем пересолить в нововведениях, но положение-то все-таки неподвижное. А у нас-то, в России, как подвинулось искусство за последнее время! Хотя, правда, у многих наших новаторов ум за разум зашел, но все-таки, значит, ум работает. Вот я из наших композиторов никак не могу оценить Римского-Корсакова; по-моему, у него-то жизни нет. «Хороший контрапунктист»,— да что же в этом, это хорошо для того, чтобы давать и поправлять задачи в консерватории, а в музыке, в сочинении они должны иметь жизненный смысл, иначе они также будут exercice'ами в контрапункте. Я в его музыке слышу человека, конечно, сведущего, но в высшей степени самолюбивого и без сердца. Просветите меня, Петр Ильич, относительно его. У Бородина, мне кажется, и не было большого ума, и тот за разум зашел. Кюи способный, но развращенный музыкант, а Мусоргский, — ну, тот уж совсем отпетый.

А вот я люблю Направника, очень люблю Рубинштейна (Антона) и обожаю Вас, мой милый друг.

Вы пишете, что Вашею оперою довольны. Еще бы не были довольны: ведь не басурмане же они в музыке (но т о л ь к о в музыке, впрочем).

Вот перечень моих отношений к нашим композиторам; исправьте их, Петр Ильич, где неверно, кроме самого последнего, потому что это уже мною прочувствовано, обдумано, и любовь

эта вошла мне в плоть и кровь, сделалась свойством, потребностью моей натуры, и потерять ее было бы для меня — заболеть нравственным смертельным недугом, потерять в жизни жизнь.

С каким восторгом я читала также в Вашем письме об антипатии к знакомствам и заискиванию у разных тузов. Боже мой, мы все чувствуем одинаково, мы даже ошибаемся одинаково!

Как я завидую Вам, что Вы в Венеции, Петр Ильич! Я с каждым годом труднее переношу нашу русскую зиму, и в нынешнем году я только и выезжаю в Симфоническое собрание, и то с кашлем и насморком. На-днях праздновались консерваторию именины Николая Григорьевича, но не в самый день именин, а почему-то отложено было до 10-го числа. Вот в этом человеке, т. е. в Рубинштейне, я очень дорого ценю его неутомимую деятельность на музыкальном поприще и проявление русского патриотизма. Но знаете, Петр Ильич, чего я не могу простить ему?— это его отношения к консерватории. Прежде, давно, я ужасно высоко ставила в нем ту заслугу, что он устроил консерваторию в Москве; я считала ее настоящим храмом божественного искусства. Но с тех пор, как я узнала, года три назад, и теперь окончательно убедилась в том, что такое составляет консерватория для Рубинштейна и что он создал в ней, я разочаровалась в его подвиге и не могу простить ему такой профанации искусства. Он, который мог сделать из консерватории все, что бы ни захотел, он поставил и держит ее на такой низкой ступени нравственности, которая оскверняет искусство, отнимает у него первые и необходимые права его: свободу, вдохновение, неподкупность! Он в своей консерватории устраивает только удовлетворение своему деспотизму, тщеславию, мелкой злобе и многим, многим мелким чувствам. Это мне ужасно больно, этим возмущаются все мои нравственные понятия, вся моя любовь к музыке.

В прошлом Симфоническом собрании солистом был выставлен Бродский. Он играл концерт Бетховена на моей скрипке (у меня есть хороший Страдивариус из Парижа); играл он очень хорошо и получил много аплодисментов [1].

Знаете Вы, Петр Ильич, увертюру Бизе «Patrie!»? Она изображает битву Костюшко с русскими при Рацлавицах. Это очень хорошая музыка, но, мне кажется, недостаточно развита. Как картина она не довольно жива, не рельефна, по внутреннему содержанию не довольно глубока, вообще не закончена, слишком эскизна. Я не знаю, Петр Ильич, понимаете ли Вы, что я хочу сказать; я не умею технически музыкально выражаться.

Прилагаю Вам здесь, Петр Ильич, маленькую вырезку из фельетона «Голоса», в котором Вы найдете несколько слов о Ваших вариациях для виолончели на тему «Рококо»[2]. Хотя сказано слишком мало, но слышно, что вполне искренно. Но забавно в этой вырезке, что он так наивно поверил тому, что увертюра Бизе написана им на свое отечество после франко-прусской войны.

А балета «Sylvia» я здесь не могла достать. Поручила выписать, да не знаю, исполнят ли это.

У моей Юли недавно произошло очень забавное столкновение с ее учителем пения, итальянцем Фензи, и как Вы думаете, за что? — за н о в у ю музыку, отчасти и за Вашу. Надо Вам сказать, что г. Фензи — старик, очень хороший музыкант, но самой ярой итальянской школы, которой он предан всей душою. Занимались они, конечно, преимущественно итальянскою музыкою, иногда старою немецкою, и из русских композиторов он очень любит Глинку. Юля же очень любит Ваши романсы, она много их поет, но разученных без учителя, и я ей аккомпанирую. Ей все хотелось просветить Фензи по части Вашей музыки, вследствие этого у них являлись частые споры, и хотя она пела с ним Ваши романсы и Рубинштейна, но это никогда не обходилось без споров.

При одном из таких прений он взял несколько сочинений к себе для просмотра и с того дня пропал. Прошло две недели, он не показывается. Я сказала Юле, чтобы она послала узнать, жив ли он. В ответ на это принесли письмо, которое так забавно, что я в подлиннике посылаю Вам его; я уверена, что Вы не будете в претензии за его взгляд. Мне его поступок весьма симпатичен. Он так тверд в своем музыкальном принципе, что лучше захотел потерять заработок, чем действовать против него. Вообще, я совершенно согласна с его требованиями для вокальных сочинений, но я нахожу, что они излишни относительно В а ш и х сочинений. То, что он говорит, может вполне относиться к Вагнеру, но в Ваших вокальных сочинениях есть все, что требует справедливость и задача. У Вас прелестные мелодии, с роскошною гармонизациею, и тут в нем оскорбляется уже не столько музыкант, сколько итальянец, взращенный на одних мелодиях, а он еще такой типичный итальянец, живой, увлекающийся, неугомонный. В ответ на его письмо я поручила Юле написать ему, что было бы очень печально прекратить уроки с ним, поэтому она просит его продолжать их и обещает вполне подчиняться его выбору пьес.

Право, Петр Ильич, я не знаю, что мне делать, чтобы не писать Вам таких длинных писем; я думаю, они Вам ужасно

надоедают. Извините, мой милый, хороший друг, но в этом столько счастья для меня, что трудно удержаться. Всем сердцем Вас любящая

Н. фон-Мекк.

P. S. Пожалуйста, Петр Ильич, пришлите назад письмо Фензи.

Сегодня я получила Ваше письмо от 5 декабря и очень, очень благодарю за него. Но как безобразно долго идут письма. Я только на седьмой день получаю Ваши.

Как я обрадовалась известию, что Ваш брат Модест приедет к Вам. Слава богу, теперь я спокойнее за Вас, лишь бы он скорей приехал.

Были ли Вы, Петр Ильич, в Giardino Pubblico? Если нет, то съездите туда, там очень мило. Потом ведь там есть большой театр и оперные представления. Недавно там пела или, быть может, поет еще и теперь Патти Аделина, но, как пишут, она не понравилась публике, а от ее мужа Николини в восторге.

В Симфоническом собрании на послезавтра назначена к исполнению симфония Брамса, а солистом выпускают Вильборга. Играть будет концерт Рубинштейна G-moll'ный [3].

Если Вы соскучитесь в Венеции, Петр Ильич, то поезжайте в Bellagio; там так хорошо, что я не могу вспоминать без замирания сердца. Счастливый Вы, Вам тепло, а у нас так холодно, что я совсем изнемогаю; впрочем, мороз от 6 до 10°.

Н. М.

66. Чайковский — Мекк

Милан,
16/28 декабря 1877 г.

Сегодня утром я покинул Венецию. Нельзя сказать, чтоб город этот отличался веселым характером. Напротив, общее впечатление, оставляемое им, какое-то меланхолическое. Это руины. Когда едешь по Большому каналу и смотришь на устаревшие дворцы, где некогда было столько блеску и шуму, а теперь или пустота или гостиница, и притом пустая, как все венецианские гостиницы в это время года, делается грустно и жалко блестящего прошлого, от которого остались только г о н д о л ы той же формы. Но когда-то в них сидели венецианские патри-

ции и патрицианки, а теперь штатские господа и дамы в шубах. Гостиница, в которой я стоял, до того была пуста, что в последнюю неделю имела всего двух обитателей, и то в четвертом этаже; это были я и мой Алексей. Во время праздников город несколько оживился, но и то не надолго. Оживление дошло до апогея в сочельник, когда все улицы были наполнены массою покупателей. В самый праздник магазины были заперты. Теперь только, приехавши после двухнедельного пребывания в Венеции в шумный и оживленный Милан, я почувствовал несравненную оригинальность Венеции. В сумме, несмотря на недостатки гостиницы, в которую я попал, она, т. е. Венеция, оставила во мне очень приятное воспоминание. Несомненно то, что в эти две недели мое здоровье, и душевное и телесное, находилось в превосходном состоянии. Немалое значение в этом отношении имеет с и м ф о н и я. Эта работа очень ободрила меня. Я сознаю теперь, что стоило в ы з д о р о в е т ь, стоило возвратиться к своему п о ч т и нормальному состоянию. В первые дни я до безумия тосковал о брате Толе, но когда получил известие о предстоящем приезде другого брата и когда погрузился в работу, я вдруг почувствовал себя в п о л н е покойным. В настоящее время три части готовы. Не знаю, долго ли продлится мое увлечение последней своей работой, но теперь мне кажется, что эти три части составляют венец всей моей музыкальной деятельности. Читаете ли Вы между строчками, кому я должен быть благодарен за то, что мог приступить к этой работе? Говорить ли Вам, что эта благодарность безгранична, искренно горяча! Лучше не буду говорить. Само собой понимается.

Я приехал в Милан в четыре часа. Успел погулять по милому городу, а вечером был в театре, к несчастию не в L a S c a l a, которая сегодня заперта, а в D a l l V e r m e, где четыре года тому назад шла «Ж и з н ь з а ц а р я». Сегодня шла опера Марчетти «Р ю и-Б л а з». Опера эта пользуется в Италии повсеместным успехом уже несколько лет, и я ожидал найти в ней что-нибудь интересное. Оказалось, что это самая бездарная, пошлая копия с Верди, без той силы и той искренней теплоты, которою отличается грубоватое, но сильное творчество этого последнего. Исполнение ниже посредственности. По поводу исполнения этой оперы мне приходили в голову грустные мысли. Там есть молодая королева, в которую все влюблены. Артистка, исполнявшая эту роль, очень добросовестная: она делала все, что могла. Но как мало она была похожа на пленительную царственную женщину, имеющую свойство очаровывать всех мужчин, которые с ней сталкиваются! А герой, Р ю и-

Б л а з! Опять-таки пел он совсем недурно, но вместо юноши, красивого и изящного героя, это был настоящий лакей. Никакой иллюзии. Я думал о своей опере. Где я найду Т а т ь я н у, ту, которую воображал Пушкин и которую я пытался иллюстрировать музыкально? Где будет тот артист, который хоть несколько подойдет к идеалу Онегина, этого холодного дэнди, до мозга костей проникнутого светскою бонтонностью? Откуда возьмется Ленский, восемнадцатилетний юноша с густыми кудрями, с порывистыми и оригинальными приемами молодого поэта à la Шиллер? Как опошлится прелестная картинка Пушкина, когда она перенесется на сцену с ее рутиной, с ее бестолковыми традициями, с ее ветеранами и ветераншами, которые без всякого стыда берутся, подобно Александровой, Коммисаржевскому и t u t t i q u a n t i*, за роли шестнадцатилетних девушек и безбородых юношей! Мораль следующая. Писать инструментальную музыку гораздо приятнее: меньше разочарований. Сколько мне пришлось вытерпеть при постановке моих опер, особенно «В а к у л ы»! Между тем, что я воображал, и тем, что вышло на сцене Мариинского театра, нет ничего общего. Что за Оксана, что за Вакула! Вы их видели. После оперы шел очень забавный балет с превращениями, арлекинсм и всякого рода неожиданностями, но с возмутительно пошлой музыкой. Это однако ж не помешало мне забавляться, тогда как опера и ее исполнение скорее раздражали меня. А «Р ю и - Б л а з» — превосходный сюжет для оперы.

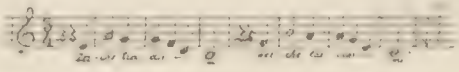
Завтра утром пойду в собор, которым уже сегодня я восхищался снаружи. Что за грандиозное зданйе, и как жаль, что оно недостаточно открыто! Хороша также галлерея. В 6 часов вечера отправлюсь дальше, т. е. в Геную (в которой мне очень хочется остановиться, но я еще не решил этого), а оттуда в Сан-Ремо.

Вообще мне теперь стало очень хорошо. Как я рад, что избавляю Вас от моих иеремиад, мой дорогой друг! Как мне теперь досадно, что еще так недавно я из Венеции жаловался Вам на судьбу. В сущности, мне следует не жаловаться, а благодарить. Все мои невзгоды я навлек на себя сам.

Из Венеции я вывез с собою очень милую песенку. Вообще в Италии я испытал два приятных музыкальных впечатления. Одно во Флоренции, — не помню, писал ли я Вам об этом. Мы с братом услышали вечером на улице пение и увидели толпу, в которую и пробрались. Оказалось, что пел мальчик лет десяти или одиннадцати под аккомпанемент гитары. Он пел чуд-

* тому подобным

ным, густым голосом, с такою законченностью, с такой теплотой, какие и в настоящих артистах редко встречаются. Всего курьезнее было то, что он пел песню с словами очень трагического свойства, звучавшими необыкновенно мило в устах ребенка:

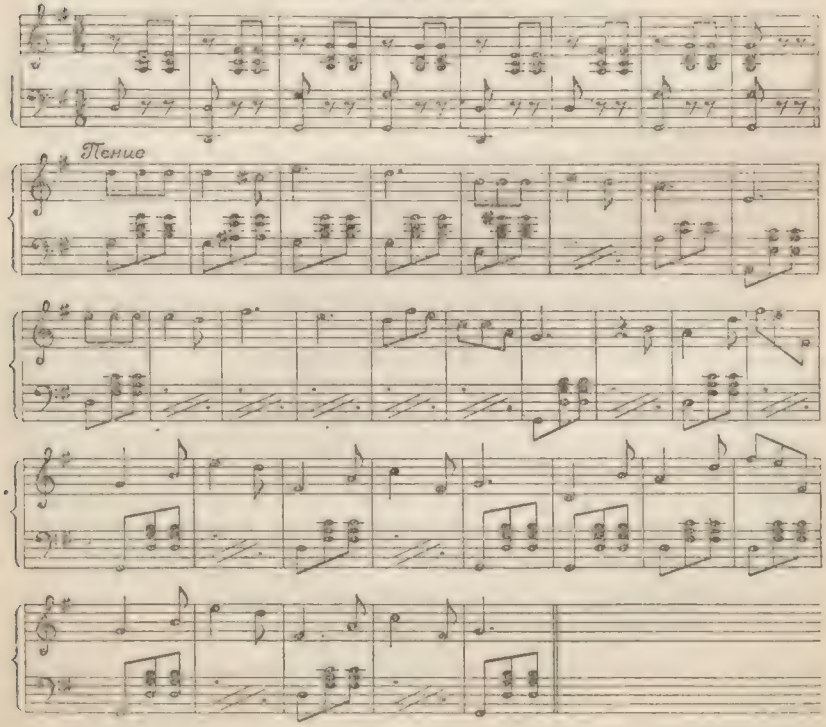


Это было прелестно [1].

В Венеции по вечерам к нашей гостинице подходил иногда какой-то уличный певец с маленькой дочкой, и одна из их песенок очень мне нравится.

Вот она:

Гитара [2].



Правда то, что у этого уличного артиста очень красивый голос и врожденная всем итальянцам ритмичность.

Это последнее свойство итальянца меня очень интересует, как нечто совершенно противоположное складу наших народных песен и их народному исполнению.

Я надеялся получить до моего отъезда из Венеции книги, которые имел смелость просить у Вас, дорогая Надежда Филаретовна, но не дождался их по той простой причине, что если бы Вы были так добры, что распорядились о высылке мне их в тот же день, то все-таки они должны притти только сегодня или завтра. Я, впрочем, сделал надлежащие распоряжения о высылке мне как их, так и писем в San Remo. Хотелось бы закончить это письмо благодарностью за книги, которых жду с величайшим наслаждением, но отлагаю это до следующего письма.

До свиданья, дорогая моя Надежда Филаретовна!

Ваш преданный друг

П. Чайковский.

P. S. Тотчас по приезде в San Remo напишу Вам.

67. Мекк — Чайковскому

Москва,
17 декабря 1877 г.

На-днях я послала Вам целую тетрадь моих писем, а вчера получила Ваше от 9 декабря. Мой милый, хороший друг, Вы извиняетесь, что будете писать реже и короче. Да, конечно же, так и следует; я сама уже раньше хотела Вас просить об этом, да стеснялась выговорить эту просьбу, потому что как будто я не довольно дорожу Вашими письмами, тогда как, совсем наоборот, я чувствовала, что начинаю избаловываться ими, и была недовольна собою, а Вы знаете, что хуже ничего нет на свете, как быть недовольным собою,— ну, а теперь все будет хорошо. Ведь я не буду меньше счастлива, если получу от Вас письма реже и короче, но все-таки б у д у их п о л у ч а т ь. Вот совсем без них, ну, стало бы скверно жить.

В прошлом моем письме я забыла Вам сказать о персидских песнях, что на нотах не сказано определенно, чтобы это был перевод с персидского, но это надо предполагать, потому что выставлено: «Персидские песни, музыка А. Рубинштейна, перевод П. Чайковского». Вот я и заподозрила, что Вы перевели с персидского.

Как это хорошо, что Вы можете заниматься, работать, дорогой мой Петр Ильич. Как это успокаивает меня за Вас; а потом, когда приедет Ваш брат, вот будет-то радость! Как Вы думаете, долго он может пробыть за границею? Какого возраста его воспитанник? Я слышала, что этот мальчик единственный сын своих родителей? Я также ожидаю на послезавтра моих петербуржцев, т. е. Беннигсенов и младшего сына, а старший приедет позже с гувернером. Петр Ильич, меня очень беспокоит начало карьеры моих мальчиков в Училище правоведения. Скажите мне, что так бывает и с другими? До поступления туда они учились очень хорошо, в особенности старший. Он и в Москве, в пансионе, и в Петербурге, в приготовительном заведении, сидел первым. Младший шел несколько хуже, потому что он мечтатель и живет всегда в каком-то отвлеченном мире, но все-таки учился хорошо и экзамен сдал хорошо. Но как только поступили в Правоведение, пошли хуже и хуже, и теперь старший сидит во втором десятке. От чего это может быть? На старшего, Колю, как я заметила, очень дурно подействовало то, что он целый месяц прожил в училище, потому что моя дочь заболела в деревне и не могла поехать в Петербург к началу их курса. А надо Вам сказать, что все мои дети ужасно привязаны к своей домашней жизни, и его этот месяц пребывания в Правоведении привел в какое-то раздражение и l'a dégoûté* и от занятий и от школы. Теперь он опять дома, но никак не может поправиться в ученье.

Поют ли перед Вашим Hôtel'ем уличные хоры? Нам каждый день пели, и в прошлое лето, когда мы уезжали совсем из Венеции, — это было в одиннадцать часов вечера, — этот же хор провожал нас на гондоле до самой станции с пением и поднесли мне разукрашенные ноты тех хоров, которые они пели. Но, знаете, эти проводы были так поэтичны, как редко что бывает. Мы ехали на двух гондолах, и как только мы тронулись, явилась, как бы со дна канала, третья гондола с певцами и музыкой. Ночь была темная, но небо светлое; мириады звезд горели на нем, а внизу над темным каналом мерцали и отражались в воде золотые огни фонарей. В воздухе совершенная тишина, и слышен только всплеск воды от весел и полный гармонический, очень стройный хор гондольеров. Движение гондолы такое мягкое, убаюкивающее, воздух Италии такой затрогивающий, чарующий... Боже мой, какая нега, какая прелесть! Это только в Италии и можно испытывать!

---

* отбил вкус

Но однако я опять увлекаюсь. Итак, мой всегда милый, дорогой друг, Ваших писем я больше не жду и буду получать их каждый раз как сюрприз, но зато как я буду ждать симфонию!

Н. фон-Мекк.

68. Чайковский — Мекк

Сан-Ремо,
20 декабря 1877 г./1 января 1878 г.

Вчера в 7 часов вечера я приехал в San Remo. Так как было темно, то красота местности не участвовала в первом впечатлении. Последнее было очень невыгодно. По путеводителю я увидел, что здесь есть Hôtel Victoria, лежащий в стороне. Из этого я заключил, что он, во-первых, полупустой, во-вторых, дешевый. Как я ошибся! Громадный дом оказался весь полон. Мне с Алексеем пришлось поместиться рядом с швейцарской, в крошечной комнате, где я хотел писать Вам и брату — и не мог, потому что было не на чем. На стене висело объявление о ценах. Вот они: 1) комната десять франков, 2) обед пять, но если обедать вне table d'hôte'a, то восемь, а если в комнате, то десять. Кофе два франка, а если спросить в комнату, то три, и т. д. в том же роде. Все это меня очень возмутило и внушило ужас. Когда я пошел в столовую, то кончался table d'hôte, и навстречу мне прошло, по крайней мере, сто расфранченных дам и кавалеров, осмотревших меня, к моему величайшему конфузу, с ног до головы. Все они между собой знакомы, как мне показалось; все они англичане (которых я в эту минуту видеть не могу), и нужно, оставаясь жить в подобном отеле, наряжаться, подобно им, для завтрака и обеда. Словом, оказалось, что необходимо искать другого помещения. Вставши сегодня рано и проведши очень скверную ночь, я отправился искать себе помещение. Отдельных маленьких квартир здесь нет. Я думал найти какой-нибудь верхний этаж в какой-нибудь виллле и избегал все Сан-Ремо. Виллы пустые есть, но огромные и за огромную цену. Какой-то француз неотступно приставал ко мне, чтоб я нанял у него три комнаты за тысячу франков, уверяя, что дешевле я ничего не найду. Он даже, видя мою нерешимость, уступил сначала сто, а потом двести франков. Но я расчел, что это, во всяком случае, невыгодно, ибо весьма может статься, что больше месяца я здесь не останусь, а между тем они на помесячную плату не соглашаются. Или бери хоть с октября до июня за такую-то цену, или на один месяц все за

ту же цену. Таков здешний обычай. Наконец, отделавшись от этого француза, который, между прочим, ради большего соблазна, сообщил мне, что он «un refugié, monsieur, comme Rochfort et comme tant d'autres, un comdamné à mort, monsieur»*. Я стал искать в одном из пансионов чего-нибудь более подходящего. В самом конце города, в стороне и на очень милом месте, я напал на Pension Joly, в котором нашлись четыре комнатки, плохо меблированные, но зато составляющие одну целую квартирку, со столом и всеми обычными принадлежностями пансионов, за относительно сходную цену. Я тотчас удержал эти комнаты, отправился в Hôtel Victoria, перевез вещи и в настоящую минуту, уже пообедавши и погулявши, пишу Вам это письмо.

Я не имею еще никаких известий о том, выехал ли брат; он должен был выехать сегодня и обещал телеграфировать мне. Утром я ходил на почту, где непременно должны быть письма от братьев, от сестры, может быть, и от Вас, но по случаю Нового года все заперто. Что касается местности, то, в самом деле, это что-то волшебное. Городок, в собственном смысле, весь уместился на горе и построен очень тесно. Нижний город весь состоит из отелей, и все эти отели полны битком. Сан-Ремо теперь в моде, должно быть, с тех пор, как жила в нем наша императрица. Погода стояла сегодня, без всякого преувеличения, летняя. В сюртуке на солнце было трудно выдержать палящие лучи солнца. Везде оливковые деревья, пальмы, розы, апельсины, лимоны, гелиотропы, жасмины, словом, это верх красоты. А между тем... уж не знаю, говорить ли Вам,— я ходил по набережной и испытывал невыразимое желание пойти домой и поскорей излить свои невыносимо тоскливые чувства в письмах к Вам, к брату Толе. Отчего это? Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России, в деревне по полям, по лесу, вечером по степи, бывало приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка, словом, все, что составляет убогий русский, родимый пейзаж. Отчего все это? Я только отмечаю этот факт, не пускаясь в объяснения.

Я очень рад, что продолжил свою прогулку, а то если б я послушался внутреннего голоса, то Вам пришлось бы прочесть новую иеремиаду. Я наверное знаю, что уж завтра буду чув-

---

* «Беглец, как Рошфор и как многие другие, приговоренный к смерти».

ствовать себя совсем иначе, особенно когда примусь за финал симфонии, но сегодня... Главное, я не в силах описать Вам, что именно я ощущаю, чего я хочу. В Россию — нет, мне страшно ехать туда, ибо я знаю, что вернется не прежний *я*, а какой-то другой, который тотчас же начнет сумасшествовать и предаваться непобедимому напору хандры. А здесь? Уж, кажется, ничего не выдумаешь восхитительнее San Remo, но клянусь Вам, что ни пальмы, ни апельсинные деревья, ни голубое чудное море, ни горы и ничто из этих красот не действует на меня, как бы можно было ожидать. Утешение, спокойствие, ощущение счастья я черпаю только в себе самом. Вот удача симфонии, сознание, что я пишу хорошую вещь, это завтра же помирит меня со всеми прошедшими и предстоящими невзгодами. Приезд брата тоже даст мне много радостей; но к природе, т. е. к такой роскошной природе, как здесь, я отношусь как-то странно. Она ослепляет и раздражает меня. Она меня сердит. В такие минуты мне кажется, что я с ума схожу. Но довольно... право, я немножко напоминаю ту старушку, о судьбе которой нам поведал Пушкин в сказке о «Рыбаке и рыбке». Чем больше мне посылается причин для счастья и довольства, тем больше я недоволен. Со времени моего выезда из России я получил столько доказательств любви от нескольких людей, дорогих для меня, что этой любви хватило бы для счастья нескольких сотен человек. Я сознаю, что должен быть счастливым, я знаю, что сравнительно с миллионами других людей, действительно несчастных, я должен считаться избалованным, а между тем нет, нет и нет счастья! Есть только минуты счастья. Есть также préoccupation* труда, которая так сильно охватывает во время разгара работы, что не успеваешь следить за собою и забываешь все, кроме имеющего прямое отношение к труду. Но счастья нет! Однако пришлось-таки Вам выдержать иеремиаду,— не удержался. Да, это смешно! Это даже немножко неделикатно. Но раз что Вы лучший друг мой, дорогая Надежда Филаретовна, могу ли я не сообщать Вам всего, всего, что в моей странной, больной душе творится! Простите меня. Завтра я буду раскаиваться, что не выдержал. А сегодня мне легче оттого, что я теперь хоть немножко да поныл. Не обращайте на это никакого внимания. Завтра опять буду так же покоен и далек от сегодняшних стенаний, как был в Венеции. Ведь знаете, что со мной бывает в такие дни, как сегодня! Вдруг, ни с того, ни с сего мне покажется, что никто в сущности меня не любит и любить не может, потому что я жалкий и

* поглощение, увлечение.

презренный человек. И нет сил разуверить себя. Однако я опять пускаюсь в ламентации. Я и забыл Вам сказать, что провел в Генуе сутки и в очень хорошем расположении духа. Только вчера начал хандрить. Генуя в своем роде чудное место. Были ли Вы в S-ta Maria di Carignano, с колокольни которой открывается дивный вид на всю Геную? Очень живописно.

До свиданья, дорогая Надежда Филаретовна. Как теперь я воспрянул бы духом, если бы были письма от Вас, от братьев и других друзей. Как нарочно праздник! Желаю Вам приятно провесть праздники.

Преданный друг Ваш

П. Чайковский.

Адрес: Italie. San Remo, Pension Joly.

60. *Чайковский — Мекк*

Сан-Ремо,
21 декабря 1877 г./2 января 1878 г.

Сегодня утром я пошел на почту и получил письмо, которое поставило меня в совершенный тупик. Оно совсем сбило меня с толку. Нужно Вам сказать, что вскоре после моего отъезда за границу явилась мысль назначить меня делегатом по музыкальной части на Парижскую выставку. Я отнесся к этому плану с большим страхом, с большой антипатией (теперь Вы меня уже настолько знаете, что Вам должно быть понятно, до какой степени не по мне подобная должность), но так как будущее было для меня совершенно темно и не было причины прямо отказаться, то я не отрицал, что приму на себя делегатство. Вскоре после того я получил официальный запрос от министерства финансов (которое устраивает русский отдел выставки), согласен ли я быть делегатом и находиться в Париже, в распоряжении начальника русского отдела Т а л я т от начала года до конца выставки. Между тем, ни слова не было сказано о том, на какие средства я должен был бы содержать себя. Чтобы как-нибудь отдалить решение дела, а также вследствие того, что я тогда еще не знал, какие мне предстоят средства к жизни, я отвечал, что невозможно дать утвердительный ответ, пока не будет назначено какое-нибудь определенное содержание делегату. Ответ долго не являлся, и я до такой степени привык думать, что правительство откажет в жалованье делегату, что вовсе и забыл о Париже, как вдруг сегодня получаю ответ, что министр финансов на-

значил меня делегатом с жалованьем тысяча франков в месяц. Не могу Вам сказать, до чего я был сражен этим письмом. В нем, между прочим, говорится, что присутствие русского делегата необходимо на заседаниях музыкального комитета, которые состоятся от 10 до 18 января. Ведь это, значит, нужно почти сейчас ехать? Есть над чем призадуматься! С одной стороны, я несомненно болен, и болен не столько плотью, сколько духом. Ехать в Париж, знакомиться с массою людей, заседать, быть в чьем-то распоряжении, хлопотать о русской музыке в такое время, когда, вследствие плохого состояния курсов, никто из русских артистов на свой страх не решится ехать в Париж, суетиться, вести переписку чуть ли не со всеми русскими музыкантами — совсем невесело. Кроме того, я пригласил брата с его воспитанником, и как раз в то время, когда они уже едут, я отправлюсь в Париж. Что мне сделать с ними! С другой стороны, если я могу содействовать распространению славы русской музыки, не прямой ли долг мой бросить все, забыть собственные делишки, собственные неприятности и спешить туда, где я могу быть полезен для своего искусства и своей страны? Все это так. Но как же мне выйти из этой дилеммы? Я даже не знаю, где теперь брат, и не имею возможности остановить его, если он уж выехал. Сейчас я телеграфировал в П[етер]бург, чтобы узнать, где брат. Мне даже некогда письменно посоветоваться с друзьями. Кто знает, может быть, для меня полезно оторваться от своей замкнутости и против воли окунуться в бездну парижской суеты?

Но если Вы бы знали, чего это будет мне стоить! Разумеется, ничего сегодня не делал. Ах, господи, когда ж можно будет успокоиться! До завтра, дорогой друг; надеюсь, что-нибудь решу. La nuit porte conseil *.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Я сейчас перечел письмо Бутовского (председателя комитета) и questionnaire**, приложенный к письму. В этом questionnaire изложены вопросы, которые предстоит разрешить музыкальному комитету, который будет заседать 10—18 января. В письме сказано: «К сему долгом считаю присовокупить, что, вследствие значительности издержек, вызванных участием России в Парижской выставке, было бы весьма желательно из-

---

* Утро вечера мудренее.

** анкету

бегать новых значительных ассигнований. Следовательно, правительство не возьмет, например, на себя довезти до Парижа целую труппу, чтобы устроить русскую оперу или оркестр, чтобы составить концерты из русских произведений. Теперь я Вам сообщу вкратце, из чего состоит questionnaire.

1) Какой русский оркестр может явиться на Парижскую выставку? 2) Сколько он даст концертов? 3) Какие русские хоровые общества явятся на состязание? 4) Какие квартетные общества желают участвовать в таковом же состязании? 5) Какие национальные песенные общества могут явиться? 6) Возьмет ли на себя расходы на их путешествие и содержание комитет выставки? 7) Имеются ли исторические документы о национальной музыке? 8) Какие русские органисты (?) приедут на выставку? — На все эти вопросы, за исключением 6-го, мне очень трудно отвечать после трехмесячного отсутствия из России. О, если б я сейчас же мог узнать Ваше мнение! Ваш совет или совет брата мог бы меня вывести из затруднения.

Ваш П. Ч.

70. *Чайковский — Мекк*

San Remo,
[illegible] января 1877 г./4 января 1878 г.

Третьего дня вечером я написал Вам, что еду в Париж. После того я провел ужасную ночь, а вчера и сегодня я совершенно болен. Болен я от одной мысли, что в такое время, как теперь, когда я одержим болезненною мизантропией, мне нужно ехать в так называемый Вавилон, являться к начальнику, знакомиться со всеми музыкантами, переписываться и толковать с экспонентами, таскаться по обедам и музыкальным вечерам, не иметь времени писать (единственное средство против моей болезни), — все это свыше сил моих! Сегодня утром, лежа после бессонной ночи, я вспомнил, чего мне стоило нынче летом переломить себя и взять на себя обязанность, которая мне не по силам. Не случится ли и теперь чего-нибудь подобного? И могу ли я быть полезным деятелем теперь, когда я еще не пришел в нормальное состояние? Нужна ли эта жертва? Нужно ли закабалить себя на восемь месяцев, когда от этого ни мне, ни другим пользы не будет? Как бы то ни было, малодушно ли я поступаю или благоразумно, но сегодня я вижу ясно, что я не могу ехать. Если б Вы или брат видели меня сегодня, то Вы бы сказали: «оставаться». И я решился остаться. Я напишу

сегодня же официальный ответ, что болен, и прошу назначить другого делегата [1]. Теперь, пока я не получу от Вас, от брата, от сестры одобрения за это решение, я буду мучиться,— я это знаю. Мне будет казаться, что я д о л ж е н был переломить себя. Есть еще одно обстоятельство: если б я принял место, то мог бы или вовсе или отчасти обойтись без Вашей помощи. Как Вы ни добры, как Вы ни богаты, а все-таки при настоящем курсе (который теперь, вследствие пакостей, делаемых Англией, будет еще падать) сумма, которую Вы мне посылаете, слишком велика. Эта мысль тоже будет меня тревожить. Меня теперь все тревожит, я сделался болезненно мнителен. Может быть, с моей стороны даже неловко писать Вам эти последние строки; в таком случае простите. Клянусь Вам, что мне никогда, ни на минуту, не приходила в голову мысль, что Вы можете п о ж а л е т ь денег. Нет, совсем не то. Но все же я должен был бы сделать все возможное, чтобы предоградить столь доброго, щедрого и благородного друга от издержек. Ну, оставим это. Еще несколько времени я буду пользоваться Вашей помощью. Весною я рассчитываю поехать в деревню, в Россию, к сестре. Главное, мне теперь нужно, чтобы Вы, братья и сестра не сердились на меня за мое малодушие. Клянусь Вам, что если б я знал, что этого Вам и им хочется, я бы поехал в Париж. Но без советов друга или брата, больной, в припадке самой ужасной ипохондрии, я не могу, не могу, не могу ехать. Лучше мне голодать где-нибудь в темном и неизвестном уголке, чем, насилуя себя, итти на целые восемь месяцев в этот омут. Когда в 1873 г. была выставка в Вене, я ехал из Каменки за границу, и путь мне лежал через Вену. Из ненависти к т о л п е я сделал страшный крюк на Бреславль и Дрезден, чтобы не попасть в омут [2]. А тогда я был здоров! Итак, мой бесценный друг, продолжайте мне писать сюда: San Remo, Pension Joly.

П. Чайковский.

Брат Модест сегодня в Берлине и через три дня будет здесь.— Сегодня утром получил «Р у с с к у ю с т а р и н у». Благодарю Вас.

71. Чайковский — Мекк

San Remo.
24 декабря 1877 г./5 января 1878 г.

Дорогая Надежда Филаретовна! Вчера я был в состоянии совершенного сумасшествия. Не написал ли я Вам во вчерашнем письме чего-нибудь глупого, неделикатного? Если да, то,

ради бога, не обращайте никакого внимания. История последних моих дней такая. Я получил назначение д е л е г а т а при выставке в Париж и требование тотчас туда ехать, с тем чтобы прожить там до конца выставки. Так как меня это привело в ужас, то, будучи вполне свободен и независим, я мог прямо отказаться. Вместо того я разыграл целую драму. Только сегодня я пришел в себя и вижу, как это глупо. Мне вообразилось, что мой долг туда ехать, что я поступаю эгоистично, глупо, неделикатно, не принимая подобного лестного поста. Мне казалось, что и братья, и сестра, и Вы, и все консерваторские, и все питающие ко мне сочувствие должны внезапно возненавидеть и начать презирать меня за мою лень, малодушие и т. д. Наконец, после борьбы, которая, наверно, мне стоила нескольких дней жизни, я понял, что́ лучше отказаться теперь, чем приехавши на место и доведя себя до окончательного расстройства. Сегодня я покоен, но еще чувствую себя нехорошо. Сейчас был на почте и получил Ваше письмо. Не могу Вам сказать, как оно было мне отрадно! Я так нуждаюсь теперь в теплых дружеских заявлениях! Их так много в Вашем милом письме [1]. Буду отвечать Вам обстоятельно.

Все новейшие петербургские композиторы народ очень талантливый, но все они до мозга костей заражены самым ужасным самомнением и чисто дилетантскою уверенностью в своем превосходстве над всем остальным музыкальным миром. Исключение из них в последнее время составляет Римский-Корсаков. Он такой же самоучка, как и остальные, но в нем совершился крутой переворот. Это натура очень серьезная, очень честная и добросовестная. Очень молодым человеком он попал в общество лиц, которые, во-первых, уверили его, что он гений, а во-вторых, сказали ему, что у ч и т ь с я не нужно, что школа убивает вдохновение, сушит творчество и т. д. Сначала он этому верил. Первые его сочинения свидетельствуют об очень крупном таланте, лишенном всякого теоретического развития. В кружке, к которому он принадлежал, все были влюблены в себя и друг в друга [2]. Каждый из них старался подражать той или другой вещи, вышедшей из кружка и признанной ими замечательной. Вследствие этого весь кружок скоро впал в однообразие приемов, в безличность и манерность. Корсаков — единственный из них, которому лет пять тому назад пришла в голову мысль, что проповедуемые кружком идеи, в сущности, ни на чем не основаны, что их презрение к школе, к классической музыке, ненависть авторитетов и образцов есть не что иное, как невежество. У меня хранится одно письмо его из той эпохи. Оно меня глубоко тронуло и потрясло. Он пришел в глубокое отчаяние, когда уви-

дел, что столько лет прошло без всякой пользы и что он шел по тропинке, которая никуда не ведет. Он спрашивал тогда, что ему делать. Само собой разумеется, нужно было учиться. И он стал учиться, но с таким рвением, что скоро школьная техника сделалась для него необходимой атмосферой. В одно лето он написал бесчисленное множество контрапунктов и шестьдесят четыре фуги, из которых тотчас прислал мне десять на просмотр. Фуги оказались в своем роде безупречные, но я тогда же заметил, что реакция произвела в нем слишком резкий переворот. От презрения к школе он разом повернул к культу музыкальной техники. Вскоре после того вышла его симфония и квартет. Оба сочинения наполнены тьмой фокусов, но, как Вы совершенно верно замечаете, проникнуты характером сухого педантизма. Очевидно, он выдерживает теперь кризис, и чем этот кризис кончится, предсказать трудно. Или из него выйдет большой мастер, или он окончательно погрязнет в контрапунктических штуках. К ю и — талантливый дилетант. Музыка его лишена самобытности, но элегантна, изящна. Она слишком кокетлива, прилизана, так сказать, и потому нравится сначала, но быстро приедается. Это происходит оттого, что Кюи по своей специальности не музыкант, а профессор ф о р т и ф и к а ц и и, очень занятый и имеющий массу лекций чуть не во всех военных учебных заведениях Петербурга. По его собственному признанию мне, он иначе не может сочинять, как подыгрывая и подыскивая на фортепиано мелодийки, снабженные аккордиками. Напав на какую-нибудь хорошенькую идейку, он возится с ней, отделывает ее, украшает и всячески подмазывает, и все это очень долго, так что он, например, свою оперу «Р а т к л·и ф» писал десять лет! Но, повторяю, талант в нем все-таки есть; по крайней мере, есть вкус и чутье. Б о р о д и н — пятидесятилетний профессор химии в Медицинской академии. Опять-таки талант, и даже сильный, но погибший вследствие недостатка сведений, вследствие слепого ф а т у м а, приведшего его к кафедре химии вместо музыкальной живой деятельности. Зато у него меньше вкуса, чем у К ю и, и техника до того слабая, что ни одной строки он не может написать без чужой помощи. М у с о р г с к о г о Вы очень верно называете отпетым. По таланту он, может быть, выше всех предыдущих, но это натура узкая, лишенная потребности в самосовершенствовании, слепо уверовавшая в нелепые теории своего кружка и в свою гениальность. Кроме того, это какая-то низменная натура, любящая грубость, неотесанность, шероховатость. Он прямая противоположность своего друга К ю и, всегда мелко плавающего, но всегда приличного и изящного. Этот кокетничает, наоборот, своей без-

грамотностью, гордится своим невежеством, валяет как попало, слепо веруя в непогрешимость своего гения. А бывают у него вспышки в самом деле талантливые и притом не лишенные самобытности. Самая крупная личность этого кружка Балакирев. Но он замолк, сделавши очень немного. У этого громадный талант, погибший вследствие каких-то роковых обстоятельств, сделавших из него святошу, после того как он долго кичился полным неверием. Он теперь не выходит из церкви, постится, говеет, кланяется мощам, и больше ничего. Несмотря на свою громадную даровитость, он сделал много зла. Например, он погубил Корсакова, уверив его, что учиться вредно. Вообще он — изобретатель всех теорий этого странного кружка, соединяющего в себе столько нетронутых, не туда направленных или преждевременно разрушившихся сил.

Вот Вам мое откровенное мнение об этих господах. Какое грустное явление! Сколько дарований, от которых, за исключением Корсакова, трудно ожидать чего-нибудь серьезного. Но так ли и все у нас в России? Громадные силы, которым какая-то Плевна роковым образом мешает выйти в открытое поле и сразиться как следует. Но силы эти все-таки есть. Какой-нибудь Мусоргский и в самом своем безобразии говорит языком новым. Оно некрасиво, да свежо. И вот почему можно ожидать, что Россия когда-нибудь даст целую плеяду сильных талантов, которые укажут новые пути для искусства. Наше безобразие все-таки лучше, чем жалкое бессилие, замаскированное в серьезное творчество, как у Брамса и т. п. немцев. Они безнадежно выдохлись. У нас нужно надеяться, что Плевна все-таки падет, и сила даст себя знать, а пока сделано очень немного. Что касается французов, то у них теперь движение вперед сказывается очень сильно. Конечно, Берлиоза стали играть только теперь, через десять лет после его смерти, но появилось много новых талантов и много энергических бойцов против рутины. А во Франции бороться против рутины очень трудно. В искусстве французы ужасные консерваторы. Они позже всех признали Бетховена. Еще в сороковых годах его считали там сумасбродным чудаком, не более. Первый французский критик, Фетис, жалел, что Бетховен делал ошибки (?) против правил гармонии, и обязательно поправлял эти ошибки не далее как двадцать пять лет тому назад. Из современных французов мои любимцы Bizet и Deslibes. Я не знаю увертюры «Patrie!», о которой Вы пишете, но хорошо знаю оперу Bizet «Carmen». Это музыка без претензии на глубину, но такая прелестная в своей простоте, такая живая, не придуманная,

а искренняя, что я выучил ее чуть не наизусть всю от начала до конца. О Deslibes я уже писал Вам. В своих новаторских стремлениях французы не так смелы, как наши новаторы, но зато они не переходят за границу возможного, как Бородин и Мусоргский.

Относительно Н. Рубинштейна Вы почти правы, т. е. в том смысле, что он совсем не такой герой, каким его иногда представляют. Это человек необыкновенно даровитый, умный, хотя и мало образованный, энергический и ловкий. Но его губит его страсть к поклонению и совершенно ребяческая слабость к всякого рода выражениям подчинения и подобострастия. Администраторские способности его и уменье ладить со всеми сильными сего мира изумительны. Это, во всяком случае, не мелкая натура, но измельчавшая вследствие бессмысленно подобострастного поклонения, которым он окружен. Еще нужно отдать ему ту справедливость, что он честен в высшем значении этого слова и бескорыстен, т. е. он хлопотал и добивался не узких материальных целей, н е и з - з а в ы г о д ы. У него страсть премировать и сохранять всякими способами непогрешимость своего авторитета. Он не терпит никакого противоречия и тотчас же подозревает в человеке, осмелившемся не согласиться с ним в чем-нибудь, тайного врага. Он непрочь прибегнуть и к интриге и к несправедливости, лишь бы уничтожить этого врага. Все это делается из страха уступить хоть одну п я д ь из своего неприступного положения. Деспотизм его возмутителен очень часто. Он не пренебрегает показать свою власть и силу перед людьми жалкими и неспособными на отпор. Встретив же отпор, он тотчас же смиряется и тогда непрочь немножко поинтриговать. Сердце у него неособенно доброе, хотя он очень любит пощеголять своей отеческой добротой и, ради приобретения популярности, прикидывается добрячком. Все его недостатки происходят от его бешеной страсти к власти и беспардонному деспотизму. Но, Надежда Филаретовна, сколько он оказал услуг музыкальному делу! Ради этих заслуг ему можно все простить. Какая бы ни была его несколько искусственно всаженная в московскую почву консерватория, но она все-таки распространительница здравых музыкальных понятий и вкуса. Ведь двадцать лет тому назад Москва была дикая страна по отношению к музыке. Я часто сержусь на Рубинштейна, но, вспомнив, как много сделала его энергическая деятельность, я обезоружен. Положим, он более всего действовал ради удовлетворения своей амбиции, но ведь амбиция-то хорошая. Потом не следует забывать, что это превосходнейший пианист (по-моему, первый в Европе) и очень хороший дирижер.

Мои отношения к нему очень странные. Когда он немножко выпьет вина, он делается со мной до приторности нежен и упрекает меня в бесчувственности, в недостатке любви к нему. Будучи в нормальном состоянии, он очень холоден со мной. Он очень любит дать мне почувствовать, что я в с е м е м у о б я з а н. В сущности, он немножко побаивается, что я ф р о н д и р у ю. Так как я вообще очень мало экспансивен, то он иногда воображает, что я тайно от него добиваюсь места д и р е к т о р а!!! Он несколько раз старался выпытать мой взгляд на это, и когда я ему прямо говорил, что скорее сделаюсь нищим, чем директором, ибо ничто не может быть противоположнее моей натуре, как такого рода деятельность, то он успокаивался, но ненадолго. Вообще, будучи от природы замечательно умен, он делается слеп, глуп и наивен, когда в голову ему взбредет мысль о том, что хотят отнять от него его положение первого музыканта Москвы.

Если хотите, я расскажу Вам один эпизод, вследствие которого мы в последние года были немножко e n f r o i d*. Я очень устал и на сегодня прекращаю письмо. До свиданья, дорогая, горячо любимая Надежда Филаретовна. Благодарю Вас за письмо.

Ваш П. Чайковский.

Книги получил.

72. *Чайковский — Мекк*

Сан-Ремо,
24 декабря 1877 г. 5 января 1878 г.

Дорогой мой друг! Я многого недосказал Вам сегодня в письме. Наступила ночь, мне не спится, и я сажусь еще немножко поговорить с Вами. Вы спрашиваете, надолго ли приедет брат Модест. Я этого еще хорошенько не знаю. Думаю, что он останется столько, сколько мне придется остаться за границей. В сущности, раз что Конради решился отпустить, из участия ко мне, своего сына, я думаю, что ему все равно, останется ли он три или четыре месяца. Ребенок очень слабенький, и ему полезно быть много на чистом воздухе. А какой это чудный мальчик, Вы не можете себе представить. Я к нему питаю какую-то болезненную нежность. Невозможно видеть без слез его обращение с братом. Это не любовь, это какой-то страстный культ. Когда он провинится в чем-нибудь и брат его

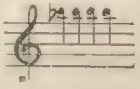
* холодны

накажет, то мука смотреть на его лицо, до того оно трогательно выражает раскаяние, любовь, мольбу о прощении. Он удивительно умен. В первый день, когда я его увидел, я питал к нему только жалость, но его уродство, т. е. глухота и немота, неестественные звуки, которые он издает вместо слов, все это вселяло в меня какое-то чувство непобедимого отчуждения. Но это продолжалось только один день. Потом все мне сделалось мило в этом чудном, умном, ласковом и бедном ребенке.

Вчера я получил письмо от брата Анатолия. Он теперь уже в Петербурге. В Каменке он провел пять дней. Он наконец выпроводил мою жену из Каменки. Слава богу, у меня гора с плеч свалилась. Она изъявила желание итти в сестры милосердия. Сестра, зять и Толя очень обрадовались этому. Они не без основания предположили, что она влюбится там в кого-нибудь, захочет выйти замуж и потребует развода. Это было бы всего лучше для меня. Но желание это осталось только в течение нескольких дней. Брат начал было хлопотать, но она объявила ему (в Москве, где он провел дней пять), что более не хочет быть сестрой милосердия. Она живет теперь в Москве. Дальнейшие ее планы мне неизвестны, но я молю бога, чтобы она к будущему учебному году выбрала другую резиденцию. Встречаться с ней будет очень неловко и щекотливо.

Симфония будет вполне готова через неделю и тотчас же отправлена в Москву. Рубинштейн дал мне слово исполнить ее в этом же сезоне, вероятно, в последнем концерте.

Надежда Филаретовна, странное дело: я до сих пор совершенно равнодушен к красотам Сан-Ремо. Я никуда не хожу, кроме набережной. Я не предпринял ни одной большой прогулки, как бывало в Кларенсе с Толей. Вообще, из всех моих скитаний нынешнего года я сохранил наиболее приятное воспоминание о Clarens. Перед отъездом в Россию непременно побываю там.

Письмо Фензи не лишено остроумия, искренности. Но мне одно не нравится. Чтобы быть последовательным, такой ярый и исключительный итальянец должен был бы ненавидеть Бетховена, именно Бетховена, потому что никто так не глумился над вокальными требованиями, как именно Бетховен, который не поцеремонился заставить сопрано в хоре, во второй мессе, петь фугу, в которой тема начинается так:  и т. д. Бетховен — авторитет, и потому итальянцы не смеют и его смешивать с грязью. Ничего не может быть более ложного и неверного, как то, что Бетховен умел писать для голосов и в этом смысле

принадлежит, по выражению Фензи, к итальянской школе. Нет, именно Бетховен употреблял голоса как инструменты, и его-то г. Фензи и должен был бы особенно ненавидеть. Он также весьма неверно причисляет Шумана к своим любимым композиторам. Он или не знает Шумана или ошибается. Именно Шуман есть тот романсный композитор, который требует первостепенного пианиста. Но Шуман опять-таки — установившийся авторитет, и итальянцы считают долгом причислять его к счастливым исключениям. Тем не менее, письмо Фензи мне очень понравилось. Оно честно и искренно.

Прощайте, дорогая Надежда Филаретовна. Пожалуйста, передайте мое глубочайшее уважение г-же Милочке и скажите ей, что я глубоко польщен ее вниманием. Целую у ней ручку и прошу продолжать ее лестное благоволение ко мне. А должно быть, прелестная особа эта Милочка! До свиданья.

П. Чайковский

П. Чайковский — Мекк

Генуя.
30 декабря 1877 г. 11 января 1878 г.

Я думаю, Вас удивляет мое долгое и непостижимое молчание, дорогая моя Надежда Филаретовна. Вот в чем дело. В понедельник вечером, садясь за обед, я получил депешу от брата Модеста из Милана. Текст депеши был: «Nicolas indisposé, dois rester à Milan»*. С моей способностью всякие невзгоды всегда видеть в увеличенном объеме, я сейчас же вообразил себе ужасную картину больного ребенка, которого брат ни на минуту не может оставить, его страх, беспомощность и затруднения. Поэтому я тотчас же отвечал по телеграфу, что на другой день буду в Милане. Пришлось во вторник встать в пять часов утра и с ранним поездом отправиться в Милан, куда я благополучно и прибыл в девять с половиной часов вечера. Оказалось, что Коля (воспитанник брата) устал от долгого пути (они ехали безостановочно до Венеции) и немножко простудился, но уже был здоров, когда я приехал, и спал крепким сном. Мне невыразимо приятно было увидеться с братом и с его милым мальчиком. На душе сразу сделалось легко и тепло. Целый вечер прошел в взаимных прерываниях и бесконечной веселой, приятной болтовне. Мы легли спать поздно ночью. Так

* «Коля нездоров, должен остаться в Милане».

как брат по причине нездоровья Коли целый предыдущий день и день моего приезда просидел безвыходно в комнате, то мне захотелось, чтобы он посмотрел на Милан вообще и собор в особенности, и поэтому мы решили целый день еще пробыть в Милане. Ходили в собор, несмотря на отвратительную погоду, взбирались на верхнюю галлерею, ходили смотреть на «Cenacolo» Leonardo da Vinci*, а вечером собирались даже в La Scala, где назначено было первое представление «Сен-Марса» Гуно, поставленного самим композитором, но в три часа разнеслась весть о смерти короля, и все театры были закрыты. Я был очень огорчен смертью короля, но благодаря этому грустному обстоятельству я мог вполне окончить то, что оставалось еще неотделанным в партитуре симфонии, которую я нарочно взял с собой, чтобы достать в Милане метроном и выставить с точностью темпы. Проработав весь вечер и часть ночи, я мог на другой день утром совершенно готовую симфонию уложить и отправить в Москву. Теперь наша симфония уже летит на всех парах в Москву, к Рубинштейну [1]. На заголовке я выставил посвящение: «Моему лучшему другу». Что-то предстоит этой симфонии? Останется ли она живой еще долго после того, как ее автор исчезнет с лица земли, или сразу попадет в пучину забвения? Не знаю, но знаю, что в эту минуту я, может быть, с свойственной некоторым родителям слепотою, неспособен видеть недостатков моего младшего детища. Еще я уверен в том, что относительно фактуры и формы она представляет шаг вперед в моем развитии, идущем весьма медленно. Несмотря на свои зрелые лета, я далеко еще не дошел до той точки, дальше которой мои способности не позволяют мне итти. Может быть, поэтому я так дорожу жизнью.

Вчера вечером мы приехали в Геную, где остановились, чтобы не утомить Колю ночным путешествием и чтобы показать брату Модесту этот прелестный город. Мы только что возвратились с большой прогулки по городу. Заходили также в Palais Brignole, где смотрели очень изрядную галлерею. Брат мой, не так как я, очень любит и знает толк в картинах. Мне очень, очень весело и хорошо на душе. До следующего письма, милый и бесценный друг. Всеми моими счастливыми минутами обязан Вам.

Ваш П. Чайковский.

* «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

1878 год

74. Чайковский — Мекк

Сан-Ремо.
14 января 1878 г.

Возвратившись в Сан-Ремо, нашел массу писем и Вашу телеграмму, дорогая Надежда Филаретовна. На этот раз я именно от Вас узнал о победе Радецкого. Благодарю Вас и за сообщение радостного известия и за Ваши пожелания. Что бы ни случилось в наступающем году, но уж хуже прошедшего ни в каком случае он не будет. Что касается настоящего, то лучшего и желать бы нечего, если б не несчастный нрав, склонный преувеличенно видеть все нехорошее и недостаточно радоваться настоящему. В числе писем были вчера письма брата Анатолия, в которых много говорится о жене моей и обо всей этой грустной истории. Все идет хорошо, но достаточно мне было во всей подробности вспомнить все близкое прошлое, чтобы снова почувствовать себя несчастным.

Получил я также письмо от председателя русского отдела выставки, очень сокрушающегося о моем отказе. Меня все еще немножко мучит совесть: не эгоистично ли, не глупо ли я поступил, отказавшись от делегатства? Но все это я Вам пишу потому, что уже привык теперь писать Вам именно все. В сущности же, я счастлив совершенно. Последние дни, проведенные в Милане, в Генуе, в дороге сюда, были полны самых радостных ощущений. Я ужасно люблю детей. Коля до бесконечности радует меня. Мне приятно было заметить, что под руководством брата он даже в те несколько месяцев, что я его не видел, уже успел сделать большие успехи и в произношении слов и в грамоте. Он очень развился. Способности его и особенно память поразительны. Чрезвычайно интересно наблюдать за таким умным ребенком, поставленным вследствие своего недостатка в столь исключительное положение. Что касается его нрава, его доброты, ласковости, нежности, то это один из самых лучших чело-

веческих субъектов, когда-либо мною виденных. В сумме, это — существо, созданное для того, чтобы внушать всем окружающим любовь и нежность [1].

Поразительна разница климата в Сан-Ремо с климатом остальной северной Италии. Даже Генуя, климатические условия которой сходны со здешними, сущая Сибирь в сравнении с Сан-Ремо. В Милане была совершенная зима. На полях снег толщиной в пол-аршина, в городе тоже снег, хотя и сгребенный в кучи, в Генуе пронзительно холодный северный ветер, а здесь так же чисто на небе, так же тепло, так же зелено, как и когда я уехал. Брат и Коля в восторге от Сан-Ремо. Сейчас они ходили гулять в горы, принесли цветов целую кучу. Что касается меня, je continue à bouder* против всего С.-Ремо. Уж очень солоно досталось мне первые дни, проведенные здесь. Сегодня утром я отправил Вам телеграмму. Да принесет Вам этот год всяких благ земных, а главное, душевного спокойствия и здоровья физического.

До свиданья, драгоценный друг.

Весь Ваш П. Чайковский.

75. *Мекк — Чайковскому*

1877 г. декабря 31.—1878 г. января 2. Москва.

Москва.
31 декабря 1877 г.

Мой милый, несравненный друг! Поздравляю Вас с почти уже наступившим Новым годом и от всего сердца желаю Вам не н о в о г о счастья, потому что Вы не имели старого, а просто счастья, хотя бы и не безмятежного, но вознаграждающего за неотразимые невзгоды жизни. А такое счастье есть и заключается только в одном предмете!

Эти четыре дня сряду я получаю Ваши дорогие письма, и в последнем из них меня несказанно обрадовал Ваш отказ быть делегатом на Парижской выставке. Мне очень не хотелось, чтобы Вы приняли это на себя. Об этом проекте я знала от Рубинштейна еще в октябре и очень боялась за Вас, но не высказывала Вам этого, потому что знаю, что у Вас есть много друзей, которые могут дать Вам полезные советы, а мое мнение могло противоречить им. А теперь я еще более нахожу для Вас вредным и невозможным принять эту обязанность, и Ваш отказ меня до крайности обрадовал.

---

* я продолжаю дуться.

Теперь Ваш брат уже с Вами,— как это хорошо, как я рада! Как Вы сокращаете имя «Модест»? У меня был cousin с этим именем, и родные его звали Мосинька. Какого возраста воспитанник Вашего брата? Умеет ли он объясняться, и со всеми ли или голько со своим наставником?

Очень, очень благодарю Вас, милый друг мой, за присылку мне песен, которые Вы слышали во Флоренции и Венеции. Флорентийского мальчика я знаю. Он каждый вечер нам пел у балкона нашего отеля, а в Венеции я знаю только хор. В Генуе я не забыла съездить в S-ta Maria di Carignano, но я была на Villa Pallavicini, куда, вероятно, Вы не успели съездить. Оттуда также очаровательный вид на город. Были ли Вы во дворце Brignole-Sale (Palazzo Rosso),— там очень хорошая картинная галлерея?

Бывает ли в San Remo прилив и отлив моря? Вот привлекательное явление этой стихии: его никогда не наскучит наблюдать. Вообще море имеет такую притягательную силу, производит такое обаяние, как мало что в природе. Я целыми часами могу просиживать над морем, погрузясь в него всем существом, как в иной какой-то мир, в котором и чувствуется и живется иначе, чем на земле. Вот где творчество может найти пищу, поэтическая сторона — удовлетворение!

Вашу оперу («Евгений Онегин») разучивают в консерватории для представления великому князю. Исполнители трех ролей будут: Евгений — Гилев, Татьяна— Климентова и Ленский— Зильберштейн. Я очень с нетерпением жду этого представления, чтобы услышать вашу музыку, дорогой мой друг, но эти исполнители меня шокируют. Какое сопоставление: Ленский и Зильберштейн с шкатулкою колец и серег подмышкою? Онегин, этот изящный Чайльд-Гарольд и франт du bas étage * Гилев? Но что делать; чем кто богат, тем и рад.

Симфонические собрания остановились по случаю праздников, а Рубинштейн продолжает свои tournées по России в пользу Красного креста; за это он молодчина!

На-днях у меня в доме был фотограф и делал фотографию всего моего семейства, так как оно все в сборе, и мне пришло большое желание отрекомендовать Вам всех моих с о б с т в е н н ы х детей и послать мои последние фотографии. Если Вам вздумается сняться за границей, то не забудьте тогда и обо мне, мой хороший Петр Ильич.

Вам не хотелось гулять в San Remo, потому что Вы были одни, а теперь, когда приехал Ваш брат, Вы, вероятно, много гуляете. Я завидую Вам; мне так холодно здесь.

---

* низкого разбора

Какие пошли радостные известия с театра войны. Одно только мне не нравится, что говорят так много о перемирии; об этом можно говорить только под стенами Константинополя.

Еще я никак не могу придумать, что нам взять за эту войну; контрибуцию? — Турции нечем заплатить. Мне очень хотелось взять Болгарию; меня уверяют, что и этого нельзя. Как Вы думаете, Петр Ильич?

Меня очень обрадовало, что симфония наша окончена, и я спешу послать прилагаемый перевод на издание ее, Петр Ильич. Быть может, Вам вздумается издать ее за границею; но, во всяком случае, Вы сделаете так, как сами найдете удобнее. Мне бы очень хотелось распространить Ваши сочинения за границею: я бы хотела всему миру показать то, что у нас хорошо.

Начавши к Вам это письмо 31 декабря, я кончаю его только 2 января по случаю несносной головной боли, которая мучит меня второй день.

Ваша Н. фон-Мекк.

P. S. Читали ли Вы, что наш поэт Некрасов умер? Мне кажется, что он Вам не особенно нравится, а я очень люблю его сочинения.

Я читаю, по Вашему указанию, биографию Гете Льюиса и восхищаюсь определением реализма автором; вот понимает его так же, как я.

76. Мекк — Чайковскому

Москва.
4 января 1878 г.

У меня есть несколько свободных минут, и мне хочется провести их с Вами, дорогой друг, хочется тем более, что мне невесело: на сердце у меня тоска, в голове безотрадное разочарование, впереди безнадежная пустота. Мне больно, мне хочется плакать так, чтобы сердце разорвалось, мне хочется самозабвения, мне хочется с ума сойти, чтобы ничего не чувствовать. Боже мой, если бы в эту минуту я могла услышать музыку, Ваше Andante из Первого квартета; в нем выражается именно та отчаянная тоска, которую я чувствую в эту минуту. Мне кажется, что, когда бы я услышала его, у меня захватило бы дыхание, у меня в самом деле разорвалось бы сердце, и мне стало бы легко. Вы спросите, быть может, о чем я тоскую,— то я скажу Вам только, что у меня не бывает беспричинной тоски, я знаю, о чем я тоскую, но говорить Вам не буду, во-первых, потому, что Вам это и неинтересно, а во-вторых, потому, что причиною

такого состояния всегда бывают люди; а я не вижу людей за взаимное зло, которое они делают: н и к т о не виноват, потому что в с е виноваты. Я знаю, что по мере ослабления впечатления причины тоски будет уменьшаться и сама тоска и, наконец, пройдет до нового случая. Не думайте, дорогой мой Петр Ильич, чтобы я писала это Вам для того, чтобы услышать какие-нибудь утешения, — нет, их здесь не существует, а облегчением служит для меня уже и то, что я могу сказать Вам, что я тоскую, поделиться с Вами хотя и неведомым Вам горем, а знаете эту поговорку, которую я очень люблю, в которой нахожу столько поэзии: «Разделенная радость — двойная радость, разделенное горе — половина горя». Вот почему мне и легче, когда поговорю с Вами о своей тоске.

Когда я начала это письмо, у меня сердце раздувалось от слез, я едва водила рукой, а теперь я могу поговорить и о музыке. Знаете ли Вы, Петр Ильич, композиторов Scharwenka, Xaver et Philipp? Первый из них пишет для фортепиано, второго я знаю дуэты для скрипки с фортепиано. Мне очень нравятся они оба, и недавно я прочла в статье Bülow'a в немецком музыкальном журнале о фортепианном концерте (B-moll) X. Scharwenka[1], о котором он говорит, что при беглом пересмотре его ему показалось, что этот поляк заимствовал у русского, а именно у г-на Чайковского из его B-moll'ного концерта, посвященного мне (слова Bülow'a), но что по ближайшем знакомстве с этим сочинением он увидел, что он ошибся, что подражания нет, и говорит, что этот концерт очень хорош и что аккомпанемент к нему инструментован лучше, чем в шопеновских концертах, а параллель такую он проводит потому, что Scharwenka, как мне кажется, шопеновской школы, но не так плаксив, как тот, его тоска энергичнее, sa manière de sentir est plus moderne *. Я хотела достать этот концерт, но здесь его еще нет,—я поручила выписать. Знаете ли Вы еще, Петр Ильич, оперу Deslibes: «Le roi l'a dit»? Это комическая опера, и еще балет его «Coppelia». Опера у меня есть, а балет я также поручила выписать. Благодарю Вас очень за ознакомление меня с нашими русскими композиторами. Если бы все они были никуда негодны, то довольно Вас одного, для того чтобы признать, что русская музыка сделала гигантские шаги вперед. Как жаль, Петр Ильич, что консерватория лишена Вас на этот год! Я слышу постоянно от одного из Ваших бывших учеников, что т е п е р ь совсем не то, что В а с никто заменить не может. Да еще бы,— Московская консерватория В а м и держалась высоко.

---

* характер его чувствований более современен

До свидания, мой милый, бесценный друг. У меня все еще сердце ноет, немного о чем могу говорить. Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

77. Чайковский — Мекк

Сан-Ремо,
6/18 января 1878 г.

Виноват я перед Вами, дорогая Надежда Филаретовна. Чуть ли не целую неделю я не писал Вам. Впрочем, из самого этого молчания Вы уже, вероятно, догадались, что ничего особенного, ничего достойного быть занесенным в мою летопись к Вам не произошло. И действительно, эти несколько дней прошли так, что один трудно отличить от другого. Встаем в восемь часов. После кофе небольшая прогулка, потом все занимаются. Я пишу оркестровку третьего действия оперы, Модест занимается с Колей, Алексей пилит. В двенадцать часов завтрак и тотчас после него большая прогулка. Около трех с половиной возвращаемся, и опять занятия. В шесть часов обед, потом чтение, писание писем, иногда еще одна небольшая прогулка, после того как Коля уляжется спать, а в одиннадцать часов я отправляюсь в свою комнату для сна. Здоровье хорошо, расположение духа очень покойное, но в глубине души маленькая борьба с какой-то тайно грызущей тоской. Отчего она? Чего мне еще желать? Не знаю. Я сваливаю вину на местность Сан-Ремо, к которой по совершенно неизъяснимой причине я отношусь враждебно. Оттого ли, что здесь в самом деле, кроме берега моря, хороших прогулок нет (или почти нет) или по другой причине, но только меня не радуют прогулки,— меня, для которого нет большего наслаждения, как рыскать по нашим лесам, степям и полянам! В одном guid'e * я прочел, что людям полнокровным и с сильно возбужденными нервами не годится жить в этой местности. Краски слишком ярки, и самый воздух носит в себе элемент раздражения. Не поэтому ли? Но это пустяки. В сумме, мне очень хорошо, и после отъезда Анатоля только теперь наступили тихие и покойные дни.

Очень меня беспокоит перемирие, о котором теперь толкуют газеты. Неужели нам не дадут дойти до Адрианополя? Неужели среди этого торжественного шествия наши полководцы согласятся на перемирие, которое, может быть, будет предлогом туркам для того, чтобы собраться с новыми силами? Я каждый день со страхом открываю газету, боясь прочесть известие о s u s p e n-

---

* путеводителе

tion d'armes**. Но до сих пор, слава богу, положительных известий нет, а наши все дальше и дальше подвигаются.

Надежда Филаретовна, представьте себе, что мои московские друзья мне ничего не пишут! Я решительно не знаю, что делается в консерватории, что они порешили с моей оперой, что было на последних концертах. Пожалуйста, в следующем Вашем письме дайте мне на этот счет какие-нибудь сведения. Вообще последние четыре дня я не получил ни одного письма, и это меня немножко беспокоит.

Насчет будущего я знаю только то, что мы останемся здесь до конца месяца приблизительно, а отсюда отправимся в Кларенс, где мне очень улыбается роскошное наступление весны. А затем мне мечтается весна в России. Но где и как, еще не знаю. По известной Вам причине, К а м е н к а и привлекает и вместе немножко пугает меня.

А покамест буду всячески стараться дописать оперу до конца и, таким образом, воротиться домой с сознанием, что я докончил два больших труда и что не совсем даром прошло время за границей. До свидания, милый друг мой.

Ваш П. Чайковский.

78. Чайковский — Мекк

Сан-Ремо.
9/21 января 1878 г.

Надежда Филаретовна!

Заметили ли Вы в моем последнем письме, что в нем есть что-то недосказанное, что я как будто что-то скрываю от Вас? Я думаю, что заметили. И я действительно скрыл от Вас одно обстоятельство, неожиданное, неприятное и затруднительное. Помню, что это письмо стоило мне больших усилий. Я так привык теперь облегчать себя правдивыми отчетами к Вам о всем, что со мной происходит, а между тем в этом случае я почему-то нашел невозможным сказать то, что меня мучило. Приходилось обходить то, что в последние дни составило предмет новых неприятностей, новых забот и беспокойств. Сегодня я уже не чувствую себя в силах умолчать об этом неприятном обстоятельстве, но так как входить в подробности дела неловко, то я объяснюсь вкратце. Дня четыре тому назад слуга мой Алексей, малый очень хороший, преданный, живущий у меня уже семь лет, сообщил мне, что у него появились на теле какие-то язвы. В ту же минуту я схватил его и побежал к первому попавше-

*.прекращении военных действий

муся доктору. Доктор этот, немец, осмотревши его, сказал, что дело очень нешуточное. Прежде всего, мне хотелось знать, есть ли опасность заражения. Я с ужасом подумывал о том, что брату и мне поручен с безграничным доверием чужой ребенок. Доктор, покачавши головой, сказал, что ни за что поручиться нельзя и что было бы благоразумно отделить моего Алексея совершенно и безусловно от нас. Он прописал множество средств, требующих пачкотни, возни, ванн утром и вечером, строгой диэты и т. д. и т. д. Я был в совершенном недоумении. Мы живем в небольшом п а н с и о н е, где всего этого скрыть нельзя, а такого больного не стали бы держать ни одной секунды. Оставить его здесь с нами, имея на своей ответственности ребенка, невозможно. Что было делать? Мы с братом совершенно потерялись. Случайно мы узнали, что в Сан-Ремо живет русский доктор. Отправились к нему. Русский доктор (оказавшийся, впрочем, поляком) подтвердил вполне мнение своего немецкого собрата. Я спросил, можно ли его отправить в Россию. Врач ответил, что весьма опасно, если он простудится дорогой; притом ехать ему одному нельзя, везти его мне затруднительно. Доктор предложил поместить Алексея в больницу, а покамест откроется там место, перевести его в другое помещение. Покамест так и сделали, и лечение началось тотчас же. Все это стоило ужасных хлопот, забот, страхов, жалости к бедному больному, который глубоко сокрушен, что ставит нас в такое затруднительное положение. Все мои предположения и планы изменились. Я должен теперь ожидать полного выздоровления Алексея. Я не могу его бросить. Между тем, лишившись его услуг, придется терпеть много неудобств. До сих пор мы по вечерам, после того как Коля укладывался спать, ходили в кафе читать газеты; это было единственным временем, которое брат проводил без Коли. Вообще, оставляя Колю на попечение Алексея, брат мог быть свободен. Теперь он не может оставить Колю ни на минуту. Вообще Алексей был очень хорошим помощником брата. Коля его очень полюбил и беспрестанно устраивал игры с ним. Теперь всего этого не будет. Сегодня утром я сидел в своей комнате и предавался самым грустным мыслям. Для чего судьба мне устраивает на каждом шагу маленькие отравы моего покоя? Что могло быть неожиданнее и неприятнее, как эта болезнь? И самый род болезни как будто нарочно был придуман, чтобы чувствительнее была неприятность. К грустному расположению духа прибавлялась еще маленькая злоба на моих московских друзей. От двух из них (Альбрехта и Кашкина) я получил вчера письма, в которых они меня жестоко укоряют за мой отказ от делегатства. Мне было обидно, что они не поняли меня, не

понялн, что я н е м о г у взять на себя теперь обязанности, которые не по моей натуре, которые не принесут мне ничего, кроме бесплодных и бесцельных беспокойств[1]. Я думал о Вас, я знал, что Вы одни не будете меня укорять в малодушии, и ждал с алчным нетерпением письма от Вас. Вдруг стучат и приносят Ваше письмо от 2 января. Прочтя его, я изумился. У Вас относительно меня есть какое-то ясновидение. Каждый раз, как мне приходится жутко, когда я теряюсь и падаю духом, непременно является мой далекий, дорогой, добрый друг, чтобы утешить, поддержать и успокоить. Нет, это в самом деле поразительно и непонятно, и я начинаю делаться суеверным. До чего мне было утешительно прочесть первые строки Вашего письма, в которых Вы говорите, что я хорошо сделал, не поехавши в Париж. Это сняло с меня всю тяжесть сомнений. Немало меня удивило также, что Вы почти слово в слово пишете мне по поводу наших военных обстоятельств то, что я Вам писал в моем последнем письме.

Есть что-то, заставляющее меня часто призадумываться о моих отношениях к Вам. Я уже не раз, кажется, писал Вам, что Вы всегда мне представляетесь как рука провидения, бодрствующего, надо мной и спасающего меня. Самое то обстоятельство, что, будучи так близок к Вам, я Вас лично не знаю, придает Вам в моих глазах значение чего-то невидимого, но благодетельного, как провидение[2]. Я Вам скажу более, мой друг. Вам это покажется странным, но ввиду самых ограниченных сумм, которыми располагает брат с Колей, ввиду моих последних двукратных переездов, болезни Алексея и некоторых других обстоятельств, я в первый раз после начала октября почувствовал финансовое затруднение. Я говорю, что это может показаться Вам странным потому, что при большем умении беречь деньги можно было обойтись без затруднений. Как бы то ни было, но перевод, вложенный в Ваше вчерашнее письмо, уравновешивает мой пошатнувшийся бюджет. Я не могу скрыть от Вас, что две трети этой суммы я употреблю на мои здешние нужды. Симфонию будет печатать Юргенсон, которому я обещал ее ранее, и будет печатать, конечно, даром. Но треть суммы я употреблю на то, чтоб заказать четырехручное переложение К л и н д в о р т у. Я не мастер этого дела. Мне бы хотелось, чтобы симфония была издана в превосходном переложении, а Клиндворт приобрел себе громкую репутацию как перекладыватель. Вас, может быть, удивит, почему я не хочу заняться этим сам. Это объясняется очень просто. Только что кончивши утомительный и сложный труд партитуры, очень тяжело приниматься за изложение той же самой музыки опять сначала, но

в другой форме. Является нетерпение, спешность работы и отсюда те неудобства, те неловкости исполнения, которыми отличались мои собственные переложения моих же партитур[3]. Итак, я обращусь к Клиндворту и заплачу ему за этот труд.

Во всяком случае, примите мое спасибо, щедрая, неоскудевающая рука провидения. Я бы мог, пожалуй, прибавить ко всему этому, что мне совестно, но не прибавлю, ибо это было бы несогласно с истиной. Относительно Вас я перестал уже стесняться обычною щекотливостью в обычных отношениях людей, когда между ними являются денежные расчеты. Я знаю, что Вы не сомневаетесь в моей готовности на всякую жертву для Вас, и уверенность в том, что Вы это знаете, удовлетворяет меня.

Благодарю Вас за присланные карточки, добрая Надежда Филаретовна. С большим интересом я рассматривал их. Некоторые лица были мне более или менее знакомы прежде, т. е. Вы, Милочка (по первому ее портрету) и оба правоведа, с которыми однажды в каком-то концерте меня кто-то познакомил. Как мне знакома форма, которую они носят! В 51-м году я носил куртку с воротничком, как Саша, а с 52-го по 59-й — мундир, как Коля. Лица обоих этих правоведов мне очень симпатичны. Взгляд у обоих прям, прост, и хотя они по отцу—немцы, но мне кажется, что лица имеют характеристические черты великорусского типа, особенно у Саши. Физиономия Милочки, с ее вихрами, весьма привлекательна. Соня будет хорошенькая барышня. Старшая дочь Ваша имеет именно тот серьезный вид, который я и предполагал в ней.

В ответ на эти карточки по приезде в Россию я непременно пришлю Вам карточки моего семейства, а покамест снимусь здесь вместе с братом и Колей, специально для Вас.

Вы сетуете, что «О н е г и н а» будут исполнять молодые люди, весьма мало соответствующие представлению нашему о героях и героине п у ш к и н с к о й поэмы. Это совершенно верно, но знаете что? — какие бы они ни были, но они молоды, они ученики, с них немного и спросится. При той разумной постановке, превосходном ансамбле, которого Рубинштейн и Самарин добиваются на консерваторских спектаклях, я все-таки буду более удовлетворен консерваторией, чем исполнением моей оперы на большой сцене, хотя бы даже и в Петербурге. З и л ь б е р ш т е й н, конечно, не передаст идеального Ленского, но, будучи молод, он для меня все-таки лучше, чем толстопузенький Д о д о н о в, или лобазник О р л о в, или безголосый старый К о м м и с с а р ж е в с к и й. К л и м е н т о в а — не Татьяна, но я с ней помирюсь охотнее, чем с казенными нашими примадоннами, потому что опять-таки она молода и не

исковеркана рутиной. Г и л е в а Вы удивительно верно назвали франтом du bas étage, но и его я предпочту отличному певцу, но старому, снабженному брюшком, простите за выражение, М е л ь н и к о в у. А главное, в консерватории при постановке не будет той пошлой, убийственной рутины, тех кидающихся в глаза анахронизмов и нонсенсов *, без которых не обходится казенная постановка. Я не буду хлопотать о постановке «О н е г и н а» на Мариинском театре; по возможности я даже буду противиться этому. Опера эта вообще никогда не сделается прочным достоянием репертуара больших сцен. Она лишена сценических эффектов, она недостаточно подвижна и интересна для того, чтобы публика могла полюбить ее. Я это знал, когда писал ее, и тем не менее написал и докончу, потому что, сочиняя ее, я повиновался неодолимой потребности души и, следовательно, не имел права смущаться побочными соображениями. Если опера эта не будет популярна, то зато она, может быть, будет любима меньшинством и встретится во всяком музыкальном доме для домашней музыки [4]. Я буду продолжать мой ответ на Ваше письмо сегодня вечером, а пока еще раз благодарю Вас, мой бесценный, дорогой, многолюбимый друг.

Ваш П. Чайковский.

79. *Чайковский — Мекк*

Сан-Ремо,
10/22 января 1878 г.
Вечером.

Отвечу на Ваши вопросы, Надежда Филаретовна. Уменьшительное от Модеста — М о д я. Воспитаннику моего брата девять лет. Он говорит довольно свободно обо всем; голос у него до того симпатичный, что забываешь недостатки произношения. Когда он хочет, чтобы его поняли люди непривычные, то выговаривает тихо, отчетливо, и тогда всякий его может понять. Брат запрещает ему говорить скоро, но очень трудно удержать от болтовни живого, резвого ребенка. По большей части он говорит скоро, подробности объясняет жестами, и до того характеристичными, выразительными, что любопытно смотреть на него. Других он понимает, только когда очень резко и отчетливо выговаривают согласные. С братом они говорят так скоро и свободно, что со стороны никто и не догадается, что Коля глух. У них есть разные условные жесты, которые облегчают им разговор. Пишет Коля замечательно хорошо для ребенка

* Nonsense (*англ.*)—бессмыслица, нелепость.

своих лет. Его письма очень своеобразны и интересны по своему стилю. В этом стиле сейчас заметно, что он выучился языку не по слуху. Он очень забавно ошибается в падежах, спряжениях и всяких других грамматических формах, но зато беспрестанно употребляет деепричастие и вообще книжные приемы. Брат заставляет его ежедневно писать дневник. Чтобы Вы имели понятие о его курьезном слоге, я выпишу Вам один из его последних дней.

«1878 г. Сан-Ремо.
2 января, понед.

Вчера я встал, мы пошли в низу пить кофе с Петей и Модей. Выпив кофе, мы пошли гулять пешком из Сан-Ремо далеко на восток, мы прошли 4 километра и повстречали королеву Ольгу Николаевну с королем мы сидели на камне глядели корабль который ехал далеко в море и говорили об Азне, об Америке, об Африке, об Австралие и об океане. Вернувшись с прогулки домой мы завтракали. Позавтракав я играл в шары, а Модя ушел нанять экипаж он пришел мы вчетвером поехали кататься в город Бордигера из Сан-Ремо и пили кофе а я пил воду с сиропом под лимонным деревом. В Бордигера есть много пальмы. Выпив кофе мы еще пошли глядеть город. Возвращаясь после обеда мы играли в крокет и Петя рассказывал смешную историю».

Не правда ли, курьезны все эти «выпив», «позавтракав», «возвращаясь» и т. д.? Брат не поправляет ему дневника, чтобы он мог впоследствии проследить, как мало-по-малу он успевал в знании языка. Из перечня удовольствий описанного дня Вы видите, что это было воскресенье. В будние дни он очень аккуратно занимается, причем большая часть занятий состоит до сих пор только в изучении произношения. С прошлого года он сделал большие, огромные успехи. Самое удивительное его качество—память. Он меня изумляет своим знанием истории, т. е., лучше сказать, генеалогии и чередования всех возможных царей и королей, кто на ком был женат, сколько у кого было детей и как их звали. Я не могу себе представить ребенка с более мягким, нежным и кротким нравом. Это не мешает ему быть большим шалуном. Но стоит Модесту нахмурить брови, чтобы он тотчас испугался, повиновался и просил прощения. Когда изредка он бывает не вполне послушен, то брат его наказывает только тем, что несколько времени не говорит с ним. В таких случаях невозможно смотреть на него без слез. Он плачет и как-то жалостно жестом руки просит прощения. Нет худа без добра. Благодаря своему недостатку, будучи отлучен от общества других детей, он не научился ничему дурному. Он не знает, положительно не знает, что такое л о ж ь, о б м а н. Он не со-

хгал ни разу в жизни. После целого ряда шалостей, беготни и возни он иногда впадает в какую-то особого рода задумчивость, из которой его трудно вывести. Здоровье его хорошо, но сложения он очень слабого и деликатного. Лицо очень симпатичное, и в глазах много ума и добродушия.

Прилива и отлива в Сан-Ремо нет или почти нет, до такой степени они незаметны. Есть скалистые высокие берега, с которых очень хорошо следить за прибоем волн.

По поводу издания моей симфонии я должен Вам сказать следующее. Чтобы моя музыка распространилась за границей, нет надобности, чтобы вещь печаталась за границей. Я решился в последнее время печатать свои сочинения исключительно в России и именно у Юргенсона. Он мне доказал совершенно справедливо, что ему очень невыгодно издавать только некоторые мои пьесы. Я пишу очень много. Юргенсон готов издавать что угодно вышедшее из-под моего пера, но именно желал бы все, потому что только в этом случае он наверное знает, что из его рук не уйдет то, что принесет выгоду. Вам известно, что из всех моих романсов только два в ходу: «Н е т, т о л ь к о т о т, к т о з н а л» и «И б о л ь н о и с л а д к о». Издателю, у которого находится большая часть моих вещей, невыгодно и неприятно, если случайно одна какая-нибудь вещь, не попавшая к нему, пошла в ход. Например, каково было бы Юргенсону, если бы вышеименованные два романса были не у него, который обладает целой массой других вещей моих, не имеющих покамест сбыта? Вот, дабы подобной случайной несправедливости не вышло, я и решился иметь дело с Юргенсоном исключительно. Я должен к этому прибавить, что Юргенсон относительно меня был всегда чрезвычайно деликатен, щедр и предприимчив. Он охотно печатал мои сочинения и тогда, когда еще никто не обращал на меня никакого внимания. Что касается моей заграничной известности, то она нисколько не страдает оттого, что мои вещи печатаются в России. Юргенсон многие из них сбывает за границу. Вообще я держусь того правила, что ухаживать за заграничными издателями, капельмейстерами и др. нет надобности. Я никогда не делал ничего для того, чтобы распространить свою известность за границей, в твердой уверенности, что если мне суждено попасть туда на большинство программ, то это сделается само собой. В настоящую минуту я еще мало известен вне России, но это меня мало сокрушает, ибо я знаю, что это скоро не делается. Тем не менее, некоторые из моих больших пьес, например, увертюра «Р о м е о и Д ж у л ь е т т а», игрались во всех больших центрах, причем успех их был весьма различен. Например, эту увертюру играли в Лондоне с боль-

шим успехом, в Париже (в Concert Populaire Pasdeloup) с половинным успехом, а в Вене ее торжественно ошикали в прошлом году, несмотря на превосходное исполнение под управлением Рихтера (байрейтского дирижера). Вообще нужно быть терпеливым, не напрашиваться и не итти к ним, а ждать, чтобы они пришли к нам.

Наша симфония будет напечатана хорошо, это я Вам обещаю. А что переложение будет хорошо, то в этом нет сомнения. Очень, очень мне интересно, как Вам покажется эта симфония в исполнении. Как грустно, что мне не придется ее слышать!

В два часа я был у доктора. Он приискал для Алексея помещение в maison de santé*, содержимом каким-то братством. Он будет иметь особую комнату, хорошую пищу, освещение, словом, все. Доктор будет навещать его ежедневно, и два раза в день он будет получать ванну, которая устроена при этом же заведении. Все это, по уверению доктора, очень хорошо. Вообще он сказал мне много утешительного и ручается, что через месяц Алексей будет здоров. Засим кончаю, мой неоцененный, добрый друг. Будьте счастливы и здоровы.

Ваш П. Чайковский.

80. Чайковский — Мекк

San Remo.
11/23 января 1878 г.

Дорогая моя Надежда Филаретовна!

Получил я сегодня Ваше письмо от 4 января. Вы предупреждаете меня, чтобы я не утешал Вас. Я этого не сделаю, да и не сумел бы сделать. Я очень хорошо понимаю, что бывают такие тяжелые минуты, когда слова утешения, хотя бы исходящие и от искренно сочувствующего человека, хотя бы и основанные на самой здравой философии, не принесут пользы. Но мне отрадно думать, что в подобную минуту Вы вспомнили обо мне и что, поделившись со мной, Вам стало легче. И, ради бога, во всех подобных случаях поступайте таким же образом. Я надеюсь, что Вы не сомневаетесь в том, что мало кто отзовется на Ваше горе с таким сочувствием, как я. Я не из тех, которые думают, что богатым людям не дозволяется испытывать тоску и горе. Я знаю и знал прежде, что и Ваш путь тернист. Из того, как Вы любите музыку и что Вы любите в музыке, я знаю, какие минуты Вы переживаете; я даже знаю, что и у Вас хороших минут в жизни все-таки меньше, чем тяжелых. Вы имеете много дока-

* санатории.

зательств, что я теперь уже привык при всякой невзгоде, при всяком припадке тоски или хандры, хотя бы и беспричинной, тотчас обращаться к Вам. При всякой даже мимолетной грусти я инстинктивно, мысленно обращаюсь к Вам и, как ребенок в ласке матери, почерпаю в Вашей дружбе утешение. Мне будет очень отрадно, если Вы в трудные минуты всегда, как в сегодняшнем письме, вспомните Вашего горячо Вас любящего друга.

Надежда Филаретовна, читали ли Вы Шопенгауера? Я имею весьма поверхностное понятие о его теории. В одной статье когда-то в «Revue des Deux Mondes» я прочел краткое изложение шопенгауеровской философии[1]. Не знаете ли Вы, есть ли на русском или французском языке обстоятельное разъяснение его взгляда на разные существенные вопросы? Некоторые его взгляды, помнится, поразили меня своей новостью и оригинальностью. Если Вы не знакомы еще с ним, то не будет ли Вам интересно достать и прочесть, а потом сообщить мне Ваше впечатление, а впоследствии прислать и самую книгу? Ничего нет легче, как достать полное собрание Шопенгауера по-немецки. Он выражается очень просто и удобопонятно для всякого мыслящего человека. Но серьезных книг по-немецки я не умею читать.

«Coppelia» я не знаю, но при первом удобном случае хочу познакомиться с нею. «Le roi l'a dit» — прелестная опера и по музыке и по сюжету, но chef-d'oeuvre Deslib'a — все-таки «Sylvia». Как я был непростительно невнимателен и глуп, не догадавшись послать Вам ее из Вены! Из двух Scharwenka мне известен только тот, который написал концерт, о котором пишет Бюлов. Автор в прошлом году прислал этот концерт, а Н. Гр. Руб[инштейн] и я его просматривали. Я не нашел в нем ни малейшего сходства с моим и, сколько помню, просмотрел эту вещь с интересом. Она выступает из серого фона немецкой ремесленной посредственности.

Сегодня я навещал своего больного. Он помещен в очень милом заведении особого братства монахов, которых здесь называют les pères frotteurs*, так как они занимаются посещением больных, нуждающихся в оттираниях. Доктор обещает полное выздоровление через месяц. Дай бог!

Сегодня совсем почти весенний день. И после захода солнца все-таки тепло так, что можно гулять только в одном сюртуке. Занимался сегодня усердно инструментовкой третьего действия оперы. До свиданья, моя дорогая Надежда Филаретовна.

Ваш П. Чайковский.

---

* отцы-массажисты

81. Мекк — Чайковскому

1878 г. января 10—12. Москва.

Москва,
10 января 1878 г.

Вчера я опять была обрадована Вашим письмом, мой дорогой, бесценный Петр Ильич. Невозможно выразить, сколько добра доставляют мне эти милые письма, каким благотворным бальзамом служат для моего истомленного сердца, одержанного несовладаемою тоскою. Когда я выхожу в свою гостиную и вижу на столе конверт с так знакомым милым почерком, я чувствую ощущение как от вдыхания эфира, которым прекращается всякая боль. Я не умею определить этого ощущения иначе, как назвав его розовым и ароматным; вообще же можно понять его в том состоянии, когда человек, который долго и постоянно мучится, хотя бы от головной боли, вдруг моментально перестает ее чувствовать. Какой отдых, какую сладость, какую жизнь он почувствует разом и сколько любви к тому, кто доставит ему это облегчение! Но как это странно, что человек, который может доставлять другому такие счастливые минуты, не может добыть счастия для себя. За Вас-то мне очень обидно, ведь это несправедливо,— впрочем, это безапелляционный предмет! Где же людям, способным чувствовать так глубоко, как Вы и я, быть счастливыми: ведь если жизнь называют морем, то общество, во всяком случае, есть мелкая речонка, в которой быть хорошо только тем, которые мелко плавают, а таким имя легион! Нам же с Вами, с нашим неумением к чему бы то ни было относиться поверхностно, тешиться финтифлюшками вроде приличий, общественного мнения и чувств по заданной программе,— нам, с потребностями глубоких чувств, широких запросов, приходится только биться грудью, головою и сердцем о каменное дно этой речонки и, обессилев в неравной борьбе целой жизни, умереть, не достигнув того счастья, о котором знаешь, что оно есть, которое видишь ясно перед собою, но до которого мелкие плаватели не пускают. Они не виноваты, эти плоскодонные судна, потому что им так хорошо, но зато как тяжело глубоким гребцам!

Я останавливаюсь, чтобы попробовать успокоиться и продолжать Вам письмо в другом тоне. И знаете ли, милый друг, к какому выводу я пришла в эти дни неугомонной тоски и головного расстройства? Я увидела, что музыка... только не сердитесь за то, что я скажу, я не ручаюсь за верность, у меня мозг болен,—что музыка увеличивает несчастье человека, потому что она-то больше всего указывает ему, что есть счастье высокое, прекрасное, она дразнит его этим счастьем, раздражает невы-

носимо. Если бы не музыка, легче было бы мириться со всякою мелочностью, рутиною и пошлостью.

Так же действует на меня и природа, но она не имеет того обаяния живых звуков, как музыка, она не так возбуждающе действует на воображение и сердце; но музыка, музыка,— я или умру под звуки ее или с ума сойду. А было бы хорошо: чем больше трогает тебя людская злоба, зависть, соперничество (в которое уже вступаешь при знании первенства перед тобою, которого ты не оспариваешь), тем более нуждаешься в этих божественных минутах, которые доставляет музыка, но и тем более она доводит тебя до отчаяния. А знаете, милый друг... да нет, я не скажу этого, это нечаянно сорвалось с пера. Скажите, что мне делать? Я одного только желаю от людей, это того, чтобы они совсем забыли о моем существовании, и этого я не могу выпросить; а ведь я никого не трогаю, ни у кого ничего не отнимаю, никого не затмеваю,— что же мне делать еще? Вы скажете, быть может: оставаться равнодушною ко всему, то ведь я и была бы равнодушна, если бы отношения ко мне людей выражались только словами, а то ведь мне делают существенное, фактическое зло, и между прочими человек, который приезжает ко мне нарочно для того, чтобы, по его словам, благодарить меня (Вы его знаете, но мы не будем называть его по имени). Как согласовать такие понятия? Где найти правду? Да на что же она мне, когда у меня есть Вы, человек, способный ко всем благородным, глубоким чувствам, не страдающий ни мелким самолюбием, ни завистью, ни страстью господства, ни грубым произволом, ни деспотизмом, Вы, мой милый, благородный друг? Бог с ними, с этими дурными людьми, я бы желала только себя поставить вне их влияний.

12 января.

Понадобилось два дня на то, чтобы притти в состояние говорить о разных предметах.

В Милане Вы ходили смотреть C e n a c o l o. Эта фреска, конечно, интересна, потому что работы Леонардо да-Винчи, но она уже очень пострадала от времени, и мне больше нравятся копии, которых с нее так много делают. Но как жаль, Петр Ильич, что Вы не были в Galleria la Brera (Palazzo di Brera), в особенности когда Модест Ильич любит картины а там есть такие восхитительные, что я прошлое лето в первый же визит туда накупила их на десять тысяч франков. Между ними у меня в особенности хороша картина Giacomo Montegazza, genre *;

* Бытовая картина

названа художником: «Amore e inganno»* Эта галлерея есть выставка произведений искусств настоящего времени, и я не знаю, знакомы ли Вы с самою новою школою итальянской живописи? Если нет, то поезжайте в Милан, это стоит того: нельзя себе представить более нежной, выработанной, бархатной кисти, как у новых итальянских художников. Надо Вам сказать, что я особенно люблю все, что нежно и изящно, и эти картины привели меня в сумасшедший восторг. Такая законченность, такая тонкость работы не только главных предметов, но и второстепенных и до самых мелких аксессуаров, что глаз оторвать нельзя; какая верность в перспективном отношении, какая рельефность предметов! Между моими картинами есть одна, которая изображает ничего более как комнату (un salon du XVIII siècle **) с длинным рядом стульев по стенам; но как выступают, выделяются эти стулья, какая перспектива, так это восхитительно. Я обещала в Милане, покупая эти картины, дать их в Москве на выставку и исполнила это, и они восхитили знатоков живописи; компетентные судьи написали о них восторженные статьи в газетах.

Мне также очень жаль короля Виктора-Эммануила. Не ездили ли Вы в Рим на его похороны? А в Сан-Ремо умер недавно наш Толстой. Что это, неожиданно?

Я делаю модный переход б е з м о д у л я ц и й от мертвого к весьма живому, к путешествиям Вашего Рубинштейна для концертов в пользу Красного креста. И тут я вынесла еще разочарование в нем. Я приписывала эти концерты патриотическому движению души и вдруг узнаю, что вовсе нет, что он ездил для того, чтобы получить... как Вы думаете что? — дворянство! Ну, не смешно ли это? На что оно артисту, да и к тому же дворянином хорошо родиться, а не быть в него произведенным; la nature n' ygagnera rien***, потому что: гони природу в дверь, а она влетит в окно, то также: сколько ни тащи ее вверх, она все будет сползать вниз. Эх, человечество! Во всем ему нужно только внешность!

Здоровье мое очень дурно, потому что главное условие для него — душевное спокойствие, а где его взять? Впрочем, в настоящее время, т. е. минуту, я уже значительно овладела своим душевным состоянием.

А наши за Балканами все идут вперед, заняли уже Адрианополь и, говорят, идут на Константинополь и Галлиполи.

---

* «Любовь и обман»
** (салон XVIII века)
*** природные свойства от этого не станут лучше

Виновата, не говорят, а пишут из нашей главной квартиры, что Адрианополь заняла часть 30-й пехотной дивизии (Скобелева 2-го), а другие ее части Скобелев направил на Константинополь и Галлиполи. Как мне хочется, чтобы наши войска вошли и туда и туда! А эта гадкая Англия подстрекает против нас и других,— что-то и Австрия зашевелилась и Италия.

Много, много я Вам наболтала, мой милый, добрый друг. Ах, если бы я в эту минуту могла получить от Вас письмо, как бы мне стало хорошо на сердце! Мне кажется, что я Вас еще не благодарила за симфонию. Если это так, то извините меня, мой дорогой друг. У меня это время голова в таком расстроенном состоянии, что я ни за что не могу отвечать. Благодарю Вас, мой несравненный Петр Ильич, за то новое доказательство Вашей дружбы ко мне. Боже мой, как я Вас люблю, как бы мне хотелось увидеть собственными глазами эти дорогие слова: «Посвящается моему лучшему другу»; о, сколько счастья в этих словах, когда они принадлежат тебе! Пусть же судьба Вас наградит за это, хороший мой, бесценный друг.

Вообразите, Петр Ильич, какая милая случайность произошла сейчас. Только что я Вам выразила желание получить от Вас письмо в эту минуту и вслед за тем вышла в свою гостиную, чтобы пить черный чай, как вдруг я вижу около стакана как раз письмо от Вас. Как я обрадовалась ему, так и сказать нельзя. Я не понимаю, отчего так долго идут письма; я в это время несколько раз Вам писала. Вы пишете, что инструментуете третий акт Вашей оперы, а мне здесь рассказали, что она вся уже готова, и что Вы ее прислали и уже продали Юргенсону, и что она очень скоро пойдет на Большом театре. Но это я знаю достоверно, что в консерватории ее разучивают певцы с аккомпанементом Танеева. Персонал я Вам сообщала, прибавлю к этому только, что Ольгу будет исполнять, как же ее зовут... Райская, или Райнер, или Раевская, — право, не могу вспомнить. Вы, вероятно, знаете,— контральто?[1] С этого воскресенья назначена опять серия квартетных собраний. В последнем из них, 5 февраля, будет участвовать виолончелист Грюцмахер[2]. Он же, вероятно, будет играть и в Симфоническом собрании. Первое назначено на 27 января[3], но в этом солистом явится ученик Петербургской консерватории скрипач Колаковский, очень способный музыкант и очень милый, скромный юноша (я его знаю), если его не испортят, не сделают жертвою своих расчетов добрые люди. В декабре он был здесь, и Н[иколай] Г[ригорьевич] принимал его с такими овациями, которые ничем не могут объясниться относительно мальчика, ученика, как только личными расчетами творящего их. В консерватории все тот же

невообразимый произвол, беспощадная грубость, с одной стороны, беспомощная покорность, а большею частью такая же грубая, животная приниженность, подслуживанья, до цинизма доходящее отсутствие человеческого достоинства. Мне кажется, что с Вашим отсутствием консерватория падает не только в искусстве, но и в нравственности. Мне кажется, что при Вас с а м сдерживался, стыдился слишком безобразничать, а теперь его ничто не удерживает. Ах, кстати, Петр Ильич, Вы обещали мне рассказать Ваше столкновение с ним; расскажите теперь. А знаете, что он теперь в одном из своих провинциальных концертов играл вальс своего сочинения? Мне кажется, что если человек во всю свою жизнь кроме вальса ничто не мог сочинить, то уж не стоило бы его играть[4]. Он вернулся сегодня из Петербурга, но не знаю, с д в о р я н с т в о м ли в кармане или нет. Nicolas de Rubinstein! Боже мой, как это смешно! А интересно знать, какое же дворянство ему дадут: иерусалимское или так просто будет всесветным дворянином.

Но, я думаю, я Вам надоела своею болтливостью, Петр Ильич, но приятно, что я могу с Вами мыслить вслух. Петр Ильич, сделайте Вашу фотографию вместе с братом Модестом и пришлите мне, милый друг. Мое семейство все уменьшается. Младшего мальчика, Мишу, также отдала в лицей, и этот также скучает ужасно.

Мне не хочется прекратить своего письма к Вам. В этой переписке я отдыхаю от своей тоски; я совсем переношусь к Вам в San Remo, на берег моря, в Ваш отдаленный домик, я вижу комнату, в которой Вы собираетесь, я вижу, но не могу себе ясно представить лицо Вашего брата и маленького Коли; зато Вас, мой милый друг, я вижу так ясно, как бы возле себя, мне кажется, что Вы улыбаетесь мне, что в этой улыбке я слышу слова. Друг мой, как мне жаль, что я не знаю звука Вашего голоса, но я не желаю услышать его лично ко мне относящимся, а где-нибудь со стороны, где меня не было бы и видно. Бывая теперь в Симфонических собраниях, я сижу на хорах и много думаю и вспоминаю о Вас. Я вспоминаю те вечера, в которые публика настоятельно желала Вас видеть, вспоминаю, как неохотно, наскоро Вы выходили, как спешили уйти с эстрады, — как мне все это симпатично! Воспоминания, воспоминания! Это замена счастия для людей! Бедная моя Юля больна эпидемическим кашлем в настоящее время, и доктор ей сказал, что полгода нельзя петь и что вообще голос может пострадать от него. Это ее очень огорчает, она любит пение и любит Ваши романсы; мы обе с нетерпением ожидаем Вашей оперы. Что касается поэзии в литературе, ее вкус больше сходен с Вашим, чем мой.

До свидания, дорогой мой, милый Петр Ильич, не забывайте всем сердцем Вашу

Н. ф.-Мекк.

Получаете ли Вы еще от кого-нибудь такие письма на пяти листах?

82. Чайковский — Мекк

Сан-Ремо,
14/26 января 1878 г.

Вот уже две ночи сряду дует здесь порывистый, бешеный мистраль. По ночам такой шум, свист, рев, что страшно делается. У меня в последнюю ночь с шумом и треском отворилось окно, но заснуть уже не мог и стал думать обо всем происходящем со мной. Не знаю каким образом, но вдруг у меня в голове сверкнула одна очень приятная мысль. Мне показалось, что я ни разу не высказал Вам во всей ее силе ту благодарность, которую я питаю к Вам, мой лучший, дорогой друг. Я сообразил, что все то, что Вы делаете для меня, так бесконечно полно участия и доброты, так неизмеримо великодушно, а я, в сущности, так мало стою этого! Я вспомнил себя стоящим на краю пропасти, когда мне казалось, что все пропало и остается только поскорее исчезнуть с лица земли, и как в то же время какой-то тайный голос мне напомнил Вас и предсказывал мне, что Вы протянете мне руку. И тайный голос был прав. Вы, вместе с братьями, воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь не имеет смысла. Я знаю, что Вы совсем не нуждаетесь, чтобы я при каждом случае рассыпался в выражениях благодарности. Но сказал ли я Вам хоть раз, что я Вам обязан всем, всем, что Вы не только даете мне средства пережить без всяких забот трудный кризис, через который я должен был пройти, но что Вы вносите теперь в мою жизнь новый элемент света и счастья? Я говорю о Вашей дружбе, милая моя и дорогая Надежда Филаретовна! Уверяю Вас, что с тех пор, как я нашел в Вас такого бесконечно доброго друга, я уже не могу быть никогда вполне несчастлив. Авось скоро настанет время, когда уже я не буду нуждаться в такой материальной поддержке, которую Вы мне оказали с такой изумительной деликатностью, с такой сказочной щедростью, но мне еще гораздо более нужна та нравственная поддержка, которую я теперь имею в Вас. С той нерешительностью характера, которою меня наделила природа, с той способностью так часто теряться и падать духом, я знаю, что мой умный и добрый друг всегда поможет и укажет мне, что

делать. Я знаю, что я в Вас найду поощрителя моих хороших и разумных поступков и в то же время порицателя моих ошибок, но порицателя, сочувствующего мне и желающего моего действительного блага. Все это я говорил себе в сегодняшнюю бессонную ночь и дал себе слово сегодня же написать Вам об этом. Пожалуйста, не отвечайте мне на это ничего. Я просто удовлетворяю свое неудержимое желание высказаться перед Вами.

И знаете, какое случилось странное совпадение? Сегодня утром мне принесли письмо от Рубинштейна. Он вернулся из своего путешествия и поспешил мне ответить на письмо, в котором я извинялся перед ним за то, что, несмотря на его желание, отказался от делегатства. Письмо его дышит лютым гневом. Это бы ничего, но в тоне письма такая сухость, такое бессердечие, такое самодурство! Он пишет мне, что болезнь моя — вздор, что я блажу, что я просто предпочитаю dolce far niente* труду, что я отучаюсь от труда, что он очень жалеет, что принял во мне слишком много участия, ибо этим только поощрил мою лень (!!!), и т. д. и т. д. В конце письма он выражает надежду, что я одумаюсь и поспешу в Париж. Но, главное, неподражаемый тон письма! Разгневанный начальник, пишущий к трепещущему подчиненному! Письмо это, от начала до конца полное самодурства, непонимания, обидного высокомерия, заслужило очень резкий ответ, который я тотчас же послал ему [1]. Но ответ сам по себе, а все-таки, не будь Вас, я бы стал сомневаться: уж и в самом деле не поступил ли я малодушно? Теперь, после того, что́ Вы мне написали по поводу делегатства, я был силен своею уверенностью, что я не сделал ошибки. Если и Вы и мои братья ободрили меня, то я совершенно покоен. Тем не менее, не могу не удивляться и не огорчаться, в виду долгих годов, которые мне придется жить рядом с Рубинштейном, его изумительному непониманию меня. Этот человек, при всяком удобном случае толкующий мне про свою любовь, имеет удивительную способность наносить мне маленькие неприятности, но противнее всего то, что он при всяком удобном случае напоминает мне, что я кругом им облагодетельствован! Если б и в самом деле он был моим благодетелем, то своими упреками он парализует мою благодарность. У него неизлечимая мания воображать, что все ему обязаны, и если б Вы прочли его сегодняшнее письмо, то Вы бы удивились, до какой бессмыслицы его доводит мания воображать себя всеобщим благодетелем. Это просто непостижимо! [2].

---

* блаженную праздность

Ну, теперь, изливши мою, как мне кажется, справедливую злобу на Рубинштейна, я покоен.

Читал я в сегодняшней газете об условиях перемирия и злился на Горчакова и всех других воротил не менее, чем на консерваторского Юпитера. Я утешаю себя мыслью, что «A g e n c e H a v a s»*, сообщившая эти условия, ошибается. Оказывается, если ее сообщение справедливо, что Россия ничего себе не берет, за исключением контрибуции в пятьсот миллионов, которую Турция никогда не выплатит. Неужели это правда? Неужели после всех жертв, после потоков крови, пролитых за самую священную цель, Россия не получит никакого удовлетворения? Это возмутительно и обидно в высшей степени. О, как ненавистна Англия, эта презренная торговка, всегда загребавшая жар чужими руками! Вот где наш настоящий, холодный, рассудительный, но беспощадный враг.

Брат привез мне очень хорошую книгу, которую и Вам я рекомендую, мой бесценный друг. Это «А л е к с а н д р П е р в ы й» Соловьева. Она вышла недавно по поводу столетия героя книги. Если еще не прочли, то запаситесь этой умной и, несмотря на свою объективность, тепло написанной книгой.

До свиданья, дорогая Надежда Филаретовна! Сегодня я кончил инструментовку третьего акта оперы. Мне осталось теперь кончить еще и вчерне не готовую вторую картину второго акта, написать интродукцию, и затем попробую приняться за что-нибудь новое.

Бесконечно любящий и до последнего вздоха преданный Вам друг

П. Чайковский.

83. Чайковский — Мекк

San Remo,
15/27 января 1878 г.

Дорогая Надежда Филаретовна!

Письмо это пишу Вам по следующему поводу. Сейчас мы возвратились с прелестной прогулки. На расстоянии $1^1/_2$ часов отсюда, в горах, есть городок C o l a, в котором имеется очень хорошая галлерея картин, оставленная городку в наследство от какого-то богача, родившегося в Коле и сделавшего карьеру во Флоренции. День сегодня чудный, совсем весенний, солнце светит и греет, как летом. Мы решились сделать эту прогулку

---

* Агентство Гаваса

с братом и Колей; для последнего взяли осла. Подъем не особенно крутой, и хотя, как везде в этой местности, густые оливковые рощи заслоняют виды на море и на город, но все-таки было хорошо. Главное, вследствие праздника не встречались на каждом шагу крестьяне и их жены, собирающие оливки. Я както зашел вперед один, уселся под деревом и ощутил внезапно то высокое наслаждение, которое так легко мне доставалось в России, в деревне, во всех моих прогулках и которого я так тщетно добивался здесь.

Я был один среди торжественной тишины леса. Чудные эти минуты, ни с чем несравнимые и не поддающиеся никакому описанию! Необходимое условие их—одиночество. Я всегда гуляю один в деревне. Прогулка с милым человеком, как, например, брат, имеет свои прелести, но это совсем другое Ну, словом, я был счастлив вполне. Во-первых, я тотчас же ощутил потребность сказать Вам об этом, а во-вторых, на возвратном пути я имел еще одно удовольствие. Любите ли Вы цветы? Я к ним питаю самую страстную любовь, особенно к лесным и полевым. Царем цветов я признаю л а н д ы ш; к ним у меня какое-то бешеное обожание [1]. Модест, тоже любитель цветов, часто спорит со мной. Он стоит за фиалки, я за ландыши; мы пикируемся. Я ему говорю, что фиалки пахнут помадой из табачной лавочки. Он отвечает мне, что ландыши похожи на ночные чепчики, и т. д. Как бы то ни было, не признавая фиалку достойной соперницей ландыша, я все-таки люблю и фиалку. Здесь на улицах очень часто продаются ф и а л к и, но сам я до сих пор, несмотря на поиски, не находил ни одной. Я уж начинал думать, что нахождение фиалок составляет какую-то исключительную привилегию туземных детей, как вдруг сегодня, на возвратном пути, напал на одно место, где их было много. Это и есть второй повод моего письма. Посылаю Вам несколько сорванных мною милых цветов. Они Вам напомнят юг, солнце, море и тепло...

Отчего, так боясь и страдая от холода, Вы не проводите зимних месяцев здесь? Нельзя ли Вам сделать это в будущем году? Ведь Коля и Саша (Макс тоже поступает в закрытое заведение?) все равно не живут с Вами? А если дела Вам позволят, то почему бы Вам не устроиться хотя в том же С а н - Р е м о, а еще лучше в Риме или в Неаполе с остальными членами семейства?

До свиданья, милый и дорогой друг.

Ваш П. Чайковский.

В Кольской галлерее две-три картины недурны.

84. Чайковский — Мекк

San Remo.
17/29 января 1878 г.

Дорогая Надежда Филаретовна!

По непостижимой для меня причине только сегодня получил я письмо Ваше, адресованное в Венецию и написанное 17 декабря. Мне это очень досадно, ибо Вы, вероятно, удивлялись, почему я не отвечаю Вам на вопросы, находящиеся в этом письме.

Тороплюсь сейчас ответить Вам на эти вопросы. Вы спрашиваете, не могу ли я Вам объяснить, почему сыновья Ваши учатся теперь хуже, чем в приготовительном классе. Прежде всего я спешу Вас успокоить. Во-первых, быть во втором десятке еще не значит худо учиться. А что они не попали в первый десяток, это в младшем курсе не имеет большого значения, особенно в седьмом классе. Здесь учителя еще невполне ознакомились с мальчиками и очень часто мало способных зубряшек или низко кланяющихся высочек принимают за лучших учеников. Часто случается, что мальчик добросовестный и умный лишен способности к одному какому-нибудь предмету, например, к математике, и этот один предмет мешает общему результату. Словом, тут много ничтожных и второстепенных обстоятельств влияют на место в классе. Если бы сыновья Ваши с первых годов своего учения обнаружили бы особенное отвращение к учению или оказали бы полную неспособность, то в таком случае можно было бы тревожиться; но если этого нет, то будьте за них покойны. Пока они дойдут до старшего курса, многое может перемениться. Только в старших классах вполне обрисовывается личность ученика. В заключение я Вам скажу одну парадоксальность. Я лично и не желаю, чтобы Коля или Саша были первыми. Тип первого ученика очень несимпатичен. По большей части ими бывают те мальчики, о которых говорят, что они послушные и умные, подразумевая под послушанием безличность и приниженность, а под умом способность зубрить. По большей части эти первые ученики потом, после выпуска, исчезают в толпе посредственностей и бездарностей, и, наоборот, совершенным сюрпризом дельными людьми оказываются последние. Конечно, всего этого нельзя говорить самим мальчикам, но не следует им и выказывать огорчения и неудовольствия, если их первый неуспех не произошел вследствие недобросовестности и лености. На остальные вопросы Вашего письма я уже отвечал в других письмах. Надежда Филаретовна, я в ужасном беспокойстве. Во-первых, из полученного письма Юргенсона я вижу,

что он не получил высланных ему мною еще из Венеции недавно приобретенных им вновь отысканных сочинений Глинки, которые он посылал мне отчасти для просмотра, отчасти для переводов с итальянского [1]. Во-вторых, из письма моего ученика Танеева я вижу, что симфония моя, высланная еще из Милана, т. е. 29 декабря нашего стиля, тоже не приехала до сих пор в Москву. Я трепещу. Сейчас отправил депеши в Венецию и в Москву.

Крепко любящий Вас

П. Чайковский.

P. S. Вы пишете мне, чтобы я не стеснялся писать Вам часто. Я пишу Вам в с е г д а для удовлетворения сердечной потребности. Писать только ради поддержания корреспонденции я никогда Вам не буду. Только спешная и трудная работа может помешать мне часто писать Вам.

85. Чайковский — Мекк

1878 г. января 20—21. Сан-Ремо.

San Remo,
20 января/1 февраля 1878 г.

Дорогой мой друг! Сейчас, возвращаясь с вечерней прогулки, я думал о Вас и торопился домой, чтобы сесть писать Вам. Все эти дни я усиленно работал над инструментовкой и досочинением всего недописанного в опере. Мне очень хочется поскорей кончить эту работу, чтобы попробовать расправить свои крылья и залететь куда-нибудь повыше. Я так заработался, что даже и Вам не писал. Сегодня, наконец, я дописал и доинструментовал до самого конца. Остается только сделать фортепианное переложение всего вновь написанного, — словом, работы на неделю, не более.

Итак, я входил в свою комнату, чтобы сесть писать к Вам. Между прочим, мне хотелось поговорить с Вами о Рубинштейне, которого оскорбительное, наглое обращение ко мне в двух последних письмах я никак не могу забыть. И что же, как всегда, в Вашем письме я нашел отголосок на все то, что только собирался сказать Вам. У Вас относительно меня какое-то непостижимое ясновидение.

Надежда Филаретовна! Или я очень ошибаюсь, или человек, приезжавший благодарить Вас,— Р у б и н ш т е й н. Д а или н е т? Напишите мне одно слово, и все остальное я буду знать. Тогда я обстоятельно поговорю с Вами по поводу его визита к Вам. А покамест скажу одно: самая неблаговидная сторона

всех его поступков состоит в том, что свои дипломатические и политические расчеты наш г е н е р а л о т м у з ы к и маскирует любовью и участием ко мне.

Дипломатия и политика состоят в следующих соображениях: «обстоятельства *Ч* такие, что ему очень кстати явиться в Париж д е л е г а т о м и получать за это жалованье. Меня спрашивают, кого назначить представителем русской музыки. Благо он там, рекомендую его. Во-первых, он таким образом будет мне н а в е к и обязан; во-вторых, все-таки для моей консерватории хорошо, что именно н а ш профессор будет там торчать целые восемь месяцев. Вследствие этого объявлю *Ч*, что *я* устроил ему блестящее положение, и пусть знает, что *я* его облагодетельствовал».

Так и было сделано.

Ни разу нашему генералу не пришло в голову, что *Ч* может и не питать особенного желания воспользоваться преимуществами блестящего положения. Ни разу ему, столько лет знающему *Ч*, не подумалось, что и в своем нормальном состоянии этот чудак неохотно принял бы на себя обязанности, сопряженные с представительством, с постоянным вращением в многочисленном кругу людей, ему чуждых, а тем более теперь, после невзгоды, от которой несчастная жертва милости его превосходительства едва начинает оправляться... До всего этого генералу нет никакого дела.

Вам известно остальное. Я был назначен, я колебался, мучился, но в конце концов отказался. Приняв это решение, я написал Рубинштейну письмо, в котором извинялся в самых дружеских выражениях.

В ответ я получил письмо, в котором не знаю что удивительнее: его непостижимое непонимание меня, упорство, с которым он во что бы то ни стало хочет позировать в качестве моего единственного благодетеля, или то бессердечие, которым проникнуто все это странное, лаконическое, но очень обидное послание. Жалко, что я н е м о г у послать Вам этого письма. Я бы это сделал, если бы не мысль, что оно как-то неблаговидно...

Суббота,
21 января/2 февраля.

А противнее всего то, что все эти обиды, этот бестактный тон свирепого начальника к безропотному подчиненному, который совершенно нов для меня и который переносить я нимало не намерен, все это прикрыто л ю б о в ь ю и д р у ж б о й ко мне, тогда как, в сущности, мое благополучие нисколько не входило в соображения моего благодетеля. Ему нужно было,

1) чтобы он имел право попрекнуть меня своим благодеянием в случае непокорства, и 2) чтобы в Париже блистал среди делегатов с в о й человек. И вдруг! с в о й человек, кругом облагодетельствованный (ибо Рубинштейн видит неизмеримое благодеяние, между прочим, и в том, что вместо меня никого не пригласили в консерваторию), этот несчастный, который только и держится милостями Рубинштейна, осмелился пренебречь высокою милостью своего патрона! Какая дерзость!.. Последовало гневное послание, в котором каждое слово — оскорбление, глупость и самодурство. Это послание навлекло ему ответ, который трудно переварит наш маленький деспот. И я был бы совершенно покоен, я забыл бы всю эту пошлость. Я сильно вооружен. Я встретил одобрение своего отказа от людей, которыми дорожу больше всего в жизни...

Но я не мог успокоиться, и причиною этого то, что у меня было смутное подозрение насчет того, что Рубинштейн не удовольствуется нанесением обиды мне. Мне приходило в голову, что он заденет и смутит покой другой личности, дорогой для меня. Ваше вчерашнее письмо утвердило меня в этом подозрении. Неужели я не ошибаюсь? Неужели человек, приезжавший б л а г о д а р и т ь Вас,— он? Мне очень нужно знать это, мой друг. Если да, то скажите мне откровенно, что он говорил Вам. Это нужно разъяснить для моей будущей ligne de conduite * и для того, чтобы предохранить Вас на будущее время от неприятностей, причиной которых я не могу и не хочу быть. Если б Вы знали, как я страдал, читая Ваши строки, и как мне тяжело было думать, что я, быть может, хотя отчасти невольный виновник того расстроенного состояния здоровья и духа, в котором Вы находитесь. Дай бог, чтобы я ошибался, но если я прав, то мне придется многое еще сказать Вам по этому поводу. Буду ждать Вашего ответа [1].

Читать Ваши письма для меня и наслаждение и страдание. Как мне бы хотелось, чтобы я мог когда-нибудь оказаться нужным для Вас! Что бы я дал, чтобы судьба послала мне случай на деле, ценою какой-нибудь жертвы доказать Вам мою безграничную любовь к Вам! О, моя добрая, дорогая! Сколько счастья приносит мне Ваша дружба! И не только счастья, но даже просто своим теперешним благополучным существованием я обязан Вам. А если не касаться счастья, которое, как Вы справедливо замечаете, никогда полно не бывает, я чувствую совершенное благополучие. Здоровье мое находится в самом вожделенном состоянии. Я в последнее время

---

* линии поведения

так оправился, так бодр и силен, что давно не запомню того периода, когда я мог похвалиться таким здоровьем, как теперь. Я очень хорошо сплю; сон — необходимое условие для бодрости телесной и душевной. Я даже чувствую в себе иногда как будто наплыв новых жизненных сил для борьбы с судьбой. Минутами мне даже случается ощущать всю полноту счастья, но ведь этих минут в последние месяцы моей жизни не было и почти вовсе не было. А минуты счастья, право, стоят месяцев и годов страданий. Что бы я дал, чтобы у Вас подобные минуты случались почаще!

Завтра мы собираемся съездить в Ниццу, во-первых, для того, чтобы снять для Вас группу (в Сан-Ремо фотографы донельзя плохи), во-вторых, для того, чтобы повеселить нашего дорогого, милого мальчика, который уже давно просит, чтобы мы показали ему Ниццу, а в-третьих, потому, что Модест никогда не видал чудного берега моря отсюда до Ниццы, и мне очень приятно будет видеть, как он будет наслаждаться бесподобными видами этой дороги. Я думаю, что мы одну ночь проночуем там и вернемся опять в Сан-Ремо. Я еще ничего не знаю насчет дальнейшего распределения моего пребывания за границей. Я связан болезнью Алексея, которого невозможно ни здесь бросить, ни отправить в Россию до тех пор, пока он не оправится вполне. Лечение его идет успешно, и доктор подает мне большие надежды на скорое выздоровление; однакож теперь он внушает мне немалое беспокойство. Он страшно исхудал и ослаб. Доктор объясняет это влиянием тех энергических средств, которыми он его лечит, и утешает, что весьма скоро он вполне оправится. Таким образом, мое пребывание в Сан-Ремо продлится до неопределенного срока. Вы помните антипатию, которую внушал мне этот, в сущности, чудесный уголок. Теперь я значительно примирился с моей резиденцией, но не вполне. Нет ничего более субъективного, как наше отношение к той природе, среди которой приходится жить. Что до меня касается, то я всегда был и останусь безраздельным поклонником нашей скудной, но примиряющей и успокоительно действующей русской природы. Ах, как меня манит в Россию, мой друг! Я думаю о ней, как иудеи о земле Ханаанской. Однакож думаю о ней очень неопределенно: как и куда поеду, еще до сих пор хорошенько не знаю. Я Вам объяснял уже причину, почему о К а м е н к е я пока еще не могу, как прежде, думать как о месте, где врачуются всякие раны. Там живут чудные, добрые и любящие меня люди, но... Вы знаете, в чем это «но»! Я в нервном состоянии. Не скрою от Вас, что меня мучит мое полное бессилие отдалить от Вас тоску и горе. Как мне сделать, чтобы

Вы были побольше счастливы? Во мне говорит эгоистическое чувство, когда я пишу Вам это. Я уже теперь не могу быть ни на минуту счастлив, если знаю, что Вы тоскуете, что Вам живется нехорошо. Вы говорите, что письма мои утешают Вас. Писать-то я буду,— я теперь не могу жить без этого,— но как это мало, как ничтожна помощь, которую я могу оказать Вам! По крайней мере, я бы хотел отдалить и предотвратить для Вас те неприятности, причиною которых могу быть *я*. Ради бога, ответьте мне на мой вопрос в начале письма: д а или н е т.

Я недостаточно покоен, чтобы рассказать Вам теперь про мое столкновение с Рубинштейном. Отлагаю это до вечера.

До свиданья, милый мой друг.

Ваш П. Чайковский.

86. Чайковский — Мекк

1878 г. января 21—22. Сан-Ремо—Ницца.

Сан-Ремо.
21 января/2 февраля 1878 г.

В декабре 1874 года я написал фортепианный концерт. Так как я не пианист, то мне необходимо было обратиться к специалисту-виртуозу, для того чтобы указать мне, что в техническом отношении неудобоисполнимо, неблагодарно, неэффектно и т. д. Мне нужен был строгий, но, вместе, дружественно расположенный ко мне критик только для этой внешней стороны моего сочинения. Не хочу вдаваться в подробности, не хочу разъяснять все антецеденты, чтоб не вдаваться в бездну мелких дрязг, но должен констатировать тот факт, что какой-то внутренний голос протестовал против выбора Рубинштейна в эти судьи механической стороны моего сочинения. Я знал, что он не удержится, чтобы при сем удобном случае не п о с а м о д у р н и ч а т ь. Тем не менее, он не только первый московский пианист, но и действительно превосходный пианист, и, зная заранее, что он будет глубоко оскорблен, узнавши, что я обошел его, я предложил ему прослушать концерт и сделать замечания насчет фортепианной партии. Это был канун рождества 1874 года. В этот вечер мы оба приглашены были на елку к Альбрехту, и Н[иколай] Г[ригорьевич] предложил мне до елки поместиться в одном из классов консерватории. Так мы и сделали. Я явился с своим манускриптом, а вслед за мной и Н[иколай] Г[ригорьевич] с Губертом. Имеете ли Вы, друг мой, понятие о последнем? Это очень добрый и умный человек, совершенно лишенный всякой самостоятельности, очень многоречивый, нуждающийся в целом предисловии, чтобы сказать простое д а или н е т, неспо-

собный высказать решительного мнения в простой форме, всегда льнущий к тому, который в данном случае смелее и решительнее выражается. Спешу оговориться, что это делается не из подлости, а из бесхарактерности.

Я сыграл первую часть. Ни единого слова, ни единого замечания! Если бы Вы знали, какое глупое, невыносимое положение человека, когда он преподносит своему приятелю кушанье своего изделия, а тот ест и молчит! Ну, скажи хоть что-нибудь, хоть обругай дружески, но, ради бога, хоть одно сочувственное слово, хотя бы и не хвалебное. Рубинштейн приготавливал свои громы, а Губерт ждал, чтобы выяснилось положение и чтобы был повод пристать к той или другой стороне. А главное, я не нуждался в приговоре над художественной стороной. Мне нужны были замечания насчет техники виртуозной, фортепианной. Красноречивое молчание Р[убинштейна] имело очень знаменательное значение. Он как бы говорил мне: «Друг мой, могу ли я говорить о подробностях, когда мне самая суть противна!». Я вооружился терпением и сыграл до конца. Опять молчание. Я встал и спросил: «Ну что же?». Тогда из уст Н[иколая] Г[ригорьевича] полился поток речей, сначала тихий, потом все более и более переходивший в тон Юпитера-громовержца. Оказалось, что концерт мой никуда не годится, что играть его невозможно, что пассажи избиты, неуклюжи и так неловки, что их и поправлять нельзя, что как сочинение это плохо, пошло, что я то украл оттуда-то, а то оттуда-то, что есть только две-три страницы, которые можно оставить, а остальное нужно или бросить или совершенно переделать. «Вот, например, это,—ну, что это такое? (при этом указанное место исполняется в карикатуре). А это? Да разве это возможно!»—и т. д. и т. д. Я не могу передать Вам самого главного, т. е. т о н а, с которым все это говорилось. Ну, словом, посторонний человек, попавший бы в эту комнату, мог подумать, что я—маниак, бездарный и ничего не смыслящий писака, пришедший к знаменитому музыканту приставать с своей дребеденью. Губерт, заметивши, что я упорно молчу, изумленный и пораженный, что человеку, написавшему уже очень много и преподающему в консерватории курс с в о б о д н о й к о м п о з и ц и и, делают такой выговор, произносят над ним такой презрительно-безапелляционный приговор, которого и ученику, сколько-нибудь способному, нельзя произнести, не просмотревши внимательно его задачи,— стал разъяснять суждение Н[иколая] Гр[игорьевича] и, не оспаривая его нисколько, лишь смягчать то, что его превосходительство выразил уж слишком бесцеремонно.

Я был не только удивлен, но и оскорблен всей этой сценой.

Я уже не мальчик, пытающий свои силы в композиции, я уже не нуждаюсь ни в чьих уроках, особенно выраженных так резко и недружественно. Я нуждаюсь и всегда буду нуждаться в дружеских замечаниях, но ничего похожего на дружеское замечание не было. Было огульное, решительное порицание, выраженное в таких выражениях и в такой форме, которые задели меня за живое. Я вышел молча из комнаты и пошел наверх. От волнения и злобы я ничего не мог сказать. Скоро явился Р[убинштейн] и, заметивши мое расстроенное состояние духа, позвал меня в одну из отдаленных комнат. Там он снова повторил мне, что мой концерт невозможен, и, указав мне на множество мест, требующих радикальной перемены, сказал, что если я к такому-то сроку переделаю концерт согласно его требованиям, то он удостоит меня чести исполнить мою вещь в своем концерте. «Я не переделаю ни одной ноты,— отвечал я ему,— и напечатаю его в том самом виде, в каком он находится теперь!». Так я и сделал [1].

Вот тот случай, после которого Рубинштейн стал смотреть на меня как на фрондера, как на тайного своего противника. Он значительно охладел ко мне с тех пор, что однако же не мешает ему при случае повторять, что он меня страх как любит и все готов для меня сделать.

Ницца.
Воскресенье.

Я бы мог многое рассказать по поводу моих отношений к Рубинштейну, но это был бы ряд самых мелких дрязг, не интересных для Вас и не могущих раскрыть Вам чего-нибудь нового в характере его. Характер этот, имеющий много хороших сторон, значительно выкупающих его недостатки, очень сложен и состоит из самых поразительных контрастов. Рубинштейн иногда является личностью, достойною всякого сочувствия, а вслед за тем он удивит Вас своей мелочностью, своим пошлым самодурством.

Надежда Филаретовна! Я просил Вас в предыдущем письме написать мне, он ли тот человек, который приезжал к Вам благодарить Вас, а также, что̀ он говорил Вам при этом. Теперь я прошу Вас, в случае если Вам это неприятно, не исполнять моей просьбы. Не лучше ли, вооружась нашей философией, вспомнить, что пенять людям за зло, которое они нам наносят, останавливаться на этом, всматриваться в причины их недоброжелательных действий не стоит труда и недостойно людей, умеющих с высоты взирать на немощи человеческой души?

Я боюсь, что, получивши Ваш ответ на мой вопрос, я, увлекшись желанием излить мое неудовольствие на моего мнимого благодетеля, впаду в мелочность, в д р я з г и, а это такой элемент, который я не хотел бы видеть в своих письмах к Вам. Знаете ли что? Вчера я начал писать Вам письмо, в котором вздумал изложить всю историю моих отношений к Рубинштейну. Я написал уже три листика, как вдруг мне стало противно и совестно посвящать Вас во все эти пустые, мелочные и гадкие дрязги! Я разорвал эти три листика и начал новое письмо, которое заканчиваю уже здесь, в Н и ц ц е.

Бывали ли Вы в Ницце и езжали ли по дороге, которая идет из Генуи в Ниццу берегом моря и называется «La Corniche»? Это одно из чудес природы, это одна из самых чудных прогулок, которые мне случалось делать на моем веку. Вместо того, чтобы ехать по железной дороге, что было бы проще, дешевле, но зато и менее приятно, мы наняли городского извозчика из Сан-Ремо, который взялся довезти нас по C o r n i c h e в Ниццу. Мы выехали в восемь часов утра. Было еще холодно, но светло, чисто на небе. В одиннадцать с половиной часов мы приехали в Ментону. Там прогуляли два часа, пока лошадь отдыхала, а от половины второго до пяти часов ехали по самой обворожительной дороге, среди беспрестанно сменявшихся пейзажей, один другого лучше и поразительнее, пока, наконец, попали в Ниццу, где опять для глаз явилось прелестное зрелище. Сегодня карнавал. На улицах масса народу, маски, процессии, балаганы, пестрые толпы туземцев и иностранцев. Брат мой в совершенном восторге от путешествия. Коля был тоже очень доволен. Мы остановились в отеле «В и к т о р и я», где насилу нашли себе помещение. По случаю разгара сезона все полно в отелях. Я бы не хотел жить в Ницце. Здесь слишком шумно и суетно, но приехать сюда на один день очень приятно.

Завтра мы снимаемся втроем, проведем весь день здесь, а утром во вторник вернемся в С а н - Р е м о.

Милый мой друг! Заканчиваю это письмо выражением желания моего, чтобы Вы были здоровы, чтобы Вам было веселее и легче на душе, а главное, чтобы *я* не был одною из причин тех неприятностей, которые и Вам даже умеют наносить люди. За что! Почему Вам, которая больше чем кто-либо заслужила бы быть обеспеченной от мелкой людской злобы?

Я Вас люблю всеми силами души моей и благословляю ежеминутно судьбу, столкнувшую меня с Вами.

Ваш верный друг

П. Чайковский.

87. Мекк — Чайковскому

Москва.
22 января 1878 г.

Знаете, мой милый, дорогой Петр Ильич, что меня давно уже поразила и продолжает изумлять та необыкновенная симпатия, та сверхъестественная тождественность мыслей и чувств, которые доказываются почти в каждом письме между нами. Такого сходства двух натур редко можно встретить в самом близком кровном родстве. Это и есть одно из тех еще не объясненных таинств природы, которые делают людей суеверными. В последнем Вашем письме я опять вижу, что даже сама судьба связывает наши мысли, посылает одни и те же впечатления, увы, одни и те же разочарования. В настоящем случае печально-комичным предметом для этого служит Рубинштейн. Мне пришлось раньше Вас увидеть и окончательно убедиться, что в нем не существует н и о д н о г о порядочного свойства, и если я не говорила Вам этого вначале откровенно, то потому, что не хотела разочаровывать Вас в нем, потому что разочарование вообще тяжело для таких натур, как моя с Вами, а в особенности относительно человека, с которым необходимо иметь сношения, легче обманываться в нем. Где же его грубой, ничем не смягченной натуре понимать Вас? Его понятиям доступны только материальные стороны жизни, его чувствам — только ненавистное честолюбие, неумолкаемая зависть и грубый произвол, а он должен был завидовать Вам, потому что хотя В ы ничем не давали ему чувствовать Вашего превосходства над ним, то о н с а м чувствовал его, а такие натуры не прощают его другим, и при каждом случае это прорывается внаружу. Мне он также страшно завидует, но это уже богатству, и хотя приезжает ко мне и уверяет в своей благодарности (не знаю за что), но при каждом удобном и неудобном случае делает мне гадости. Мне было это очень больно, тем более что он такой хороший музыкант, но теперь я покорилась этому разочарованию как неотразимому злу и стараюсь вознаградить себя за него в любви и доверии к Вам, мой драгоценный друг. Но он, т. е. Рубинштейн, так всесилен в Москве, что даже мне, отлученной от всего мира, приходится угождать ему, если не для себя, то для других, и я это делаю, потому что ведь сила солому ломит. Но однако я слишком много заговорилась о нем, не стоит: не первый и не последний. Благодарю Вас от всего сердца, мой несравненный друг, за Ваше доброе, ласковое участие к моей тоске. Дороже и полезнее этого ничего не может быть для больной души; от Ваших милых слов

«С души как бремя скатится,
Сомненье далеко,—
И верится, и плачется,
И так легко, легко»!!!

О, боже мой, как это хорошо, когда есть хоть один человек на свете, которому можно в е р и т ь, то сколько счастья в этом, сколько можно вынести, вытерпеть дурного и все-таки быть счастливым. Эти слова м о л и т в ы Лермонтова я обращаю к Вам, милый друг, как человек не верующий в бога, но твердо верующий во все благородное, доброе, хорошее. Если я не поклоняюсь невидимому и непонятному совершенству, то со всею страстью сознания поклоняюсь видимому, понятному и притягательному добру и правде; в них мое божество, моя любовь, надежда, вера, моя радость и счастье. Вы видите, дорогой друг, что я опять не тоскую, и теперь, зная мои верования, Вы понимаете почему: человек слаб, и когда другие люди начинают колебать его веру в возможность правды и добра, он тоскует, ему больно и за себя и за свои дорогие верования, но как только ему заглянет в душу луч правдивости и доброты, согреет ее своею прелестью,—как он снова счастлив, ему снова и верится, и плачется, и так хорошо, что и выразить нельзя! Как мне Вас жаль, дорогой мой Петр Ильич, что на Вас валится столько неприятностей и что Вы лишены теперь Вашего Алексея,—а я знаю, каково это лишение. Возьмите, по крайней мере, хотя тамошнего верного человека, которому Вы могли бы поручать Колю и быть свободнее сами с Модестом Ильичом. Ведь это очень важно для Вашего здоровья.

На этом месте прервали, чтобы подать мне Ваше письмо, в котором я нашла фиалки. Очень, очень благодарю Вас, милый, добрый друг мой, за все дорогие мне выражения Вашей дружбы в этом письме. Я очень рада, что природа начинает действовать на Вас,—это очень хороший признак и в нервном и в психиатрическом отношениях. Делайте побольше таких хороших прогулок, и Вы поправитесь мигом. Я также очень люблю цветы и преимущественно ароматичные. Они приводят меня в упоение, я с какой-то страстью вдыхаю их аромат, но с внешней стороны я больше люблю деревья, в них больше могущества, силы. У нас в России, на Украине, меня приводят в восторг дубовые леса, грабы, тополи, белые акации; но таких тополей, как у нас в Подолии, я не видела нигде. А в Италии восхищают меня из туземных деревьев каштаны и platan'ы, а из акклиматизированных—magnoli, пальмы, бананы. Но что за прелесть эти magnoli, в особенности когда они цветут большими белыми

цветами; это такая роскошь, такой восторг. Потом из местных растений очень хороши алоэсы и садовые цветы азалия и олеандры, а из деревьев кипарисы. Но в особенности роскошная растительность на Lago di Como,— какие там magnoli, и целыми рощами. Но там и климат восхитительный; вообразите, что бананы могут оставаться всю зиму в грунту. Милый Петр Ильич, съездите туда, в Bellagio, посмотрите, как там хорошо!

В Вашем последнем письме я опять нахожу то же совпадение наших мыслей, которые так изумительно повторяются. Вы говорите мне о проведении зимы за границей как раз тогда, когда и мне пришла эта мысль и когда я довольно серьезно и много стала говорить о ней с Юлею, и мы уже детально развиваем исполнение ее, но только мне не хочется никого из детей оставить без себя. Я хотела бы всех взять с собою, и маленьких мальчиков я, конечно, и возьму, а не знаю, как быть с Колею и Сашею: мне жаль, чтобы они оставили школу, и жаль и без себя их оставить, и этот вопрос еще не решен. Но Вы даже и место указываете именно то, которое и у меня в предположении,—это Неаполь. Но пока еще я никому, кроме Юли и Вас, не говорю об этом.

Очень, очень Вас благодарю, мой милый, хороший друг, за обещание прислать мне Ваши фотографии в группе; буду с нетерпением ждать их. А тут я прилагаю еще фотографию Вашей приятельницы, в более веселом и здоровом виде, чем та, которую я послала Вам раньше. Она иногда мечтает о том, что когда Вы вернетесь в Москву и приедете к нам (она твердо уповает, что это так будет), она поведет Вас в мой кабинет и покажет Вам Ваш портрет. Вы спрашиваете, Петр Ильич, читала ли я философию Шопенгауера, то я не читала ее и знаю по поводу ее только то, что Вагнер — последователь Шопенгауера и проводит его философию в музыке, а это меня уже отталкивает от нее. В русском переводе нет этого сочинения, по-немецки же в Москве также нет, а то я нашла здесь по-французски, то посылаю Вам, Петр Ильич. Вы, конечно, уже знаете, что условия мира с Турциею подписаны и перемирие вступило в действие, но какие эти условия, этого мы еще не знаем, и вообще сердцу неспокойно, страшно, как бы не дошло до войны в больших размерах, так как условия мира подлежат обсуждению европейской коалиции, а что там придумают на этих конференциях, трудно и предугадать, а предчувствия тяжелые; дай бог, чтобы они не оправдались! У нас все холодно, все неприветно. Ожидания мои насчет Вашей оперы, Петр Ильич, не сбылись; мне говорили, что ее отменили от представления в консерватории. Ничто хорошее не имеет хода, в особенности в руках у Рубинштейна

Ах, как он меня притесняет, когда б Вы знали, такую подпольную войну завел со мною, что я по временам прихожу в отчаяние, не знаю, что мне делать, потому что я отнюдь не хочу этой войны, я готова у него просить мира, уплатить контрибуцию, сделать все, что ему угодно, лишь бы он забыл о моем существовании, а главное, о моем богатстве, которое его дразнит и бесит невообразимо, и, чтобы парализовать его и утолить свою зависть, он старается доказать мне на деле то, чего я вовсе не оспариваю, что вполне признаю и перед чем преклоняюсь с немою покорностью,— это свою власть и всемогущество в консерватории; что ему стоит только захотеть, и он враз сверг[illegible] убьет карьеру, отнимет последний кусок хлеба и загонит в гроб любого из тех бедных учеников, в которых я принимаю участие. Точно я сомневаюсь в этом, точно я не знаю, что его власть даже превосходит такое легкое и пустое действие, а совести вполне хватит на него, и нет надобности так усердно надругаться над беззащитным субъектом. Мне же он ставит такую альтернативу: или отказать от уроков бедному человеку, который с этого только и живет, или видеть, как он выгонит из консерватории жертву своего доброго сердца и заботливости о своих воспитанниках, и в это же время он благодарит меня за этих же учеников, потому что явно ссориться со мною не хочет, но его деспотизм и зависть не могут вынести мысли, чтобы кто-нибудь другой, кроме него, мог быть нужен кому-нибудь в консерватории. Я всячески стараюсь его умилостивить, но до сих пор безуспешно. Что же касается Вас, мой милый, дорогой друг, то, прошу Вас, не смущайтесь нисколько гневом громовержца, заботьтесь только о своем здоровье и спокойствии, берегите только себя, потому что в этом только и состоит Ваша обязанность относительно общества вообще как композитора, как человека, который доставляет столько наслаждений другим, относительно своей страны как наилучшего представителя способностей и талантов нашей родины. Для такого же дела, как делегатство, не стоило Вам тратить себя, да Вы и не могли бы, Вы бы не в состоянии были выдержать этой должности охотничьей собаки, а себя опять расстроили бы бог знает как, а вот этого-то Вы и не имеете права делать. Слава богу, что Вы отказались, и с Рубинштейном ссориться из-за этого не стоит,— где ж ему понять Вас. А если он сделается невыносим, то ведь раскланяться с ним всегда очень легко, и потеряет в этом он и бедная консерватория, а уж конечно не Вы; Вас везде встретят à bras ouverts *.

* с распростертыми объятиями.

Дневник маленького Коли очень интересен. В сколько времени он выучился говорить, читать и писать? Сколько детей у г. Конради? Другие его дети здоровы? Отчего, полагают, этот ребенок глухонемой? Меня интересует всегда делать наблюдения над каждым выдающимся явлением. В эту пятницу опять Симфоническое собрание [1], будут играть увертюру к «Князю Холмскому» Глинки, отрывки из «Валькирий» Вагнера и «Римский карнавал» Берлиоза. Солистом выступит не Колаковский (Петербургской консерватории), как я Вам писала, а Барцевич. В этом также ясна интрига не пустить ученика другой консерватории, тем более, что он хороший исполнитель. Поэтому с ним тут любезничали, хотя играть не пустили, и назначили ему приехать 27-го, а теперь взяли да и выписали Барцевича. Какие маккиавельские системы!

У меня двое младших мальчиков заболели ветреною оспою, вчера их привезли из лицея домой. Болезнь в легкой степени.

До свидания, мой милый, драгоценный друг, жму Вам руку. Всем сердцем всегда любящая Вас

Н. фон-Мекк.

88. Мекк — Чайковскому

[Москва]
24 января 1878 г.

Мне кажется, мой дорогой друг, Вы не получили одного из моих писем, а именно того, в котором я послала Вам № немецкого музыкального журнала «Signale», с отзывом об Вас Бюлова. Напишите мне, пожалуйста, об этом; это очень досадно, если оно не дошло до Вас. Очень Вам благодарна, мой милый друг, за обещание кончить на [*пропуск в копии*]. Конечно, я не думала, чтобы Вы бросили оперу, а только вообще просила не покинуть ее. С Вашим мнением об опере [*пропуск в копии*] я совершенно согласна. В Париже непременно куплю «R o i d e L a h o r e» Massenet. Там же пришлю Вам еще некоторые сочинения для просмотра. То, что Вы мне пишете, друг мой, о первом, да и единственном теноре Московской консерватории, меня нисколько не удивляет, потому что я давно его знаю как большую дрянь, так же как знаю то, что Н[иколай] Г[ригорьевич] его содержит, и скажу, что вот этого-то я не извиняю Н[иколаю] Г[ригорьеви]чу, что он протежирует таким дряням. Всех порядочных людей он старается придавить, а всякую дрянь пускать в ход, и это потому, что его деспотизму не наруку порядочные люди; ему нужны лакеи, которые

позволяют себя не только ругать, не выбирая выражений, но и давать себе оплеухи!!! Как Вам это покажется, знаете ли Вы об этом? А я наслушалась таких рассказов, потому что в этих людях до того забито всякое человеческое достоинство, что они рассказывают даже с самодовольством, что Н[иколай] Г[ригорьевич] тогда-то дал ему затрещину (как они выражаются). Я знаю ведь чуть не половину консерваторских [*пропуск в копии*] и знаю, на какой низкой степени умственного развития держит их Н[иколай] Г[ригорьевич],— надает им оплеух, а потом даст [*пропуск в копии*] рубля на чай. Меня возмутило ужасно, когда он поместил в консерваторию сына своего лакея (величайшую дрянь,как оказалось). Вообще в консерватории может служить определением свойств воспитанников отношение к ним Н[иколая] Г[ригорьевича]. Если пользуется симпатиями его, значит дрянь, если подвергается нападкам, значит порядочный человек. И он систематически держит консерваторию в таком лакейском настроении, потому что при нем только он и может быть таким абсолютным господином, и каждый, кто не позволит дать себе в физиономию, ему портит дух заведения. Поступки жидка с Н[иколаем] Г[ригорьевичем] отвратительны [1], то он всегда их должен ожидать от таких protégés, да и от всех почти учеников, за весьма малыми исключениями. Тем не менее, мне его чрезвычайно жаль, и нападки на него меня ужасно злят. Они в особенности есть возмутительною подлостью в нынешнем году, когда он прибавил к своей карьере две такие крупные заслуги, как концерты в пользу Красного креста и устройство русских концертов в Париже.

Я боюсь теперь посылать Вам толстые письма, потому что мы заметили, что именно пакеты со вложениями пропадают; они думают, что положены деньги, и делают охоту на такие письма. Извините, милый друг мой [*пропуск в копии*].

До свидания, мой бесценный [*конец письма не сохранился*].

89. Чайковский — Мекк

Сан-Ремо.
25 января/6 февраля 1879 г.

Дорогая моя Надежда Филаретовна!

Вчера в $6^1/_2$ часов вечера мы вернулись из Ниццы. Поездка эта оставила во мне самое приятное впечатление. Я всегда боялся и не любил Ниццу за то, что она—город, куда съезжаются франты и франтихи со всего света. На этот раз я с ней совершенно примирился. Во-первых, туда, где гуляет фешенебельный

свет, я не ходил. Во-вторых, не знаю хорошенько почему, но в Ницце близость весны чувствуется гораздо больше, чем здесь. Хотя во всех путеводителях говорится, что Сан-Ремо находится в более благоприятных климатических условиях, чем Ницца, но мне показалось, что в последней теплее, меньше ветра. В-третьих, я никогда не видывал такой массы цветов, как теперь в Ницце. Куда ни взглянешь, где ни пройдешь, везде цветы, и какие чудные! Теперь уже появились на полях дикие гиацинты: прелестный, красивый и ароматный цветок. Мы сделали несколько восхитительных прогулок, из которых две— 1) в grotte St. André и 2) в Château—особенно мне понравились. Последнюю мы сделали два раза пешком. Не знаю, были ли Вы там. Это гора, на которой когда-то стоял замок. Теперь там устроена терраса, с которой открывается неописанно прелестный вид на всю Ниццу с окрестностями. И какая погода была! Светло, тепло, весело! В деревьях чирикали птички. Самая тропинка, по которой мы взбирались, прелестна. Как я был рад наконец увидеть сосны, кедры, кипарисы, а не оливковые деревья, эти вечные оливки, которые здесь составляют единственных представителей растительного царства. Я искренно возненавидел масличное дерево. Представьте, мой друг, что в Сан-Ремо нельзя сделать ни одной прогулки, без того чтобы на каждом шагу эти несносные, безобразные деревья не скрывали вида. Здесь нет ни одного p o i n t d e v u e*; куда ни повернись, везде оливки, оливки и оливки. Кроме того, что они сами по себе некрасивы, но они имеют еще то неудобство, что с ними круглый год что-нибудь делают: то окапывают, то сбирают ягоды под деревом, то стрясывают ягоды с дерева, то стригут, то рубят, так что в Сан-Ремо только по воскресеньям можно найти уголок среди деревьев, где не работают. Положим, что дерево это дает средство пропитания жителям и что его следует уважать. Я и уважаю его, но вместе с тем и ненавижу. Выше я сказал, что масличное дерево здесь единственный представитель леса. Это не совсем справедливо, потому что внизу есть и пальмы, и лимонные, и апельсинные деревья, и алоэсы! Но все это всажено искусственно. Леса, вот чего не добьешься здесь, т. е. настоящего леса, где есть куда спрятаться дриадам, нимфам, фавнам, зайцам, птичкам.

Однако я уж слишком заболтался об оливковом дереве. Секрет, почему я сегодня расположен бранить его, тот, что Сан-Ремо есть царство оливок по преимуществу, а мне после Ниццы Сан-Ремо кажется таким жалким, бедным, скучным и холодным.

* кругозора

Ах, как бы хорошо было уехать в Ниццу, да нельзя. Пока Алексей не поправится совершенно, я не могу уехать отсюда. Ему г о р а з д о лучше, и сегодня доктор сказал, что по всей вероятности через неделю он будет вполне здоров.

Мы снимались в Ницце группой, втроем. Или я очень ошибаюсь, или мы снялись весьма неудачно, хотя фотограф и изумил нас позированием. В субботу карточки будут готовы и я тотчас пришлю Вам экземпляр.

Сегодня я принялся за клавираусцуг оперы. В конце недели думаю, что будет совсем готов, и пошлю оперу в Москву. Кстати... Хотя из моих писем Вы уже знаете, что слух о том, что вся моя опера уже в Москве, что я ее продал Юргенсону и что она пойдет в Большом театре, ложен, но я все-таки считаю нелишним прибавить следующее:

1) Оперу эту предлагать дирекции театров я не буду по причинам, которые Вы уже знаете. Я хочу, чтобы она сначала пошла домашним образом в консерватории, и так как там этого тоже желают, то я совершенно доволен. Впоследствии я готов все-таки отдать ее и в казенный театр, но не иначе, как если меня о том будут просить, потому что только в этом случае я могу потребовать некоторых условий постановки, которые необходимы для того, чтоб «О н е г и н» мог иметь некоторый успех. Если я сам возьму на себя инициативу, то со мной поступят так же бесцеремонно, как и при постановке предыдущих опер. Я должен отдать справедливость дирекции петербургских театров. «В а к у л а» был разучен очень усердно, и постановка не нищенская, но сколько бессмыслиц, сколько анахронизмов, какая пошлая рутина в группировании хоров, а главное, какое неблагоприятное распределение ролей! Коммиссаржевский – В а к у л а!! Ведь это ужасно, а между тем от меня потребовали, чтобы роль была отдана ему. Вообще при постановке «В а к у л ы» я должен был подчиняться всем распоряжениям капельмейстера и режиссера, на каждое мое замечание отвечавших мне: «и н а ч е н е л ь з я». Вот этого-то отныне я не хочу. Если меня будут просить отдать туда «О н е г и н а», я п р е д л о ж у условия. Если не будут просить (что не только вероятно, но почти верно), то я охотно примирюсь со скромной судьбой моего детища, которому, как уже кажется писал Вам, вообще нельзя предсказывать блестящего сценического будущего. Словом, пусть дают оперу так, как я хочу, или пусть вовсе не дают ее.

2) Я не продавал этой оперы Юргенсону, потому что никакой издатель не может давать денег за оперу, которая не идет на большой сцене и, следовательно, не может сделаться известна массе публике. Тем не менее, Юргенсон, вероятно, согласится

на предложение, которое я ему сделал, т. е. он теперь напечатает оперу на свой счет, а гонорарий заплатит мне, когда опера пойдет на сцене.

3) В консерватории разучивают первый акт и первую картину второго.

Впрочем, я вовсе не знаю, что теперь делается в консерватории. Только из Ваших дорогих писем я черпаю некоторые сведения о ней. Касательно симфонии я имел основание беспокоиться на прошлой неделе, что она не дошла до Москвы. Беспокойство это было так велико, что я телеграфировал Альбрехту и получил ответ, что она получена, отдана переписчику и пойдет в концерте 10 февраля. Дай бог, чтоб в этот день Вы были вполне здоровы и могли поехать в концерт. Если исполнение ее состоится без Вас, то это будет для меня большим огорчением.

Я поручил Юргенсону заказать четырехручное переложение симфонии или К л и н д в о р т у или Т а н е е в у, хотя я больше желал, чтоб принял на себя этот труд именно Т а н е е в, потому что 1) он превосходный музыкант, очень мне сочувственный, 2) в качестве моего бывшего ученика он охотно подчинится всем моим требованиям.

Я чувствую себя превосходно. Здоровье в самом лучшем состоянии, дух бодр и силен. С радостью всматриваюсь и вслушиваюсь в себя и прихожу к несомненному заключению, что я оправился теперь вполне. А знаете что, мой друг! Слух, который ходил обо мне, что я с ума сошел, не совсем неправдоподобен [1]. Вспоминая все, что я сделал, все безумия, которые я натворил, я не могу не притти к заключению, что на меня нашло временнсе умопомешательство, из которого я только теперь окончательно вышел. Многое из недавнего прошлого представляется мне как сон, странный, дикий, как кошмар, в котором человек, носящий мое имя, мой образ и мои признаки, действовал именно так, как действуют в сновидениях: бессмысленно, бессвязно, дико. Это был не *я*, с сознанием своей индивидуальности и с здоровой волей, направляемой разумно и логично. Все, что я тогда делал, было запечатлено характером болезненного несоответствия р а з у м а с волей, а в этом-то и состоит сумасшествие. Среди кошмаров, омрачавших мой мозг в этот странный, ужасный, хотя и краткий период моей жизни, я хватался, чтобы спастись, за руки нескольких дорогих личностей, явившихся, чтобы вытащить меня из бездны. Вам и двум милым братьям моим, и м е н н о в а м т р е м, обязан я тем, что я не только жив, но здоров физически и морально. Если и тогда я вполне понимал и чувствовал, сколько я обязан Вам, то теперь, когда я у пристани, моя благодарность, моя любовь к этим дорогим сущест-

вам беспредельна, безгранична! Много, часто думаю я об Вас, друг мой. Как бы мне хотелось, чтобы Вы были счастливы, здоровы, покойны, веселы! И как я бессилен содействовать этому! Но если моя любовь и благодарность к Вам когда-нибудь найдут случай выразиться фактически, то знайте, что нет жертвы, которой я не принес бы Вам.

Надежда Филаретовна! Потрудитесь передать моему другу Милочке, что я кланяюсь ей и, если она позволит, запечатлеваю поцелуй на ее головке.

Какой милый наш Коля! Сколько он радости нам приносит! Как вообще милы дети!

Ваш верный друг
П. Чайковский.

90. *Чайковский — Мекк*

San Remo.
26 января/9 февраля 1878 г.

Начну с печального известия, дорогой друг мой. Вчера вечером мне дали знать, что старшая сестра моя, Зинаида, скончалась две недели тому назад в Оренбурге. В нынешнем году, в октябре, она приезжала в Петербург для свидания с отцом и хотела прожить там всю зиму. В декабре она начала болеть, и чем опаснее делалось ее положение, тем упорнее ей хотелось поскорей в Уфу, где она живет уже давно, где у нее дом, где она два года тому назад похоронила мужа, которого очень любила. Наконец, 31 декабря ее повезли домой, но принуждены были оставить ее в Оренбурге, где она вскоре и умерла. Меня очень опечалило это известие, хотя горе это не глубокое, не подавляющее. Я ее мало знал и не видал уже лет пятнадцать. Она вышла замуж, когда я еще был в маленьком классе училища. С тех пор она почти безвыездно жила на Урале, и я ее мельком видел потом не более двух раз. Тем не менее, смерть эта оставит по себе много горя для людей мне близких. Во-первых, у нее осталось шесть человек детей. Правда, что малолетний всего один; старшие дети уже взрослые. У них есть маленькие средства, но все же трудно им будет без отца и матери. Во-вторых, я очень боюсь за моего отца. Брат Толя пишет мне, что ему еще до сих пор не решаются сообщить о печальном известии. К счастию, сестра Саша (каменская) находится теперь в Петербурге, куда она поехала определять одну из дочерей в институт. Она сумеет облегчить для нашего доброго старика тяжелый удар. Очень стал он слаб в последнее время. Нелегко носить на шее тя-

гость восьмидесятитрехлетнего возраста. Уж не много осталось его современников. Вот и Папа вчера умер [1].

Сейчас читал я газеты. Мы переживаем очень серьезный момент. Здесь все газеты наполнены известиями о вступлении русских войск в Константинополь. Я никак не могу разобрать, верное это известие или слух, пущенный биржевыми спекулянтами. Официального русского известия нет, а между тем в Лондоне смотрят на это как на совершившийся факт. Там разразилась целая буря. Боже мой, что это за ненавистный народ! Но я твердо верю, что Англия останется вполне изолированной в войне с нами, если только она решится на войну и все это не кончится комедией, которую она разыгрывает с самого начала русско-турецкой распри. До сих пор Россия держит себя превосходно относительно коварного Альбиона, т. е. не обращает ни малейшего внимания на его угрозы и водит его за нос. А все-таки будущее темно, и так хотелось бы долгого, прочного мира!

Сегодня я имел случай констатировать, до какой крайней степени дошла моя мизантропия. Совершенно неожиданно ко мне явились два субъекта: один русский, некто Нагорнов, скрипач-дилетант, которого я уже давно знаю, другой — тоже скрипач-итальянец, Guerini. Последний явился, чтобы исполнить обещание, данное Азанчевскому, бывшему директору Петербургской консерватории, живущему в Ницце, узнавшему откуда-то, что я здесь, и поручившему Guerini разыскать меня. Первый, Нагорнов, пришел, как я заключил из его слов, чтобы узнать, в самом ли деле я сошел с ума, как он читал в газетах. Что я вытерпел, пока эти два артиста сидели у меня, не могу передать Вам! Нагорнов прежде всего высказал мысль, что хуже России и Москвы быть ничего не может и что величайшее счастье для человека, когда он может вырваться из этой проклятой страны. Signor Guerini смеялся над трудностью произношения моей фамилии, спрашивал меня про то, глава ли нашей церкви Папа или нет, и т. д. Отчего это большинство людей говорит одни глупости и бестактности, и отчего эти два господина держали себя так, как будто мне они доставили величайшее удовольствие своим посещением? О, как Вы хорошо делаете, ограждая себя от встреч с толпой пошляков, из которых по большей части состоит человечество! Перспектива в ближайшем будущем получить визит Азанчевского (впрочем, очень милого и доброго человека), страх при мысли, что мое убежище открыто и что вслед за Гверини, Нагорновым и Азанчевским найдутся еще охотники взглянуть на сумасшедшего человека, все это испортило мое пребывание в San Remo окончательно, и теперь я только с нетерпением буду ждать, чтобы мой

Алексей вполне оправился, а затем куда-нибудь уеду. Как и куда еще, не знаю; меня очень тянет в Швейцарию, но очень жаль Колю из теплого климата увозить в более суровый. Говорят, что на берегу Женевского озера еще очень холодно.

Получил я сегодня наши фотографии. Извините, мой дорогой друг, но по зрелом рассуждении я решился не посылать Вам этого безобразия. Более ужасной, более непозволительной фотографии я никогда не видал. Особенно мне не хочется знакомить Вас с бесконечно симпатичной рожицей нашего милого мальчика по этой безобразной фотографии. Мне с братом подрисовали глаза, вследствие чего мы совершенно неузнаваемы. Завтра или послезавтра мы снимаемся еще раз здесь, и я надеюсь, что выйдет лучше.

Я кончил клавираусцуг. Теперь остается выставить знаки и переписать начисто либретто. Затем опера будет в п о л н е готова. Какова-то будет ее судьба! Отославши оперу в Москву, я хочу с неделю отдохнуть и собраться с силами, чтобы приняться за что-нибудь новое.

До свиданья, милая моя Надежда Филаретовна. Будьте здоровы, веселы и сколько возможно счастливы.

Ваш преданный друг

П. Чайковский.

Я просил брата Толю прислать мне сюда его карточку. Хочется послать Вам и его.

91. Мекк — Чайковскому

Москва,
30 января 1878 г.

Как мне жаль, мой милый, несравненный друг, что я моим письмом о Рубинштейне смутила Вас, огорчила [*пропуск в копии*], по крайней мере, что могу Вас успокоить теперь, хотя, вероятно, Вы уже из моего письма видели, что В ы нисколько не замешаны в его действии со мною. Человек-то, который меня благодарит, а сам делает мне закулисные неприятности, есть о н, великий человек на малые дела, но к Вам, мой друг, тут ничего не относится: ни благодарность, ни гадость, потому что я же свои отношения к Вам от в с е х держу в строгой тайне, а от него в особенности, потому что я знаю, что если бы он узнал об них,то стал бы придираться и к Вам и ко мне — такой уж он милый человек. Теперь в особенности, после концертов [1], он мечет гром и молнию во все стороны. Я думаю, что ему очень

обидно, что сборы за эти концерты у него по усам текли, а в рот не попали, а попал только обед в Английском клубе, который для него сделали члены после его путешествия, и в прошлом Симфоническом собрании публика встретила его шумными и продолжительными овациями. Посылаю Вам здесь маленькую вырезку из «Московских ведомостей», из которой Вы увидите, что нам обещают Вашу симфонию,—дай-то бог! [2]. В прошлом собрании я не была, хотя Н[иколай] Г[ригорьевич] особенно приглашал меня приехать, потому что Барцевич играл. Но я была нездорова, и боюсь ужасно, чтобы этого не случилось в тот вечер, когда будут играть Вашу симфонию. Милый мой, дорогой, какое счастье для меня читать Ваши добрые, ласковые слова, как благодарна я Вам за них и как все больше и больше Вы мне становитесь необходимы! И какое это счастье, что в Вас соединяется такое сердце с музыкальным талантом! Какое наслаждение для меня видеть, что я права в своем убеждении, что музыкант должен быть высшим существом, и хотя большинство их самого низшего сорта с нравственной стороны, но я смотрю на них как на bâtards de l'art *. Я очень рада, что Вы примирились с итальянской природой, Петр Ильич, потому что я, что касается природы, космополит; обожаю ее везде, где она хороша, хотя могу стосковаться по родине до безумия, но у меня делается по временам la nostalgie de Naples **, например, в особенности по одному месту там [*пропуск в копии*].

Родина

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит ее рассудок мой!
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,

* пасынков искусства
** тоска по Неаполю

В степи кочующий обоз,
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом,
Под говор пьяных мужичков[3].

Какие картины, какая живость представления, и как знакомы они, как близки и дороги нашему русскому сердцу! Помните, Петр Ильич, в «Последнем Новике» Лажечникова, когда он на чужбине услышал родную (русскую) песню, как он упал на землю и зарыдал... вот это также понятно. Это не то, что влюбленный кавалер в красивую барышню; любовь и тоска по родине могут человека довести до смерти, и как мучительны они, как тяжки! [*Часть письма не сохранилась.*]

...такая прелесть, какая редко на свете бывает, в особенности молитва. Я об ней не могу думать без нервной дрожи. Но зато в Вашем восхитительном «Опричнике» меня слова раздражают невыносимо. Ну, как в такой музыке, как есть в моих двух любимых мотивах, которые выражают такую глубину, такое величие чувств, что повергает человека в прах, захватывает ему дыхание... какая-нибудь сентиментальная Наталья распевает про свою любовь к юному кавалеру... Это производит такое же впечатление, как если человеку, который под звуки небесной музыки отлетел от земли, предложат [стакан?] чая. А в рубинштейновском «Демоне» [*2 слова утрачены*] музыка при тех словах, к этому [*1 слово утрачено*] языку, к этой любви, как кипучая лава [*1 слово утрачено*] безотрадному положению демона:

«Я тот, чей взор надежду губит,
Едва надежда расцветет;
Я тот, кого никто не любит,
Но все живущее клянет».

Или:

«Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное—
Люби меня!»

Понимаете ли вы, Петр Ильич, как надо выговорить эти последние два слова, что заключается в них, как они чувствуются? Этого уже музыка не может передать, и, действительно, к ней музыка так жидка, как кофе у скупой хозяйки.

Боже мой, зачем я заговорила о музыке и поэзии? Моя голова и сердце пришли в такое состояние, что я не могу уже сегодня продолжать письмо.

Петр Ильич, любили ли вы когда-нибудь? Мне кажется, что нет. Вы слишком любите музыку, для того чтобы могли полюбить женщину. Я знаю один эпизод любви из вашей жизни, но я нахожу, что любовь так называемая платоническая (хотя Платон вовсе не так любил) есть только полулюбовь, любовь воображения, а не сердца, не то чувство, которое входит в плоть и кровь человека, без которого он жить не может. [*Конец письма не сохранился.*]

92. Чайковский — Мекк

San Remo,
31 января/12 февраля 1878 г.

Сейчас получил Ваше письмо, дорогая моя Надежда Филаретовна. Прежде всего благодарю Вас за перевод. Теперь у меня денег очень надолго будет более чем достаточно. При первой возможности мы уедем из Сан-Ремо. Мне очень хочется, чтобы брат, большой любитель живописи, побывал во Флоренции, и я мечтаю поехать туда недели на две. После того мы собираемся через Милан, Комо и Симплон переехать в Швейцарию. Алексею гораздо лучше, но сейчас же уехать еще нельзя. Он берет теперь ежедневно ванны, вследствие которых бедняк до того ослаб, что сегодня утром я его застал совершенно больным. Оказалось, что в ванне с ним сделалось дурно, закружилась голова, и на несколько времени он потерял сознание, а потом насилу добрел до своей Casa di Salute*, которая находится довольно высоко в горах. Я заставил его вместе со мной сходить к доктору, который на два дня велел остановить ванны. Ему нужно окрепнуть и набраться сил.

— Все, что Вы пишете о Рубинштейне, глубоко возмущает меня. Очень жаль, что такой полезный человек так опьянел от своего неукротимого деспотизма и от мании во всем первенствовать, что перешел за границу даже простого жизненного такта, которым он некогда славился. Но всего противнее та любовь его

* Убежище.

к мелкой интриге, к сплетням самого пошлого характера, к необузданному тиранству над подчиненными, которое теперь сделалось необходимым элементом его жизни.

Я очень рад, что мое подозрение не оправдалось. По тону одного из Ваших писем и по некоторым странным инсинуациям, заключавшимся в его письме ко мне, я по свойственной мне привычке как-то преувеличенно смотреть на всякую неприятность тотчас вообразил себе целую историю, в которой и сам играл маленькую роль. Мне показалось, что он и меня впутал в те неприятности, которые он причинил Вам [1]. Эта мысль очень тревожила меня... Что касается моих отношений к нему, то, разумеется, я не намерен ссориться с ним. Я написал ему очень резкое письмо; я сильно осадил его и сегодня утром получил доказательство того, что прекрасно сделал. Я получил ответ на мою филиппику. Господи, какая разница в тоне! Точно другой человек пишет. Тон грозного деспота сменяется внезапно на нежный, полный уверений в дружбе и страха, как бы я уж слишком близко не принял к сердцу его обиды. Он сваливает вину на свое неуменье выражаться и писать [2]. Покидать Московскую консерваторию из-за нашей полемики, конечно, я не намерен. Несмотря на глубокое отвращение, которое я питаю к своей педагогической деятельности (происходящее от того, что я наверное знаю свою неспособность преподавать, свое неуменье внушить ученикам любовь к моему предмету), я все-таки привык к консерватории и люблю ее. Люблю также нескольких друзей московских, люблю самую Москву и, во всяком случае, предпочитаю продолжать свою неудачную профессорскую деятельность в Москве, где к моим недостаткам привыкли, чем начинать ее в новом месте.

Здоровье мое с каждым днем делается лучше. Физически я уже давно чувствую себя очень хорошо. Но меня радует то, что я вполне вышел из того ненормально возбужденного состояния, которое заставляло меня даже при отсутствии невзгоды изобретать ее и тешиться своими нравственными страданиями. В самом деле, мне смешно теперь вспомнить, что я дошел было до того, что мне необходимо было чем-нибудь мучиться и терзаться; что мне точно будто недоставало чего-то, как только день-два проходили без неприятности, без нового предлога проклинать свою судьбу и день своего рождения. Черная полоса прошла, я стал самим собой, т. е. обыкновенным человеком, обреченным, как и все другие, терпеть зло и готовым философически смотреть на него как на необходимое условие, как на изнанку добра. Нет! стоит все-таки жить. Есть люди, есть факты, мирящие с жизнью. К числу этих последних никак

нельзя отнести п е р е м и р и е. Это перемирие ничего не примиряет. Оно заключено на вершине вулкана, который каждую минуту может из своего скрытого кратера выбросить потоки лавы. Газеты и страшно и противно брать в руки. Каким образом после всех жертв, которые Россия принесла, европейская конференция может обсуждать условия мира? Какая ненавистная страна Англия! Не находите ли Вы, что единственная держава с ч е с т н о й политикой — Россия? Да, именно честной, подчас глупой, но честной. Неужели же она не восторжествует когда-нибудь ради этой честности над всей остальной Европой! Я верю, что д а. Но, может быть, тогда, когда уже Милочка будет бабушкой. Нам не увидать этого торжества. Мы как раз живем в эпоху кризиса.

Вы спрашиваете о Коле и о том, почему он глухонемой. Есть физиологическое объяснение дела. Существует гипотеза, что дети с подобными недостатками происходят от кровосмесительных браков. Замечено, что дети, рождающиеся от браков между близкими родственниками, всегда имеют какую-нибудь анормальность и по большей части именно глухонемоту. Г. Конради женат на своей родной племяннице, на родной дочери своей родной сестры. Недавно, т. е. ровно полтора месяца тому назад, у них родилась дочка. Они с большим страхом ожидают, что и эта девочка будет глухонемая, и это весьма вероятно. Теперь, разумеется, этого еще узнать нельзя. Только когда ей минет полгода, можно будет достоверно разрешить это сомнение.

Что касается Коли, то природа наделила его взамен слуха такими богатыми дарами, что можно без страха взирать на его будущее. Поразительна быстрота, с которой он развивается. Между прочим, весьма замечательно, что у девятилетнего ребенка с такой очевидностью уже теперь дает себя чувствовать его преобладающая склонность в умственной сфере. У него страсть к истории, но страсть, которая совершенно наполняет его, решительно преобладает над всеми детскими склонностями. В течение дня он бесчисленное множество раз обращается к брату с историческими вопросами. При каждом вновь узнаваемом факте он задумывается, долго занимается им, расспрашивает о малейших подробностях и, раз узнавши вполне, уже ничего не забывает. В последнее время его особенно заинтересовала эпоха самозванцев, междуцарствие, Годунов, убиение Дмитрия-царевича и т. д. Он до тонкости знает генеалогию всех действующих лиц эпохи и заткнет за-пояс всякого неспециалиста по этой части. Преинтересный мальчик, в котором ум и н е о б ы ч а й н о д о б р о е с е р д ц е соединились в самом

соблазнительном сочетании. И знаете что? Иногда я радуюсь, что он глухонемой. Его природный недостаток оберегает его от ознакомления со злом. Он до сих пор даже не подозревает, что есть л о ж ь, даже и самого слова этого не знает. Милое, доброе существо!

Очень поздно, кончаю на сегодня. Благодарю Вас, мой дорогой друг. Думаю, что завтра опять Вам напишу. Завтра опера будет вполне окончена. Благодарю Вас за карточку Милочки. Милое, симпатичное личико! Сегодня мы с н и м а л и с ь. На этот раз, как бы ни вышло, пошлю Вам.

П. Ч.

93. Чайковский — Мекк

San Remo,
1/13 февраля 1878 г.

Дорогой мой друг! Я не поблагодарил Вас вчера за Ш о п е н г а у е р а. Книга эта, (которую, впрочем, я еще не получил) очень меня интересует, и она придет тем более кстати, что сегодня я отослал в Москву вполне оконченные остальные части оперы. Теперь хочу несколько времени отдохнуть.

Надежда Филаретовна, не приходило ли Вам в голову, что, будучи теперь совершенно здоров, я бы мог вернуться уже в Россию, приняться за занятия в консерватории и жить по-старому? Мысль эта часто мелькает у меня в голове, и весьма может статься, что если б я решился это сделать, то оно было бы во всех отношениях хорошо. И однакоже как меня ни тянет в Россию, как я ни люблю Москву, но теперь ужасно трудно было бы мне сразу из того состояния свободы и отдыха, в котором я обретаюсь, перейти к своему профессорству, к своим довольно многосложным отношениям, словом, к прежнему образу жизни. Я содрогаюсь при мысли об этом. Скажите мне откровенно свое мнение. Отвечайте мне на этот вопрос, совершенно позабыв, что Вы даете мне средства. Меня смущает не то, что я пользуюсь Вашим богатством для моего заграничного отдыха,— я знаю, с каким чувством это дается, и мне уже давно стало это казаться просто и нормально. Мои отношения к Вам выходят из ряда обычных дружеских отношений. От такого друга, как Вы, я могу без всякого щекотливого чувства принимать материальную помощь. Не в этом дело.

Но с тех пор, как Рубинштейн написал мне, что я приучаюсь к праздности и что я б л а ж у (это его выражение), меня несколько тревожит мысль, что и в самом деле, может быть, мой

долг был бы теперь, вполне оправившись, поспешить в Москву. Пожалуйста, помогите мне, мой добрый друг, решить этот вопрос, не давая мне поблажки.

С другой стороны, если обходились без меня полгода, то могут обойтись и теперь, когда до конца классов осталось три месяца. Рубинштейн в последнем письме ободряет меня в моем решении не появляться до сентября, и я положительно знаю, что если ученики мои и потеряли что-нибудь вследствие моего отсутствия, то теперь уже я не могу поправить дела. Кроме того, я боюсь, что я еще недостаточно укрепил свои расстроенные нервы и что нужно подождать, прежде чем я с пользою для учеников начну свое преподавание.

Чтоб резюмировать все вышеизложенное, я скажу, что в крайнем случае я бы мог теперь приняться за свои обычные занятия, но что это было бы очень тяжело для меня и что мне очень, очень, очень хочется отдохнуть еще, вернуться в сентябре вполне освеженным человеком, з а б ы в ш и м, насколько можно забыть, тяжелые происшествия, омрачившие мою жизнь полгода тому назад. В сущности, в моем обращении к Вам есть странное противоречие: я прошу Вас сказать мне правду и, не смущаясь никакими посторонними соображениями, требовать исполнения долга, а в то же время между строчками Вы читаете: «Ради бога, не требуйте, чтоб я теперь ехал в Москву, а не то я буду очень несчастлив».

Ну да! мне очень хочется, чтобы Вы, дорогой друг, еще раз сказали бы мне, что в моем отдыхе, в моей, пожалуй, п р а з д н о с т и нет ничего предосудительного и что я не нарушаю своего долга, пользуясь Вашими средствами, чтобы жить здесь. Только теперь я вполне оценил то несказанное благо, которое мне принесла четырехмесячная изолированность от своей обычной сферы, пребывание на чужбине, которым в первое время я иногда так тяготился, что даже Рим мне казался невыносимо скучен, и которое теперь вполне удовлетворяет моей непобедимой потребности жить подальше от ежедневных столкновений с людьми. Во всяком случае, я не позволю себе предаваться своему f a r n i e n t e слишком долго. Уверяю Вас, что я питаю инстинктивное отвращение к п р а з д н о с т и в ее истинном смысле, и если мой теперешний образ жизни можно назвать праздным (так как я работаю не для других, а для себя, для удовлетворения своей собственной потребности писать), то это долго продолжаться не будет. Помню, что из Флоренции я написал Вам письмо очень мрачного свойства, помню, что у меня было там очень нехорошо на душе. Но само собой разумеется, что Флоренция сама по себе в этом не виновата нисколько.

Теперь, будучи совершенно здоров и покоен, мне захотелось побывать еще раз там, главнейшим образом потому, что Модест еще не был никогда в Италии и что я знаю глубину наслаждения, которое ему доставят художественные богатства Флоренции. Он гораздо более меня любит пластические искусства, и мне кажется, что и на меня будут действовать его восторги. Итак, я решился, как только здоровье Алексея позволит мне уехать отсюда, отправиться во Флоренцию недели на две, дождаться там окончательного наступления весны и потом уже через Como и Lago Maggiore переехать в Швейцарию. В начале апреля поеду в Россию, вероятно, в Каменку, и останусь там до сентября.

Не скрою от Вас, мой бесценный друг, что я испытываю сегодня большое наслаждение от сознания, что я окончил два больших сочинения, в которых, мне кажется, я шагнул вперед, и значительно. Скоро после получения этого письма начнутся репетиции симфонии. Надежда Филаретовна! Если Вы к тому времени будете совершенно здоровы, не найдете ли Вы возможным посетить одну из репетиций? Прослушавши новое большое сочинение два раза, Вы его усвоите больше и ближе. Мне бы так хотелось, чтобы эта симфония понравилась Вам! С одного раза нельзя получить ясного впечатления; при двукратном прослушании все становится ясным, и многое, что в первый раз только проскользнуло, во второй раз обращает на себя внимание. Подробности выделяются, все более важное получает настоящее значение в отношении к второстепенным мыслям. Было бы очень хорошо, если бы Вы нашли возможным это сделать.

Что касается оперы, то я даже рад, что ее отложили. Пусть лучше идет целиком в будущем году, а покамест ее будут понемногу разучивать.

Я нахожусь в самом розовом настроении духа. Я счастлив, что кончил оперу, счастлив, что наступает весна, счастлив, что здоров, что свободен и застрахован от встреч и столкновений, а главное, счастлив, что у меня есть такие прочные опоры в жизни, как Ваша дружба, любовь братьев и сознание способности совершенствоваться на своем пути. Если обстоятельства будут благоприятны, а сегодня мне хочется верить, что это так будет, то я могу оставить по себе прочную память. Я надеюсь, что это не обольщение, а справедливое сознание своих сил.

Передайте от меня, дорогой друг, нежный поцелуй на лоб Милочке. Благодарю Вас за все, за все.

Ваш П. Чайковский [1].

94. Чайковский — Мекк

San Remo,
3/15 февраля 1878 г.
Пятница.

Дорогая Надежда Филаретовна! Посылаю при сем нашу карточку. Брат и особенно я весьма плохо удались, зато Коля хотя и серьезен, но очень похож. Извините, милый друг, что не могу угодить Вам хорошей фотографией. Искусство это находится здесь на самой низкой степени. Когда я сегодня после карточки нашей посмотрел на присланную Вами в последний раз Милочкину карточку, то изумлялся, до какой степени велика разница. Следует утешать себя тем, что, по крайней мере, здешний фотограф очень дешев, чего нельзя сказать про ниццкую карточку, которая, будучи непозволительно скверна, стоила весьма дорого. Вчера произошло очень курьезное происшествие. Третьего дня вечером я получил письмо от Азанчевского из Ниццы, что на другой день, в четверг, он с женой и еще каким-то господином приедут ко мне на целый день. Вам мне не надо объяснять, с каким чувством я прочитал это письмо. Тотчас же я решил куда-нибудь на целый день уехать. Мы так и сделали. В девять часов утра мы отправились по железной дороге в Monaco, где брат никогда не был. Не знаю, известно ли Вам это чудное, фантастически красивое место, с громадными скалистыми горами на заднем плане и с усаженным самыми дивными тропическими растениями садом на авансцене, и все это на берегу синего, чудного моря! Мы провели там три часа, слушали очень хороший оркестр, исполнивший несколько интересных номеров, и в семь часов были дома. Нужно Вам сказать, что, уезжая, я поручил хозяину, в случае приезда моих гостей, сказать им, что я в Генуе, и неизвестно, когда вернусь. Когда мы подходили к дому, хозяин, подстерегавший нас, с таинственным видом сообщил нам, что не только гости мои приехали, но что они остановились у него в пансионе и остаются ночевать. Таким образом, целый вечер нам пришлось скрываться в своих комнатках и провести ночь под одной кровлей с людьми, которые меня воображали в Генуе. Впрочем, я сильно подозреваю, что M-r Jolу был невоздержан на язык и разными намеками дал почувствовать правду. По крайней мере, из тех слов, которые жена Азанчевского просила передать мне, видно, что она плохо верила в мое генуэзское путешествие.

Азанчевский хороший и добрый человек. Мне очень жаль, что он проехался напрасно, но, с другой стороны, с какой стати люди, по той или другой причине желающие меня видеть, могут

быть уверены, что и я, со своей стороны, должен быть счастлив от их посещения? Притом же ехать с женой, которую я мало знаю, и с каким-то господином, которого я вовсе не знаю, это несколько странно. Господи, как объяснить всем этим людям, что они милы, добры, прекрасны, но что следует оставлять в покое человека, который ищет уединения. Ведь я здесь уже скоро два месяца, и если бы я желал их видеть, то мог бы дать знать им об этом.

Простите, что так распространился об этом пустячном обстоятельстве, но представьте, что оно меня серьезно расстроило. А так как вообще все неприятности, как известно, всегда приходят вдруг, то я не мог не получить сегодня же одного очень неприятного известия. Надежда Филаретовна, я сделал все, что можно, чтобы развязаться навсегда от одной особы, носящей с июля нынешнего года мое имя. Нет никакой возможности втолковать ей, чтоб она оставила меня в покое. Брат пишет мне, что она теперь стала писать письма моему старику, которому и без того приходится переживать тяжелую минуту вследствие смерти сестры. Она опять разыгрывает из себя страдалицу, после того что одно время самым энергическим образом стала требовать разных материальных благ и самым откровенным образом сняла с себя пошлую маску. Нет! не так-то легко разорвать подобные узы! У меня уже давно нет на совести никакого укора. Я чист перед ней с тех пор, как она раскрыла себя вполне, и с тех пор, как в материальном смысле она получила гораздо более, чем могла ожидать. Но ее ничем не проймешь. Я перестал отвечать на ее письма, так она стала теперь приставать к отцу. Брат должен перехватывать эти письма и отсылать ей их назад. Вследствие этого она пишет возмутительно оскорбительные письма к брату и т. д. и т. д. Куда убежать от этой несносной язвы, которую я в пылу совершенно непостижимого безумия привил себе сам, по собственной воле, не спросясь ни у кого, неизвестно для чего! Даже пожаловаться не на кого! Я теперь только узнал, что, не будучи злым по натуре, можно сделаться злым. Моя ненависть, мое (впрочем) заслуженное презрение к этому человеческому существу бывают иногда безграничны. Я узнал теперь, что можно ощущать в себе желание смерти своего ближнего, и ощущать это страстно, неистово. Это и гадко и глупо, но я называю Вам вещи их настоящими именами. Простите, в эту минуту я очень раздражен. Я очень легкомысленен. При всяком подобном напоминании о страшном призраке, который отныне будет сопровождать меня всегда, до могилы, я прихожу в состояние невыразимой злобы и ярости. Потом дни проходят; я мало-по-малу

забываю, успокаиваюсь... до нового щелчка, пробуждающего самым неприятным образом.

Благодарю Вас, бесценный мой друг, за Шопенгауера. Я вчера получил его и уже начал. Это очень, очень интересная книга. Я надеюсь, что, прочтя ее основательно, я дам Вам в ней подробный отчет. Мне кажется, что теория Шопенгауера должна вас заинтересовать во всех отношениях.

Через пять дней мы решили ехать во Флоренцию. Алексей слаб, но совершенно здоров; он уже переехал к нам. Мы остановимся и проживем две недели в отеле, адрес которого я напишу ниже. Я думаю, что одним письмом Вы обрадуете меня во Флоренции. Оттуда, как я уже Вам писал, я полагаю переехать в Швейцарию через Como и Lago Maggiore. Я обещаю себе много приятных минут от пребывания во Флоренции. Несмотря на злобный тон моего сегодняшнего письма, я уже совсем не тот больной человек, который пытался наслаждаться Италией и искусством при первой поездке с братом Анатолием. Я могу быть несчастлив и грустен, но я здоров.

Друг мой! благодарю Вас за всю Вашу неоцененную дружбу ко мне. В ней я почерпаю великое утешение и никогда уже не паду духом до слабости.

Ваш П. Чайковский.

Нежный поцелуй на лоб Милочке.
Firenze. Hôtel Citta di Milano. Via Cerretani.

95. Чайковский — Мекк

Сан-Ремо,
6/18 февраля 1878 г.

Сегодня последний день моего пребывания в San Remo. Рекапитулируя все семь недель, проведенных мною здесь, я прихожу к заключению, что они принесли мне громадную пользу. Нередко я грустил здесь. Я до самого конца не мог примириться с однообразием здешнего пейзажа, с неудобствами и дороговизной жилья, но в сумме я провел здесь полсотни тихих, правильно расположенных дней в обществе очень умного, доброго и близкого мне человека, с ребенком, к которому я питаю самую теплую симпатию. По несовершенству человеческой натуры я сумею вполне оценить то благо, которое мне доставила эта жизнь в теплом и тихом уголке Италии, только впоследствии. Прощай, скучное, но целительное Сан-Ремо. Вчера я начал составлять для Вас сжатое резюме читаемой мной теперь

книги Шопенгауера. Я делаю это для того, чтобы Вы, не теряя много времени, могли познакомиться с философской системой, имеющей в настоящую минуту много горячих адептов и, несмотря на многие противоречия с Вашими взглядами, заключающую в себе некоторые стороны, которые должны быть Вам симпатичны и, во всяком случае, заинтересовать Вас. Вы и я, т. е. люди, склонные к мизантропии, должны найти в ней ответ на многие вопросы. Я читаю очень обстоятельно и медленно. Голова у меня так устроена, что философическое чтение достается мне с трудом, и, вероятно, не ранее недели я окончу вполне мое резюме для Вас. Я еще не дошел до самой сути сочинения, т. е. до морали Шопенгауера, до практического применения его теории к жизни. Но то, что я прочитал до сих пор, усвоено хорошо, и, кажется, я удачно изложил на одной странице большого почтового листа то, что в книге изложено на сорока пяти страницах. Весьма, весьма интересно!

Мы два дня сряду сделали удачные прогулки. Нужно здесь ходить далеко, чтобы увидеть что-нибудь кроме моих злейших врагов — оливок. Третьего дня мы пешком, а Коля на осле, ходили в Santa Maria di Guàrdia. Это скромная церквушка, построенная на вершине довольно высокой горы, на расстоянии двух с половиной часов отсюда. Итти было тяжело, но зато удовлетворение было полнейшее. Огромная часть Corn i c h'и с причудливыми своими очертаниями, с своими курьезными городками, выстроенными на вершинах голых скал,— как на ладони. А с другой стороны море, чудное синее море, бывшее в этот день покойно, как зеркало. Вчера мы ходили в городок Taggia, тоже в горах, с развалинами громадного замка, на которые мы взбирались, и с которого вид прелестный. Погода зато была неблагоприятная, и на возвратном пути я немножко простудился. Вечером, кроме сильного насморка, который у меня начался уже раньше, я ощущал жар и озноб. Ночью мне снились самые странные, лихорадочные сны. Между прочим, я обедал в трактире в Москве вдвоем с Россини, которому никак не мог доказать, что увертюра к «Вильгельму Телю» никуда не годится. Он все не соглашался, и меня почему-то охватило глубокое отчаяние, вследствие которого я проснулся. Однакоже сегодня я совсем здоров.

Мы выедем завтра в семь часов утра, в Генуе в час пополудни пересядем на другой поезд, а вечером, в $7^1/_2$ часов будем в Пизе, где необходимо ночевать, так как нет ни одного прямого поезда отсюда во Флоренцию. Приходится ночевать или в Генуе или в Пизе; я предпочитаю последнюю, так как в Генуе уже был два раза недавно.

Следующее письмо напишу Вам уже из Флоренции. Надеюсь там получить о д н о письмо от Вас. В прошедшем письме я сообщил Вам мой адрес, но на всякий случай посылаю еще:

Firenze, Via Cerretani, Albergo Citta di Milano.

До свиданья, милая, дорогая моя Надежда Филаретовна.

Ваш преданный друг

П. Чайковский.

96. Чайковский — Мекк

Пиза,
8/20 февраля 1878 г.

Мне очень нравится Пиза, милый друг мой. Мы приехали сюда вчера вечером. Дорога была очень утомительна; пришлось выехать в семь часов утра и ехать беспрерывно ровно двенадцать часов сряду без единой остановки. Даже в Генуе мы едва успели перебежать на другую сторону вокзала. Пришлось очень сильно страдать от голода, как это очень часто случается в Италии, где решительно не хотят взять в соображение, что нельзя все ехать, ехать и ехать и что одними апельсинами питаться не особенно весело. Особенно жаль было бедного Колю. К тому же, целый день шел дождь, и пейзаж вследствие тумана не мог веселить и развлекать. Уложивши спать Колю, мы с братом пошли бродить по городу и зашли в театр, где давалась опера «La Forza del Destino» Верди. Театр только что выстроенный, новый и очень красивый. Публики весьма мало; певцы и певицы хуже посредственности, хоры и оркестр совсем плохи. Мне показалось очень странно, что в таком маленьком городе такой большой театр.

Сегодня погода была в высшей степени благоприятная для однодневного пребывания в городе. Он оставит благодаря этому обстоятельству очень приятное воспоминание об себе. Прежде всего мы отправились в собор. Не знаю, бывали ли Вы в Пизе. Собор, знаменитая косая колокольня и не менее знаменитое Campo Santo* далеко оставили за собой то, что я ожидал видеть. Собор не столь громаден и грандиозен, как миланский, но и снаружи и внутри производит самое приятное впечатление. Хорош и Campo Santo с целой массой старинных монументов, саркофагов, языческих урн. Но верх прелести, оригинальности, красоты это Campanile**. Мы взбирались на

---

* Кладбище
** Колокольня

Коля Конради, М. И. Чайковский, П. И. Чайковский,
А. И. Софронов

Сан-Ремо, 1878 г.

самый верх. Вид с высоты башни восхитительный. Не скрою от Вас, что как я ни люблю море, но мне чрезвычайно приятно было увидеть широкий пейзаж, состоящий из бесконечной зеленеющей равнины, окаймленной в глубине горизонта цепью гор, и без моря! А главное, ни одного оливкового дерева,— вот это верх удовольствия! А какое чудное утро было, просто описать нельзя! В воздухе после вчерашнего дождя носилось какое-то весеннее благоухание. Все колокольни Пизы по случаю только что полученного известия об избрании нового папы гудели и наполняли воздух своим торжественным гулом. А внизу, на площади, где красуются три достопримечательности Пизы, т. е. колокольня, собор и Campo Santo, ни души народу и вместо мостовой зеленый ковер весеннего зеленеющего луга. В сущности, Пиза настоящий провинциальный городок, и немощеная площадь очень напомнила мне провинциальный русский город. Это сообщает Пизе много прелести. После завтрака мы ездили в Cascine, не имеющее ничего общего с изящным флорентийским Cascine. Там мы провели часа два совершенно одни: ни одного экипажа, ни одного представителя ненавистного англо-саксонского племени, без которых шагу нельзя сделать в Италии. Чудный день провел я сегодня! На душе так хорошо, так весело!

Будьте здоровы, дорогая, бесценная Надежда Филаретовна! Из Флоренции напишу Вам.

Ваш П. Чайковский.

97. Чайковский — Мекк

Флоренция,
9/21 февраля [1878 г.]
Четверг,
10 часов вечера.

Сегодня мы приехали во Флоренцию. Милый и симпатичный город! Я испытал очень приятное впечатление, въезжая в него и вспоминая, какой я был в этой самой Флоренции два месяца тому назад. Как многое изменилось с тех пор в моей душе! Какой я тогда был жалкий, больной человек, и как теперь я бодр, какие хорошие дни теперь переживаю, как я стал снова способен любить жизнь, проявляющуюся так роскошно, так сильно, как в Италии. В очень милом отеле, где мы остановились, меня ожидал самый приятный сюрприз, т. е. письмо Ваше, милый друг мой, успевшее попасть сюда из Сан-Ремо, пока мы отдыхали в тихой, поэтической Пизе. Какие чудные письма Вы

мне пишете! Я прочел с величайшим наслаждением Ваше сегодняшнее, столь милое и столь богатое содержанием послание. Читая его, мне было несколько совестно, что мои письма так кратки, так неинтересны в сравнении с Вашими [1]! Правда, что я пишу часто, но зато не умею в одном письме, как Вы, написать так много и так хорошо. Впрочем, достоинство письма в том, чтоб человек, пишущий его, оставался самим собой и не рисовался, не подделывался. Я принадлежу к категории людей, любящих кончать всякое дело сразу. Я не могу успокоиться, раз начавши письмо, пока не кончу и не отправлю его тотчас же. Брат мой Толя, подобно мне, пишет часто, но мало. Модест пишет, как Вы, т. е. не особенно часто, но зато, как и Вы, в одном письме умеет сказать очень много. Лучшие письма, которые я когда-либо получал, это Ваши и Модестины. Кстати о Модесте; не помню, писал ли я Вам, что он пишет повесть [2]. Я давно замечал в нем проявления недюжинного литературного таланта и всегда поощрял его серьезно отнестись к этой стороне его богато одаренной натуры. До сих пор он пренебрегал этим, а если и писал что-нибудь, то не показывал своих опытов никому, даже и мне. Наконец, однажды в Сан-Ремо он вынул заветную тетрадочку и решился прочесть мне две главы из своего романа, начатого им в прошлом ноябре. Я был совершенно изумлен. То, что он прочел мне, оказалось так тонко, так глубоко и правдиво, но вместе так тепло и поэтично, что я был тронут до слез. Как многие русские талантливые люди, Модест страдает недоверием к себе, отсутствием выдержки и стойкости в труде. Мои восторги очень поощрили его, и он в Сан-Ремо несколько вечеров сряду так усердно принялся за работу, что роман значительно подвинулся вперед. Надеюсь, что к концу его пребывания со мной за границей он допишет всю первую часть.

После обеда я ходил по городу. Как хорошо! вечер теплый, на улицах движение и жизнь, магазины великолепно освещены. Как весело быть среди толпы, в которой никто тебя не знает и никому до тебя дела нет! Италия начинает брать свое, и ее чарующее влияние мало-по-малу охватывает мою душу. Здесь так привольно, так много бьющей ключом жизни!

Но как бы я ни наслаждался Италией, какое бы благотворное влияние ни оказывала она на меня теперь, а все-таки я остаюсь и навеки останусь верен России. Знаете, дорогой мой друг, что я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку Русь вообще и в ее великорусские части в особенности. Стихотворение Лермонтова, которое Вы мне присылаете, превосходно рисует только одну сторону нашей родины, т. е. неизъяснимую прелесть, заключающуюся в ее скромной, убо-

гой, бедной, но привольной и широкой природе. Я иду еще дальше. Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи. Лермонтов прямо говорит, что «т е м н о й с т а р и н ы з а в е т н ы е п р е д а н ь я» не шевелят души его. А я даже и это люблю. Я думаю, что мои симпатии к православию, теоретическая сторона которого давно во мне подвергнута убийственной для него критике, находятся в прямой зависимости от врожденной в меня в л ю б л е н н о с т и в русский элемент вообще. Напрасно я пытался бы объяснить эту в л ю б л е н н о с т ь теми или другими качествами русского народа или русской природы. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями, — он любит потому, что такова его натура, потому что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне; они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято.

Но возратимся к Италии. Я бы пришел в ужас, если б меня приговорили вечно жить даже в такой чудной стране, как Италия. Но другое дело временно пребывать в ней. Итальянская природа, итальянский климат, ее художественные богатства, исторические воспоминания, связанные с каждым шагом, который Вы здесь делаете, все это имеет много неотразимой прелести для человека, ищущего в путешествии отдохновения и забвения горестей. Если горести отдалились настолько, что рана перестала быть жгучей, то лучшего места для окончательного излечения раны не может быть, как Италия. Я до такой степени начинаю проникаться этим убеждением, что уж начинаю подумывать, не уехать ли нам отсюда вместо Швейцарии в Неаполь. Ужасно стал меня манить и дразнить этот Неаполь! Впрочем, ничего я еще не решил. Нужно будет обсудить и подумать. Разумеется, я во-время сообщу Вам о том решении, которое приму.

Я думаю, Вам показалось очень смешно то письмо, в котором я сообщаю Вам, что начал составлять для Вас краткое изложение философии Шопенгауера. Оказывается, что Вы уже успели вполне освоиться с предметом, пока я едва еще только дошел до сущности дела, т. е. до морали его. Мне кажется, что Вы очень верно оценили значение его странных теорий. В окончательных выводах Шопенгауера есть что-то оскорбительное для челове-

ческого достоинства, что-то сухое и эгоистическое, не согретое любовью к человечеству. Впрочем, повторяю, до сути дела я еще не дошел. Но в изложении его взгляда на значение ума и воли и на взаимное отношение их есть много правды и много остроумия. Меня, как Вас, удивило, что человек, вовсе не проводивший в жизни свою теорию сурового аскетизма, проповедует остальному человечеству безусловное отречение от всех радостей жизни. Во всяком случае, присланная Вами книга очень заинтересовала меня, и после обстоятельного прочтения ее я надеюсь еще поговорить с Вами о ней. Покамест сделаю еще одно замечание. Каким образом человек, так низко ценивший человеческий р а з у м, отмеривающий ему такое жалкое место, такую зависимую роль, мог в то же время так гордо, так самоуверенно верить в непогрешимость собственного ума, с таким презрением говорить о других теориях и считать себя единственным глашатаем и с т и н ы? Какое противоречие! На всяком шагу говорить, что рассуждающая способность в человеке есть нечто случайное, есть функция мозга, т. е. физиологическая функция, несовершенная и слабая, как и все остальное в человеке, и вместе так высоко, так неприступно, ни с какой стороны, ставить свой собственный мозговой процесс! Философ, который, как Шопенгауер, дошел до того, что и в человеке не видит ничего, кроме инстинктивного х о т е н и я жизни для своей расы, должен был бы прежде всего признать совершенную бесполезность всяких философствований. Кто дошел до убеждения, что лучше всего н е ж и т ь, тот должен был бы сам по возможности н е ж и т ь, т. е. скрыться, уничтожиться, оставив в покое тех, кому жить хочется. Я до сих пор никак не могу понять, считает он для человечества услугой свою философию? Почему ему понадобилось доказать нам, что ничего нет безотраднее жизни? Раз что в нас с такой силой действует слепое стремление упрочить жизнь нашей породы; раз что никакая сила не может заставить нас разлюбить нашу индивидуальную жизнь, зачем ему понадобилось отравить ее ядом своего пессимизма? Какая от этого польза? Казалось бы, что он хочет проповедывать самоубийство? Но оказывается, что он самоубийство порицает. Все это вопросы, которые я задаю себе и на которые найду ответ, когда прочту всю книгу.

Вы спрашиваете, друг мой, знакома ли мне л ю б о в ь н е п л а т о н и ч е с к а я. И д а и н е т. Если вопрос этот поставить несколько иначе, т. е. спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: н е т, н е т и н е т!!! Впрочем, я думаю, что и в музыке моей имеется ответ на вопрос этот. Если же Вы спросите меня, понимаю ли я все могущество, всю неиз-

меримую силу этого чувства, то отвечу: д а, д а и д а и опять так скажу, что я с любовью пытался неоднократно выразить музыкой мучительность и вместе блаженство любви. Удалось ли мне это, не знаю или, лучше сказать, предоставляю судить другим. Я совершенно несогласен с Вами, что музыка н е м о ж е т п е р е д а т ь в с е о б ъ е м л ю щ и х с в о й с т в ч у в с т в а л ю б в и. Я думаю совсем наоборот, что т о л ь к о о д н а м у з ы к а и м о ж е т это сделать. Вы говорите, что тут нужны с л о в а. О нет! тут именно слов-то и не нужно, и там, где они бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык, т. е. музыка. Ведь и стихотворная форма, к которой прибегают поэты для выражения любви, уже есть узурпация сферы, принадлежащей безраздельно музыке. С л о в а, уложенные в форму стиха, уже перестали быть просто с л о в а м и: они омузыкалились. Лучшим доказательством того, что стихи, пытающиеся выразить любовь, суть уже более музыка, чем слова, служит то, что очень часто подобные стихотворения (укажу Вам на Фета, которого я очень люблю), будучи внимательно прочтены как слова, а не как музыка, не имеют почти никакого смысла. Между тем, смысл в них не только есть, но в них есть г л у б о к а я мысль, только не литературная, а чисто музыкальная. Мне очень нравится, что Вы ставите так высоко инструментальную музыку. Ваше замечание, что слова часто только портят музыку, низводят ее с ее недоступной высоты, верно совершенно. Я это всегда глубоко чувствовал, и от этого-то, может быть, мне больше удавались инструментальные сочинения, чем вокальные.

До следующего письма, дорогой мой друг. Часто, часто, без преувеличения говоря, ежеминутно думаю я о Вас и всеми силами горячо любящего сердца призываю на Вас всякие благословения. Будьте счастливы, сколь возможно.

Горячо любящий Вас

П. Чайковский.

P. S. Воображаю, как Вам мало понравилась наша группа?

98. Чайковский — Мекк

Флоренция,
12/24 февраля 1878 г.

Вчера утром получил Вашу телеграмму, мой дорогой друг. Она мне доставила несказанное удовольствие. Я очень беспокоился, во-первых, о том, чтоб здоровье не помешало Вам

быть на этом концерте, во-вторых, о том, понравится или не понравится Вам симфония [1]. Очень может быть, что если бы даже Вам и не особенно понравилась она, Вы бы по доброте и из дружеского участия все-таки послали бы ко мне какое-нибудь приветствие; но по тону телеграммы и по ее редакции я ясно вижу, что Вы остались довольны вещью, написанною для Вас. Я в глубине души своей сохраняю до сих пор убеждение, что это — лучшее из всего, что я написал. Мне немножко странно, что от моих московских приятелей я еще до сих пор не получил никаких отзывов о симфонии. Между тем, партитура послана более полутора месяцев тому назад. В одно время с Вашей телеграммой я получил телеграмму, подписанную Рубинштейном и всеми остальными. Но в ней говорится только, что симфония была отлично исполнена. Ни слова насчет ее достоинств. Впрочем, может быть, это должно подразумеваться. Благодарю Вас за весть об успехе моего любимого детища и за теплые слова телеграммы. Я мысленно присутствовал в концерте; рассчитал минута в минуту, когда должна была раздаться вступительная фраза, и затем проследил за всеми подробностями, стараясь себе представить, какое впечатление должна производить эта музыка. Первая часть (самая сложная, но и самая лучшая), вероятно, многим показалась длинною и на первый раз не вполне удобопонятною. Остальные части просты.

Я продолжаю чувствовать себя очень хорошо во Флоренции и находить этот город во всех отношениях симпатичным. Весна хотя еще не пришла совсем, но приближается быстрыми шагами. Цветов на улицах множество, есть даже мои любимцы ландыши, и очень недорогие. Один вид этих милых цветов, красующихся в эту минуту на столе моем, уже достаточен, чтобы внушить любовь к жизни. Сегодня по случаю праздника мы ездили за город, в место, называемое Bello Sguardo, откуда открывается чудесный вид на всю Флоренцию с окрестностями. Оттуда мы отправились в монастырь Certosa (Chartreux). Боже мой, что это за прелесть!.. Во-первых, прелестно самое место, на котором стоит монастырь, с чудесными видами на долину, в которой он находится, и на город. Во-вторых, в нем целая масса памятников старины и в особенности древних гробниц. Главная церковь восхитительно красива и изящна. Монастырь этот почему-то до сих пор не секуляризирован *, так что монахов много, и есть типы очень интересные. Сад роскошный, и я не мог не позавидовать одному старому монаху, который с книгой в руке тихо шел по тенистой аллее,

* Секуляризация — переход из духовного в светское владение.

наслаждаясь безусловным спокойствием и сознанием, что суета и шум города далеки от него. Возвратившись домой, мы смотрели из окна нашей квартиры на грандиозную процессию, шедшую за гробом князя Строцци, сенатора, умершего на-днях и похороненного сегодня с большой помпой.

Третьего дня, после того как я уже отправил к Вам мое письмо, на меня вдруг совершенно неожиданно напала хандра, да такая, что я целый день не мог ее рассеять. Всмотревшись и вслушавшись в себя, я скоро открыл причину ее. Меня начала просто мучить совесть и упрекать за праздность. Как я ни старался себя утешить тою мыслью, что, только что окончивши два больших труда, я имею право отдохнуть и полениться, а совесть продолжала уязвлять меня. Наконец я сообразил, что просто нужно начать работать. Но что? Для большого сочинения я нуждаюсь в одиночестве, следовательно, нужно подождать до осени. Но ничто мне не мешает написать целый ряд маленьких вещей, и я принял решение каждый день утром писать по одной вещице. Вчера я написал романс, а сегодня фортепианную пьесу [2], и веселое настроение тотчас же возвратилось.

Я пришел к убеждению, что в Неаполь ехать не следует. Во-первых, слишком далеко, а во-вторых, вести жизнь туриста (иначе нет удовольствия провести месяц в Неаполе) неудобно, имея на руках ребенка, да притом глухонемого. Кроме того, я не хочу отвлекать брата от работы над его повестью. В Неаполе не до работы, а я хочу воспользоваться тем временем, которое мы еще проведем вместе, чтобы заставлять его писать. Итак, мы покамест останемся во Флоренции, потом съездим в К о м о, переедем в Швейцарию, а в апреле я мечтаю поехать в Россию.

Я еще не кончил Шопенгауера и откладываю мой отчет об общем впечатлении его философии до одного из будущих писем. Был два раза с братом в Uffizi и в Palazzo Pitti. Благодаря Модесту я испытал не мало художественных впечатлений. Он просто плавает в океане блаженства от chef-d'oeuvr'ов Рафаэля, Leonardo da Vinci и т. д. Мы были также в галлерее картин новейшей школы, в которой встретили несколько превосходных вещей. Если не ошибаюсь, в Италии теперь повеяло духом реализма в живописи. Все картины современных художников, которые мне здесь удалось видеть, отличаются больше поразительною правдивостью подробностей, чем глубиной и поэтичностью общего замысла. Фигуры — как живые, но концепция самая простая: паж, отдергивающий занавес, причем и паж и самый занавес до того реальны, что так и ждешь, что появится движение; помпейская женщина, развалившаяся в античном кресле и смеющаяся таким гомерическим смехом,

что и самому смеяться хочется, — все это не претендует на глубину идеи, но и рисунок и колорит поразительно правдивы. (Ради бога, простите за нечистоту и безобразие этого листка: я уронил перо, сделал три кляксы, хотел их высушить над лампой и поджег бумагу.)

Насчет музыки плохо в Италии. В таком городе, как Флоренция, нет ни одного оперного театра, т. е. они есть, но в них ничего не дается, потому что не нашлось импрессарио.

Я покамест не посылаю Вам, дорогая моя Надежда Филаретовна, никакого нового адреса, потому что ничего еще не решил и не знаю, сколько времени останусь здесь. Как только я приду к какому-нибудь решительному заключению, то буду телеграфировать Вам, чтобы рассчитывать на письма Ваши определенным образом. Мне очень тяжело было бы долго оставаться без писем от Вас.

Я весел, покоен, счастлив и наслаждаюсь мыслью, что всем этим обязан такому другу, как Вы, моя дорогая Надежда Филаретовна. Будьте здоровы, покойны и довольны, насколько это возможно.

Ваш верный П. Чайковский.

P. S. Милочке передайте мои нежные приветствия.

99. *Мекк — Чайковскому*

Москва,
12 февраля 1878 г.

Только сегодня имею свободную минуту, чтобы написать Вам, мой милый, несравненный друг. Боюсь, что теперь, при Ваших передвижениях, мои письма не будут достигать до Вас. Я не знаю, друг мой, есть ли у Вас такой обычай относительно корреспонденции, как у меня: я обыкновенно, уезжая из каждого города, заявляю на почте, куда я еду, и прошу пересылать мне туда все корреспонденции poste restante, а приехавши в тот город, я даю сейчас на poste restante свой адрес в городе, и мне присылают все на дом, и при двух таких средствах у меня письма никогда не пропадают; почтамты исполняют свое дело очень аккуратно.

Теперь Вы уже во Флоренции, в этой милой belle Florence. Как мне жаль, что Вы не живете на Lungarno! Как бы мне хотелось, чтобы Вы в каждом городе жили на той же улице, в том же Hôtel'e и если бы можно, то и в тех же комнатах, в которых я живу, для того чтобы мы имели те же предметы перед гла-

ами и получали те же впечатления. Во Флоренции мы всегда останавливаемся на проезде от Lungarno к Cascine, в Hôtel de l'Univers, который теперь, вероятно, окончательно закрыт. Из всех замечательностей Флоренции для меня интереснее всего это Santa Croce, этот флоренский пантеон, и в нем я дольше всего останавливаюсь перед памятником Galileo Galilei, этого мученика правды, и мысленно повторяю за ним: «E pur si muove!»*. Зато перед памятником Machiavelli я не люблю останавливаться. В Duomo мне больше нравится Campanile, чем сам собор. В двери Battister'a, охарактеризованной Микель-Анджело comme porte du paradis **, я не нахожу ничего восхитительного, зато в Pitti есть мадонна Carlo Dolce, от которой оторваться трудно. Скульптурных произведений я терпеть не могу и в Uffizi прохожу беглым шагом. Одно лето мы жили около Флоренции на даче, на Fiesole, и я очень люблю Флоренцию с тех пор. За городом есть очаровательная прогулка по дороге, которая называется Viale, и потом в монастырь Certosa. Как я рада, что Вы предполагаете побывать на Lago di Como и Maggiore, но, дорогой мой, побудьте именно в Bellagio. Это самый хороший пункт на Como; на разветвлении двух озер, Como и Lecco, и местность и растительность восхитительные, и побывайте там на Villa Carlotta и Villa Giulia. Мне и моей Юле очень бы хотелось купить одну из этих дач, но они очень дороги. Еще съездите там же на Villa Serbelloni; как там хорошо, на этих трех виллах, так и рассказать нельзя. Только что получила Ваши фотографии, дорогой мой друг, и от всего сердца благодарю Вас за них. Это такая радость для меня смотреть на Вас, и хотя фотография как работа действительно очень дурна, но Вы глядите очень живо, но только Вы похудели, мой милый, бедный друг; зачем это, надо поправиться под небом Италии. У Вашего брата очень серьезное, но очень милое лицо. Мальчик хотя и очень намарщился, но с очень симпатичным и интеллигентным личиком. Очень, очень благодарю Вас за это удовольствие. Я жду также получить—и, надеюсь скоро—фотографию Анатолия Ильича. Меня ужасно беспокоит и огорчает, что Вам не дают покоя. К сожалению, я этого ожидала, но, сколько ни думала об этом, средств против этого зла, кроме равнодушия и терпения, не находила никаких, потому что на то средство, которое В а с освободило бы навсегда, т. е. развод, о н а не согласится, разве только она встретила бы человека, который захотел бы на ней жениться,— то не можете ли ли Вы предложить ей, что в таком

* «А все-таки движется!»
** как дверь рая

случае Вы выдадите ей за некоторое время вперед то содержание, которое она получает от Вас теперь, тысяч десять, например, или, может быть, она согласится теперь же на таком условии дать Вам развод, а сумму эту я берусь достать? Попробуйте, мой милый друг. Мне бы так хотелось, чтобы Вы были спокойны, и о результате, пожалуйста, сообщите мне.

Теперь я хочу поговорить о другом предмете, касающемся только нас двух, т. е. Вас и меня, и я желала бы раз навсегда разъяснить этот вопрос между нами и дать ему право гражданства в кодексе наших отношений, так чтобы и говорить об нем уже больше не надо было. В одном из Ваших последних писем Вы спрашиваете меня, не приходила ли мне в голову мысль, что Вы могли бы уже вернуться в Москву, приняться за занятия в консерватории и жить по-старому. При этом Вы говорите: «Отвечайте мне на этот вопрос, совершенно позабыв, что Вы даете мне средства». Еще раньше в другом письме Вы сказали, что надеетесь скоро перестать принимать от меня установленную ассигновку. То вот по поводу-то этой связи, которую Вы делаете между Вашим возвращением в Москву и моим участием в Вашем хозяйстве, я и хочу говорить, но прежде чем приступить к самому предмету, я хочу еще объяснить Вам некоторые мои понятия о правах и обязанностях между людьми. Прежде всего надо Вам сказать, что я все правила и все законы основываю на естественных свойствах человека, их прежде всего принимаю en considération * и им всегда даю преимущество перед искусственными свойствами, созданными в людях обществом, воспитанием и т. п. средствами. Я не отрицаю, что кровные узы по своим естественным свойствам дают права и налагают обязанности, но как человек, который выше всего ставит свободу, я не могу не отдать преимущества другому, не менее естественному свойству человека: свободному чувству, личному выбору, индивидуальным симпатиям. Одно из применений такого свойства является в браке, за которым закон и общество признают все права и обязанности, но ведь брак, т. е. обряд, есть только форма, в сущности же должны быть чувства, а всегда ли в браке есть любовь, заботливость, сочувствие? Вы больше чем кто-нибудь знаете, что нет; а права и обязанности остаются! Из этого я вижу, что закон назначения их не всегда правилен: он предоставляет их кровным и брачным узам; первые из них я нахожу недобровольными, вторые несостоятельными, но считаются они, во всяком случае, обязательными. Есть же третий род отношений — добровольный и необязательный, т. е. необязательный в смысле

---

* во внимание

срока, но дающий наибольшие права и наибольшие обязанности. (Пусть Вас не шокирует, что я говорю об о б я з а н н о с т я х; я не знаю, заметили ли Вы девиз [1], в котором говорится: «point de droits sans devoirs» *, то я не отделяю одного от другого и не признаю нигде права без обязанности и о б р а т н о.) Этот третий род отношений есть отношения всяческих чувств, и я л и ч н о только за ними и признаю права и обязанности. Я сама ни от кого не приму н и ч е г о во исполнение законной обязанности. От своих детей я принимаю только то, что дает мне их любовь, и освобождаю их совершенно от всяких обязанностей относительно меня и сама, со своей стороны, наиболее себя обязанною считаю относительно тех, кто меня любит. Одним словом, только чувством и при чувствах я признаю права и обязанности, распределяя их так: моя любовь дает мне право на человека, его любовь налагает на меня обязанность, и это уже безгранично, насколько свойственно натуре каждого человека. И при таких отношениях, конечно, не должны действовать никакие напускные свойства человека, как самолюбие, гордость и т. п. Я вообще понимаю только одну гордость, это ту, которая должна запрещать человеку лишать другого свободы воли и желаний. Если я вижу, что не хотят моей власти, я или освобождаю от нее или слагаю ее с себя; если не находят со мною удовольствия, не хотят моего расположения, моего участия, моей дружбы, я убираю себя со всякой такой дороги и уже сама не хочу иметь ничего общего с тем, кто меня не хочет, убираю себя так, чтобы, если возможно, не дать и слышать о себе. Так же самолюбия, как понимают его люди, которое предписывает другим известное отношение ко мне, которое бывает оскорблено действием другого, которое требует к своему *я* уважения от других, которое находит, что его достоинство может быть унижено другим, я решительно не понимаю. Оскорбления, так сказать, извне я не признаю; человек только сам, своими поступками, может оскорбить себя и унизить свое достоинство, другой этого сделать не может. То распределение прав и обязанностей, которое определяет общественные законы, я нахожу спекулятивным и безнравственным; тогда стоит только приобресть себе побольше детей и потом жуировать насчет их обязанностей или устроить так, чтобы побыть в церкви под венцом и т. д. и потом доставлять себе за это радости, fi, comme c'est vilain! ** Я не могу с этим согласиться, я не могу уважать тех законов, которые дают возможность к подобным спекуляциям: имеет

---

* «нет прав без обязанностей»

** фу, какая мерзость!

право на другого человека только тот, кто любит и кого любят, а так как наши отношения есть именно такие, следовательно, мы имеем взаимные права и обязанности относительно друг друга (по моим понятиям), и на основании их я не ставлю никакого срока моей заботливости о всех сторонах Вашей жизни. Она будет действовать до тех пор, пока существуют чувства, нас соединяющие, будет ли это за границей, в России ли, в Москве,— она везде будет одинакова и даже в тех же самых видах, как теперь, тем более, что я убедилась в своей долголетней жизни, что для того, чтобы талант мог итти вперед и получать вдохновения, ему необходимо быть обеспеченным с материальной стороны. В противном случае он будет киснуть в застое, сделается чахлым, плаксивым, бессильным, а Вы знаете, мой несравненный друг, как мне дорог Ваш талант, как я хочу беречь его: в Вашей музыке я слышу себя, свое состояние, получаю в ней отголоски своих чувств, своих дум, своей тоски... Так как же мне не беречь Вас, ведь мы только по расстоянию далеко друг от друга, а то ведь мы почти один и тот же человек, чувствуем по всем предметам одно и то же, даже большею частью в одно и то же время. Скажите, Модест и Анатолий Ильичи имеют такое же сходство между собою?

Теперь я отвечу на Ваш вопрос о Вашем возвращении в Москву к занятиям. Я нахожу, что Вы никак не можете еще начать их, что Вы только что начинаете приходить в нормальное состояние и такими занятиями, как консерваторские, можете все себе испортить, что Вы должны укрепиться в своем состоянии, физическом и нравственном, и тогда еще подумать, браться ли опять за эту лямку. Что касается лично, эгоистично меня, то мне было бы гораздо приятнее, если бы Москва была в разных местах Европы, т. е., говоря попросту, без метафор, чтобы Вы жили в тех же городах, где я буду жить, точно так же, как мы жили в Москве, и чтобы Вы были совсем свободны от Рубинштейна.

Я очень жалею, что могла слышать только один раз нашу симфонию, но я получила Ваше письмо, милый друг мой, тогда, когда репетиции были уже окончены, а раньше я думала, что простых смертных не пускают туда. Я очень жду четырехручного переложения. В Петербурге поставили «Cinq Mars'a» Gounod и оперу Bizet «Carmen». Об «Cinq Mars'e» мне Юля писала, что ей не понравилось; она выражается так: «сюжет оперы очень драматичен, а музыка только сентиментальна», говорит также, что лучшие мотивы напоминают «Фауста», и вообще выражает удивление, что такой автор, который сочинил «Фауста», мог написать такую слабую музыку, как «Cinq Mars». Но это неуди-

нительно, потому что Gounod написал ее в один месяц по просьбе своего друга, содержателя Opéra Français.

Получили ли Вы мою телеграмму, Петр Ильич, об исполнении симфонии? Публика приняла ее очень хорошо, в особенности Scherzo; очень аплодировали, а по окончании публика требовала Вас, а должно быть выходил Рубинштейн. Я не видала, потому что была уже на уходе. Но я думаю, что отчасти вредило сочинению плохое исполнение: оркестр на этот раз действовал так дурно, как я никогда не слыхала. Обыкновенно все он исполняет замечательно хорошо, но здесь они, вероятно, недостаточно срепетовались. На-днях опять концерт любителей. Будут играть в тридцать рук на девяти роялях. Из-за Балкан ничего нет приятного, а вот что очень приятно, что в Петербурге на праздниках к жене английского посланника ни одна из русских дам не поехала с визитом. Это очень мило, даже нельзя было ожидать от наших светских дам такого патриотического протеста. Вы спрашиваете, Петр Ильич, не нахожу ли я самою честною политикою русскую? Именно я также это нахожу и называю ее р ы ц а р с к о ю п о л и т и к о ю.

Очень меня интересует Ваше мнение о Шопенгауере, и хотя я Вам написала свое мнение, но все-таки надеюсь получить резюме, которое Вы составляете, потому что могу найти в нем что-нибудь, чего и не заметила, прочитывая очень скоро. Но мне кажется, что до морали-то Вы у него не доберетесь, Петр Ильич, потому что он больше объясняет причины всему, чем указывает, как ими распоряжаться. Но его объяснение любви есть уже самое д л я м е н я несимпатичное; относительно человечества вообще оно правильно, потому что люди не могут иначе любить, как влюбившись, а это есть проявление того же фактора, на который и он указывает. Но я-то с этим не могу примириться, мне это антипатично, я горячий адепт любви на о д н о м только нравственном начале; я презираю всякую внешность и считаю безнравственным и пошлым допускать какое-нибудь ее влияние. У человека в любви физическая сторона, конечно, играет большую, неотразимую роль, но не в ней должно быть н а ч а л о, она может быть только п о с л е д с т в и е м любви, вызванной только одною нравственностью, без малейшей примеси внешности и физических впечатлений, и когда человек полюбил таким образом, тогда естественною и необходимою потребностью становятся физические отношения. П л а т о н и ч е с к о й любви, как я Вам уже говорила, я не понимаю и не признаю; только тот любит, кто любит всем своим организмом, но везде и во всем у настоящего человека началом должна служить нравственная сторона.

Как мне знакомо, мой милый друг, Ваше бегство в Monaco от гостей; сколько я делала подобных бегств и ухищрений, пока окончательно отучила от себя людей. Теперь немножко больше подобная опасность будет угрожать Вам, потому что чем ближе к весне, тем больше путешественников; но только Вы не стесняйтесь, мой милый, убегать от них. Ведь если Вы будете жить с людьми, все равно ничего хорошего от них не дождетесь, так уже лучше ж, по крайней мере, избавиться от них и, конечно, все-таки получать дурное, но тогда, по крайней мере, можешь сказать: бог с ними, я против них ничем не виноват. Я никогда не была в Monaco, хотя для меня там есть большая привлекательность — рулетка; я очень люблю все азартные игры и рулетку изучила так, что могу наверняка выигрывать. За границею я играла в Hombourg'e, в [*1 неразобр.*], в Швейцарии и в Fontarabie в Испании. Прежде чем выучилась, проигрывала, а потом отыгралась. У меня теперь в доме такая пустота; моя Юля в Петербурге у сестры в гостях, и я в пятидесяти комнатах, насчитанных у меня оценочною комиссиею, нахожусь одна с двумя девочками, Сонею и Милочкою, и они обе больны летучею оспою. Соня лежит в постели, а Милочка не выходит из своей комнаты. На масляницe опять оживится: вернется Юля, и с нею приедут правоведы.

До свидания, мой дорогой, милый Петр Ильич. Не забывайте всем сердцем любящую Вас

Н. ф.-Мекк.

P. S. Извините, дорогой мой, за неаккуратность в письме, но ведь у меня к Вам не письма, а целые трактаты, то на семи листах неудивительно много ошибок наделать.

100. Чайковский — Мекк

Флоренция,
16/28 февраля 1878 г.

У меня к Вам большая просьба, дорогой мой друг. Мне хочется написать несколько романсов, но текстов достать здесь нет никакой возможности. Не будете ли так добры в свободные минутки подыскать между сочинениями Фета, А. Толстого, Мея, Тютчева стихотворения, которые покажутся Вам удобны для музыки? Невыразимо буду Вам благодарен. Мне несколько совестно, что исполнение этой просьбы сопряжено с трудом переписки, но в виду крайнего желания иметь стихотворения, именно Вами выбранные, решаюсь побеспокоить Вас.

Какой милый город Флоренция! Чем больше живешь в нем, тем более его любишь. Это не шумная столица, в которой глаза разбегаются и устаешь от суеты; но вместе с тем здесь так много предметов, полных художественного и исторического интереса, что скучать нет никакой возможности. Достопримечательности города мы осматриваем не торопясь, не бегая из одного музея в другой и из церкви опять в галлерею. Каждый день, утром, отправляемся посмотреть на что-нибудь, а к одиннадцати часам возвращаемся домой. От одиннадцати до часу я занимаюсь, т. е. пишу маленькие пьески для фортепиано или романс. После завтрака ходим в Уффици, в Питти или в Академию. Оттуда отправляемся пешком в Кашино, которое с каждым днем становится прелестнее вследствие постепенного наступления весны. После обеда отправляюсь бродить по главным улицам, полным жизни, движения. Остальной вечер провожу за чтением или писанием писем. Музыки здесь вовсе нет. Оба оперные театра закрыты, и это для меня большое лишение. Иногда до того хочется послушать музыки, что обрадовался бы всякому «Трубадуру» и «Травиате». Но даже и этого не услышишь.

Из всего, что я видел, едва ли не наибольшее впечатление произвела на меня капелла Медичисов в San Lorenzo. Это колоссально красиво и грандиозно. Только тут я впервые стал понимать всю колоссальность гения Микель-Анджело. Я стал находить в нем какое-то неопределенное родство с Бетховеном. Та же широта и сила, та же смелость, подчас граничащая с некрасивостью, та же мрачность настроения. Впрочем, может быть, это мысль вовсе не новая. У Taine'a я читал очень остроумное сравнения Рафаэля с Моцартом. Не знаю, сравнивали ли Микель-Анджело с Бетховеном?

Я кончил Шопенгауера. Не знаю, какое впечатление произвела бы на меня эта философия, если б я познакомился с ней в другом месте и в других обстоятельствах. Здесь она показалась мне остроумным парадоксом. Мне кажется, что всего несостоятельнее Шопенгауер в своих окончательных выводах. Пока он доказывает, что лучше не жить, чем жить, все ждешь и спрашиваешь себя: положим, что он прав, но что же мне делать? Вот в ответе на этот вопрос он и оказался слаб. В сущности, его теория ведет весьма логически к самоубийству. Но, испугавшись такого опасного средства отделаться от тягости жизни и не посмев рекомендовать самоубийство как универсальное средство приложить его философию к практике, он пускается в очень курьезные софизмы, силясь доказать, что самоубийца, лишая себя жизни, не отрицает, а подтверждает любовь к жизни. Это и непоследовательно и неостроумно. Что

касается N i r v a n a, то это такая бессмыслица, о которой и говорить не стоит. Как бы то ни было, а книгу о Шопенгауере я прочел с величайшим интересом, и многое в ней показалось мне необычайно остроумным. Его теория л ю б в и необычайно оригинальна и нова, хотя некоторые подробности в фактических доказательствах извращены и натянуты. Вы совершенно правы, говоря, что нельзя доверять искренности философа, учащего нас не признавать никаких радостей жизни и умерщвлять плоть до последней крайности, который сам без всякого стеснения до последнего дня жизни пользовался всеми благами ее и очень хорошо устраивал свои делишки.

Посылаю Вам карточку брата Анатолия и ландыш. Как их много теперь продается на улицах!

Я покоен, здоров, счастлив и ни на секунду не забываю, кому всем этим обязан. Прощайте, моя дорогая и бесценная. До следующего письма.

Ваш П. Чайковский.

101. Чайковский — Мекк

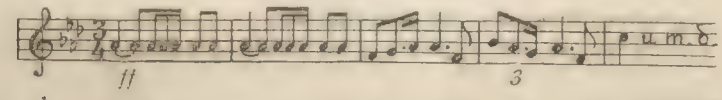
Флоренция,
17 февраля/1 марта 1878 г.

Сколько радости доставили Вы мне сегодня письмом Вашим, бесценная моя Надежда Филаретовна! Как я неизмеримо счастлив, что симфония понравилась Вам, что, слушая ее, Вы испытали те ощущения, которыми я был полон, когда писал ее, что моя музыка запала Вам в сердце.

Вы спрашиваете меня, есть ли определенная программа этой симфонии?[1] Обыкновенно, когда по поводу симфонической вещи мне предлагают этот вопрос, я отвечаю: н и к а к о й. И в самом деле, трудно отвечать на этот вопрос. Как пересказать те неопределенные ощущения, через которые переходишь, когда пишется инструментальное сочинение без определенного сюжета? Это чисто лирический процесс. Это музыкальная исповедь души, на которой многое накипело и которая по существенному свойству своему изливается посредством звуков, подобно тому как лирический поэт высказывается стихами. Разница только та, что музыка имеет несравненно более могущественные средства и более тонкий язык для выражения тысячи различных моментов душевного настроения. Обыкновенно вдруг, самым неожиданным образом, является з е р н о будущего произведения. Если почва благодарная, т. е. если есть расположение к работе, зерно это с непостижимою силою и быстротою пускает корни, показывается из земли, пускает стебелек, листья, сучья

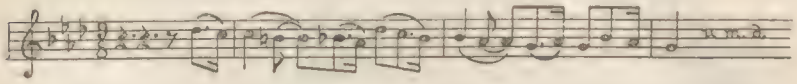
и, наконец, цветы. Я не могу иначе определить творческий процесс, как посредством этого уподобления. Вся трудность состоит в том, чтоб явилось зерно и чтоб оно попало в благоприятные условия. Все остальное делается само собою. Напрасно я бы старался выразить Вам словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедший, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь намечать эскизы, одна мысль погоняет другую. Иногда посреди этого волшебного процесса вдруг какой-нибудь толчок извне разбудит от этого состояния сомнамбулизма. Кто-нибудь позвонит, войдет слуга, прозвонят часы и напомнят, что нужно итти по делу... Тяжелы, невыразимо тяжелы эти перерывы. Иногда на несколько времени вдохновение отлетает; приходится искать его, и подчас тщетно. Весьма часто совершенно холодный, рассудочный, технический процесс работы должен притти на помощь. Может быть, вследствие этого и у самых великих мастеров можно проследить моменты, где недостает органического слепления, где замечается шов, части целого, искусственно склеенные. Но иначе невозможно. Если б то состояние души артиста, которое называется в д о х н о в е н и е м и которое я сейчас пытался описать Вам, продолжалось бы беспрерывно, нельзя было бы и одного дня прожить. Струны лопнули бы, и инструмент разбился бы вдребезги! Необходимо только одно: чтоб главная мысль и общие контуры всех отдельных частей явились бы не посредством и с к а н и я, а сами собой, вследствие той сверхъестественной, непостижимой и никем не разъясненной силы, которая называется в д о х н о в е н и е м. Но я отвлекся в сторону и не отвечаю на Ваш вопрос. В н а ш е й симфонии программа е с т ь, т. е. есть возможность словами изъяснить то, что она пытается выразить, и Вам, только Вам одним, я могу и хочу указать на значение как целого, так и отдельных частей его. Разумеется, я могу это сделать только в общих чертах.

Интродукция есть з е р н о всей симфонии, безусловно главная мысль:



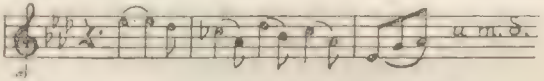
Это ф а т у м, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как Дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, по-

стоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать:



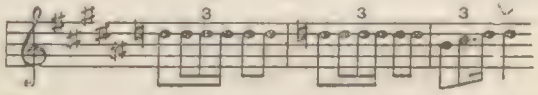
Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы:

О радость! по крайней мере, сладкая и нежная греза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ пронесся и манит куда-то:



Как хорошо! как далеко уж теперь звучит неотвязная первая тема аллегро. Но грезы мало-по-малу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное позабыто. Вот оно, вот оно, счастье!..

Нет! это были грезы, и ф а т у м пробуждает от них:



Итак, вся жизнь есть непрерывное чередование тяжелой действительности со скоропроходящими сновидениями и грезами о счастье... Пристани нет... Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою. Вот, приблизительно, программа первой части.

Вторая часть симфонии выражает другой фазис тоски. Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уж б ы л о, д а п р о ш л о, и приятно вспоминать молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать жить сызнова. Жизнь утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться. Вспомнилось многое. Были минуты радостные, когда молодая кровь кипела и жизнь удовлетворяла. Были и тяжелые моменты, незаменимые утраты. Все это уж где-то далеко. И грустно и как-то сладко погружаться в прошлое.

Третья часть не выражает определенного ощущения. Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении, когда выпьешь немножко вина и испытываешь первый фазис опьянения. На душе не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь: даешь волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки... Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутивших мужичков и уличная песенка... Потом где-то вдали прошла военная процессия. Это те совершенно несвязные образы, которые проносятся в голове, когда засыпаешь. Они не имеют ничего общего с действительностью: они странны, дики и несвязны.

Четвертая часть. Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный ф а т у м опять является и напоминает о себе. Но другим до тебя нет дела. Они даже не обернулись, не взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты. Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно.

Вот, дорогой мой друг, все, что я могу Вам разъяснить в симфонии. Разумеется, это неясно, неполно. Но свойство инструментальной музыки именно и есть то, что она не поддается подробному анализу. «Г д е к о н ч а ю т с я с л о в а, т а м н а ч и н а е т с я м у з ы к а», как заметил Гейне.

Уж поздно. Не пишу Вам на этот раз ничего о Флоренции, кроме того, что я сохраню о ней на всю жизнь очень, очень приятное воспоминание. В конце будущей недели, следовательно, около 24-го числа (по нашему стилю), думаю уехать в Швейцарию, где намерен тихо прожить весь март и понемножку писать сочинения в разнообразных мелких формах.

Итак, по получении Вами этого письма мой адрес снова будет: C l a r e n s, C a n t o n d e V a u d, V i l l a R i c h e l i e u.

Благодарю Вас, дорогая моя, за сегодняшнее письмо. От московских приятелей до сих пор ни слова. Напишу Вам об их мнении и подробно.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Сейчас, собираясь вложить письмо в конверт, перечел его и ужаснулся той неясности и недостаточности программы,

которую Вам посылаю. В первый раз в жизни мне пришлось перекладывать в слова и фразы музыкальные мысли и музыкальные образы. Я не сумел сказать этого как следует. Я жестоко хандрил прошлой зимой, когда писалась эта симфония, и она служит верным отголоском того, что я тогда испытывал. Но это именно о т г о л о с о к. Как его перевести на ясные и определенные последования слов? — не умею, не знаю. Многое я уже и позабыл. Остались общие воспоминания о страстности, жуткости испытанных ощущений. Очень, очень любопытно, что скажут мои московские друзья.

До свиданья.

Ваш П. Чайковский.

Вчера провел вечер в народном театре и смеялся много. Комизм итальянцев груб, лишен тонкости и грации, но увлекателен до-нельзя.

102. Чайковский — Мекк

Флоренция,
20 февраля/4 марта 1878 г.

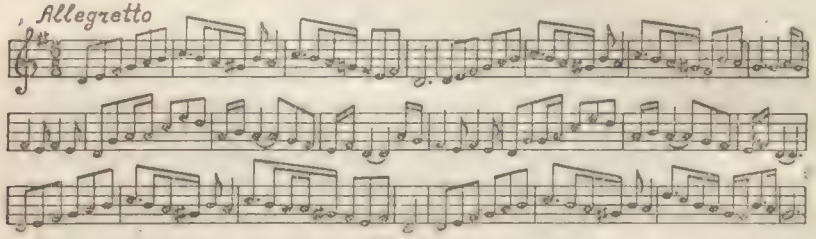
Сегодня канун последнего дня карнавала. На улицах необычайное оживление, но далеко не то, что бывает в эти дни в Риме, судя по описаниям. Ходят по тротуарам группы переодетых, но не замаскированных мужчин и поют песни хором. На Lungarno и в Cascine, где я гулял сегодня перед обедом, была просто давка и множество богатых экипажей с расфранченными дамами и изящными господами. После обеда я отправился в один из многочисленных здешних театров, где должна была даваться новая опера какого-то неизвестного маэстро: «I f a l s i m o n e t a r i». Театр этот называется «A r e n a N a z i o n a l e». Он переделан, повидимому, из громадного цирка. Дешевизна мест необычайная. Я заплатил семьдесят сантимов за вход и пятьдесят за p o s t o d i s t i n t o *, т. е. за одно из лучших мест. Помещение громадное, народу видимо-невидимо, мужчины курят, певцов едва слышно, музыка пошлая и бездарная до поразительной степени, жарко, душно. Я едва высидел акт и нашел, что гулять на чистом воздухе гораздо приятнее. Ночь восхитительная, теплая, небо усеяно звездами. Хороша Италия! Теперь, нагулявшись, я пришел домой и почувствовал желание поговорить с Вами, мой несравненный и дорогой друг. Окно открыто. Я с наслаждением вдыхаю ночную свежесть после

* нумерованное место

жаркого весеннего дня. Как мне странно, жутко, но вместе и сладко думать о далекой, невыразимо любимой родине! Там еще зима. Вы сидите в своем кабинете, быть может, у топящегося камина. Мимо Вашего дома проходят укутанные в шубы москвичи и москвички, среди тишины, не нарушаемой даже шумом экипажей благодаря санной дороге. Как бесконечно далеки мы друг от друга: Вы—среди зимы, я—в стране, где деревья уже зеленеют и где я пишу это письмо у открытого окна, в одиннадцать часов вечера! И между тем, я думаю об этой зиме не с отвращением, а с любовью. Люблю я нашу зиму, долгую, упорную. Ждешь не дождешься, когда наступит пост; а с ним и первые признаки весны. Но зато какое волшебство наша весна своей внезапностью, своею роскошною силой! Как я люблю, когда по улицам потекут потоки тающего снега, и в воздухе почувствуется что-то живительное и бодрящее! С какой любовью приветствуешь первую зеленую травку! Как радуешься прилету грачей, а за ними жаворонков и других заморских летних гостей! Здесь весна подступает тихими шагами, понемножку, так что и не сумеешь определить с точностью, когда она установилась. И могу ли я умиляться при виде зеленой травки, когда и в декабре и в январе я имел ее уже перед глазами?

Но если нечего особенно умиляться, то все-таки нельзя не находить большое наслаждение в роскошных свойствах итальянской природы и итальянского климата. Боже, избави меня вечно жить в этой чудной стране, но побывать в ней очень приятно, особенно теперь, когда тихо подкрадывающаяся весна уже успела принести с собой цветы и тепло. Я нахожу, что Вам необходимо в будущем году прожить три-четыре зимних месяца в Италии. Насколько я знаю, Вы страдаете от холода и с трудом переносите суровость русской зимы. Как же Вам не устроиться в Италии? Это просто нужно для Вашего здоровья. Есть люди, как я, для которых холодный климат есть чистая благодать: таков мой организм, и мне подобает жить зимой в России. Другие, как Вы, не переносят холода и оживают вполне только в теплом климате, и если Ваши дела и семейные обстоятельства не помешают Вам оставить Москвы, то Вам непременно нужно это сделать. Мне было бы грустно, если Вы бы надолго уехали за границу. Меня радует мысль, что Вы живете в моем городе, но я очень, очень желал бы для Вашего физического благополучия, имеющего столь великое влияние и на нравственное, чтоб Вы часть зимы, самую жестокую, проводили в Италии. Мне жаль Вас, дорогая моя Надежда Филаретовна! Очевидно, жизнь, которую Вы ведете в Москве зимой, не отрадна, если Вам из-за

холода приходится так безвыходно оставаться дома. Между тем, несмотря на превосходные материальные условия, Вы п р и н у ж д е н ы жить не так, как бы Вам хотелось. Грустно думать, что даже и большое богатство не дает Вам полной свободы. Как я буду рад в будущем январе получить от Вас письмо из Неаполя, из которого я узнаю, что Вы вполне наслаждаетесь жизнью, насколько это «в п о л н е» возможно!

Помните, я писал Вам из Флоренции про мальчика, которого слышал вечером на улице и который так тронул меня своим чудным голосом. Третьего дня, к моей несказанной радости, я нашел опять этого мальчика; он опять мне пел: «P e r c h è t r a d i r m i, p e r c h è l a s c i a r m i» *, и я просто изнывал от восторга. Я не помню, чтобы когда-нибудь простая народная песня приводила меня в такое состояние. На этот раз он меня познакомил с новой здешней песенкой, до того прелестной, что я собираюсь еще раз найти его и заставить несколько раз спеть, чтоб записать и слова и музыку. Приблизительно она следующая (воспевается какая-то P i m p i n e l l a; что это значит, не знаю, но узнаю непременно):

Как жаль мне этого ребенка! Его, очевидно, эксплоатируют отец, дяди и всякие родственники. Теперь, по случаю карнавала, он поет с утра до вечера и будет петь до тех пор, пока голос не пропадет безвозвратно. Уже теперь в сравнении с первым разом голос слегка надтреснут. Эта надтреснутость прибавляет новую прелесть феноменально симпатичному голосу, но это не надолго. Родись он в достаточном семействе, он, может быть, сделался бы впоследствии знаменитым (певцом) артистом [1]. Вообще нужно пожить несколько времени в Италии, чтобы признать за ней безусловное первенство в вокальном искусстве. На каждом шагу слышишь здесь на улице превосходные го-

* «Зачем изменять мне, зачем покидать меня»

лоса, и не далее, как в эту минуту, я слышу вдали очень красивый голос, во все горло распевающий высоким грудным тенором какую-то песню. Даже если голос и не особенно красив, то всякий итальянец — хороший певец по своей природе. У них правильная émission de voix * и уменье петь всей грудью, не горлом, не в нос, как у нас.

Последние дни доживаем мы здесь. В четверг 24 февраля (17 марта) едем в Clarens и, по всей вероятности, прямо, не заезжая даже в Como. Вчетвером не так-то удобно ездить с частыми остановками. Модест мучится угрызениями совести; он так увлекся музеями, церквами и всякими другими достопримечательностями, что Коле приходится мало учиться. Да и мне уж довольно гулять среди шума и роскоши Флоренции. Представьте, что я до сих пор не получил ни единого отзыва о моей симфонии от московских друзей. Это очень странно.

До свиданья, дорогая моя.

П. Чайковский.

103. Чайковский — Мекк

Флоренция,
23 февраля/7 марта 1878 г.

Через два часа мы уезжаем. Сейчас я получил письмо Ваше, дорогой друг. Я уже начинал беспокоиться, почему-то вообразил, что Вы нездоровы, и колебался, уж не телеграфировать ли Вам. Теперь я уеду спокойный и счастливый. Обстоятельнее буду отвечать Вам из Швейцарии.

Я глубоко тронут письмом Вашим. Как я ни привык и ни избалован изъявлениями неоцененной дружбы Вашей, сделавшейся теперь краеугольным камнем моего счастья и спокойствия, но при каждом новом письме приходится снова удивляться изумительной доброте Вашей. Благодарю Вас, Надежда Филаретовна, за все, за все. Приходится снова повторить то, что я уже говорил не раз: я был бы счастлив, если б судьба дала мне случай на деле доказать Вам мою благодарность. Из Кларенса я подробно отвечу Вам.

Надежда Филаретовна! После долгого размышления мы с братом решили не заезжать в Como и отложить посещение его или до начала апреля или даже вовсе отказаться от него. Причина следующая. Модеста так теперь мучит совесть за то, что он в течение двухнедельного пребывания во Флоренции запустил

---

* постановка голоса

свои занятия с Колей, что ему не доставит удовольствия краткое пребывание в Bellagio, сопряженное с переездами и по необходимости снова отдаляющее его занятия. Между тем, в Кларенсе уже все приготовлено для нашего устройства, и с первого же дня мы опять установим правильную и тихую жизнь, для которой Villa Richelieu представляет необыкновенные удобства. Представьте одно то, что мы будем там одни, совсем одни, точно в своем замке. Да и я непрочь опять очутиться в тихом уголке и позаняться. Пытался я здесь писать по утрам маленькие пьесы, но, во-первых, как-то трудно всей душой отдаться труду, когда кругом так много соблазнов, а во-вторых, с утра до вечера раздаются всякие музыкальные звуки. Англичанки у нас в гостинице вечно упражняются на фортепиано, напротив моего окна кто-то играет весь день тромбонные упражнения, на улице поют или кричат. Я заказал себе фортепиано и хочу вообще помузицировать. С тех пор как я уехал из России, только в Вене пришлось несколько раз играть в четыре руки, а то я не дотрагивался до фортепиано.

Что касается двухнедельной жизни во Флоренции, то она оставит во мне впечатление чудного, сладкого сновидения. Я испытал здесь такое множество чудных ощущений и от самого города, и от окрестностей, и от картин, и от чудной весенней погоды, и от народных песен, и от цветов, благоухание которых и в эту минуту услаждает меня, что устал. Нервы расшатались; вот уже две ночи, что я не сплю, а сегодня у меня были обычные нервные замирания, которых я смертельно боюсь. Таким образом, я уезжаю с раздирающимся сердцем из чудного, обаятельно прекрасного города и в то же время рад, что все это кончается. Я бы никогда не решился навеки поселиться в Италии и не понимаю, как люди могут здесь вечно жить, как они не тают и не тонут в этом море разнообразных впечатлений!

До свиданья, дорогой мой друг.

Ваш П. Чайковский.

Я до сих пор не получил ни одного известия и ни одного отзыва о моей симфонии от приятелей.

104. Чайковский — Мекк

Clarens,
26 февраля/10 марта 1878 г.

Вчера вечером мы приехали в Кларенс. В Женеве пришлось ночевать и провести утро. Путешествие было вполне благопо-

нужно, но Коля, который не умеет спать в вагоне, очень утомился. Как Женева показалась мне прозаична, бесцветна, скучна в сравнении с роскошной, блестящей Флоренцией! Разница в климате тоже чувствительна. В Clarens я подъезжал не без волнения. Мне живо вспомнилось все, что я здесь пережил и перечувствовал. Воспоминания эти и жутки и в то же время приятны. Как это все теперь кажется далеко! Как будто с тех пор целая вечность протекла... Здесь я проснулся от тяжкого кошмара и среди этой чудной природы снова полюбил жизнь. Здесь нежная братская привязанность и теплое участие далекого дорогого друга возбудили во мне бодрость и жажду к работе [1].

Я не могу себе представить местности (вне России), которая бы более Кларенса имела свойство успокаивать душу. Конечно, после кипучей жизни такого города, как Флоренция, тихий швейцарский уголок на берегу чудного озера, в виду исполинских гор, покрытых вечным снегом, причиняет несколько меланхолическое настроение. Я замечаю, что Модест немножко грустит по Италии, и я сам не без стеснения в сердце вспоминаю Флоренцию. Но это не надолго. Ощущение грусти очень скоро перейдет в ощущение сладкого спокойствия. Я ни минуты не раскаиваюсь, что мы поспешили сюда приехать. У нас на руках ребенок, которого нельзя запускать ни на один день. Представьте, что вследствие трехнедельного промежутка времени, который прошел с тех пор, как мы выехали из Сан-Ремо, он стал опять хуже и выговаривать и понимать других. Хотя и во Флоренции Модест занимался с ним ежедневно, но оба они были рассеяны и оба занимались урывками и через силу. Нет никакой возможности работать, как следует, при такой массе разнородных впечатлений, которые испытываешь в Италии, среди весеннего пробуждения природы, да еще в таком чудном месте, как Флоренция. Итак, с необходимостью покинуть Италию мы вполне примирились. Не могу примириться только с тем, что мы не заехали в Комо. Во-первых, я бы и сам невыразимо желал этого, а во-вторых, я знаю, что и Вы этого хотели. Я утешаю себя мыслью, что мы в начале апреля можем отправиться туда через Симплон, а уж потом через Венецию и Вену в Россию. Теперь поживем и поработаем здесь. А чудное место этот берег Лемана! Сегодня утром, когда я проснулся и сел к окну, то не мог не быть потрясенным дивным зрелищем! Не наглядишься на это голубое озеро, окаймленное горами. Что касается дома, в котором мы живем, то он не оставляет ничего желать относительно удобств, чистоты, превосходной пищи, услужливости хозяйки, а главное, уютности помещения. Я занял ту же комнату, где жил с Толей,

а Модест с Колей поселился внизу. В моей комнате стоит очень порядочный инструмент.

Теперь отвечаю Вам, дорогая моя Надежда Филаретовна, на вопросы, касающиеся моей дальнейшей судьбы, в которой так много счастья сулит мне дружба Ваша. Вы поистине мой добрый гений, и я не имею слов, чтобы выразить Вам силу той любви, которою я Вам отплачиваю за все, чем я Вам так безгранично обязан.

Касательно моих отношений к известной особе скажу следующее. Развод был бы, разумеется, самым лучшим способом покончить дело; это самое горячее мое желание. Я совершенно уверен, что сумма, о которой Вы говорите, вполне достаточна и что известная особа предпочтет ее очень непрочной пенсии, которую я обещал выплачивать ей. Она, конечно, найдет выгоднее взять разом целый капитал, чем иметь в виду ежемесячную ассигновку, которая находится в прямой зависимости от состояния моего здоровья и моей долговечности. Я могу умереть очень скоро, и она лишится тогда своей пенсии. Но я могу согласиться на эту форму контрибуции только в случае, если она даст формальное обещание на развод. В противном случае я нахожу более удобным выдавать ей ежемесячную субсидию и держать ее посредством этого в своей зависимости. В последнее время я имел случай убедиться, что известная особа ни за что не оставит меня в покое, если она не будет сдержана страхом лишиться пенсии. Пенсию эту я назначу ей условно, т. е. «веди себя хорошо, не приставай ни ко мне, ни к родным (в последнее время она выдумала писать письма моему старику-отцу), держи себя так, чтобы я не тяготился тобой, и тогда будешь получать свою пенсию. В противном случае делай, как хочешь». Вам покажется, что этот язык слишком резок и груб. Не хочу посвящать Вас, друг мой, в отвратительные подробности, свидетельствующие, что известная особа не только абсолютно пуста и ничтожна, но вместе с тем существо, достойное величайшего презрения. С ней нужно торговаться, не стесняясь в выражениях. Итак, или развод или пенсия. Выдача крупной суммы вперед не обеспечит меня от ее вмешательства в мою жизнь. Во всяком случае, нужно, чтобы кто-нибудь взял на себя вести переговоры с ней, и я никому иному не могу поручить этого неприятного дела, кроме брата Анатолия. Позволите ли Вы мне написать об этом брату? Буду ждать вашего ответа.

Относительно того, что Вы хотите и по возвращении моем в Россию продолжать Ваши заботы о моем материальном благополучии, я скажу следующее. Я нисколько не стыжусь полу-

чать от Вас средства к жизни. Моя гордость от этого ни на волос не страдает; я никогда не буду чувствовать на душе тягости от сознания, что всем обязан Вам. У меня относительно Вас нет той условности, которая лежит в основании обычных людских сношений. В моем уме я поставил Вас так высоко над общим человеческим уровнем, что меня не могут смущать щекотливости, свойственные обычным людским отношениям. Принимая от Вас средства к покойной и счастливой жизни, я не испытываю ничего, кроме любви, самого прямого, непосредственного чувства благодарности и горячего желания по мере сил способствовать Вашему счастью. Если я выразился в одном из моих прежних писем, что скоро перестану принимать от Вас установленную ассигновку, то это потому, что мне до сих пор не приходило в голову, что Вы даже и по возвращении моем в Россию хотите продолжать ее. Я нисколько не имел в виду дать Вам почувствовать, что, возвратившись на родину, не хочу более зависеть от Вас и считать себя обязанным Вам; никогда подобная мысль даже мельком не приходила мне в голову. Я Вам скажу прямо и откровенно, что для меня будет неизмеримое благо, если благодаря Вам я буду обеспечен от всяких случайностей, от самодурства кого бы то ни было, словом, всех тех цепей, которые связывают человека, ищущего средств к жизни посредством обязательного труда. Будучи очень непрактичен, я всегда страдал от недостаточности средств, и эта недостаточность часто отравляла мне жизнь, парализовала мою свободу и заставляла ненавидеть мой обязательный труд. Полагаю, что я, во всяком случае, останусь в Москве и в консерватории. Это необходимо по многим причинам, но, имея другие средства к жизни, я перестану ненавидеть свой учительский труд как какое-то неизбежное зло и, сознавая себя свободным уйти от него, когда вздумается, почувствую себя совершенно иначе при исполнении этого трудного дела. Но о том, что я буду делать впоследствии, мы поговорим когда-нибудь подробнее.

Надежда Филаретовна! Раз навсегда говорю Вам, что я приму от Вас все, что захотите предложить мне, без всякого ложного стыда. Я бы желал только одного: чтоб Вы никогда не заботились обо мне в ущерб себе. Я знаю, что Вы богаты, но ведь богатство так относительно. Большому кораблю большое и плаванье. У Вас большие средства, но зато и большие необходимые траты.

Благодарю Вас, друг мой.

Безгранично Вам преданный

П. Чайковский.

105. Мекк — Чайковскому

Москва,
27 февраля 1878 г.

С каким восторгом я читала Ваше объяснение н а ш е й симфонии, мой дорогой, бесценный Петр Ильич. Как счастлива я, что нахожу в Вас полное подтверждение моего идеала композитора. Вы думаете, милый друг, что мне непонятно то, что Вы говорите. Но, боже мой, напротив, Вы объясняли мне процесс творчества именно так, как я его понимаю, несмотря на то, что многие люди словами и примерами старались изменить во мне это представление. Мне говорили в опровержение той связи, которую я ставила между сочинением и внутренним состоянием композитора: «Неужели Вы думаете, что музыкант чувствует что-нибудь, когда сочиняет? — Никогда! (Это говорил мне музыкант же.) Он только обдумывает, как и где пользоваться техническими средствами искусства. Музыка на все имеет определенные правила и указания, так что достаточно выдумать маленький, ничтожный мотив в два такта, для того чтобы из него сделать очень много». Я не оспаривала той печальной истины, что большинство сочиняет именно так, но чувствовала, что различие между композитором по вдохновению и композитором-механиком всегда слышится в самой музыке, и когда мне говорили: «Все так сочиняют», я спрашивала: «Неужели и Чайковский?» Мне отвечали: «Вероятно». Мне было больно за мое дорогое искусство, и я все-таки оставалась при своем убеждении, что должна существовать внутренняя связь между композитором и его произведениями, и Вы, мой милый, дорогой мне человек, подтверждаете мое убеждение, олицетворяете мое представление композитора по внутреннему побуждению. Я счастлива, что могу сказать: «E pur si muove» и что это счастье Вы мне доставили!

Наша симфония произвела на меня совершенно соответствующее ей впечатление. Первая часть действовала на сердце глубоко, тоскливо, жутко,— что за тема в ней, что за смелое последование аккордов (это действует на меня каким-то электрическим восторгом), какая заключительная партия; можно с ума сойти, так это хорошо. Вторая, о, боже мой, я хотела бы ее обнять, приласкать, так она прелестна своею задумчивостью и своими дорогими, родными чертами. Scherzo, ну, это верх оригинальной прелести. Скажите мне, пожалуйста, Петр Ильич,— мне очень интересно знать весь процесс зарождения такого творения, — что Вам раньше пришло в голову для Scherzo: мотив или инструментовка его? Они до такой степени идут один к дру-

гому, что можно подумать, что этот субъект так и родился в этой коленке, так что мне пришло в голову, что Вам первоначально явилась мысль такого pizzicato, и к нему уже Вы сочинили подходящую тему. Coda замечательна. Последняя часть очаровывает воображение своею картинностью, и потом опять эти русские звуки, — о, что это за прелесть! Все в человеке удовлетворяется, сердце очаровано звуками, ум мыслями. Скажите еще, дорогой мой: у Вас являются намеренно эти русские черты в Ваших сочинениях или незаметно для Вас самого, как выражение Вашей русской души? Московские немцы ставят Вам этот характер в упрек, но ведь на то они и немцы. Когда их Вагнер с возмутительным нахальством кричит на всю Европу, что он создал немецкую музыку, они верят этому и поклоняются ему, а таланту, который сам об себе молчит, ставят в упрек его родное чувство; но бог с ними, они так наивны, что находятся в законе невменяемости. Я нахожу, что если Глинка — создатель русской музыки, то Вы — ее великий образователь. Мне никогда не случалось читать сравнения в искусстве Бетховена с Микель-Анджело, но я нахожу Ваше замечание весьма метким и верным: у обоих сходство характеров в произведениях. Я с нетерпением жду выхода в свет четырехручного переложения нашей симфонии, мне так хочется слышать ее опять и ближе изучить. Я буду очень рада, если не Клиндворт будет перекладывать, потому что я лично не люблю его переложений, я нахожу, что он гонится за невозможным и этим вредит основному достоинству сочинения: он хочет сохранить всю роскошь инструментовки, — это, по-моему, невозможно на фортепиано, — и этим затемняет начальные мысли. В оркестровом исполнении Ваши сочинения для меня совершенно ясны по первому разу; это замечательно красивое, красноречивое, богатое, полное и необыкновенно ясное изложение мыслей, чувств, представлений, самого эстетичного свойства при самой изящной внешности. В переложениях же Клиндворта я ничего не понимаю, для меня все превращается в какой-то хаос, из которого выносишь одно только чувство, — это сожаление, что у тебя так мало рук. Конечно, это потому, что я плохой музыкант. Но зато как страстная любительница Вашей музыки я горячо желаю слышать то, что мне нравится, а тут я должна это отыскивать в целой груде бесспорно великолепного товара. Но ведь все хорошо в свое время и в своем месте: на оркестре это производит потрясающее действие, а на фортепиано, вследствие уже однообразия его звука, запутывает.

Меня очень интересует литературный талант Модеста Ильича. Вероятно, он будет печатать свое сочинение, то не откажите,

дорогой друг, сообщить мне тогда, как оно будет издано: в журнале или отдельным выпуском? Как идет музыка Анатолия Ильича? Ему дает уроки тот же консерваторский мальчик Дегтярев, который и моего Колю учит на скрипке. Очень, очень благодарю Вас, дорогой мой, за карточку Анатолия Ильича. Как он молод на вид, совсем юношеское лицо; как кажется по выражению лица, ему, должно быть, хорошо живется на свете. У Модеста совсем иное выражение; они нисколько не похожи лицами, а как характерами? Еще благодарю Вас, мой милый друг, за цветок, который Вы любите, — мне так приятно получить то, что Вам нравится; ландыш дошел сюда очень миленьким, но без аромата. На прошлой неделе мне прислала Юля из Петербурга живые сирени и розы (потому что я очень люблю цветы), и они приезжали сюда с полным своим ароматом, но здесь жили только один день. Благодарю Вас, мой дорогой, за ласки к моей bébé. Я называю ее обыкновенно «кошечка», и, получивши Ваши поручения к ней, говорю ей: «Кошечка, sais-tu, notre ami t'envoie un baiser; et toi, que veux-tu lui envoyer?» *. Она очень застенчива и всегда, когда делает ответ на вопрос, краснеет и делает движение головкой, как котенок, то и при моем вопросе она покраснела, зашевелила головкой и тихонько отвечала: «Je voudrais lui envoyer une petite boîte de bonbons» **. Excusez du peu, mon cher ami ***, но по ее понятиям ничего на свете нет лучше, как une petite boîte de chocolat, — в особенности, следовательно, она желала бы Вам послать то, что считает наилучшим в жизни. Моя Юля вернулась из Петербурга вместе с братьями-правоведами, а вчера они уже, т. е. мальчики, уехали опять обратно. В Петербурге страшный тиф, и я ужасно боюсь за всех своих. Посылаю Вам, друг мой, сочинения Фета, Толстого, Мея и Тютчева, а также два номера «Русской старины». Я посылаю все стихотворения названных авторов, потому что, может быть, из выбранных мною Вам бы ничто и не понравилось. К тому же, я могу выбрать слишком мало: je suis très difficile en poésie, comme en littérature en général****. Я придаю литературе большое значение, возлагаю на нее большую ответственность, а потому и требую от нее много. Конечно, от стихов меньше, чем от прозы, потому что они имеют музыкальную сторону, которая подкупает одно из внешних чувств, но все-таки бессмыслицы и пошлости и в них я не люблю. В посы-

* «...знаешь ли ты, наш друг шлет тебе поцелуй; а ты, что ты хочешь послать ему?»

** «Я хотела бы послать ему маленькую коробочку конфет».

*** Извините, мой милый друг

**** я очень требовательна к поэзии, как к литературе вообще.

лаемых стихотворениях я загнула листы и отметила то, что мне больше нравится, но, конечно, милый мой, ведь Вы не будете стесняться, и если найдете, что мой вкус никуда негоден, то так и скажите мне. Сделанное сравнение Моцарта с Рафаэлем, о котором Вы читали, я нахожу весьма верным: оба они одинаково пусты. Вообразите, милый друг, что я очень не люблю Моцарта и терпеть не могу Рафаэля. Из старых художников я больше всего люблю Guido Reni, в некоторых картинах Paolo Vérones'a, некоторые также Correggio. Dolci вообще не люблю по концепции, но кисть его мне нравится, и одна мадонна, о которой я писала Вам раньше, нравится мне во всех отношениях. В музыке из старых классиков мне нравятся Бах, Бетховен и Hummel в его двух концертах, хотя этот — в другой степени, чем два первых. Затем я люблю ужасно Mendelsohn'a и боготворю Шумана, а самую живую, самую горячую страсть Вы знаете.

До свидания, дорогой мой, хороший, несравненный. Жду Ваших писем, как солнечных лучей. Всем сердцем ваша

Н. ф.-Мекк.

P. S. В консерватории репетируют «La dame Blanche» для приезда великого князя Константина.

106. Чайковский — Мекк

Clarens.
28 февраля/12 марта 1878 г.

Погода стоит убийственная. Дождь льет беспрерывно; горы покрыты низкими облаками, не обещающими в скором времени рассеяться. После вечноголубого неба Италии это немножко грустно, но зато как здесь тихо, покойно! Как уютны наши комнаты, как удобно будет работать! Весна все-таки дает себя чувствовать, и, несмотря на холод, деревья начинают распускаться. Смотря на Колю, я радуюсь, что он с нами. Сейчас я читал в газетах, что в Петербурге свирепствует много болезней, и дошло будто бы до того, что доктора запрещают детям выходить на воздух, а ему воздух всего нужнее. Я льщу себя надеждой, что известие о повальных болезнях очень преувеличено. Вы не поверите, друг мой, до чего вся иностранная пресса единодушно набросилась теперь на Россию. С каким злорадством они теперь уведомляют своих читателей о разных бедствиях, постигнувших ее: то бунт нигилистов, то опасная болезнь государя и Горчакова, то болезни, от которых будто бы тысячи людей погибают в обеих столицах, и все это, чтобы как-нибудь излить свою бес-

сильную злобу. Но англичане превзошли всякую меру бесстыдства. Народ, который систематически отравляет, развращает, разоряет сотни миллионов людей в Индии, обвиняет нас в жестокосердии, называет варварами за то, что ценою невероятных жертв наши освободили турецких славян от притеснения. Что за возмутительно бессовестная национальность! Читали ли Вы книги Jacolliot, Надежда Филаретовна? Это очень выдающийся современный писатель, проживший весь век в Индии, влюбленный в эту действительно великолепную страну и в нескольких очень увлекательно написанных книгах нарисовавший картину, в которой английское бессердечие, жестокость, бесчеловеческий эгоизм изображены с несомненною правдивостью. Но зато уж никто, как он, не ненавидит англичан. В нем эта ненависть — коренное чувство, дающее себя знать на каждой строчке. Если нет, то, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его вещей. Он написал: «Voyage au pays des Bayadères», «Voyage au pays des Eléphants», «Voyage au pays des Perles», «Voyage au Ruines de Golconde» и т. д. Я прочел на-днях первые две с величайшим удовольствием. Рекомендую Вам весьма усердно этого писателя и убежден, что Вы останетесь довольны.

Хочу Вам сделать одно признание. Я глубоко огорчен, оскорблен и удивлен непостижимым молчанием всех моих московских друзей о симфонии. Я до сих пор имел о ней сведения только от Вас и еще косвенно от Котека, который сообщил мне, что его приятелю, ученику консерватории Порубиновскому, она очень понравилась. Я ожидал, что симфония эта должна если не тронуть и не потрясти моих музыкальных друзей, то, по крайней мере, заинтересовать их. Я ожидал, что они поймут, как нетерпеливо и жадно я ждал от них сочувственных отзывов, что каждый из них обстоятельно опишет мне свои впечатления, и не только обдумавши, а свежие, первые впечатления, как это сделали Вы, дорогой мой друг. Это было мне очень нужно. И представьте, ни единого слова, кроме телеграммы, в которой было сказано, что симфония была исполнена превосходно, каковое уверение, как я вижу из Вашего последнего письма, несправедливо. Ну как тут не обижаться, не огорчаться! Положим, что я вполне удовлетворен Вашим горячим отзывом и что я могу обойтись без их восторгов, но мне нужны не восторги их, а дружеское внимание. Не будь Ваших писем, я бы был в полном неведении относительно симфонии, и не странно ли, что из всей консерватории до меня дошел, и то не прямо, только голос ученика-фаготиста, Порубиновского? Зато трудно Вам описать, до чего я был обрадован этим; хоть один человек из того учреждения, в котором я

действую уже двенадцать лет, отозвался. И очень горячо. Все это наводит меня на много размышлений. И опять-таки Вы являетесь моим утешителем. Не будь Вашей дружбы, которая мне сторицей воздает за невнимание моих сотоварищей, я бы огорчился до-нельзя, я бы пришел в отчаяние. Вы понимаете меня, мой горячо любимый друг. Вы понимаете, что, написавши большое сочинение, в которое вложил всю свою душу, и зная заранее, что в массе услышавших это сочинение людей найдется мало таких, которые хоть вполовину оценят его, только и утешаешь себя мыслью, что друзья поймут, ободрят, оценят. И вдруг от них ни слова, ни привета. Это больно и до нельзя обидно.

Я писал Вам про певца-мальчика, который так трогал меня своим чудным пением во Флоренции. Накануне отъезда я еще раз слышал его и записал слова и музыку одной песенки, которую и посылаю Вам с моим аккомпанементом. Не правда ли, милая песенка, и какие курьезные слова!

До свиданья, дорогая моя.

Верный друг Ваш

П. Чайковский.

Есть ли в Москве повальные болезни?[1]

107. Чайковский — Мекк

Clarens,
3/15 марта 1878 г.

Мы продолжаем жить среди формальной зимы. Вот уже три дня снег идет безостановочно, и термометр стоит ниже нуля даже в полдень. Только сегодня небо прояснилось несколько раз, хоть не надолго; но это подает надежды на завтра. А покамест приходится почти безвыходно сидеть дома. Благодаря фортепиано и чрезвычайно комфортабельному помещению это невольное заключение не особенно отяготительно. К тому же, вчера приехал сюда Котек, навез огромную массу нот, и мы очень много музицируем. Котек решился поступить в школу к И о а х и м у, но так как последний уехал в Лондон и занятия на время прекратились, то он явился сюда для свидания со мною.

Время распределилось у нас следующим образом. Мы встаем в восемь часов. После чая делаем небольшую прогулку, насколько погода позволяет. Затем, до половины второго я запираюсь в своей комнате и занимаюсь. Хочу в течение предстоящего месяца написать несколько мелких пьес. Заниматься здесь очень удобно, но до сих пор я еще не мог войти в тот фазис

душевного состояния, когда пишется само собой, когда не нужно делать никакого усилия над собой, а повиноваться внутреннему побуждению писать. Почему это — я не знаю. Хуже всего поддаваться неохоте писать. Нужно подогревать себя, иначе далеко не уйдешь. Я положил себе во что бы то ни стало каждое утро что-нибудь сделать и добьюсь благоприятного состояния духа для работы.

Время от обеда до ужина, который происходит в семь часов, посвящено гулянью, а так как все эти дни нельзя было выходить, то вместо гулянья я музицировал. Сегодня целый день я играл с Котеком и в четыре руки и со скрипкой. Я так давно не играл, не слышал хорошей музыки, что с неизъяснимым наслаждением предаюсь этому занятию. Известна ли Вам «Symphonie espagnole» Lalo, французского композитора? Пьесу эту пустил в ход модный скрипач Sarasate. Она написана для скрипки solo с оркестром и состоит из последования пяти самостоятельных частей, построенных на народных испанских мотивах. Большое удовольствие доставила мне эта вещь. Много свежести, легкости, пикантных ритмов, красивых и отлично гармонизованных мелодий. Она имеет много родства с другими известными мне произведениями новой французской школы, к которой принадлежит Lalo. Он, так же как Leo Deslibes, как Bizet, не гонится за глубиной, но тщательно избегает рутины, ищет новых форм и заботится о музыкальной красоте больше, чем о соблюдении установленных традиций, как немцы. Много хорошего обещает новая фаланга французских композиторов, явившаяся в последние десять лет. Познакомьтесь с этим произведением, мой дорогой друг, оно доставит Вам удовольствие. Я проиграл его сегодня два раза сряду с величайшим удовольствием.

Остальная часть вечера посвящается чтению, писанию писем и т. д.

Коля уже успел здесь, как и везде, где мы были, покорить все сердца. Удивительный этот мальчик! Симпатичность его до того велика, что и самый физический недостаток его является в привлекательном виде. Я с каждым днем все более и более привязываюсь к нему и помышляю с большим сокрушением о том грустном дне, в который придется мне расстаться с моими двумя дорогими сожителями: братом и Колей. Родители Коли изъявили желание, чтобы он не возвращался в Петербург, где свирепствуют многие болезни, а ехал со мной и с Модестом в Каменку, чтобы остаться там до конца апреля, после чего они отправятся в Полтавскую губернию, в деревню. Что касается меня, то я уже решился к пасхе приблизительно явиться в Ка-

менку и провести там всю весну и лето. По известным Вам причинам Каменка немножко пугает меня. Но мне будет несколько тяжело и неловко там только первое время. Люди, живущие там, такие хорошие, что они сумеют заставить меня позабыть многое.

Я чувствовал бы себя превосходно, если б не плохой сон. Тяжелые ночи провожу я в последнее время и решительно не понимаю, почему явилась бессонница с невыносимыми замираниями. Но это пустяки! Не в первый раз. Здоровы ли Вы, бесценная моя Надежда Филаретовна? Жду с нетерпением известий от Вас.

Безгранично любящий Вас
П. Чайковский.

108. Чайковский — Мекк

Clarens,
5/17 марта 1878 г.

Получил Ваше письмо, милый друг мой, и прочел его с величайшим наслаждением. Отвечу по порядку на вопросы Ваши. Мне чрезвычайно приятно говорить с Вами о процессе сочинения, усвоенном мной. До сих пор никогда еще не случалось мне кому-нибудь открывать эти таинственные проявления духовной жизни, — отчасти потому, что об этом спрашивали очень немногие, отчасти потому, что эти спрашивающие не внушали желания отвечать как следует. Именно Вам мне необыкновенно приятно говорить о подробностях сочинительского процесса, ибо в Вас я нашел душу, которая наиболее чутко отзывается на мою музыку. Никогда и никто (за исключением, может быть, братьев) не радовал меня так, как Вы, своим сочувствием. А если б Вы знали, как это сочувствие ценно для меня и как мало я избалован им!

Не верьте тем, которые пытались убедить Вас, что музыкальное творчество есть холодное и рассудочное занятие. Только та музыка может тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из глубины взволнованной вдохновением артистической души. Нет никакого сомнения, что даже и величайшие музыкальные гении работали иногда не согретые вдохновением. Это такой гость, который не всегда является на первый зов. Между тем, р а б о т а т ь нужно всегда, и настоящий честный артист не может сидеть сложа руки, под предлогом, что он не расположен. Если ждать р а с п о л о ж е н и я и не пытаться итти навстречу к нему, то легко впасть в л е н ь и а п а т и ю. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому,

кто сумел победить свое н е р а с п о л о ж е н и е. Со мной это случилось не далее как сегодня. Я писал Вам на-днях, что хотя и работаю ежедневно, но без увлечения. Стоило мне поддаться неохоте работать, и я бы, наверное, долго ничего не сделал. Но вера и терпение никогда не покидают меня, и сегодня с утра я был охвачен тем непонятным и неизвестно откуда берущимся огнем вдохновения, о котором я говорил Вам и благодаря которому я знаю заранее, что все написанное мною сегодня будет иметь свойство западать в сердце и оставлять в нем впечатление. Я думаю, что Вы не заподозрите меня в самохвальстве, если я скажу, что со мной очень редко случаются те н е р а с п о л о ж е н и я, о которых я говорил выше. Я это приписываю тому, что одарен терпением и приучил себя никогда не поддаваться н е о х о т е. Я научился побеждать себя. Я счастлив, что не пошел по стопам моих русских собратов, которые, страдая недоверием к себе и отсутствием выдержки, при малейшем затруднении предпочитают отдыхать и откладывать. От этого, несмотря на сильные дарования, они пишут так мало и так подилетантски.

Вы спрашиваете меня, как я поступаю относительно инструментовки. Я никогда не сочиняю о т в л е ч е н н о, т. е. никогда музыкальная мысль не является во мне иначе, как в соответствующей ей внешней форме. Таким образом, я изобретаю самую музыкальную мысль в одно время с инструментовкой. Следовательно, когда я писал С к е р ц о нашей симфонии, то представлял себе его именно таким, каким Вы его слышали. Оно немыслимо иначе, как исполняемое p i z z i c a t o. Если сыграть его смычком, то оно утратит решительно все. Это будет душа без тела; музыка его утратит всякую привлекательность.

Относительно русского э л е м е н т а в моих сочинениях скажу Вам, что мне нередко случалось прямо приступать к сочинению, имев в виду разработку той или другой понравившейся мне народной песни. Иногда (как, например, в финале нашей симфонии) это делалось само собой, совершенно неожиданно. Что касается вообще русского элемента в моей музыке, т. е. родственных с народною песнью приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я р у с с к и й в полнейшем смысле этого слова.

Между моими братьями Анатолием и Модестом только одна общая черта,—это бесконечная доброта сердца и любвеобилие

его. Во всем остальном эти близнецы совершенные антиподы. Анатолий очень общителен, очень любит общество и имеет в нем большой успех. Он любит искусство, как дилетант; оно не составляет для него необходимого элемента в жизни. Он усердно служит и самым добросовестным и честным образом добивается самостоятельного положения на служебном поприще. Он не обладает поразительным красноречием, ни вообще какою-либо исключительною блестящею способностью. Всего этого у него в меру. В нем есть какое-то пленительное равновесие способностей и качеств, вследствие которого обществом его дорожат одинаково и серьезные умы, и ученые люди, и артисты, и умные женщины, и просто пустые светские дамы. Я не знаю ни одного человека, который, подобно ему, пользовался бы такой искренней общей любовью людей всех сословий, положений, характеров. Он очень нервен, очень чувствителен и, как я уже сказал выше, добр до бесконечности.

Модест умнее Анатолия. Я даже имею основание утвердительно сказать, что он о ч е н ь умен. Он мало общителен и склонен, подобно Вам и мне, удаляться от людей. Натура его артистическая. Со службой он никогда не мог примириться и до такой степени пренебрегал ею, что внушал мне серьезное беспокойство. Мне казалось тогда, что это один из многочисленных представителей типа н е у д а в ш е г о с я человека, в котором дремлют какие-то силы и не знают, как им проявиться. Совершенно случайно он попал в педагоги, и только тут он обнаружил все свои чудные свойства. Друг мой! я видел Колю, когда он только что поступил под руководство брата, два года тому назад, и вижу теперь. То, что Модест сделал из этого мальчика, достойно удивления! И каких трудов это ему стоило! Сколько нужно было ума, терпения, характера, такта, любви, чтобы довести, правда, богато одаренного от природы, но глухонемого и выросшего в самой неблагоприятной среде мальчика до того состояния, в котором он находится теперь. Это просто п о д в и г, перед которым я преклоняюсь. Что касается литературного его таланта, то это был для меня сюрприз. Я знал, что у него есть много данных для писательской деятельности, но не знал, что он уже довольно давно приступил к опытам повестей и очерков. Он пишет теперь повесть, в которой с замечательной наблюдательностью, живостью и талантом изображает нравы некоторых петербургских общественных сфер. К сожалению, он поставлен в невозможность дать простор развитию своего дарования. Он может писать только вечером, когда уже Коля заснул. А между тем, в течение дня он устает от своих занятий с Колей, да и есть от чего. Повесть его еще не скоро будет окончена. Я заставляю

его писать каждый вечер хоть немножко, но до заключения еще очень далеко. Если, и расставшись со мной, он сохранит привычку писать ежедневно, то к осени может надеяться кончить. Повесть будет, наверное, напечатана, но где — этого я еще не знаю. В свое время, разумеется, извещу Вас.

Как мне благодарить Вас за новую заботу обо мне! С нетерпением жду книг, которые Вы послали мне, и надеюсь получить их завтра. Тысячу раз благодарю Вас, дорогая моя! Я чувствую себя отлично и очень доволен сегодняшним днем. Работа шла очень успешно. Я пишу, кроме мелких пьес, сонату для фортепиано и скрипичный концерт. Я надеюсь, что выеду из-за границы с порядочным запасом эскизов. Само собой разумеется, что постараюсь в выборе текстов для романсов быть как можно разборчивее, и надеюсь, что Вы будете ими довольны.

Я беспредельно люблю Вас.

Ваш П. Чайковский.

Потрудитесь передать мой поцелуй Милочке. За конфеты благодарю.

109. Мекк — Чайковскому

1878 г. марта 6—7. Москва.

Москва,
6/18 марта 1878 г.

Я только что села писать Вам, мой милый, бесценный друг, как получила Ваше письмо со вложением песенки «Pimpinella». Благодарю Вас, дорогой мой, за эту милую вещь, которая мне тем более приятна, что она идет от Вас и в ней наполовину Вашей работы. Я непременно покажу ее Юлиному итальянцу: ему, конечно, доставит она большое удовольствие. Удивительно музыкальный народ итальянцы; да, впрочем, в такой природе как и не жаждать музыки, удовлетворяющей самым страстным потребностям души! Мне жаль, что Вы не слышали, друг мой, хоров в Венеции и квартета в Неаполе, которые обыкновенно там поют каждый день; что за голоса и какое музыкальное исполнение! А когда мы жили около Флоренции на даче, то к нам часто ходил петь оперный хор с театра Pagliano, очень хороший хор. Как мне жаль, что я забыла Вам посоветовать посмотреть во Флоренции драматическую труппу Belloti Bon. В ней есть замечательные артисты, в особенности primadonna Pia Marchi,— это верх совершенства. Потом артисты Ceresa и Pasta — драматических ролей, и Belli-Blanes и Zoppetti — комических; это прелесть что за артисты. Я вообще очень люблю итальянскую школу

драматического искусства. Это есть натуральная школа, простая, естественная, благородная; в ней нет и тени той аффектации, шаржа и пафоса, которыми так обильна французская школа и которой у нас в Москве яркий представитель Самарин. Хотя я очень высоко ставлю его талант и труды, но школы его не люблю; зато я ужасно люблю представителей итальянской школы — Шумского и Садовского, а из женского персонала — Никулину. Вашему горю о невнимании друзей я вполне сочувствую, милый мой, дорогой, потому что я знаю, что самое величайшее горе может быть именно не от врагов, а от тех, кого мы считаем своими друзьями. Я понимаю, как Вам больно и обидно, но, по правде сказать, я лучшего от этих друзей ничего и не ожидала, а если Вам может доставить удовольствие отзывы субъектов из низшей иерархии, то я могу сообщить Вам впечатление одного из самых умных, развитых и с т р а с т н о любящих музыку учеников Ваших, Пахульского, которого я вижу часто и могу вполне судить об искренности и глубине его впечатления. Он без ума от Вашей симфонии. Несколько дней он не мог ни о чем говорить, ни думать, кроме ее, каждые пять минут садился за рояль и играл ее. У него отличная память для музыки, и ему я обязана ближайшим знакомством с н а ш е ю симфониею, потому что он и теперь постоянно мне ее играет. У этого человека очень экзальтированная страсть к музыке, и до Вашей симфонии он был поклонником Вагнера, но после первой же репетиции симфонии он приехал ко мне в таком экстазе, что я думала, что с ним что-нибудь случилось. «Вот музыка! — твердил он; — что теперь Вагнер, и на что все мы на свете!» Я не писала Вам этого раньше, потому что не позволяла себе сообщать Вам восторгов у ч е н и к а, но, имея теперь возможность сделать это, я замечу, что я знаю многих учеников консерватории лично, весьма многих по слухам, и знаю, как невысоко они стоят в умственном развитии (у compris monsieur Porubinowsky*) и в цивилизации, и что между ними не много, кто так любит и понимает музыку, как Пахульский. К этому же, он наделен от природы очень плодовитою музыкальною фантазиею, — конечно, если не судить о ней по классным задачам, а по свободным выражениям мыслей. Разумеется, это только еще сырой материал. Если бы Вы были здесь, мой милый друг, я бы попросила Вас сделать маленькое исследование его творческих способностей. Мне кажется, что они у него есть, но ведь я некомпетентный судья в этом деле, и мне интересно бы знать Ваше мнение. Из слов же Пахульского я вижу, что Вы ошибаетесь, дорогой друг,

* (включая господина Порубиновского)

думая, что Вы не умели внушить Вашим ученикам любви к своему делу, потому что я слышу, с каким уважением и любовью он вспоминает Ваши уроки. Он говорит, что одно Ваше слово, хотя бы Вы и распекали, имело в десять раз больше значения, чем все те речи, которые они слышат теперь. С каким восторгом он вспоминает, как бывало Вы придете в класс и, прежде чем начать его, присядете к роялю и возьмете несколько аккордов. «Но что это были за аккорды, боже мой!», восторгается он. И я слышу от него, что бо́льшая часть учеников очень вспоминает Вас. Вы видите, мой дорогой, что Вас не любить могут только те, которые завидуют Вам; поэтому будьте равнодушны к невниманию московских друзей. Они настолько друзья, насколько позволяют ими быть их природные свойства, а больше этого с них и спрашивать нельзя. Им Ваша симфония, конечно, понравилась, это иначе быть не может, но зависть мешает выразить это. Что касается публики, то, конечно, ей трудно сразу понять такое сочинение. Мне рассказывал Пахульский, что в антракте перед исполнением симфонии какой-то господин, незнакомый ему, не из консерваторских, объяснял собравшемуся около него кружку, что публике едва ли понравится это сочинение, потому что она не в состоянии понять его. Если для меня по первому разу кажется ясным Ваше сочинение, то ведь это потому, что я, так сказать, вызубрила, изучила характер Вашего творчества. Меня не смущают, не запутывают ни задержания, ни проходящие ноты, ни органный пункт, потому что я уже с ними освоилась, а смелые последования, а необыкновенная гармония меня в восторг приводят, тогда как другим это еще дико, но они все-таки оценят.

Вчера был концерт в пользу бедных учеников консерватории, устроенный par M-me Bernard и в ее зале. У меня были билеты на этот концерт, но я не ездила. Вчера также был концерт Вашего бывшего ученика, виолончелиста Брандукова [1]. Я его знаю и также имела билет в его концерт, но также не поехала. А в пятницу будет концерт Н. Г. Рубинштейна[2], как обыкновенно, в зале Дворянского собрания, и, вероятно, как обыкновенно, будет переполнено публикою. Программу его концерта прилагаю здесь. Сюда я непременно хочу поехать, если буду здорова, и даже моя Юля поедет, потому что будет играться Ваш концерт. Сегодня концерт M-me Papendick-Eichenwald в Большом театре[3]; будет исполнен Ваш Сербский марш. Я очень рада, что услышу его, потому что еду туда со всеми тремя дочерьми, с Милочкою включительно. Еще пока неизвестны никакие концерты, поэтому перехожу к другому предмету, весьма прозаичному, но существенному,—погоде. У нас весна мало еще чувствуется, было несколь-

ко дней по 2° тепла, а теперь опять на 0°. Дорога, говорят, невыносимо дурна. Я продолжаю сидеть в комнате и серьезно обдумывать план пребывания за границею зимою. Политические дела меня из всякого терпения выводят; нет границ моей ненависти к Англии, недоброжелательства к Австрии и презрения к Румынии. У себя в России я люблю все, кроме образа правления: его я переваривать никак не могу, оно мне не по натуре, хотя из личностей, главным образом его составляющих, я чрезвычайно люблю нашего государя, наследника и его жену и великого князя Михаила. Вообразите, что мы до сих пор не знаем, на каких условиях мир заключен!.. Конечно, на каких бы то ни было, он не особенно радостен, потому что это мир накануне войны. Но Англию с ее жидком [4] во главе как бы мне хотелось поколотить, а новый папа как меня восхищает своею умеренностью! Какой умный и твердый человек, и как я рада, что он секретарем сделал Franchi, а этого гадкого Симеони прогнал.

Скажу теперь о самом важном: благодарю Вас искренно и глубоко, мой несравненный, дорогой Петр Ильич, за признание моих прав заботиться о Вас по своему взгляду и желанию. Я счастлива и желаю только, чтобы это счастие не изменилось! Что касается необходимости переговоров с известною особою через другое лицо, т. е. через Анатолия Ильича, то, конечно, милый друг мой, иначе этого сделать нельзя, и вообще я прошу Вас, дорогой мой, не стесняться мною нисколько в действиях, ведущих к цели, мною же желаемой. Я совершенно согласна с Вами в том, что надо вполне обеспечиться верностью развода, прежде чем отдать в руки известной особы условленную сумму. Для этого, я думаю, было бы самое лучшее выдать ей ее тогда, когда развод будет утвержден, а до тех пор сложить уговоренную сумму на руки кому-нибудь, кому она доверяет. Впрочем, Вы и Анатолий Ильич лучше знаете, как это устроить, потому что ведь Вы изучали всякие Codes (civil, pénal) * и римское право, хотя тут, я думаю, больше дела в формальностях, с чем Анатолию Ильичу не приходится возиться. Что он: горячий обвинитель или только справедливый и его ораторское красноречие какой школы — французской или английской? Я французской терпеть не могу: много блеска, мало толку. Итак, мой дорогой, милый мой, делайте все, что найдете целесообразным, лишь бы достигнуть этой цели скорее, а упомянутая сумма уже готова и ждет только Вашего приказания отправиться, куда Вы назначите. Я буду ужасно рада, если это

* права (гражданское, уголовное)

дело устроится. Мне жаль, милый мой, что Вы не были в Bellagio, но, может быть, Вы еще туда попадете. Посылаю Вам мартовский номер «Русской старины» и стихотворения Некрасова; я очень люблю их.

Тот же день.
2 часа ночи.

Кончаю это письмо по возвращении из концерта, в котором я слушала Ваш Сербский марш. Не могу передать словами то ощущение, которое охватило меня при слушании его; это было такое блаженство, от которого у меня подступали слезы к глазам. Наслаждаясь этою музыкою, я была несказанно счастлива от мысли, что автор ее до некоторой степени м о й, что он принадлежит мне и что этого права у меня никто отнять не может! В первый раз со времени наших отношений я слушала Ваше сочинение в иной обстановке, чем обыкновенно. В Благородном собрании мне как-то кажется, что у меня много соперников, что у Вас много друзей, которых Вы любите больше, чем меня. Но здесь, в этой новой обстановке, между столькими чужими людьми мне показалось, что Вы никому не можете принадлежать столько, сколько мне, что моей собственной силы чувства достаточно для того, чтобы владеть Вами безраздельно. В Вашей музыке я сливаюсь с Вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мною:

Здесь я владею и люблю! [5]

Простите мне этот бред, не пугайтесь моей ревности, ведь она Вас ни к чему не обязывает, это есть мое собственное и во мне же разрешающееся чувство. От Вас же мне не надо ничего больше того, чем я пользуюсь теперь, кроме разве маленькой перемены формы: я хотела бы, чтобы Вы были со мною, как обыкновенно бывают с друзьями, на т ы. Я думаю, что в переписке это не трудно, но если Вы найдете это недолжным, то я никакой претензии иметь не буду, потому что и так я счастлива; будьте Вы благословенны за это счастье! В эту минуту я хотела бы сказать, что я обнимаю Вас от всего сердца, но, быть может, Вы найдете это уже слишком странным; поэтому я скажу, как обыкновенно: до свидания, милый друг мой, всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

Если эта приписка покажется Вам непозволительною, то примите ее как бред больного воображения, возбужденного музыкою, и вообще не удивляйтесь во мне таким пароксизмам: у меня в самом деле больной мозг.

П. Чайковский — Мекк

Clarens,
7/19 марта [1878 г.]

Мы продолжаем жить среди настоящей зимы. Сегодня опять целый день идет снег. Тем не менее я нисколько не скучаю и благодаря работе и приятному обществу своему не замечаю, как время идет. Соната и концерт очень занимают меня. Первый раз в жизни мне пришлось начать новую вещь, не кончивши предыдущей. До сих пор я всегда держался неуклонно правила никогда не приступать к новому труду, пока старый не кончен. На этот раз случилось так, что я не мог побороть в себе охоты набросать эскизы для концерта, а потом увлекся и оставил в стороне сонату, к которой понемножку возвращаюсь однакоже.

Я с величайшим наслаждением прочитал уже обе книжки «Русской старины». Судя по тому, что я получил их разрезанными, думаю, что Вы их читали. Не правда ли, друг мой, что письма С е р о в а [1] полны интереса, а для меня тем более, так как эпоха, к которой относятся эти письма, мне очень памятна. Как раз в то время, когда ставилась «Ю д и ф ь», я познакомился с Серовым и присутствовал на многих репетициях этой оперы. Она приводила меня тогда в восторг, и Серов казался мне человеком гениальным. Впоследствии я очень разочаровался в нем и не только как в человеке, но и как в композиторе [2]. Как человек он никогда не был мне симпатичным. Его мелочное самолюбие, его самообожание, проявлявшееся в формах, в высшей степени наивных, казались мне очень отталкивающими и непостижимыми в человеке, столь даровитом и столь умном. А умен он был замечательно, несмотря на всю мелочность самолюбия. Это, во всяком случае, была личность очень интересная. До сорока трех лет он не написал н и ч е г о; пытался сочинять, увлекался собой, потом падал духом и чего-то выжидал. Наконец, после двадцатипятилетнего колебания он принялся за «Юдифь» и удивил всех. От него ожидали скучной, бездарной, с претензией на широкий стиль оперы, думали, что человек, до такого позднего возраста ни разу не заявивший себя композитором, не может обладать талантом, и ошиблись. Сорокатрехлетний новичок предстал перед публикой и перед музыкальным петербургским миром с оперой, во всех отношениях п р е к р а с н о й и нигде не дававшей чувствовать, что она — п е р в о е сочинение своего автора. Не знаю, друг мой, знакома ли Вам «Юдифь»? В этой опере бездна достоинств. Она необыкновенно тепло написана и местами достигает большой высоты и силы. Она имела порядочный успех в публике и огромный в музыкальных

кружках, особенно между молодежью. Серов, целую жизнь прозябавший в неизвестности и боровшийся с нуждою, вдруг преобразился в героя дня, в кумира некоторых музыкальных кружков, в знаменитость. Этот неожиданный успех вскружил ему голову. Он уверовал в свою гениальность. Замечательна наивность, с которой он выхваляет себя в своих письмах, удивляется своему небывало оригинальному стилю, красоте своих мелодий. Между тем, оказалось, что Серов хотя и даровитый человек, но не первостепенный талант. Его вторая опера, «Рогнеда», уже не есть прочувствованное и выстраданное произведение. В ней он, видимо, гоняется за эффектами, впадает иногда в пошлость и банальность (песнь дурака) и посредством грубых материальных эффектов старается угодить райку. Это тем более странно, что в качестве ярого вагнериста он печатно поносил Мейербера за его эффектоманию и вульгарность стиля. «Вражья сила» еще слабее. Таким образом, в результате Серов представляет небывалое и очень интересное явление в истории музыки. Композитор, дебютирующий в сорок три года оперой очень высокого достоинства, сразу посредством ее достигающий высокого положения в сфере музыки, потом тотчас же стремительно клонящийся к упадку,— это очень любопытное явление. Если же взять его многочисленные критические статьи и проследить, до какой степени его теория не согласовалась с его практикой, т. е. до чего он писал музыку в духе диаметрально противоположном его критике, то интерес еще усугубляется. Я распространился о Серове потому, что по поводу прочитанных вчера писем его я сегодня целый день думаю о нем и вспоминаю его. Вспоминаю то высокомерие, с каким он ко мне относился, и как я желал тогда, чтобы он признал во мне способности. Вспоминаю, как этот талантливый, очень умный и универсально образованный человек имел слабость никого не признавать, кроме себя, как он завидовал успехам других, как он ненавидел всех, кто пользовался успехом и известностью в его искусстве, как он поддавался часто самым мелким эгоистическим побуждениям. С другой стороны, как хочется ему простить это ради всего, что он перестрадал до тех пор, пока успех не выручил его из нищеты, неизвестности, приниженного положения. И все это он переносил с мужеством и твердостью ради любви к искусству. Он мог бы по рождению, воспитанию и связям сделать блестящую карьеру на службе, но охота к музыке взяла верх. Как больно мне было читать в его письмах его жалобы на то, что в среде семейства он не только не встречал поддержку, одобрения, но насмешки, недоверие, враждебность к его попыткам выйти из торной чиновничьей тропинки на тернистый путь

русского артиста. Господи! какая загадка человек,— есть над чем призадуматься!

Еще одна странность в судьбе Серова. Он написал очень немного, т. е. всего три оперы, из них две посредственные, если не слабые, и одну о ч е н ь х о р о ш у ю. Эта единственная хорошая опера до сих пор н е н а п е ч а т а н а вследствие сумасшествия его издателя Стелловского.

Я не знаю, как благодарить Вас, моя дорогая, за сборники стихотворений, присланные Вами. Особенно меня радует Толстой, которого я очень люблю, и, независимо от моего намерения воспользоваться некоторыми из его текстов для романсов, я буду рад перечитать многие из его больших вещей. В числе их я особенно интересуюсь «Д о н - Ж у а н о м», которого читал очень уже давно. Отмеченный Вами отрывок из «Д о н - Ж у а н а» прелестен, и я, наверное, положу его на музыку [3]. Вообще я был невыразимо рад прочесть все отмеченные Вами пьесы. Благодарю Вас.

Я не ответил на один из Ваших вопросов в последнем письме. Вы спрашиваете насчет музыкальных занятий Анатолия. Если не ошибаюсь, он уж больше не берет уроков у Дегтярева, и хорошо делает. У него нет никаких способностей к музыке, и его скрипичная игра до крайности плоха, но зато он не лишен вкуса и голоса. У него очень симпатичный баритон, и поет он довольно мило. На это у него музыкальности хватает, но скрипка такой инструмент, что нужно иметь положительные способности. Вообще замечательно, что я, прирожденный музыкант, кроме музыки ни на что негодный, родился в семействе, совершенно лишенном чутья к музыке. Оба мои младшие брата очень хорошо понимают музыку вследствие того, что они росли на моих руках и через меня познакомились и с музыкой и с музыкантами. Оба они любят музыку страстно. Модест, совершенно лишенный способности к ней, вместе с тем выработал в себе поразительно тонкое понимание. Он играет на фортепиано и готов играть целый день, до того он любит музыку, но играет все-таки плохо, а петь вовсе не может. Остальные члены моего семейства не любят музыки. Говоря о немузыкальности моего семейства, не могу не умилиться при воспоминании о том, как мой отец отнесся к моему бегству из министерства юстиции в консерваторию в Петербурге [4]. Я счастливее С е р о в а. Хотя отцу было больно, что я не исполнил тех надежд, которые он возлагал на мою служебную карьеру, хотя он не мог не огорчаться, видя, что я добровольно бедствую ради того, чтобы сделаться музыкантом, но никогда ни единым словом он не дал мне почувствовать, что недоволен мной. Он только с теплым

участием осведомлялся о моих намерениях и планах и одобрял меня всячески. Много, много я обязан ему. Каково бы мне было, если бы судьба дала мне в отцы тиранического самодура, какими она наделила многих музыкантов и в том числе Серова?

Из Москвы до сих пор не имею никаких отзывов о симфонии. Ни одного слова сочувствия и похвалы [5]. Юргенсон пишет мне, что Рубинштейн будет играть мой концерт. Знаете ли Вы этот концерт? Если нет, то я очень, очень желал бы, чтоб Вы его слышали. Это одно из моих любимых детищ. Каким образом Рубинштейну вздумалось теперь играть этот концерт, который он прежде признавал неисполнимым? Не знаю, но очень ему благодарен за это. Он его, наверное, отлично исполнит.

До свиданья, милый, добрый друг.

Безгранично любящий Вас

П. Чайковский

III. Чайковский — Мекк

Clarens.
10/22 марта 1878 г.

Дорогая моя Надежда Филаретовна! Какие у нас здесь чудные дни наступили! Сразу после двухнедельной непогоды наступила весна во всей своей прелести. Солнце ярко светит и греет. Деревья пускают почки, появилась масса полевых цветов и в довершение всего лунные ночи. Не могу Вам передать, мой друг, до чего я наслаждаюсь всем этим. Мне так хорошо, я так покоен, доволен собой по причине успешной работы, здоровье мое в таком превосходном состоянии, в будущем так мало тревожного и грозного, что я смело могу назвать мое теперешнее состояние счастьем. Могу ли я при этом не вспомнить, кому я всем этим обязан и кто причина тому, что я могу дышать полной грудью, могу назло Шопенгауеру в каждую минуту дня проникаться чувством любви к жизни и к природе? Будучи несколько суеверен и вспоминая, что еще так недавно с ч а с т ь е мне казалось чем-то совершенно невозможным, я иногда пугаюсь, и мысль о непрочности счастья промелькнет с быстротой молнии в голове, но тотчас же вспомню о Вас, и на душе снова радостно и покойно.

Первая часть скрипичного концерта уже готова [1]. Завтра приступлю ко второй. С того дня как благоприятное настроение наступило, оно не оставляет меня. В таком фазисе духовной

жизни сочинение утрачивает вполне характер труда: это сплошное наслаждение. Пока пишешь, не замечаешь, как время проходит, и если б никто не являлся прерывать работу, просидел бы целый день не вставая. Но я не отступаю от установленного порядка, и в оба последние дня благодаря чудной погоде наши послеобеденные прогулки были очень отдаленные и полные самых приятных ощущений. Вчера мы ходили в Веве, но не по большой дороге, а по прелестной тропинке. Сегодня я ходил один в горы. Об России я думаю с величайшим удовольствием, т. е., несмотря на то, что мне здесь так хорошо, я все-таки рад буду очутиться в родной сторонке. Но не могу скрыть от Вас, что Каменка по известным Вам причинам несколько пугает меня. То же самое я могу сказать и о Москве. Мне так же сильно хочется видеть родной город, как мало хочется снова потянуть свою консерваторскую лямку. Однако же и то и другое, т. е. Каменка и консерватория, неизбежны. Впрочем, я знаю вперед, что в Каменке мне будет несколько неловко только в первое время, а что касается консерватории, то очень может быть, что я добьюсь от Рубинштейна сокращения числа моих часов. У него какая-то страсть делить учеников на множество классов без всякой надобности,— дескать, коли тебе платят жалованье, так сиди как можно больше, хотя бы это и не было нужно. Но это все еще далеко, а в ближайшем будущем, т. е. в начале апреля, надо будет прямым путем отправиться в Каменку. Модест в конце апреля уже должен будет отправиться в деревню к Колиным родителям, а я во что бы то ни стало хочу провести с ним первое время в Каменке. Мне легче будет расстаться с ним там, чем здесь. Тяжело мне будет это расставанье.

На прошлой неделе я прочел в письме Вашем предположение, что брат Анатолий имеет вид человека, довольного жизнью. Как раз дня через три после этого я получил от него письмо, в котором он жалуется на хандру и скуку. Хотя он просит меня не придавать этому большого значения, но письмо это несколько обеспокоило меня, и мне до того страстно захотелось повидаться с ним, что я тотчас же написал ему письмо с просьбой приехать на святой неделе в Каменку. Перспектива свидания с этим милым моему сердцу человеком очень пленяет меня. Я имею основание думать, что причина его хандры отчасти та, что он обо мне соскучился. Очень меня любят братья мои, но зато уж и я отплачиваю им и, если это возможно, даже с излишком. Как раз в то время, как я пишу Вам это письмо, в Москве идет концерт Рубинштейна. Были ли Вы на нем? Я воображал Вас сидящею на хорах в уголку. Мне было бы очень приятно узнать, что Вы были на этом вечере и слышали мой концерт. А не правда ли,

что на хорах лучше слушать музыку, чем среди элегантной нижней публики, которая меньше всего интересуется музыкой?

Будьте здоровы, дорогая моя.

Ваш крепко любящий вас

П. Чайковский.

112. Мекк — Чайковскому

1878 г. марта 10—11. Москва.

Москва.
10 марта 1878 г.

На этот раз хочу написать Вам короткое письмо, мой милый, славный Петр Ильич, потому что спешу послать Вам условия нашего мира с Турцией, которыми я en résumé * недовольна. Зачем не взяли Эрзерума на Кавказе и части броненосного флота, и зачем отходящие земли идут в счет денежной контрибуции? Я боюсь, что таким образом мы останемся в убытке от ведения войны, потому что нам она стоила страшных денег, и я надеялась, что мы не только вернем себе эти расходы, но и поправим вообще наш денежный рынок усилением металлического фонда, а тут вдруг оказывается, что две трети уйдут на приобретение враждебных нам земель и племен. Бог с ними,—нам надо друзей, а врагов и без того у нас много. Ну, уж я не знаю, к чему найдет придраться Англия; в мирном договоре почти все статьи есть только реализация Константинопольской конференции. Сказания иностранных газет о смертности в Петербурге, конечно, преувеличены, но все-таки там очень сильно свирепствует эпидемия тифа, дифтерита, оспы и др. У нас в Москве пока, бог милует, не так сильно, но страшно вскрытие рек. Все газеты наполнены докторскими гигиеническими наставлениями. У меня во всем доме расставлена карболовая кислота, каждый день делают вспрыскивание всех комнат жидкостью, уничтожающею инфузорий. Эти миазматические болезни и средства предохранения от них обращаются в манию у всех, кроме тех блаженных домохозяев города Москвы, которые все нечистоты со своих дворов вывозят на улицу или берегут их у себя же на дворах и в садах и этим распространяют le fléau terrible **. Весна у нас подвигается, несколько дней стоит прекрасная погода. Милочка vient de me charger de Vous dire qu'il fait très-chaud ici et qu'elle a grande envie de Vous voir ***. Это ее подлинные слова, а это

---

* в общем.

** страшный бич.

*** только что поручила мне передать Вам, что здесь очень жарко и что ей очень хочется Вас видеть.

trèschaud происходит, главным образом, оттого, что она тут около меня шалит, валяется на ковре при теплом солнце, которое светит прямо в комнату. Она разогрелась до-нельзя, щеки стали совсем пунцовые.

Вы спрашиваете, друг мой, знаю ли я Lalo? Очень хорошо знаю, и он мне чрезвычайно нравится своею удивительною оригинальностью, о которой нельзя вполне судить, впрочем, по его симфонии, потому что это есть вещь характерная и в ней характер выдержан с начала до конца; замечательно тем более, что это не есть готово взятые народные мелодии. Я знаю почти все испанские песни, потому что, когда мы жили в Пиринеях, я приобрела собрание народной музыки и бесчисленное множество романсов и мои дочери очень много их поют, но у Lalo нет ни одной из них, а все они, вероятно, в его симфонии сочинены им же, и так характерно, как только может сочинить сам испанец. Но чтобы судить о его музыкальной оригинальности, надо прочесть его скрипичный концерт; этот интересен чрезвычайно. Я его, т. е. Lalo, так же определила, как и Вы,—что он на сердце действует очень мало, а на ум очень много и очень приятно. Его сочинения очень смелы, блестящи, но без всякой натянутости, он не впадает в крайность, не гонится ни за чем, его оригинальность присуща его натуре, потому и вполне свободна' легка. А знаете ли Вы, милый, скрипичный концерт Goldmark'a? Это также мне очень нравится, но он совсем в другом роде, чем Lalo, в нем нет такого блеска, такой оригинальности, но зато гораздо больше задушевности, и в музыкальном отношении он совсем в другом роде. Здесь композитор сумел удержать золотую середину между классическими основаниями старой школы и прогрессивным стремлением новой. Мне чрезвычайно мило видеть в нем, как бережно и заботливо он хранит эти старые традиции, но вместе с тем на этой старой почве он сеет прелестные новокультивированные цветы. Там старому величественному стилю баховского характера дана такая свежая, милая, но вместе с тем строгая разработка, что я испытываю каждый раз самое приятное чувство, играя его, тем более, что в настоящее время, в которое такие Вагнеры и К° топчут ногами самые фундаментальные права действительных основателей искусства. Очень приятно слышать человека, который, идя естественным движением вперед, тем не менее уважает тех, которые дали ему возможность к этому прогрессу, понимает, что не будь Palestrin'ы, Cherubini, Bach'a, Beethoven'a, так не было бы и музыки, а не будь Вагнера, так музыка не искажалась бы, не эксплоатировалась бы как средство выдвинуться самому. Если Вы не знаете этого концерта

Goldmark'a, Петр Ильич, то познакомьтесь с ним; мне очень интересно знать Ваше мнение. Я сама гораздо больше люблю новую музыку, чем старую, но не люблю, когда ею злоупотребляют, и не могу выносить неуважения к создателям музыки. Я знаю почти все, что является нового в музыкальной литературе, и меня бесят такие господа, которые зарываются за пределы даже простой благовоспитанности, а таких много. Ах, вот недавно меня ужасно рассердил один из способных композиторов — Брух. Вообразите, Петр Ильич, что он вздумал подражать — кому бы Вы думали? — Lalo! Ну, есть ли в этом хоть капля логики! Это его, должно быть, Sarasate соблазнил; поэтому он написал второй концерт для скрипки, посвятил его Sarasat'у и подделывается в нем под характер его игры и для этого подражает Lalo! Первый его концерт скрипичный очень хорош, но этот второй меня совсем рассердил; главное, у него нет ни одной черты, сходной с Lalo, а подражает ему!

Что это, Петр Ильич, я никак не могу писать Вам коротких писем, это даже досадно, это недостаток силы воли... Впрочем, моя любовь к Вам есть также фатум, против которого моя воля бессильна. Отчего у Вас, дорогой мой, сердце обмирает? Вы живете в такой прелестной природе, делаете много движения, как я вижу из Ваших писем, а сон опять дурен, и сердце обмирает. Знаете, я к своему сердцу часто вспоминаю эту песню:

Что это за сердце, что,
Что за такое,
Что ни днем, ни ночью
Не дает покоя.

А кажется, и к Вашему сердцу можно то же сказать. Как бы Вам были хороши обтиранья холодною водою ежедневно, но, конечно, это очень скучная вещь. Как бы я хотела из следующего письма Вашего узнать, что это совсем прошло. Я знаю, как это тяжело; мое сердце мне буквально ни днем, ни ночью не дает покоя. Простите, дорогой мой Петр Ильич, что это письмо так испачкано, но я писала его урывками и поэтому много ошибалась.

11 Марта утро

Вчера я не успела окончить моего письма, потому что вечером поехала в концерт Рубинштейна. Что за прелесть Ваш концерт, и как он играет его, этот Рубинштейн!.. Сверхъестественно!

Его игра до того хороша, что забываешь не только весь мир, но и его собственные недостатки. Он возвышается в ней на сте-

пень божества, которого судить не приходит и в голову; правда, что это обаяние исчезает сейчас, как только слух перестает действовать на сердце, — его можно обожать только на два часа. Но Ваш концерт! О! этих сочинений не забудешь до тех пор, пока сердце бьется! Трудно сказать, что в них лучше. В этом концерте в первой части как хороша эта entrée * аккордами, сколько достоинства, величия в первой теме, и как он ее играл хорошо! Потом как я люблю последнюю часть. Какой оригинальный ритм, какое странное ощущение производит она: какого-то неопределенного, безотчетного беспокойства, на которое человек силится подействовать разумом, но не может победить его. Моей Юле также очень понравился Ваш концерт. Конечно, говорить нечего, что публикою зала была переполнена и аплодисментов было более чем достаточно. Поднесены были два лавровых венка с другим вещественным приложением, но не знаю, в какой сумме.

Надо однако кончить короткое письмо в четыре листа. До свидания, мой милый, бесценный. Не забывайте всем сердцем Вашу

Н. ф.-Мекк.

113. Чайковский — Мекк

Clarens.
12/24 марта 1878 г.

Только что я Вам успел похвалиться решительно наступившей весной, как она на другой же день опять улетела. Вчера с утра до вечера шел снег, а сегодня до того холодно, что выйти едва возможно. Очень жаль, что с самого выезда из Италии, где так упорно погода нам благоприятствовала, мы должны столько терпеть от зимы, сумрачного неба и холода; впрочем, еще раз повторю, что если на дворе серо и неприветно, то на душе у меня ясно и светло. Скучать нет времени. Вчера я получил Некрасова и третью книжку «Русской старины». Благодарю Вас, добрый друг мой, за это новое проявление Вашей неисчерпаемой заботливости обо мне. Теперь у меня обильная пища для чтения. Вчера я с величайшим увлечением читал третью книгу Jacolliot об Индии «Le pays des Perles». Здесь я встретил новую массу необычайно интересных сведений об этой чудной стране. Между прочим, к стыду моему, я только из этой книги узнал сущность религиозных верований у индусов. Оказывается, что христианство есть не что иное, как

* вступление

браманизм, пересаженный на еврейскую почву. Божество состоит из трех лиц. Второе из них, В и ш н у, есть с ы н б о ж и й, воплотившийся в личность Х р и с т н ы, пришедшего на землю искупить грехи человечества и умереть насильственною и позорною смертью. У индусов то же предание о потопе; у них есть свой Н о й (Вайвасатва) с ковчегом. Первый человек у них назывался А д и м а, первая женщина — Г е в а; святая дева, Д е в а н а г ю и, подобно нашей Марии, родила Х р и с т н у вследствие сошествия на нее лучей божественного Вишну и т. д. Как я далек был от мысли, что христианство до такой степени близко к браманизму. Есть от чего призадуматься, вникая в основание нашей религии и сравнивая ее с верованиями индусов. Поразительно интересны также у Jacolliot рассказы о факирах — укротителях змей.

Из присланных Вами поэтов я перечел многое у А. Толстого, и с большим удовольствием. Этот талант не первоклассный и не гениальный, но не лишенный своеобразия, оригинальности и всегда изящный. Я никогда не был большим поклонником Некрасова, подобно тому, как Вы не могли серьезно отнестись к Шопенгауеру, вследствие того что этот пессимист и не воображал прикладывать свою теорию к практике. Я никак не могу забыть, что Некрасов, этот защитник слабых и угнетенных, этот демократ, этот негодующий каратель барства во всех его проявлениях, был в жизни настоящий барин, т. е. проигрывал и выигрывал с о т н и т ы с я ч рублей в карты, очень ловко затеивал и приводил в исполнение литературные аферы, не хуже Краевского умел чужими руками жар загребать и т. д. Я не могу также забыть, что в 1864 году, когда Муравьеву давали в Английском клубе обед, он прочел стихи в честь его деятельности по усмирению мятежа, тогда как всем было известно, что он не сочувствовал ему и в глубине души его ненавидел [1]. Очень может быть, что я ошибаюсь, да и, наконец, формулируя свое суждение о том или другом художнике, вовсе не следует иметь в виду его частные обстоятельства. По крайней мере, я нередко слышал, что смешивать в художнике его литературные качества с человеческими есть плохой и несправедливый критический прием. Из этого следует, что я плохой критик, ибо никогда я не могу отделить одну от другой эти две стороны в художнике. Но и независимо от человеческих качеств Некрасова (которого я, впрочем, лично не знал и, следовательно, весьма может быть, обвинял совершенно напрасно) меня смущает в его поэзии какая-то неопределенная фальшь, и я помню несколько пьес его, делавших на меня всегда неблагоприятное впечатление своею напускною слезливостью, натянутостью, отсутствием н е п о-

средственности, которая свойственна настоящим художникам, не изломанным и не исковерканным тенденциозностью. Я знаю, что Вы диаметрально противоположного мнения. Прочту всего Некрасова от доски до доски и постараюсь проверить себя. Очень рад буду сойтись с Вами и в этом, как в столь многом другом, неоцененная моя Надежда Филаретовна. Полагаю, что на-днях получу и письмо от Вас. Посылаю Вам карточку, которую мы сняли сегодня в балагане у странствующего фотографа. Она стоила один франк и была готова в несколько секунд. Мне кажется, что есть сходство.

Горячо Вас любящий

П. Чайковский.

Коля сегодня нездоров, но ничего серьезного нет. Теперь он заснул. У него была мигрень.

114. Чайковский — Мекк

Clarens,
13/25 марта 1878 г.

Только что отправил Вам письмо, дорогой друг мой, как получил Ваше. Оно меня глубоко тронуло. Лучшие минуты моей жизни те, когда я вижу, что музыка моя глубоко западает в сердце тем, кого я люблю и чье сочувствие для меня дороже славы и успехов в массе публики. Нужно ли мне говорить Вам, что Вы тот человек, которого я люблю всеми силами души, потому что я не встречал в жизни еще ни одной души, которая бы так, как Ваша, была мне близка, родственна, которая бы так чутко отзывалась на всякую мою мысль, всякое биение моего сердца? Ваша дружба сделалась для меня теперь так же необходима, как воздух, и нет ни одной минуты моей жизни, в которой Вы не были бы всегда со мной. Об чем бы я ни думал, мысль моя всегда наталкивается на образ далекого друга, любовь и сочувствие которого сделались теперь краеугольным камнем моего существования. Когда я сочиняю, то всегда у меня в уме мысль, что то, что я в данную минуту пишу, будет услышано и прочувствовано Вами, и эта мысль заранее вознаграждает меня за все непонимание, за все те несправедливые и подчас обидные суждения, на которые я обречен со стороны массы, и не только массы, а даже так называемых друзей. Напрасно Вы предполагаете, что я могу найти что-нибудь странное в тех ласках, которые Вы мне высказываете в письме Вашем. Принимая их от Вас, я только смущаюсь одной мыслью. Мне всегда при этом кажется, что

я мало достоин их, и это я говорю не ради пустой фразы и не ради скромничанья, а просто потому, что в эти минуты все мои недостатки, все мои слабости представляются мне особенно рельефно.

Что касается перемены Вы на ты, то у меня просто не хватает решимости это сделать. Я не могу выносить никакой фальши, никакой неправды в моих отношениях к Вам, а между тем, я чувствую, что мне было бы неловко в письме отнестись к Вам с фамильярным местоимением. Условность всасывается в нас с молоком матери, и как бы мы ни ставили себя выше ее, но малейшее нарушение этой условности порождает неловкость, а неловкость в свою очередь — фальшь. Между тем, я хочу быть с Вами всегда самим собой и эту безусловную искренность ценю выше всякой меры. Итак, друг мой, предоставляю Вам решить этот вопрос. Та неловкость, о которой я говорил выше; разумеется, пройдет по мере того, как я привыкну к перемене, но я счел долгом предупредить Вас о том, что мне придется вначале несколько насиловать себя. Во всяком случае, буду ли я с Вами на Вы или на ты, сущность моего глубокого, беспредельного чувства и любви к Вам никогда не изменится от изменения формы моего обращения к Вам. С одной стороны, для меня тяжело не исполнить тотчас же всякое малейшее Ваше желание, с другой стороны, не решаюсь без Вашей инициативы принять новую форму. Скажите, как поступить? До Вашего ответа буду писать Вам попрежнему.

Сейчас же напишу письмо брату Анатолию и сообщу ему об известном Вам обстоятельстве и кстати попрошу его во всех подробностях описать мне процедуру развода. Я надеюсь, как я уже вчера писал Вам, что на святой неделе мы с ним увидимся и обстоятельно поговорим об этом деле. Разумеется, в свое время я извещу Вас о решении, к которому мы придем.

Из последнего письма брата я вижу, что в прошлую субботу (11-го числа) в Петербурге исполняли мою «Франческу» [1]. Так как я ни вчера, ни сегодня не получил никакой телеграммы по этому поводу, то заключаю из этого, что вещь моя или не понравилась или прошла незаметно. Если б не Ваше письмо, я бы грустил по этому поводу. Очень может быть, что Направник не приложил к исполнению необыкновенно сложной и трудной пьесы того старания, какое было нужно. Он уже портил не одну мою пьесу. Много терниев на пути моем, и нет меры благодарности той, которая дает мне возможность мужественно переносить их уколы, подчас очень мучительные. Мне доставило много отрады все то, что Вы мне пишете о сочувствии учеников консерватории ко мне и к моей музыке. Не сомневайтесь в том,

что Пахульский встретит во мне всяческое поощрение, когда я ознакомлюсь ближе с его музыкальной организацией. Так как мне нужно сейчас написать еще несколько писем, то я откладываю мой более подробный ответ на Ваше письмо до завтра.

Беспредельно любящий Вас

П. Чайковский.

115. *Мекк — Чайковскому*

Москва,
13 марта 1878 г.

Только что получила Ваше письмо, мой добрый, дорогой друг. Вы так балуете меня Вашими письмами, мой бесценный, что мне, право, совестно, тем более, что Вам приходится так много писать другим, что Вам должно надоедать это занятие. Пожалуйста, мой милый, хороший, не принуждайте только себя к этому и не лишайте себя дорогого в Ваших руках времени. Я очень рада, что присланные книги доставляют Вам удовольствие, разрезаны же они spécialement pour Vous, pour Vous épargner l'ennui de le faire *. Исполняла эту работу Соня, которая и для меня всегда разрезает книги, а «Русскую старину» я сама также получаю, но не читаю записок Серова, потому что знаю о нем из многих воспоминаний и критики о нем, которые я читала и из которых он мне очень не нравится. Я не люблю таких самообольщенных людей, и мое убеждение есть то, что такие люди и не идут далеко; Серов подтверждает мне это. Вы имеете принцип, мой милый друг, который я очень уважаю, к которому, применяя к делу, постоянно стремлюсь, но относительно одного предмета — чтения — не могу подчиниться ему. Этот принцип, о котором Вы поминаете в Вашем последнем письме, есть — не начинать нового занятия, не окончивши предыдущего. У меня, напротив, всегда несколько книг лежат на столе, которые я все разом читаю. Так, в настоящую минуту у меня лежат: биография Жорж Занд, написанная ею самою; ее же роман «Lucrezia Floriani»; «История польской революции 1830 г.» Смита; сочинения Некрасова; «Marie-Antoinette et sa famille» par Lescure; «Исторические и критические опыты» Карлейля; «Иезуиты» Самарина; «История XVIII и XIX столетий» Шлоссера; польский роман Ежа; «Les soirées de l'orchestre» par Berlioz и несколько журналов. Такой калейдоскоп образуется вследствие того, что

---

* специально для Вас, чтобы избавить Вас от этого скучного занятия

я имею мало времени для чтения, а читать-то хочется многое,— так я читаю разом несколько сочинений понемножку. А мало времени для чтения потому, что у меня много других дел, неотменимых, неотразимых, и хотя я имею многих исполнителей, но вся работа обдумывания и распоряжения лежит на мне, все исполняется по моей инициативе, я даже не могу выпросить у некоторых из исполнителей моих дел, чтобы они решали собственною волею и по собственному соображению. Один из них, главный директор нашей железной дороги, очень наивно отвечал мне, что он может это исполнить тогда, когда идет все гладко и хорошо; но когда является затруднение, то как же он без меня его решит. С еще большею щепетильностью поступает мой брат Александр, которого Вы знаете.

Посылаю Вам, друг мой, вырезку из газеты, в которой говорится о Вас и из которой Вы увидите, что Вас очень хорошо помнят, а если не хвалят, то это для того... чтобы... да нет, уж лучше не скажу, для чего. Ник[олай] Григор[ьевич] будет играть опять Ваш концерт в Петербурге в этот четверг в пользу Красного креста [1]. Я очень рада, что и в Петербурге он будет сыгран. Мне так хотелось бы, чтобы Ваши сочинения распространились побольше за границею; ведь в этом говорит моя русская гордость; мне так обидно, что так много знают Рубинштейна, этого композитора-космополита, а нашего русского pur sang *, характерного композитора, гордость России, Вас, мой милый друг, не имеют возможности узнать. А Рубинштейн Ваш и теперь поставил в Вене своих «Маккавеев», и они производят фурор. Он дает там также два концерта. Русскую же музыку, имея два такие перла, как Глинка и Чайковский, я желала бы пропагандировать фанатично, а тут нигде за границею даже достать нельзя Ваших сочинений. Скажите Юргенсону, милый мой, чтобы он побольше продавал их за границу. Как я рада, что в последнем концерте опять будут играть Вашу музыку из «Снегурочки» [2]. Вы спрашиваете, милый, знаю ли я Ваш концерт; как же я могу не знать его? Я сама все наигрываю последнюю часть. У меня есть в с е решительно Ваши сочинения. Скажу Вам о концерте Рубинштейна с материальной стороны. Поднесли ему по подписке от членов общества пять тысяч четыреста рублей, а всего им собрано за этот концерт около десяти тысяч рублей. Это довольно хорошо, но я нахожу, что он за свое путешествие вокруг России заслуживал еще большего, но он, как слышно, доволен. А опера Gounod «Cinq Mars» провалилась в Милане [3], а в Петербурге понравилась, но это по инер-

* чистокровного

ции, данной «Фаустом». Я получила концерт Scharwenka для фортепиано, о котором я Вам писала, что Bulow'y он показался похожим с Вашим; но сколько я успела просмотреть его, то он мне совсем не нравится, и вообще скрипичный композитор Scharwenka Philipp гораздо увлекательнее. Мне прислали из Парижа фотографию Sarasat'a, а Lalo еще не нашли. Французы уверяют, что Lalo француз. Я этого не признаю; у него совсем испанский характер, и я его считаю испанцем, а французы очень любят приписывать себе то, что хорошо. Ларош очень хвалит «Carmen» и вообще Bizet; жаль, что такой способный музыкант уже не существует. Здесь прошел слух, что Иоахим умер; правда ли это? Это было бы очень жаль. После концерта Рубинштейна он сделал ужин для своих друзей, нескольких бывших учеников и оркестра (театрального), и на этом ужине присутствовавший оркестр поднес ему также какой-то подарок. Окончился этот ужин в шесть часов утра, как рассказывал Галли, бывший Ваш ученик, а ныне учитель моей Сони. Вот субъект, который меня также интригует. Не можете ли Вы мне разрешить эту загадку, мой милый друг? Он от природы весьма недалек, а между тем сочиняет премило; прошлую зиму он играл мне очень часто свои сочинения, и они мне очень нравились, а разве глупые люди могут сочинять хорошо? Правда, у него нет своего характера в сочинениях, больше всего на нем слышно влияние Chopin, но все же и для такого подражания, мне кажется, необходим ум. Играет он о ч е н ь хорошо, и я очень довольна его уроками, тем более, что Соня c'est l'enfant terrible de la famille, volontaire et emportée jusqu'a l'excès et il faut un grand savoir-faire pour la réprimer; mais lui il a su s'y prendre très bien et parvient à la faire faire des progrès *.

Мои петербургские мальчики также учатся музыке: Коля на скрипке, а Саша на фортепиано; Коля большой лентяй, а Саша очень любит музыку, и я ему все твержу, что я была бы очень рада, если бы он пошел Вашей дорогою, т. е. окончил бы курс в Правоведении, а потом сделался бы музыкантом. У меня есть также замечательный музыкальный курьез в семействе: моя дочь Лида, которая замужем за Loewis of Menard, не имеет абсолютно н и к а к о й способности к музыке, училась на фортепиано лет восемь и не выучилась играть ни одной гаммы верно, замечательно неспособна к музыке, но поет предесть как мило, как музыкально хорошо, изящно, какая фразировка, просто

---

* это горе семьи, она своевольна и вспыльчива до крайности, и нужно большое уменье, чтобы ее сдерживать; но он отлично сумел взяться за это дело, и ему удалось добиться с нею успехов.

заслушаться можно, и это только вследствие удивительной способности подражания, при, конечно, очень красивом голосе mezzo-soprano. К тому же, у нее были очень хорошие учителя, и она много слышала хороших певиц и певцов; я называю ее моим соловейчиком.

Опять я записалась. До свидания, мой милый, расхороший друг. Очень, очень благодарю Вас за письма, хотя я, право, не балуюсь, потому что ценю их очень глубоко. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

116. Чайковский — Мекк

Clarens.
14/26 марта 1878 г.

Сейчас прочел газету и нахожусь под тяжелым впечатлением прочитанного. Нет почти никакого сомнения, что война будет. Это ужасно! Мне кажется, что теперь, когда я не буду отвлечен собственным личным горем от общего, я буду гораздо болезненнее, живее чувствовать раны, наносимые нашей родине. Я не сомневаюсь, что в конце концов Россия и вообще славянский мир возьмет свое хотя бы уж потому, что на нашей стороне правда, честность, истина, тогда как на стороне наших врагов, т. е. англичан, исключительно купеческие расчеты, эгоизм, бессердечие. Господи, как глубоко я ненавижу это омерзительное отродие, особенно после книг Jacolliot, который разоблачил всю неимоверную подлость английской администрации в Индии. Но я рад, что во время войны буду находиться в России. Много неприятных минут пришлось мне вынести на чужбине, видя то злорадство, с которым принимались везде известия о наших малейших неудачах, и, наоборот, злобу, когда на нашей стороне была победа. Но если Ваше предположение провести зиму или часть зимы в Италии осуществится, то Вашему патриотическому сердцу придется подчас сильно страдать; мой друг. Авось минует нас чаша сия!

Мне весьма приятно было найти в Вашем письме новое доказательство умственного родства моего с Вами. Ваше мнение о нашем верховном правительстве буквально сходится с моим. Я, как и Вы, большой сторонник нашей династии, люблю государя всем сердцем, питаю большую симпатию к наследнику и, как Вы, сокрушаюсь об образе правления, от которого и происходят все слабости, все темные стороны нашего политического развития. Не входя в особенные подробности, упомяну о финансах. До какой степени очевидно, что, если бы наши финан-

сы находились под контролем народного представительства, кредит России не мог бы стоять так низко на европейских рынках! Какие бы крупные шаги сделало народное обучение, если бы мы сами могли вмешиваться в эти вопросы! Как бы оживилась Россия, если б государь закончил свое удивительное царствование дарованием нам политических прав! Пусть не говорят, что мы не дозрели до конституционных форм. Ведь говорили же, что мы и для новых судов не дозрели. Когда вводились новые суды, как часто слышались сетованья, что у нас нет ни прокуроров, ни адвокатов. Однакож и то и другое оказалось. Найдутся и депутаты, найдутся и избиратели.

Вообще у нас на всякий спрос могут явиться подходящие люди, за одним только исключением. Я говорю здесь о моей специальности. Оттого ли, что консерватория (Московская) несколько насильственно всажена в московскую почву деспотической рукой Рубинштейна, оттого ли, что т е о р и я музыки вообще не приходится под склад русской головы, но только ничего нет труднее, как найти преподавателя теории. Я упоминаю об этом по тому поводу, что, как я ни низко ценю свои преподавательские способности, как я ни ненавижу свою педагогическую деятельность, но я все-таки нужен консерватории. Если б я покинул свое профессорство, то решительно некого было бы взять на мое место. И вот почему я считаю своим долгом оставаться в консерватории до тех пор, пока я не получу убеждения, что с моим исчезновением она ровно не теряет ничего. Все это я говорю Вам оттого, дорогая моя, что в последнее время я много и много думал о том, нельзя ли мне как-нибудь сбыть с плеч эту тяжелую обузу. Особенно теперь, после годичного отдыха, куда как тяжело покажется мне мое профессорство! Я Вам не могу дать и приблизительного понятия о том, до чего эта деятельность тошна для человека, не имеющего к ней призвания. Еще когда я сижу в классах мужских, я, по крайней мере, имею перед собой массу очень неразвитых юношей, но все-таки будущих музыкантов по ремеслу, будущих скрипачей, волторнистов, учителей и т. д. Как ни трудно им двенадцать лет сряду вбивать в голову, что трезвучие состоит из терции и квинты, но тут, по крайней мере, я чувствую, что внушаю им сведения, для них необходимые. Тут я делаю дело. Но женские классы! Боже мой, что это такое! Из шестидесяти или семидесяти барышень, обучающихся у меня гармонии, четыре, много пять, таких, из которых выйдут действительные музыкантши. Все остальные поступили в консерваторию от нечего делать или же с целями, не имеющими с музыкой ничего общего. И никак нельзя сказать, чтоб они были непонятливее, ленивее юношей. Скорее наоборот.

В женщинах больше добросовестности, больше старания, даже больше понятливости. Они скорее осваиваются с новым правилом, но все это только до некоторой степени. Как только приходится правила применять не механически, а по собственной инициативе, все эти барышни, быть может, одушевленные очень хорошими намерениями, но по большей части совершенно бездарные, становятся невыносимы. Иногда я теряю с ними всякое терпение, теряю способность понимать, что кругом меня делается, и впадаю в припадок невыразимой злобы и на них и в особенности на себя. Мне кажется, что другой, более терпеливый, мог бы добиться лучших результатов. А главное, меня приводит в отчаяние то, что все это н и к ч е м у, все это пустая комедия. Какую массу консерватористок мне приходилось обучать теории музыки, и какое ничтожное число между ними явилось в консерваторию с серьезными целями! Как мало из них таких, для которых стоило убиваться, сердиться, стараться, из кожи лезть, для которых мое преподавание имело сколько-нибудь серьезное значение. Много других неприятных сторон имеет мое профессорство.

И тем не менее, я д о л ж е н, я о б я з а н продолжать тянуть эту лямку. Меня очень обрадовало все, что Вы мне пишете о сочувствии ко мне учеников. Мне всегда кажется, что все они должны ненавидеть меня за мою раздражительность, переходящую иногда за пределы приличия, за мои распекания и вечное недовольство. Очень приятно иметь доказательство противоположного.

Вы спрашиваете меня, дорогая моя, о Толиной элоквенции *. Я никогда его не слышал на суде. Говорят, что речь его плавная, последовательная и приятная благодаря симпатичности голоса. Вообще он пользуется хорошей репутацией, и карьера его упрочена. Мягкость его характера, доброта сердца, скромность, простота заслуживают ему общую любовь и начальников и подчиненных.

Ваше предположение, что я д о к а по части юриспруденции, есть, к сожалению, заблуждение. Хотя я вышел из Училища по первому разряду, но в наше время так учили, что наука выветривалась из головы тотчас после выпуска. Только потом, на службе и частными занятиями можно было как следует выучиться. А у меня вследствие музыкальных занятий испарилось уже давно то немногое, что я вынес из Училища. Не беспокойтесь за своих правоведов; теперь там давно уже другие порядки и более серьезное ведение дела. В мое же время Училище право-

* красноречии.

ведения давало только скороспелых юристов-чиновников, лишенных всякой научной подготовки. Благотворное влияние правоведов прежнего типа сказалось только тем, что в мир сутяжничества и взяточничества они вносили понятия о честности и неподкупности.

Концерт мой идет хорошо. Я уже дошел до финала, и скоро он будет готов. Скоро опять буду писать. До свиданья, дорогой друг.

Бесконечно преданный
П. Чайковский.

Сегодня з и м а в буквальном смысле слова. Снег лежал целый день. Дует холодный ветер.

117. Чайковский — Мекк

Clarens.
16/28 марта 1878 г.

Не удивляйтесь, дорогой мой друг, что все почти свои письма я начинаю известиями о погоде. Можно ли не говорить о ней, когда мы в течение почти трех недель все живем в ожидании хороших дней и до сих пор не можем дождаться их! Было два хороших дня — и только. Сегодня так же холодно, серо, сыро, грустно, как и все последнее время. Я начинаю негодовать и раздражаться.

Вчера получил я Ваше письмо с известием о концерте Рубинштейна. Очень рад, что мой концерт Вам понравился. Что касается исполнения его Н[иколаем] Г[ригорьевичем], то я был совершенно уверен в том, что он сыграет его превосходно. В сущности, этот концерт для него написан и рассчитан на его громадные виртуозные силы.

Как мне приятно было увидеть из Вашего письма, что Вы так зорко следите за всеми музыкальными новыми явлениями. Едва появился новый концерт Бруха, а уж Вы его знаете. Мне он не известен. Я не знаю также концерта Гольдмарка, о котором Вы пишете. Мне известна только одна его вещь, оркестровая увертюра «Сакунтала», и одна камерная: квартет. И то и другое очень талантливо и симпатично. Это один из немногих немцев-композиторов со свеженькой, самостоятельной струйкой искреннего вдохновения.

Отчего Вы не любите Моцарта? В отношении его мы с Вами расходимся, дорогой друг. Я Моцарта не только люблю, — я боготворю его. Лучшая из всех когда-либо написанных опер — для

меня «Дон-Жуан». Вы, которая обладаете такою тонкой чуткостью к музыке, должны бы были любить этого идеально чистого художника. Правда, что Моцарт слишком щедро расточал свои силы и очень часто писал не по вдохновению, а ради нужды. Но прочтите его жизнеописание, превосходно написанное Otto Jahn'ом, и Вы увидите, что он не мог поступать иначе. Да ведь и у Бетховена и у Баха есть масса слабых вещей, недостойных стоять рядом с их chef-d oeuvr'ами. Такова была сила обстоятельств, что им приходилось иногда обращать свое искусство в ремесло. Но возьмите оперы Моцарта, две-три его симфонии, его Реквием, шесть квартетов, посвященных Гайдну, G-moll'ный струнный квартет. Неужели во всем этом Вы не находите никакой прелести? Правда, что Моцарт захватывает не так глубоко, как Бетховен; размах его менее широк. Как в жизни он был до конца дней беспечным ребенком, так и в музыке его нет субъективного трагизма, столь сильно и мощно сказывающегося в Бетховене. Это однакож не помешало ему создать объективно трагическое лицо, самое сильное, самое поразительное из всех обрисованных музыкой человеческих образов. Я говорю о Донне—Анне в «Дон-Жуане». Ах, как трудно заставить другого находить в той или другой музыке то, что сам в ней находишь! Я не в состоянии передать Вам, что я испытывал, слушая «Дон-Жуана», когда на сцене является величавый образ мстительной, гордой красавицы Донны-Анны. Ничто ни в какой опере так сильно на меня не действует. Когда Донна-Анна узнает в Дон-Жуане того человека, который не только оскорбил ее гордость, но и убил ее отца, когда ее злоба, наконец, бурным потоком изливается в гениальном речитативе и потом в этой дивной арии, где злоба и гордость чувствуется в каждом аккорде, в каждом движении оркестра, — я трепещу от ужаса, я готов закричать и заплакать от подавляющей силы впечатления. А ее плач над трупом отца? А дуэт с Дон-Оттавио, где она клянется отмстить, а ее ариозо в большом секстете на кладбище, — все это недосягаемые, колоссальные оперные образцы!

Я до того люблю музыку «Дон-Жуана», что в ту минуту, как пишу Вам, мне хочется плакать от умиления и волнения. Я не могу спокойно говорить об этом. В камерной музыке Моцарт пленяет прелестью, чистотой фактуры, удивительной красотой голосоведения, но иногда встречаются и вещи, наводящие на глаза слезы. Укажу Вам на Adagio из G-moll'ного квинтета. Никто и никогда с такою красотой не выражал в музыке чувства безропотной, беспомощной скорби. Когда это Adagio играл Лауб, то я всегда прятался в самый отдаленный угол залы, чтобы не видели, что со мной делается от этой музыки.

Ради бога, прочтите объемистую, но интересную книгу О т т о Я н а о Моцарте. Вы увидите из нее, что это была за чудная, безупречная, бесконечно добрая, ангельски непорочная личность. Это было воплощение идеала великого художника, творящего в силу бессознательного призыва своего гения. Он писал музыку, как поют соловьи, т. е. не задумываясь, не насилуя себя. И до чего ему легко было писать! Он никогда не писал черновых набросков. Его гениальность была до того сильна, что все свои сочинения он писал прямо партитурой. Он их отделывал в голове до мельчайших подробностей и очень часто выписывал сначала всю партию т р у б ы или другого инструмента, потом принимался за другое сочинение, тоже заготовленное уже в воображении, потом снова возвращался к первому и т. д. Для него не существовало никаких трудностей. Десятилетним мальчиком он уже владел до совершенства техникой своего дела. Он вел жизнь очень рассеянную и безалаберную. Когда он успевал делать все, что он сделал, совершенно непонятно. Г у м м е л ь маленьким ребенком жил у него в качестве ученика и впоследствии рассказывал про него много интересных подробностей. Уроки свои он давал очень небрежно, т. е. редко и в самые странные часы. Иногда, возвратившись ночью с пирушки, он будил маленького Гуммеля и начинал с ним очень усердно заниматься. Но его доброта, его детская незлобивость были так обаятельны, что Гуммель привязался к нему горячо. Однажды, уже впоследствии, Гуммель давал концерт в Праге. Если не ошибаюсь, ему в то время было лет двенадцать. Случилось, что в день концерта Моцарт попал в Прагу, кажется, для репетиций «Дон-Жуана», и, узнав, что идет концерт Гуммеля, поспешил туда. Когда он входил в залу, Гуммель, сидевший за инструментом, увидел и узнал его. В одну секунду он вскочил с эстрады и мимо рядов сидевшей публики бросился к своему учителю и стал обнимать и целовать его, разливаясь слезами, к великому скандалу всех при этом присутствовавших. Его все любили, у него был самый чудный, веселый, ровный нрав. Гордости в нем не было ни капли. При встречах с Гайдном он самыми искренними, самыми горячими выражениями изъявлял ему свою любовь и почтение. Чистота его души была безусловная. Он не знал ни зависти, ни мщения, ни недоброжелательства, и мне кажется, что все это слышится в его музыке, свойство которой примирять, просветлять, нежить.

Я бы мог до бесконечности говорить об этом лучезарном гении, к которому я питаю какой-то культ. Как я ни привык к разнообразию музыкальных вкусов, как ни широко я понимаю свободу перед авторитетами, но признаюсь, дорогая моя, очень бы

хотелось мне привлечь Вас на сторону Моцарта. Я знаю, что это очень трудно. Кроме Вас, я знал в жизни нескольких людей, очень тонко понимавших и горячо любивших музыку, но в то же время не признававших Моцарта. Тщетно я старался раскрыть им красоты его музыки, но никогда еще мне не хотелось так сильно привлечь в число поклонников Моцарта кого бы то ни было, как теперь Вас. В наших музыкальных симпатиях часто имеют значение обстоятельства случайные. Музыка «Дон-Жуана» была первой музыкой, произведшей на меня потрясающее впечатление. Она возбудила во мне святой восторг, принесший впоследствии плоды. Через нее я проник в тот мир художественной красоты, где витают только величайшие гении. До тех пор я знал только итальянскую оперу. Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Он дал первый толчок моим музыкальным силам, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете. Может быть, все это имеет значение в моей исключительной любви к Моцарту, и я не могу требовать, чтобы все те, кого я люблю, относились к нему, как я. Но если я сколько-нибудь буду содействовать к изменению Вашего мнения о нем, то буду очень счастлив. Если Вы когда-нибудь, послушав, например, Andante из G-moll'ного квинтета, напишете мне, что были тронуты, то я буду в восторге.

Засим мне остается просить у Вас прощения за то, что я так распространился о Моцарте. Но как же мне не желать, чтобы мой лучший, мой дорогой, неоцененный друг не преклонялся перед тем, кого я боготворю больше, чем кого-либо из художников! Как мне не попытаться, чтоб та музыка, которая заставляет меня трепетать от невыразимого восторга, не затрагивала бы, не увлекала Вас!

Я стал спать гораздо лучше, хотя не вполне хорошо. Те замирания, которые со мной случаются, не заключают в себе ничего серьезного. Это одно из многочисленных проявлений нервности[1]. Когда они становятся невыносимы, я прикладываю к сердцу компрессы из холодной воды, и это меня, в конце концов, успокаивает.

Леченье холодной водой я непременно предприму, но не теперь, а в Москве. Здесь это сопряжено с многочисленными затруднениями.

Я кончил сегодня концерт. Остается переписать его, несколько раз проиграть (с Котеком, который еще здесь) и затем инструментовать. Завтра я примусь за переписыванье и отделку частностей. Известия, что Вы часто посещаете концерты, крайне радуют меня. Это значит, что Вы здоровы.

М и л о ч к е потрудитесь передать тысячу нежностей. Будьте здоровы, дорогая моя.

Безгранично любящий Вас

П. Чайковский.

P. S. Можете ли Вы извиняться передо мной в нечистоте писанья! Мне было совестно это читать. Ваши письма в сравнении с моими так идеально красивы и изящны.

118. Чайковский — Мекк

Clarens.
18/30 марта 1878 г.

Я сегодня в самом мрачном состоянии духа. Я не могу даже работать, до того всецело поглощен грустными, безнадежно-грозными политическими известиями. Судя по тому, что Дерби вышел в отставку, нужно ожидать войны. Да и как иначе разрешится все это недоразумение? Ни Россия, ни Англия не могут уступить ни пяди из своих условий участия в конгрессе. Наконец, положим, что и конгресс состоится; к чему он может привести? Англия поражена в самое сердце тем порядком вещей, который устроился теперь на Востоке. Как глубоко я ни ненавижу англичан, но я не могу не находить, что в их озлоблении на Россию есть последовательность, есть смысл. Они не могут не трепетать за свое политическое могущество, с которым связано и их материальное благоденствие. Говоря вульгарным языком, Россия им наклеила нос. С этим наклеенным носом они теряют почву под ногами. Ведь двухсотмиллионное население Индии только тем и сдерживается, что у Англии до сих пор был неотразимый престиж силы. Узнай Индия, что политическое значение Англии компрометировано Сан-Стефанским договором, и эта страшная масса людей тотчас повторит то, что уже случилось в 1857 году [1]. Но теперь восстание сипаев примет не такие размеры. Словом, Англия должна, она не может не быть враждебной к нам. Война неизбежно должна быть.

Не ужасно ли это? Опять потекут кровавые реки; опять интересы искусства отойдут на последний план; опять убийственная мысль, что родина в опасности, будет парализовать все те проявления общественной жизни, которые не имеют прямого отношения к войне; опять Россия будет разоряться на военные издержки, тратить свои лучшие силы ради поддержания своего достоинства. Как ни гадай, как ни старайся представить себе

будущее в розовом свете, а войны не минуешь. Это все-таки лучше, чем неопределенность и неизвестность.

Я Вас еще не благодарил, дорогая моя, за условия мира. Я, как и Вы, нахожу, что они очень умеренны и очень скромны. В политических и финансовых науках я ужасный невежда. Но я не знаю, правы ли Вы, сожалея, что мы получим такое ограниченное денежное вознаграждение. Мне кажется, что нам нужны не турецкие деньги, которых у них и для собственных потребностей нет, а мир, прочный мир, который современем вознаградит и за военные издержки. Пример Франции и Германии доказывает нам, что получающий контрибуцию точно так же не обогащается, как уплачивающий ее не разоряется. Никогда Франция не была так богата, как теперь, заплативши контрибуцию. Никогда в Германии не было такого застоя в развитии промышленности, как теперь, когда она получила пять миллиардов. С другой стороны, умеренность России доказала всем здравомыслящим людям всего мира, что она дралась не из интереса, а ради великой идеи.

Природа вторит мрачному политическому горизонту. Сегодня так же, как и вчера, как и все последнее время, мы не видим солнца. Множество деревьев, уже начинавших распускаться, побиты ночными морозами. Тоска, ужасная тоска! Я не в состоянии был ничего писать сегодня. Мне как-то совестно приниматься за переписку скрипичного концерта в виду угрожающей нам музыки ядер, бомб, пуль и торпед. Побольше бы этих торпед, чтобы всех англичан взорвать на воздух!

До свиданья, моя дорогая.

П. Чайковский.

119. Чайковский — Мекк

Clarens.
19/31 марта 1878 г.

Пожалуйста, друг мой, не бойтесь, что писать Вам мне в тягость. Я пишу к Вам потому, что мне это приятно, весело; потому, что потребность говорить с Вами так сильна во мне, что мне чего-то недостает в те дни, когда я Вам не пишу. Когда я возвращусь в Москву, и жизнь потечет правильным порядком, очень может быть, что я буду писать Вам не так часто. Теперь, находясь так далеко от Вас и живя ненормальною своею жизнью, я чаще ощущаю потребность сообщаться письменно с Вами. Впрочем, в случае такой всепоглощающей работы, какою, например, была для меня спешная инструментовка симфонии, я

бы, конечно, не стал насиловать себя и писать Вам часто, несмотря на утомление. Теперешние мои работы не таковы, чтоб письмо к Вам было для меня не чем иным, кроме величайшего удовольствия.

Не смущайтесь, дорогая моя, о моей заграничной славе. Если мне суждено достигнуть этой славы, то она придет сама собой, хотя весьма вероятно, что она придет, когда уж меня не будет. Взяв в соображение, что я никогда в мои многократные путешествия за границу не делал никаких визитов тузам и не навязывал им сочинения свои, что я никогда вообще не шел навстречу своей известности за границей, нужно довольствоваться и теми маленькими успехами, которых мои вещи достигли, Известно ли Вам, что все мои фортепианные сочинения напечатаны контрафакцией * в Лейпциге, что все мои романсы тоже переведены и напечатаны в Германии, и притом отлично? Не знаю, как в маленьких городах, но в больших все мои важнейшие сочинения (кроме опер) можно достать без всякого труда, по крайней мере, в Германии, Франции и Англии. Я сам купил нынче в Вене свою Третью симфонию в четыре руки, а также переложение Третьего квартета. Я даже сюрпризом нашел там совершенно неизвестные мне дотоле переложения, как например, переложение фортепианной баркароллы (G-moll) для скрипки с фортепиано и Andante первого квартета для флейты. В Париже у Брандуса имеются все мои сочинения.

Что касается крайне редкого исполнения моих симфонических вещей за границей, то этому много причин. Во-первых, я русский и в качестве русского внушаю всякому западному человеку предубеждение. Во-вторых, опять-таки в качестве русского человека, у меня имеется чуждый для Западной Европы элемент, который иностранцам не по душе. Моя увертюра «Ромео и Юлия» игралась во всех столицах и нигде не имела успеха. В Вене и Париже ее ошикали. Недавно в Дрездене случилось то же самое. В некоторых других городах — в Лондоне, Мюнхене, в Гамбурге — она имела более счастливую судьбу, но все же я через это не вошел прочно в симфонический репертуар Германии и других музыкальных стран. Вообще о моем существовании в музыкальных сферах за границей имеют понятие. Было несколько людей, которые были мной значительно заинтересованы и всячески хлопотали о моем водворении на концертных программах, но встретили непобедимый отпор. К числу таких лиц принадлежит венский капельмейстер Ганс Рихтер, тот самый, что дирижировал оркестром в Байрейте. Он в прошлом

* Контрафакция — нарушение авторских прав.

году, несмотря на сильное сопротивление, поместил в программу одного из восьми концертов Венского филармонического общества мою увертюру. Несмотря на неуспех ее, он в нынешнем сезоне хотел исполнить мою Третью симфонию и пробовал ее на репетиции, но комитет этого Общества нашел эту симфонию слишком р у с с к о й и единогласно отверг ее. Нет никакого сомнения, что если б я ездил по всем столицам Европы, навязывал свои вещи т у з а м, то мог бы содействовать распространению своей известности. Но я скорее готов отказаться от всяких радостей жизни, чем сделать это. Господи, сколько нужно вытерпеть унижений, сколько нужно выражать этим господам притворного уважения и любви, сколько нужно вообще невыразимых страданий для самолюбия, чтоб добиться внимания этих господ! Я Вам представлю пример. Положим, что я хочу устроить свою известность в Вене. В Вене первым музыкальным тузом считается Брамс. Для того, чтобы упрочить себе положение в венском музыкальном мире, мне, следовательно, нужно итти с в и з и т о м к Брамсу. Брамс — знаменитость, я — неизвестность. Между тем, без ложной скромности скажу Вам, что я считаю себя выше Брамса. Что же я ему скажу? Если я честный и правдивый человек, то я ему должен сказать: «Господин Брамс! я считаю Вас очень бездарным, полным претензий, но вполне лишенным творчества человеком. Я Вас ставлю очень невысоко и отношусь к Вам с большим высокомерием. Но Вы мне нужны, и я пришел к Вам». Если же я нечестен и неправдив, то скажу ему совершенно противоположное. Я не могу ни того, ни другого.

Мне не нужно входить в дальнейшие подробности. Именно Вы, только Вы, да еще братья мои можете вполне понять меня. Мои московские друзья никак не могут примириться с мыслью, что я отказался от делегатства в Париже. Ведь я боялся именно тех ударов для моего самолюбия, которые неминуемо пришлось бы мне терпеть там ежеминутно. Они не могут понять, что такие крупные имена, как Лист, который будет музыкальным делегатом Венгрии, Верди и т. д., подавят меня громадностью своей репутации. Ведь всякий из тех заграничных музыкантов, которые съедутся в Париж, будет игнорировать меня в виду тех знаменитостей, среди которых мне пришлось бы пресмыкаться. Друг мой! я имею репутацию скромности, но я должен исповедаться перед Вами. Моя скромность есть не что иное, как скрытое, но большое, очень большое самолюбие. Между всеми живущими музыкантами нет ни одного, перед которым я добровольно могу склонить голову. Между тем, природа, вложив мне в душу так много гордости, не одарила меня уменьем и способностью

свой товар лицом продавать. Je ne sais pas me faire valoir *. Я болезненно застенчив, быть может от излишка самолюбия. Не умея итти навстречу к своей славе и добиваться ее по собственной инициативе, я предпочитаю ждать, чтоб она пришла сама за мной. Я давно свыкся с мыслью, что мне не придется дожить до всеобщего признания моих способностей. Вы говорите о Рубинштейне? Могу ли я сопоставлять себя с ним? Ведь он п е р в ы й современный пианист. В Рубинштейне громадный виртуоз сочетался с большим композиторским дарованием, и первый на плечах вывозит второго. Я никогда не добьюсь при жизни и десятой доли того, чего достиг Рубинштейн благодаря тому, что он самое крупное виртуозное светило нашего времени. По поводу этого Рубинштейна я могу еще сказать следующее. В качестве моего учителя (я учился у него композиции и инструментовке) никто лучше его не знает мою музыкальную натуру и никто лучше его не мог бы содействовать распространению моей известности в Западной Европе. К несчастью, этот т у з всегда относился ко мне с недоступным высокомерием, граничащим с презрением, и никто, как он, не умел наносить моему самолюбию глубоких ран. Он всегда очень приветлив и ласков со мной. Но сквозь этот привет и ласку как ловко он всегда умел выразить мне, что ни в грош меня не ставит. Единственный т у з, одушевленный относительно меня самыми лучшими намерениями, — Бюлов. К несчастью, он почти сошел вследствие болезни с артистического поприща и многого сделать не может. Благодаря ему, однакож, лучше и больше, чем гделибо, меня знают в Америке и Англии, у меня есть целая масса присылаемых им статей обо мне, писавшихся в этих двух странах, где ему пришлось в последнее время действовать.

Итак, дорогая моя, не сокрушайтесь обо мне. Медленно, тихими, но верными шагами слава придет, если суждено мне удостоиться ее. История доказывает нам, что очень часто эти тихо подступающие славы прочнее тех, которые являются сразу и достигаются легко. Сколько имен, гремевших в свое время, теперь канули в пучину забвения! Мне кажется, что артист не должен смущаться недостаточностью оценки его современниками. Он должен трудиться и высказать все то, что предопределено ему было высказать. Он должен знать, что верный и справедливый суд доступен только историй. Я Вам скажу больше. Я, может быть, оттого так равнодушно переношу свою скромную долю, что моя вера в справедливый суд б у д у щ е г о непоколебима. Я заранее, при жизни, вкушаю уже наслажде-

* Я не умею выставлять себя в выгодном свете.

ние тою долею славы, которую уделит мне история русского искусства. В настоящее же время я довольствуюсь вполне тем, чего достиг. Я не имею права жаловаться. Я встретил в жизни людей, горячее сочувствие которых к моей музыке достаточно награждает меня за равнодушие, непонимание или недоброжелательство других.

Вы спрашиваете меня о Галли? Не берусь решить вопроса, может ли глупый человек обладать творческим талантом. Мне кажется впрочем, что скорее д а, чем н е т. Но ведь мало обладать талантом, т. е. слепой, неразъясненной силой инстинкта, нужно уметь надлежащим образом направить свой талант. Поэтому я склонен думать, что, в конце концов, талантливый, но глупый человек далеко уйти не может. Галли мне казался более пошлым, чем глупым, но, впрочем, я его недостаточно знаю, чтобы произнести решительное суждение. Но способности в нем есть несомненные. Есть ли жилка самобытности, это другой вопрос. Это покажет время. Очень молодые люди всегда склонны к рабскому подражанию. Я склонен думать однакоже, что у Галли нет задатков самобытности. Во всяком случае, он обладает значительною чуткостью, и были вещицы его, которые и мне тоже очень нравились. В консерватории есть теперь один очень талантливый молодой человек, К л е н о в с к и й. По поводу его я уже не раз задавал себе вопрос, который Вы мне предложили, т. е. можно ли быть глупым и в то же время сильно даровитым. Может быть, этот Кленовский не глупый, а странный человек, и его странность я принимал за глупость. Но только мне он всегда казался глупым, и в то же время я должен признать, что, за исключением Т а н е е в а, это самый талантливый из всех известных мне учеников консерватории. У него сильный талант.

Политические известия так же мрачны, как и вчера. Да и погода вторит политике. Вообще грустно, хотя сегодня я уже не так тоскую, как вчера. Я все-таки доволен и рад, что Россия держит себя гордо и достойно.

До свиданья, дорогой, милый, несравненный друг.

Ваш П. Чайковский.

120. Мекк — Чайковскому

Москва,
19 марта 1878 г.

Сейчас получила Ваше письмо и благодарю Вас от всего сердца, мой дорогой, бесподобный друг, за Вашу искренность и откровенность относительно меня. Эти-то именно свойства я так

люблю в Вас, так ставлю высоко, и они внушают мне такое безграничное доверие к Вам, а ведь самое дорогое, что есть для меня в Ваших отношениях, есть именно то, что я верю им, а Вы понимаете, что я менее чем кто-нибудь избалована и с к р е н н и м и отношениями.

Теперь объясню Вам, почему я выразила мое желание о перемене формы. Когда я писала мое письмо, я находилась в таком ненормальном, отвлеченном состоянии, что я забывала даже, на какой планете нахожусь, я чувствовала только Вашу музыку и ее творца. В этом состоянии м н е было неприятно употреблять слово В ы, это утонченное изобретение... приличий и вежливости, которыми так часто прикрывается ненависть, злоба, обман. В ту минуту для меня было жаль говорить это В ы, но на другой же день, когда я пришла в нормальное состояние, я уже раскаивалась в том, что написала, потому что поняла, что доставила Вам неудобство, и очень боялась, чтобы Вы из баловства ко мне не согласились сделать то, что Вам было бы трудно, и тем более благодарю Вас, мой бесценный друг, что Вы избавляете меня от сознания злоупотребления чужою добротою, и еще более благодарю за то хорошее мнение обо мне, которое Вы выказали Вашею откровенностью. Итак, пусть этот предмет будет похоронен, даже без всякого воспоминания об нем.

Теперь буду говорить по порядку Ваших писем. Нельзя довольно надивиться той тождественности мыслей и желаний, какая существует между нами. В это время я много думала о том, что как было бы хорошо, если бы Вам вздумалось написать скрипичный концерт, и вдруг получаю от Вас письмо, что он уже пишется. И как Вы скоро работаете, милый друг мой: уже первая часть готова.

Одно только меня всегда обескураживает при Ваших новых сочинениях, это то, что их не скоро удается получить. Вообразите, что Ваш вальс для скрипки до сих пор не вышел в печати; я не понимаю, что делает с ними Юргенсон, что так поздно выпускает в свет. Я не допускаю, чтобы Ваша «Франческа» не понравилась в Петербурге. Боже мой, как было бы хорошо, если бы Ваши сочинения на Парижской выставке исполнялись! Я прочла на-днях в «Gazette musicale» расписание концертов на выставке. Их будет очень много, и из многих городов приедут оркестры, между ними Рихтер (венский) со своим оркестром. Отчего бы из России не поехать оркестру и исполнять там Ваши сочинения? Я прочла там также некоторые перемены делегатов, и между ними сказано: «Pour la Russie M.Tchaikowski démissionaire est remplacé par M. Robert de Thal,

consul général, assisté de M. Victor Kazynski — compositeur»*. (Хорош compositeur!) Из Ваших сочинений я очень люблю скрипичную серенаду, — такая прелесть!

Вы пишете, друг мой, что Ваш брат Анатоль хандрит, то я думаю, это не имеет опасного характера. Это, вероятно, именно потому, что ему слишком хорошо жить; к тому же он вероятно, как большинство молодых людей, влюблен в кого-нибудь,—ну вот, когда нечего делать, и похандрит немножко, и Вам беспокоиться об этом нечего. Что касается сочинений Некрасова, то, прежде чем сказать о них, я скажу, что и я, так же как Вы, не умею отделять человека от художника, что я очень не люблю литераторов, которые берут на себя роль изобличителей и карателей человеческих пороков, очень не люблю так называемых «друзей народа», потому что в них всегда сидит какой-нибудь расчет. Если человек любит добро и истину, если его сердцу больно от чужих страданий, то это будет выражаться независимо от происхождения, сословия и положения людей; он будет радоваться этому добру безгранично везде, где он его встретит, он будет страдать чужим страданием также везде, где оно действительно есть. В человеческих натурах вообще я очень не люблю «равнодушных», как их называет Данте. Я хочу, чтобы люди возмущались злом и восхищались добром, но я еще больше, чем таких, не люблю тех, которые преувеличивают зло и стараются его найти в самом добре. Теперь лично о Некрасове. Я не знала ничего, кроме того, что он больной человек, и все неприятные стороны его сочинений я приписывала этой причине, потому что, конечно, если человек смотрит на все сквозь призму своих собственных страданий, если лет двадцать каждый день собирается умирать, он может сделаться злым и стараться на других сорвать свои терзания. В сочинениях же его я люблю то, что они все имеют реальные сюжеты, а Вы знаете, как я люблю р е а л ь н у ю п о э з и ю. Обратите внимание на его «Мороз Красный-нос». Я не могу без сжимания сердца читать передачи этой тоски, этого глубокого горя о потере любимого человека бедной Дарьи, и как поэтичны при этом ее воспоминания счастливого времени, что за прелесть! Второе, что в нем очень нравится моей Юле, и мне также, это то, что очень хорошо относится к женщинам вообще, а к русским женщинам в особенности. Второе из его сочинений, которое меня также восхищает, это есть именно его «Русские женщины». Обратите, друг мой, внимание на эти два сочинения, и я на-

*«Представительство от России: подавший в отставку г. Чайковский заменен генеральным консулом г. Робертом де-Талем; его помощник — г. Виктор Кажинский, композитор» [1].

деюсь, что они победят Вас. В «Русских женщинах», кроме этой высокой, трогательной правды чувств, какая прелесть описаний этой суровой природы, этого безотрадного положения. Прочитавши его, помнишь, каким наказанием это служит, содрогнешься за тех, которые подвергают себя ему. Жаль, что не все они раньше читают Некрасова: мне кажется, что с отменой смертной казни многим представляется, что наказания более не существует.

С большим интересом я читала Ваши выписки из сочинения Jacolliot о религии индусов. Но говорит ли он об ней подробно? Ведь она очень мифологична. Их В и ш н у, как второе лицо троицы, есть сохранитель земли и для блага ее должен десять раз за время существования мира принимать видимые формы; эти воплощения называются a v a t a r; девять из них уже были, в них он являлся рыбой, черепахой, кабаном, львом (может быть, светским?), Брамой-карликом, Брамой-воином, прекрасным принцем и т. д. В десятый раз он явится, чтобы разрушить мир, в виде лошади (kalki), которая ногою даст un bon coup de pied * земному шару и превратит его в порошок, который, вероятно, послужит хорошим cosmétique дамам du bas étage **,— ах нет, виновата, он ведь сам женат, этот бог, il a pour femme la belle *** Lakchmi, так что он для нее, вероятно, приготовит этот порошок. Смешные эти сказки!!

Очень, очень благодарю Вас, дорогой мой, за карточку. Вы вышли лучше всех. Такие фотографии делали на Венской выставке в одну секунду. Буду с нетерпением ожидать от Вас известий об известном деле. Концертов нынешним постом очень много, но хороших очень мало. Война на-чику. В Петербурге идет подписка на ополчение. Моя дочь Саша в большом беспокойстве, что ее муж попадет в ополчение, потому что он такого плохого здоровья. Все мои петербуржцы ждут с нетерпением пасхи, чтобы приехать сюда. Все здоровы, слава богу; Милочка и в эту минуту по обыкновению возится около меня с двумя Luftballonen **** и объясняет, что l'un a éclaté et l'autre vole encore *****.

Погода у нас стоит на 2° выше нуля, без солнца; езда на колесах.

До свидания, мой милый, несравненный друг. Глубоко любящая Вас

Н. ф.-Мекк.

---

* хорошего пинка.
** плохого вкуса.
*** у него в качестве жены прекрасная.
**** воздушными шарами.
***** один лопнул, а другой еще летает.

121. Чайковский — Мекк

Clarens,
22 марта/3 апреля 1878 г.

Мой пароксизм политической лихорадки начинает несколько проходить. Склонный вообще к некоторому пессимизму, я уже вообразил себе, что Россия накануне войны и сопряженных с нею бедствий. Сегодня мне кажется, что еще есть надежда на лучшее будущее. Во всяком случае, я надеюсь очутиться в России еще до начала военных действий, если суждено им непременно начаться.

Первую часть концерта я уже кончил, т. е. написал ее начисто и сыграл. Я ею доволен, и теперь остается только инструментовать ее. A n d a n t e по исполнении его со скрипкой не удовлетворило меня, и я или подвергну его радикальному исправлению или напишу новое. Финал, если не ошибаюсь, удался так же, как и первая часть.

Весны все нет. Я пишу это письмо рядом с топящимся камином, едва согревающим окоченевшие члены. Солнца мы не видели уже с незапамятных времен. Мне все кажется, как будто оно осталось в Италии. С наслаждением вспоминаю я две недели, проведенные во Флоренции, где приходилось купаться в теплых лучах весеннего солнца, где в Кашино зеленели деревья и пели птицы. Здесь ненастье так упорно, так продолжительно, что становится, наконец, грустно. Мне жалко смотреть на нашего мальчика. Он был такой здоровенький, такой розовенький, загорелый в Сан-Ремо и в Италии. Здесь ему приходится сидеть дома. У него хронический насморк, кашель, на лице и руках от холода e n g e l u r'ы*. Я думаю, что у нас в Москве теперь уже весна дает себя чувствовать более ощутительно. Какие Ваши планы на лето, дорогой друг мой? Проведете ли Вы его все в деревне или в конце лета, по обычаю, поедете за границу? Или же, в виду зимней поездки в Италию, из деревни вернетесь сначала в Москву? Только после Вашего последнего письма я вполне понял, что Вам не так-то легко будет уехать зимой надолго из России. Я был, признаться сказать, далек от мысли, что Вы до мелочей входите в администрацию дел своих. И у Вас есть, следовательно, очень значительный элемент п р о з ы в жизни. Полагаю, что для Вас погружение в счеты Вашей железной дороги так же приятно, как для меня преподавание гармонии в классах консерватории. Что делать! ни

* ознобины.

власть, ни богатство, ничто не дается без борьбы со своими природными стремлениями.

Я очень задумываюсь теперь насчет будущности брата Модеста. Положение его очень странное, щекотливое и имеет в себе задатки даже трагические. Вот оно в нескольких словах. Два года тому назад он принял на себя труд воспитания своего ученика. Благодаря чудным свойствам этого ребенка и своей любящей натуре он так привязался к нему, что теперь разлука с Колей была бы для него смертным приговором. Между тем, в течение этих двух лет между Модестом и матерью Коли (очень густой и вздорной дамой) установились самые странные отношения. Они друг другу глубоко антипатичны, и оба должны играть очень тяжелую комедию: она потому, что она не может не дорожить Модестом как полезным человеком для ее сына, он потому, что она мать Коли. Что из этого выйдет? Уйти от них брат не может, ибо любит Колю больше всего на свете. Но жить в одном доме с M-me Конради он тоже не может. Дилемма, из которой не легко выйти. Он все обдумывает, как бы найти исход, часто грустит и теперь, в виду приближающегося свидания с родителями Коли, нередко впадает в очень меланхолическое состояние духа. В конце апреля мне предстоит разлука с ним и с Колей. Много хороших воспоминаний оставит в нас наше житье вместе.

До свиданья, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

122. Чайковский — Мекк

Clarens,
24 марта/5 апреля 1878 г.

Получил сегодня Ваше письмо, милый друг мой, и как всегда прочел его с наслаждением. Отвечу Вам прежде всего на вопрос, касающийся известного дела. Брат Анатолий пишет мне, что, прежде чем дать обстоятельный ответ, он хочет поговорить с сведущими людьми о процедуре развода, и просит меня покамест не начинать решительных действий. На святой неделе мы увидимся с ним в Каменке, и он желал бы приступить к делу, т. е. отнестись к моей жене с вопросом, согласна ли она на развод, уже после обстоятельных переговоров со мной. Я так и сделаю. Вероятнее всего, что Анатолий проездом в Петербург из Каменки остановится в Москве и вступит в личные сношения с моей женой. Само собой разумеется, что я буду держать Вас a u c o u r a n t * всего, что произойдет по этому поводу. О, как я буду

* в курсе.

безгранично счастлив, когда эта ненавистная, убийственная цепь спадет с меня!

Юргенсон не виноват в злосчастной судьбе моего скрипичного вальса. В прошлом году, когда я его написал, Фитценгаген обратился ко мне от имени берлинского издателя Leuckardt, чтобы я отдал ему этот вальс и еще виолончельные вариации, причем предложил мне триста марок гонорария. Так как в России спрос на скрипичные и в особенности виолончельные виртуозные пьесы очень невелик, я согласился и поручил Фитценгагену устроить дело. Между тем, Herr Leuckardt потерпел какие-то финансовые неудачи и вследствие их приостановил свою издательскую деятельность. Месяца два тому назад я поручил Котеку сходить к нему и узнать, в каком положении дело. Оказалось, что рукопись моя безмятежно покоится на полке у Leuckardt'a. Так как я ничем не был связан с ним и предложенного гонорария он мне не присылал, то я написал Юргенсону, давно уже просившему у меня эти пьесы, чтоб он их вытребовал из Берлина, а Фитценгагена просил дать знать своему protégé, что я отказываюсь от нашего условия[1]. Я имел тем большее основание это сделать, что на вопрос Котека, когда пьесы будут печататься, Leuckardt отвечал: «Не знаю, когда-нибудь». Таким образом, Юргенсон только теперь приступит к печатанию пьес.

Концерт мой Вы получите раньше, чем он будет напечатан. Я закажу снять с него копию, и эта копия будет Вам доставлена в течение будущего месяца наверное. Сегодня я написал другое andante, более подходящее к сложным двум частям концерта. Первое же составит самостоятельную скрипичную пьесу, которую я присоединю к другим двум скрипичным пьесам, задуманным мною. Они составят отдельный opus, который я доставлю Вам тоже раньше напечатания. Вообще, дорогая моя Надежда Филаретовна, я буду стараться всячески, чтобы все новые пьесы мои попадали к Вам раньше, чем в печать. Не хотите ли Вы, чтоб я поступал таким образом: как только пьеса или ряд пьес готов и написан начисто, я буду их посылать Вам, а Вы, приказав их списать, оставите у себя копию, а рукопись будете отсылать к Юргенсону? Я бы и сам мог списывать, но, во-первых, мой почерк очень плох, т. е. неразборчив, а во-вторых, так, как я предлагаю, будет короче.

Сегодня концерт можно назвать уже вполне конченным. Завтра я с жаром примусь за партитуру и хочу уехать отсюда, не имея уже в перспективе этой работы. Летом же я буду писать исключительно маленькие пьесы для фортепиано, скрипки и пения. Это будет нечто среднее между отдыхом и работой.

Боюсь только, что в Каменке мне не очень-то удобно будет писать. Я просил сестру устроить мне помещение по возможности удобное для работы, хотя бы и где-нибудь вне их дома.

Вы вполне угадали истину, друг мой, касательно хандры брата Анатолия. Он влюблен, и на этот раз очень серьезно. Он сделал мне полнейшее признание. Мне приятно знать причину его меланхолического настроения, но, с другой стороны, я не могу не беспокоиться о нем. Предмет его любви девушка, соединяющая в себе бездну условий для самой блестящей партии. Она красавица, богата и вдобавок обладает чудным голосом и в настоящее время заставляет о себе много говорить в Петербурге. Вы, вероятно, или слышали или читали о ней. Мне нет надобности скрывать ее имя от Вас: она называется А. В. Панаева. Анатолий видится с ней беспрестанно и часто бывает в доме ее родителей. Она ничем не дала ему почувствовать, что отличает его преимущественно из толпы своих обожателей. Вообще по всему, что он мне пишет, для меня очевидно то, что у него очень мало шансов на согласие ее сделаться женой брата. Да я не знаю, следует ли желать этого. Я ее не знаю и не могу судить, есть ли в ней данные для супружеского счастья. Но меня пугает, что она з н а м е н и т о с т ь, что она если и согласится выйти замуж за брата, то будет беспрестанно давать ему чувствовать всю цену своей снисходительности к его скромному положению. Я очень рад, что увижусь на святой с Толей. В тайне души, несмотря на его уверения, что он только теперь п о л ю б и л настоящим образом, я надеюсь, что это увлечение менее серьезно, чем он думает. В сущности, Толя самый влюбчивый человек в мире, и, как все подобные люди, при каждой новой страсти он уверяет, что она последняя и настоящая.

Я перечел очень многое в Некрасове и... простите меня, друг мой, остался при прежнем мнении. Даже нет! я получил о нем еще худшее понятие. Некогда, в молодости, я любил его стихотворения первого периода: «Тройку», «Огородника» и т. д. Теперь и эти пьесы утратили для меня всякую прелесть. Некрасов, разумеется, человек с талантом, но это не художник. В каждой его пьесе я читаю между строк, как он хлопочет о своей популярности, как он упорно добивается значения заступника и друга народа. В своих последних предсмертных стихотворениях он трогает меня не силою своего творчества, а своими страданиями. И тут он не слезает со своего любимого конька. Он беспрестанно упрекает себя в своей бесполезности для народа, в том, что он ничего не сделал для улучшения его быта. Он плачется, что народ не признает его своим защитником, но все это гово-

рится таким тоном, каким кокетка уверяет своего обожателя, что она лишена всяких прелестей, только для того, чтобы тот стал ей доказывать противное. Некоторые из его последних пьес просто невыносимо скучны, до того цель его сатиры мелка, пошла и ничтожна. Укажу, например, на пьесу «Ю б и л я р ы и Т р и у м ф а т о р ы». В ней Некрасов глумится над русским обжорством, смеется над разжиревшими коммерсантами, изображает в смешном виде глупых генералов, разорившихся князей, модных щеголей, и все это очень дубоватыми стихами, а главное, с юмором самого низменного свойства. В каждом номере жалкого «Р а з в л е ч е н и я» можно найти пьесы, не уступающие по силе художественной красоты «Ю б и л я р а м и Т р и у м ф а т о р а м». Что касается «Р у с с к и х ж е н щ и н», то я предпочел бы обстоятельный прозаический рассказ о поездках в Сибирь этих двух действительно чудных женских личностей стихотворному произведению Некрасова, которое как поэтическое произведение все-таки слабо, несмотря на привлекательность его героинь. Почему ему понадобились тут стихи? Как хотите, а иркутский губернатор, в форме стиха сообщающий княгине Волконской приказание государя императора удержать княгиню от дальнейшей поездки, несколько комичен. Вообще и в самом выборе героинь Некрасов опять-таки поддался своей слабости слыть за свободномыслящего человека. Это не непосредственные проявления творчества. Ведь если он хотел воспеть женское самоотвержение, то ему не нужно было так далеко ходить за образцами. И помимо жен декабристов можно найти примеры высоких женских добродетелей. Но д е к а б р и с т ы? — это так интересно, это сообщает пьесе характер такого смелого протеста против политического угнетения!

В заключение скажу еще, что очень трудно найти в Некрасове текстов для музыки. Несмотря на все мое нерасположение к его творчеству, я все-таки не могу отрицать его таланта. «М о р о з К р а с н ы й - н о с» мне нравится; «З а б ы т а я д е р е в н я» — в своем роде chef-d'oeuvre. Но во всем этом для музыки нет материала. А ведь это очень знаменательно. В сущности, с т и х и и м у з ы к а так близки друг к другу!

Вы не сердитесь на меня, дорогая моя, за назойливость, с которой я оспариваю Ваше мнение о Некрасове? Не сердитесь, я надеюсь, и за мою попытку обратить Вас в поклонницу Моцарта? Как мы ни близки с Вами духовным родством, но в некоторых подробностях мы можем радикально расходиться, нисколько не ослабляя силу нашей дружбы; не правда ли? Я очень люблю немножко поспорить, не горячась, не сердясь, тихо, спо-

койно. Но роль заступника я предпочитаю роли хулителя. Мне жаль, что, когда я в первый раз говорил с Вами о Некрасове, я слишком резко напал на него как на человека. В сущности, мне известно только то, что он жил богато, роскошно, ездил в великолепной коляске с огромной собакой (я часто встречал его в Петербурге), выигрывал и проигрывал сотни тысяч, был влиятельным членом Английского клуба. Все это, конечно, не мешало ему быть превосходным человеком. Но как-то странно думать, что поэт, проливавший слезы о народе и глумившийся над богатыми классами, был человек хорошо живший и не пренебрегавший роскошью. Одно несомненно: бедный Некрасов последние два года жизни терпел невыносимые физические страдания. Если у него и были слабости, то своими страданиями он искупил их.

До свиданья, добрый, горячо любимый друг.

Ваш П. Чайковский.

123. Мекк—Чайковскому

1878 г. марта 24—25. Москва.

Москва,
24 марта 1878 г.

Мне также невесело на душе, мой милый, бесценный друг. Есть у меня личное горе, и беспокойство и общее бедствие — предстоящая война — тяготят сердце и наводят тоску. Если бы еще быть уверенным, что мы поколотим англичан, тогда что делать, можно бы для этого и жертвы принести, ну, а если к Англии присоединится Австрия, тогда все-таки наше положение будет тяжело, а по последним заграничным известиям очень похоже на то, что Австрия присоединится к Англии. Как трудно однако дипломатическому деятелю оставаться вполне честным человеком. Вот Андраши: как человек он очень честен и симпатичен, как политик — отвратителен, действует не по абсолютным правилам честности и прямоты, а глядя по обстоятельствам. Гадко! Вот и теперь все увертывается прямо высказать свои желания и стать в определенное положение, и хотя наши газеты уверяют, что миссия графа Игнатьева в Вену не потерпела неудачи, но привычным чутьем чувствуешь, что она не имела и удачи: в самом тоне разуверений, puisque c'est le ton qui fait la musique *, слышится это. Но я, впрочем, очень много рассчитываю на нашего Горчакова. Он хотя и подчиняется рыцарской политике, но ведет ее все-таки очень умно и предусмотрительно.

* так как тон делает музыку.

Что касается Вашего мнения, друг мой, что больший размер контрибуции мог бы послужить нам во вред, то мне кажется, что в данном случае Франция и Германия не могут служить примером, потому что ни Турция не имеет тех средств развития интеллектуального и экономического, при которых Франция так быстро оправилась от войны, ни в России не настолько далеко ушли промышленность и торговля, чтобы притти к застою. Правда, что гораздо благотворнее, чем контрибуция, подействовал такой факт, который я почерпнула из статистических сведений Мануфактурного департамента (есть у нас такой? Если бы я была во Франции, я бы сказала: du Miniѐstre de commerce*, но у нас, кажется, нет такого м и н и с т е р с т в а, а есть что-то вроде департамента, но это все равно откуда, mais c'est authentique**), и от факта я пришла в восторг, потому что в нем-то вся причина нашего финансового положения, нашего экономического благосостояния и всяческой силы, а факт этот есть тот, что в нынешнем году, несмотря на войну, наша о т п у с н а я т о р г о в л я п р е в ы с и л а в в о з н у ю; наконец-то! Это такое движение вперед, такой задаток хорошего будущего, что я просто не нарадуюсь. Конечно, это лучше всяких контрибуций, потому что это сила в самих себе. Если бы теперь придумать как-нибудь увеличение народонаселения посредством переселений, колонизации, о, тогда Россия какая бы стала могучая! И как нехорошо такое размещение человечества на земном шаре: в Индии люди так скучены, что с голоду мрут, а у нас на громадных пространствах есть полнейшее безлюдие. Как жаль, что нельзя разводить людей искусственно, как рыб; тогда бы людям не надо было и жениться, а это было бы большое облегчение. А как теперь распространилось это искусственное разведение рыб; даже у нас в России в ходу.

Как мне жаль, дорогой мой друг, что я никак не могу войти во вкус, что касается Моцарта. Все, что Вы пишете об его характере, совершенно слышно в его сочинениях и видно в выражении лица на портретах. Его музыка вся звучит этою незлобивостью, этою беззаботностью, но, милый мой, ведь это-то мне и не по характеру: я люблю глубину, силу, величие, следовательно, не могу любить ничего поверхностного, объективного, водянистого, ничтожного. Такие натуры могут быть приятны только в самых легких сношениях и на меня не производят впечатления, так же как и их сочинения. Из желания короче познакомиться с ним, т. е. с Мо-

* министерство торговли.
** но это достоверно.

картом, я эти дни играла в две и в четыре руки его сонаты, фантазии, квартеты и квинтеты и... извините, милый друг, не в состоянии была докончить ни одной пьесы. Он так всем доволен, так невозмутимо весел, что меня это возмущает. Знаете ли, что такая непроходимая доброта, такое полное отсутствие всякого протеста есть только признак полнейшего ничтожества. Я люблю эту доброту и нежность чувств Шумана, доходящие в нем до «Bittendes Kind» и «Puppenwiegenlied*, потому что вместе с этим в нем слышишь такое неудовлетворение жизнью, такие запросы, такую жгучую тоску, в которых видишь глубокие свойства человека. Тот, кто способен сильно чувствовать и много понимать, может быть д о б р, но не может быть весел. Простите, дорогой мой, за такое отношение к Вашему идеалу, и пусть Вас никогда не шокируют наши разногласия, потому что я реалистка, Вы идеалист, и именно в этом пункте мы всегда расходимся. Вы поклоняетесь Моцарту, потому что он идеальный художник, а я не знаю толка в тех идеалах, которые должны быть совершенством, да еще отвлеченным. Такому идеалу я предпочту простого настройщика фортепиан, потому что тот, по крайней мере, делает дело, от его музыки, так же как и от музыки Моцарта, ни один фибр человеческой души не дрогнет высоким чувством, но он делает то, что необходимо, исполняет свое назначение, тогда как назначение такого искусства, как музыка, гораздо выше того, чем приятное щекотание уха под стакан старого бургонского. Вы указывали мне на его «Дон-Жуана», т. е. на партию Донны Анны в этой опере. Я скажу, как Вы сказали мне о Бетховене (что и у него есть слабые места), что и у Моцарта есть хорошие места. Нет такого хорошего композитора, у которого не было бы и дурных сочинений, и нет такого дурного, у которого не попадалось бы что-нибудь и хорошее; определяется же его характер преобладающими свойствами. Теперь моя очередь просить у Вас прощения в том, что я так распространилась о Моцарте, но я хотела бы оправдать перед Вами свое отношение к нему, хотела бы, чтобы Вы поняли, что я во всех своих вкусах верна своей натуре и своим понятиям. Еще я также, в свою очередь, скажу, что я удивляюсь, как это человек, который сам написал такую потрясающую, охватывающую вещь, как первая часть Четвертой симфонии fa mineure, может восхищаться Моцартом! Знаете, мой бесценный, что в Вас есть странное противоречие натуры со вкусами; да, впрочем, это понятно: одно есть природа, другое — воспитание. Ваша музыка производит такое глубокое впечатление, и в то же время Вы восхищаетесь этим эпикурей-

* Названия произведений Шумана.

цем Моцартом. Скажите мне, содрогнется ли душа преступника от музыки Моцарта? Нисколько, напротив, он найдет в ней как бы оправдание себе. А от Вашей... он заплачет! А сознаете ли Вы, что это значит? Боже мой, ведь это словами и объяснить нельзя. Да, впрочем, разве ж можно проводить параллель между Вами и Моцартом. Надо перестать, а то я могла бы говорить три дня.

25 марта. Благовещение.

Меня очень радует, дорогой друг мой, Ваше намерение продолжать свою деятельность в Московской консерватории: Вы делаете там в е л и к о е дело, и заменить Вас положительно некем. Дай бог, чтобы здоровье и силы позволили Вам исполнить Ваше намерение. О Вашей антипатии к занятиям барышень в консерватории я слыхала прежде и вполне сочувствовала ей в общем смысле, и л и ч н о в Вас мне это чрезвычайно нравится, потому что в этом я вижу, что в деле искусства Вы не подкупаетесь н и ч е м, ни даже барышнями, тогда как в то же время слыхала, что есть профессора, которые ухаживают за ними. Какая гадость! Вообще нравственность в консерватории такова, что я не только дочери, но и сына не отдала бы туда.

На каком языке сочинение Отто Яна о Моцарте? Я не читала его. Его G-moll'ного квинтета я также не нашла для четырех рук. Вообразите, Петр Ильич, что я не могу достать биографии музыкантов. Я хотела прочесть о Chopin и нигде не могу достать, так что только в автобиографии Georges Sand я нашла о нем кое-что. Вот отвратительный характер был; да это также в музыке слышно. Как я рада, что Ваше здоровье лучше, мой милый друг, что обмирания сердца прошли; зато меня в настоящее время они совсем замучили. Погода у нас очень приличная, сегодня в особенности веселый день, солнце светит ярко, греет горячо, очень хорошо. Вчера в музыкальном журнале «Нувеллист», изд. Бернарда, я прочла опять об Вас, что Вы начали писать оперу «Евгений Онегин», которую предназначаете исключительно для исполнения в Московской консерватории, что нездоровье заставило Вас на время прекратить свои занятия, «но что, слава богу, наш даровитый композитор поправляется» [1]. Как мне приятно это читать. Во вторник последний концерт Музыкального общества в пользу фонда [2]. Говорят, продажа билетов идет очень плохо. Наша публика не очень щедра. В этом собрании назначены к исполнению: увертюра Тангейзера, тройной концерт Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели, с Ник[олаем] Григ[орьевичем], и Ваша музыка к «Снегурочке», и затем прощай надолго хорошая музыка! Я-то не забуду тебя, а услышу ли еще, про то бог знает!

Рубинштейн в прошлый четверг играл в Петербурге в пользу Красного креста, должно быть, Ваш концерт[3], потому что так предполагалось, а рецензии еще нет, и после этого концерта представлялся императрице, а потом обедал, вероятно, по-домашнему у великого князя Константина. Сегодня у нас в Москве приезжает великий князь Михаил; город убран флагами, вид вполне праздничный.

Мне говорил Данильченко, также Ваш бывший ученик, с которым я играю с виолончелью, что Бродский уходит из консерватории на место младшего преподавателя в Венскую консерваторию, а на место его как будто бы... как Вы думаете, кого?... Это очень смешно... Безекирский!.. Но имеет вероятие потому, что в это время Безекирский ухаживал за Ник[олаем] Григ[орьевичем], ну, а Вы знаете, как он на это ловится.

Вот не люблю я этого человека, Безекирского,—хитрец и нахал. Зато есть другой скрипач оперного оркестра, Кламрот, которого я очень люблю,—отличный музыкант и такой скромный, деликатный. Очень симпатичный также скрипач, который со мною играет,—Бабушка; он Пражской консерватории, очень хороший исполнитель и человек, который с каждым годом совершенствуется в игре. Он замечательно хорошо исполняет всякую характерную музыку, хотя сам очень ровного, невозмутимого характера; он чех, но обладает спокойствием немца.

Читали Вы, Петр Ильич, что в Венгрии запретили нашей русской пианистке, которую Вы знаете, Тимановой, дать концерт? Теперь она играла в Париже, и с большим успехом.

Скоро Вы приедете в Россию, мой бесценный друг, на родину, в эту милую Киевскую губернию. Ах, как я люблю те места и как я буду рада, когда Вы будете находиться там: письма наши друг к другу будут доходить скорее. Не получили ли Вы письма от Анатолия Ильича об известном деле?

Как идет повесть Модеста Ильича? При дурной погоде он имеет больше времени писать.

Теперь так много говорят о войне, что маленький, двухлетний сын моей Саши ходит ко всем и спрашивает: «хось вону?» (хочешь войну?). Он презабавный, этот мальчик; только что начинает говорить, но чрезвычайно понятлив и все замечает, что говорят другие. Подхватил теперь слово «девица» и уверяет, что он девица, а мама — мальчик; такой потешный.

До свидания, мой дорогой, несравненный друг. Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк

124. Чайковский — Мекк

Clarens,
28 марта/9 апреля 1878 г.

Дорогой и милый друг мой! Пишу Вам в состоянии полнейшего окоченения от холода и сырости. У нас было два чудесных дня. Удивительно хорош этот уголок Швейцарии при ясном небе и теплом весеннем солнце. Не налюбуешься достаточно на эти чудные горы, столь разнообразные в своих формах. На полях и в лесу появилась масса чудесных цветов, и третьего дня мы сделали одну из самых восхитительных прогулок в окрестностях Aigl'я, в лесу, усеянном мириадами весенних цветов. Но вчера вечером опять подул северный ветер, опять целый день идет сегодня дождь, и густой туман стоит над озером. Скучно. Но нет худа без добра. Благодаря дурной погоде я с таким рвением занялся инструментовкой концерта, что дня через три все будет готово. Через месяц, никак не позже, копия с этого концерта будет в руках у Вас.

Чем-то кончится наша распря с Англией? Льщу себя надеждой, что наше правительство не сдастся и не оскорбит нашего народного чувства уступками ненавистным врагам. Но до чего нас единодушно ненавидит вся Европа! Казалось бы, где, как не в маленькой, нейтральной стране, быть справедливости и беспристрастию? А между тем, «Journal de Genève», который составляет мое ежедневное чтение, и все другие швейцарские газеты, которые мне случалось иметь в руках, и те вторят Англии, восхищаются циркуляром Сальсбери, требуют, чтоб Россия уступила. Уж я не говорю о Франции. Там вся пресса горячится против нас почти не меньше английской. Ни одной французской газеты нельзя в руки взять, чтобы тотчас не отбросить ее с омерзением. Я имел несколько очень приятных известий о моих сочинениях в последнее время. «Франческа» в Петербурге имела большой успех; не меньший успех имел и концерт в исполнении Рубинштейна. С другой стороны, меня уведомляют, что Бюлов с большим успехом играл мои вариации в Дрездене.

Вчера вечером по просьбе брата я играл по черновым рукописям «Онегина». Мне было чрезвычайно приятно заметить, что сцена Татьяны с письмом произвела на него сильное впечатление. Увы! я не могу рассчитывать, что и на публику сцена эта будет действовать так же. Кто будет петь Татьяну, если опере моей суждено будет итти на большой сцене? Где я найду артистку, которая могла бы передать всю чарующую прелесть пушкинской героини? Консерваторское исполнение меня менее

пугает. Тут ансамбль выручит слабости отдельных исполнителей. Но в казенных театрах, где все держится на успехе той или другой примадонны и где почти никогда не бывает хорошего ансамбля, опера моя должна погибнуть, если не явятся личности, сколько-нибудь подходящие. Если б М-lle Панаева, та самая, в которую влюблен брат, могла поступить на сцену, то, по уверению братьев, лучшей Татьяны и выдумать нельзя. Увы! ее папаша считает позорным для нее быть артисткой по ремеслу. Что касается всех остальных известных мне примадонн русских, то ни одной из них я не могу допустить в роли Татьяны.

Я постараюсь устроить, чтобы для Вас, мой добрый друг, списали клавираусцуг «Онегина», если Вы хотите иметь его раньше, чем он будет напечатан. Он уже гравируется.

Будьте здоровы.

Ваш П. Чайковский.

Милочке — нежный поцелуй.

125. Чайковский — Мекк

[Кларенс,]
30 марта/11 апреля 1878 г.

Получил Ваше письмо и перевод, дорогой друг. И за то и за другое примите мою глубокую благодарность.

Отчего Вы в таком мрачном состоянии духа? Отчего Вы пишете, что опасаетесь не услышать более никогда хорошей музыки? Значит ли это, что Вы больны и опасаетесь усложнения болезни? Или причина Вашей тоски независима от здоровья? Я, конечно, не прошу у Вас сообщать мне причину Вашей горести, если этого нельзя. Но я бы хотел знать только, временная ли, скоропреходящая эта неприятность или глубокая и непоправимая. Все эти вопросы меня весьма беспокоят. Грустно ощущать свое полное бессилие принести близкому страждущему человеку существенное утешение.

Вы пишете, что страдаете теми замираниями, которые и мне так знакомы. Вам не будет смешно, если я рекомендую Вам два хороших средства? Я очень плох по части медицины и никогда не возился с докторами, но это болезненное проявление нервности мне очень знакомо. Если эти замирания и жгучая боль под сердцем не сопряжены с другими сложными признаками, если Вы уверены, что страдания Ваши происходят исключительно от нервного расстройства, то не пренебрегите моим средством. Оно меня всегда облегчало. Прежде всего, не нужно лежать, а ходить, и по возможности при открытых окнах, не

опасаясь легкой простуды, если Вы легко простужаетесь, ибо лучше тысяча насморков, чем одно замирание. Во-вторых, следует прикладывать к сердцу компрессы из холодной комнатной воды. В-третьих, и это самое главное, нужно выпить большую рюмку хорошего вина, преимущественно испанского, т. е. хереса, мадеры, малаги или же портвейна. Если Вы не переносите вина, то достаточно будет для Вас полрюмки или даже меньше. Ручаюсь Вам, что Вы не раскаетесь, испытавши мое средство. Правда, что это только паллиатив, но ведь от нервных болезней нет радикальных средств. Я в этом уже давно убедился, и теперь более, чем когда-либо. Даже самая строгая гигиена бессильна против нервов, ибо гигиена не может нас уберечь от разных сюрпризов, устраиваемых нашим фатумом в виде всякого рода огорчений.

Мне очень, очень горько думать, что Вы страдаете, и что я так мало способен помочь Вам и утешить Вас. С нетерпением буду дожидаться дальнейших известий от Вас и лелеять себя надеждой, что расстройство Ваше временно.

Мы доживаем последние дни в Швейцарии. Я уеду отсюда без особенно большого сожаления по причине непогоды, упорно преследовавшей нас в течение пяти недель. Предстоящее возвращение в отечество внушает мне тоже смешанное чувство радости и беспокойства. Я уже, впрочем, писал Вам, в чем радость и в чем беспокойство.

Повесть Модеста подвигается, и чем дальше, тем лучше она делается; план его уясняется, личности приобретают более рельефа. Я надеюсь, что к осени она будет кончена. Повесть эта написана если не под непосредственным влиянием Льва Толстого, то очень родственной ему манерой. Она более богата тонким анализом, чем сильным и многосложным действием. Вчера я получил утешительное письмо от Анатолия. Его страсть несколько поуспокоилась, и тому есть причины, которые он обещает сообщить мне в предстоящее наше свидание.

Модест завтра поедет в Лион с своим воспитанником. Там живет известный специалист по части воспитания глухонемых, некто Гугентоблер, у которого он целый год приготовлялся к своей теперешней деятельности. Вернется он через три дня, и вскоре после этого мы поедем в Вену, где я думаю пробыть один день. На страстной неделе во вторник или в среду я думаю быть в Каменке.

Сегодня я окончил концерт, т. е. вполне так, что теперь несколько времени могу отдыхать. Раньше Каменки я уж не стану приниматься ни за какую работу. Если Вам вздумается, доро-

гая моя, написать мне в Вену, то я буду очень счастлив. В противном случае буду ждать Ваших несказанно милых для меня писем в Каменке (адрес: Фастовская желез. дорога, Киевская губерния, ст. Каменка). Сию минуту явился ко мне один русский посетитель, и я тороплюсь окончить письмо. Мне очень хотелось поговорить с Вами о Моцарте. Откладываю до завтра.

Ваш П. Чайковский.

Отто Ян (Otto Jahn) имеется только на немецком языке.

Я опишу Вам завтра курьезное впечатление, которое произвел на меня посетитель.

126. Чайковский — Мекк

[Кларенс,]
Суббота, 1/13 апреля 1878 г.

Когда я дописывал мое последнее письмо к Вам, дорогая Надежда Филаретовна, дверь моей комнаты отворилась и с громким вопросом: «Петр Ильич дома?» вошел один наш почтенный соотечественник, отставной генерал Шеншин, которого я немножко знал в Москве. Я так отвык от гостей, так мало видался с этим господином, так мало ожидал его увидеть, что сначала не узнал его. Его превосходительство прежде всего выразил свое удовольствие видеть меня здоровым. Однакож это было сказано таким тоном, как будто он испытывал в ту минуту, как говорил свое приветствие, маленькое разочарование. Он, вероятно, считал меня если не вполне сумасшедшим, то слегка тронувшимся, как об том говорилось в газетах. Ему хотелось набрать материала для рассказов о свидании на чужбине с помешавшимся соотечественником, и вдруг этот соотечественник сказывается здоровым! Затем генерал сел, и из уст его полились потоком речи, из коих каждая была глупостью, непоследовательностью, возмутительною плоскостью. Он только что приехал сюда прямо из Москвы и испытывает невыразимое счастье, очутившись так далеко от проклятой трущобы. Он бы желал жить и умереть подальше от России. Он раскритиковал в пух и прах нашу политику. Англичане, по его мнению, правы. Мы поступаем бесчестно относительно Европы. Ведь мы дрались за славян? — Следовательно, брать Карс, Батум и контрибуцию подло. Все это одно мошенничество и афера для разных поставщиков, интендантов и т. д. и т. д. Я молчал и старался своим

мрачным выражением лица дать почувствовать генералу, что буду рад, когда он возьмется за шляпу и перчатки. Вы думаете, он смутился? Нисколько. «Нет, батенька, я от Вас не уйду, пока Вы не сыграете мне что-нибудь новенького», сказал он. Чтоб ценою этого отделаться от него, я даже сыграл ему какой-то вздор, и тут он не ушел. Я, наконец, говорю ему, что должен закончить одно нужное письмо, и ухожу в другую комнату. Он позволил мне докончить письмо, но остался ждать меня. Генерал ушел от меня не прежде, как стемнело, когда я, наконец, перестал отвечать на его вопросы. В заключение он просил меня посещать его и его супругу, и сказал это в совершенной уверенности, что я глубоко польщен его приглашением. Для чего он у меня был? В Москве он никогда не был у меня. Почему ему захотелось меня видеть? Непонятно. Теперь я Вам скажу, как я с ним познакомился. Генерал этот занимается отдачей денег взаймы за крупные проценты, и я когда-то по рекомендации общего знакомого занимал у него небольшую сумму. Все наши отношения заключаются в этом денежном обязательстве. И тем не менее, его превосходительство посетил меня здесь, на чужбине, с таким видом, как будто мы друг без друга жить не можем.

Ужасно раздражило и обозлило меня его посещение. Это было предвкушение всех тех неизбежных встреч и столкновений с людскою пошлостью, которые предстоят мне в России и от которых не убережешься, против которых есть только одно средство — бежать. Пока он, сидя у меня, болтал свой вздор, я внутренно давал себе клятву впредь в подобных случаях быть грубым, дерзким и прямо просить оставить меня в покое. И тут-то я вполне оценил, как благодетельно было для меня все это полугодовое пребывание вдали от всякого рода знакомых, в совершенной безопасности от их наглого вторжения. Вообще только позднее я пойму всю цену той свободы, которою я здесь наслаждался. Но довольно о генерале.

Теперь еще раннее утро. Мне сегодня плохо спалось, и, потерпев неудачу в попытке хорошо заснуть, я встал, сел к окну и стал писать Вам. Какое чудное утро! Небо совсем чисто. На вершинах гор противоположного берега только гуляют легкие, безопасные облачка. Из сада доносится щебетание массы птичек. Dent du Midi обнажена и красуется в полном блеске солнечных лучей, играющих по ее снеговым вершинам. Озеро тихо, как зеркало. Что это за прелесть! И не досадно ли, что теперь только, почти накануне отъезда, погода делается так хороша!

Брат отложил свою поездку в Лион до понедельника. Вернется он в среду, а в четверг мы поедем в Вену. Завтра, на прощанье, хотим посетить g o r g e s d.u T r i e n t.

Я хотел по поводу Моцарта сказать Вам следующее. Вы говорите, что мой культ к нему есть противоречие с моей музыкальной натурой, но, может быть, именно оттого, что в качестве человека своего века я надломлен, нравственно болезненен, я так и люблю искать в музыке Моцарта, по большей части служащей выражением жизненных радостей, испытываемых здоровой, цельной, н е р а з ъ е д е н н о й р е ф л е к с о м натурой, успокоения и утешения. Вообще мне кажется, что в душе художника его творящая способность совершенно независима от его симпатий к тому или другому мастеру. Можно любить, например, Бетховена, а по натуре быть более близким к Мендельсону.

Что может быть противоположнее, как Берлиоз-композитор, т. е. крайнее проявление ультраромантизма в музыке, и Берлиоз-критик, сделавший себе кумира из Г л ю к а и ставивший его выше всех остальных оперных авторов? Может быть, тут именно проявляется то притяжение друг к другу крайних противоположностей, вследствие которого, например, высокий и сильный мужчина по преимуществу склонен влюбляться в женщин маленьких и слабых, и наоборот. Знаете ли Вы, что Ш о п е н не любил Бетховена и некоторых сочинений его не мог слышать без отвращения? Это мне говорил один господин, знавший его лично.

Вообще я хочу сказать, что отсутствие родства натур между двумя художническими индивидуальностями не исключает их взаимной симпатии.

Кстати о Ш о п е н е. Вы спрашиваете, где можно достать его биографию. Сколько мне известно, о нем есть только одна книга: Листа. Она напечатана на французском языке. Вы можете также найти у Юргенсона собрание статей Х р и с т и а н о в и ч а, из которых одна, посвященная Шопену и печатавшаяся когда-то в «Русском вестнике», имела в свое время громадный успех [1]. Сколько помнится, статья написана недурно. Нельзя ли Вам устроить, чтобы Пахульский, Данильченко и три других ученика консерватории разучили бы для Вас G-moll'ный квинтет Моцарта, столь страстно мной любимый?

До следующего письма, беспредельно любимый мной друг. Я надеюсь, что Вам лучше, что Вы покойнее. Будьте счастливы и здоровы.

Ваш П. Чайковский.

127. Мекк — Чайковскому

1878 г. марта 31 — апреля 4. Москва.

Москва.
31 марта 1878 г.

Сейчас получила Ваше письмо, бесценный друг мой, и так как в настоящую минуту у меня есть свободное время, то я и хочу воспользоваться им, чтобы побеседовать с Вами, дорогой мой. Скажу прежде всего о том, что Вас беспокоит: о любви Анатолия Ильича. Мне очень приятно, что я могу сказать Вам, что выбор его пал очень удачно; я не знаю лично Александры Валерьяновны Панаевой, но очень хорошо знаю ее отца, дядей и все семейство Панаевых. Ее отец Валерьян и брат его Ипполит Панаевы были товарищи по институту моего мужа и все свое состояние составили у него на постройке Курско-киевской железной дороги. Мать М-lle Панаевой недалекая и довольно пустая, но добрая женщина, но отец ее, дядя и их жены прекраснейшие люди. Из них я особенно коротко знала дядю ее Кронида, и как слышу теперь от него идущий отзыв, что М-lle Панаева очень хорошая девушка. Я не думаю, чтобы ее успехи как не r e n o m m é e d e p r o f e s s i o n * могли ее испортить. В ее положении такая известность есть побочный предмет, не входящий в программу ее жизни, следовательно, и чваниться им она не может. Что касается ее состояния, то едва ли можно ее считать б о г а т о ю невестою, потому что состояние ее отца сильно расстроилось таким обстоятельством. В Петербурге несколько лет назад продавалась с аукциона земля участками на Адмиралтейской площади. Валерьян Александрович увлекся проектами о выгодности покупки этой земли и эксплоатировании ее и купил большой участок за большие деньги, в предположении возвести там огромные постройки и получать большие доходы, а теперь, когда проект построек и планы готовы, приступлено к постройке и потрачено на все это много денег, казна не позволяет ему строить, потому что проектированное им здание было бы выше Зимнего дворца, не в н р а в с т в е н н о м, а в а р х и т е к т у р н о м отношении; но ведь Вы знаете это чиновничье самодержавие у нас: н е л ь з я, и суда нет. То этим случаем и к тому же долгою болезнью Валер[ьяна] Алекс[андровича] состояние его совсем расстроилось. За двумя дочерьми, которые раньше вышли замуж, он дал по семидесяти пяти тысяч приданого, а за Алекс[андрой] Валер[ьяновной] полагают, что он не может их дать. Но, во всяком случае, à part tous raisonne-

* профессиональной знаменитости

ments *, я думаю, что Анатолий Ильич имеет много шансов быть принятым comme aspirant **, а так как эта девушка и все семейство очень достойные люди, то и à la bonne heure! *** Вы можете подумать, дорогой мой Петр Ильич, что я большая поклонница браков, то для того, чтобы Вы ни в чем не ошибались на мой счет, я скажу Вам, что я, наоборот, непримиримый в р а г браков, но когда я обсуждаю положение другого человека, то считаю должным делать это с его точки зрения.

Очень, очень благодарю Вас, мой дорогой, за предложение как устроить возможность скорее получать Ваши сочинения, и способ, предлагаемый Вами, я нахожу очень хорошим и удобным, но я все-таки должна от него отказаться по той причине, что если я буду посылать Ваши рукописи Юргенсону, то это даст ему возможность отчасти догадаться о наших сношениях, и тогда это станет известным всему консерваторскому кружку и Рубинштейну, а я этого очень бы не желала, потому что в таком мире, как музыкальный вообще и консерваторский в особенности, это возбудило бы массу интриг и навлекло бы нам кучу неприятностей. Чем больше узнаю я этот музыкальный мир, тем больше разочаровываюсь в нем и тем больше ценю и люблю Вас, мой несравненный друг, теперь Вы один для меня составляете тот sanctuaire ****, в котором человек может свободно чувствовать, стремиться возвышаться, не ударяясь о зависть, злобу, пошлость. О других же можно сказать, что если они сладко поют, то горько угощают, и это все под покровом музыки, этого божественного искусства; ничего у людей святого нет! Но я отвлеклась от дела. О том, что Вы не можете переписывать, и речи быть не может, потому что Вы мне же нужны для чего-нибудь больше, чем это. При всем этом самым лучшим было бы то, чтобы Юргенсон скорее печатал Ваши сочинения; когда я ему заказывала напечатать Ваши переложения, он очень скоро это сделал. Во всем, что Вы говорите о Некрасове, я все-таки слышу то же созвучие наших душ, которое почти во всем существует между нами. Наши с п о с о б н о с т и чувствовать и симпатии совсем одни и те же, только применения их различны, и это потому, что мы неодинаково прожили жизнь: В а ш а не разъяснила Вам того, что мне моя. Меня чрезвычайно радуют успехи Ваших сочинений, дорогой мой друг. Вы говорите мне, что Вы не желаете к л а н я т ь с я для распространения Ваших сочинений за границею.

---

* помимо всех соображений
** как претендент
*** в добрый час!
**** святилище

Да разве я этого могу желать в Вас, которого я так люблю,— сохрани бог. Как артиста, как человека я ставлю Вас неизмеримо выше таких мер, но я желала бы, чтобы Ваши сочинения побольше пускались в ход издателем, т. е. побольше продавались бы за границу, и если надо, то с некоторою уступкою в цене.

Мои проекты на лето еще не установились, но, во всяком случае, я поеду в начале июня в Браилов, пробуду некоторое время там и оттуда за границу, но вот именно время этого пребывания в деревне и выезда оттуда еще не определено. Ваше предположение, милый друг, что я так детально занимаюсь делами своей железной дороги, ошибочно. Специально ею занимается мой сын Володя, но под г л а в н ы м распоряжением моим, а Браиловым детально и вполне занимаюсь я; мы так разделили с сыном наши дела. После мужа мне остались очень запутанные и затруднительные дела, так что без в с я к о й помощи я не могла бы справиться с ними. Поэтому я выбрала соопекунами к себе моего сына Володю и брата Александра, но главные распоряжения потому сосредоточиваются во мне, что я и опекунша малолетних детей моих и участница во всех делах, оставленных моим мужем. Вы, вероятно, читали о выстреле, сделанном г-жею Засулич в Трепова? Первого апреля это дело разбиралось в Окружном суде, и присяжные заседатели вынесли г-же Засулич... оправдательный вердикт?! [1] Я недоумеваю, потому что хотя поступок Трепова с осужденным Боголюбовым возмутителен, но тем не менее предоставлять каждому частному произволу расправу за действия других, мне кажется, не следует. Прилагаю Вам здесь, друг мой, описание того, что последовало по ее оправдании, и передовую статью «Московских ведомостей» по поводу этого оправдания; я вполне согласна с мнением Каткова об этом предмете [2]. Я нахожу, что следовало Трепова судить и о с у д и т ь за его поступок с Боголюбовым, а г-жу Засулич осудить за самовольную и немножко резкую расправу с Треповым. А вчера у нас в Москве произошел случай, который приятнее действует, чем это либеральное оправдание. Тут дело также в расправе, но это была здравая, прямодушная расправа русского народа с извращенными, циничными понятиями передовых людей. Прилагаю Вам описание и этого случая [3].

Это письмо я посылаю уже в Каменку, потому что думаю, что там оно вернее Вас найдет. На-днях я получила из Парижа много сочинений Lalo, Godard и Lacomb'a и могла сделать при этом очень интересное наблюдение над прогрессом творчества. В этих сочинениях прислано самое первое сочинение Lalo, по-

священное его профессору; ну, знаете, это смешно читать его, до такой степени оно мало похоже не только выработкою, но и характером на теперешнего Lalo. Теперь он отличается такими оригинальными ритмами, смелыми гармониями, неожиданными последованиями; первое же сочинение его, названное f a n t a i s i e o r i g i n a l e (в форме boléro *), не имеет в себе ничего оригинального. Оно построено на таких первобытных основаниях, так наивно сентиментально (что теперь ему уже вовсе несвойственно), вертится все на трех каких-нибудь аккордах, так что смешно даже становится. В таком же роде и с Godard вышло. Теперь его играют очень много в Париже; нынешнею зимою он получил премию пополам с Dubois за свою хоровую симфонию «T a c c o». Из последних его сочинений очень красив скрипичный концерт. Его музыка совсем другого характера, чем Lalo. Он романтической школы, и в этом характере она имеет самобытность чувства и новизну. Зато третий из них, Lacombe, ну, об этом можно сказать то же, что о Римском-Корсакове: что он хороший контрапунктист и только. Он, должно быть, пианист, потому что пишет сонаты для фортепиано со скрипкой совсем пофортепианному. Знаете, я из сонат скорее всего узнаю, написаны ли они пианистом или скрипачом.

У нас погода отличная, трава начинает зеленеть. Вы ничего не потеряете, дорогой друг мой, вернувшись в Россию: в настоящее время, должно быть, у нас теплее, чем в Clarens. Милочка очень благодарит за внимание и в свою очередь посылает Handkuss **. Она все ждет, когда Вы приедете сюда, и она поведет Вас в мой кабинет показывать Вам Ваш портрет. Вообразите, что она препорядочно знает географию, и это только потому, что присутствует при уроках Сони. До свидания, мой дорогой, несравненный друг. Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

Только что я окончила мое письмо, как мне подали № «Голоса», в котором я прочла рецензию Ларош, где он очень много говорит о Вас, дорогой мой Петр Ильич; посылаю Вам эту статью [4]. Расскажите мне, пожалуйста, милый друг, кто такой этот Ларош и что он за человек. Я очень люблю читать его критики, потому что в них виден человек образованный и умный, хотя не всегда беспристрастный; я хотела бы знать об нем что-нибудь. Заметьте, Петр Ильич, что Ларош высказывает то же мнение, которое я выразила однажды в одном из моих писем

---

* Болеро — испанский танец.

** воздушный поцелуй

к Вам и которое Вы совершенно отвергли,— это то, что музыка не может выразить всех оттенков и разнообразия чувств так, как поэзия. Ларош говорит также, что «музыка бессильна бороться с поэзиею». Теперь пока конец концертам. Я говорю: «пока», потому что на святой готовятся опять. Сию минуту получила Ваше письмо, мой добрый, несравненный друг. Благодарю Вас от глубины души за Ваше участие и внимание ко мне. Так как моя тоска есть следствие нравственных причин, то что же лучше может облегчить ее, как доброе, ласковое слово дорогого человека? Вообще ничто не трогает [*окончание письма не сохранилось*].

128. Чайковский — Мекк

Clarens.
4/16 апреля 1878 г.

Модест вчера уехал в Лион. Невыразимо пусто, мрачно и грустно сделалось теперь здесь. В комнату его и Коли нет сил войти. А между тем завтра мы увидимся. Что же будет, когда придется расстаться надолго в Каменке?

Завтра в три часа я уеду отсюда не в Женеву, как предполагал, а в Лозанну, где и буду ожидать брата, который приедет вечером. В четверг утром мы едем в Мюнхен и Вену.

Припоминая все шесть недель, проведенные здесь, я не могу не сказать, что, несмотря на дурную погоду, они оставят во мне самые лучшие воспоминания. Трудно представить себе обстановку более благоприятную для моего мизантропического нрава. Мне очень жаль, что здешняя хозяйка так несчастлива, что у нее никогда нет жильцов, но для меня это очень благоприятное обстоятельство. Я мог не без основания воображать себя живущим в своей собственной вилле, так как, кроме нас, здесь жила еще одна больная дама, не выходящая из своих комнат, и больной господин, тоже обреченный сидеть взаперти. Потом чудная местность, великолепная терраса на озеро, отдаленность от другого жилья, все это очень удобно и приятно. Наконец, общество брата и его воспитанника, тишина, возможность без всякой помехи работать,— ах, как я все это ценю.

Сегодня идет целый день дождь, но он уже не сердит меня, потому что природа подарила нас такими чудными тремя днями перед этим, что можно терпеливо перенести хоть несколько дней ненастья. В воскресенье мы ездили в V e r n a y a z смотреть g o r g e s d u T r i e n t. Я их вижу уже не в первый раз, но что это за прелесть, и что за чудная весенняя погода была в этот день! В довершение всего, вечером на небо всплыла луна, и

наступила такая чудная ночь, что трудно было решиться итти спать. Мне очень приятно, что накануне отъезда брата природа расщедрилась и наградила нас этим восхитительным днем.

Очень умную книгу читаю я теперь и очень рекомендую Вам прочесть ее, дорогой друг мой. Это «Les origines de la France contemporaine» Тэна. Он излагает поразительно правдивую картину нравов, быта и общественной жизни, как публичной, так и частной, во время первой революции. Книга эта придется очень не по вкусу тем поклонникам первой революции, которые не хотят в ней видеть ничего, кроме торжества великих идей свободы и братства. Мысль Тэна та, что весь смысл и историческое значение революции заключаются вовсе не в борьбе за идею, а в борьбе за право собственности. Двигателем революции он признает не стремление добыть расширение политических прав, а желание бедных поживиться на счет богатых. Весь же пышный декорум революции, громкие слова: свобода, братство, равенство — он называет пустым призраком и признает во всем этом лишь смешные и комические стороны. Мысль очень смелая, особенно в устах француза, который без фраз не может обойтись и считает долгом восхищаться своей революцией. Пока вышел только первый, но на-днях должен выйти второй том.

Известие об оправдании девицы, стрелявшей в Трепова, производит здесь большую сенсацию. Здешние газеты видят в этом торжество партии нигилистов, а враждебные нам французские газеты указывают даже на опасность торжества революционных идей, которая угрожает им со стороны России!!! Об этом пишутся целые передовые статьи.

Я льщу себя надеждой иметь от Вас известия в Вене, где мы проведем всю субботу.

Будьте здоровы, милый и дорогой друг.

Ваш П. Чайковский.

Пожалуйста, передайте мои приветствия Милочке.

129. Чайковский — Мекк

Вена.
8/20 апреля 1878 г.

Мы выехали из Кларенса в прошлый вторник, и в Лозанне я съехался с братом Модестом, возвратившимся из Лиона, откуда он вывез очень утешительное впечатление. Коля произвел самое лучшее впечатление на своего бывшего учителя произношения.

Брат имел случай при этом сравнить успехи Коли с успехами нескольких других детей, начавших вместе с ним учиться слову в Лионе, при чем преимущество осталось за Колей.

В этот же день со мной случилось происшествие, могшее окончиться для меня очень трагически. Я отправился с Алексеем гулять в O u c h y, в ожидании Модеста. Не дойдя до цели прогулки, я увидел поезд проволочной железной дороги, подымавшийся в Лозанну и останавливавшийся около маленькой станции, чтобы принять новых пассажиров. Нужно было поспешить сойти с очень большой лестницы. Я побежал, за что-то запнулся, упал и в совершенно бессознательном состоянии скатился до конца лестницы. Несколько секунд я не мог притти в себя. Когда я опомнился, то почувствовал сильную боль в нескольких местах тела, причем особенно досталось правой руке, на которой, между кистью руки и костями, где кисть кончается, тотчас же вскочила шишка огромных размеров. По невероятно счастливому стечению обстоятельств я не повредил себе серьезно ничего и отделался лишь вышеупомянутой шишкой и несколькими синяками. В настоящее время я ощущаю только сильную боль при всяком повороте правой руки, и писать мне очень неудобно и неприятно. Само собой разумеется, что в этом не имеется ничего важного и опасного. На другой день утром мы выехали из Лозанны. Пришлось ночевать в Цюрихе и оттуда до Вены ехать еще сутки. Сегодня мы отдыхаем здесь, а завтра утром отправляемся дальше. Следующее мое письмо к Вам уже будет из России.

Меня очень удивило, что Вена ушла далеко вперед от Кларенса. Там деревья еще едва зеленеют, а здесь уже совершенное лето. Сейчас я ходил с Колей по Пратеру, где все находится на летнем положении. Вообще Вена сегодня предстáвляет очень веселое и оживленное зрелище, и она оставила бы во мне хорошее впечатление, если б не чтение утренних газет, которые преисполнены самою ядовитою злостью, самых отвратительных клевет на Россию. «N e u e F r e i e P r e s s e» старается доказать своим читателям, что дело девицы, стрелявшей в Трепова, причинило целую революцию, что государь в опасности, что он покидает Россию и должен спасаться бегством и т. д. и т. д.

Покидая чужие страны и накануне своего возвращения в Россию в качестве совершенно здорового, нормального, полного свежих сил и энергии человека, я должен еще раз поблагодарить Вас, мой бесценный, добрый друг, за все, чем я Вам обязан и чего никогда, никогда не забуду. Жду с величайшим нетерпением известий о Вашем здоровье.

Ваш П. Чайковский.

130. Чайковский — Мекк

Каменка.
12 апреля 1878 г.
Среда.

1878 г. апреля 12—13. Каменка.

Вчера вечером мы, наконец, приехали сюда после довольно утомительного путешествия. Ожидания мои не сбылись. Мне казалось, что при въезде в Россию я испытаю сильное и сладкое ощущение. Нет! ничего подобного не было. Напротив, грубый и пьяный жандарм, долго не пропускавший нас, ибо никак не мог понять, равно ли количество врученных мною паспортов числу лиц, коим они принадлежат; таможенный чиновник и артельщики, перерывшие наши сундуки и заставившие меня заплатить за платье, купленное по поручению сестры и стоившее семьдесят франков, четырнадцать рублей золотом; жандармский офицер, подозрительно на меня смотревший и долго экзаменовавший меня, прежде чем решился отдать паспорт; грязные вагоны, разговор в Жмеринке с каким-то навязчивым господином, уверявшим меня, что ничего нет гуманнее, как политика Англии; масса грязных жидов с сопровождающей их всюду отвратительною атмосферой; встреча громадного санитарного поезда, наполненного тифозными больными; масса молоденьких солдатиков, ехавших в одном поезде с нами, причем на каждой станции происходили сцены прощания их с матерями и женами,— все это отравляло мне удовольствие видеть родную и страстно любимую страну свою.

В Жмеринке мы провели несколько часов. К сожалению, мы и приехали и уехали вечером, так что я не мог видеть Браилова, хотя по расспросам знал, где он находится. Вчера, в ожидании приезда в Каменку, целый день волновался. Нас встретили сестра и остальные родные. Они все высказали мне так много любви и участия, что я очень скоро успокоился и стал чувствовать себя в благоприятной и симпатичной мне сфере. Так как в доме у сестры тесно, то она приготовила мне очень милое и совершенно отдельное помещение. Я буду жить в очень чистенькой, уютненькой хатке, значительно отдаленной от местечка и от жидов, с видом на село и на извивающуюся вдали речку. Садик густо усажен душистым горошком и резедой, которые месяца через два будут уже цвести и разливать свой чудный аромат. Хата моя устроена очень удобно и комфортабельно. Даже инструмент достали и поставили в маленькой комнатке, рядом со спальней. Заниматься мне хорошо будет.

Меня ожидало здесь письмо Ваше, прочтенное с невыразимым удовольствием. Как мне было приятно, дорогая моя

Надежда Филаретовна, что Вы так верно, так справедливо отнеслись к возмутительным фактам, происшедшим в Петербурге и Москве. Другого я и не мог, впрочем, ожидать от Вас, хотя я и боялся, что сочувствие к личности Засулич, во всяком случае недюжинной и невольно внушающей симпатию, повлияет несколько на Ваш взгляд. Но в том-то и дело, что симпатия к ее личности и ненависть к наглому и жестокому произволу петербургского префекта — с а м и п о с е б е, а отвращение к тем проявлениям антипатриотического духа, которыми ознаменовалось ее оправдание и м о с к о в с к о е п о б о и щ е — с а м о п о с е б е. В настоящую минуту я нахожу, что оба эти факта в высшей степени возмутительны, и я, как Вы, радовался, что простой русский народ сумел дать почувствовать сумасшедшим представителям нашей молодежи, до какой степени их поведение несогласно со здравым смыслом и с духом народной массы. Очень, очень приятно мне было опять убедиться, что, несмотря на маленькие разногласия в подробностях, мы так близки и родственны с Вами в общем.

Сейчас получена депеша от брата Анатолия. Он приедет сегодня вечером. Я поеду на станцию встречать его. Письмо буду продолжать завтра утром.

13 апреля, четверг.

Трудно мне описать Вам, друг мой, ту радость, которую доставило мне свиданье с Толей. Я не ожидал, что радость эта так глубоко потрясет меня. Произошла целая сцена, которая доказала мне, до какой степени я не в состоянии владеть собой или, лучше сказать, своими нервами. Но горбатого только могила исправит.

В качестве петербургского жителя, имеющего массу связей с людьми всяких кругов и сословий, Анатолий привез сюда бездну интересных сведений по всем текущим общественным делам и интересам. Он, между прочим, был на заседании суда по делу З а с у л и ч, и все, что он по этому поводу рассказывает, столь же интересно, сколько и грустно. С одной стороны, ему как товарищу прокурора хорошо известны установившиеся у нас порядки по отношению к политическим преступникам, и признаюсь Вам, что волосы становятся дыбом, когда узнаешь, как безжалостно, жестоко, бесчеловечно поступают иногда с этими заблуждающимися юношами и увлекающимися либеральничаньем девицами. С другой стороны, нельзя не возмущаться, видя легкомысленность, невежественность людей, стоящих во главе судебного ведомства. Оказывается, что люди, заправлявшие всей процедурой дела Засулич, действовали

необычайно неразумно, вследствие желания попопулярничать и полиберальничать. Вообще, при исполнении своих обязанностей, начиная от министра и кончая последним помощником секретаря, никто не хлопотал о своем прямом деле: всякий руководствовался посторонними делу, по большей части личными побуждениями, иной метил на популярность, иной мечтал, как бы похуже напакостить Трепову, иной просто подслуживался к прямому начальнику, но все упустили служение самому делу, исполнение своего долга. Поневоле переходишь от всего этого к внешней политике и начинаешь понимать, что и здесь нет последовательности, прямоты действий. Мы переживаем очень критическую эпоху, и бог знает, чем это все кончится. Анатолий удостоверяет, что студенческие волнения и вообще положение наших внутренних дел очень серьезно, и можно теперь ожидать на каждом шагу новых вспышек брожения умов молодежи. И как жаль нашего бедного, доброго государя, так искренно желающего добра и встречающего такие убийственные разочарования и огорчения.

Благодарю Вас, добрый друг, за вырезки из газет. Фельетон Лароша я прочел с величайшим интересом. Вы желаете поближе с ним познакомиться. С величайшей охотой удовлетворю сейчас Вашему желанию. Я давно и очень коротко знаю Лароша. Это одна из самых даровитых натур, когда-либо мной встреченных. Он обладает и громадным музыкальным дарованием, и большим литературным талантом, и совершенно непостижимою эрудицией, доставшейся ему очень легко, так как он никогда и нигде ничему не учился и всеми своими громадными познаниями обязан исключительно необычайно развитой памяти и вообще сильным природным способностям. К сожалению, он человек в высшей степени бесхарактерный, слабый, ленивый и легкомысленный и, несмотря на всю многосторонность своих способностей, он никогда не займет места, подобающего его таланту. Когда я с ним познакомился, ему было шестнадцать лет, и он в то время уже был совершенно готовым музыкантом, которому все трудности музыкальной техники дались без всякого усилия, сами собой. С тех пор прошло шестнадцать лет, и он не сделал ни одного шага вперед. Wunderkind остался тем же многоодаренным, но нищим энергиею к труду человеком. В настоящее время ему грозит совершенная погибель. Он изленился до того, что с величайшим трудом может написать каких-нибудь десять фельетонов в год, не более. Обладая колоссальным музыкальным дарованием, он запустил себя до того, что уже лет десять не написал ни одной строчки. Вино, карты, женщины известного сорта, вот единственные

предметы, выводящие его из апатии. Друзья его, и я в том числе, много раз пытались приподнять его, навести его на настоящий путь, заставить его писать и работать, и все это удавалось только на несколько дней. Le pli est pris*. Теперь осталось рукой махнуть и ждать, что или он сам в один прекрасный день опомнится или что он замолкнет окончательно. Частные его обстоятельства очень плохи. Лет десять тому назад он женился по любви на девушке, любившей его безгранично. Она имела на него самое благотворное влияние. Он стал работать. Переселившись в Петербург, завел множество связей в литературном и музыкальном мире; ему открылись все пути к блестящему положению, если б в нем хватило выдержки. К сожалению, любовь к жене мало-по-малу остывала, странный, неуживчивый характер и совершенно непонятная бестактность скоро наделали ему множество врагов; потом жена заболела чахоткой и умерла, оставив на его попечении трех детей; потом он по расчету женился на влюбленной в него, но немилой ему княжне. Дела путались; он лишился места в консерватории, лишился множества других источников благосостояния, состояние жены расстроилось, лень и страсть к материальным наслаждениям все более и более овладевала им, и теперь я уже не жду от него ничего хорошего.

Как критик он имеет много достоинств. Во-первых, он не узкий музыкант-специалист; он вообще человек, обладающий громадной массой сведений. Во-вторых, он превосходно пишет. К сожалению, эти два громадных достоинства парализуются следующим недостатком. Он непоследователен. Он часто противоречит себе; он руководствуется в своих оценках разными личными отношениями. У него нет искренности и прямоты. Представлю Вам пример. Всякому читающему его фельетоны известно, как он преклоняется перед композиторским даром Рубинштейна. Он не упустит никогда случая высказать свой культ этому композитору. Между тем, как частный человек он терпеть не может его сочинений. И таких несогласий его внутренних убеждений с их внешним проявлением у него множество. Все это в высшей степени дискредитирует его в моих глазах как критика. Нельзя требовать, чтоб критик был всегда справедлив и безусловно непогрешим в своих оценках. Но нужно, чтобы он был правдив и честен. Он может ошибаться, но всегда de bonne foi**.

В общении с людьми Ларош человек, как я уже говорил,

---

* Это уже вошло в привычку.
** искренно

невообразимо бестактный и вследствие этого имеющий мало друзей. Но в кругу друзей как собеседник он неподражаемо остроумен, блестящ, несколько парадоксален, но всегда интересен. Он добр по природе, но завистлив и мелочно самолюбив. Как человека, несмотря на все его слабости, я его очень, очень люблю. Вот Вам, дорогой друг, портрет Лароша.

Я имею сказать Вам еще очень многое, но откладываю остальные предметы беседы до завтра. А покамест скажу Вам, что горячо люблю Вас, часто думаю о Вас — всегда с умилением и бесконечной благодарностью.

Ваш П. Чайковский

131. Чайковский — Мекк

Каменка,
15 апреля 1878 г.

Поговорю с Вами сегодня по поводу известного дела.

Анатолий очень обстоятельно разузнал всю процедуру развода. Это будет очень незатруднительно, но требует времени от трех до четырех месяцев. Дело будет ведено в Петербурге, и мне необходимо будет среди лета съездить туда недели на две. Мы начнем действовать сейчас же, и началось с того, что сегодня брат написал к известной особе письмо, в котором предлагает ей на известных условиях развод и просит ее приготовить ответ к приезду его в Москву, где он проведет весь понедельник Фоминой недели. Нет никакого сомнения, что она согласится. Инициатива должна быть принята ею, т. е. она должна будет подать просьбу в консисторию о своем желании расторгнуть брак. Так как брат не имеет права ходатайствовать по делам, то необходимо будет поручить это дело специалисту по части бракоразводных дел, который будет действовать под руководством брата, подавать просьбы, заявления и т. д.

Впрочем, повторяю, процедура несложная и вся состоит из формальностей, в которых встречается только то неудобство, что необходимо будет мне на время покинуть Каменку и побывать в Петербурге, ненавидимом мной вообще, а летом в особенности. Так как необходимо, чтобы никому не был известен источник, из которого я почерпну сумму, потребную для развода, то я решил с братом следующее: известной особе будет сказано, что сумму эту мне дает мой зять, муж сестры. Ей же, т. е. сестре, и ее мужу я должен был солгать. Так как я хотел бы, чтобы вообще, кроме меня и Анатолия, никому не было бы известно Ваше участие в этом деле, то я решился на

ложь. Я сказал сестре и ее мужу, что сумму эту получу из Русского музыкального общества. Вообще, друг мой, прошу Вас верить, что я сделаю все возможное, чтобы имя Ваше ни разу не было упомянуто в течение всей процедуры, и что даже самым близким мне людям не будет раскрыто, кто та невидимая благодетельная рука, помощь которой дает мне свободу и покой [1]. По мере дальнейшего течения этого дела я буду обстоятельно уведомлять Вас о всех его фазисах.

То неловкое чувство, которого я так боялся и которое я все-таки до некоторой степени испытывал в первые часы моего пребывания здесь, теперь совершенно исчезло. Трудно передать, какою любовью, какою нежною заботливостью я окружен здесь. Бедная сестра моя никак не может утешиться, что она была невольной виной многих очень тяжелых минут, пережитых мною в начале моего пребывания за границей. Она увлеклась своим необычайно добрым сердцем и была ко мне не совсем справедлива. Зато нет меры ее желанию доказать мне теперь, что она сознает свою ошибку. Что касается меня, то я никогда не сердился на нее, ибо знал, что она может ошибаться только по неведению и вследствие незнания людей. Она почти всю жизнь провела в деревне, среди людей самого высокого нравственного достоинства и не может знать, до чего иногда простирается низость и пошлость человеческой души. В сущности же, вся вина этого трагикомического дела лежит на мне исключительно, и если что меня оправдывает, так это то, что я положительно был в состоянии невменяемости.

У меня все еще очень болит рука. Я принужден был обратиться к помощи доктора и ношу на больной руке перевязку. Писать мне трудно. Мне еще и нужно и хочется поговорить с Вами об очень многом, но отлагаю обильный материал до следующих писем. До свиданья, дорогая, милая Надежда Филаретовна.

Ваш П. Чайковский.

132. Чайковский — Мекк

Каменка,
17 апреля [1878 г.]
10 часов вечера.

Может быть, от целого ряда сильных эмоций, может быть, от простуды или от постной пищи, на которую я здесь попал, но только я уже два дня чувствую себя совершенно нездоровым, а ночью сегодня мне было так скверно, что я принужден был раз-

будить брата и принять некоторые меры. Впрочем, ничего серьезного нет. Завтра буду здоров.

Я хотел сказать Вам о том, что я так или иначе, но устрою, что Вы будете всегда иметь мои сочинения до их напечатания. Вы совершенно правы относительно неудобства пересылать Вам мои подлинники по снятии с них копий к Юргенсону. Я сделаю это иначе, и Вам, дорогой друг, не нужно беспокоиться об этом. Я буду снимать копии или сам, если количество пьес небольшое, или распоряжусь о переписке до отсылки пьес к издателю. Что касается скрипичного концерта, то я поручил Котеку велеть в Берлине снять с моей очень неразборчивой рукописи две копии, из коих одну он пошлет прямо к Вам, а другую к Юргенсону. Надеюсь, что Вы простите меня за то, что я вмешал в дело о переписке для Вас копии Котека. Я это сделал потому, что ему известно, что Вы интересуетесь моими сочинениями вообще; кроме того, я уже давно знал через него, что Вы особенно любите пьесы со скрипкой. Чрезвычайно благодарен Вам за сведения, которые Вы мне сообщаете касательно семейства Панаевых. Я много говорил об Алекс[андре] Валер[ьянови]е с братом. Из всего, что он сообщил мне, я усматриваю следующее. Во-первых, несомненно то, что она во всех отношениях прелестная девушка. Ее положение в обществе, как Вы справедливо замечаете, не таково, чтобы для нее было m é s a l l i a n c e* замужество с братом. Но осуществлению его мечты мешают два препятствия: 1) родители ее, очевидно, не желают этого; по крайней мере, М-me Панаева запретила дочери своей даже говорить с Анатолием, а 2) и самое главное препятствие, то, что Ал[ександра] В[алерьяновна] н е л ю б и т брата и, как он утверждает, не любит и никого другого. Вообще, по его словам, это очень загадочная и странная девушка. Насколько брат успел понять ее семейные обстоятельства, она находится не в особенно благоприятном положении, т. е. ей приходится быть жертвой довольно крупного родительского деспотизма. Между тем, он не заметил, чтоб А[лександра] В[алерьяновна] стремилась выйти из своего положения посредством замужества. Что касается любви брата, то сильное и мучительное нервное возбуждение, в котором он находился, теперь прошло. Он любит ее попрежнему, но менее жгуче и покойнее, быть может, потому, что узнал достоверно, что она никем другим не увлечена.

Сегодня сестра получила от жены моей письмо. Чтоб не вдаваться в дрязги, скажу Вам только, что более чем когда-либо в эту минуту я призываю всей душой то чудное мгновенье, когда

---

* неравный брак

несносная цепь спадет с плеч моих. Первый шаг сделан. Письмо с предложением развода послано. Через неделю брат получит при свидании с ней ответ ее. Вся трудность состоит в том, чтоб она дала благоприятный ответ. Все остальное — формальности. Нужно быть безумной, чтобы не согласиться на мое предложение. Но она именно безумна.

До следующего письма, добрый и лучший друг мой.

Ваш П. Чайковский.

133. Мекк — Чайковскому

Москва,
18 апреля 1878 г.

Христос воскрес!

Поздравляю Вас с праздником и с возвращением на родину, мой милый, дорогой Петр Ильич. Как я рада, что Вы находитесь теперь ближе к Москве, что заграничное пребывание принесло Вам пользу, что, быть может, нам удастся добыть Вам полную свободу! Но так как судьба никогда не дает человеку полного чувства радости, без какой-нибудь примеси отравы, то и моя настоящая радость омрачается мыслью о Вашей больной руке, о том гадком случае, который это произвел. Эти ушибы еще и тем очень отвратительны, что они долго дают себя чувствовать,— я испытала это. Ваши пограничные впечатления в Волочиске живо напомнили мне эту станцию и отразились во мне тождественным ощущением. Этого жандармского капитана я ужасно боюсь, так что всегда подъезжаю к этой станции с замиранием сердца; это самая дурная из всех наших русских границ. Мне очень жаль, что Вы не видели издали моего Браилова. Знаете, Петр Ильич, у меня есть одно желание, которое я была бы очень рада, если бы Вы исполнили, это, чтобы Вы побывали в том месте, которое я так люблю, в которое я всегда стремлюсь сердцем, в котором есть для меня много дорогих, хотя и тяжелых воспоминаний, — в нашем Браилове. Теперь Вы находитесь так близко от него, что это могло быть маленькою летнею экскурсиею. Ваш beau-frère*, вероятно, хороший хозяин, — мне было бы приятно, чтобы он взглянул на наше хозяйство, которое, как мне кажется, устроено и заведено очень хорошо, хотя имение и не дает ни копейки дохода, но это потому, что расходы непомерно велики. Вообразите, что мне подают каждый год смету расходов в двести тысяч рублей на одну экономию, не считая

---

* зять

фабрики, — она имеет отдельное счетоводство и управление, — и на этой сметы всегда выходят. Милый друг мой, вот что я Вас прошу: будьте так добры, спросите Вашего beau-frère, сколько ему стоит десятина свекловичной плантации, т. е. все ее производство, начиная с семян, кончая выкопкою из земли. У меня тратят на это страшные деньги. Но я отвлеклась от моего желания. Если бы Вы нашли возможным, милый друг, прокатиться в Браилов, то было бы хорошо сделать это в конце мая, когда все приводится в порядок к нашему приезду, а я именно хотела бы, чтобы Вы видели все таким, каким бывает при моей жизни там. Для агронома же в настоящее время представится интересная полевая работа, это вспашка земли паровым плугом. Потом у нас завод (сахарный) очень хорошо устроен, так что, быть может, и Модесту Ильичу и Льву Васильевичу было бы небезынтересно взглянуть на это, если только первого из них могут интересовать такие реальные предметы. Беспокоить Вас там никто не мог бы. Главноуправляющий там у меня очень милый, симпатичный старик, но если бы Вы не захотели и его видеть, то я бы его предупредила об этом, и Вы могли бы прожить целую неделю, не видевши ни одной души, а у меня там инструментов много, и между ними очень хорошенький pianino Erard а. Но опять-таки я прошу, милый друг, нисколько не церемониться отказать мне в этом, если будете нерасположены: я понимаю, что Вам, может быть, просто лень поехать куда-нибудь.

Очень, очень благодарю Вас, дорогой Петр Ильич, за сообщение мне биографии Ларош а. Меня очень удивил его возраст: я всегда считала его стариком. И потом, удивительно это благоприобретенное им образование: по его критикам, я его считала человеком фундаментально образованным и серьезным музыкантом, и меня тем более удивило его часто пристрастное поклонение А. Рубинштейну, потому что хотя я вообще очень люблю его сочинения, но не вижу в них глубоко музыкального знания и музыкальной концепции. Его сочинения очень приятны для чувства по своей нервной страстности и беспокойству, но не могут восхищать ума. У меня в настоящее время дом переполнен петербургскими гостьми, но сегодня один из них, Саша, уезжает с гувернером в Петербург, потому что в его классе уже экзамены. Этот начал учиться хорошо, а Коля все еще дурно. Я думаю, не оттого ли это, что у Коли весь класс дурной, а у Сашонка хороший. Здешние лицеисты также дома. Беннигсены, Левисы, брат графа Беннигсена, юный солдат конногвардейского полка, и, pour la bonne bouche *, маленькое

* на закуску

существо, ребенок моего сына Володи, — вот мои гости настоящего времени; но в субботу многие из них уедут обратно. В половине мая моя дочь, Саша Беннигсен, уедет также за границу. Она предпринимает это путешествие для здоровья мужа, хотя для нее оно сопряжено с большим риском, и я очень боюсь за нее, потому что она в таком положении, в котором продолжительная езда по железной дороге весьма опасна, да еще в последних месяцах. Тем более, что у нее все думы и все заботы сосредоточиваются на муже и ребенке, и о себе она забывает совершенно, тогда как ей-то так нужно спокойствие и заботливость о ней. Младшая моя дочь, Лидия Левис, тоже в таком же ожидании, как и Саша, и они не знают, где и когда они будут находиться; так как ее муж — военный, кирасир его величества, то они каждый день ожидают какой-нибудь перемены в стоянке, и за нее я очень беспокоюсь. У кого есть хоть один ребенок, у того сердце никогда не может быть вполне спокойным, а у кого их одиннадцать, как у меня, тот или делается совсем спокойным или приходит в состояние неумолкаемого обмирания сердца, страха и беспокойства. А все-таки иметь детей есть счастие.

Погода у нас все дурная, так холодно, что я отогреться не могу. Со стороны общественных увеселений довольно разнообразно: начались представления Росси, продолжаются еще концерты и повторяется консерваторский спектакль [1], что мне кажется весьма некстати в то время, когда воспитанники должны готовиться к экзаменам. Повторение это будет в пользу Красного креста. Кому почести, а кому горе. Выгодно иметь такую крепостную вотчину, как консерватория, — больше удовлетворения доставляет, чем имение в десять тысяч десятин земли с сахарным заводом в Каменец-Подольской губернии. Там не можешь добиться, чтобы исполняли то, что ты хочешь, а тут — «что повели, то и создашася».

В субботу концерт моего скрипача Бабушки и Бродского в зале консерватории. До свидания, мой милый, бесценный мой друг. Буду с нетерпением ожидать Ваших писем. Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

Милочка поручила мне написать Вам qu'elle Vous embrasse et qu elle voudrait bien Vous envoyer un o e u f à l a c o q u e* (по ее мнению, каждое яйцо есть à l a c o q u e, потому что это ее обыкновенный завтрак). Она в восторге, что теперь так много детей здесь.

---

* что она Вас обнимает и очень хотела бы послать Вам яйцо в смятку

134. Чайковский — Мекк

Каменка,
22 апреля 1876 г.

Представьте себе, дорогоя моя Надежда Филаретовна, что еще в Кларенсе я мечтал побывать в Вашем Браилове. У меня даже была мысль просить у Вас позволения проездом из-за границы остановиться на несколько дней в Браилове, но я не решился на это, боясь, что это представит какие-нибудь затруднения или вообще что просьба покажется Вам назойливой и неуместной. Судите же теперь, каково было мое удовольствие, когда в дорогом письме Вашем я нашел приглашение побывать на несколько дней в Вашем любимом уголке. Непременно воспользуюсь им, но, по всей вероятности, один. Модест через несколько дней уезжает в деревню к родителям Коли на все лето, и ему будет невозможно совершить эту экскурсию; по крайней мере, я сильно сомневаюсь, что ему удастся устроить ее. Что касается моего зятя, то нужно Вам сказать, что все сложное хозяйство Каменки, обширного и отлично организованного именья, принадлежащего его двум старшим братьям, у коих он служит главноуправляющим, лежит на его руках, и можно смело сказать, что ни одна свекла не сеется и ни одна сажень земли не обрабатывается здесь без его вмешательства. Май, как Вам известно, один из самых горячих по хозяйственной деятельности месяцев, и ему будет очень трудно освободиться на несколько дней. Что касается меня, то Вы не можете себе представить, до чего эта экскурсия кажется мне привлекательной. Во-первых, для меня будет невыразимо приятно провести несколько дней в том месте, где Вы проводите лучшее время года и которое так близко Вашему сердцу. Во-вторых, я не знаю большего удовольствия, как провести несколько времени в деревне в совершенном одиночестве. Со мною это случилось только раз в жизни. Это было в 73-м году. Прямо из Парижа, в начале августа, я поехал в Тамбовскую губернию к одному холостому приятелю. Случилось, что ему как раз в это время нужно было съездить в Москву. Таким образом, я очутился совершенно один в прелестном оазисе степной местности. Не могу Вам передать, до чего я блаженствовал эти две недели. Я находился в каком-то экзальтированно-блаженном состоянии духа, бродя один днем по лесу, под вечер по неизмеримой степи, а ночью сидя у отворенного окна и прислушиваясь к торжественной тишине захолустья, изредка нарушаемой какими-то неопределенными ночными звуками. В эти две недели, без всякого усилия, как будто движимый какой-то сверхъестественною силой, я написал

начерно всю «Б у р ю». Какое неприятное и тяжелое пробуждение из чудного двухнедельного сновидения произвело возвращение из Москвы моего приятеля! Разом все чары непосредственного сообщества природы во всем ее несказанном величии и великолепии пали. Уголок рая превратился в прозаическую помещичью усадьбу. Проскучавши дня два-три, я уехал в Москву.

Если позволите, я возьму с собой только Алексея. Я воспользуюсь Вашим позволением обойтись без знакомства с Вашим главноуправляющим. По крайней мере, я желал бы, чтобы можно было большую часть дня проводить, не встречаясь с ним. Насколько возможно будет вообще абсолютное одиночество, настолько я желал бы им наслаждаться, но, разумеется, мне было бы неприятно быть неучтивым относительно старика, и поэтому я поступлю в этом отношении так, как Вы захотите.

Брат Анатолий вчера уехал. Нечего и говорить, что я грущу без него и что вчера мне было очень жутко. Впрочем, я утешаю себя перспективой свиданья с ним в Петербурге, куда мне, вероятно, придется съездить летом по делу о разводе. В конце лета у него будет отпуск, и мы проведем его вместе здесь, в Каменке.

Здоровье мое прихрамывает. Руке лучше, и хотя я пишу все-таки с усилием, но с меньшим, чем на прошлой неделе. Зато общее состояние организма в каком-то ненормальном и неопределенно болезненном состоянии. Во-первых, все удивляются тому, что я непостижимо х у д е ю все эти дни. По ночам у меня бывает жар, кошмары и вообще лихорадочные сновидения. Гуляю я через силу и без большого удовольствия. Полагаю, что я просто простудился, и не придаю никакого значения всем этим явлениям, так как они не причиняют мне никаких страданий.

Тотчас по получении Вашего вчерашнего письма я обратился к зятю с просьбой дать мне те сведения, которые Вам нужны. Сегодня он даст мне обстоятельные и точные данные. Отлагаю окончание этого письма до получения их. До свиданья, добрый друг мой.

Вечером того же дня

Зять мой приказал сделать подробную выписку из конторских книг, из коих Вы узнаете о цене обработки свекловицы в здешней местности. Знаете, что мне пришло в голову, друг мой? Зять мой по всей Киевской губернии пользуется репутацией превосходного хозяина и знатока свеклосахарного произ-

водства. Не найдете ли Вы возможным, чтобы он когда-нибудь, положим в начале осени, съездил в Браилов, но не в качестве простого туриста, а в качестве человека, которому Вы разрешите требовать все сведения о ходе администрации в Браиловском имении, какие ему окажутся нужны? Он сделает это с величайшею готовностью. Но легко ли это, возможно ли это ввиду того, что Вы питаете, как я вижу, доверие в людей, управляющих Вашим имением? Я передал ему то, что Вы сообщаете о недоходности Браилова и о громадных расходах на его управление, и его это очень заинтересовало. Да и в самом деле, даже для простого, не посвященного в дело человека удивительно, каким образом громадное и великолепное имение может не приносить Вам дохода. Удивление еще усугубляется, когда вспомнишь, что оно принадлежит лицу, про которого нельзя сказать, чтобы у него недоставало оборотного капитала. И часто здесь слышу о плохом ходе дел в имениях, хозяева которых не имеют капитала, но Вы, очевидно, не находитесь в этой категории. Отчего же это? Зять мой сделал следующее предположение. Не принадлежат ли лица, управляющие Браиловым, к числу тех, которые больше всего заботятся о видимом, внешнем порядке, но упускают из виду главную цель, т. е. доходность, хотя бы и жертвуя ради этой цели блеском новых аппаратов и всякого рода нововведений, очень хороших вообще, но непригодных к данной местности и к данным обстоятельствам.

Я не зову взять съездить к Вам в Браилов в конце мая. Во-первых, это для него неудобное время вообще. Во-вторых, сестра на всю вторую половину мая едет в Киев по семейным делам, и ему нужно будет остаться здесь при детях. В-третьих, сюда явится к этому времени один из старших его братьев, собственник Каменки, и ему нельзя будет уехать. Но осенью, после Вашего отъезда, он к Вашим услугам. Если Вы найдете малейшую возможность допустить его до ревизии браиловских дел, то это, во всяком случае, приведет к хорошим результатам. Я питаю неограниченное доверие к его знанию, а его честность, искренность и правдивость находятся выше всякого сомнения.

Не хочу пропустить сегодняшнюю почту и поэтому не дожидаюсь конторской выписки, которую вышлю Вам, вероятно, завтра. До свиданья, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Милочку благодарю за приветствие и шлю ей нежный поцелуй.

135. Чайковский — Мек

Каменка.
23 апреля [1878 г.]

Прилагаю к сему письмецу расчет расходов, потребных для выработки свекловицы, составленный моим зятем и собственноручно им написанный, так что в верности его нельзя сомневаться.

Сегодня чудесный весенний день. Я с вчерашнего дня до такой степени неотвязно преследуем дурной погодой, что не могу достаточно нарадоваться наступлению настоящей весны. До сих пор я еще все только ожидал ее. К сожалению, Каменка как местность представляет очень мало прелестей. До леса очень далеко, сад хотя большой, но неживописный. Воздух отравлен близостью завода и в особенности жидовским местечком. Вся прелесть здешней жизни заключается в высоком нравственном достоинстве людей, живущих в Каменке, т. е. в семействе Давыдовых вообще. Глава этого семейства, старушка Александра Ивановна Давыдова, представляет одно из тех редких проявлений человеческого совершенства, которое с лихвою вознаграждает за многие разочарования, которые приходится испытывать в столкновении с людьми. Между прочим, это единственная оставшаяся в живых из тех жен декабристов, которые последовали за мужьями в Сибирь. Она была и в Чите и в Петровском заводе и всю остальную жизнь до 1856 года провела в различных местах Сибири. Все, что она перенесла и вытерпела там в первые годы своего пребывания в разных местах заключения вместе с мужем, поистине ужасно. Но зато она принесла с собой туда утешение и даже счастье для своего мужа. Теперь это уже слабеющая и близкая к концу старушка, доживающая последние дни среди семейства, которое глубоко чтит ее. Я питаю глубокую привязанность и уважение к этой почтенной личности. Все ее дети (их у ней ровно столько, сколько у Вас) принадлежат тоже к отборным представителям нашей человеческой расы. Таким образом, жить в ежедневном соприкосновении с большим количеством хороших людей очень приятно. Но Каменка сама по себе все-таки не богата прелестями природы. Впрочем, я очень доволен своей хаткой. Она в сторонке; местечка и жидов невидно, вид на село довольно красивый.

Здоровье мое сегодня гораздо лучше. Работа у меня идет хорошо. Теперь я оканчиваю фортепианную сонату [1]. Как только кончу ее, примусь за мелкие пьесы и за романсы. С нетерпением ожидаю известий от брата Анатолия.

Что Ваше здоровье, мой друг? Продолжаются ли те замирания сердца, о которых Вы мне писали? Приходилось ли Вам

хоть раз воспользоваться моим средством, т. е. компрессами? Сегодня именины сестры. Много гостей, и мне вечером придется т а п и р о в а т ь ради милых племянниц, очень любящих потанцовать. Это имеет свою хорошую сторону. Т а п и р о в а н и е избавляет меня от беседы с гостями.

До свиданья.

Ваш П. Чайковский.

136. Мекк — Чайковскому

Москва.
[illegible] апреля 1878 г.

Как я рада, мой милый, бесценный друг, что вы непрочь проехаться в Браилов. Это будет для меня une raison de plus* еще сильнее любить его. Я телеграфировала туда, чтобы все к нашему приезду было готово, к 10 мая, но сама предполагаю ехать не ранее 1 июня; то, быть может, так как Ваша сестра уезжает в Киев, а Модест Ильич—в свое местопребывание, то Вы найдете возможным пробыть в Браилове от 10 мая до 1 июня? Для меня же, чем дольше Вы там пробудете, тем будет приятнее. Я боюсь только вот чего: что Браилов, должно быть, как я вижу из Вашего письма, находится в тех же условиях, как и Каменка, и, следовательно, Вам не понравится, а я его так люблю. Лес в нем также далек, также есть сахарный завод, но в трех верстах от усадьбы, и также есть жидовское местечко, но за рекою. Но что касается прогулки в лес, то есть очень милые места в лесах над рекою, в которые я Вас усердно попрошу съездить, тем более, что тогда будут соловьи петь. Там леса очень красивые, все чернолесье, дуб и граб (charme-bouleau), и есть несколько мест, где крутые горы покрыты совсем таким лесом, а внизу их бархатные луга, и река течет, а над нею поют соловьи. Ах, как очаровательно, в какое действие это приводит все поэтические струны! В этих местах мне хотелось бы просиживать по несколько дней сряду, да я не могу этого исполнять. Вы съездите туда, мой милый друг, не правда ли? Вы вдохнете за меня этого наслаждения, этой высшей поэзии и, если на Вас произведет такое же впечатление, как на меня, вспомните обо мне. В Браилове будут к Вашим услугам лошади с экипажами и верховые и лодки, если Вы охотник до катания на воде. Я ужасно люблю и всегда правлю рулем. Вы не увидите никого, кто бы мог стеснять Вас. Все Ваши приказания

* лишний повод

Вы будете передавать дворецкому через Вашего Алексея. Пусть Вас не отталкивает слово д в о р е ц к и й,— это местный обычай называть д о м д в о р ц о м и слугу в нем д в о р е ц к и м. В сущности же, это есть обыкновенный смертный, как все намердинеры, смышленый и честный, на руках которого находится все домашнее хозяйство.

Очень, очень благодарю Вас, мой дорогой друг, и также Льва Васильевича за присылку мне сведений о свекловице. В результатах этого производства я вижу огромную разницу с моим хозяйством. У меня в прошлом году свекловичная десятина дала только сорок барковцев, но я знаю, почему это. В Каменке, как вижу, секут свекловицу по свежему удобрению, а мой муж совсем запретил это делать, потому что такая свекловица даст меньший процент сахару, поэтому у нас кладут удобрение под пшеницу, а после нее секут свеклу. Будьте так добры, мой милый друг, спросите Льва Васильевича, 1) сколько фунтов сахарного песка дает у него двенадцатипудовой барковец свеклы, и 2) сколько раз в лето делают цапку свекловицы в поле. Извините, дорогой мой, что я так надоедаю Вам такими прозаическими вопросами, но ведь поэзия не может существовать без прозы.

От всего сердца благодарю Вас также, дорогой Петр Ильич, за предложение осмотра моего хозяйства Львом Васильевичем. Я чрезвычайно ценю Ваше участие к моим интересам, но, к сожалению, потому что, как Вы замечаете сами, я только обидела бы этим моего главноуправляющего, а делу пользы не принесла бы, потому что исполнителями хозяйства остались бы все те же люди. Причину же бездоходности Браилова я теперь понимаю вполне и сама: расходы так велики, что доходы не могут их покрыть, а расходы так велики потому, что моя администрация до того избаловалась деньгами, что потеряла всякий масштаб в расходовании их, и я никак не могу отучить их от этого. Я требую, чтобы они вели расходы относительно дохода, как известный процент дохода. Я согласна на самый крупный процент, пусть это будет семьдесят пять процентов, но лишь бы в основании лежала такая теория расчета, а они говорят, что расходы никак не могут быть меньше двухсот тысяч рублей в год на одну экономию, без сахарного завода, а доход — какой бог даст, и все мои желания и требования разбиваются о моего невозмутимого, но честного и доброго главноуправляющего, как об каменную стену. Знаете, сколько мне стоили посев, обработка и доставка на завод свекловицы с пятисот двадцати четырех десятин?—101 331 руб. 34 к.!!! Не правда ли, что это баснословно?.. Я мнениям Льва Василье-

вича в хозяйстве очень доверяю, они для меня авторитетны потому что и результаты приносят великолепные: я о ста тридцати берковцах на десятину и мечтать не смею.

Погода у нас довольно теплая, но дождливая в последние дни. Лида с семейством находится теперь около Генуи, на станции Пегли. Я не знаю, бывали ли Вы в Генуе, милый друг. Эта станция лежит под самым городом, у Villa Pallavicini,—это очаровательная вилла. Юля теперь стала немножко свободнее от уроков с детьми, но вообще и у нее дела очень много. Она посылает Вам самый дружеский сердечный поклон. На-днях мы были в Сокольниках. Там очень мило. Коля мой в Петербурге болен, сильно простудился, так что и в школу не ходит. В настоящее время у меня опять гостит премилое созданьице, ребенок моего сына Володи, также Воличка. У этого детеныша удивительно нежное, привязчивое сердце. Он чрезвычайно привязан к Юле, не отходит от нее и вообще такой кроткий, милый ребенок [*часть письма не сохранилась*]... благодарна Вам, мой дорогой Петр Ильич.

Теперь о Вашем séjour à Brahilov*. Прежде всего прошу Вас убедительно, милый друг мой, быть там совсем как бы у себя дома, распоряжаться всем, что там есть, употреблять всякий живой и мертвый инвентарь, для чего бы Вам ни понадобился. Все ваши приказания прошу Вас отдавать, как я уже и говорила раньше, дворецкому, которого зовут Марсель и который, вероятно, выедет на станцию Жмеринку встретить Вас. Ему прямо или через Вашего Алексея Вы отдадите приказание, в какие часы Вам угодно пить кофе, завтракать, обедать, ужинать и т. п. Лошади с экипажами и верховые, ло[illegible], оружие для стрельбы в цель или для охоты, собаки,—все будет Вашим услугам. В комнатах рояли, пианино, органы, ноты и книги также. Для употребления особенно рекомендую Вам pianino Erard'a, который стоит в моем отделении в кабинете. Там же обратите внимание на скульптурной работы мраморного спящего мальчика. Я очень люблю его, он напоминает мне моего двухлетнего ребенка, которого я потеряла четыре года назад.

У меня же в кабинете есть также очень хорошая картина, «Иоанн креститель, проповедующий в пустыне» Blanchard'a. Вообще, Петр Ильич, прошу Вас очень обойти весь дом, взглянуть на все наши домашние помещения. Еще усердно Вас прошу съездить во все те места, которым список я здесь прилагаю, и, пожалуйста, в лес съездите так, чтобы там чай пить. Вам стоит только приказать Марселю, чтобы в таком-то месте

* пребывании в Браилове

был приготовлен чай и в такому-то часу подан для Вас экипаж, и все будет исполнено, и при этом приказывайте, пожалуйста, милый друг мой, чтобы приготовляли на самых тех местах, где обыкновенно мы пьем чай, потому что это лучше. Как жаль, что я не могу быть там сама, чтобы [*конец письма не сохранился*].

137. *Чайковский — Мекк*

Каменка,
30 апреля 1876 г.

Дни проходят однообразной и ровной чередой. Очень благотворно и успокоительно влияет на меня этот образ жизни. Занимаюсь я очень достаточно. Соната уже вполне готова. Готовы также двенадцать пьес средней трудности для фортепиано соло, разумеется, все это только вчерне. Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей [1]. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана. Затем примусь за романсы, скрипичные пьесы и, если будет продолжаться благоприятное расположение духа, хочу попытаться сделать что-нибудь для церковной музыки. В этом отношении у композитора огромное и еще едва тронутое поле деятельности. Я признаю некоторые достоинства за Бортнянским, Березовским и проч., но до какой степени их музыка мало гармонирует с византийским стилем архитектуры и икон, со всем строем православной службы. Известно ли Вам, что музыкально-церковное композиторство составляет монополию придворной певческой капеллы, что запрещено печатать и петь в церквах все, что не принадлежит к числу сочинений, напечатанных в изданиях капеллы, которая ревниво оберегает эту монополию и решительно не хочет допустить новых попыток писать на священные тексты? Издатель мой Юргенсон нашел средство обойти этот странный закон, и если я напишу что-нибудь для церкви, то он напечатает мою музыку за границей. Очень может быть, что я решусь положить на музыку всю литургию Иоанна Златоустого. Затем все это приведу в порядок к июлю. Весь июль я посвящу безусловному отдыху, а в августе примусь за что-нибудь крупное. Хочется мне написать оперу. Роясь в библиотеке сестры, я напал на «Ундину» Жуковского и перечел эту сказку, которую ужасно любил в детстве. Нужно Вам сказать, что в 1869 году я уже написал на

этот сюжет оперу и представил ее в дирекцию театров. Дирекция забраковала ее. Тогда мне это показалось очень обидно и несправедливо, но впоследствии я разочаровался в своей опере и очень радовался, что ей не удалось попасть на казенные подмостки. Года три тому назад я сжег партитуру. Теперь я опять начинаю увлекаться этим сюжетом и поручил брату Модесту составить мне сценариум [4]. Одобрили ли бы Вы, милый друг мой, этот выбор? Была ли «У н д и н а» любимым Вашим чтением в детстве, и находите ли Вы теперь в ней какую-нибудь прелесть? Я рад был бы, принявшись за оперу, знать, что Вы симпатизируете моему выбору сюжета.

Я получил еще покамест только одно письмо от брата Анатолия. В день своего приезда он не нашел и з в е с т н у ю о с о б у. На другой день он должен был получить ее визит и писал мне в ожидании этого визита, причем обещался из Петербурга уведомить меня о результате разговора с ней. До сих пор еще ничего нет. Я все ждал его письма, чтобы сообщить Вам что-нибудь решительное. Но сегодня мне так захотелось побеседовать с Вами, что я принялся за это письмо, не дождавшись известий от брата. Очень может быть, что я получу их сегодня вечером. Я немножко беспокоюсь, что не получаю от Вас письма. Здоровы ли Вы, все ли благополучно?

Какое счастье быть артистом! В грустную эпоху, которую мы теперь переживаем, только искусство одно в состоянии отвлечь внимание от тяжелой действительности. Сидя за фортепиано в своей хатке, я совершенно изолируюсь от всех мучительных вопросов, тяготеющих над нами. Это, может быть, эгоистично, но ведь всякий по-своему служит общему благу. А ведь искусство есть, по-моему, необходимая потребность для человечества. Вне же своей музыкальной оперы я неспособен служить для блага своего ближнего. С нетерпением ожидаю известий от Вас, добрая и дорогая моя. До свиданья.

Ваш П. Чайковский.

Милочке — нежный поцелуй в щечки.

193. *Чайковский — Мекк*

Каменка.
1 мая 1876 г.

Вчера, как я и предполагал, пришло письмо от брата, но не ко мне, а к сестре. Он боялся меня расстроить. Так как письмо пришло в моем присутствии, то сестра не могла скрыть от меня

не совсем благоприятных известий, сообщаемых Анатолием. Да и напрасно он так боялся моего расстройства. Я был вполне приготовлен к тому, что известная особа не сразу подчинится моему предложению, хотя я не сомневаюсь, что в конце концов она согласится. Вы увидите из письма брата, которое я посылаю Вам целиком, что она теперь вообразила себе, что мои родные — ее враги, а я действую под влиянием их козней. Для того чтобы вы вполне поняли письмо брата, я должен еще прибавить, что на страстной неделе она писала сестре и просила совета, как ей поступить и что делать. В этом неимоверно глупом письме она, между прочим, выражается, что, рано или поздно, но мы должны сойтись и что, в сущности, я люблю ее. Сестра посоветовала ей требовать развода и еще раз дала себе труд уверить ее, что я никогда не соглашусь на сожительство. Я поступил теперь по совету брата Анатолия, но послал письмо не к Рубинштейну, который хотя и с большой готовностью взялся всячески помогать в этом деле, но все же он посторонний, и если она требует, чтобы я отнесся к ней непосредственно, то нет причин отказать ей в этом. Итак, я написал ей ночью письмо, в котором весьма обстоятельно изложил ей обстоятельства дела и еще раз разъяснил, что хотя и не беру своего слова назад относительно сторублевой пенсии, но все же ее прямая выгода — развод. Я назначил ей двухнедельный срок, заявив, что мне необходимо узнать сейчас же ее решительный ответ, так как деньги, которые дает мне взять, по истечении двухнедельного срока уже не будут в его распоряжении.

Вот, друг мой, в каком положении находится теперь дело. Нет никакого сомнения, что оно разрешится благоприятно, но нужно терпенье. Простите, что для краткости я не пишу Вам сам о подробностях свиданья брата с моей женой, но я всю ночь не спал, очень устал, очень нервен, и писать мне сегодня трудно.

До свиданья, милый, бесценный друг. Будьте покойны. Ваше имя во всем этом деле ни разу не будет упомянуто. Никому, кроме брата, не будет известно, кому я обязан буду своей свободой. Жду от Вас сегодня письма.

Ваш П. Чайковский.

139. *Чайковский — Мекк*

Каменка.
4 мая 1878 г.

Получил вчера дорогое письмо Ваше, мой добрый друг. Я с несказанным удовольствием думаю о поездке в Браилов. К сожалению, ранее 15-го числа я не могу предпринять ее. Вчера брат Модест получил от родителей своего Коли письмо, в котором они извещают его, что по случаю болезни их ребенка они остались в Петербурге еще на две недели и только около 15-го числа отправятся в деревню. Таким образом, Модест остается здесь еще несколько времени, и для нас обоих было бы грустно расстаться ранее того дня, когда ему нужно будет покинуть Каменку. Сестра тоже по этому же случаю отложила свою поездку в Киев; она выедет в один день с Модестом, и вместе с ними и я отправлюсь по направлению к Жмеринке. Это во всяком случае должно состояться около 14—15-го числа. Я буду телеграфировать Вам, согласно Вашего желания, за два дня до выезда. Благодарю Вас от всей души за то удовольствие, за те радости, которые мне доставит пребывание в Браилове и которое я предвкушаю уже теперь. Меня нисколько не пугает, что там есть местечко и завод, ибо все это далеко от усадьбы. В Каменке мы живем бок о бок с жидами, и воздух всегда заражен еврейским ароматом. Сад здесь лишен всякой прелести, и дрянная речонка мало оживляет и красит ландшафт. В Браилове все это совершенно иначе, и Ваше описание леса очень заманчиво. Нет никакого сомнения, что я побываю везде, где только будет можно. Я большой любитель гулянья вообще, а в лесу в особенности.

Мне, разумеется, было довольно неприятно получить те известия касательно *известного дела*, которые сообщает брат в доставленном Вам письме его, но я теперь опять совершенно покоен. Нет никакого сомнения, что мое письмо подействует. А если даже я и не добьюсь *согласия*, то как ни будет жаль, что вследствие этого полной свободы я не получу, но в отчаяние приходить нечего. Рано или поздно она сама поймет, что развод есть лучшая форма для разрешения дела, но тогда уж ей придется обойтись без той суммы, которая ей предлагается теперь. Я решительно объявил ей, что деньги эти будут в моем распоряжении только в течение двухнедельного срока. Дней через пять я надеюсь получить ответ и надеюсь, что она одумается.

Сейчас отправлюсь к зятю и достану те сведения, которые Вам нужны. Я вполне понимаю, что Вам неудобно разрешить

постороннему человеку ревизию браиловского хозяйства. Но я прошу у Вас одного: если обстоятельства когда-нибудь переменятся и подобная ревизия окажется возможною, то воспользуйтесь, ради бога, той готовностью, с которой зять примет на себя это дело. Так как он превосходный хозяин, пользующийся в здешнем крае отличной репутацией, а вместе с тем безусловно честный, справедливый человек, то он может быть Вам в этом случае очень полезным. Я рад был бы, если б близкий мне человек оказал бы Вам услугу.

Буду продолжать письмо вечером.

Того же дня вечером.

Я имел по поводу всего, что Вы мне пишете о браиловском хозяйстве, очень обстоятельный разговор с зятем, наведший меня на очень грустные мысли. Для меня теперь очевидно и несомненно, что дело н е л а д н о и н е ч и с т о, и я решаюсь Вам высказать это, мой дорогой друг, потому что льщу себя надеждой, что хоть в более отдаленном будущем Вы найдете возможным совершить радикальный переворот в администрации такого именья, которое имеет все данные быть доходным. Простите мне, что я с некоторою резкостью и циничностью передам Вам те выражения, которые употребил мой зять для характеристики браиловского управления. Когда я сообщил ему те цифровые данные, которые заключаются в Вашем письме, то удивлению его не было пределов, и из уст его несколько раз вышло слово г р а б е ж. Когда я ему сообщил, что честность Вашего главноуправляющего не подлежит никакому сомнению, то он сделал предположение, что в таком случае он вовсе не смыслит дела или вместе с Вами находится в заблуждении относительно подчиненных ему лиц. Во всяком случае, как я выразился выше, дело н е л а д н о. Из всего, что говорил зять, я вывел заключение, что даже если б Вы нашли возможным под тем или другим предлогом удалить Вашего главноуправляющего от администрации, то от этого дело бы не много подвинулось. Нужен р а д и к а л ь н ы й п е р е в о р о т и всеобщая перетасовка лиц, принимающих участие в управлении, иначе дело не пойдет. Для сравнения я приведу Вам несколько цифр, определяющих ход дел в Каменке. Судя по количеству десятин, засеянных у Вас свеклой, Каменка меньше Браилова. Здесь под свекловицу сеется четыреста с лишним десятин, а всего с лесом их около четырех тысяч. В прошлом году свекловица была дурного качества, и завод работал плохо, но зато экономия при расходах от восьмидесяти до девяноста тысяч принесла чистого дохода сто тысяч. Между тем, как говорит зять, Браи-

лов находится в сравнении с Каменкой в несравненно более выгодных условиях: 1) земля лучше, 2) рабочий дешевле, 3) устройство именья богаче и лучше. Еще остановлюсь на одной подробности, характеризующей положение дел в Браилове. Вы пишете, что птичный двор стоит Вам восемь тысяч рублей, а между тем нехватает птиц для Вашего стола. Зять сказал на это, что Вам ничего бы не стоило найти человека, который за тысячу рублей взял бы на себя поставку Вам птиц в совершенно достаточном количестве, и что при этом поставщик нажил бы верных рублей семьсот! Ради бога, извините меня, милый друг, за то, что я с такой назойливостью пытаюсь вмешиваться в дело, в котором ничего не смыслю. Я очень понимаю, что со стороны легко толковать о радикальном перевороте, тогда как есть бездна различных соображений, которые препятствуют Вам решиться на него, несмотря на то, что Вы сами не хуже других знаете, что не все идет, как бы следовало. Я знаю, что есть люди, доброта и деликатность которых доходит до того, что они лучше предпочитают терпеть убытки и невыгоды, чем нанести даже заслуженное огорчение ближнему. Но на меня все сказанное зятем произвело столь сильное впечатление, что я не мог не высказать Вам того, что думает о близко касающемся Вас деле человек, к которому я питаю неограниченное доверие.

Теперь отвечу на два Ваших вопроса:

1) количество сахарного песка, добываемого из берковца, очень различно: в прошлом году двадцать пять фунтов, в позапрошлом тридцать пять;

2) вместе с прорывкой поле, засеянное свекловицей, цапается (так ли?) четыре раза, т. е. раз цапают, раз прорывают и потом еще раза два цапают.

Еще раз прошу у Вас извинения, дорогая Надежда Филаретовна, если я некстати вмешиваюсь в дела Ваши. Мною руководит только горячее желание, чтобы дела Ваши шли вполне успешно.

До свиданья, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

Я сделал эскиз сборника двадцати четырех маленьких детских пьесок.

140. Мекк — Чайковскому

Москва.
5 мая 1878 г.

Только что получила Ваше письмо, дорогой мой Петр Ильич, с приложением письма Анатолия Ильича. Благодарю Вас очень, очень, милый друг, за сообщение мне о деле, к которому я чувствую столько участия. Я также ожидала, что нелегко будет сладить с такою натурою, и боюсь, что придется употребить тот способ, на который указывает Анатолий Ильич; т. е. я боюсь его в том отношении, что он доставит Вам лишнее беспокойство. Я же сама нисколько не смущаюсь им и прошу Вас также, дорогой мой, никак не останавливаться перед ним, если другие средства потерпят фиаско. Я боюсь, что и в настоящее время Вас расстраивают эти переговоры и неизвестность, и потому еще более я желала бы, чтобы это дело к а к м о ж н о с к о р е е устроилось и Вы могли бы в п о л н е отдыхать летом. Очень меня радует, что Вам так хорошо в Каменке, что Ваши занятия идут так успешно, и очень бы мне хотелось, чтобы Вам также было хорошо и у меня в Браилове.

Я не знала о такой монополии в сочинении церковной музыки. Хотя меня удивляло, что в ее литературе всегда видишь одни и те же имена, но я объясняла себе это тем, что стиль нашей церковной музыки заключается в таких тесных пределах и так педантично охраняется, что не находится охотников pour un sol si stérile *. Меня очень радует, что Вы хотите взяться за церковную музыку. Я очень люблю ее, и способ, придуманный для ее издания, мне очень нравится, во-первых, потому, что Вы будете свободны во всей полноте Вашего богатого творчества, и, во-вторых, потому, что иностранцы будут иметь возможность знакомиться с Вашими произведениями. Очень жалею, что не могу в эту минуту сказать своего впечатления «У н д и н о ю» Жуковского, потому что решительно не помню ее; теперь перечту и поделюсь с Вами. Я помню, что меня очень восхищал всегда «Громобой» и в особенности вступительная картина,— я и до сих пор ее наизусть помню. Вообще сказки производили на меня огромное впечатление и имели влияние на весь мой организм, а вследствие этого и на всю мою жизнь: они развили мне воображение и сердце до страстности, до той непокорности, с которою я всю жизнь сладить не могу. Поэтому своим детям я запрещаю сказки, я желаю им побольше равнодушия, поменьше впечатлительности и горячности. Я сама ни за что не

* для такой бесплодной почвы

променяла бы своей мятежности на самое блаженное спокойствие, потому что раз человек живет полным своим существом, он не хочет уступить из него ничего: живой человек не хочет быть мертвецом. Я даже не люблю дантовских равнодушных, но так как я детей готовлю не для своего удовольствия, то для них нахожу спокойнее быть поравнодушнее во всем и везде. Очень, очень благодарю Вас, добрый друг мой, за Ваше внимание к моему здоровью. Я была нездорова прошлые дни простудою, но начала пить Эмс, и теперь мне лучше, но кругом меня все хворают, и это расстраивает меня. Саша (Беннигсен) кашляет ужасно, – в ее положении это очень опасно и очень беспокоит меня. Маленький ее мальчик Маня (Эммануил) также кашляет страшно, так что задыхается, бедный ребенок, а Саша такая нежная и заботливая мать, что и сама из-за него ночи не спит. Брат мой Александр также очень ненадежного здоровья; я хочу его послать в Эмс пить воды, а потом в Швейцарию лечиться виноградом, а он упирается, не хочет, но я надеюсь, что настою на своем. У нас только второй день тепло. 1 мая была отвратительная погода, но мы все-таки ездили в Сокольники на свою дачу и пили там чай в комнатах. Завтра мой сын Володя возвращается из-за границы и заберет у меня своего девятимесячного птенца. Мне жаль его, это такой милый детеныш!

Да, милый друг мой, большое счастье быть артистом! Если бы я могла завидовать кому-нибудь и чему-нибудь, то завидовала бы Вам, но так как я не умею завидовать, то я вполне наслаждаюсь Вашим талантом, Вашими произведениями: в них я слышу себя, я нахожу выражения всех моих чувств, впечатлений, восторгов и печалей... Я счастлива и вполне удовлетворена. Артист никогда не может быть эгоистом, потому что как бы он ни мало заботился о других, тем больше он доставляет им наслаждения. Я с нетерпением жду солнца и тепла; холода не выношу нигде и ни в чем. Как мне будет приятно получить от Вас письмо из Браилова! Письмо Анатолия Ильича произвело на меня очень приятное впечатление: в нем столько участия и заботливости о Вас, столько любви к родным вообще, что от него становится тепло и отрадно. Он, должно быть, очень милый юноша, хотя и влюбчивый, но, я думаю, он все-таки должен быть хорошим мужем, потому что у него сердце любящее.

Что роман Модеста Ильича, много ли подвинулся? Я возвращусь опять к делу. Мне кажется, милый друг мой, что Вам бы следовало воспользоваться влиянием Рубинштейна на известную особу, чтобы урезонить ее на развод. Конечно, теперь Вы сделали хорошо, что написали ей самой

непосредственно, но, я думаю, было бы хорошо, чтобы Вы параллельно этому написали и Рубинштейну письмо, прося его употребить свое влияние на эту особу, да вместе бы с тем и объяснили ему, почему Вы не в состоянии с нею жить, что у разных людей разные запросы в жизни и что то, что вполне удовлетворяет одного, совсем недостаточно для другого, что если один ищет в супружестве только и з в е с т н ы х супружеских отношений, то другой ищет чего-нибудь гораздо большего и, не находя этого, не может довольствоваться т е м о д н и м. Я хотела бы, чтобы Вы это объяснили для того, что мне не нравится, чтобы каждый объяснял по-своему причины Вашего разрыва и известная особа приобретала бы ореол незаслуженного мученичества, тогда как если из двух людей кто-нибудь мученик, так это Вы. Но теперь я Вам скажу, мой милый друг: будьте покойны, не расстраивайте себя,— все уладится и устроится, если здоровье не будет расстроено; его-то главным образом надо беречь.

Теперь я Вам буду рассказывать всякий вздор. У нас ожидают шаха в это воскресенье; готовят для него два дня сряду балеты, какие — еще неизвестно. На-днях в консерватории был конкурс на сочинение Nocturn'a, и, как кажется, премию получит, кого я никак не ожидала, да, кажется, и профессора не ожидали, мой маленький виолончелист Данильченко. Каков! Вот не из тучи гром! Концерты все еще понемногу продолжаются, но ничего не стоящие. Абонементы представлений Росси окончились, да теперь и не до них, когда так тепло, тянет в даль, к природе, в лес, к соловьям над рекою. О, боже мой, только музыка может быть лучше природы!

До свидания, мой дорогой, всегда мне милый друг. Жму Вам руку. Не забывайте всем сердцем любящую Вас

Н. ф.-Мекк.

141. Чайковский — Мекк

[Каменка]
9 мая 1878 г.

Сейчас получил Ваше письмо, дорогая моя. Каждую минуту мы ожидаем теперь телеграммы, вследствие которой Модесту нужно будет предпринять поездку в Полтавскую губернию. Вместе с ним тронусь и я по направлению к Жмеринке и сестра с большею частью семейства — в Киев. Полагаю, что следующее мое письмо будет отослано к Вам уже из Браилова. Я предчувствую много наслаждения от пребывания в Вашем

любимом уголке. Я буду несколько грустить от разлуки с Модестом, но я имею в виду скорое свидание с ним, так как в июле он опять приедет в Каменку. Поэтому сильного огорчения не предвижу. Притом же мне давно уж не приходилось провести несколько дней в безусловном одиночестве, а это для меня от времени до времени необходимо. Одиночество только тогда тяжело, когда оно невольно и должно длиться неопределенное время. Непродолжительная же изолированность от всякого общества, если к тому же на душе нет никакой особенной тягости, благотворна.

Дело о разводе меня, разумеется, несколько смущает и беспокоит, но не настолько, чтобы от этого страдало мое здоровье. Конечно, придется пережить еще несколько неприятных минут, но, в конце концов, как Вы замечаете, дело должно кончиться хорошо. Да если б даже я не достиг желанной цели, то в отчаяние приходить нечего. Что бы ни случилось, а совесть моя останется чиста. Я сделал теперь все, чтобы искупить свою вину перед известной особой. Я имею теперь слишком явные доказательства того, до какой степени она совершенно лишена совокупности тех человеческих качеств, которая называется душою. Страдать нравственно она не может и никогда не будет. В ней может страдать только самая жалкая амбиция существа женского пола, одержимого мономанией, которая состоит в том, что все существа мужского пола, а в том числе и я, представляются ей влюбленными в нее. Допустить, что я в самом деле добиваюсь разрыва вследствие морального отвращения к ней, она никак не может. Убедившись же, наконец, в этом, она, пожалуй, и будет страдать, но страдания эти неспособны вызвать во мне чувства жалости, особенно ввиду того, что в материальном отношении она, во всяком случае, очень много выиграла вследствие своего неудавшегося замужества. Теперь я ожидаю ее ответа на мое письмо. Писать к Рубинштейну и уполномочивать его на ведение переговоров мне покамест не хочется, и это по очень многим причинам. Во-первых, брат ошибается, воображая, что он авторитет для нее. Во-вторых, никакие авторитеты не могут помочь там, где даже сестра моя, которая до сих пор была кумиром ее, потерпела поражение. В-третьих, есть причины, по которым я вообще неохотно вмешиваю Рубинштейна в свои частные дела. В-четвертых, она желает, чтобы я действовал непосредственно. В-пятых, во всяком случае хочу сначала дождаться ее ответа. Что касается опасения, чтобы Рубинштейн и другие не узнали настоящих причин моего разрыва с известной особой, то об этом беспокоиться нечего, друг мой. Во-первых, всем

им причины эти хорошо известны. Во-вторых, с тех пор как я выздоровел и сделался человеком с нормальными умственными способностями, я опять стал на высоту, до которой «l e s q u'en d i r a - t - o n ?» * не доходят. Три вещи сделались теперь единственными, которыми я дорожу: 1) способностью трудиться, работать и совершенствоваться как артист, 2) любовью ближайших родных и 3) Вашей дружбой. Еще я очень дорожу свободой и всеми силами души желаю успеха в деле развода. Но могу обойтись и без него. Без упомянутых же трех условий я не могу жить.

До свиданья, лучший друг мой.

П. Чайковский.

P. S. Я очень рад, что письмо брата Анатолия произвело на Вас отрадное впечатление. Вы совершенно справедливо замечаете, что, несмотря на влюбчивость, он будет хорошим мужем. Он слишком честен, благороден и добр, чтоб отравить жизнь своей жены, если она будет достойна счастья. Опасность супружества для него заключается не в его свойствах; я боюсь того, что влюбчивость подвинет его на неудачный или на неподходящий для него выбор. Нужно столько условий для того, чтобы жена его осуществила тот идеал с у п р у г и, которого он достоин.

Роман Модеста подвигается здесь очень плохо. Днем писать он не может вследствие обязательных занятий с Колей, вечером же писать неудобно, потому что эта часть дня проводится всеми вместе. Зато в деревне у Конради он надеется много работать. Очень полезно было для него то обстоятельство, что ему пришлось здесь несколько раз читать написанное. Он заметил и вполне сознал некоторые недостатки, например, длинноты. Недостатки эти он теперь исправит и будет тщательно избегать их в дальнейшем развитии хода действия.

Жду с большим интересом Вашего мнения насчет «У н д и н ы».

До свиданья, дорогая моя.

П. Ч.

Сегодня мы на целый день едем в лес. О дне выезда буду телеграфировать Вам во-время.

* людские пересуды

142. Чайковский — Мекк

Киев,
14 мая 1878 г.

Я думаю, Вас очень удивила, друг мой, моя телеграмма, посланная к Вам сегодня из Киева. Я попал сюда вчера совершенно неожиданно. Сестре понадобилось ехать в Киев ранее, чем она предполагала, и она упросила как Модеста, так и меня сопровождать себя: во-первых, для того, чтобы последние дни перед отъездом Модеста в Полтавскую губернию не расставаться с ним, а во-вторых, потому, что она поехала с пятью детьми и ей наше сопутствие очень полезно.

Письма Вашего с подробностями касательно порядка моей поездки в Браилов я не дождался в Каменке. Если оно пришло вчера или сегодня, то я еще получу его здесь; но, во всяком случае, я еду в Браилов во вторник в девять часов вечера, а в семь часов утра в среду буду в Жмеринке. Надеюсь, что сегодня или завтра утром придет Ваш ответ на мою телеграмму.

Киев в это время года производит впечатление очень благоприятное. Масса зелени, совершенно свежей и еще не запыленной, на улицах много ландышей. Днепр еще в разливе. Сестра и Модест были вчера вечером в театре, смотрели Росси в «Ромео и Юлия». Я оставался с детьми и укладывал их спать.

Пишу Вам наскоро. Хочу, чтоб сегодня же это письмо дошло до почтового вагона. Сейчас везу детей к обедне в Михайловский собор.

До свиданья, дорогой друг. Следующее письмо будет из Браилова. Я очень устал и наслаждаюсь при мысли о Браилове.

Ваш П. Чайковский.

Я еще забыл поблагодарить Вас за «Русскую старину».

143. Чайковский — Мекк

Браилов,
17 мая 1878 г.

Пребывание мое в Киеве было сопряжено с такой суетой, с такими хлопотами, с такой утомительной беготней, что я положительно расстроил себе нервы и устал до последней степени. Представьте же теперь, мой чудный, добрый, хороший друг, то блаженство, которое доставляет мне пребывание в Вашем волшебном замке, среди этой блаженной тишины, будучи окружен со всех сторон предметами, напоминающими мне Вас и приближающими меня к Вам.

Впрочем, лучше расскажу по порядку. Последняя ночь в Киеве была ужасна. В девять часов вечера сестра с моей племянницей, пятнадцатилетней Верой, собиралась в гости к одной только что встреченной знакомой. Я сидел в своей комнате, как вдруг вбегает бледная, взволнованная сестра и сообщает мне, что Вера, делая свой туалет, в темноте наткнулась на дверцы шкафика, упала и страшно расшиблась, что она кричит, плачет, беспрестанно падает в обморок. Мы приняли тотчас же меры, и так как вскоре больная успокоилась и заснула, то уже полагали, что все благополучно кончилось и что ушиб хотя и серьезный, но не представляет никакой опасности. Часов в двенадцать я лег спать. Не прошло четверти часа, как сестра стучит в мою комнату и сообщает, что Вера проснулась, опять истерически рыдает и теряет сознание. Пришлось посылать за доктором, ожидать его с замиранием сердца, потом сидеть около больной, прикладывать ей компрессы и всячески утешать и успокаивать ее. Доктор, осмотрев ушибленные места, сделал серьезное лицо и объявил, что только на другой день утром можно будет сказать, серьезно ли положение. К утру девочка опять заснула. К счастью, меры, принятые доктором, оказали очень успешное действие, и после утреннего осмотра оказалось, что ничего серьезного нет, кроме испуга и его следствия — сильного нервного потрясения. Доктор советовал ей пролежать несколько дней в Киеве, но сестра решилась в тот же день вечером уехать домой, тем более, что по протекции она имела в своем распоряжении целый вагон до самой Каменки. Весь остальной день прошел в приготовлениях к отъезду, в исполнении многочисленных поручений сестры. Наконец, в девять часов отправились. На вокзале оказались новые неприятные сюрпризы. Обещанный вагон не прицеплен; лицо, обещавшее его, отсутствовало; больную в ожидании поезда положить некуда и т. д. В конце концов тронулись в путь после невероятных усилий достать места в переполненных вагонах. Только тут я, наконец, мог опомниться и собраться с мыслями. И тотчас же я сообразил, что вся эта утомительная четырехдневная суета была мне в пользу. Она отвлекла меня от тоски в виду разлуки с братом Модестом. Тем не менее, разлука эта стоила мне много грусти и много слез. В Фастове мы, наконец, расстались. Очутившись один в вагоне, я сейчас же заснул мертвецким сном и проснулся, уже подъезжая к Браиловскому полустанку, в виду Вашего именья. Налево от пути в поле работал паровой плуг. Пассажиры с любопытством смотрели на него. Один из них, с видом человека, хорошо знакомого с местностью, рассказывал, что Браилов принадлежит банкиру фон-Мек-

ку, что он стоит три миллиона, приносит семьсот тысяч дохода и т. п. вздор. Скоро мы подъехали к Жмеринке. Нужно Вам сказать, что я приехал один, без Алексея, который должен был приехать навстречу ко мне в Фастово, но опоздал, как опаздывают все, имеющие несчастье ездить по Фастовской дороге. Обстоятельство это неприятно оттого, что у меня в Киеве, кроме одной пары платья и трех перемен белья, ничего не было. Таким образом, я должен весь сегодняшний день провести в ожидании чистого белья и всего, что мне нужно. Я без всякого труда отыскал на вокзале Марселя, физиономия которого показалась мне очень симпатичною, и немедленно уселся в превосходную коляску, довезшую меня до Вашей усадьбы. Усадьба эта превзошла далеко все то, что в моем воображении рисовалось, когда я думал о Браилове. Я в совершенном восторге от дома, красивого и снаружи и столь поместительного, удобного, хорошо устроенного, с его высокими комнатами и большими окнами, с его чудным убранством, с его картинами, статуями, инструментами и т. д. Напившись кофе, я вместе с Марселем обошел и подробно осмотрел и дом и флигель, перебывал во всех уголках, осведомился о всех подробностях Вашего помещения и образа жизни [1]. Затем нагулялся досыта в саду и уже ориентировался в нем. Сад этот великолепен по жирности, густоте растительности, в иных местах до того богатой, что образовался целый маленький зеленый лес из высоких сочных и пахучих трав. В эту минуту сад еще особенно прелестен благодаря массе сирени, которая теперь в полном цвету. Есть группы деревьев необычайно красивых. После жиденького каменского сада, разбитого на скате, неудобного для ходьбы и бедного старыми деревьями, Ваш сад невыразимо понравился мне. Теперь, нагулявшись, я возвратился домой, пишу Вам письмо это и наслаждаюсь тишиной, свободой и миром.

Мысль о Модесте беспрестанно посещает меня, но в этом нет ничего мучительного. Напротив, кратковременная разлука, не сопряженная с тяжелыми и грустными обстоятельствами, дает возможность вполне и во всей силе оценить то счастье, которое доставляет любовь к близкому и дорогому существу. Притом же, зная, что он еще несколько дней пробудет в среде каменских обитателей и потом, уже несколько привыкнув к разлуке со мной, отправится в деревню к Конради, с тем чтобы потом в июле опять явиться в Каменку, я совершенно покоен на его счет.

Пользуясь Вашим позволением распоряжаться свободно насчет распределения времени, я просил Марселя давать мне обедать в час пополудни, а в девять часов вечера — чай с

с каким-нибудь холодным кушаньем. Я очень люблю такое распределение времени. Оно дает возможность все лучшие для гулянья часы дня, т. е. от пяти до девяти часов, отдавать для наслаждения природой без отягощенного желудка. Утром я буду немножко заниматься и гулять по саду. После обеда до четырех часов буду читать, писать письма, играть и т. д., а после ужина опять музицировать, смотреть Ваши многочисленные альбомы и вообще предаваться dolce far niente.

Вообще же я счастлив; я глубоко благодарен Вам за эти чудные предстоящие мне дни. Докончу письмо сегодня вечером.

3½ часа.

После превосходного обеда еще раз подробно осматривал комнаты. «Спящий мальчик» очарователен, не наглядишься на него. Хотя, с одной стороны, мне и нравится, что его окружает зелень, ибо то и другое вместе представляет красивое и милое зрелище, но, с другой стороны, мне кажется, что зелень эта скрывает прелестные подробности статуэтки. Изумительный порядок и чистота, в которой до малейшей подробности содержится все в Вашем доме, делает честь Марселю. Можно положительно сказать, что ни одной пылинки нигде нет.

Ваше последнее письмо, адресованное в Каменку, я получил в Киеве[2]. Непременно побываю во всех местах, о которых Вы мне говорите, и сегодня начну со скалы. Откровенный отзыв Ваш о моем концерте радует меня. Мне бы неприятно было, если б, боясь оскорбить мелочное авторское самолюбие, Вы бы стеснялись высказывать Ваше мнение. Впрочем, я немножко заступлюсь за первую часть концерта. Разумеется, в ней, как и во всяком сочинении, написанном для выказания виртуозности, есть много холодно и рассудочно написанного, но темы не были вымучены и вообще общий план этой части пришел мне в голову разом, вылился сам собой, непосредственно. Я не теряю надежды, что Вы когда-нибудь примиритесь с нею. Заметьте, друг мой, что ее нужно играть очень тихо, почти как andante. Выставлен ли метроном?

Докончу письмо сегодня вечером. Сейчас отправлюсь кататься.

7 часов вечера.

Совершил чудеснейшую поездку к скале. Гулял много и прошел почти до находящегося вправо от нее фольварка, сделал также тур и в противоположную сторону. Я нахожу, что полевая флора Браилова очень богата. В следующий раз

непременно попрошу устроить чаепитие на с к а л е. Вернулся другой дорогой и еще долго гулял по саду. Теперь начинает темнеть, и, может быть, от этого немножко стемнело и на душе у меня, т. е. грущу о милом своем Модесте, которому, наверное, тоже теперь грустно при воспоминании обо мне. Какая богатая коллекция нот у Вас! Ф и с г а р м о н и к а превосходна. Сейчас пойду помузицировать. Я буду часто теперь надоедать Вам письмами. Я не могу, живя у Вас, удержаться, чтоб не писать ежедневно о впечатлениях, испытываемых у Вас, в Вашем доме, в местах, которые Вы любите. До завтра, дорогой друг. Тысячу благодарностей Вам за все.

Ваш П. Чайковский.

144. Мекк — Чайковскому

Москва.
17 мая 1878 г.

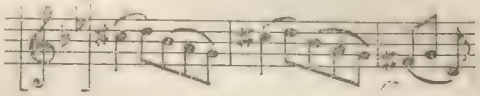
Теперь уже Вы в Браилове, милый, дорогой мой друг. Как мне приятно думать об этом, представлять себе Вас в том жилище, в котором я люблю каждый уголок, где все дурное кажется мне легче, где я отдаюсь вполне своей личной, индивидуальной жизни. Как приятно думать, что Вы играете на моем любимом пианино, открываете мои маленькие библиотеки и, стоя перед ними, зачитываетесь, быть может, первою попавшеюся книгою, как это бывает со мною; что, гуляя в саду, Вы садитесь на моей любимой скамье в отдаленной аллее в тени, и там уже чего, чего не передумается, пока сознание окружающей природы не прервет этих дум, не охватит таким сладко-томительным чувством, что невольно вырвется: «Боже мой, как хорошо!» Прошлое лето на этой самой скамье я уже много, много думала о Вас. В своем itinéraire * я забыла упомянуть маленький лесок, самый ближайший к дому, Мариенгай. Если Вы любите ходить пешком, то туда недалеко. Это очень красивая дубовая роща, в которой, заметьте, милый друг, есть яма, называемая волчьей ямой; но дело в том, что от этой ямы идут подземные ходы до самого монастыря. Надо Вам сказать, что монастырь этот очень древний; он был прежде католический, кажется, мужской, а теперь женский, православный. Потом в той же роще дойдите, пожалуйста, до опушки ее, противоположной входу. Там есть могила с крестом, о которой есть какая-то легенда, что похоронены два брата, между которыми было соперничество в любви, что-то в этом роде, — но оттуда, с этого самого

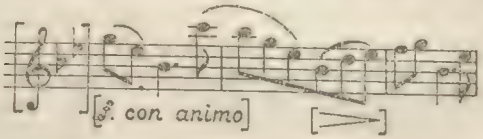
---

* маршрут

места, очень миленький вид вправо на селение. Поет ли соловей у окна Вашей комнаты? Там прежде пел, и это меня ужасно восхищало.

Через два часа.

Сейчас я играла Ваш скрипичный концерт, Петр Ильич, и все больше от него в восторге. Первая часть с музыкальной стороны чрезвычайно интересна, эффектна и притом написана так легко, свободно; первая тема так величественна, с таким достоинством, что просто прелесть. Она, т. е. вся первая часть, разыгрывается трудно, потому что есть такие оригинальные пассажи для скрипки, что исполнитель не сразу свыкается с ними, потом в некоторых местах трудны ритмы, но зато уж если это все преодолеть, то она очень красива. Я определяю ее происхождение так, что она написана по чисто музыкальному вдохновению, но Canzonetta... о, какая это прелесть! Сколько поэтичной мечтательности, какие затаенные желания, какая глубокая грусть слышатся в ней, эти sons voilés (под сурдинкою), этот таинственный шопот, что это за прелесть! А это

а потом



Господи, как это хорошо! Ну, а последняя часть — это вся жизнь, кипучая, неудержимая. Что за богатство фантазий у Вас, что за разнообразность ощущений! Сколько наслаждения доставляет Ваша музыка!

Мой скрипач (г. Бабушка) очень хороший исполнитель и в особенности хорошо исполняет все певучие темы, то Canzonetta у него выходит восхитительно. Я сегодня в особенном настроении духа: во-первых, мысль о том, что Вы находитесь в Браилове, а во-вторых, игра Вашего концерта привели меня в какое-то двойственное, возбужденное состояние; телом я здесь, а душою и мыслями в Браилове. Мне и радостно и тоскливо, а в общем беспокойно. Сегодня у нас довольно теплый день, но каждый день сильнейший ветер. Да, в Киеве должно быть очень хорошо; мне ужасно нравится этот город. Как я люблю в Вас, мой милый друг, Вашу любовь к детям; ну что

это за прелесть такая укладывать детей спать. Что за сердце у Вас!..

Сегодня рождение моей Милочки, и она пресерьезно пришла вчера спрашивать у меня, будут ли сегодня у нее уроки. Завтра у меня двойной праздник: именины Саши (Беннигсен) и Юли; предполагается экскурсия в Сокольники. В Браилов я, вероятно, выеду 3 июня, но поеду на Петербург для свидания с Лидой; пробуду там дня два, потом остановлюсь в Киеве дня на два, так что попасть могу в Браилов только около десятого. В консерватории идут экзамены; хорошо, что Вы избавлены от этого утомительного занятия. Премию за Nocturne взял мой Данильченко, как и предполагалось при подаче, а ожидали все, что возьмет Калиновский. Рубинштейн поедет за границу, вероятно, на Парижскую выставку. Есть в французской «Gazette musicale» очень интересная статья Кюи: «La musique en Russie»; она очень хорошо написана и серьезно с музыкальной стороны. Она еще не окончена, т. е., вернее сказать, только что начата. В Москве открыли училище или приют для детей убитых воинов и в нем по подписке устроили стипендию имени Николая Григорьевича за то, что он так усердно работал в пользу Красного креста. На-днях я переезжаю в Сокольники, но мой адрес от этого не меняется. Жду очень известий от Вас.

До свидания, милый, бесценный друг мой. Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

P. S. Получили ли Вы мое письмо с itinéraire?

145. Чайковский — Мекк

Браилов.
18 мая 1878 г.
Четверг.

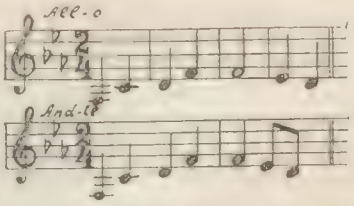
1878 г. мая 18—19. Браилов.

Написав Вам вчерашнее письмо, пошел побродить кругом дома. Ах, как хорошо, как привольно у Вас! Солнце уже село, и на обширном лугу перед главным въездом палящую жару дня сменила вечерняя прохлада. В воздухе носились ароматы сирени и скошенного где-то сена. Майские жуки нарушали тишину своим басом, соловьи пели, издали доносилась песнь. Что за прелесть! Часов в девять приехал мой Алексей, как раз в то время, когда я ужинал. Весь остальной вечер посвятил подробному рассмотрению имеющихся у Вас нот и музицированью. Между прочим, с большим интересом проиграл трио Направника. В последней части меня поразило учиненное им

похищение чужой собственности. В ней вторая тема нота в ноту заимствована у Вашего покорнейшего слуги:

1. У Направника:

2. У меня в «Вакуле»:



Даже в том же тоне! Впрочем, это обстоятельство нисколько не мешает интересу всего сочинения. И гениальным людям (Моцарту у Генделя, Бетховену у Моцарта) случалось иногда быть похитителями чужих тем. Трио Направника написано очень талантливо, живо, с мастерством.

Перед сном долго сидел у открытого окна, вдыхая чудный свежий воздух, прислушиваясь к массе ночных весенних звуков, которым даже неистовое кваканье лягушек не мешает быть обаятельными. Сегодня, отлично выспавшись, долго бродил и гулял по саду. Скоро начнут цвести розы: на кустах огромная масса бутонов. Потом играл. В первый раз в жизни пришлось мне просмотреть такое множество скрипичных концертов, как сегодня. Из рассмотренных всего больше мне нравится концерт Антона Рубинштейна, особенно первая часть. В установленное время обедал. Какой милый Ваш дворецкий! Он не только необычайно услужлив, но дёликатен, предупредителен. Между тем, это не та лакейская предупредительность и вежливость, от которой как-то неловко и совестно. Напротив, в его услугах как будто чувствуется, что он преданный Вам человек, искренно желающий за Вашим отсутствием быть представителем Вашего гостеприимства. Через час поеду в малый лес у Тартаков.

7 часов.

Только что возвратился с поездки в лес. Мне показали место, где Вы обыкновенно пьете чай и куда я непременно еще раз отправлюсь, на этот раз уж с чаем. Оттуда я обошел кругом весь лес. Что за прелесть, что за наслаждение вся эта прогулка! Как прекрасен этот лес с его тенистыми тропинками, с его густой растительностью! Под вечер, должно быть, очень хорошо, усевшись на Вашем месте, в виду реки и противоположного

берега, пить чай и отдыхать от прогулки. Непременно это сделаю. Я забыл Вам сказать, что утром сегодня, гуляя по саду, я полюбопытствовал войти в какие-то ворота, потом перелезть через канаву и был вознагражден за это. Передо мной открылся маленький квадратный лесочек, который, по расспросам, оказался местом, где прежде были строения и сад к с е н д з о в, как выразился старичок-сторож. Я немедленно пошел туда и был совершенно восхищен этим местом. В двух шагах от дома тенисто, уютно, словом, это будет, кроме сада, местом моей ежедневной утренней прогулки. Заходил я также оттуда посмотреть на монастырь; церковь просторная, чистая, но особенного интереса не представляет. Чтоб не надоедать Вам письмами ежедневно, я докончу это письмо завтра. Спасибо, друг мой, за массу чудных, сладких ощущений, испытываемых здесь мною ежеминутно.

Пятница, 19 мая.

Сейчас вернулся с поездки в лес у Владимирского фольварка. Обошел его во всех направлениях и сходил к реке, как раз против скалы. Из трех виденных мной любимых мест затрудняюсь которому отдать предпочтение. Везде хорошо, но вчера я едва ли не еще более наслаждался, чем сегодня. Несколько раз мне приходила в голову мысль, что как ни хорошо у Вас в Сокольниках, а все-таки жаль, что лучшую часть лета, т. е. м а й, Вы не живете здесь. К Вашему приезду с и р е н ь, которая здесь как-то особенно хороша, уже отцветет. Впрочем, к тому времени зато зацветут розы.

Сегодня утром я начал писать начисто скрипичные пьесы, которые оставлю здесь у Вас.

Les diners et les soupers que Marcel me sert, sont de vrais festins de Balthazar *.

До следующего письма, дорогой друг и моя гостеприимная, милая хозяйка.

Ваш П. Чайковский.

146. Чайковский — Мекк

Браилов,
21 мая 1878 г.

Моя браиловская жизнь приняла уже правильный и равномерный ход. Утром после кофе иду гулять в сад и, обойдя его,

* Обеды и ужины, которые мне подает Марсель, — настоящие пиры Валтазара.

вхожу в маленькие деревянные ворота, имеющиеся в стене, приблизительно против конюшен, перелезаю далее через ров, и передо мной невдалеке открывается тот одичалый сад, где некогда разгуливали ксендзы и который сделался теперь очаровательным, уютным, тихим уголком, населенным всякого сорта птичьим народом, среди которого перекликания иволги и щелканье соловья выделяются самым очаровательным образом, где, должно быть, несмотря на близость, никто никогда не бывает, ибо дорожки заросли так густо, зелень так свежа и чиста, что можно себя вообразить где-нибудь в далеком лесу. Здесь я сначала хожу, а потом сажусь где-нибудь в густой тени и провожу таким образом около часу. Ни с чем нельзя сравнить эти минуты уединения среди зелени, цветов, когда прислушиваешься и присматриваешься к той органической жизни, которая проявляет себя хоть и молчаливо и без шума, но громче говорит о беспредельности и бесконечности, чем грохот мостовых и вся суета городской жизни. В одном из Ваших писем Вы говорили мне, что я не найду в Браилове Gorges du Chauderon и т. п. Мне их не надо. В них более пищи для любопытства, чем для сердца и воображения, больше англичан, чем птиц и цветов, больше усталости, чем наслаждения. Никогда за границей, среди самых разительных красот роскошной южной природы я не находил тех мгновений святого восторга, восторга от созерцания природы, которые выше даже наслаждений искусством; впрочем, я уже не раз говорил Вам об этом.

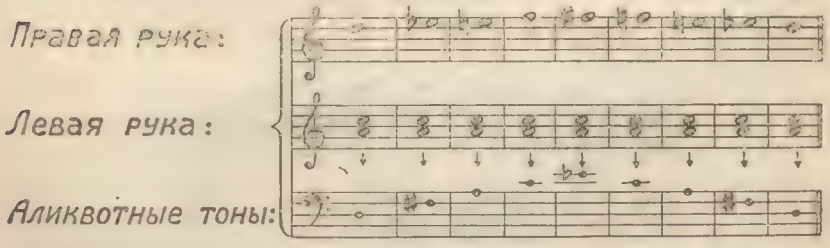
Нагулявшись, возвращаюсь домой и пишу скрипичные пьесы. Одна уже вполне готова. Если не ошибаюсь, она Вам понравится, хотя есть места, где аккомпанемент довольно труден, и я боюсь, что Вы будете сердиться на это. Остальные две будут совсем нетрудны.

Ровно в час Марсель зовет меня в столовую, где среди изящно убранного стола красуются всегда два огромных букета, что всякий раз меня ужасно радует. Тут происходит le premier festin de Balthazar*. Я всякий раз немножко конфужусь и стесняюсь, сидя один за столь большим и великолепно сервированным столом. Но Марсель такой ласковый, гостеприимный, предупредительный, что к концу обеда я опять как дома. Потом гуляю по саду, читаю, пишу письма. Около четырех с половиной часов отправляюсь кататься и иногда беру с собой Алексея, который в совершенном восторге от всего, что он здесь видит. Вчера я был в заводе. Такого грандиозного завода я еще никогда не видал. К счастью мо-

* первый пир Валтазара.

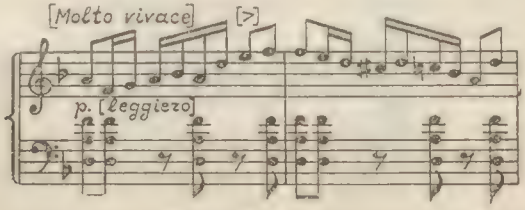
ему, завод еще работает: производится п е р е в а р к а. В то время как, разинувши рот, я стоял внизу, любуясь на две бывшие в ходу главные машины, ко мне подошел джентльмен, отрекомендовавшийся директором завода. Я именно этого побаивался, но, когда из уст его вылетело слово «г р а ф», я совсем сконфузился. Этот граф был чрезвычайно любезен и чрезвычайно обязательно показал мне завод во всех подробностях, объясняя значение каждой машины и каждого аппарата. Граф сказал мне, что заводу предстоит блестящее будущее и что доходы будут очень велики. «Твоими бы устами мед пить», подумал я. Не могу удержаться, чтоб не сосплетничать. Граф сообщил мне, что в прошлом году завод дал Вам совершенно чистого дохода 86 т ы с я ч. Я немножко удивился.

Оттуда я поехал в Л ю д о в с к и й лес, в котором, к сожалению, не пришлось гулять, ибо едва мы приехали, как налетела туча, пошел дождь, и нужно было поспешить домой. Вчера, по причине дождя, мне не пришлось бродить по л у г у, находящемуся перед домом, но все предыдущие дни я это делал во время солнечного заката. В этот час дня я люблю открытые места, и луг этот, окаймленный деревьями, сиреневыми кустами, речкой, представляет очаровательную вечернюю прогулку.

После этого с полчаса я играю на Вашей прекрасной фисгармонике. Это для меня редкое и большое удовольствие. Между прочим, я люблю делать наблюдения над любопытными акустическими явлениями, называемыми а л и к в о т н ы м и т о н а м и (Aliquottöne) *. Вы, конечно, замечали, что при игре аккордов на органе, кроме звуков, соответствующих клавишам, есть всегда еще один звук в басу, иногда гармонирующий с аккордом, иногда резко к ним диссонирующий. Порой являются прекурьезные комбинации. Вот что я открыл вчера:

* Аликвотными тонами (обертонами) называются такие тона, совокупность которых образует музыкальный звук.

Проверьте при случае этот акустический опыт, употребив регистры № 1, т. е. flûte и cor anglais*. Заметьте при этом, что re, fa ♯, la и do получаются чистые, а mi ♭ уже не совсем чистое, несколько выше. В то время как я Вам пишу, на дворе гремит сильная гроза. Утром, когда я вышел из дому, то уже знал, что она будет, и ожидал ее с нетерпением. Несмотря на довольно чистое небо, в воздухе было до того душно, что я тотчас же понял приближение грозы, которая должна была разрядить электрические токи, носившиеся в пространстве и, вероятно, сообщавшие воздуху эту давящую духоту. Я ходил в монастырь к обедне и едва дошел, до того трудно было двигаться. В церкви уже шла служба; она показалась мне очень благолепной. Два хора монашенок пели очень хорошо, и по временам слышались напевы, для меня новые и оригинальные. К сожалению, духота внешнего воздуха сообщилась и церкви. У меня немножко кружилась голова, и я поспешил домой. Едва я уселся и принялся писать, сначала пьесу, а потом письмо это, как черные тучи надвинулись, полился сильнейший ливень, заблистали молнии, и стал раздаваться треск грома. Дождь льет и теперь, но гроза уже удалилась. Я отворил окно и с неописанным наслаждением упиваюсь освежившимся, разряженным воздухом. Зато мне предстоит маленькое огорчение сегодня вечером. Было решено устроить на скале чаепитие, и я лелеял себя ожиданием чудной прогулки,— придется отложить ее.

Но я отвлекся по случаю грозы от описания дня. В девять часов происходит le deuxième festin de Balthazar **. Потом я играю и знакомлюсь с Вашей музыкальной библиотекой. Вчера я с большим удовольствием проиграл несколько струнных серенад Фолькмана. Очень симпатичный композитор. Много простоты, безыскусственной прелести.

Например, что за прелесть [1]:

* Название регистров в фисгармонии: флейта и английский рожок.
** второй пир Валтазара

Знаете ли Вы, что этот Фолькман — почтенный старичок, живущий в Пеште, в страшной бедности? В Москве раз среди музыкантов делали для него подписку и послали ему триста рублей, в благодарность за которые он свою Вторую симфонию посвятил Московскому музыкальному обществу. Впрочем, я никогда не мог добиться, почему он так беден.

В одиннадцать часов ухожу в свою комнату, раздеваюсь; все тушится и запирается. Марсель, добродушный солдат-швейцар и Алексей уходят спать, а я сажусь на идеально комфортабельную красную оттоманку и берусь за книгу. Читаю, мечтаю, вспоминаю, думаю о близких, милых сердцу людях, открываю окно, смотрю на звезды, слушаю, потом ложусь. Сплю нехорошо; почему это, не знаю. Впрочем, это летом всегда со мной так бывает, и это нисколько не мешает мне днем чувствовать себя бодрым, здоровым, веселым.

Что за чудная жизнь! Это какое-то сновидение, какая-то греза. Милая, горячо любимая Надежда Филаретовна, как бесконечно я Вам обязан за все, за все! Возвращение счастья, спокойствия, здоровья все те блага, которыми я теперь пользуюсь, не заглушили и никогда не заглушат во мне воспоминания о том, что было, что так недавно еще было. Напротив, при всякой радости, при всяком ощущении счастья я живо вспоминаю все, что содействовало моему теперешнему благополучию, и благословляю тех, кому я обязан бесконечно, беспредельно. Иногда чувство благодарности говорит во мне с такою силой, что я готов был бы кричать...

Я получил письмо от Модеста. Он, конечно, грустит, но ему хорошо в Каменке. Завтра он оттуда уезжает, а в августе или даже июле опять приедет в Каменку. Письма от известной особы нет еще. Впрочем, я об этом здесь, в Браилове, думать не буду. Посвящу эти несколько дней ничем не смущаемому отдыху. Допишу письмо вечером.

5 часов пополудни.

После обеда Марсель подал мне несколько писем, пересланных мне из Каменки, и одно от Вас. Меня поразила опять Ваша прозорливость относительно меня. Я именно сажусь на Вашу скамеечку и погружаюсь в раздумье. Именно останавливаюсь у библиотеки и зачитываюсь первою попавшеюся книгой, а то, что Вы пишете о Мариенгай, разве не удивительное совпадение? А первая часть концерта? Я не ошибся, предсказав, что Вы примиритесь с ней. Как я рад!

Независимо от Вашего письма, я имею еще причину радости. Я получил письмо от известной особы на множестве страниц. Среди феноменально глупых и идиотических ее рассуждений находится однакоже формально высказанное согласие на развод[2]. Прочтя это, я обезумел от радости и полтора часа бегал по саду, чтобы физическим утомлением заглушить болезненно радостное волнение, которое это мне причинило. Нет слов, чтобы передать Вам, до чего я рад!

Я решил, что мне необходимо в начале июня съездить в Москву, чтобы дать ход делу. Нужно поскорей, поскорей; я не успокоюсь, пока не найду ходатая по делу, вообще не заведу машины, не узнаю, как устроить формальности и т. д. Не правда ли, это лучше?

До свиданья, друг милый, дорогой.

Ваш П. Чайковский.

147. Мекк — Чайковскому

Москва,
21 мая 1878 г.

Как я рада, мой милый, бесценный друг, что Браилов Вам понравился, но мне очень жаль, что Вы находитесь под влиянием разлуки с Модестом Ильичом и, конечно, будете часто грустить, а мне так хотелось бы, чтобы Вам было безмятежно спокойно. Как жаль, что Модеста Ильича нет с Вами в Браилове! Какой печальный случай произошел с Вашею племянницею. Бедное дитя, собиралась итти в гости, быть может, надеялась весело провести время, и вдруг одно мгновение так жестоко разрушает веселое ожидание и приводит в болезненное состояние. Так человек никогда не знает, где его что ожидает. Каково ей теперь, лучше ли, как нервы?

Я пишу Вам, милый друг мой, на скорую руку, в антракте между большими суетами, потому что переезжаю сегодня в Сокольники. А укладываться должна совсем как на далекую уже дорогу, потому что из Сокольников и уеду. Главным образом я пишу это письмо для того, чтобы также вступиться за себя и сказать Вам, дорогой мой, что Вы несовсем верно поняли мой отзыв о первой части Вашего концерта. Конечно, в ней ни один такт не вымучен, и в последнем моем письме, которое скрестилось с Вашим, Вы увидите, что я восхищаюсь тем, что она свободно и легко

написана. Мне кажется, что в этом никогда нельзя ошибиться, написано ли сочинение по свободной мысли и вдохновению, или оно, так сказать, выдумано, высижено, или написано тенденциозно, или с расчетом поражать, удивлять. Ничего подобного никогда нет в Ваших сочинениях. В них всегда видна свободная мысль и следование только за нею, но я подразделяю в них свойство вдохновения и делю его на две категории: на вдохновение чисто музыкальное и вдохновение посредством чувств. Как математические науки есть чистые и прикладные, так и музыка бывает чистая и прилаженная к жизни, к чувствам, но у такого высокого художника, как Вы, она всегда искренно выражает Ваше собственное настроение. Если первая часть на [меня] меньше действует, чем та музыка, в которой слышна глубокая тоска или беспокойная страсть, то это потому только, что она не подходит к тому настроению, в котором я чаще бываю. Как музыкальное произведение она мне чрезвычайно нравится, и что дальше, то больше. Метрономы выставлены, и я взяла темп по метроному, хотя, правда, по первому разу играла слишком скоро, потому что не заметила, что темп переменился с 132 на 80, но теперь я играю ее как следует, и она меня очень восхищает. Скрипач мой также усердно разучивает весь концерт и очень хвалит его, в особенности от Canzonett'ы он в восторге, насколько, впрочем, он может быть в восторге, потому что человек он невпечатлительный.

Вчера проводила я своих Беннигсенов за границу. Эта разлука с Сашею была для меня особенно грустна, потому что я так боюсь за ее положение и за разрешение, с незнакомыми докторами, после такой длинной дороги. Ей очень не хотелось уезжать; она прощалась со мною с большими слезами, и мне было тяжело, — я в первый раз буду в Браилове без нее. Ее маленький мальчик все повторял мне: «Маня (это он сам) опять приедет».

Рассказчик о Браилове, о котором Вы пишете, друг мой, довольно верные сведения давал о нем: Браилов действительно стоит три миллиона и дает дохода (валового) шестьсот тысяч, из них четыреста тысяч сахарный завод и двести тысяч экономия, но ведь все это в Браилове же и поглощается. У меня есть один знакомый, который говорит, что «Браилов — это маленькое государство», и это очень метко, потому что там действительно все ведется на государственную ногу и дефицит, так же как у нас в России, в государственном бюджете.

Как я буду рада, дорогой мой Петр Ильич, если Вы совсем успокоитесь от разлуки с Модестом Ильчом и не будете ни-

сколько скучать в Браилове. Ваше обещание часто мне писать весьма меня обрадовало.

До свидания, мой дорогой, несравненный друг. Всею душою Ваша

Н. ф.-Мекк.

Приехал ли Ваш Алексей? Хорошо ли у Вас начало?

148. Чайковский — Мекк

Браилов,
23 мая 1878 г.

Дорогой друг! Пишу Вам это письмо, сидя на Вашем балконе, в прохладной тени, окруженный со всех сторон зеленью и цветами. После грозы, которая третьего дня гремела без длинных перерывов целые сутки, воздух сделался свеж, чист. Жара несколько спала, между тем ветра нет, деревья не шелохнутся, птички задают неумолкаемый концерт, словом, стало до того хорошо, что не опишешь никакими словами. Я по горло погружен в блаженное созерцание природы. По временам досадная и докучная мысль о том, что скоро нужно начать хлопоты по делу, выводит меня из состояния счастливого покоя, но я победоносно отгоняю ее. Хочу еще несколько дней пожить, отрешившись от предстоящих сует и забот. И как полезно, как отдохновительно для меня это одинокое пребывание в Вашем несравненном Браилове! Сколько сил я здесь набираюсь, сколько я передумал здесь полезных мыслей для руководства в будущем! Незабвенные, чудные дни, проходящие, как сон, до того незаметно скоро, что я сейчас изумился, вспомнив, что завтра уже неделя моего пребывания в Браилове.

Вчера под вечер я ездил на с к а л у, и на сей раз с чаепитием. Удовольствие еще усугубилось вследствие того, что, гуляя по всем направлениям в окружающих с к а л у лесах, я нашел значительное количество грибов, а это одно из любимых моих летних удовольствий. Таким образом, сегодня за обедом я буду иметь удовольствие вкушать плоды своих собственных исканий. Впрочем, замечу, что искать грибы куда веселее, чем вкушать их. Минута, когда видишь и срываешь хороший коренастый белый гриб, очаровательна. Это должно быть похоже на ощущение любителя карточной игры, когда ему сдадут козырей. Всю ночь мне сегодня грезились красные, толстые, огромные грибы. Проснувшись, я подумал, что эти г р и б н ы е г р е з ы суть совершенно детская черта.

И действительно, живя вдвоем с природой, делаешься, как ребенок, восприимчив к самым простым, безыскусственным радостям, причиняемым ею. Вчера, например, я с величайшим наслаждением, должно быть, около часу следил, как в саду около дорожки улитка попалась в крошечную муравейную кучку.

Как они напустились на безвредного, хотя и огромного врага! Как бедная улитка конвульсивно подергивалась и старалась спрятаться в свое жилище, куда муравьи проникали за ней и довели ее, наконец, до совершенного истощения сил! Как хлопотливо, дружно муравьи язвили ее! Я не понимаю, как можно хотя единый миг скучать в деревне, живя даже совершенно один? Неужели эта маленькая сцена, в микроскопических формах которой разыгралась целая трагическая борьба многих индивидуумов, не интереснее пустых разговоров и того жалкого переливания из пустого в порожнее, которое составляет суть времяпрепровождения в большей части обществ!

Марсель доставляет мне ежедневно московские и одесские газеты; я просматриваю их, но очень поверхностно. То, что происходит в политике, очень мало утешительно. Или я ничего не понимаю, или мне кажется, что России, благодаря таким дипломатам, как Шувалов, наклеили нос. Положим, что если можно обойтись б е з в о й н ы, то это большое счастье. Сидя на балконе Браилова, как-то совестно желать, чтоб т а м г д е - т о лилась кровь и терпелись адские муки ради поддержания нашего достоинства. Но в таком случае зачем кровь лилась в прошлом году? Неужели даром? А дело идет к тому очевидным образом.

Знаете, что теперь занимает меня и о чем я часто думаю? В тот вечер в Киеве, когда сестра и Модест были на представлении Росси, а я оставался стеречь детей, я прочел ту самую «Р о м е о и Ю л и ю», которую они смотрели в театре. Тотчас же у меня засела в голову мысль написать оперу на этот сюжет, и «У н д и н а» перестала привлекать меня. Оперы Б е л л и н и и Г у н о не пугают меня. В них Ш е к с п и р исковеркан и искажен до безобразия. Не находите ли Вы, что эта великая, архигениальная драма способна привлечь музыканта? Я уже говорил об этом с Модестом. Он пугается великостью задачи, но смелость города берет. Буду много думать о сценариуме этой оперы, на которую я положил бы все свои силы, а они еще есть в запасе.

Получил письмо от Анатолия. Он выхлопотал себе отпуск в конце мая на два месяца. Это для меня большая радость.

Полагаю, что съедусь с ним в Москве в начале июня и при его помощи и руководстве начну дело.

До свиданья, бесценный, дорогой друг.

Ваш П. Чайковский.

Соловей в Вашем кусте есть и поет усердно.

149. Мекк — Чайковскому

[Москва]
25 мая 1878 г.,
Сокольники.

Сегодня я получила Ваше письмо, мой милый, милый друг, и обрадовалась несказанно тому известию, которое Вы мне даете. Слава богу, что о н а согласна, а я боялась, что придется еще долго провозиться с этим делом. Теперь, конечно, надо скорее действовать, ковать железо, пока оно горячо, а то я боюсь, что о н а передумает.

Мне очень будет жаль, когда Вы покинете Браилов, я так счастлива Вашим пребыванием в нем, но я надеюсь, дорогой мой, что это есть первый, но не п о с л е д н и й раз, что я принимаю Вас у себя и могу заботиться о Вас как о моем милом, дорогом госте. Вы не можете себе представить, сколько радости, сколько наслаждения я испытываю при мысли, что Вы у м е н я и что Вам нравится Браилов. Мне очень жаль, бедный друг мой, что Вы наткнулись на графа Сципио, хотя скажу при этом, что он очень порядочный человек. Он поляк хорошей фамилии, воспитывался во Франции, сперва в университете, где окончил курс как bachelier *, а потом специально изучал во Франции же свеклосахарное производство. Он очень хорошо знает свое дело, и я им очень дорожу как директором. Насчет дохода с фабрики он сказал Вам сущую правду,— только она и дает доход, но это все поглощается экономиею, хотя в нынешнем году я начинаю надеяться получить в р у к и с сахарного завода 103 000 рублей, из которых я уже получила 31 000 рублей и вчера получила письмо от графа, что у него еще имеются 50 000 налицо и в конце июня будут 22 тысячи и что экономии не нужны эти деньги. Мне еще не совсем верится, чтобы экономии не были нужны, но если это так, то это будет первый доход за десять лет из Браилова: Ваше пребывание там принесло мне счастие. Как я буду рада, если оно принесет Вам приятное воспоминание!

---

* бакалавр

Наше сходство вкусов и натур и меня поражает необыкновенно: не только Вам понравился Фолькман, который и мне очень нравится, но Вам понравилась особенно даже та же самая часть серенады, которая и мне чрезвычайно нравится. В скрипичном концерте А. Рубинштейна Вам также понравилась первая часть, которая и мне очень нравится; в особенности мне нравится вступление скрипки с первою темою. Разработки его вообще немножко слишком обыкновенны. Может быть потому, что я не музыкант, они мне кажутся такими, но я нахожу, что они большею частью трудны только с технической стороны, а не с научно-музыкальной. А знаете, милый друг, по части похищения чужих мыслей, что никто столько не ворует их, как именно Антон Рубинштейн, не говоря уже о том заимствовании, которое существует в его темах, часто очень избитых. Как, например, его романс для фортепиано Es-dur, переложенный Венявским для скрипки с фортепиано, есть такое сочинение, которое само похоже на очень многое и очень многое на него, ни дать, ни взять, как гоголевские герои «Мертвых душ», про которых всегда кажется, что я кого-то знаю точно такого. Но это, впрочем, не мешает этому романсу быть премилому, потому что Рубинштейн, il a cette verve dans la composition qui les rend très attrayant *. Вообще я люблю его сочинения, потому что он самую ничтожную мысль умеет сказать с такою страстью, что приведет в движение все нервы. Trio Направника мне также нравится. Я не заметила похищения, потому что не довольно коротко знакома с обоими сочинениями, но, конечно, похищение сделано заведомо, потому что он-то как chef d'orchestre** хорошо знаком с Вашею оперою. Я о Направнике как человеке имею дурное мнение, о Фолькмане я знаю, что он старичок, очень беден и живет в Пеште. Так как его сочинения мне очень нравятся, то я в Вене наводила об нем справки, но не могла достать его подробного адреса. Мне чрезвычайно нравятся те дикие гармонии, которые преобладают в его сочинениях, и безотрадная тоска, которая в них часто слышится.

Не знаю, как благодарить Вас, мой милый, безгранично любимый друг, за то удовольствие, которое Вы мне хотите доставить, оставив Ваши сочинения. Если бы мне не было уже так дорого все, что есть Вы, я сказала бы, что эти сочинения будут мне особенно дороги, но при всем этом в них будут заключаться для меня особенные воспоминания.

---

* у него есть тот огонек в сочинениях, который делает их весьма привлекательными

** дирижер

Если аккомпанемент и будет слишком труден для меня, то я все-таки в претензии не буду, дорогой мой Петр Ильич, потому что сумею почувствовать его прелести; к тому же, в Ваших сочинениях для меня всегда ясна мысль, а это облегчает мне и техническое исполнение.

Этот акустический фокус, о котором Вы пишете, Петр Ильич, очень интересен, я на него никогда не попадала. Вот что мне пришло в голову по поводу фисгармоники. У меня в Москве их есть две, одна из них совсем лишняя,—то не хотите ли Вы, милый друг мой, избавить меня от нее, потому что она мне только место занимает? Инструмент она хороший, сделана на заказ у известного парижского мастера Debain, кажется, с двадцатью четырьмя регистрами, из которых один есть очень оригинальный, percussion *. Если Вы у меня возьмете этот орган, то я Вам буду очень благодарна.

Как я благодарна Вам за Ваши частые письма из Браилова. Сколько деликатности и тонкого понимания потребности другого в данном случае выражается в этом частом писании. Какой Вы славный, Петр Ильич! Как Вас не любить! Мне все-таки очень хотелось бы, друг мой, чтобы Вы во Владимирском лесу или на скале пили чай, потому что именно часов в семь-восемь там очень хорошо. У нас здесь холодно.

Из моих правоведов Сашок выдержал экзамены хорошо и теперь находится уже дома, а Коля провалился на латыни, но его начальство говорит, что это ничего, что он передержит в августе и перейдет. Это удивительно, как ему не дается эта латынь, тогда как греческий идет хорошо, а французский, немецкий и английский еще лучше, конечно. Меня очень расстраивает в моих проектах эта предстоящая передержка в августе, потому что я именно в начале августа должна была ехать за границу, в место нахождения моей Саши (Беннигсен), а теперь не знаю, что и делать.

Пожалуйста, дорогой друг, сообщите мне, когда будет нужна условленная сумма для известной особы, чтобы я могла тотчас же, без задержки препроводить ее к Вам, а также известите меня, пожалуйста, телеграммою, когда Вы будете в Москве, чтобы я могла тотчас послать то, что нужно для ведения этого дела.

До свидания, мой милый, бесценный друг. Я так буду рада, когда Вы совсем освободитесь. Дай бог, чтобы это исполнилось как можно скорее. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

Сегодня послала Вам отдельный пакет.

* ударный инструмент

150. Чайковский — Мекк

Браилов,
25 мая 1878 г.

Сегодня праздник вознесенья. Я сейчас был в монастыре. Народу собралось великое множество как туземного, так и пришлого из окрестностей. В церкви нельзя было найти места, но по протекции какой-то монашенки я попал на хоры. Я подробно рассматривал церковь. Нетрудно заметить, что она была католическим храмом. Это, во-первых, заметно в стиле фресок и икон, не имеющих ничего византийского; на потолке в симметрическом порядке расположены латинские надписи, состоящие из названий различных добродетелей, впрочем, специально мужских, как, например: F o r t i t u d e, т. е. храбрость. Это заметно также и по иконостасу, деревянному и довольно неуклюже приделанному к стенам. Певческий хор стоял сегодня на хорах, и я с большим интересом наблюдал за р е г е н т ш е й, старой, с необыкновенно типическим и носящим следы большой красоты лицом монашенкой. В воображении своем я построил целый роман этой почтенной старушки. Некоторые вещи пелись по нотам, и очень порядочно. Значит, старушка эта имеет понятие о музыке. Откуда? Это очень любопытно. Не дождавшись конца обедни, я вышел на монастырский двор, и тут зрелище открылось очень оживленное и любопытное. Во-первых, мне очень нравится народный здешний костюм. У мужчин он скорее польский, чем южнорусский; в головной прическе цельнее сохранилась древняя традиция, чем в Киевской губернии; у женщин красивые головные уборы; у девушек какие-то шапочки из искусственных цветов и другие более или менее пестрые украшения. Почти у всех великолепные коралловые бусы. Весь двор был наполнен сидевшими и что-то евшими группами. Слепые играли на своих курьезных лирах и пели к а н т ы. Женщины слепые сидели все вместе и пели хором; у некоторых, несмотря на то, что они нищие, были красивые новые платья и коралловые бусы. Выходивший из церкви народ оделял их бубликами и кусками сала и хлеба. Около входа в церковь толпились продавцы и продавщицы разного дешевого товара. За оградой расположились со своими лотками жиды, и один из них, обратясь ко мне, сказал: «А может, Вы хотите хороший бублик?». Но я отказался от бублика и, перейдя через новый мост, уже совсем готовый, возвратился домой. Всю ночь шел дождь, на дворе душно и парит. Значит, опять будет гроза.

Третьего дня вечером я был (с чаем) в лесу у Тартаков. Это решительно самое восхитительное место из всех здесь виденных. А какие там есть тенистые тропинки! Как хорошо блуждать по этому лесу! В довершение прелести и здесь, как около скалы, я нашел значительное количество грибов. Вообще для моей страсти к исканию грибов здесь пищи много. Представьте, друг мой, что даже в очаровательном Мариенгай я нашел несколько великолепных белых грибов. Вчера с этой стороны моя вечерняя экскурсия была менее удачна. Я ездил в тот лес, где зверинец. Хотя грибов там и не было, но как прогулка лес этот чрезвычайно живописен. Был у диких коз и любовался этим чудным животным. По возвращении был встречен приятным сюрпризом. Марсель приготовил мне чай в беседке посреди пруда. После чаепития мы ловили удочкой карасей, но неудачно. Забыл Вам сказать, что третьего дня перед прогулкой я ездил в поле смотреть на работу парового плуга. В первый раз в жизни я видел эту гениально изобретенную машину.

Затем все остальное, т. е. ежедневные посещения Мариенгай, брожение по саду, в маленькой дозе занятия, чтение (именно так, как Вы писали), игра, les deux festins de Balthazar*, идет уже установившимся порядком. Нельзя придумать форму жизни более очаровательную, освежающую, отдохновляющую. Иногда со страхом думаю о том, что скоро сон этот прекратится и начнется действительность, сопряженная с маленькими неприятными подробностями. То есть нужно будет, не теряя времени, приступить к делу. Но зато, боже мой, что за счастье будет, когда дело это разрешится и возвратит величайшее благо, т. е. свободу!

До свиданья, хозяйка! Хорошо, ах как хорошо мне у Вас, и какие это незабвенные, чудные дни!

Ваш П. Чайковский.

151. Чайковский — Мекк

Браилов,
27 мая 1878 г.

Начиная с вечера третьего дня погода несколько испортилась. Я ездил во Владимирский лес на пасеку. Едва мы туда приехали и я, осмотрев пчел, отправился прогуливаться, как налетела грозная туча, полился ливень, засверкали молнии, и я спасся поспешным бегством в чистенькую хатку пасечника.

---

* оба пира Валтазара

Дождь не унимался так упорно, что пришлось уехать, не дождавшись перемены погоды. Весь вечер дождь не переставал лить, и сделалось холодно. Я легко утешился дома от этого contretemps *, ибо напал на книгу, очень завлекшую меня. Это мемуары были Охотского, изданные Крашевским и кем-то очень хорошо переведенные на русский язык[1]. Вам известна, друг мой, моя ненасытная страсть ко всему, что касается XVIII века. Эти мемуары представили для меня много нового интереса, ибо я мало был сведущ насчет быта польского общества прошлого столетия. Не знаю, читали ли Вы вполне эту книгу. Она написана необычайно бойко, каким-то наивно-правдивым и искренним тоном, придающим сообщаемым ею сведениям и фактам много реальности и вместе теплоты и живости. Между прочим. во второй части есть страница, касающаяся истории Браилова и обманного способа приобретения его Юковским. На всякий случай отмечу Вам страницы 258—259, часть II.

Вчера было холодно и ветрено. Утром немного занимался и окончил эскизы нескольких номеров литургии, которую я пишу [2]. В моем портфеле теперь целая масса эскизов. Я написал, кроме скрипичных пьес, шесть романсов, около дюжины фортепианных пьес, альбом маленьких пьесок для детей, числом двадцать четыре, большую сонату, всю литургию Иоанна Златоуста. Нужно будет много времени, по крайней мере, месяца полтора усидчивой работы, чтобы все это привести в порядок и переписать.

Мне было немножко досадно, читая Ваше последнее письмо, на то, что я так ревностно заступился за первую часть концерта. Я боюсь, что из-за нежелания задеть авторское самолюбие Вы впредь невполне откровенно будете мне высказывать Ваши впечатления в тех случаях, когда они будут невполне благоприятны. Умоляю Вас, дорогая моя, никогда не стесняться говорить мне правду. Не думайте, что Ваши замечания имеют мало весу для меня, потому что Вы не специалистка. Знаете ли Вы, что суждения таких людей, как Вы, т. е. обладающих пониманием, вкусом и горячею любовью к музыке, для меня гораздо ценнее, чем отзывы рецензентов и критиков, всегда односторонних, всегда смущаемых предвзятыми принципами и теориями, всегда находящихся под влиянием своих личных отношений к музыкантам? Затем, могу Вам положительно сказать, что у меня нет того болезненно-щепетильного авторского самолюбия, которое обижается малейшим замеча-

* неприятного события

нием. А могу ли я обижаться на Вас? Неужели я не знаю, что Вы горячо сочувствуете мне и что если Вам что-нибудь и не понравится, то это еще не доказывает, что Вы недостаточно цените мои способности. Если я так заступился за первую часть концерта, то это потому, что это — мой Вениамин *. К младшим детищам всегда относишься как-то более нежно. Пора объективного отношения к предмету еще не наступила. Есть некоторые из моих старых вещей, к которым в свое время я питал такое же пристрастие, но, боже, как я теперь охладел к ним! К некоторым я даже питаю положительное отвращение. Сюда относится опера «Опричник», очень слабое, очень спешно и местами совершенно холодно написанное сочинение. Итак, чтобы покончить с этим предметом, прошу Вас, друг мой, никогда не опасаться задеть мою авторскую амбицию. От Вас мне нужна только правда, и если она подчас и не будет лестна для меня, она будет мне все-таки дорога как отзыв моего лучшего и безгранично любимого друга. А все-таки я ужасно рад, что теперь первая часть концерта Вам нравится больше.

После обеда укрывался от ветра в прелестном Мариенгай. До какой тонкости я изучил теперь этот чудный уголок! Без преувеличения могу сказать, что каждое дерево мне известно. Потом ездил гулять и пить чай во Владимирский лес, близ фольварка. Я боялся, что ветер помешает удовольствию, но как бы по мановению какого-то волшебного жезла вдруг стало тихо, небо прояснилось, и вечер сделался удивительным. Вдоль и поперек исходил я весь этот лес до того угла, где дорога поворачивает на пасеку. Моя грибная страсть сообщилась всем сопровождавшим меня. Мой Алексей, Леон, кучер Ефим, другой кучер, привезший принадлежности чаепития, все вчера до пота лица трудились искать грибы и друг перед другом старались отличиться. Кучер Ефим (отличный кучер и очень симпатичный малый, как и все в Вашем доме) перещеголял всех. Чаепитие происходило на полянке, под березами. Ну, как Вам описать невыразимую прелесть этого вечера, этого ясного неба, освещаемого заходящим солнцем, этого благоуханного лесного воздуха и это ощущение отдыха среди зелени и деревьев после долгой прогулки в виду дымящегося самовара!

Ничего я не смыслю в хозяйстве, и замечание, которое я сейчас выскажу, не имеет никакой цены для Вас, но все-таки

---

* Образное выражение. Вениамин—младший сын библейского патриарха Иакова, «сын его старости».

я сообщу его Вам. Когда я еду среди Ваших полей и гуляю по Вашим лесам, я не могу не удивляться, каким образом именье, находящееся в таком удивительном порядке, может быть так мало доходно. Бурачные плантации великолепны: в этом я все-таки немножко толк знаю. Мне кажется, что в этом году доход у Вас будет.

Брат Анатолий, получивший отпуск, находится в Москве. Я телеграфировал ему, чтобы ждал меня. Около 1 июня думаю, что нужно ехать мне в Москву. Присутствие Анатоля много облегчит меня. Потом вместе с ним уеду в Каменку.

До свиданья, дорогой друг.

Ваш П. Чайковский.

152. Чайковский — Мекк

1878 г. мая 29—30. Браилов. Браилов, 29 мая.

Сажусь писать к Вам сегодня, друг мой, недоумевая, куда адресовать. Боюсь, что, если послать в Москву, письмо только напрасно прогуляется; оставить здесь разве? Решу этот вопрос по написании письма.

Я доживаю последние дни здесь. Полагаю, что нет надобности мне объяснять Вам, почему я не пользуюсь дольше Вашим гостеприимством, хотя бы мог продолжить мое пребывание здесь до 10 июня. Я провел целый ряд незабвенных для меня дней. Я испытал в Браилове столько самых чистых, светлых наслаждений, я так много упивался прелестями здешней симпатичной природы, мне было так хорошо, привольно, что дни эти навсегда останутся в моей памяти светлым, чарующим воспоминанием. Благодарю Вас за них, и тем не менее нужно ехать; нужно, не теряя времени, приступить к делу, тем более, что Анатолий, находящийся проездом в Москве, ждет меня там и, вероятно, скучает. А я хочу непременно воспользоваться его присутствием в Москве, чтобы он помог мне дать делу надлежащий ход.

Дни эти протекли так же безмятежно, так же тихо и вместе так же очаровательно, как и предыдущие. Третьего дня вечером ездил на скалу, вчера—в Тартаки, сегодня хочу съездить опять во Владимирский лес, на пасеку, где я был, но по причине грозы ничего не видел. Из всех этих мест я отдаю безусловное преимущество лесу у Тартаков. С каждым разом место это мне все больше и больше нравится. Вчера я зашел там к такому месту, где уже решительно нет никаких

следов посещения леса ни человеком, ни домашним скотом. Это овраг, в глубине которого течет ручеек; во время половодья тут, должно быть, ревет дикий поток, ибо в глубине оврага во многих местах покоятся с корнем выдернутые громадные деревья. Иные из них упали поперек, и ветви их перемешались с растущими по бокам кустами. На крутых стенах оврага растут великолепные папоротники и другие высокие, сочные, яркой зелени травы. Приходилось с трудом пробираться через кусты, чтобы посидеть над пропастью. Боже мой, до чего это хорошо! Какая тишина, что за чудные лесные ароматы, как там прохладно, уютно, хорошо!..

А грибы своим чередом. Это тоже не малое удовольствие. И в Тартаках даже в этом отношении лучше, чем где-либо. Погода стоит все время благоприятная. В довершение всего начались чудные лунные ночи. Я очень дурно спал в первые дни моего пребывания в Браилове. Теперь сон возвратился, и давно уже я так хорошо не спал, как в последние ночи. Об Модесте я имею утешительные известия, но Анатолий ничего не дает о себе знать. Жду с нетерпением его ответа на мою телеграмму. Боюсь, что он в одиночестве в Москве скучает.

30 мая, 2 часа.

Сегодня я хотел отправить своего Алексея в Каменку за некоторыми нужными мне вещами. Ради прогулки и чтоб разъяснить на телеграфе одно мучившее меня недоразумение (на-днях сюда присылали телеграмму на имя Зайковского, и Марсель ее отправил назад, а я подозревал, что это мне), я поехал вместе с ним в Жмеринку. По дороге мы встретили человека, ездившего за почтой, а в телеграфном бюро при мне получена депеша от Анатолия, который торопит меня в Москву. С почтой же я получил Ваше письмо. Сообразивши все обстоятельства, я решил, что оставаться здесь дольше не следует. Я буду суетиться, думать о деле, об скучающем Анатоле, и это будет смущать мое удовольствие. Поэтому я решил ехать сегодня вечером и тут же в Жмеринке телеграфировал Вам и Анатолю.

Итак, еду сегодня. Я провел здесь ровно две недели. Благодарю Вас, милый друг, за все наслаждение, которое я испытал здесь. Никогда, никогда я не забуду этих дней и буду утешать себя надеждой когда-нибудь снова приехать. До свиданья. Хочу сейчас привести в порядок Ваши ноты, в числе которых будут и мои новые три скрипичные пьесы.

П. Чайковский.

6 часов вечера.

Сейчас, приведши в порядок Вашу музыкальную библиотеку, я долго ходил по саду и прощался с ним. Знаете ли, дорогой друг, что мне о ч е н ь, о ч е н ь, о ч е н ь грустно расставаться с Браиловым. Сердце мое сжимается при мысли, что мне предстоит такая резкая перемена декораций. После того сладкого мира, который я здесь вкушал, я попаду в Москву, и придется видеть столько людей, попасть в такой водоворот... Меня утешает та цель, которая призывает меня в Москву; потом мне приятно помышлять о свидании с братом и о том, что я буду так близко от Вас в течение целых двух дней. Но возвращаюсь к саду.

Он совершенно успел изменить свой внешний вид в эти две недели. Вся эта масса сирени, которая еще так недавно украшала сад, исчезла без всяких следов. Правда, что взамен ее появились розы и притом прелестные и в большом количестве, но мне все же жаль сирени, я грущу по ней, мне жутко помышлять о том, что целый год ждать ее, — целый год, состоящий из целых двенадцати месяцев, из коих каждый имеет тридцать дней! Впрочем, трудно передать то ощущение, которое я теперь испытываю. Я думаю, что Вы понимаете меня. Прошлого всегда жаль, а когда это прошлое было так хорошо, как дни, проведенные в Браилове, то болезненно жаль! Была сирень, и вот ничего от нее не осталось, были хорошие дни и прошли, и когда они воротятся??? Еще одно обстоятельство изменяет внешний вид сада: густая душистая трава, которой он был наполнен, скошена, и сено снято. От этого сад сделался кокетливее, но мне все-таки и травы той жалко, которая была свидетельницей моих первых прогулок по саду.

Я не успел сказать Вам о вчерашней прогулке, которая, к сожалению, была и последней. Ездил я на пасеку и нагулялся досыта. Пил чай на Вашем месте. Хороший это уголок; трава, как ковер, усеяна цветами, поразительно разнообразными. После чая, сидя на траве, я вздумал сосчитать, сколько различных представителей растительного царства окружало меня! Для этого я составил, не сходя с места, букет, в котором каждая травка и каждый цветок находились в числе одного экземпляра. Знаете, сколько я набрал? — Около сорока пяти и это на пространстве двух аршин!

Благодарю Вас, дорогая Надежда Филаретовна, за предложение фисгармоники. Если она Вам ненужна, то само собой разумеется, что ей будет отведено почетное место в моем будущем жилище. Нет меры Вашей доброте. Благодарю Вас заранее за сумму, ценой которой Вы дарите мне свободу, лучшее из благ.

Сумма эта до окончания дела будет лежать у Юргенсона. Я спросил известную особу, согласна ли она, чтоб сумма эта была до разрешения развода отдана на хранение одному из трех следующих лиц: Рубинштейну, нотариусу Трескину или Юргенсону. Она избрала последнего, вероятно, оттого, что она чрез его посредство имела со мной денежные сношения. Но сумму эту к Юргенсону должен доставить я сам, ибо я уже писал ему, что привезу ее. Вообще, я полагаю, что она не может быть поручена Юргенсону прямо от Вас, дабы во всем этом деле имя Ваше не было произнесено ни разу.

Благодарю Вас также, друг мой, и за те деньги, которые Вы пришлете мне на ведение дела. Я сделаю все возможное, чтобы это обошлось как можно дешевле. Спасибо, друг мой.

Пьесы мои (посвященные Браилову)[1] я отдал Марселю для передачи Вам. Если у Вас будет жить в Браилове Данильченко, то будьте так добры, поручите ему списать их и копию прислать мне, не стесняясь временем, хотя бы не ранее конца лета. Первая из них, мне кажется, самая лучшая, но и самая трудная; она называется «Méditation» и играется в tempo andante. Вторая — очень быстрое скерцо, третья — «Chant sans paroles». Мне было невыразимо грустно сейчас передавать их Марселю. Еще так недавно я принимался за их переписку. Тогда сирень цвела еще во всей красе, трава была не скошена, розы едва начали показываться в бутонах! И вот промелькнули две недели и как быстро! С каждой минутой, приближающей меня к отъезду, я все больше и больше сознаю всю неописанную прелесть Браилова и той жизни, которую я здесь вел. Точно будто я надолго расстаюсь с дорогим и близким человеком. Известие, что Вы надеетесь в этом году получить доход с Браилова, ужасно радует меня. Если кому следует желать увеличения богатства, то это Вам. Между людьми, между богатыми, Вы представляете такое исключительное, такое изолированное явление!

Не пугайтесь за Сашу. Если он понемножку будет заниматься своей латынью летом, то переэкзаменовку он, несомненно, выдержит. Как оживится через несколько дней Браилово!

Уезжая из Сокольников, не забудьте, друг мой, написать мне в консерваторию (где я, вероятно, буду жить, так как там стоят все мои вещи), куда писать Вам. Думаю, что прямо в Браилов. Вас же попрошу адресовать по Вашем отъезде письма в Каменку, куда я ворочусь при первой возможности. Благодарю, благодарю, благодарю Вас, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

153. Мекк — Чайковскому

[Москва]
31 мая 1878 г.,
Сокольники.

Сейчас, накануне моего отъезда в Петербург и Браилов, я получила Вашу телеграмму, бесценный друг мой, о выезде из Браилова. Очень мне грустно, что Вы его уже покинули, но, с другой стороны, меня так радует перспектива свободы, которую Вы поехали стяжать в Москве, что эта радость вознаграждает меня за то горе. Пишу Вам сегодня только несколько слов, потому что укладываюсь и собираюсь к отъезду и дела очень много. Получили ли Вы, милый друг мой, мое последнее письмо и paquet chargé, посланные в Браилов? Прилагаю здесь необходимый предмет для ведения дела развода. Дай бог, чтобы оно кончилось скорее и вполне успешно.

О другой сумме, по условию, прошу Вас, дорогой Петр Ильич, уведомить меня в Браилов, когда надо ее выслать, и я тотчас это исполню. Еще, пожалуйста, телеграфируйте мне в Петербург, Европейская гостиница, получили ли Вы ma lettre chargée в Браилове и настоящий пакет.

Я буду рада, когда Вы приедете в Каменку. Это ближе к Браилову. Да, к сведению, я пробуду в Петербурге до воскресенья 4 июня, до пяти часов вечера, а затем в Браилов, куда и прошу Вас адресовать Ваши письма. До следующего письма, дорогой друг мой. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

154. Чайковский — Мекк

[Москва]
2 июня 1878 г.
Лоскутная гостиница.

Приехал вчера, и так как в консерватории остановиться оказалось нельзя, то переехал сюда.

Lettre chargée в Браилове я не получал. Мне очень досадно, что это приведет к каким-либо компликациям *. В день отъезда из Браилова я наделал множество глупостей. Написал к Анатолию телеграмму о своем приезде и адресовал ее не так; Вам написал письмо и, вместо того чтобы привезти его, что было бы скорее, отдал на почту; в письме этом назвал,

* т. е. я боюсь компликаций для Вас; если же дело только за мной, то научите, что делать. *(Прим. Чайковского.)*

говоря о переэкзаменовке Вашего сына Коли Сашей и т. п. целый ряд рассеянностей. Простите меня, я был ужасно огорчен необходимостью отъезда. Всю дорогу тосковал чуть не до слез. Но ехать все-таки было нужно. Условленная для удовлетворения моей жены сумма не должна быть выслана тотчас, ибо все равно дело так скоро не кончится. Пожалуйста, пусть это обстоятельство не беспокоит Вас. Нужно только, чтобы приблизительно через месяц она была у Юргенсона, потому что, как Вы увидите, друг мой, из моего последнего письма, известная особа пожелала, чтобы деньги лежали у Юргенсона.

Сегодня в пять часов я с братом буду иметь совещание с секретарем консистории Розановым о разводе. В семь часов я буду дома. Если Вы найдете нужным сообщить мне сегодня же, как мне поступить, чтобы получить не дошедшее до меня письмо в Браилове, то лучше всего, если вечером прикажете еще раз Вашему человеку побывать у меня. Я к тому времени приготовлю Вам письмецо, где расскажу о результате разговора с секретарем. Напишите мне, дорогая моя, в котором часу Вы уезжаете завтра и успею ли я завтра утром послать к Вам Алексея с письмом, в случае если бы мне еще раз оказалось нужным написать Вам.

Брата Анатолия я нашел нездоровым; это меня беспокоит. Мне неприятно также узнать из письма Вашего, что и Вы нездоровы. Мои московские ощущения ужасно странные, но об этом в другой раз. Благодарю Вас за все, мой дорогой друг, моя спасительница.

Ваш П. Чайковский.

155. *Чайковский — Мекк*

1878 г. июня 3 (?) *Москва.*

Благодарю Вас, друг мой. Напишу Вам сегодня в Петербург. В настоящую минуту ничего путного ответить бы Вам не мог. Я не один; сейчас будут гости. Прощайте, желаю Вам всякого благополучия в путешествии.

Ваш П. Чайковский.

Очень скучно, очень грустно, но ничего дурного, впрочем, не случилось.

150. *Чайковский — Мекк*

Низы.
Харьковской губ., Сумского уезда.
6 июня 1878 г.

Расскажу Вам вкратце, милый, дорогой мой друг, все, что было в Москве.

Я ехал из Браилова в очень тяжелом и грустном состоянии духа. Предстоявшее в Москве дело, ожидавшее меня свидание со многими лицами, из коих некоторые мне несимпатичны, а между тем по обстоятельствам приходится обращаться дружески, шум и духота города и, наконец, сожаление о Браилове, все это меня очень расстраивало, пугало и тревожило. Меня встретил брат Анатолий. Я был поражен его бледностью, усталым и болезненным видом. Итак, первое впечатление было грустное. Оказалось, что брат, очень нервный от природы, страшно себя истомил во время последних месяцев своею неудачною страстью к А. В. [Панаевой], а также непомерной работой как в суде, так и по одному частному делу. Он взялся быть комиссионером какого-то инженера Фалмцена, посуливщего ему золотые горы. Ему приходилось работать за двоих в суде, ибо он взял на себя дела одного больного товарища, да еще, вдобавок, хлопотать по делам своего инженера. Все это, в соединении с неудачами сердечного дела, истомило его до последней степени. Я остановился в гостинице Мамонтова, так как в консерватории все уже заперто, а у Рубинштейна, предлагавшего мне жить с братом у него, мне не понравилось.

На другой день утром Рубинштейн праздновал день своего рождения, и я у него завтракал. Пришлось встретиться с большим количеством людей, на разные лады ахавших и удивлявшихся моей особе. Я был всем этим взволнован до крайности, тем более, что в пять часов мне предстоял разговор с секретарем консистории.

Секретарь этот ожидал нас, так как брат еще накануне ездил в консисторию, и тот сам предложил ему свидание вне своего места служения. Вот что нужно для развода: 1) прежде всего требуется разыграние одной очень тяжелой, цинически грязной, хотя и коротенькой сцены, о подробностях которой писать Вам неудобно; 2) один из свидетелей должен написать известной особе письмо с изложением подробностей сцены; 3) известная особа подает просьбу к архиерею о расторжении брака; 4) недели через две обоим супругам из консистор и выдается указ; 5) с этим указом оба супруга должны явиться к приходскому священнику и подвергнуться его уве-

щанию; 6) через неопределенное число дней и недель после получения из синода разрешения на начатие дела консистория вызывает обоих супругов и свидетелей на суд по форме (так называется процедура допрашиванья супругов и свидетелей); 7) через несколько времени супруги опять вызываются для прочтения показаний и подписи под протоколом; 8) наконец потом, опять чрез неопределенный срок, супруги вызываются для объявления им решения. Кроме того, есть еще несколько формальностей.

Теперь, чтобы объяснить Вам, к какому я пришел решению, нужно еще сказать следующее. Известная особа в письме, где она изъявляет согласие на развод, написала мне целый ряд феноменальных глупостей, из коих я усматриваю, что она совершенно не понимает, в чем дело. Она принимает на себя роль несчастной жертвы, насильно доведенной до согласия. Между тем, во все время ведения дела она должна принять совершенно противоположную роль, т. е. в консистории она должна быть обвинительницей, желающей во что бы то ни стало расторгнуть брак. Малейшая неточность в роли может повести к очень плачевным результатам. Итак, необходимо в точности предупредить ее, в чем будет состоять роль, нужно ей объяснить, что разные формальности суть именно формальности, и только когда получится полное убеждение в том, что она поняла свое дело, можно приступить к процедуре. А так как известная особа обнаружила совершенно непостижимое отсутствие понимания, то требуется, чтобы прежде всего кто-нибудь взялся подробно и точно научить ее, что она должна говорить и как в каком случае держать себя. Итак, нужно время, нужно жить все лето в Москве.

Узнав это, я тотчас же решил отложить дело до моего окончательного возвращения в Москву осенью. Нет сил жить среди этой ужасной духоты, с совершенно расстроенным братом, который и меня не согласился бы ни за что покинуть и оставаться не должен в Москве ни единого дня. Ему нужно скорей, как можно скорей в деревню, на покой, на отдых, а отпуск его продолжится всего до 20 июля. Еще если б я мог в точности знать, в какие сроки будут совершаться все вышеисчисленные мною фазисы дела, я бы, может быть, решился остаться в Москве, но ввиду этой неопределенности, этой неизвестности проживать в городе летом, испытывать несколько месяцев сряду все, что я едва мог вынести в течение двух суток, на это у меня нехватило решимости. Я решился ехать. Раз принявши это решение, я, тем не менее, сделал все возможное,

чтобы время не пропало даром, а так как прежде всего нужно предпринять трудную задачу о б у ч и т ь известную особу ее роли, то я послал отыскать ее, не для того, чтобы с ней видеться лично (это невозможно, да и было бы бесполезно), а чтобы поручить кому-нибудь из приятелей переговоры с ней. Оказалось, что ее отыскать довольно трудно. Свою квартиру она переменила, на новой дворник сказал, что она уехала на неопределенное время куда-то на дачу; у ее знакомых, через которых прежде происходили наши письменные сношения, сказали, что местопребывание ее неизвестно. Нарочно ли она скрывается, случайно ли это, не могу решить. Юргенсон был так обязателен, что взял на себя работу подготавливанья ее. Ему объяснено во всей подробности, в чем состоит процедура дела, и он с величайшей готовностью согласился на переговоры с ней, а покамест он займется отыскиваньем ее.

Как отвратительна, как цинична откровенность, с которой чиновник консистории говорил со мной о деле, об этом Вы не можете себе составить и приблизительного понятия. Консистория есть еще совершенно живой остаток древнего сутяжничества. Все делается за взятки, традиция взяток до того еще крепка в этом мирке, что они нисколько не стыдятся прямо назначать сумму, которая требуется. Для каждого шага в деле имеется своя такса, и каждая взятка тотчас же делится между чиновниками, писцами и попом-увещателем.

Простите, друг мой, что я не писал Вам в Петербург. Во-первых, я боялся, что письмо не застанет Вас; во-вторых, Вы не можете себе представить, что за ад было это трехдневное пребывание в Москве! Оно показалось мне тремя столетиями. Когда я сел в вагон, то почувствовал такое облегчение, такое блаженство, как будто меня выпустили из смрадной, тесной тюрьмы. Сюда мы поехали вследствие усиленной просьбы хозяина моего, некоего г. Кондратьева, моего старого и хорошего друга, у которого в прежнее время я гостил каждое лето. Здесь я написал всего «В а к у л у» и много других вещей. Мы останемся у него три дня и в конце недели поедем в Каменку. По всей вероятности, поспадем туда как раз в то время, когда Вы будете уже в милом Браилове. Кланяйтесь каждой травке и каждой песчинке этого чудного места. Никогда не забуду я незабвенных четырнадцати дней, проведенных в Браилове!

Здесь хорошо, в особенности потому, что в саду течет милая речка П с е л, но лес далеко.

Будьте здоровы, мой милый и добрый друг. Буду ждать Вашего письма в Каменке.

Ваш П. Чайковский.

157. *Чайковский — Мекк*

[illegible]

Сегодня. Вы должны находиться уже в Браилове, дорогой друг мой. Живо воображаю себе Вас в стенах милого дома, где я прожил несколько дней так невыразимо приятно. Дни эти теперь кажутся мне таким отдаленным прошлым, как будто это было несколько лет тому назад, хотя тем не менее со времени моего отъезда не прошло и двух недель. Поездка в Москву и теперешнее мое времяпрепровождение составляют такую яркую противоположность с браиловскою жизнью! Здесь живет огромное семейство, много шума, много всякой суеты. И род жизни совсем особенный. В лес никогда не ездят и вообще ограничиваются пределами усадьбы; только я с братом составляем исключение. После обеда мы совершаем отдаленные прогулки по окрестностям, впрочем не особенно красивым. Места здесь низкие, болотистые, иногда поросшие редким дубовым лесом. Огромное достоинство самой усадьбы состоит в том, что рядом с домом, в самом саду течет милая речка Неся, представляющая превосходное купанье. Я тем более им наслаждаюсь, что в Каменке никакого купанья нет.

Сегодня мы едем в Каменку, где меня ожидает много писем и в том числе, надеюсь, и Ваше. О Модесте я не имею известий с самого его отъезда из Каменки.

Поездка в Москву осталась во мне каким-то неприятным, тяжелым воспоминанием. Этому способствует не только то, что пришлось серьезно говорить о довольно неприятных подробностях предстоящего мне дела, но и все остальное. Между прочим, не могу скрыть от Вас, что мне н е п р и я т н ы были встречи с Рубинштейном. Глухое чувство н е с и м п а т и и, которое гнездилось во мне, успело вырасти в довольно мучительное ощущение н е п р и я з н и. Трудно мне подвергнуть анализу это психологическое явление. Оно выразилось особенно осязательно в наших tête-à-tête. Когда мы оставались с ним с-глазу-на-глаз, происходило что-то неловкое. Я читал в его глазах, что он весьма мало расположен ко мне и что только обстоятельства заставляют его носить маску приязни. Он не может мне простить, что я отвергнул делегатство, которое мне, с его точки зрения, следовало принять, как неизреченное благодеяние. Вообще он не любит людей, которые не считают себя облагодетельствованными им. Он хотел бы, чтобы все окружающие его считали себя его креатурами... Ну, словом, я ему неприятен, — этого он не мог или не сумел скрыть от меня.

Вообще, оттого ли, что это было летом, когда Москва так [illegible], пыльна и противна; оттого ли, что воспоминания о моих нравственных терзаниях в начале прошедшей осени еще слишком живы; оттого ли, что пришлось на каждом шагу играть маленькую неизбежную комедию при встречах с лицами, которые напрашивались на изъявления радости, но только двое с половиной суток, проведенных там, были для меня как два мучительных месяца. Между тем, я люблю Москву и нигде, кроме Москвы, по крайней мере, ни в каком другом городе, жить бы не хотел.

Меня (вследствие чрезмерной мнительности) немножко беспокоит мысль, чтобы Вы не приняли за отсутствие мужества и силы характера мое бегство из Москвы. Сумел ли я в моем последнем письме достаточно ясно изложить причины, почему я решился отложить зеленые дела до осени? Уверяю Вас, дорогая моя, что я вытерпел бы все неприятности летней жизни в Москве и всего остального, если бы мог быть уверен, что известная особа не затянет и не запутает дела. Мне тяжело было, в виду неизвестности и неопределенности, зацикливаться в Москве.

Толя меня беспокоит. У него каждый день болит голова до самого вечера. Он чувствует общую слабость, очень бледен и худ. Это не что иное, впрочем, как мертвое состояние и малокровие. Деревня поправит его. Следующее письмо напишу к Вам из Каменки. До свиданья, неоцененная моя.

Ваш П. Чайковский.

158. *Чайковский — Мекк*

Киев.
12 июня 1878 г.

Пишу Вам под грустным впечатлением, друг мой. Сейчас прочел в газетах известие о столкновении воинского поезда с товарным на Елецкой железной дороге, причем есть убитые, тяжело раненые и т. д. Нужно Вам сказать, что во время моих последних переездов я встречал большое множество воинских поездов. Признаюсь Вам, что вид этих бедных людей, везомых, как бараны, в товарных вагонах в течение нескольких дней, плохо кормимых и плохо одетых, каждый раз возмущал меня. Со многими из них я разговаривал и не мог без злобы слушать описания их путешествия. Один резервный полк, встреченный мною в Конотопе, ехал уже девятый день. Есть им приходится один хлеб, да и то если случится найти на станции продавцов.

Теснота и духота в вагонах невыносимая. Куда, зачем их везут, об этом они ничего не знают и невыносимо скучают от безделья и однообразия. Но мало этого! Пьяные машинисты наталкивают их на встречные товарные поезда, и люди гибнут ужасно и бесполезно! Не менее грустны и политические известия. Никогда еще наше любезное отечество не находилось в столь унизительном положении.

А Киев все-таки чудный город. Я провожу здесь сутки отчасти потому, что нужно было сделать кое-какие закупки и в том числе нотной бумаги, отчасти потому, что люблю Киев, так же как и Вы. Вчера утром был на Подоле, в Братском монастыре, на архиерейской службе и вынес чрезвычайно сильное впечатление и от чудной церкви и от необыкновенно благолепной службы. Когда присутствуешь на подобного рода службе, понимаешь всю неизмеримую силу религии для народа. Она заменяет народу все то, что мы находим в искусстве, в философии и науке. Она дает возможность бедному народу от времени до времени возвышаться до сознания своего человеческого достоинства. Правду сказал деист Вольтер, что если бы не было религии, il faudrait l'inventer *.

Вечером сначала гулял по царскому саду и любовался видом на Днепр. Потом был в «Châteaux des fleurs», где по случаю праздника было очень оживленно и людно. К сожалению, встретил множество знакомых, преимущественно из музыкальных сфер. Их разговоры, их сплетни, их дикие суждения о музыке, их наглые и бесцеремонные расспросы, все это мне показалось невыносимо скучным и противным.

Сегодня едем в Каменку, где ожидаю писем.

Вы в Браилове, дорогой друг мой! Завидую Вам. Кланяйтесь ему. Получили ли Вы пьесы?

Ваш П. Чайковский.

159. Мекк — Чайковскому

Браилов,
14 июня 1878 г.

Мой милый, бесценный друг! Прежде всего благодарю Вас тысячу раз от самой глубины сердца за манускрипт, оставленный Вами для меня в Браилове. Милее и дороже этого для меня ничего нельзя было придумать. Я еще не играла этих пьес со скрипкою, потому что мой настоящий скрипач (Пахульский)

* надо было бы ее выдумать

близорук и не может играть с моего пюпитра; поэтому он переписывает скрипичную партию, но она еще не готова. Но, насколько я могла играть одна, мне кажется, что они все мне очень понравятся. «S c h e r z o» мне очень нравится,— печальная шутка, и потом вторая тема, такая певучая, такая изящная. «Mélodie», кажется, также прелестна, грациозна. Вообще Ваши сочинения, мой милый друг, отличаются необыкновенным изяществом, так что, если даже и встречаются какие-нибудь обыкновенные вещи, то они всегда сказаны с таким достоинством, что уже перестают быть обыкновенными. Аккомпанемент в «Méditation» мне не кажется очень трудным, да я вообще не люблю, когда аккомпанемент слишком прост, он тогда неинтересен, а я в музыке главным образом требую двух вещей: з а н и м а т е л ь н о с т и (интересности) м ы с л и и я с н о с т и е е и з л о ж е н и я. Ваш скрипичный концерт приводит меня в восторг каждый раз, как я его играю, а играла я его вчера. Знаете, Петр Ильич, хорошею проверкою ума в сочинении может служить такое впечатление, что иное сочинение проиграешь, и оно понравится, но затем скоро надоедает,— это значит, что в нем нет ума, а только красивая внешность. А зато другое если не особенно понравится по первому разу, то заинтересует, и затем что дальше, то нравится больше и уже никогда не надоедает; это есть умное и изящное сочинение, одним словом, это есть Ваши сочинения, которые к тому же еще отличаются самобытностью, характерностью и, конечно, великим знанием дела, что и делает их так интересными, привлекательными и необыкновенными. Есть еще genre в музыке, это тот, в котором весьма мало ума, но очень много страсти. Этот тоже не надоедает, потому что всегда действует на нервы; это рубинштейновский genre. Возьмите его A-moll'ную сонату для скрипки с фортепиано, Andante из trio, посвященного Апраксиной, маленькое Allegro appassionato для фортепиано (D-moll),— что за беспокойные, мучительные страсти слышны в них, хотя со стороны ума они весьма обыкновенны. У Шумана есть и ум, и страсть, и глубокое знание науки, но у него нет Вашей своеобразности, характерности. Но однако уж я как попадаю на музыку, так оторваться от нее не могу. Я Вам надоедаю, мой дорогой.

Из музыкантов со мною здесь есть только Пахульский, то он и перепишет три Ваши пьесы, и, как будут готовы, я Вам тотчас пришлю их, друг мой. Данильченко я не взяла с собою потому, что предполагала недолго пробыть в деревне, а за границей он мне бесполезен.

Что касается Вашего решения по поводу известного дела, т. е. отсрочки его до осени, то я вполне его одобряю, мой дорогой

друг, и очень рада, что Вы так решили потому что теряет лето, в особенности при таком здоровье, как Ваше, и при таком состоянии, как Анатолия Ильича, никак не следует. Только летом и можно запастись здоровьем для зимы, и не дай боже никому проводить его в городе, а конечно, это будет гораздо удобнее сделать все осенью, когда и без того Вы должны быть в Москве. Я боюсь, что Вам предстоит еще много хлопот с известною особою, потому что мне кажется, что она не без умысла скрывается. Но да это все ничего — обойдется, и, бог даст, все устроится.

Что это бедный Анатолий Ильич так распрелился? Ну, стоит ли от любви, которая ни к чему еще не привела, никакого счастья не доставила? Вы бы посоветовали ему, милый друг, совсем оторваться от этой фантазии, перестать видеть аб[illegible] лютно, тогда пройдет: «разлука уносит любовь», такую-то [illegible] особенности, не действительную, а мечтательную. Пусть лучше побережет свое здоровье для будущего семейного счастья, которое придет непременно в свое время и для которого здоровье так важно. Стоит ли тратить себя на мелочи, когда крупное впереди? Не позволяйте ему также работать через силу, это математически неверный расчет. Жаль мне его, но я думаю также, что он поправится в деревне; жаль только, что отпуск его так короток. Мое пребывание в Браилове зависит от многих причин и от успешности занятий Коли, которому предстоит переэкзаменовка, и от времени разрешения моей Саши, которая осталась теперь в Женеве и пробудет там до тех пор, пока оправится. Сердцу матери никогда нет покоя; мое теперь в тревоге и за Сашу и за Лиду (Левис), которая также ожидает разрешения в деревне около Риги, у матери ее мужа. Тревожит меня также и Колина переэкзаменовка. В Браилове для меня теперь прибавилась еще одна прелесть, это воспоминание о Вас, мой неисправимый друг. В Вашей комнате, на балконе, где Вы пили чай, на скамье, где Вы сидели,— везде, везде я невидимо вижу Вас, милый, близкий и дорогой мне человек. Сколько общего есть между нами!

Как я рада, что Вы теперь в Каменке. Мне было скучно, пока Вы были в Харьковской губернии. Как здоровье Вашей племянницы, прошел ли ушиб без последствий? У меня вчера здесь Сашок вывернулся из лодки в воду вместе со своим репетитором, но обошлось благополучно. У меня тут есть англичанин, гувернер Коли и Саши, очень глупый и смешной джентльмен, с большими претензиями и тенденциями, как все англичане; потом француз, гувернер Макса и Маши, очень образованный и симпатичный молодой человек; потом репетитор Коли и Саши,

русский студент Петербургского университета, и Пакульский, который учит Коле на скрипке, Сашеньке на фортепиано и играет со мною с фортепиано. Этот также очень приличный юноша. Да, я не сказала ничего о студенте. Этот, уральский казак, очень неглупый и научно образованный юноша, но очень уж застенчив, со внешности мужиковат, зато и никаких претензий не имеет. Вот Вам весь мой наличный персонал. Юля в восторге, что находится в Браилове. Сын его очень любит; гребет сама на лодке, ездит верхом (очень кокетливо, надо и этому прибавить), стреляет в цель, поет, но при всем этом делает очень много дела: дает немецкие уроки Коле, Саше, Соне, Максу и Мише, занимается комнатным хозяйством, много работает, ведет корреспонденцию с сестрами и братом и вообще трудится много. Погода у нас очень дурная. Третий день, что мы приехали, все дождь идет. Мерзель очень много о Вас вспоминает, и с большою нежностью. Какова свекловица в Каменке? У меня до сих пор и свекловица и пшеница великолепная, но страшно, что пшеницу поест кокодеж.

До свидания, мой милый, хороший друг. Всегда нетерпеливо жду Ваших писем. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

P. S. Я своего мраморного молодика, по Вашему совету, свекловицу открыла от зелени, и действительно так лучше. Как мне жаль, что я не могу Вам показать, какие великолепные цветы стоят у меня на террасе, в полном цвету, с восхитительными гроздовыми большими цветами.

160. Чайковский — Мекк

Каменка.
16 июня 1877 г.

Дорогой и милый друг мой! Уже четвертый день я опять в Каменке, в своей хатке, которая на этот раз показалась мне очень милой вследствие множества цветов, успевших вырасти в мое отсутствие в садике. Я встречен был на станции племянниками, сообщившими мне неожиданное и неприятное известие. Сестра была тяжело больна. Я нашел весь дом погруженный в мрачную тишину по случаю этой болезни. Больная уже несколько дней лежала в жестоких страданиях, не принимая никакой пищи и в состоянии крайнего расслабления. Сестра давно уже страдает от печени, и было несколько сильных припадков, но такого ужасного еще никогда не было. Первый

день моего пребывания здесь был мучительно скучен и тягостен, но со следующей же ночи ей стало легче, и затем облегчение шло crescendo * до такой степени, что вчера мы почти целый день все провели в ее комнате, разговаривая с ней. Болезнь эта состоит в том, что в печени образуется маленький к а м е н ь, который, наконец, выходит, и тогда начинается выздоровление. Для радикального леченья нужны карлсбадские воды, и она их пьет уже второй год сряду, но теперь является предположение, что не лучше ли ей поехать в Карлсбад и там на месте пить воды и выдержать полный курс. Однакож ничего еще не решено, а покамест нужно, чтобы она оправилась от припадка. Как бы то ни было, но теперь всеобщий упадок духа у нас сменился веселым и радостным, и с сегодняшнего дня я уже приступил к своим занятиям, т. е. к переписке начисто сонаты.

Теперь о деле.

Как Вам уже известно, оно остановилось на том, что Юргенсон взялся отыскать и з в е с т н у ю о с о б у и приготовить ее к той роли, которую она должна выдержать во время производства дела. Сегодня я получил от него длинное письмо. В первой части его он сообщает, что известную особу невозможно найти. Во второй он пишет, что она наконец отозвалась и что он был у нее. Дальнейшие подробности я выпишу из письма Юргенсона: «Через несколько минут вышла А[нтонина] И[вановна], и мы начали разговор о посторонних делу вещах. Я наконец прямо изложил, в чем дело. Говорили мы много, и А[нтонина] И[вановна] иногда входила в азарт и гневное воодушевление. Вначале она приняла меня за одного из агентов бракоразводного дела и решительно объявила, что ни с кем, кроме мужа, говорить не хочет, выражала сильное неодобрение тебе, бранила Анатолия и т. д. Разговор вертелся буквально, как белка в колесе, и мы все опять оказывались на исходном пункте. Не стану тебе передавать подробности, но я получил полное убеждение, что с нею каши сварить нельзя: она ни за что не хочет «л ж и» и «н и з а к а к и е б л а г а в м и р е н е б у д е т л г а т ь». Я пробовал ей объяснить, что «л ж и» не будет, ибо будет доказана твоя неверность, но она невозмутимо спокойно ответила: «а я д о к а ж у п р о т и в н о е». Она твердо стоит на одном: пускай явится сам, и мы с ним обойдемся без о к р у ж н о г о с у д а **. Она высказала предположение, что «в с е э т о б ы л о з а д у м а н о е щ е д о с в а д ь б ы». Я

* усиливаясь

** Никаким образом нельзя вразумить ее что дела о разводах ведутся консисторией, а не окружным судом. (прим. Чайковского.)

робко заметил, что предположение это неверно, ибо зачем это могло быть нужно? Она возразила, что не знает зачем, но все это интриги Анатолия, Рубинштейна, твоей сестры» и т. д.

Итак, вот что пишет Юргенсон. Что теперь делать? Посоветуйте и научите, милый друг мой. Мое мнение следующее. При феноменальной непроходимой глупости известной особы щекотливое дело развода вести с ней нельзя. Это будет возможно только в том случае, когда по каким-либо причинам она сама захочет его, для того чтобы выйти замуж или для другой какой-либо цели. В настоящее время в ней утвердилась мысль, что я, в сущности, влюблен в нее и что злые люди, т. е. брат Анатолий, сестра и т. д.,—виновники нашего разрыва. Она убеждена, что я должен вернуться и пасть к ногам ее. Вообще, это такое море бессмыслия, что решительно нельзя взяться за дело. Уж если она совершенно серьезно в письме ко мне утверждала, что развод был задуман ее врагами еще до свадьбы, то согласитесь, что путем убеждения ничего от нее не добьешься. Если посредством давления на нее и добиться, наконец, ее согласия начать дело, то нельзя быть уверенным, что она не компрометирует его во время различных щекотливых процедур, без которых обойтись нельзя.

Итак, с грустью, но с полной ясностью я вижу, что мои мечты тотчас же добиться свободы тщетны.

Вот что я намерен сделать. Я напишу ей, что те десять тысяч, которыми я располагал, уже теперь не в моем распоряжении, ибо они были даны мне с условием, что дело начнется тотчас же, а теперь, ввиду ее несогласия подчиниться формальностям процесса, зять мой не может ждать и должен употребить деньги на другое дело. Таким образом, если когда-нибудь она сама захочет развода, я буду готов всегда устроить его, но уже без уплаты десятитысячной суммы. Ежемесячную уплату я согласен производить попрежнему, но с тем, чтобы она жила не в Москве, а в каком-либо другом городе. Условие это для нее неотяготительно, так как у нее нигде нет друзей и со всеми родными она в ссоре.

Теперь, следовательно, дорогая моя Надежда Филаретовна, в тех десяти тысячах, которыми Вы хотели снабдить меня, я уже более не нуждаюсь. Но вот что я хотел просить у Вас. В том длинном письме от известной особы, которое я получил в Браилове, и в других письмах она говорила, между прочим, что ей необходимо в августе внести куда-то сумму в несколько тысяч рублей, в противном случае она лишается права на наследство своего отца. Она просила меня в том письме, чтобы вместо трат на окружной суд (!) я бы взял на себя

уплату этих денег. Таким образом, сверх десяти тысяч она хотела еще получить довольно значительную сумму денег. Нельзя ли будет теперь к той тысяче рублей, которую Вы мне прислали на ведение дела, прибавить недостающую сумму того, что ей нужно (я узнаю, сколько ей нужно), и выдать ей все это в виде ежемесячной пенсии, уплаченной за несколько лет вперед, взяв с нее письменное обязательство, что она не будет жить в Москве? Если не ошибаюсь, сверх имеющейся у меня тысячи, нужно будет прибавить от двух до трех тысяч.

Простите, что у меня хватает смелости просить Вас об этом. Я решился на это 1) потому, что десятитысячной единовременной выдачи уже больше не нужно, и 2) дабы посредством этого отдалить от себя на несколько лет всякие сношения с ней.

Итак, мои мечты вполне снять с себя бремя тяжелой цепи разбились о непостижимую тупость и глупость известной особы. Остается одно: по возможности оградить себя от встреч с ней и от всякого напоминания о ней. Можно надеяться, что когда-нибудь она наконец поймет, что ей развод так же нужен, как и мне. Но тогда уже никакой платы за это она не получит. Очень неприятно и тяжело навевать на Вас тоску и скуку подробностями неудавшегося дела. Буду однакоже с нетерпением ожидать Вашего ответа. До свиданья, друг мой.

Ваш П. Чайковский.

Тысячу благодарностей за «Русскую старину».

161. Чайковский — Мекк

Каменка.
17 июня 1878

Вчера получил браиловское письмо Ваше, бесценный и добрый друг мой. Вы не можете себе представить, до чего мне приятно быть знакомым с окружающей Вас обстановкой! Это ощущение совершенно новое для меня. Все подробности Браилова поразительно ясно сохранились в моей памяти, и я живо воображаю Вас и в Вашей спальне, и в кабинете, и на различных пунктах сада, и в музыкальной комнате. О, милое, незабвенное Браилово! Кстати. Напишите мне, дорогая моя, нельзя ли будет мне в конце августа хоть дня на три опять побывать там. Мне бы ужасно хотелось этого. Но само собой разумеется, что это будет возможно, если после Вашего отъезда за границу никого не останется в Браилове. Вообще, если есть этому малейшее препятствие, откажите мне без всякой церемонии.

В тот день, когда я Вам послал последнее письмо, я написал известной особе в том смысле, как сообщал Вам, т. е. что предоставляю ей принять на себя инициативу развода, когда ей заблагорассудится, и заранее даю ей согласие, но той суммы, которую я хотел дать ей теперь, она уже никогда не получит. Ждать, пока она заблагорассудит принять все мои условия и дать согласие начинать дело, я не могу. Разрешивши таким образом вопрос, я боялся, что впоследствии, т. е. на другой же день, раскаюсь в принятом решении. Однакож прошло уже два дня, и, спокойно разобравши дело, мне кажется, что я поступил благоразумно. В самом деле, по всему видно, что она всячески тормозила бы дело, и кто знает, что бы она могла наделать в консистории, если б вздумала в самом деле доказывать, что моя неверность ей ложная. Вообще при обнаруженной ею непостижимой глупости странно было начинать дело теперь, когда она прониклась мыслью, что согласие ее на развод есть какое-то неизреченное благодеяние с ее стороны.

Пусть поймет, что для ее собственного блага нужен развод; пусть наши роли переменятся, и она вследствие каких-нибудь новых обстоятельств пожелает сама разделаться со мной; пусть просит моего согласия как милости. Только в таком случае можно быть уверенным, что она не компрометирует дело своей глупостью, переходящей за границу возможного и делающей опасным ведение с ней такого дела, где с обеих сторон нужна осторожность, такт и полное понимание своих ролей. Знаете ли,что, уже дав мне согласие, она писала венчавшему нас священнику, что на его обязанности лежит уговорить меня возвратиться к стопам ее и жить опять с ней? Значит, в сущности, она несогласна теперь на развод, а играет какую-то непостижимую комедию. Итак, нужно было показать ей, что подчиняться ее вздорным капризам я не намерен. Очень грустно, что полная свобода, о которой я мечтал, в настоящее время неосуществима. Что делать! Остается предпринять меры к временному ограждению себя от ее вмешательства в мою жизнь. Вместе с тем, хотелось бы, чтобы она не имела ни малейшего основания обвинять меня в каких-либо материальных утратах вследствие замужества. Вот почему я и хотел бы дать ей возможность внести ту сумму, в которой она нуждается, по ее словам, для получения наследства, и вместе с тем на несколько лет обеспечить себя от всяких сношений с ней. Разумеется, нужно будет при этом посредством разных формальностей получить в руки документ, доказывающий, что она удовлетворена вполне и на столько-то времени.

Простите, ради бога, друг мой, что я возвращаюсь все к этому делу. Мне всегда очень больно говорить о нем, ибо всегда является убийственный вопрос: «З а ч е м т ы э т о с д е л а л?». Утешение, что я сделал это в припадке ипохондрии, умопомешательства и т. д.,— плохое утешение! Как бы то ни было, нужно поправлять дело, и тут опять без Вашей помощи обойтись нельзя. Успокаиваю себя мыслью, что две-три тысячи, ценою которых я получу временную и кажущуюся свободу, все-таки меньше десяти тысяч. Как Вы ни добры и как Вы ни богаты, а все-таки, чем больше можно сократить Ваши траты, тем лучше. Итак, кончаю и надеюсь, что долго уже не буду возвращаться к этому грустному предмету. Простите меня, что, не дождавшись Вашего отзыва, я решился письмом к известной особе разрешить дело. Хотелось поскорей разрушить ее иллюзию, что мое благополучие находится в зависимости от ее самодурничанья.

Здоровье сестры улучшается с каждым часом. Через недели полторы мы, вероятно, переедем в В е р б о в к у, именье моего зятя, находящееся в нескольких верстах отсюда. Я очень рад этому перемещению. Каменка, которую я никогда не любил, теперь, после Браилова, кажется мне такой непривлекательной, жалкой, безотрадной... Непосредственное соседство с жидами, отсутствие вблизи леса, жалкий сад, к которому я питаю такое отвращение, что никогда не заглядываю в него, вообще полное отсутствие прелестей природы, все это делает для меня пребывание в Каменке невеселым, и если б не дорогие люди, среди которых я здесь живу, то я бы и дня здесь не мог прожить. В е р б о в к а не представляет никаких особенных красот, но это, по крайней мере, настоящая д е р е в н я; в ней воздух чище, в ней привольнее и меньше народу, тише и покойнее.

Анатолий чувствует себя гораздо лучше. Он повеселел, окреп, но нервы его все-таки очень расшатаны. При каждой малейшей малости он должен бороться с собой, чтоб не впасть в истерику. Так странно видеть такую слезливость в молодом человеке, очень сильно, крепко и мужественно сложенном. Но нет никакого сомнения, что, несмотря на его необычайную мнительность, вследствие которой он воображает в себе зачатки всевозможных болезней, он совершенно здоров. Все это одни нервы. Я сообщил ему о сочувственных словах Вашего письма, относящихся к нему, и скажу без преувеличения, что его они д о с л е з тронули. Вы и не подозреваете, вероятно, друг мой, о том культе к вашей личности, которым преисполнены мои братья. Модест пишет мне очень часто. Его отношения к m-me Конради нахо-

дятся в наилучшем состоянии. En somme * он доволен. В июле, может быть, встретится возможность приехать ему сюда одному, без Коли. Это будет для него превосходно. Как ни мил его воспитанник, но нельзя себе представить, до чего утомительно дело воспитания глухонемого, хотя и такого умного ребенка.

Племянница моя, наделавшая нам столько беспокойств в Киеве, уже давно выздоровела. Мне неловко входить в подробности этого обстоятельства, но скажу Вам, что она отделалась счастливо; ушиб этот мог причинить самые грустные последствия.

Кстати о племянницах и семействе сестры. Мне уже давно хочется послать Вам портреты этих милых существ. Те члены семейства, которые вместе со мной были в Киеве, снимались там, но до сих пор карточки еще не присланы. Когда они получатся, я пошлю Вам по экземпляру. Покамест посылаю Вам карточку старшей племянницы, шестнадцатилетней хорошенькой и умненькой Т а н и.

Свекловица в Каменке нехороша. Только на немногих местах она посоперничает с Вашей. В мае на нее напали жуки (называемые здесь с в и н ь е й), а теперь появилось величайшее бедствие — г у с е н и ц а. Принимают всевозможные меры. и многие поля отстояли, но далеко не везде. На огромном множестве плантаций был недавно п е р е с е в. Дождей здесь было ужасно мало. Вот уже несколько дней сряду по небу носятся дождевые и грозовые тучи и, как будто очарованные какой-то враждебной силой, льют дождь в окрестностях, но каменских полей избегают. На пшеницу, которая уродилась великолепно, тоже напасть. На ней сидят желтые жучки и выпивают сок из семени. В Вербовке у зятя его маленькое хозяйство идет благоприятнее. И бураки и хлеб хороши.

Я очень рад, что Марсель вспоминает меня. За его симпатию я отплачиваю ему не менее сильной. Вообще нет предела моей любви к Браилову и ко всему, что до него касается. Надеюсь, что все Ваши тревоги по поводу детей кончатся к лучшему. Не посоветуете ли Вы А л е к с а н д р е К а р л о в н е после разрешения переселиться в окрестности И н т е р л а к е н а? Там воздух лучше. Что касается Коли, то будьте уверены, что переэкзаменовку он выдержит. Когда переэкзаменовка назначена только по одному предмету, то опасности никакой нет, если он будет заниматься. Что милая Милочка, любит ли она Браилово?

До свиданья, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

---

* словом

162. Мекк — Чайковскому

1878 г. июня 22 (?) Браилов.

[*Начало письма не сохранилось*] же музыке столько простоты, благородства, достоинства, что мне захватывает дыхание от восторга, мне хочется обнять и прижать это сочинение... Что за божественное искусство музыка! Я сказала бы, что она может быть заменою счастья, если бы она не дразнила желать счастья!

Коснувшись музыки, я вспоминаю один предмет по части моих сообщений Вам своих музыкальных впечатлений. Я не знаю, милый друг, всегда ли Вы понимаете то, что я хочу выразить, так как я очень часто употребляю технические термины, не зная их технического значения, что может Вам казаться непонятным и даже, быть может, претенциональным и смешным,— то я и хочу объяснить Вам этот предмет и просить Вас стать на мою точку зрения и права: я музыки не знаю и не позволяю себе употреблять научных терминов в их техническом значении, но когда эти слова бывают мне нужны для определения места в сочинении или выражения моей мысли и т. п., то я считаю себя в полном праве употреблять их в их общем значении. Когда я говорю: тема, разработка, форма, мотив, интродукция, то я понимаю эти слова и употребляю их только в общем смысле. Короче сказать, для того чтобы пополнять мой музыкальный язык, надо перестать быть музыкантом, о чем я Вас усерднейше прошу, мой милый друг. Тогда Вы будете, я надеюсь, все понимать, что я хочу сказать, и Вам тогда не покажется ни тенденциозным, ни смешным то, что я скажу.

Теперь расскажите мне, пожалуйста, дорогой друг мой, как это Вы сочиняете; меня ужасно интересует процесс творчества. Что первое Вам приходит в голову: мелодия или гармония, или мелодия с гармониею вместе? Как Вы набрасываете Ваши эскизы? Что Вы пишете цифрованным басом? Мне бы очень хотелось видеть такой эскиз. Отступаете ли Вы в Ваших сочинениях от принятых форм? Петр Ильич, я слыхала, что нехорошо строить мотив на одних гармоничных нотах, а мне кажется это неверно. У Мендельсона это встречается очень часто, и как красиво, между прочим, в его E-moll'ном квартете.

Первая часть

идет так, и какая прелесть этот квартет! У Глинки также много мотивов такого настроения. Когда Вы сочиняете для оркестра,

Вы замышляете разом с инструментовкою свою мысль? При операх и симфониях приходит ли Вам в голову сперва сюжет для них, и потом Вы пишете музыку, или сперва музыка является в голову? [*Конец письма не сохранился.*]

163. Чайковский — Мекк

Каменка,
24 июня 1878 г.

Получил Ваше письмо, дорогая Надежда Филаретовна, и спешу ответить на него. Вы хотите знать процесс моего сочинения? Знаете ли, друг мой, что на это отвечать обстоятельно довольно трудно, ибо до крайности разнообразны обстоятельства, среди которых появляется на свет то или другое сочинение. Но я постараюсь все-таки рассказать Вам в общих чертах, как я работаю.

Прежде всего я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида.

1) Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности.

2) Сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия Политехнической выставки мне заказали кантату[1] или когда для проектированного в пользу Красного креста концерта дирекция Музыкального общества мне заказала марш (Сербско-русский)[2] и т. п.

Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к ее появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и, наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее. Эти побочные обстоятельства, от которых зависит то состояние духа, в котором пишется сочинение, имеют громадное значение. Для артиста в момент творчества необходимо полное спокойствие. В этом смысле художественное творчество всегда объективно, даже и музыкальное. Те, которые думают, что творящий художник в минуты аффектов способен посредством средств своего искусства выразить то, что он чувствует, ошибаются. И печальные и радостные чувства

выражаются всегда, так сказать, ретроспективно. Не имея особенных причин радоваться, я могу проникнуться веселым творческим настроением и, наоборот, среди счастливой обстановки произвести вещь, проникнутую самыми мрачными и безнадежными ощущениями. Словом, артист живет двойною жизнью: общечеловеческою и артистическою, причем обе эти жизни текут иногда не вместе. Как бы то ни было, но для сочинения, повторяю, главное условие — возможность отделаться хоть на время от забот первой из этих двух жизней и всецело отдаться второй. Но я отдаляюсь в сторону. Возвращаюсь к своему подразделению.

Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется никакого, хотя бы малейшего усилия воли. Остается повиноваться внутреннему голосу, и если первая из двух жизней не подавляет своими грустными случайностями вторую, художническую, то работа идет с совершенно непостижимою легкостью. Забываешь все, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого волнения, решительно не успеваешь следовать за ее порывом куда-то, время проходит буквально незаметно. В этом состоянии есть что-то сомнамбулическое. On ne s'entend pas vivre *. Рассказать Вам эти минуты нет никакой возможности. То, что выходит из пера или просто укладывается в голове (ибо очень часто подобные минуты являются в такой обстановке, когда писать и думать нечего), в этом состоянии всегда хорошо, и если ничто, никакой внешний толчок не призовет к той, другой, общей жизни, оно должно выйти совершенством того, что в силах создать тот или другой художник. К сожалению, эти внешние толчки совершенно неизбежны. Нужно итти на службу, зовут обедать, пришло письмо и т. д. Вот почему так редки сочинения, которые во всех частях уравновешены по количеству музыкальной красоты. Отсюда являются швы, приклейки, неровности, несоответствия.

Для сочинения второго разряда иногда приходится себя настраивать. Тут весьма часто приходится побеждать лень, неохоту. Затем бывают различные случайности. Иногда победа достается легко. Иногда вдохновение ускользает, не дается. Но я считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Ждать нельзя. Вдохновение это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают ее. Быть может, оттого

* Не чувствуешь, что живешь.

и не без основания обвиняют русскую народность за недостаток оригинального творчества, что русский человек л е н и в par excellence*. Русский человек любит отложить; он по природе талантлив, но и по природе же страдает недостатком силы воли над собой и отсутствием выдержки. Н у ж н о, н е о б х о д и м о п о б е ж д а т ь с е б я, чтобы не впасть в д и л е т а н т и з м, которым страдал даже такой колоссальный талант как Глинка. Человек этот, одаренный громадной с а м о б ы т н о й с и л о й творчества, дожил если не до старости, то до очень зрелого возраста и написал удивительно мало. Прочтите его м е м у а р ы. Вы увидите из них, что он работал как дилетант, т. е. урывками, когда н а х о д и л о подходящее расположение духа. Как бы мы ни гордились Глинкой, но надобно признаться, что он не исполнил той задачи, которая лежала на нем, если принять в соображение его изумительное дарование. Обе его оперы, несмотря на удивительные и совершенно самобытные красоты, страдают поразительною неровностью, вследствие которой наряду с гениальными и нетленными красотами встречаются совершенно детски-наивные и слабые номера. Но что бы было, если б этот человек родился в другой среде, жил бы в других условиях, если б он работал как артист, сознающий свою силу и свой долг довести развитие своего дарования до последней степени возможного совершенства, а не как дилетант, от нечего делать сочиняющий музыку!

Итак, я теперь разъяснил Вам, что я пишу или по внутреннему побуждению, окрыляемый высшей и не поддающейся анализу силой вдохновения, или же просто р а б о т а ю, призывая эту силу, которая или является или не является на зов, и в последнем случае из-под пера выходит р а б о т а, не согретая истинным чувством.

Вы, надеюсь, не заподозрите меня, друг мой, в самохвальстве, если я скажу Вам, что мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным. Я могу сказать, что та сила, которую выше я назвал капризной гостьей, уже давно со мной освоилась настолько, что мы живем неразлучно и что она отлетает от меня только тогда, когда вследствие обстоятельств, так или иначе гнетущих мою общечеловеческую жизнь, она чувствует себя излишнею. Но едва туча рассеялась, — она тут. Таким образом, находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда я с любопытством наблюдаю за той непрерывной работой, которая сама собой, независимо от предмета разго-

* по преимуществу.

вора, который я веду, от людей, с которыми нахожусь, происходит в той области головы моей, которая отдана музыке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, т. е. отделываются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль, и стараешься удержать ее в памяти. Откуда это является,—непроницаемая тайна.

Теперь я Вам намечу процедуру моего писанья. Отлагаю это до п о с л е - о б е д а. До свиданья. Если б Вы знали, как мне трудно, но вместе и п р и я т н о писать Вам об этом предмете.

2 часа.

Пишу я свои эскизы на первом попавшемся листе, а иногда и на лоскутке нотной бумаги. Пишу весьма сокращенно. Мелодия никогда не может явиться в мысли иначе, как с гармонией вместе. Вообще оба эти элемента музыки вместе с ритмом никогда не могут отделиться друг от друга, т. е. всякая мелодическая мысль носит в себе подразумеваемую к ней гармонию и непременно снабжена ритмическим делением[3]. Если гармония очень сложная, то случается тут же, при скиццировании*, отметить и подробности хода голосов. Если гармония очень проста, то иногда ставлю один бас**, иногда отмечаю генерал-басные цифры***, а в иных случаях и вовсе не намечаю баса. Он остается в моей памяти. Что касается инструментовки, то, если имеется в виду оркестр, музыкальная мысль является окрашенная уже той или другой инструментовкой. Иногда однакоже при инструментации изменяется первоначальное намерение. Н и к о г д а слова не могут быть написаны после музыки, ибо как только музыка пишется на текст, то этот текст вызывает подходящее музыкальное выражение. Можно, конечно, приделать или подогнать слова к маленькой мелодии, но как только сочинение серьезное, то уже такого рода подбирание слов немыслимо. Следовательно, тот слух о «Ж и з н ь з а ц а р я», который Вы сообщаете мне, ложен. Точно так же нельзя написать симфоническое сочинение и потом подыскать ему программу, ибо опять-таки здесь каждый эпизод избранной про-

---

* Скиццировать — набрасывать эскиз.

** Бас — нижний голос в композиции, являющийся опорой (основой) гармонии.

*** Генерал-бас — способ обозначения аккордов при помощи цифр, написанных над или под нотированным басовым голосом.

граммы вызывает соответствующую музыкальную иллюстрацию. Этот период работы, т. е. скицированье, чрезвычайно приятен, интересен, подчас доставляет совершенно неописанные наслаждения, но вместе с тем сопровождается беспокойством, какою-то нервною возбужденностью. Сон при этом плох, про еду иногда вовсе забываешь. Зато приведение проекта в исполнение совершается очень мирно и покойно. Инструментовать уже вполне созревшее и в голове до мельчайших подробностей отделанное сочинение очень весело. Нельзя того же сказать про переписку начисто сочинений для фортепиано, для одного голоса, вообще небольших вещей. Это скучно иногда. Теперь я как раз занят подобной работой.

Вы спрашиваете, держусь ли я установленных форм? И да и нет. Есть такого рода сочинения, которые подразумевают соблюдение известной формы, например, с и м ф о н и я *. Здесь в общих чертах я придерживаюсь установившейся по традициям формы, но именно только в общих чертах, т. е. в последовании частей сочинения. В подробностях можно сколько угодно уклоняться, если этого потребует развитие данной мысли. Так, например, в н а ш е й симфонии первая часть написана с очень решительными уклонениями. Вторая тема, которая должна быть в родственном и притом мажорном тоне, у меня минорная и отдаленная. При возвращении главной партии в этой первой части вторая тема не появляется вовсе, и т. д. Финал в ней тоже состоит из целого ряда отступлений от традиционной формы [4]. В вокальной музыке, где все зависит от текста, и в фантазиях (например, «Б у р я», «Ф р а н ч е с к а») форма вполне самостоятельная. Вы спрашиваете о мелодиях, построенных на гармонических нотах **. Я могу самым утвердительным образом сказать Вам и примерами доказать, что посредством ритма и перестановки этих нот можно построить из них целые миллионы новых и красивых мелодических комбинаций. Впрочем, это относится к гомофонной музыке*** . В полифонной ****—строение этих мелодий вредит самостоятельности голосов. У Бетховена, Вебера, Мендельсона, Шумана и особенно В а г н е р а мелодии, построенные на нотах трезвучия, встречаются ежеминутно, и даровитый музыкант всегда сумеет

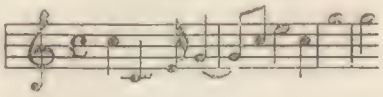
---

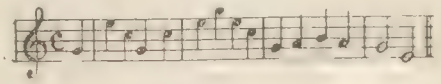
* Симфония обычно состоит из четырех частей: аллегро, анданте, скерцо и финала в быстром темпе.

** Гармонические ноты — ноты, входящие в состав той или иной гармонии.

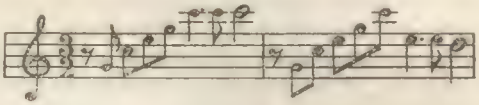
*** Гомофонная музыка: один из голосов ведет мелодию, остальные выполняют роль простого сопровождения.

**** Полифонная музыка: все голоса имеют самостоятельное значение.

изобрести новую и красивую фанфарную мелодию. Не помните ли Вы, как красива в «Нибелунгах» мелодия «меча»?

Я очень люблю одну мелодию В е р д и (очень даровитого человека) из оперы «В а l - m а s q u é».



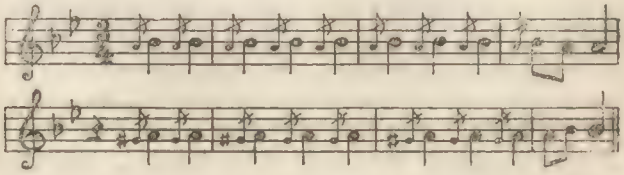
А какая прелестная свежая мысль первой части «Океана» Рубинштейна!



Если б поискать в памяти, я мог бы привести Вам бездну примеров, подтверждающих мое мнение. Вся штука в таланте. Для него нет ограничений, и из н и ч е г о он может создать красивую музыку. Что может быть пошлее следующих мелодий?

Бетховен, Седьмая симфония:

или Глинка, «Аррагонская хота»:



А посмотрите, какие дивные музыкальные здания построили из них Бетховен и Глинка!

Сестре, слава богу, теперь совсем хорошо, но, к сожалению, по семейным обстоятельствам ей нельзя ехать в Карлсбад.

Она будет пить воды дома. Толя совершенно ожил. Завтра мы переезжаем в Вербовку, но адрес остается прежний.

Милый, дорогой друг! Напишите мне, можно ли мне будет приехать в Браилов в конце июля, около 20-го числа. Кто из семейства едет с Вами за границу? Когда поедут Ваши мальчики? Что удобнее: приехать мне в Браилово в июле или в августе? Благодарю Вас стократ за помощь в деле о временном добытии себе свободы. Я Вам вскоре напишу размер цифры, способной удовлетворить известную особу. Если это возможно, то я желал бы, чтобы сумму эту Вы оставили до моего приезда в Браилове на попечении Марселя или управляющего. Если это неудобно, то в таком случае я Вам дам адрес мой для денежной корреспонденции. Благодарю Вас, милая, добрая, хорошая моя.

Милочке целую ручку и лобик. Скоро опять буду писать. Многого я недосказал сегодня.

Ваш П. Чайковский.

164. Чайковский — Мекк

Каменка,
25 июня 1878 г.

Это письмо служит продолжением вчерашнему. Вы выражаете опасение, что, говоря со мной про музыку, употребляете неправильно технические музыкальные выражения. Положа руку на сердце, скажу Вам, что если Вам и случалось, может быть, пользоваться техническими музыкальными терминами не вполне правильно, то Вы ошибались настолько мало, что я никогда этого не замечал и внимание мое никогда на этом не останавливалось. Ваши мысли и мнения я всегда понимал, даже если Вам и случалось неточно выразиться. Во всяком случае, смешного в Ваших музыкальных отзывах я никогда ничего не находил и, совершенно напротив, усматривал в них такое техническое знание музыки, которое и между самыми просвещенными дилетантами встречается как редкое исключение. Пожалуйста, милый друг мой, никогда не стесняйтесь писать мне про музыку все, что Вы думаете, а я со своей стороны обещаюсь Вам в случае неточностей употребления музыкальных оборотов делать свои замечания и указания.

Говоря с Вами вчера о процессе сочинения, я недостаточно ясно выразился насчет того фазиса работы, когда эскиз приводится в исполнение. Фазис этот имеет капитальное значение. То, что написано сгоряча, должно быть потом проверено кри-

гически, исправлено, дополнено и в особенности сокращено, в виду требований формы. Иногда приходится делать над собой насилие, быть к себе безжалостным и жестоким, т. е. совершенно урезывать места, задуманные с любовью и вдохновением. Если я не могу пожаловаться на бедность фантазии и изобретательности, то зато я всегда страдал неспособностью отделывать форму. Только упорным трудом я добился теперь, что форма в моих сочинениях более или менее соответствует содержанию. В былое время я был слишком небрежен, недостаточно сознавал всю важность критической проверки эскизов. От этого у меня всегда были заметны ш в ы, недоставало органического слияния в последовании отдельных эпизодов. Недостаток этот был капитальный, и только с годами я стал мало-по-малу исправляться, но о б р а з ц о м ф о р м ы мои сочинения никогда не будут, ибо я могу лишь исправить, но не вполне искоренить существенные свойства своего музыкального организма. Я также далек от мысли, что уже достиг высшей точки зрелости своих способностей. Мне еще очень далеко до этого, но я с радостью вижу, что постепенно иду все-таки вперед по пути совершенствования, и страстно желаю достигнуть высшей точки того совершенства, на какое по мере способностей могу рассчитывать. Итак, я неточно выразился вчера, говоря, что п е р е п и с ы в а ю сочинения прямо с эскизов. Это не только переписка, но обстоятельное критическое рассмотрение проектированного, сопряженное с исправлениями, изредка дополнениями и весьма часто сокращениями.

Вот что я хочу Вам предложить. Вы говорите в письме Вашем, что интересуетесь видеть мои э с к и з ы. Не примете ли Вы от меня полное последование черновых рукописей моей оперы «Е в г е н и й О н е г и н»? Так как к осени уже будет готов печатный к л а в и р а у с ц у г ее, то Вам, может быть, интересно будет сличать эскизы с отделанным и уже вполне готовым большим сочинением? Если д а, то тотчас по Вашем возвращении в Москву я Вам пришлю эти рукописи. Я Вам предлагаю именно «О н е г и н а», ибо ни одного сочинения я не писал с такой легкостью, как эту оперу, и рукопись можно иногда разобрать совершенно свободно; в ней мало помарок.

Я с сладким замиранием сердца думаю о возвращении в Браилов. Мне бы хотелось, чтоб из-за меня Вы не приказывали содержать весь дом в том виде, в каком он бывает при Вас, как было в первый мой приезд. Это, вероятно, сопряжено с неудобствами и с излишними тратами. Мне будет вполне достаточно одной своей комнаты, да еще той, в которой рояль. Точно так же не удерживайте из-за меня п о в а р а. Я очень непри-

хотлив и буду довольствоваться вполне самой простой кухней, хотя бы той, которая имеется у Марселя. Одним словом, чем меньше из-за меня хлопот, тем лучше. До свиданья, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

165. Чайковский — Мекк

Вербовка,
29 июня 1878 г.

В день, когда я послал Вам мое последнее письмо, получил я длинное послание от известной особы. Я не хочу и не могу скрыть от Вас, друг мой, что все эти дни я нахожусь под впечатлением этого послания. Оно все состоит из оскорбительных дерзостей, из совершенно непостижимых бессмыслиц. Оскорбления ее до меня, разумеется, не доходят, и я вполне к ним равнодушен. Меня беспокоит не это. Но из письма ее явствует, что она если не лишилась, то лишается здравого рассудка. Кто знает, до чего она в состоянии дойти! Ввиду этого непостижимого безумия решительно не знаешь, на какой l i g n e d e c o n d u i t e следует остановиться. Невозможно догадаться, чего она хочет и чего добивается. Она, кажется, и сама этого не знает. Представьте, что, например, она предлагает мне, чтоб я явился к ней в Москву, чтоб мы вместе с ней отправились к л ю д я м (???) и ч т о б э т и л ю д и н а с с у д и л и и р а з в е л и. При этом она берется доказать л ю д я м, что она н е в и н о в а т а, точно будто я хоть раз в чем-нибудь и когда-нибудь обвинил эту абсолютную невменяемость. Сколько я ни писал ей, что уж пора кончить разъяснения и остается только определить мои материальные обязательства относительно ее, а она попрежнему старается в ярких красках описать всю низость и черноту как моей души, так моих братьев и сестры.

Я написал ей, что все ее письма отныне будут возвращаться к ней нераспечатанными, а все денежные расчеты будут производиться через Юргенсона.

Надежда Филаретовна! я хотел бы уплатить ей в августе ту сумму, которая ей нужна, чтоб не был продан принадлежащий ей по наследству от отца лес. Мне непременно хочется, чтоб она была лишена всякого права обвинять меня в материальных утратах. Но вряд ли мне удастся дать ей эту сумму в виде уплаты помесячной пенсии за несколько лет вперед. Во всяком случае, мне нетрудно будет из имеющихся в виду средств уплачивать ей сто рублей в месяц. Только

имея в виду эту периодическую уплату, она, угрожаемая лишиться ее, в состоянии сдерживать себя от своих преследований. Уплатив ее долг и таким образом обеспечив ее имущество, я назначу ей сто рублей пенсии (как было до сих пор), но условно, т. е. с тем, чтобы она жила в другом городе (что для нее не составляет никакого стеснения, ибо она со всеми родными в ссоре, а друзей у нее нет) и чтобы вела себя так, как бы ее не было вовсе, в чем она и должна будет дать подписку. За нарушение же этого условия она будет лишаться части своей пенсии. Если еще с ней возможен какой-нибудь разговор, то цифрами, ибо слов она решительно не понимает.

Чтобы удовлетворить ее, я попрошу Вас или оставить мне в Браилове (если это возможно), или прислать мне две тысячи пятьсот рублей, или же, наконец, прислать мне Вашего Ивана Васильевича[1]; впрочем, об этом еще я буду писать Вам.

Ну, теперь пока довольно об этом грустном, убийственном предмете.

Вербовка мне очень нравится. Я очень доволен, что не вижу, не слышу, не обоняю жидов. После Каменки нельзя достаточно нарадоваться на здешнюю тишину, на чистый воздух и простоту нравов. Собственно мое жилище гораздо менее удобно, чем была моя каменская хатка, где я имел полную возможность уединяться. Здесь нам всем теснее, но зато и веселее на душе. Днем недостает тени: сад молодой, посаженный зятем пять лет тому назад, но под вечер и утром очень хорошо. Лес очень далеко отсюда, так что все мои прогулки ограничены полями, но местность холмистая и не лишенная некоторой живописности.

Все было бы хорошо, кабы на душе было совсем покойно. Будущее все-таки тревожит и пугает меня. Но беспокойство и тревога эта временные. Не теряю надежды, что все уладится.

До свиданья, милый, добрый, горячо любимый друг. Что бы я сделал, кабы судьба не послала мне Вас?

Ваш П. Чайковский.

166. Мекк — Чайковскому

Браилов,
2 июля 1878 г.

Очень, очень благодарю Вас, мой милый, бесценный друг, за сообщение мне процесса композиции. Чрезвычайно меня это интересует, но мне совестно, что я так много труда Вам

этим доставила, право, я этого не хотела. Что касается Вашего предложения, дорогой мой, пожертвовать мне рукопись «Евгения Онегина», то оно мне чрезвычайно приятно, и я, конечно, не откажусь от него, только извините меня, если я скажу Вам откровенно свой взгляд и свое желание по этому предмету. Вы зарабатываете Ваш хлеб трудом, следовательно было бы стыдно и совесть запрещает мне пользоваться этим трудом даром. Поэтому, мой милый, хороший, если Вы согласны уступить мне эту рукопись за пятьсот рублей, то я буду очень рада ее получить, но прошу Вас убедительно без всякой церемонии сказать мне, соответствует ли эта сумма приобретению. При этом случае я не могу не выразить вам одного опасения на Ваш счет, мой бесценный друг: не слишком ли Вы даете волю Вашей богатой фантазии в музыке, не следует ли ее несколько сдерживать, не слишком ли мало Вы отдыхаете? Я не боюсь, что Ваша фантазия истощится, — нет, но я боюсь, что Ваши нервы, Ваше здоровье не выдержат такой непрестанной работы, а для того, чтобы достигнуть того совершенства, которого Вы желаете, надо время, надо пройти несколько фазисов на этом пути, и все они будут дороги для искусства. Следовательно, лучше распределять свои силы понемногу, для того чтобы иметь время дойти до апогея своих способностей и продержаться на нем как можно дольше на славу искусства и радость человечества. Если мой страх за Вас будет иметь какое-нибудь влияние на Ваши занятия, если Вы будете хоть немножко удерживаться для меня, я буду очень счастлива.

Ваше желание приехать в Браилов меня ужасно радует, и именно я бы желала, чтобы Вы приехали около 20-го, т. е. сейчас после нашего отъезда. Насчет обитателей будьте спокойны, мой милый друг: Вы будете совсем одни, никто не остается. Мои мальчики едут со мною за границу, и оттуда я их отошлю, вероятно, с братом Александром и с двумя учителями, к 15 августа в Петербург, а сама останусь еще за границею. Что касается Вашего нежелания доставлять излишние хлопоты в доме, то, пожалуйста, мой дорогой, не думайте об этом ни одной минуты. Для людей, во всяком случае, будет гораздо легче, если вместо нас пробудете Вы до конца лета, а ведь обыкновенно мы сами живем до августа, а о расходах ни о каких и речи быть не может.

Я очень рада, что Анатолий Ильич поправляется. Дай бог, чтобы у него и с сердца все тяжелое (не производительное) улетело и стал бы он опять весел и здоров до той поры, когда сделается и счастлив, а это придет несомненно. Быть мо-

жет, и он прокатится с Вами в Браилов на денек-другой, а после его отъезда — Модест Ильич? Я буду очень рада иметь их своими гостьми. Мы уедем, вероятно, 18-го в Вену, Мюнхен, Цюрих, Люцерн, Берн и Женеву, где находится в настоящее время моя Саша с семейством и брат Александр с ними, для отдыха и для здоровья. Саша все еще находится в ожидании, а Лиде бог дал другого сына, к великому удивлению всех нас: мы ждали девочку, потому что старший у нее — мальчик, и теперь явилось затруднение в выборе имени. Мы отсюда послали предложение Альфреда, но ответа еще не имеем. Но Лида своим детям может давать по три имени, так как они, по желанию отца, лютеране. Саша также ждет девочку, и для нее приготовлено имя Ксения, сокращенное Кася, и ее маленький Маня ожидает, как он говорит: д е в и ц у К а с ю, и недавно по этому случаю спрашивает мать: «Мама, готова девица Кася?». Он очень забавный, этот ребенок, чрезвычайно развит и наблюдателен. Теперь в Женеве он гоняется за английскими девочками и на вопрос матери об одной из них: «Зачем ты ее ловил?» — он отвечает: «Чтобы поймать». — «А зачем поймать?» — «Чтобы побить». Это потому, что он слышит, как родители недружелюбно отзываются об англичанах, так он эти антипатии хотел приложить к делу.

Сию минуту получила Ваше письмо из Вербовки, мой милый друг. Как меня смущает и волнует то, что Вас так тиранит эта ужасная особа; как бы я хотела, чтобы нашлось средство Вам избавиться от этой связи, а то Вы никогда не будете гарантированы от ее приставаний и притязаний. Если бы решились повидаться с нею и объяснить ей, что Вы ее ни в чем не вините, а только любить ее и жить с нею не можете, и что для нее гораздо выгоднее принять от Вас развод, потому что тогда она может выйти замуж, в особенности с некоторым приданым, — мне кажется, что если она получит от Вас такое категорическое объяснение, то хотя она и не поймет его, то тем не менее убедится, что рассчитывать ей не на что, в особенности если Вы предупредите ее, что чем больше она будет упрямиться, тем больше будет сокращаться размер суммы, Вами ей выдаваемой. Мне кажется, что это было бы только соответствующим характером к ее действиям. Впрочем, Вы лучше знаете и натуру известной особы и свойство Ваших отношений к ней во время сожительства. Для меня же одна статья в них покрыта мраком неизвестности, а это именно есть предмет, на который люди (только не я, — меня такое отношение [*пропуск в копии*].

Только что окончила свое письмо к Вам, мой бесценный Петр Ильич, как мне подали Ваше письмо. Никогда нельзя

достаточно надивиться тому созвучию мыслей, которое существует между нами: в Вашем письме я нашла все ответы на мои вопросы и те же проекты, о которых у нас идет речь, а именно то, чтобы Саше после родов переехать в Интерлакен. Как я рада, мой дорогой, что Вы непрочь приехать еще раз в Браилов; мне невыразимо приятно, что он Вам понравился и чтобы Вы находились там же, где и я живу и где мне все близко. Очень, очень благодарю Вас, милый, дорогой мой, за присланную фотографию. Весьма милое и симпатичное личико у m-lle Тани; очень было бы приятно мне получить портреты и других членов семейства Вашей сестры. Слава богу, что ей лучше и что m-lle Вера (так, кажется?) поправилась от своего ушиба. Очень радует меня также, что Анатолий Ильич поправился; именно его надо развлекать в его мнительности,—это болезнь молодого поколения. Добрыми отношениями Ваших милых братьев ко мне я, конечно, обязана Вам, мой дорогой Петр Ильич. Я очень рада, что Вы написали письмо известной особе; чем скорее это сделать, тем лучше. Дай бог, чтобы хотя это удалось. Какие печальные известия о свекловице и пшенице у Льва Васильевича; это большое бедствие в деревне. У меня пока хорошо идут и пшеница и свекловица; пшеницу только помяло дождями, и я боюсь, что свекловица будет не довольно сахариста в этом году от дождей. У меня опять прорвало плотину этими непомерными дождями, так что купальня стоит без воды, но я надеюсь, что если Вы приедете в июле, то все будет в порядке.

Вы, вероятно, прочли в газетах о смерти испанской королевы. Как мне жаль ее; только что начала жить и уже кончила, бедная. Жаль и этого юношу Альфонса.

Наши уступки и наше положение на конгрессе меня до высшей степени возмущают, так что с отвращением берешь газеты в руки.

Еще раз до свидания, милый, дорогой друг мой. Всей душою Ваша

Н. ф.-Мекк.

167. Чайковский — Мекк

Вербовка,
4 июля [1878 г.]

Дорогая моя Надежда Филаретовна!

Я избаловался насчет частого получения писем от Вас. Прошло полторы недели со времени получения Вашего последнего письма, и вот уж я начинаю беспокоиться: здоровы

ли Вы, все ли благополучно? Между тем, я очень понимаю, что Вам не так-то легко найти удобную минутку для письменной корреспонденции. Вот что я хотел предложить Вам, мой друг. Чтобы обеспечить друг друга от всяких недоумений в случае неполучения ожидаемого письма, условимтесь, что я буду писать Вам не менее одного письма в неделю, а Вы не менее одного в две недели. На себя я налагаю бо́льшую порцию потому, что я склонен писать скорее мало, но часто, тогда как Вы скорее редко, но много. Согласны ли Вы на это?

Я часто с неудовольствием думаю о том, что на этот раз Браилово не оставит в Вас особенно приятных воспоминаний. Погода, вероятно, так же мало благоприятствует Вам, как и нам здесь. Что ни день, грозы и дожди, по ночам очень холодно, днем серо и ветрено. Думаю, что Вам очень мало приходилось ездить в лес. Досадно это!

У нас здесь в Вербовке было бы очень хорошо, если б не было постоянных больных. Сестра совершенно оправилась, но зато дети болеют один за другим. Один из маленьких племянников моих очень напугал всех нас: у него начиналось воспаление в кишках, к счастью, предупрежденное во-время. У брата Анатолия было воспаление глаза; теперь ему тоже лучше. У племянницы Веры, той, которая ушиблась в Киеве, нарывы в ухе, и она, бедная, уж несколько ночей не спит. Я же наслаждаюсь вполне вожделенным здравием, если не считать одного нового и очень странного явления, повторяющегося с некоторых пор каждый вечер. Часов в девять на меня нападает какая-то несносная сонливость, сопровождаемая полнейшим падением всех сил, вследствие которого я неспособен ни говорить, ни слушать других. Хочется убежать куда-нибудь, спрятаться, улетучиться, н е б ы т ь. Между тем, я по опыту уже знаю, что следует побороть эту сонливость, если я не хочу промучиться целую ночь с замираниями сердца, с кошмарами и мучительными грезами. Весь вечер и проходит в этой борьбе. Но, разумеется, это не что иное, как проявление нервности, на которое не следует обращать ни малейшего внимания. Спасает меня от этого состояния, во-первых, усилие воли, а во-вторых, стакан вина.

Занятия идут довольно медленно, не так успешно, как я бы хотел. Однако же соната уже давно готова, и сегодня я принялся за переписку нескольких романсов, написанных частью за границей, частью в Каменке в апреле. Один из этих романсов, переписанный сегодня, сочинен на текст Лермонтова: «Л ю б о в ь м е р т в е ц а». Написал я его вследствие того, что в одном из Ваших писем Вы мне привели это стихотворение

в подтверждение одного Вашего мнения об отношении стихов к музыке. Это было в феврале во Флоренции. По этому поводу я сегодня нахожусь под впечатлением воспоминания об очень приятном двухнедельном пребывании во Флоренции.

Будете ли Вы в Париже? Я получил от Юргенсона известие, что в августе в Париже под управлением Н. Г. Рубинштейна состоятся четыре концерта из русской музыки. Примите это к сведению, друг мой. Из моих вещей будут исполнены: концерт для фортепиано, «Буря», «Франческа», две части из нашей симфонии. В свое время я извещу Вас обстоятельно о времени этих концертов, на тот случай, что Вы захотите пригнать Вашу поездку в Париж к тому времени, когда они состоятся. К участию в них приглашена, между прочим, Лавровская.

До свиданья, добрый, милый друг.

Ваш П. Чайковский.

168. Чайковский — Мекк

Вербовка,
6 июля 1878 г.

Получил вчера вечером письмо Ваше, бесценный друг мой. Прежде всего отвечу на Ваше предположение, что еще есть надежда устроить развод. Если это и так, то никак не в настоящее время. Если бы особа, с которой я имею дело, обладала бы искрой здравого смысла, то я бы не задумался поступить так, как Вы мне советуете. К сожалению, как ни просто кажется сообразить, что предложение мое клонится к прямой ее выгоде, она этого понять не может. Из последнего письма ее ясно видно, что она намерена разыгрывать роль какой-то верховной решительницы судеб моих; мои учтивые обращения к ней, мои просьбы внушили ей мысль, что она может невозбранно самодурничать надо мною. Кроме того, нет никакого средства выкинуть из головы ее мысль, что я рано или поздно сойдусь с ней. Наконец, развод она понимает как-то по-своему. Сколько ей я ни писал, сколько ей ни разъясняла сестра, Юргенсон, что необходимо подчиниться некоторым формальностям, она продолжает утверждать, что показывать на суде(?) ложь она никогда не будет. Я не теряю надежды, что когда-нибудь она поймет, в чем заключается ее выгода. Тогда она сама будет просить того, чего не хочет теперь, и только тогда можно будет быть уверенным, что она сыграет сознательно ту роль, которая требуется при формальностях брако-

разводного дела. В настоящее время она говорит, что, когда будут на суде доказывать мою неверность, она разоблачит правду и докажет, что это ложь. Трудно понять, что у нее в голове, но одно ясно: вести с ней дело нельзя теперь, ибо нужно сознательное отношение к своей роли, а этого добиться нет никакой возможности. Между нами будь сказано, здесь во многом без вины виновата моя сестра. После моего бегства сестра приютила к себе известную особу, побуждаемая жалостью и обманутая видом незлобивого агнца, готового принести из любви ко мне всякие жертвы; она вложила в нее тщетные надежды. Вместе с тем, и я, и сестра, и братья в то время слишком много твердили ей, что я виновен, что она достойна всякого сочувствия. Она решительно вообразила себя олицетворенной добродетелью, и теперь, после того как личина с нее давно снята, она все еще хочет быть грозною карательницею моих низостей и пороков. Если б Вы прочли ее последнее письмо ко мне, Вы бы ужаснулись, видя, до чего может дойти безумие забвения правды и фактов, наглость, глупость, дерзость.

В личном свидании с ней не будет никакой пользы. Она и мне скажет то, что говорила и писала уже много раз, т. е. разговор, по выражению Юргенсона, будет вертеться, как белка в колесе. Я ей буду объяснять, что нужно делать, чтоб получить развод, а она, не отвечая на это, будет толковать все свое, т. е. что я низкий и подлый человек, что я погубил ее, что она ни в чем не виновата (ей, по крайней мере, раз сто было сказано и писано, что никто ни в чем ее не обвиняет) и т. д. и т. д. Кроме того, я не могу ее видеть, c'est plus fort que moi *. Когда я думаю о ней, у меня является такая злоба, такое омерзение, такое желание совершить над ней уголовное преступление, что я боюсь самого себя. Это болезнь, против которой только одно средство: не видеть, не встречать и по возможности избегать всяких столкновений. Даже теперь, когда я пишу Вам эти строки, поневоле имея перед глазами ненавистный образ, я волнуюсь, страдаю, бешусь, ненавижу и себя самого не менее ее. В прошлом году, в сентябре, был один вечер, когда я был очень близок, на расстоянии одного шага от того состояния слепой, безумной, болезненной злобы, которая влечет к уголовщине. Уверяю Вас, что я спасся чудом каким-то, и теперь при мысли о ней закипает то же чувство, заставляющее меня бояться самого себя. Если не ошибаюсь, Вы подозреваете, что она не удовольствуется той суммой, которую я ей предлагал в

* это свыше моих сил

случае развода. Нет, друг мой, для нее эта сумма очень велика. Все ее средства заключаются в клочке леса, оставленного ей отцом и стоящего около десяти тысяч. Лес этот она давно и тщетно старается продать. В довершение всего, под залог этого леса она вместе со своей сестрой заняла денег, из коих часть истратила на свое приданое, часть потеряла. Как бы то ни было, в августе она должна куда-то внести этот долг, чтобы не лишиться его, а денег (несмотря на то, что я предоставил ей продажу всего нашего обзаведения в свою пользу, подарил совершенно новый рояль, незадолго перед тем подаренный мне Беккером, и дал ей в течение этого года очень много денег), по ее уверению, у нее нет, и она т р е б у е т, чтобы я принял на себя долг этот сверх тех десяти тысяч, которые она надеялась получить. Нужно подчиниться этому требованию, и вот почему я просил Вас дать мне средства уплатить эту сумму. Из всего этого Вы видите, что десять тысяч для нее большая сумма, тем более, что ей хорошо известно, что у меня никаких капиталов нет. Да если причина ее упорства и заключается в том, что она находит недостаточным предложенное вознаграждение, чего я не думаю, то я ни в каком случае не согласился бы увеличить его. Единственная уступка, которую я сделал бы, если б развод состоялся, это, что, кроме десяти тысяч, я бы заплатил ей в рассрочку ту сумму, которая ей нужна для уплаты своего долга. Я и предлагал ей это. Из всего, что она писала и говорила, явствует, что она и деньги эти хотела бы получить, но вместе и меня всячески задерживать, мучить, терзать, а может быть, и заставить жить с ней. Впрочем, повторяю, в голове у нее страшная путаница. Сна сама хорошенько не знает, чего хочет.

Резюмирую все вышеизложенное. Дела о разводе начинать теперь нельзя. Единственная надежда на него заключается в том, что она когда-нибудь п о й м е т, и инициатива перейдет на ее сторону. Просить ее нельзя ни о чем. Нужно, чтоб она сама просила. Долг ее нужно заплатить. Пенсию выдавать ей условно, т. е. чем больше я буду обеспечен от всяких встреч с ней, тем больше она будет получать. Письма ее, если она будет их посылать, возвращать ей нераспечатанными. Когда она, наконец, из всего моего поведения относительно ее увидит, что вся цель моя состоит в том, чтобы не видеть ее и игнорировать ее существование, тогда, может быть, она уразумеет, что развод — самое лучшее разрешение дела. И только когда она это у р а з у м е е т, можно будет приступить к щекотливому бракоразводному делу.

Теперь довольно об этом. Перехожу к более приятным и не расстраивающим предметам моей беседы с Вами.

Да... Вы спрашиваете меня, дорогая моя, как отнесся ко всему этому отец? К с ч а с т ь ю, он перенес это так же просто, как переносит теперь все. Он впал в д е т с т в о. Зимой умерла старшая сестра моя. Мы все боялись последствий на него от этой неожиданной катастрофы. Сестра моя Саша была тогда в Петербурге и целый месяц приготовляла его к этому известию. Он у д и в и л с я скорей, чем опечалился, и в тот же вечер потребовал, чтоб его повезли в б а л е т. Минутами он сознавал горесть утраты и плакал (он вообще стал много и часто плакать), но тотчас же его можно было, как ребенка, рассеять и развеселить. Физическое здоровье его от этого не пострадало. Что касается моей неудавшейся женитьбы, то он был в восторге, когда она случилась. Когда же произошел р а з р ы в, он сначала не мог понять, в чем дело, и беспокоился только о моем здоровье. Страх за мою жизнь заставил его позабыть, что женитьба моя, которой он давно и пламенно желал, была так неудачна. Потом он привык и позабыл. Вообще ум его постепенно угасает, но силы еще бодры. Памяти он почти вовсе лишился. Одно только нравственное качество осталось в нем без изменения, это ангельская доброта его. Он вечно занят мыслью, как бы обрадовать, утешить и близкого и постороннего человека. И все это делается с какою-то трогательною, детскою наивностью. Последний час его недалек: 20 июля ему минет восемьдесят четыре года. Хотя сравнительно с умственными способностями физические силы его еще крепки, но и в них мало-по-малу вскрывается старческая дряхлость.

Друг мой! Вы предлагаете мне вознаграждение за рукопись «О н е г и н а», но неужели все, что я для Вас сделал бы или дал бы Вам, уже не сторицей вознаграждено всем, чем я обязан Вам? Рукопись эта, впрочем, и не имеет никакой цены. Еще в первый раз в жизни мне приходится встретить в Вас человека, интересующегося моей черновой работой. Я далеко еще не так знаменит, чтобы такие автографы мои имели какую-нибудь ценность. Каким же образом я буду ожидать за это вознаграждения, да еще с Вас!

Письмо Ваше, написанное в Сокольниках, было переслано ко мне сюда из Жмеринки и было получено в числе нескольких других писем по моем возвращении в Каменку. Будьте покойны, друг мой: оно дошло ко мне непосредственно.

29 июня я был именинником, и даже на этот раз именины мои были весьма торжественно отпразднованы, т. е. из Каменки приехало много гостей, и так как набралось довольно много молодежи, то весь вечер я таперствовал, а молодежь танцовала.

Дорогая моя! ничего не может быть разумнее, как совет Ваш отдыхать больше и меньше истощать свою изобретательную способность. Но что мне с собой делать? Как только набросан у меня эскиз, я не могу успокоиться до тех пор, пока не исполню его, а как только готово сочинение, я тотчас же испытываю непреодолимую потребность приняться за новое. Для меня труд (т. е. этот именно труд) необходим как воздух. Как только я предамся праздности, меня начинает одолевать тоска, сомнение в своей способности достигнуть доступной мне степени совершенства, недовольство собой, даже ненависть к самому себе. Мысль, что я никуда негодный человек, что только моя музыкальная деятельность искупает все мои недостатки и возвышает меня до степени человека в настоящем смысле слова, начинает одолевать и терзать меня. Единственное средство уйти от этих мучительных сомнений и самобичевания— это приняться за новый труд. Вот я и верчусь в этом смысле тоже как белка в колесе. Иногда находит на меня непреодолимая почти лень, апатия, разочарованье в самом себе; это очень скверное состояние, и я всячески борюсь с ним. Я очень склонен к ипохондрии и знаю, что мне нельзя не сдерживать свои влечения к праздности. Только труд спасает меня. Я и тружусь. А все-таки спасибо за дружеский совет; постараюсь, насколько возможно, воспользоваться им.

Около 20 июля я буду в Браилове и останусь до 1 августа. Брат, к сожалению, не может воспользоваться Вашим предложением побывать у Вас, но он ужасно тронут Вашим вниманием и благодарит Вас. 20 июля кончается его отпуск, и он уж должен быть в Петербурге, тем более, что старик наш, привыкший и привязанный к нему в последнее время особенно сильно, будет праздновать в этот день свое рождение и именины и ждет его к этому дню с величайшим нетерпением. Модест тоже к тому времени еще не освободится.

Не бойтесь, что я буду тосковать по братьям. До сентября недалеко. Оба они будут от времени до времени приезжать ко мне, да и мне придется побывать в Петербурге, следовательно, будем видеться.

До свиданья, хороший, милый, нежно любимый друг. Дайте мне знать в точности, когда выезжаете, куда Вам писать за границу, будете ли в Париже. Поздравляю Вас от души с новым внуком. Надеюсь, что разрешение Александры Карловны будет столь же благополучно. Милочке передайте нежные приветствия. Будьте здоровы, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

169. Чайковский — Мекк

[Вербовка.]
13 июля 1878 г.

Дорогой друг! Письмо это, я полагаю, еще застанет Вас в Браилове. Я попрошу Вас ответить мне телеграммою (Ф а с т о в с к а я л и н и я, К а м е н к а, Ч а й к о в с к о м у) на следующий вопрос: можно ли мне будет вместо 20 июля приехать в Браилово около 1 августа? Случилось так, что один из моих братьев, И п п о л и т, собирается со своей женой на несколько дней в Вербовку, именно к тому времени, когда я хотел ехать в Браилово. Едет он, между прочим, и чтоб меня видеть, а мы давно не видались. По службе своей он не может отложить поездку, а уехать мне отсюда как раз когда он явится, неловко, да и хотелось бы сочетать возможность свидания с ним с возможностью позже отправиться в Браилово. Впрочем, я еще наверное не знаю, как все это устроится. Хотелось бы только заранее иметь от Вас разрешение приехать вместо 20 июля 1 августа. У нас, наконец, кажется, начинается лето.

Было несколько сряду прекрасных дней и особенно вечеров. Я думал о Вас и воображал Вас тоже наслаждающуюся ясным безветреным вечером то в Тартакском лесу, то на скале. У нас идут здесь приготовления к спектаклю, который мы устраиваем 16 июля, накануне отъезда отсюда брата Анатолия. Я участвую лишь в качестве суфлера и режиссера. Идет «Ж е н и т ь б а» Гоголя и сцена из «M i s a n t h r o p e» Molière a. Играет все молодежь, т. е. мои племянницы, а также разные племянницы и племянники моего зятя, съехавшиеся к бабушке на лето в Каменку. Племянница моя Таня, которой портрет я уже послал Вам, обнаружила на репетициях серьезный сценический талант. Роль C é l i m è n e она играет превосходно. Вообще идет спектакль очень мило, но вот горе: у нас решительно не предвидится никакой публики, т. е. публику будут составлять разные каменские Давыдовы, уже видевшие репетиции. Это несколько охлаждает всеобщее рвение. Решено пригласить в качестве зрителей крестьян. Это совершенно возможно, так как представление будет происходить на балконе, а зрители будут сидеть на дворе. У меня готовы портреты всех моих остальных племянниц и племянников для отсылки Вам, но я решил отложить передачу их Вам до Москвы, ибо боюсь, что почта привезет их в Браилово как раз на другой день после Вашего отъезда.

Между тем, довольно скучная работа переписки понемногу подвигается. Уже три (а вместе с браиловскими скрипичными пьесами — четыре) опуса готовы. Теперь я принимаюсь

за сборник детских пьес, потом перепишу обедню, а затем отдохну (по Вашему совету) и буду понемногу задумывать что-нибудь новое и большое. К «Ундине» я почему-то охладел. Хочу поискать сюжета для оперы более глубоко захватывающего. Что вы бы сказали о «Ромео и Юлии» Шекспира? Правда, она уже много раз служила оперной и симфонической канвой, но богатство этой трагедии неисчерпаемо, и както раз, перечитывая ее, я увлекся мыслью оперы, в которой бы сохранил развитие действия, как у Шекспира, без всяких уклонений и добавлений, как это сделали Берлиоз и Гуно.

Здоровье мое в отличном состоянии. Давно я так хорошо себя не чувствовал. Но минуты непреодолимого влечения куда-то, подальше от всех и всего, находят на меня попрежнему. Мне очень полезно будет на несколько времени уединиться в Браилове. О Москве думаю с тоской, страхом и сжиманием сердца.

Жду с нетерпением Ваших указаний, куда и когда писать Вам, мой добрый, милый друг.

Ваш П. Чайковский.

170. Мекк — Чайковскому

Браилов,
15 июля 1878 г.

Мой милый, несравненный друг! Очень мне грустно уезжать из Браилова. Как ни была неприветлива погода, но все-таки мне здесь так хорошо, как нигде, и утешением в этой грусти служит мне только то, что Вы будете продолжать мое пребывание в Браилове,—я этому очень рада. Только не передумайте, дорогой мой!

С этим письмом оставляю также две суммы: одну, имеющую назначение для известной особы (2500 рублей), а другую — обыкновенную. Мне очень грустно эти дни от печальных известий из Женевы. Моя бедная Саша опять потеряла новорожденного ребенка; 8-го у нее родился сын, крепкий, сильный ребенок, а 10-го умер. Мне неизвестно еще, какая болезнь была у ребенка, но, во всяком случае, очень печальным предзнаменованием служит то, что два года сряду у нее умирают новорожденные дети: в прошлом году девочка Кася, двухнедельная, в нынешнем мальчик Лео, двухдневный. Вообще этой бедной женщине тяжелая доля выпала в жизни: муж хворый, с которым надо постоянно няньчиться, и дети не живут, а она так любит и мужа и детей. По случаю такого горя у нее я еду прямо в Женеву, останавливаясь по дороге только для ночлегов, для

отдыха. Поэтому прошу Вас, милый друг мой, адресовать мне отныне в Женеву, poste restante.

Лида, слава богу, поправляется, ребенок также. Он еще не окрещен,—у лютеран долго не крестят,—но старший ее сын Georgy дал ему имя Б у, от слова Bruder *. Этой, слава богу, легче живется на свете. Ваше предложение, друг мой, насчет сроков писания мне очень нравится, и я его с удовольствием принимаю, но только если я как-нибудь проманкирую, то Вы не беспокойтесь, дорогой мой; я Вам сейчас объясню, почему это может быть. У меня каждый месяц бывают головные боли, которые продолжаются обыкновенно не менее трех дней и расстраивают мне нервы до того, что я и после их должна оправляться несколько дней и ничего делать не могу. Вот это-то не дало мне и теперь написать Вам письма раньше, и в настоящую минуту я пишу еще с весьма дурною головою.

Мне очень жаль, мой на этот раз недобрый друг, что Вы не хотите доставить мне чистого удовольствия, без укора совести, уступкою мне рукописи «Евгения Онегина». Конечно, о т В а с я не откажусь и от подарка, принимаю этот все-таки с удовольствием и благодарю Вас за него от души, но совесть моя не будет спокойна. Браиловские пьесы Пахульский переписывает усердно, но в настоящее время он также болен сильною простудою, и это замедляет переписывание. «Méditation» готово, а теперь он запнулся на «Scherzo»: Эти дни я лишена музыки. Ваш бывший швейцар здесь очень вспоминает Ваше музыкальное искусство, рассказывает моему Коле, что вот он слушает по вечерам, как я играю, что это ничего, хорошо, но вот было хорошо, когда г. Чайковский тут играл, так это, боже мой, как хорошо, и что он, т. е. Вы, все ноты писал. Даже простой человек любит музыку.

У меня сегодня именинники: брат, сын и его сын, маленький годовой Волечка, прелестное твореньице. По случаю этого праздника в саду приготовлена иллюминация, фейерверк и бенгальские огни. Это очень эффектная вещь: весь освещенный павильон на пруду, и весь пруд окружен огнями, а на середине лодочка, также убранная разноцветным освещением. Это бывает каждый год, и тогда вход в сад открывается для всех, и весь он пополняется публикою. Сегодня только погода опять хмурится. Письмо это я оставлю у Марселя. Пожалуйста, милый друг, напишите мне, дойдут ли до Вас деньги. Бедный Марсель также все болен, il est poitrinaire **,

---

* брат
** он чахоточный

и эта холодная погода на него очень дурно действует. Вы найдете в доме маленькие перемены. В Вашем кабинете переменена мебель, в маленькой гостиной, моей приемной, также, в зале совсем обновлена. Я каждый год делаю какие-нибудь перемены в комнатах. В Вашей спальне Вы найдете один номер «Gazette musicale»; я выложила его для Вас. Может быть, Вы прочтете статью Кюи «La musique en Russie»[1]. Когда я получу следующие №№, то пришлю Вам.

Пожалуйста, Петр Ильич, напишите мне точнее, когда будут русские концерты в Париже, — я постараюсь к тому времени попасть на выставку. Насчет доставки Вам «Русской старины» я оставляю распоряжение Ивану Васильеву, чтобы, начиная с августовского номера, Вам доставляли их в консерваторию и оставляли у тамошних швейцаров. Пожалуйста, сообщите мне Ваш адрес. Съездите здесь, Петр Ильич, в лес, где предполагалась постройка Карлово-Сиамакского хутора; там очень хорошо. Ефим знает то место, на котором мы были это время.

Явление в Вашем здоровье, эта усталость к вечеру, есть симптом, прямо указывающий на работу, несоразмерную с силами, и необходимость большого отдыха. Я знаю в своей жизни столько убитых здоровых (или — здоровьем), столько сокращенных жизней от непомерной работы или, вернее сказать, от недостаточного отдыха, что я очень боюсь за Вас, мой дорогой друг. Меня очень интересует музыка на слова «Л ю б о в ь м е р т в е ц а». Также ужасно меня радует, что в Париже будут играть Ваши сочинения, — я бы хотела всему свету их показать. Оставляю для Вас здесь, друг мой, виды Браилова. Я хотела сделать надпись, что этот альбом назначается для Вас о т м е н я, но на полфразе остановилась и не докончила, чтобы кто-нибудь не увидел, все по тому же свойству, что русский человек задним умом крепок[2]. Из Вашего письма я вижу, милый друг мой, что Вам видеться с известною особою, конечно, невозможно. Следовательно, будем немножко терпеливы, и она, несомненно, сама обратится к Вам, лишь бы только теперь она избавила Вас от своего пребывания в Москве, а дальше, бог даст, все уладится. Из Женевы я имею довольно утешительные известия: Саша понемножку поправляется.

Отдохните от работы хотя в Браилове, мой дорогой Петр Ильич, будьте побольше на воздухе, побольше ездите куда-нибудь, посмотрите, как будут жать пшеницу машиною и т. п., и здоровье окрепнет.

Теперь, должно быть, напишу Вам из-за границы. До свидания, дорогой мой. Везде неизменно любящая Вас

Н. ф.-Мекк.

171. Мекк — Чайковскому

Браилов,
15 июля 1878 г.

Только что я запечатала свое письмо к Вам, дорогой Петр Ильич, как получила Ваше, на которое в ответ послала телеграмму. Очень мне жаль, милый друг мой, если Вам нельзя будет приехать в Браилов 20 июля, потому что и погода теперь хорошая и природа лучше, но, конечно, во всякое время vous serez le bien venu chez moi *. Вы пишете, что у Вас готовы фотографии Ваших племянниц и племянников, то я усердно прошу Вас, милый друг мой, прислать мне их в Женеву, poste restante, с первым письмом, которое Вы мне туда напишете. Не правда ли, Вы это сделаете? Мне хочется скорее их иметь. Я посылаю Вам письмо через Ивана Васильева, потому что думаю, что Вам могут понадобиться деньги для известной особы в продолжение июля и что, во всяком случае, было бы слишком долго держать их до 1 августа. Пожалуйста, Петр Ильич, уведомьте меня в Женеву, все ли Вы получите.

Очень мне скучно расставаться с Браиловым и отдалиться от Вас. Мне так нравится, когда мы живем тут оба, по соседству. Как я радуюсь, что Ваше здоровье хорошо; дай бог, чтобы так и продолжалось. До следующего письма, бесценный друг Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

P. S. Как сюжет для оперы «Ромео и Юлия» я ставлю гораздо выше, чем «Ундину».

172. Мекк — Чайковскому

Браилов,
16 июля 1878 г.

Дорогой друг мой! Вчера я послала Вам телеграмму, но телеграфы здесь так неисправны, что я боюсь, что она не дойдет до Вас. Поэтому пишу Вам эти несколько слов, чтобы повторить телеграмму: я выезжаю послезавтра, во вторник 18-го, письмо Вам оставляю в Браилове; не могла писать Вам раньше по случаю нездоровья, о котором объяснение есть в письме. Не посылаю теперь Вам длинного письма, оставляемого в Браилове, потому что оно может Вас уже не застать в Вербовке. Я надеюсь,

---

* вы будете желанным гостем у меня

что в среду или в четверг Вы будете в Браилове. Меня чрезвычайно радует эта мысль, хотя самой мне ужасно грустно покидать его. В моем письме в Браилове Вы найдете некоторые анахронизмы. Так, например, я прошу Вас не передумать приехать в Браилов,—в письме, которое Вы имеете, найдете в Браилове, но я пишу под влиянием мысли, чувства и желаний данной минуты, а соображением известно, что русский человек не силен; мне на каждом шагу приходится применять к себе поговорку, что «русский человек задним умом крепок».

Итак, дорогой друг мой, до следующего письма в Браилове. Будьте здоровы и не забывайте всем сердцем любящую Вас

Н. ф.-Мекк.

173. Чайковский — Мекк

Вербовка,
19 июля 1878 г.

Дорогой друг!

Письмо мое сегодня будет очень коротенькое. Я уже второй день недомогаю. Серьезного ничего нет, но обстоятельно писать мне трудно.

Сегодня приехал Иван Васильев и передал мне в полнейшей исправности все, что Вы послали мне. Благодарю Вас, милый друг. Альбом браиловских видов доставил мне несказанное удовольствие. Собираюсь в Браилово во всяком случае не позже 1 августа. Вчера вечером уехал брат Анатолий; мне очень грустно. Посылаю Вам портрет всего семейства сестры, за исключением Льва Васильевича, которого ни одной фотографии теперь не имеется.

От всей души желаю Вам хорошего и приятного путешествия. Очень меня сокрушает известие о неудачных родах Александры Карловны. Надеюсь, что она оправилась и что вследствие этого и у Вас на душе покойно.

Завтра или послезавтра напишу Вам. Будьте здоровы, покойны, счастливы. Еще раз спасибо Вам, милый, добрый друг.

Ваш П. Чайковский.

174. Чайковский — Мекк

Вербовка,
21 июля 1878 г.

Только сегодня начинаю я поправляться. Все эти дни я чувствовал себя весьма нехорошо и начинал побаиваться, как бы не приключилось серьезной болезни. Теперь могу с уверенностью сказать, что завтра буду совсем здоров.

Ничего не может быть наивнее, как мое предложение Вам писать мне обязательно каждые две недели. И Вы были так добры, дорогая моя, что согласились на это! Я и забыл в ту минуту, как писал Вам, что Вы глава большого семейства и что администрация Ваших дел поглощает у Вас бездну времени. Ради бога, не стесняйтесь, пишите мне тогда, когда Вам этого хочется и когда Вы будете чувствовать влечение к беседе со мной. Только прошу Вас не оставлять меня долго без известий о Вас, и когда обстоятельства будут мешать Вам писать мне, то просто телеграфируйте мне, что Вы здоровы и находитесь там-то. По этому поводу я должен предварить Вас, что французскую телеграмму прислать прямо в Каменку нельзя. Нужно адресовать так: Russie, via Vienne, Kieff, Smela, Kamenka.

В настоящее время здесь находится мой брат Ипполит с женой, и, кроме того, мы ожидаем брата Модеста на несколько дней. 1 августа я буду в Браилове и проведу там, во всяком случае, не меньше недели. Мне очень совестно и досадно, что из-за меня дом Ваш не может быть приведен на свое зимнее положение. Простите, друг мой, что я так злоупотребляю Вашей добротой, но мне очень грустно было бы отказаться от удовольствия провести хотя несколько дней в милом, дорогом Браилове. Все дни, которые я там проведу, я намерен посвятить безусловному отдыху. Он в самом деле мне нужен, точно так же как и уединение, без которого от времени до времени я не могу обходиться.

Я, кажется, в моем последнем письмеце ничего не писал Вам о нашем спектакле. Так как публика должна была находиться на чистом воздухе, то мы очень боялись дождя. Как нарочно после четырех ясных дней в день спектакля с утра начал лить дождь. К счастью, к вечеру все разъяснилось и все обошлось весьма благополучно. Племянница Таня произвела настоящий фурор. Я с успехом исполнил должность суфлера.

Весьма радуюсь, что сюжет «Ромео и Джульетты» нравится Вам. Покамест я еще не разочаровался в своих планах на этот счет. Но я начну писать эту оперу еще нескоро. В на-

стоящее время я работаю над литургией, которая должна быть готова до моей поездки в Браилово. Затем отдых, затем Москва... Ох, эта Москва! Не легко мне там будет в первое время. Но это необходимо, неизбежно.

Я еще ничего точного не могу Вам сообщить насчет концертов Рубинштейна. Юргенсон обещал дать мне обстоятельные сведения, и как только я их получу, то сообщу Вам.

Статью Кюи (за которую я очень благодарю Вас) я прочел и нахожу ее во всех отношениях слабой. Как газетный рецензент Кюи, несмотря на огромные недостатки, имеет и достоинства. Он остроумен, пишет бойко, язвительно и смело. Но ему недостает эрудиции. Все, что он в своей французской статье пишет о греческих ладах, на которых будто бы построена русская песня, крайне наивно и неточно. Вообще на каждом шагу сказывается довольно самоуверенное музыкальное невежество. С другой стороны, попытка ознакомить французов с нашей музыкой достойна сочувствия и может принести пользу.

Поедете ли Вы в Италию? Желаю этого весьма, тем более, что план Ваш прожить там зиму, сколько мне кажется, покинут Вами. Вам нужно, друг мой, набраться хороших впечатлений и приятных воспоминаний.

Еще раз прошу Вас забыть о принятом Вами предложении писать мне обязательно раз в две недели. Особенно в путешествии это будет для Вас затруднительно. Ради бога, не стесняйтесь мной, но только не оставляйте меня вовсе без известий о Вас. Надеюсь, что Вы и все Ваши здоровы.

Ваш безгранично Вас любящий

П. Чайковский.

175. Чайковский — Мекк

Вербовка,
25 июля 1878 г.

Пишу к Вам, дорогой и милый друг мой, с легким сердцем, с приятным сознанием более или менее удачно оконченного труда. Сегодня я написал последнюю страницу литургии, и, таким образом, весь долгий и скучный труд переписки окончен. Теперь буду отдыхать и набираться новых сил. Знаете, что мне сейчас пришло в голову? Люди, лихорадочно, спешно работающие, как я, суть, в сущности, величайшие лентяи. Они торопятся поскорее завоевать себе право ничего не делать. Теперь моей тайной слабости к ничегонеделанию будет раздолье. Это тем более кстати, что я расклеился недели полторы тому назад и

никак не могу войти в свое нормальное состояние здорового человека. Только что почувствую себя совсем хорошо, как сейчас после этого опять начинаю недомогать. Третьего дня и вчера я чувствовал себя нехорошо. Сегодня как будто возвратилось здоровье, но надолго ли, не знаю.

Сюда приехал на несколько дней Модест. Он очень утомился от своих занятий с своим воспитанником и решился провести несколько времени один. Но утомление от действительно трудных обязанностей воспитания глухонемого мальчика само собой, а привычка и привязанность сами собой. Он скучает о своем Коле и, наверное, долго не усидит без него. Повесть его значительно подвинулась вперед. Я весьма доволен теми главами, которые он написал со времени нашей разлуки. Недостатки его происходят от неопытности. У него несколько страдает форма. Увлекаясь подробностями, он упускает иногда из виду целое и слишком напрягает внимание читателя массой лиц, участвующих в повести. Тем не менее, повесть очень замечательна и не лишена оригинальности. От Анатолия я получил вчера письмо из Москвы, где он провел по делам один день. Он очень грустен вследствие разлуки с нами и предстоящего ему одиночества в Петербурге. Пребывание в деревне было очень полезно для его сильно расстроенных нервов, но оно было слишком недостаточно. Я еще ничего не знаю о времени концертов Рубинштейна. Мне известно только, что они будут в августе и что участвовать в них будут, между прочим, Лавровская, Танеев и Барцевич, который будет играть мой новый в а л ь с. Как я рад буду, если вы будете присутствовать на этих концертах! Попрошу Вас, друг мой, подробно описать мне Ваши от них впечатления.

Какое для меня счастье, Надежда Филаретовна, что я еду в Москву человеком, могущим свободно распорядиться собой. Вы не можете себе представить, до чего в последний мой приезд она показалась мне чуждой, постылой. Не могу скрыть от Вас, что я с крайним отвращением приступлю к исполнению своих консерваторских обязанностей. Разумеется, весьма может случиться, что я скоро свыкнусь и обойдусь, тем более, что меня будет ободрять сознание своей свободы. Да, свобода — неизреченное благо и счастье. С нею везде можно ужиться и примириться со всякими обстоятельствами.

В воскресенье 30 июля я еду в Браилов. Мне кажется, что на этот раз недавность Вашего пребывания там сообщит ему сугубую прелесть. Когда Вы вернетесь в Москву? Мне кажется, что до тех пор, пока Вы не возвратитесь домой, я не разделаюсь с тем чувством отчужденности, которое теперь внушает мне

Москва. Только Вы, только сознание близости к Вам может примирить меня с городом, который прежде я так любил и который теперь люблю так мало. С большим нетерпением буду ждать известий от Вас. Часто, часто смотрю я на браиловский альбом. Благодарю Вас, друг мой, за него от всего сердца. До свиданья, будьте здоровы, покойны, веселы.

Ваш П. Чайковский.

176. Чайковский — Мекк

Вербовка,
29 июля 1878 г.

Друг мой! Я виноват перед Вами. Обстоятельства сложились так, что я опять предпочел отложить мою поездку к Вам в Браилово. Причин тому очень много. Из них главная та, что не успел я окончить своей переписки и приняться усердно за н и ч е г о н е д е л а н и е, как получил корректуру всех трех действий «О н е г и н а». Нужно непременно, чтобы к осени опера эта вышла из печати. Между тем, ошибок оказалось несметное множество, и корректура требуется самая тщательная. Работа эта в высшей степени кропотливая, скучная, беспокойная, а я хотел бы быть в Браилове безусловно отдыхающим человеком. Я хотел бы отдаться там исключительно наслаждению природой и набираться новых сил. Вторая причина это, что 30-го числа отсюда уезжает в институт в Петербург племянница Анна, и сестра, которая будет очень тосковать по ней, умоляет, чтоб я остался еще несколько времени, дабы не соединились несколько разлук в одно время. Третья причина та, что Модест остается здесь еще до 5 августа, и мне не хочется ни терять возможности провести с ним его короткий отпуск, ни отнимать его от сестры, хотя я и мог бы, руководствуясь Вашим позволением, взять его с собой в Браилово. Ну, словом, уехавши отсюда теперь, я бы в Браилове не был свободен от забот и беспокойств, а мне этого решительно не хочется. Таким образом, после долгого раздумыванья я решился остаться в Вербовке до 5-го числа, потом поехать вместе с Модестом в Киев, где ему нужно быть по делу; оттуда заехать с ним же в Харьковскую губернию, в Сумы, где я взялся пристроить в гимназию племянника моего зятя, и, наконец, оттуда уже, расставшись с Модестом, отправиться в Браилов. Я так подробно излагаю Вам причины отложенной поездки потому, что мне очень совестно, что из-за меня браиловский дом не приводится в свое зимнее положение. Простите мне, ради бога, но отказаться от

поездки в Браилово я не могу, а ехать теперь было бы неблагоприятно для того отдыха, которому я хочу предаться в Браилове и который мне нужен, очень нужен[1].

Простите также за спешность этого письма. Я написал вчера Марселю Карловичу и просил его пересылать мне сюда письма, которые могут притти в Браилово от Вас, впредь до 5-го числа. Около 10-го я явлюсь в Браилово. Будьте здоровы, дорогой, милый друг.

Ваш П. Чайковский.

177. Мекк — Чайковскому

1878 г. июля 29—31. Женева.

Женева.
29 июля 1878 г.

Бесценный друг мой! Вчера получила Ваше письмо с фотографиями Вашего семейства. Тысячу раз благодарю я Вас за это удовольствие, мой милый, добрый друг. От портрета Александры Ильинишны я в совершенном восторге; что за милое, привлекательное выражение! И что за аппетитное созданьице малютка Юрий; это такая соблазнительная картинка, что видеть его лично было бы опасно. Вообще все личики Ваших племянниц и племянников одно другого милее, каждого хочется приласкать. Но все Ваше семейство, со вторым поколением включительно, чрезвычайно похожи друг на друга. А как молода Александра Ильинишна, — нельзя поверить, чтобы это была мать взрослых барышень, — et quelle sérénité d'âme * у нее отпечатывается на лице. Сколько лет маленькому Юрию? Он есть самый младший в семействе или есть еще моложе? Где находятся другие дети Александры Ильинишны? Как мне жаль, что нет портрета Льва Васильевича; чрезвычайно интересно видеть отца таких милых детей. Что, дети все блондины? На фотографии кажется, что они блондины с темными глазами. Еще и еще раз благодарю Вас, мой милый, хороший друг.

Я, наконец, добралась до Женевы, где, слава богу, нашла Сашу на ногах и в довольно хорошем физическом состоянии, но, конечно, с расстроенною душою. Плачет при каждом воспоминании о своем маленьком существе, а вспоминает несколько раз; к тому же и за мужа боится: он также грустит о ребенке, и нервное состояние его по этому случаю нехорошо, но все-таки я спокойнее уже потому, что они у меня на глазах. Маня становится забавнее с каждым днем; пройдется на какую-нибудь горку и

* и какая ясность души

Клавираусцуг оперы «Евгений Онегин» (1-е действие, 2-я картина).
Корректура, правленная П. И. Чайковским.

рассказывает, что он был в Интелякен (Интерлакен). Мать ему рассказывает, что мы в Бранлове катаемся на лодке; он ее спрашивает: «На Dampfbott?»*, потому что он привык здесь видеть пароходы. Женевское озеро хорошо, как всегда. Вчера Mont-Blanc горел, как золотой, на заходе солнца, а сегодня погода испортилась, пасмурно, по временам идет дождь, но теплота и мягкость воздуха упоительны. Вчера вечером мы были в органном концерте в соборе: здесь орган очень хорош, но органист очень плох. Я бывала прежде в этих концертах и, кроме хорошего органа, я люблю обстановку этих концертов. Она очень поэтична и таинственна. Высокий готический собор освещен весьма слабо, народу чрезвычайно мало, и церковь наполняется только звуками и раскатами органа и представляет другую какую-то жизнь, серьезную, глубокую, неподкупную.

Когда я писала это письмо, мне подали Ваше второе. Будьте уверены, милый, дорогой мой, что писать Вам есть величайшее для меня удовольствие. Вы это можете видеть из того, как я увлекаюсь, писавши к Вам: я никогда не могу написать Вам короткого письма; если и сажусь с таким намерением, то оно никогда не выдерживается. Я могу сказать, что больше этого я люблю только получать Ваши письма. Очень благодарю Вас, милый друг мой, за обещание сообщить мне о русских концертах в Париже. Я хотела бы знать программу каждого из них, для того чтобы выбрать, к которому поехать. Сейчас я прочла в русских газетах, что эти концерты будут 7-го, 14-го и 21-го сентября нового стиля, но программа их не сказана.

Я не оставила своего намерения провести зиму за границею, и мое здоровье все более и более указывает мне на необходимость жизни в теплом климате, но я не могу предрешать этого потому что я очень мало завишу от себя. Поэтому я стараюсь теперь устроить все обстоятельства так, чтобы это было возможно, не нанося ничему ущерба, но насколько мне это удастся, знает только судьба. На днях мы предполагаем проехаться в Chamonix. Далеких экскурсий делать нельзя, потому что Саша еще не может выезжать, а оставлять ее одну жаль. Вероятно, 7-го числа уедут мои мальчики-правоведы. Мне очень скучно подумать об этом; жаль этих бедных детей, когда после свободы и удовольствий им приходится опять садиться за книгу, опять трудиться в том возрасте, когда это мало представляет интереса. Коля занимается ежедневно своею латынью с репетитором. Все мои учителя и гувернеры находятся здесь со мною, так что нас садится за стол пятнадцать

* пароходе

человек, кроме немок, которые находятся при маленьких детях. Но я, так же как и Вы, нуждаюсь постоянно в уединении. Поэтому у меня есть свое отделение, в котором хотя ко мне и приходят каждые пять минут кто-нибудь из больших и малых детей, но все же я не нахожусь разом в таком большом обществе. При этом кстати я укажу Вам, милый друг мой, как долго мне приходится писать каждое письмо. Обыкновенно я принимаюсь за это, как только утром оделась и выпила свой кофе, что бывает около десяти часов. В это время ко мне начинаются визиты: то приходит поочередно вся моя публика здороваться, причем каждый что-нибудь поговорит, что-нибудь расскажет; потом то приходит Коля просить, можно ли взять паровую лодку для катанья, то Сашок спрашивает, можно ли купить такое-то путешествие, то Манюша приносит мне букет цветов и требует, чтобы я ему завела медведя с музыкою, то Юля приносит мне карточку от банкира и спрашивает меня, на который час велеть экипажам приехать, то Соня приходит спросить, с какого дня начать уроки, и т. д. и т. д., так что вот это письмо я пишу Вам, увы, третий день! После завтрака, который бывает в двенадцать часов, мы обыкновенно едем куда-нибудь и возвращаемся к обеду, к четырем часам. После обеда очень часто для Сашиного удовольствия мы играем в карты, — она большая до этого охотница. Обыкновенно партию составляют Саша, я, брат Александр и Пахульский, и я обыкновенно проигрываю, потому что играю очень рискованно; так, вчера проиграла сорок пять francs и третьего дня тридцать пять francs. Игра некрупная, а ей доставляет большое удовольствие.

Я посылаю Вам это письмо в Браилов, друг мой, потому что надеюсь, что Вы уже будете там, когда придет это письмо, так как я оканчиваю его.

31 июля.

Вы думаете, дорогой мой, что в нынешнем году Браилов не оставил во мне хорошего впечатления, так как была дурная погода,—то нет, напротив, он стал мне еще милее с тех пор, как Вы в нем пожили, и расставаться с ним мне было еще тем грустнее, тем более, что я так мало им пользовалась в нынешнем году. Что это Вы хворали, дорогой мой Петр Ильич? Как хорошо, что это прошло; а в деревне, где, вероятно, нет поблизости хорошего доктора, в особенности дурно. Я очень радуюсь, что Модест Ильич приедет к Вам, жаль только, что на короткое время. Я очень много думаю о Вас, мой милый друг, глядя на Женевское озеро. Я вспоминаю, как Вы жили в Clarens, как ходили в Gorges du Chauderon, мне кажется, что я

вижу даже, как Вы разговариваете с Вашею хозяйкою. Теперь я представляю себе Вас в Браилове, и как я завидую Вам, дорогой мой! Приходите, пожалуйста, почаще в мои комнаты. А заметили ли Вы, что мой мальчик больше открыт? В Вашем кабинете я очень люблю место у круглого столика, около двери в залу; я часто там сидела и думала об Вас. Я надеюсь, что в Браилове теперь хорошая погода. За границею хорошо, но т а м роднее. В Италии я очень хочу побывать, и если мне можно будет провести зиму за границею, то это будет именно в Италии. Сегодня опять ясная погода; у нас предполагается прогулка в шарабанах, — самим править лошадьми и ехать по правому берегу озера. Вчера мы ездили в Ferney [1] в очень дурную дождливую погоду, и съездили понапрасну, потому что нас не пустили осматривать комнату Вольтера, так как было воскресенье. Мои мальчики уедут отсюда с братом Александром и поедут на Париж, где остановятся дня на четыре посмотреть выставку. Мой Сашок очень большой натуралист и собрал премиленькую коллекцию бабочек и жуков в Браилове; руководит этим M. Grandclement, гувернер Макса и Миши. От Лиды я имею хорошие известия: она и дети, слава богу, здоровы. Маленького, новорожденного, назвали Max, Wilhelm. Она также собирается за границу. Музыкою я тут еще совсем не занималась: в таком содоме и гоморе невозможно, — а ноты привезла с собою.

До следующего письма, мой милый, бесценный друг. Будьте здоровы и не забывайте всем сердцем горячо любящую Вас

Н. ф.-Мекк.

На конверте посылаю Вам Ваш любимый цветок [2].

178. Чайковский — Мекк

1878 г. августа 2-5. Вербовка.

Вербовка,
2 августа 1878 г.

У меня как будто было предчувствие, дорогая моя Надежда Филаретовна, что к 1 августа я не попаду еще в Браилово. В последнем письме моем я изложил Вам причины, почему должен отложить поездку, а в самый тот день, когда я прежде предполагал выехать, прибавилось еще одно препятствие к выезду: я простудился и заболел. У меня жестоко болела спина, так что два дня и две ночи я провел очень мучительных, ибо тщетно пытался найти положение, в котором боль была бы менее чувствительна. Вчера мне стало лучше, а сегодня я

здоров или почти здоров. Таким образом, теперь мне предстоит исполнить ту программу, о которой я Вам писал в предыдущем моем письме, т. е. в субботу 5-го уехать отсюда с Модестом в Киев, в понедельник прибыть в Сумы, провести там дня два и уже потом ехать в Браилово. Так как я до сих пор еще не имел никаких известий от Вас, то не знаю, дойдет ли это письмо до Вас, если я его попрежнему адресую в Женеву. Лучше подожду Вашего письма. Если таковое уже имеется в Браилове, то Марсель пришлет мне его. Я узнал вчера из газет, что концерты Рубинштейна состоятся 7, 14 и 21 сентября по новому стилю, — примите это к сведению, милый друг.

У нас в Вербовке стало тише и менее людно. Племянница Анна уехала в воскресенье 30-го, и вместе с нею уехала также очень милая девушка, племянница моего зятя, гостившая здесь. С ней приключился маленький роман, героем которого невольно явился мой брат Анатолий. Девушка эта — невеста одного очень милого юноши. Они помолвлены уже три года тому назад, но свадьба не может состояться до тех пор, пока он не кончит своего образования. Положение это для пылкой хорошенькой молодой девушки очень щекотливо. Она ждет уже три года, и придется ждать еще. Случилось так, что она без всякого повода со стороны брата влюбилась в него, но так как совесть терзала ее сердце, то она не придумала ничего лучшего, как откровенно написать об этом жениху. Тот пришел в отчаяние, написал ей исполненное упреков письмо. Ей стало и стыдно и жалко... словом, произошел целый маленький роман, к счастью, не кончившийся разрывом. Можно надеяться, что ее увлечение пройдет и что жених простит и утешится. Но были минуты очень неприятные; она едва не заболела.

Погода здесь наступила превосходная, совсем летняя. Дай бог, чтобы она продержалась до моего прибытия в Браилов. Вчера вечером я сыграл своим сожителям всего «Онегина». Впечатления их были самые для меня благоприятные. Мне совестно признаваться в этом, но не скрою от Вас, что я сам наслаждался не менее их, и были минуты, когда я должен был останавливаться от волнения, а голос отказывался петь вследствие приступа слез к горлу. Но зато чем более я думаю об исполнении этой оперы, тем более убеждаюсь, что оно невозможно, т. е. такое исполнение, которое соответствовало бы моим мечтам и замыслам. Особенно Татьяна и Ленский меня ставят втупик. Поэтому я склонен думать, что, за исключением консерваторского исполнения, на которое я смотрю как на пробу и ученическое упражнение, опера моя никогда

не увидит сцены. Я никогда не буду хлопотать о постановке ее, ибо в случае моей инициативы дирекция по своему обыкновению обставит оперу кое-как. Если же дирекция будет просить у меня этой оперы, то требования мои будут очень велики.

В корректуре еще множество ошибок; придется сделать еще две корректуры, но к половине или к концу сентября опера будет готова.

Останавливаюсь пока. Буду продолжать это письмо по получении от Вас каких-нибудь известий и адреса.

4 августа 1878 г.

Известий о Вас все еще нет, и поэтому я еще подожду отсылать Вам это письмо. По обычаю своему, вечно о чем-нибудь беспокоиться и чем-нибудь терзаться я теперь сокрушаюсь, что не попал в Браилово во-время, т. е. тотчас после того, как Вы уехали. Боюсь, что это причиняет беспокойство Вашим слугам, что это сопряжено с какими-нибудь неудобствами. Но что мне было делать?

Хотел бы я, чтоб кто-нибудь объяснил мне, что означают и от чего происходят те странные вечерние припадки обессиления, о которых я Вам однажды писал и которые в большей или меньшей степени повторяются со мной ежедневно. Я не могу на них особенно жаловаться, так как в последнее время обычным следствием их бывает какой-то глубокий почти летаргический сон, а крепкий сон — одно из величайших благ и наслаждений. Тем не менее, самые припадки очень тягостны и неприятны, особенно та неопределенная тоска о чем-то, желание чего-то, охватывающее всю душу с невероятной силой и оканчивающееся совершенно определенным стремлением к н е б ы т и ю, soif du néant! *. А вероятнее всего, что причины этого психологического явления самые прозаические; это совсем не болезнь д у ш и, а, как мне кажется, следствие дурного пищеварения и остатки моего желудочного катара. Увы! заблуждаться нельзя насчет влияния плоти на дух. Весьма часто лишний соленый огурец имеет непосредственное влияние на самые высшие отправления нашей духовной деятельности. Простите, друг мой, что надоедаю Вам сетованьем на здоровье, которое тем более неуместно, что, в сущности, я совершенно здоровый человек, т. е. говоря относительно, ибо те маленькие б о б о, на которые я жалуюсь, не заключают в себе ничего серьезного. А что я нуждаюсь в отдыхе, так это верно. И в Браилове я его, конечно, найду. Господи! как меня тянет в этот милый дом,

* жаждой небытия!

в это милое место! Между тем, жаловаться на Вербовку я никак не могу. Мне здесь очень хорошо, и нельзя себе представить для меня более приятного общества, как здешнее. Но в том-то и дело, что от времени до времени нужно быть без всякого общества.

Мы выезжаем завтра.

5 августа.

Простите, что доканчиваю карандашом. Получил из Браилова Вашу женевскую телеграмму. Адресую письмо это в Hôtel National. Через час еду на железную дорогу. Дней через пять или шесть буду в Браилове. До свиданья, мой друг. Я рад, что Вы здоровы и все благополучно.

П. Чайковский

179. Чайковский — Мекк

1878 г. августа 8. Ворожба.

Ст. Ворожба,
Курско-киевской ж. д.

Дорогая Надежда Филаретовна! Пишу Вам только несколько слов со станции В о р о ж б а, где я с братом ожидаю поезда на Сумы. Я выехал, как предполагал, из Вербовки в субботу 5-го числа, 6-е и 7-е до вечера провел в Киеве, который в это время года не представляет никакой особенной прелести. Я очень вздыхал по Вербовке, по чистому воздуху, тишине и т. д. Через два часа поезд отправляется. В четверг я выеду и, минуя Киев, приеду в пятницу вечером в Жмеринку, куда я просил по телеграфу Марселя прислать мне лошадей. Из телеграммы, которую я получил от него по почте в день выезда из Вербовки, я усматриваю, что теперь уже меня должно ожидать в Браилове письмо Ваше. Мне очень грустно, что я получу его не во-время вследствие невольной задержки моей поездки к Вам, но я очень рад был знать, что Вы здоровы и что все благополучно.

Какое мрачное время мы переживаем! Какая ужасная вещь убийство М е з е н ц о в а! [1] Страшно заглядывать в будущее! Воображаю, как злорадствует иностранная пресса по поводу этого трагического происшествия.

До свиданья, друг мой.

Ваш П. Чайковский.

180. Чайковский — Мекк

Браилов,
12 августа 1878 г.

Наконец я в Браилове, моя милая, добрая хозяйка. Я решительно не в состоянии сказать Вам, до чего я хорошо, легко, тепло себя чувствую здесь. Я приехал вчера вечером. Разумеется, при свойственной мне болезненной застенчивости, я сначала чего-то конфузился и чем-то стеснялся. Мне совестно было, и что Ефим меня приехал встретить, и что весь дом был освещен ради моей особы, и что я один среди этой роскошной обстановки, и что для меня приготовлен un festin de Balthazar, и т. д. и т. д. Точно так же было и в первый раз, только гораздо сильнее. Тем не менее, я наслаждался сознанием того, что я в Браилове, что я у Вас, что мне предстоит провести несколько чудных дней. От волнения и, может быть, усталости я долго не мог заснуть, раскрыл окно своей милой комнаты и то наслаждался тишиной великолепной ночи, то сидел на знакомом Вам диване, мечтал и думал. Потом заснул крепким хорошим сном и, проснувшись сегодня, почувствовал себя д о м а, как будто я и не уезжал отсюда. После купанья и кофе я долго бродил по саду, а теперь сел писать Вам.

Невозможно передать Вам сущность тех чудных ощущений, которые я испытываю. Гуляя сейчас, я старался дать себе отчет, почему мне так хорошо здесь. Во-первых, это потому, что здесь есть много прелести в самой местности, в доме и в обстановке; во-вторых, потому, что я о д и н, и, в-третьих, потому, что я сознаю себя у В а с. Да, друг мой, нигде так ясно, как в Браилове, я не чувствую, с какой силой я люблю Вас, не сознаю все значение того счастья, которое доставляет мне Ваша дружба. Я нисколько теперь не раскаиваюсь, что так долго откладывал приезд мой сюда. В настоящую минуту к счастливым ощущениям моим нисколько не примешивается грусть от разлуки с братьями, которая в первое время после расставания всегда бывает довольно жгучая и мучительная. Я не грущу о Модесте, потому что он соскучился о своем питомце и с радостью возвращался домой. А Анатолия я увижу в конце августа в Петербурге, куда я хочу ехать на один или два дня, чтоб повидаться с отцом и с ним. День сегодня чудесный. Я сижу на балконе, выходящем в сад, и пишу Вам в виду массы распустившихся георгин, великолепных роз, еще кое-где красующихся между массой других цветов. В первый мой приезд была весна; цвели сирени и пели соловьи. Это — чудное время. Но и теперь хорошо.

Хотя тепло, но осень уже дает себя несколько чувствовать; на деревьях кое-где появляется желтизна, в воздухе чувствуется несколько осенняя свежесть. Я люблю осень почти так же, как весну. Одиночеством своим я в полном смысле слова упиваюсь. Как ни хорошо жить среди дорогих и близких людей, но от времени до времени жить одному необходимо. Я с гораздо большим основанием, чем Глинка, могу назвать себя м и м о з о й. Насколько видно из его мемуаров, он некстати дал себе такое прозвание. В обществе он был, как рыба в воде. Я же живу настоящей, полной жизнью, наслаждаюсь не отрицательным, а действительным счастьем только тогда, когда безусловно обеспечен от соприкосновения с людьми, что однакоже нисколько не мешает мне любить нескольких представителей человеческой породы больше собственной жизни.

Я нашел здесь Ваше первое женевское письмо, мой дорогой друг. Очень радуюсь, что лица моих родных понравились Вам. Прибавлю, что у них лица — з е р к а л а д у ш и х. Сестра моя — чудесная женская натура, а дети ее — чудные дети. Ю р и ю минуло два года 24 апреля. Ах, что это за чудный, восхитительный ребенок, как он обворожительно болтает, какой он умный, добрый! Он самый младший из детей сестры. Если я не ошибаюсь, у Вас полный состав их. Старшая — Таня, потом идут Вера, Анна и Наташа и затем три мальчика: Митя, Володя и Юрий. Все эти милые существа живут дома, за исключением Анны, находящейся в Петербурге, в Патриотическом институте, и приезжающей летом на каникулы. Сестре было очень тяжело расставаться с ней, но обстоятельства заставили ее предпочесть институтское образование домашнему; эта же участь предстоит и Наташе. Старшие две учились в женском высшем училище в Ж е н е в е, где сестра провела несколько лет по причине слабого здоровья своего и одного из мальчиков, М и т и, который в детстве не мог переносить каменского воздуха и климата. При первой возможности я пополню Вашу коллекцию их портретов карточкой зятя.

К величайшему моему сожалению, я не могу Вам дать никаких известий насчет программы русских концертов. Юргенсон не имеет насчет этого точных известий, но нет сомнения, что в каждом из них будет что-нибудь мое. Перемены в устройстве браиловских комнат великолепны. Я очень доволен, что м а л ь ч и к в Вашем кабинете теперь виднее. Какая прелесть эта статуэтка! Не насмотришься на нее. Как хороши две Ваши комнаты. Как я люблю сидеть в них и живо представлять себе моего несравненного друга среди этой обстановки. Как жаль, что так недолго приходится Вам жить в Браилове. Если Вы реши-

тесь зиму провести в Италии, то побываете ли все-таки в Москве? Останется ли Александра Карловна в Швейцарии на осень и зиму? Если да, то не наняла ли бы она в и л л у Р и ш е л ь е в Clarens? Смело беру на себя ответственность за рекомендацию. Нельзя себе представить более удобного, приятного и покойного жилища.

Я буду предаваться в Браилове праздности. Порядок будет такой же, как и в Киеве. Я нашел Марселя Карловича очень бледным и худым. Он жалуется на нездоровье. Я опять не могу не отозваться с самой теплой благодарностью о теплом гостеприимстве, которое он мне оказывает от Вашего имени.

Я ужасный, страстный любитель купанья. Сегодня в первый раз я познакомился с браиловским купаньем и остался в совершенном восторге от него. Это прибавило еще новую прелесть моему пребыванию здесь.

Бедные Ваши мальчики! Читая в письме Вашем о их возвращении в Училище, я живо вспомнил свои ощущения, когда с каникул возвращался в заведение. Надеюсь, что ко времени прихода этого письма Вы уже будете иметь известие об удачной переэкзаменовке Вашего сына. До свиданья, дорогая, милая моя! Я буду здесь вести дневник и отошлю Вам его в конце будущей недели.

Ваш П. Чайковский.

181. Чайковский — Мекк

Браилов,
13 августа 1878 г.

Праздность, когда она оправдывается необходимостью отдыха, когда она заслуженная награда за прилежную работу,— очень приятная вещь, а особенно когда к этому присоединяется полная свобода относительно распределения времени. Весь вчерашний день я посвятил брожению по дому, по саду, заходил и в Мариенгай, где однакож мне на сей раз не понравилось, так как какие-то неизвестные личности находились там и шумели. Довольно много играл. К нотам, уже известным мне, прибавилось только, если не ошибаюсь, несколько романсов. Из них я проиграл четыре очень плохих — Н а п р а в н и к а, шесть очень хорошеньких — Д а в ы д о в а. Я нашел также гамбургскую контрафакцию моих романсов с плохим немецким переводом текста. Есть лейпцигское издание моих романсов, очень хорошее. Между прочим, я замечу, что киевские музыкальные торговцы делают очень незаконное дело, выписывая

заграничные издания русских авторов. Закон строго запрещает нарушение прав художественной собственности.

Неоднократно посещал я Ваши собственные аппартаменты и сидел в них то с книгой в руках, то просто мечтая, соображая и строя воздушные замки. Между прочим, я все стараюсь вооружиться мужеством для предстоящего мне водворения в постылой Москве и придумываю способы устроить жизнь как можно лучше. Я пришел к заключению, что лучше всего, если я сразу изолирую себя и по возможности буду жить один. Я мечтаю понемногу составлять себе библиотеку, ибо, чем становлюсь старше, тем более убеждаюсь, что сообщество книги приятнее и беседа с ней полезнее, чем сообщество и беседа людей. Беседа приятна только с такими людьми, отношения к которым не обязывают к разговору, т. е. с близкими, а таких, т. е. действительно близких, в Москве, кроме Вас, у меня нет. С Вами я буду беседовать письменно, разговор же обязательный, т. е. занимание гостя, есть всегда переливание из пустого в порожнее. Величайший враг мой есть мой гость. Я всегда их избегал по мере возможности. Теперь буду неумолим. Сегодня утром получил Вашу депешу из Интерлакена. В 1870 г. я провел целое лето в этом прелестном месте. Непременно побывайте, дорогой друг, на Scheinnige Platte и в Mürren. Это два грандиознейших вида из всех мной виденных. Я очень рад, что Вы там. Не будете ли Вы пить petit-lait? *. Это очень хорошее лечение. Вчера я отправил Вам письмо в Женеву (poste restante). Надеюсь, что Вы его получите. Приказание Ваше я исполнил, т. е. сообщил в Управление Ваш адрес. Сегодня погода очень неблагоприятная. С утра дует холодный, почти осенний ветер. Я совершил огромную прогулку пешком в лес, находящийся по ту сторону железной дороги, и нашел несколько прелестных мест. Возвратился домой около шести часов и, к изумлению, увидел, что Ефим с экипажем ожидает меня. Оказалось, что я забыл отменить распоряжение, сделанное Марселем еще утром, в надежде, что к вечеру погода поправится. Нечего делать! Несмотря на холод, пришлось поехать на скалу, но я нисколько не раскаиваюсь. Там я пил чай, защищенный от ветра лесом, и с величайшим удовольствием погулял по берегу речки. Кстати о речке. Я не могу достаточно нахвалиться здешним купаньем, и если б я не боялся переступить должную меру, то, кажется, купался бы пять раз в день. Ограничиваюсь двумя купаньями: одно утром прямо с по-

* сыворотку?

стели, другое перед обедом. В заключение опять не могу не поблагодарить Вас за наслаждения, которые доставляет мне Браилов. Я — один из людей, которые очень нечасто могут сказать про себя в данную минуту: я счастлив. Здесь я могу это сказать: да, я счастлив dans toute la force du terme *.

До свиданья, милый, горячо и нежно любимый друг.

Ваш П. Чайковский.

182. Чайковский — Мекк

1878 г. августа 14-17. Браилов.

Браилов,
14 августа [1878 г.]

Вчера целый день дул несколько осеннего характера ветерок, а сегодня льет дождь с небольшими перерывами, которыми я пользуюсь для прогулок по парку в галошах. Разумеется, было бы лучше, если б небо очистилось и выглянуло солнышко, но я мирюсь и с таким пасмурным днем. Материалу для чтения бездна. Я привез с собой несколько хороших книг и в том числе «Histoire de ma vie» George Sand'a. Написана она довольно небрежно, т. е. без последовательности, как рассказывает умный болтун, беспрестанно увлекающийся воспоминаниями, забегающий вперед и кидающийся в сторону. Но зато много искренности, совершенное отсутствие рисовки и необыкновенно талантливое воспроизведение личностей, среди которых она провела свое детство. В Ваших шкафах тоже немало книг, от которых с трудом отрываюсь, когда, усевшись на полу около шкафа, принимаюсь за пересматриванье их. Между прочим, я нашел у Вас превосходное издание Musset, одного из любимейших моих писателей. Сегодня, перелистывая эту книгу, я увлекся драмой «André del Sarto» и так и просидел на полу, пока не прочел всю пьесу. Я до страсти люблю все драматические вещи Musset. Сколько раз я мечтал сделать либретто из какой-нибудь его комедии или драмы! Увы! по большей части они слишком французские, немыслимые и теряющие всю свою прелесть, будучи переведены на чужой язык, например, «Le chandelier» или «Les caprices de Marianne». Те же, которые менее локальны, например, «Carmosine» или «André del Sarto», лишены драматического движения или слишком переполнены философствованиями, как, например, «La coupe et les lèvres». Не постигаю, каким обра-

* в полном смысле слова

зом французские музыканты до сих пор не черпали из этого богатого источника.

Моему с о б а к о л ю б и ю здесь обильная пища. Вчера, гуляя по парку, я был сопровождаем д е в я т ь ю собаками, и сегодня повторилась та же история. Одна из них особенно назойливо следует за мной и даже беспрестанно через отворенные окна проникает в комнаты, а ночью она ложится около окон, пищит и царапается, желая спать в моем сообществе. Оказалось, что эта милая собачка (белая с черными пятнами) принадлежит Коле. Не бойтесь, друг мой, за мебель. Я ее, т. е. собаку, упорно, упорно выгоняю каждый раз, как она с чисто собачьей назойливостью появляется в комнатах.

Мне очень хорошо, весело, покойно на душе. Немножко огорчило меня только письмо от Анатолия, который хандрит, тоскует и предается меланхолии. Он очень нервен, но нехорошо то, что он недостаточно б е р е т н а с е б я и распускается в слезоточивых припадках неопределенной тоски. Я ему написал маленькое назидание. В сущности, ему нет никакой серьезной причины тосковать. Любовь его к m-lle Панаевой давно испарилась. Все его близкие здоровы, благополучны дела его идут хорошо. В конце месяца мы с ним увидимся, и я много буду говорить ему по этому поводу. Я убежден, что человек может побеждать в себе нервную чувствительность. И хотя я в этом случае грешу не меньше брата, хотя я не менее его лишен способности побеждать в себе подобного рода припадки, но он десятью годами моложе меня, и ему легче бороться со своей натурой.

15 августа, после обеда.

Сегодня утром по дороге к купальне я встретил одного из моих друзей собачьей породы (борзой пес, принадлежащий, кажется, Ивану Ивановичу) с окровавленною мордой. Бедная собачка была заперта в комнате, захотела выскочить через окно, сломала стекло и сильно себя поранила. К счастью, глаз цел, но я боюсь, чтоб она его не лишилась, если рана около глаза разболится.

Погода несколько лучше; по временам солнце вылезает из туч, и есть надежда, что к вечеру разъяснится. Я должен покаяться перед Вами, милый друг мой. Мне так захотелось утром набросать эскиз оркестрового скерцо, что я увлекся и часика два поработал [1]. Таким образом, я нарушил слово посвятить браиловское пребывание безраздельно отдыху. Но это меня очень мало утомило. Тем не менее, воздержусь от дальнейших авторских поползновений.

16 августа, вечером.

Погода вчера к вечеру разгулялась так, что можно было совершить столь любимую мной поездку в Тартаки. Это поистине очаровательное место, особенно одна тропинка по берегу оврага, с ручейком в глубине его. Пил чай на том месте, где Вы последний раз обедали. Возвратившись домой, я заметил, что потерял взятое с собой пальто. Нужно быть рассеянным, как я, чтоб потерять часть своего костюма. Сегодня Ефим ходил в лес и отыскал его.

Я опять возвращаюсь к Alfred'y Musset. Перечтите, друг мой, его «Comédies et proverbes» (они изданы отдельно, и Вы найдете их, наверное, в Интерлакене). Особенно обратите внимание на «Caprices de Marianne», «Il ne faut pas badiner avec l'amour» и на «Carmosine». Скажите, не просится ли все это на музыку? До чего все это полно мыслей, остроумия; до чего все это глубоко прочувствовано; как это изумительно изящно! И, тем не менее, читая его, Вы чувствуете, что все это писалось легко, не ради идеи, заранее насильственно вложенной в художественный материал и парализующей свободное развитие действия, характеров и положений. И потом, как мне нравятся эти чисто шекспировские анахронизмы, допускающие разговор об искусстве певицы Грози при дворе какого-то фантастического Баварского короля, принимающего у себя герцога Мантуанского. Тщетной погони за локальной правдой у Мюссе вовсе нет, как и у Шекспира, но зато у него столько же общечеловеческой, вечной и не зависящей от эпохи и местности правды, как и у Шекспира. Только рамки его уже и полет несколько ниже. Но в общем едва ли кто из авторов, писавших для сцены, так близко подходил к Шекспиру. Особенное впечатление сделала на меня пьеса «Les caprices de Marianne», и сегодня я целый день думаю о том, как бы ее приладить к оперному сценариуму. Вообще мне необходимо будет остановиться на каком-нибудь оперном сюжете. К «Ундине» я охладел. «Ромео и Юлия» очень пленяет меня, но, во-первых, это ужасно трудно, а во-вторых, Гуно, написавший на этот сюжет посредственную оперу, все-таки пугает меня.

Вследствие ли того, что я так люблю Браилов, или оттого, что я пользуюсь отдохновительным одиночеством, но только здоровье мое как-то особенно хорошо. Я чувствую себя бодрым, полным свежих сил, отлично сплю и не страдаю нисколько

теми вечерними припадками de prostration*, о которых я Вам писал.

Я еще ничего не говорил Вам о некоторых переменах, сделанных Вами в убранстве дома. Они превосходны.

17 августа, вечером.

Вчера я ездил кататься во Владимирский лес и пил чай у того самого дерева, у которого и Вы сидели в последний раз. Было, к сожалению, пасмурно и холодно. Сегодня совершилась прогулка в зверинец, невполне удавшаяся, так как совершенно неожиданно налетела туча и страшно промочила меня. Зато потом небо очистилось, в воздухе пронеслись какие-то благоухания, и я, несмотря на сырость, все-таки провел там часа два. Видел Ваших серн и любовался новыми рогами у тех самых козлов, которых в мае я видел безрогими. Кстати о козах. Сегодня Марсель за обедом угощал дикой козой, убитой лесничим. Я в первый раз в жизни вкушал это великолепное мясо.

У Вас есть здесь альбом, наполненный портретами Вашего семейства. Я очень часто в подробности изучаю все эти лица людей, столь близких моему сердцу и в то же время в действительности неизвестных мне. Мне очень нравятся лица детей Ваших, но особенно симпатичны Милочка и младший из правоведов. Кстати, выдержал ли он экзамен? Из взрослых Ваших детей мне особенно нравится своим чисто русским складом лица графиня Беннигсен. Я очень люблю такие лица.

Завтра я уезжаю и считаю лишним говорить, что уезжаю не потому, что хочется уехать, а потому, что надо. Я должен пробыть несколько дней в Вербовке, несколько дней в Петербурге и успеть устроить в Москве всю процедуру переезда на новую квартиру. Отныне потрудитесь, милый друг мой, адресовать в Москву, в консерваторию. С нетерпением ожидаю письма Вашего. Благодарю Вас за Браилово. Я не прощаюсь с ним. Я еще буду здесь, не правда ли?

Я все-таки не могу сообщить Вам программы русских концертов. До свиданья, неоцененный, милый друг.

П. Чайковский.

---

* уныния

183. Мекк — Чайковскому

1878 г. августа 14-18, Интерлакен.

Интерлакен,
14 августа 1878 г.

Вчера получила Ваше письмо от трех чисел, мой милый, бесценный друг, и благодарю Вас от всего сердца, что Вы не оставляете меня без известий о себе, не отнимаете у меня самого большого моего удовольствия — получать Ваши письма. Меня же простите, пожалуйста, мой добрый друг, за неточное соблюдение нашего уговора, от которого хотя Вы и освобождали меня, но я-то желала непременно исполнять его. Но, действительно, в путешествии; да еще с такою огромною компаниею, это оказывается невсегда возможным; в особенности теперь, когда мы переехали в Интерлакен, мы не сидим ни одной минуты дома.

17 августа.

Я не окончила еще последней фразы, когда меня оторвали от письма, и до конца дня я не могла присесть за него, а на другой день рано утром мы уехали в горы, к подошве Blümlisalp, в Kandersteg, и теперь только что вернулись, и я нашла здесь Ваше письмо из Ворожбы, мой дорогой друг.

События у нас в России меня приводят в отчаяние. Я не вижу средств против этих негодяев, нарушителей порядка и чужого спокойствия, так как полиция даже в Петербурге оказалась мифом. Меня невыразимо возмущает, что убийца Мезенцова до сих пор не пойман; вот, это оправдание и аплодисменты г-же Засулич приносят свои плоды очень быстро. Я всегда нахожу, что правительство без помощи общества ничего не может делать, а что в настоящее время у нас само общество покровительствует революции, бессознательно, конечно, потому что ведь наше русское общество именно отличается неясностью сознания, отсутствием системы; поэтому мы всегда и перехватываем через край, а как гром грянет, тогда принимаемся креститься. Так и тут. Засулич на руках вынесли из окружного суда, а теперь, как убили Гейкинга[1] и зарезали Мезенцова, так принялись адресы писать, а ни того, ни другого не надо, а просто общество само должно презирать и уничтожать всяких Засулич и подобных ей, а она теперь благодушествует в Женеве. Рошфор при ее приезде устроил ей манифестацию, прославлял ее подвиг, и ей живется там отлично, в то время когда в России льется кровь невинных жертв ее геройства и беспечности русского общества. Когда же мы возьмемся за ум, перестанем пошличать и станем

серьезнее! Но этот Петербург, этот чухонский город, как я его ненавижу! Вообще не тянет теперь в Россию и страшно за близких, которые там находятся.

Что это Ваше здоровье все нехорошо, дорогой мой? Вы совершенно верно определяете, что желудок играет в нем огромную роль, и Вам бы надо о ч е н ь обратить на него внимание. Что бы Вам в Киеве обратиться к доктору Мертингу? Он очень сведущий врач и очень хороший человек, я его весьма уважаю и доверяю ему. Он без необходимости не будет Вас начинять лекарствами, а даст только то, что будет несомненно Вам полезно. Я из экскурсии на Kandersteg приехала с насморком, больным горлом и головою. Погода ужаснейшая, а пережидать ее невозможно, потому что она все лето такая. Также у нас хворает в настоящее время маленький Маня желудочком, и Саша, конечно, в больших заботах. Она теперь после потери других детей еще больше боится за единственного пока сына, не оставляет его без себя ни на одну минуту, так что мы ездили в горы без нее.

Мы пробудем в Интерлакен, вероятно, до 24 августа. Тогда Беннигсены должны вернуться в Россию, и мы или поедем их провожать до Кельна и оттуда в Париж или прямо в Париж из Интерлакен, но вернее первое. Адресовать Ваши письма прошу Вас, мой милый друг, еще сюда, потому что мне перешлют их по месту нахождения. Мои мальчики уже в Петербурге; сейчас я получила от них телеграмму о приезде. Меня очень беспокоит Колина переэкзаменовка; я еще не знаю, когда она будет. Теперь с ними пробудет некоторое время брат мой Александр, а потом, до приезда Саши, они останутся на попечении старой графини Беннигсен, матери моего зятя. Швейцария не так хороша в нынешнем году, потому что погода бессовестно дурна, хотя все-таки Rheinfall и освещение Giessbach'а бенгальскими огнями произвели на меня восторженное впечатление. А Вы теперь в Браилове, дорогой мой. Боже мой, как бы я хотела очутиться там же! Вчера я получила письмо от Ивана Ивановича, в котором он мне пишет о Вашем приезде. Теперь я попрошу Вас поклониться моему милому Браилову, который мне еще милее и дороже с тех пор, как Вы его посещаете, мой несравненный друг. Я покупаю здесь картины, виды Швейцарии и другие вещи для Браилова и с особенным удовольствием думаю, что Вы будете смотреть на них. Как меня интересует Ваша литургия, мой милый друг, а также и «Онегин»! Скажите, Петр Ильич, может исполняться Ваша литургия при богослужении в церкви, и есть ли какой-нибудь обязательный стиль, правила для сочинения православной

церковной музыки? Все существующие до сих пор, кажется, одного стиля, одного характера, и это очень однообразно и неинтересно; то ли дело католические Stabat mater'ы, messes solennelles, requiem'ы и вся церковная музыка, — там фантазия свободна.

Извините, дорогой друг мой, за такое испачканное письмо, но мое простудное состояние тому причиною. До свидания, дорогой, несравненный мой Петр Ильич. Дай бог, чтобы Вы были здоровы и спокойны. Не забывайте всем сердцем любящую Вас

Н. ф.-Мекк.

Из того маленького романа, который Вы мне описываете, милый друг мой, я вывожу такое заключение, что было бы хорошо, если бы Анатолий Ильич также почувствовал симпатию к той девице, которая в него влюбилась, и соединились бы они на вечное счастье и любовь, а то зачем же ей выходить за одного, когда у нее в сердце другой. Пусть лучше будет хорошо двоим, а одному в р е м е н н о дурно, чем двоим в с е г д а дурно и одному тоже нехорошо с безнадежною любовью. Нигде так математика не может быть полезна, как в любви: сейчас можно сделать выкладку и получить правильный вывод, а философия, в особенности такая, как у князя Влад. Мещерского, приводит только к круговому страданию и производит прогрессию пустых коробочек. Я буду очень рада, когда узнаю, что Анатолий Ильич излечился от своей любви к m-lle Панаевой, если в ней явится надежда. А Модест Ильич молодец, что продолжает свою повесть; это также не под влиянием ли любви?

Еще раз до свидания, мой милый, хороший друг. Не получали ли Вы писем от известной особы? Не забудьте, пожалуйста, написать мне Ваш адрес.

18 августа.

Я еще не запечатала своего письма к Вам, как получила Ваше из Браилова, мой бесподобный друг. Нельзя выразить того глубокого впечатления, какое на меня производит Ваше расположение к Браилову и выражения дружбы ко мне. Читая их, я чувствую такую страстную привязанность к Вам, Вы так милы и дороги мне, что слезы выступают у меня на глазах и сердце дрожит от восторга. Боже мой, как я благодарна Вам за такие минуты, как светлее и теплее стала для меня жизнь, как многое вознаграждает мне Ваше отношение, как многое искупает такая натура, как Ваша! Зачем Вы не

можете так согревать себя, как греете чужую жизнь; кому бы и быть счастливым, как не тому, кто может доставлять столько счастья другому. Однако Вам нет счастья, — фатум, фатум! Где бы я ни была, нигде не проходит дня без того, чтобы я не думала много о Вас. Теперь же, когда Вы в Браилове, моя мысль неотступно при Вас, мое сердце неотлучно с Вами, я живу также в Браилове. Как бы мне хотелось, чтобы Вы подольше-подольше там пожили. Катаетесь ли Вы на лодке? Это одна из любимейших забав моя и Юлина. Погода здесь продолжает быть очень дурная. Как я рада, что Вам нравится браиловское купанье,—я считаю его весьма полезным для здоровья; как бы мне хотелось, чтобы Вы совсем поправились здоровьем. Если я останусь на зиму в Италии, то приехать в Москву мне будет нельзя, потому что это будет опасно для моего здоровья, а так как это пребывание в Италии вообще есть только вопрос здоровья, то и нельзя рисковать. Саша не останется в Швейцарии, потому что на их попечении мои мальчики, и они возвратятся в сентябре в Петербург.

До свидания, бесценный мой, безгранично любимый друг. Жму Вам обе руки. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

184. Мекк — Чайковскому

Телеграмма.

1878 г. августа 19. Интерлакен.

Envoie lettre à Brailow. Tout va bien chez moi, reste encore huit jours Interlaken *.

Meck.

185. Мекк — Чайковскому

Интерлакен,
22 августа 1878 г.

1878 г. августа 22-23. Интерлакен.

Милый мой, несравненный! Хочу на этот раз написать Вам коротенькое письмо (и поэтому беру большой лист, можете Вы мне заметить, но это именно для того, чтобы ограничиться одним письмом), потому что сейчас мы собираемся итти на Scheinige Platte, и я боюсь опоздать.

---

* Посылаю письмо в Браилов. У меня все благополучно, пробуду еще восемь дней в Интерлакене

Вчера я получила Ваше письмо в форме журнала, милый друг мой, и оно доставило мне несказанное удовольствие. Жаль, что погода была дурна при Вас; это многое портит, и окружающую природу и расположение духа самого человека. Собака, которая к Вам так привязалась (Cara), действительно принадлежит Коле и есть весьма любящее существо. Она была так привязана к Коле, что, когда он уезжал кататься, она визжала все время без него, и часто приходилось ее брать с собою на лодке, потому что она ни за что не хотела оставаться. Какое невыразимое наслаждение для меня представлять себе Вас на тех же самых местах, где с такою любовью, с такою сладкою тоскою сживала я во Владимирском лесу и в Тартаках. Какую двойную прелесть имеет для меня Браилов теперь! Если бы я могла на Вас сердиться, и если бы предмет Вашего греха не был так дорог моему сердцу, то я бы пожурила Вас за то, что Вы не выдержали полного отдыха в Браилове, но я как подумаю, как должно быть хорош тот оркестровый Scherzo, для которого Вы согрешили, так мне хочется приласкать Вас, а не бранить, мой дорогой.

Однако я все не прихожу к главному предмету моего письма. Это вот что. Вам надо искать в Москве новой квартиры, то не хотите ли Вы, друг мой, взять ее у меня, в виде всего дома, на Рождественском бульваре, в пятьдесят две комнаты, со всеми роялями, органами, картинами, фарфорами и проч. и проч., одним словом, не хотите ли быть моим милым, дорогим гостем в Москве (как были в Браилове) на все время моего отсутствия из Москвы? Для специального обитания я предлагаю Вам мое отделение комнат в левом флигеле дома с роялем Steinway и прекрасным видом на озеро Lecco. Я живу в этих комнатах периодически, потому что ужасно их люблю, они такие уютные. Знаете что, мой милый: сходите ради прогулки в мой дом и посмотрите, не будет ли Вам там удобно на некоторое время. Эти комнаты во флигеле я приказала уже приготовить на всякий случай для Вас и сделала распоряжение к знакомому Вам Ивану Васильеву о том, что если бы Вы пришли в дом, то чтобы никто Вас не беспокоил сопровождением по дому. Но главный дом Вы найдете на летнем положении, хотя скоро и его приведут в порядок. Если Вы поселитесь в моем доме, то Вы будете там в таком же уединении, как в Браилове. В московском доме у меня есть Иван Васильев, который есть то же, что Марсель в Браилове; он очень честный, приличный и спокойный человек, и Вы будете иметь дело только с ним, и больше никто к Вам не будет заглядывать, и Вы будете пользоваться всем домом. А если к Вам последует вопрос от Рубинштейна, каким образом

случилось Ваше поселение в моем доме, то Вы скажете ему, что брат мой Александр предложил Вам это, так как дом пустой в настоящее время; но никак не надо перед ним выдавать наше знакомство, а то пойдут интриги. Итак, мой милый, дорогой, я буду очень рада, если Вы примете мое приглашение—московский дом также получит новый свет и прелесть для меня. В настоящее время поедет в Браилов на несколько дней с семейством мой сын Володя, а в конце сентября будет там проездом за границуЛида с семейством. Я, вероятно, уеду отсюда 25-го, в субботу.

23 августа.

Я все-таки не успела кончить Вам этого письма вчера. Поэтому могу сегодня очень, очень поблагодарить Вас, милый друг мой, за совет итти на Scheinige Platte: это очаровательная прогулка, и погода была самая удачная. На Mürren мы не успеем съездить, и мне это очень жаль. За время нашего пребывания в Интерлакене мы были на Giessbach, на Wengernalp через Lauterbrunnen и сошли в Grindelwald, потом в Kandersteg и у подошвы Blümlisalp и на Scheinige Platte. Кроме того, каждый [день] делали прогулки в самом Interlaken, на Harder, на Heimwehfluh к Château Unspunnen, к Goldswyl и Ringgenberg и по самой долине. Я много раз бывала в Interlaken и всегда с удовольствием приезжаю сюда.

У меня, слава богу, все здоровы. Отсюда мы едем в Heidelberg, через Базель, потом по Рейну до Кельна, где я и расстанусь с Сашею; они поедут в Петербург, а мы в Париж. Прошу Вас, дорогой мой, адресовать Ваши письма в Париж, poste restante. В Heidelberg мы остановимся дня на два, потому что моему зятю этого хочется. Он окончил свое образование в Гейдельбергском университете, и ему хочется показать своей жене город, в котором он воспитывался.

До свидания, милый мой, хороший друг. Если Вы примете мое приглашение, я буду очень рада. Всем сердцем Вас любящая.

Н. ф.-Мекк.

186. Чайковский — Мекк

Вербовка,
25 августа 1878 г.

Мне так странно и неловко писать Вам, друг мой, после целых восьми дней, прошедших со времени последнего письма, писанного в Браилове. Я так привык обращаться к Вам часто,

что мне чего-то недостает в те дни, когда я не писал. Не писал же я так долго потому, что ждал известий от Вас о том, долго ли Вы пробудете в Интерлакене, куда едете оттуда и куда адресовать письма. Наконец вчера я получил по почте из Браилова Вашу телеграмму, из коей узнаю, что Вы писали мне в Браилов, предполагая, что я там пробуду дольше, чем это случилось. Письма этого я еще до сих пор не получил, но на всякий случай посылаю этот листочек в Интерлакен, в том предположении, что если оно и не застанет Вас, то будет переслано к Вам.

Я уже около шести дней в Вербовке и по причинам, которые изложу ниже, не заметил, как время прошло. Каждый день с некоторым страхом и трепетом собираюсь выехать, но до сих пор меня удерживали разные обстоятельства. Во-первых, погода до того хороша, что нет сил покидать деревню для города. Во-вторых, я не в силах был оторваться от работы... Да! мой милый, мой лучший друг, предписывавший и советовавший мне отдых, я нарушил данное Вам обещание посвятить несколько времени отдыху. Я уже писал Вам, что в Браилове мне пришлось отметить на бумаге эскиз оркестрового скерцо. Как только я это сделал, у меня в голове зародился целый ряд пьес для оркестра, из которых должна образоваться с ю и т а на манер Лахнера. Приехавши в Вербовку, я почувствовал, что решительно не в состоянии противиться своему внутреннему побуждению и поэтому поспешил положить на бумагу эскизы этой сюиты. Я работал с таким наслаждением, с таким увлечением, что буквально не замечал, как текли часы. В настоящее время три части этой будущей оркестровой пьесы готовы, четвертая слегка намечена, а пятая сидит в голове. Я нисколько не утомлен, как это всегда бывает, когда работал без всякого усилия над собой, а по сердечному влечению. Мне кажется, что я не вправе противиться своей натуре, когда она загорается огоньком вдохновения, и поэтому прошу Вас не пенять на меня за неисполнение данного Вам обещания. Сюита будет состоять из пяти частей: 1) Интродукция и фуга, 2) Скерцо, 3) Andante, 4) Интермеццо (Echo du bal), 5) Рондо. Так как, сочиняя эту вещь, я беспрестанно думал о Вас, на каждом шагу спрашивал себя, понравится ли Вам то или другое место, затронет ли Вас та или другая мелодия, то никому иному, как моему л у ч ш е м у д р у г у, посвятить ее не могу. Или я поставлю на ней тот заголовок, который будет стоять на симфонии,—или, если хотите, ничего не поставлю, т. е. посвящение это будет только нам двоим известно.

Я еду завтра прямо в Петербург для свидания с отцом и с Анатолием и проведу там дня два или три. Затем в Москву. Немножко страшно, немножко грустно, немножно противно мне

предстоящее время. Отныне, друг мой, адресуйте мне в Москву. Как бы то ни было, но я возвращаюсь в Москву человеком нормальным и здоровым совершенно, и этим я обязан Вам и никогда ни на секунду этого не забуду.

До свиданья, дорогая и милая моя Надежда Филаретовна.

Ваш П. Чайковский.

Я надеюсь письмо Ваше получить завтра. Если же нет, то мне пришлют его в Москву.

187. Чайковский — Мекк

Вербовка,
28 августа [1878 г.]

Я все еще здесь, дорогой мой друг! Третьего дня, в день получения Вашего письма, я простудился и заболел так, что пришлось еще отложить поездку. Я очень боялся, чтоб это маленькое нездоровье не разыгралось в серьезное. Мой бедный Толя, ожидающий меня с нетерпением в Петербурге, пришел бы в совершенное отчаянье, если б ему пришлось давать знать, что я по нездоровью откладываю поездку. Он бы сейчас вообразил, что я в опасности, что я умираю и т. д. Он очень расположен в последнее время видеть все en noir *. Вообще состояние его души ненормальное, и это меня сильно беспокоит. К счастью, сегодня я уже чувствую себя гораздо лучше и во что бы то ни стало вечером уеду. Благодарю Вас, дорогая моя, за Ваши заботы о моем здоровье. В сущности, я человек с необычайно крепкой и здоровой организацией. У меня две слабости: нервы и желудок. Что касается первого, то кто же в наше время обладает здоровыми нервами? А болезнь моего желудка состоит, по выражению одного врача, в излишке здоровья. Я страдаю излишеством пищеварительных соков, вследствие чего со мной часто бывает так называемая изжога и т. п. явления. Конечно, это все-таки неприятное болезненное явление, но против этого существует превосходное средство, т. е. воздержание. К сожалению, несмотря на всю мою готовность быть воздержанным, это возможно только до некоторой степени. Например, для моего желудка безусловно вредно вино; но, с другой стороны, без вина вовсе обойтись я не могу, ибо оно мне необходимо для известных нервных состояний. Например,

* в мрачном свете

от бессонницы, от нервных вздрагиваний меня лечит только стакан вина. Что касается Вашего совета обратиться к М е р т и н г у, то простите меня, друг мой, но я им не воспользуюсь. Я Вам, кажется, писал уже, до чего я питаю суеверный ужас к врачам, когда эти врачи являются передо мной только в этом качестве, а не как известные мне и знающие меня л ю д и. Опыт доказал мне, до чего эти знаменитые врачи, претендующие по первому визиту и по нескольким расспросам узнать натуру больного, ошибаются. Вообще, чтобы покончить на этот раз о моем здоровье, я скажу, что ф и з и ч е с к и я все-таки здоровый человек, но п с и х и ч е с к и скорее больной, чем здоровый, и хотя то и другое находится в непосредственной связи, но про себя я могу сказать, что все-таки у меня душа влияет на тело больше, чем наоборот, т. е. я замечал, что когда я покоен, тогда я и здоров. В пример приведу Вам Б р а и л о в о, где я оба раза чувствовал себя особенно хорошо, потому что там я нахожу сочетание всевозможных условий для покоя. К сожалению, обстоятельства так складываются, что я не мог там остаться в последний раз подольше. Близость Москвы, необходимость побывать в Вербовке, ненормальное состояние Анатолия, ожидающего меня в Петербурге, предстоящая мне суета по поводу устройства жилища, все это заставило меня покинуть Ваше милое Браилово прежде, чем все эти причины для б е с п о к о й с т в а не охватили меня. Когда я почувствовал, что уже не могу отдаться весь отдыху, т. е. уйти в самого себя и забыться, я уехал. Оба мои пребывания в Браилове останутся для меня сладкими снами, и я буду теперь утешаться надеждой и ожиданиями, что это наслаждение еще предстоит мне в будущем.

Я читал и перечитывал письмо Ваше с величайшим наслаждением множество раз. Ваша дружба есть величайшее благо для меня, и как я ни привык ощущать сознание этого счастья, но каждое новое выражение и изъявление этой дружбы причиняют мне много, много радости. Одно только меня смущает немного, и это я скажу Вам без всякой ложной скромности, в полном сознании правды моих слов. Вы гораздо л у ч ш е г о мнения обо мне, чем то, которого я, в сущности, заслуживаю. Пишу я Вам это не для того, чтобы получить в ответ новые доказательства Вашего высокого мнения обо мне как о человеке. Ради бога, не отвечайте мне на это ничего. Уверяю Вас, дорогой друг мой, что я очень жалкого мнения о себе и что целая пропасть разделяет мой идеал человека от моей собственной особы. К счастью, я не подавлен сознанием своего ничтожества только потому, что природа наделила меня музыкальным дарованием, в которое я верю, в котором я не сомневаюсь, которым я горжусь, хотя бы

только оттого, что моя музыка доставляет таким людям, как Вы, утешение и удовольствие.

Я очень расположен беседовать с Вами, но меня парализует мысль, что это письмо не дойдет до Вас. Неприятно адресовать письмо в Интерлакен, когда из письма Вашего я вижу, что 24-го Вы уже оттуда уехали. Отчего Вы не дали мне своего парижского адреса? Где это письмо настигнет Вас? Отчего Вы не сказали мне, какие Ваши ближайшие планы, т. е. где Вы намерены провести сентябрь, октябрь? Впрочем это, вероятно, потому, что Вы сами не решили этого.

На некоторые вопросы Вашего письма я буду отвечать Вам позднее, когда определится Ваше местопребывание.

Я буду Вам писать теперь уже не раньше как из Москвы, где я надеюсь узнать точнее, где Вы будете находиться.

До свиданья, мой друг. Я с большою грустью буду сегодня расставаться с милыми вербовскими обитателями. Вообще мне невесело ехать на север. Будьте здоровы, — это главное. Как жаль, что в Швейцарии Вас преследовала дурная погода.

Ваш П. Чайковский.

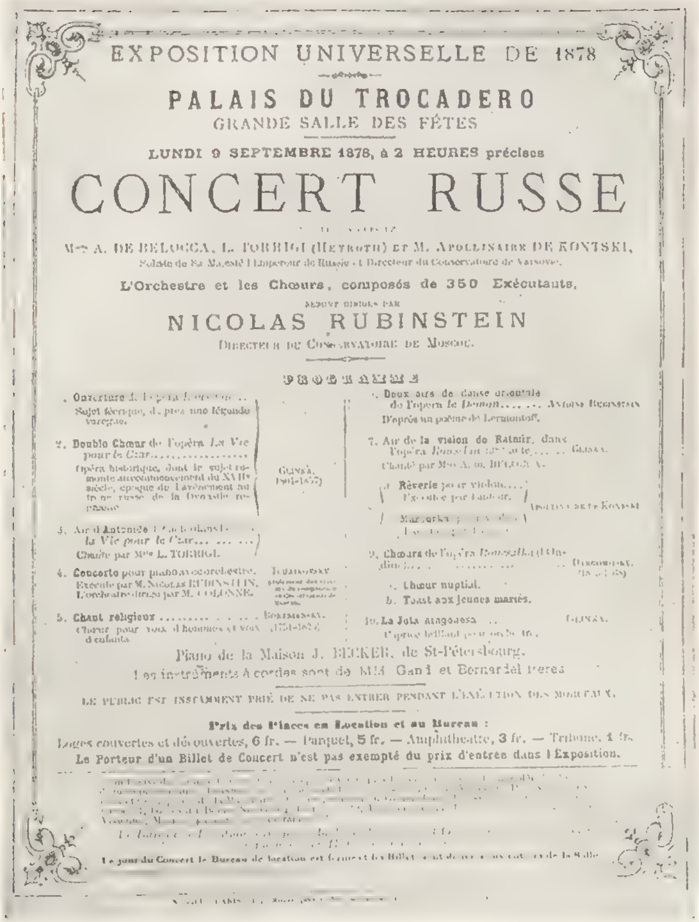
188. Мекк — Чайковскому

Париж,
6 сентября 1878 г.

Мой милый, несравненный друг! Прежде всего я скажу о том, о чем мне больше всего хочется говорить: о концерте Русского музыкального общества в Париже. В субботу я была во втором концерте. Зала была полна сверху донизу, аплодировали очень много, но, как видно из отзывов, эта глупая парижская публика ошиблась в ожиданиях. Они думали, что их все время будут потешать т р е п а к о м и с е р е н ь к и м к о з л и к о м, а вдруг встретили серьезную симфоническую, да и еще совсем н о в у ю музыку, а известно, как французы тупы в музыкальных прогрессах; им надо полстолетия вбивать их в голову, для того чтобы они вошли во вкус. Я очень жалею, что не была в первом концерте и не видела, как приняли Ваш концерт с Рубинштейном; говорят, очень хорошо. Вообще и во втором концерте царем праздника был Рубинштейн; это и неудивительно [1].

Посылаю Вам, милый друг мой, несколько вырезок из газет, которые мне попались[2]. Если будут еще, то пришлю также. В этих отзывах мне больше понравилось выражение об Вас: musicien de race *,—хоть это они поняли. Во втором концерте шла Ваша «Б у р я»; публика аплодировала ей очень много.

* прирожденный музыкант



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

PALAIS DU TROCADERO

GRANDE SALLE DES FÊTES

LUNDI 9 SEPTEMBRE 1878, à 2 HEURES précises

CONCERT RUSSE

M. A. DE BELOCCA, L. TORRIGI (HEYROTH) ET M. APOLLINAIRE DE KONTSKI,

L'Orchestre et les Chœurs, composés de 350 Exécutants,

NICOLAS RUBINSTEIN

DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE MOSCOU.

PROGRAMME

Ouverture de l'opéra ...
Sujet féerique, d'après une légende varègue.

2. Double Chœur de l'opéra *La Vie pour le Czar*... GLINKA.
Opéra historique, ...

3. Air d'Antonide ... *la Vie pour le Czar*...
Chanté par M^lle L. TORRIGI.

4. Concerto pour piano avec orchestre. TCHAÏKOVSKY.
Exécuté par M. NICOLAS RUBINSTEIN.
L'orchestre dirigé par M. COLONNE.

5. Chant religieux ... BORTNIANSKY.
Chœur pour voix d'hommes et voix d'enfants.

6. Deux airs de danse orientale de l'opéra *le Démon*... ANTOINE RUBINSTEIN.
D'après un poëme de Lermontoff.

7. Air de la vision de Ratmir, dans l'opéra *Rouslan* ... GLINKA.
Chanté par M^me A. DE BELOCCA.

8. Rêverie pour violon...
Mazurka ...
APOLLINAIRE DE KONTSKI.

9. Chœurs de l'opéra *Roussalka* (l'Ondine) ... DARGOMIJSKY.
a. Chœur nuptial.
b. Toast aux jeunes mariés.

10. La Jota aragonesa ... GLINKA.
Caprice brillant pour orchestre.

Piano de la Maison J. BECKER, de St-Pétersbourg.

Les instruments à cordes sont de MM. Gand et Bernardel frères

Prix des Places en Location et au Bureau :

Loges couvertes et découvertes, 6 fr. — Parquet, 5 fr. — Amphithéatre, 3 fr. — Tribune, 1 fr.

Le Porteur d'un Billet de Concert n'est pas exempté du prix d'entrée dans l'Exposition.

Le jour du Concert le Bureau de location est fermé ...

Программа первого русского концерта на Всемирной выставке в Париже

Теперь скажу Вам свое впечатление, мой милый друг. Когда мы вошли в сени, я была в сильном нервном волнении, беспокойстве. Мне так хотелось, чтобы наша русская музыка вообще, а Ваша в особенности, распространялась и оценилась в Европе, что я ощущала страх за впечатление ее в Париже. Первая шла увертюра Рубинштейна к «Иоанну Грозному». Оркестр и резонанс привели меня в отчаяние, и я с ужасом думала о том, что они сделают с Вашею «Бурею», этою Бурею, которая первая произвела на меня такое неизгладимое впечатление, так очаровала меня, так дорога мне всячески. Но когда раздались первые ее звуки, я забыла всех и все. В зале царствовала мертвая тишина; казалось, что все притаили дыхание. Когда послышался этот аккорд с задержанием, у меня все нервы задрожали, а дальше... дальше я уже забыла совсем Париж, глупую публику, патриотическое тщеславие и весь мир,—передо мною была только «Буря», любовь и их невидимый автор, разливающий широкие, роскошные звуки, способные наполнить весь мир, доставить человеку счастие, добро, наслаждение. О, боже мой! я не могу Вам передать, что я чувствую, когда слушаю Ваши сочинения. Я готова душу отдать Вам, Вы обоготворяетесь для меня; все, что может быть самого благородного, чистого, возвышенного, поднимается со дна души. Как я в особенности люблю, когда Вы, после некоторого копирования природы, характеров людей, заговорите от себя, да так красноречиво, так увлекательно, что хотелось бы все слушать, слушать без конца. Такое место есть в «Буре», которое по программе относится к «Ile enchantée» *. Это места, в которых Вы пускаете все скрипки в ход; что за роскошь, что за наслаждение, и как жаль становится, когда это кончается [3]. Я была вне себя, когда кончилась «Буря», мне хотелось, чтобы играли Четвертую симфонию, мне хотелось Сербского марша, мне хотелось, чтобы только и играли Ваши сочинения. Публика осталась довольна.

В субботу будет третий концерт. Я, вероятно, поеду опять. Но я надеялась, что будут играть нашу симфонию, но, говорят, нет, а будет только играть Барцевич Ваш вальс и серенаду. Вообразите, милый друг мой, что у меня до сих пор нет этого вальса. Я забыла в прошлом письме сказать Вам, что Пахульский переписал все Ваши три браиловские сочинения и послал Вам в Москву, в консерваторию. Получили ли Вы их, друг мой? Смотрели ли Вы также квартиру у меня в доме? Теперь должно быть готово то отделение, которое я Вам предлагаю. А мне все приходится Вас благодарить, мой милый, бес-

* «Волшебный остров»

ценный друг. Ваше намерение посвятить мне Вашу сюиту чрезвычайно мне приятно и дорого, и я попрошу Вас обозначить его так же, как на нашей симфонии, если Вы сами ничего не имеете против этого. Мне же хочется доставить себе наслаждение видеть эти дорогие слова и думать, что они ко мне относятся. Благодарю Вас, благодарю, мой дорогой, сердечный друг.

В Париже в настоящее время отвратительно. От выставки эти французы совсем ошалели, в Hôtel'ях несносно, на выставке невыносимо; н и г д е н и ч е г о не устроено для удобства публики, а дороговизна невообразимая. Я жду только третьего концерта и тогда сейчас вон из Парижа. Письма Ваши, милый друг, адресованные в Interlaken, я все получила, и Вы никогда не беспокойтесь о них: я так устраиваю, чтобы в с е получить. Как ни скучно мне долго не получать Ваших писем, но теперь на некоторое время не пишите мне, друг мой, потому что я еще не знаю, куда поеду из Парижа, — вероятно, в Женеву, а оттуда или на Lago di Como или в San Remo, куда меня тянет, потому что Вы там были. Во всяком случае, я Вам буду телеграфировать из Парижа, куда мне адресовать. Саша завтра уезжает в Петербург. Мне очень скучно, хотя, с другой стороны, я рада за моих мальчиков, а то им скучно без своих.

Вернусь еще к концерту. Мне говорили, что в Вашей «Буре», именно, в том аккорде, который меня так восхищает, произошел такой скандал, что трубач настроил свою трубу полтоном ниже. Я не знаю, насколько это справедливо, но аккорд этот меня восхитил. До свидания, милый мой, расхороший. Жму Вам обе руки. Всем сердцем Ваша

Н. ф-Мекк.

Перо у меня ужаснейшее и переменить некогда.

189. Чайковский — Мекк

1878 г. сентября 4—10. Петербург—Москва.

С.-Петербург,
4 сентября.

Я уже четвертый день в Петербурге, милый, добрый друг мой. Если я давно не писал Вам, то, боже мой, как часто, как много я обращался к Вам мысленно! Вы и не подозревали, какое ежеминутное, постоянное участие Вы принимали в моей жизни за последние дни. Я сейчас объясню Вам почему.

Неделю тому назад я выехал из Вербовки, и с той минуты в голову мою начала закрадываться и постепенно в ней утверждаться мысль о том, что я утратил теперь всякую способность

жить иначе, как в деревне или на чужбине, вообще подальше от прежней сферы деятельности. Я не в состоянии подробно исчислить Вам все случаи, которые послужили к утверждению во мне этой мысли, — пришлось бы исписать целые дести бумаги, — но упомяну о двух, с которых начался строй охвативших меня мыслей, неотступно теперь преследующих меня и днем и ночью. Я выехал из Вербовки в понедельник вечером, ровно неделю тому назад. В Фастове, где нужно долго ждать брестского поезда, я взял в руки газету, в которой нашел статью о Московской консерватории, — статью, полную грязных инсинуаций, клеветы и всякой мерзости, в которой встречается и мое имя, где немножко и мной занимаются. Не могу сказать Вам впечатления, которое эта статья произвела на меня: точно меня по голове обухом ударили! Я — человек, питающий величайшее, непреодолимое отвращение к публичности вообще и к газетной в особенности. Для меня нет ничего ужаснее, ничего страшнее, как быть предметом публичного внимания. Избравши деятельность артистическую, я, разумеется, должен быть готов всегда встретить в газете свое имя, и как это мне ни тяжело, но я не в силах помешать тому, чтобы о моей музыке печатно говорили. К сожалению, газеты не ограничиваются артистической деятельностью человека, — они любят проникать дальше, в частную жизнь человека и касаться интимных сторон его жизни. Делается ли это с сочувствием или с явным намерением вредить, для меня одинаково неприятно быть предметом внимания. Много раз прежде мне случалось терпеть от руки невидимых друзей, изображавших печатно меня как человека, достойного всякого сочувствия, или от руки невидимых врагов, бросавших грязью в мою личность посредством газетной инсинуации, но прежде я в состоянии был терпеливо переносить эти милые услуги, в состоянии был без содрогания принимать и неуместные выражения симпатии к моей личности и ядовитые нападки. Теперь, проведя целый год вдали от центров нашей общественной жизни, я стал невыносимо чувствителен к этого рода проявлению публичности[1]. Между тем, как ни полна лжи и клеветы статья, по поводу которой мне пришлось окунуться в океан общественных дрязг и пошлости, но я не могу в глубине души не сказать, что основная мысль статьи не лишена справедливости. Нельзя не сознаться, что крутой деспотизм Рубинштейна, его ничем не ограниченный произвол не может не встречать протеста. Консерватория делается мало-по-малу лакейской. Только тот в ней дышит свободно, кто добровольно стал в положение лакея. Как ни высоко я ставлю многие хорошие стороны энергического характера Рубинштейна, как

ни велики его заслуги Москве и русской музыке, но не подлежит сомнению, что он перестал терпеть около себя личностей, осмеливающихся не безусловно подчиняться его каждому слову. Я Вам говорил о той кошке, которая пробежала между нами. Таких кошек еще пробежит много. Нам неловко друг с другом. Рубинштейн видит во мне человека, на которого нельзя к р и ч а т ь и которому нельзя п р и к а з ы в а т ь, который не изъявляет готовности бесконтрольно и беззаветно внимать каждому слову как непреложной истине. Ну, словом, я глубоко возмущаюсь, когда деспотизм его возбуждает в печати такие нападки, которых он не заслуживает, когда ему приписывают такие низкие, грязные черты и качества, которых в нем нет, но в то же время не могу не согласиться с тем, что мало-по-малу он делается чудовищным деспотом и самодуром, беспрестанно нарушающим условия законности. В результате же из всего этого выходит то, что мне тяжело, противно, грустно, скучно гадко вступать снова в свою прежнюю преподавательскую деятельность.

Не успел я несколько оправиться от тяжелого впечатления, произведенного газетной статьей, как случилось одно обстоятельство, снова потрясшее меня до глубины души.

В вагоне, в котором я ехал от Киева до Курска, сидели какие-то господа, из коих один какой-то петербургский музыкант. Разговор шел о разных дрязгах и сплетнях музыкального мира. Наконец коснулись и меня. Говорили не о моей музыке, а обо мне, об моей женитьбе, о моем с у м а с ш е с т в и и. Боже мой! до чего я был ошеломлен тем, что мне пришлось слышать. Не буду передавать Вам подробностей. Это целое море бессмыслицы, лжи, несообразностей. Дело не в том, что именно говорили. Мне невыносимо не то, что про меня лгут и говорят небылицы, а то, что мной занимаются, что на меня указывают, что я могу быть предметом не только музыкально-критических обсуждений, но и простых сплетен.

Все мое путешествие от Вербовки до Петербурга было рядом несносных страданий от соприкосновения с людьми мне чуждыми, от встреч и пустых разговоров, от неуместных расспросов и неделикатного выпытывания сведений про мою жизнь и т. д. и т. д.

Меня охватила бесконечная, несказанная, непобедимая потребность убежать и скрыться, уйти от всего этого. Меня охватил также невыразимый страх и ужас в виду предстоящей жизни в Москве. Само собой разумеется, что я тотчас же стал строить планы окончательного разрыва с обществом. По временам находило на меня желание и жажда безусловного покоя,

т. е. смерти. Потом это проходило, и снова являлась жажда жить, для того чтобы доделать свое дело, досказать все, что еще недосказано. Но как примирить то и другое, т. е. уберечь себя от соприкосновения с людьми, жить в отдалении от них, но все-таки работать, итти дальше и совершенствоваться?! Я стал делать разные предположения, но об этом я поговорю после. Письмо это я пишу не с тем, чтобы послать Вам его сегодня. Я не знаю, где Вы, мой милый друг. Не решаюсь адресовать в Интерлакен и предпочитаю дождаться точных известий. Я проведу здесь еще несколько дней. Мне очень отрадно было свидание с братом Толей и с моим добрым старичком-отцом. Я устроился здесь так, что никого, кроме них, почти не вижу. До свиданья, друг мой. Буду продолжать письмо это завтра или сегодня вечером.

Вечером.

Путешествие мое сюда было полно неожиданностями. В Киеве я не застал поезда, на котором должен был продолжать путешествие, и вследствие этого мне пришлось остаться сутки в Киеве. Вечером я был там в опере и слышал очень порядочное представление «А и д ы». В Москве меня встретил на станции сверх всякого чаяния М о д е с т!! Он ездил в Москву по делу Колиной матери, и случилось так счастливо, что мы там съехались. Хотя у меня был билет прямого сообщения в Петербург, но я решился остаться на один день в Москве ради Модеста, а Анатолию послал письмо с одним общим знакомым, ехавшим в Петербург. Я просил передать это письмо брату на петербургской станции, где он должен был меня встретить. Я провел в Москве вечер, ночь и утро и, проводивши Модеста, в два часа отправился в Петербург с почтовым поездом. Я застал по приезде в Петербург Анатолия в ужасном состоянии нервов. Письмо, посланное из Москвы, не дошло до него накануне. Не встретивши меня на станции и не получив от меня по телеграфу никакого объяснения, он вообразил, что со мной случилось что-нибудь ужасное, и провел целый день и ночь в сильнейшей тревоге. Увидевши меня, он так обрадовался, что я насилу успокоил его истерические рыдания. Тем не менее, я нашел его поправившимся, здоровым и бодрым. Вообще натура его — совершенное подобие моей, т. е. здоровая и крепкая, но снабженная в высшей степени раздражительными и чуткими нервами. Мы поселились с ним в пустой квартире моего старшего брата Николая, уехавшего в деревню, и я решился провести с Толей несколько дней, во-первых, для того, чтобы дождаться пока моя московская квартира, нанятая и устраиваемая Алешей,

будет готова, а во-вторых, чтобы несколько оправиться от неприятных впечатлений путешествия и приготовиться к предстоящей жизни в Москве.

Знаете, дорогая моя, чего я боюсь? Я боюсь, что московская жизнь, ощущения которой я уже предвкусил дорогой, что консерватория с ее несимпатичной средой и убийственно раздражающими меня классными занятиями, что приступ мизантропической хандры, которая неминуемо обуяет меня как только я войду в свои обязательные профессорские и иные отношения к людям,—что все это охватит меня с такою силой, которую побороть я не смогу. Не то чтоб это грозило моему здоровью, — оно такое все-таки крепкое, что много может перенести.—Я боюсь апатии, боюсь отвращения к труду, а если последнее случится, то я сделаюсь никуда негодным меланхоликом. Даю Вам слово, что я распускать себя не буду, что я буду бороться. Но Вы мне можете оказать огромную услугу в этой борьбе своими советами и указаниями. Обдумывая свое положение, я беспрестанно прихожу к мысли о Вас, спрашиваю себя: «Что скажет, что посоветует мне Н[адежда] Ф[иларетовна]?». Ответьте мне, дорогой друг мой, на один вопрос.

Что бы Вы сказали, если б через несколько времени я без шума и незаметно удалился навсегда из консерватории? Что, если бы еще год, еще два года я продолжал бы жить далеко от бывшей арены моей деятельности? Мне до сих пор все казалось, что я как бы о б я з а н в виду недостаточности людей, способных посвятить себя преподаванию моего предмета, оставаться в консерватории; что как это дело ни антипатично инстинктам моей натуры, но следует приносить себя в жертву. Между тем, в последнее время на меня нашли сомнения насчет этого долга моего. Во-первых, я всегда был и всегда буду дурным преподавателем, хотя бы уже оттого, что я привык на каждого ученика и каждую ученицу смотреть как на заклятых врагов моих, предназначенных для моего мучения и терзания. Во-вторых, не обязан ли я все свое время, все свои силы отдавать тому делу, которое я люблю, которое составляет весь смысл, всю суть моей жизни? Вы, может быть, спросите, где и как я бы устроился, если б мог решиться на оставление своей преподавательской деятельности? В настоящую минуту, когда еще не установились мои отношения к окружающей среде, я не могу с точностью сказать, где бы я хотел основаться прочно и навсегда. Ни в каком случае не в Петербурге и не в Москве. Петербурга я никогда не мог переносить; Москву я люблю с какой-то болью и горечью в сердце. Я люблю ее как место, как стены, даже как климат, но Вы знаете, почему именно Москва всего менее может

теперь удовлетворить меня. Я бы хотел жить большую часть года в деревне то у сестры, то в Браилове, если позволите мне весной и осенью проводить там несколько времени. Я бы хотел также проводить по несколько времени в таких местах, как Clarens или как Флоренция. Словом, я бы несколько времени вел такую же кочующую жизнь, как в истекшем году. Боже мой! какое бы было раздолье для работы, как я бы был счастлив, наслаждаясь свободой, как бы много и хорошо я стал писать, как бы я был поксен духсм вдали от отвратительных дрязг прежней жизни. Наконец, есть еще одно соображение. Только в деревне, только за границей, только будучи свсбодным переменять по произволу свое местопребывание, я огражден от встреч с личностью, близость которой роковым образом будет всегда смущать и тяготить меня. Я говорю об известной особе, об этом живом памятнике моего безумия, которому суждено отравлять каждую минуту моей жизни, если я не буду от него подальше.

Итак, друг мой, что бы Вы сказали, если б я ушел из консерватории? Я вовсе еще не решился это сделать. Я поеду в Москву и попытаюсь сжиться с нею. Но мне нужно непременно знать, как Вы смотрите на все это. Ни за что в мире я бы не хотел поступить не согласно с Вашим советом и указанием. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос [2].

7 сентября.

Петербург производит в настоящее время самое давящее, тоскливое действие на душу. Во-первых, погода ужасная: туман, бесконечный дождь, сырость. Во-вторых, встречаемые на каждом шагу казачьи разъезды, напоминающие осадное положение; в-третьих, возвращающиеся после позорного мира войска, — все это раздражает и наводит тоску. Мы переживаем ужасное время, и когда начинаешь вдумываться в происходящее, то страшно делается. С одной стороны, совершенно оторопевшее правительство, до того потерявшееся, что Аксаков ссылается за смелое, правдивое слово [3], с другой стороны — насчастная, сумасшедшая молодежь, целыми тысячами без суда ссылаемая туда, куда ворон костей не занссил, а среди этих двух крайностей равнодушная ко всему, погрязшая в эгоистические интересы масса, без всякого протеста смотрящая на то и на другое. Счастье тому, кто может скрываться от созерцания этой грустной картины в мире искусства! К сожалению, в настоящую минуту я не имею возможности посредством работы забыться и скрыться. Несмотря на общество брата, отца, мне здесь невесело, непривольно, грустно. Во-первых, по поводу происходя-

щих теперь в Париже русских концертов про меня часто пищут в газетах, про меня говорят, а я более чем когда-либо охвачен страхом публичности. Мне все хочется от кого-то и куда-то спрятаться, убежать. Во-вторых, я решительно не могу ни с кем из посторонних видеться и встречаться без душевного терзания, а так как в Петербурге масса людей, меня знающих, то, чтобы избегать встреч, я днем скрываюсь, а вечером решительно избегаю публичных сборищ. Таким образом, жизнь моя похожа на жизнь скрывающегося преступника. Ужасным я стал мизантропом, друг мой. Мне кажется, что я совсем потерял способность жить с людьми. Впрочем, Вы понимаете это лучше, чем кто-либо. Были ли Вы в русских концертах? Я не могу добиться правды: по одним газетным известиям мои сочинения имели большой успех, по другим — никакого. По поводу всего, что пишется в здешних газетах об этих концертах, я без удивления, но не без горечи вижу, как много у меня недоброжелателей. Не странная ли это вещь? Я никогда не занимался интригами, я всегда старался держаться в стороне от партий, я могу с уверенностью сказать, что никогда не делал сознательного зла никому в мире, и, между тем, у меня есть враги, радующиеся моим неудачам, умаляющие и отравляющие всякий мой успех. Есть минуты, когда мне не только хочется жить вдалеке и в стороне, но когда мне хочется даже перестать писать, вообще чем бы то ни было принимать участие в общественной деятельности. Разумеется, ощущение это временное. Стоит мне попасть в среду, где я огражден от столкновений с людьми мне чуждыми, и я буду работать. Но я опять заговорил о себе. Мне грустно, что я не имею об Вас известий. Виноват в этом я сам. Мне следовало в Москве распорядиться о присылке сюда всех писем, которые придут за это время в Москву. Теперь уже поздно. Послезавтра я еду в Москву и, без сомнения, найду там если не письмо, то телеграмму Вашу. Письмо это, которое грозит быть очень длинным, я Вам отошлю уже из Москвы, когда узнаю Ваш новый адрес. Здоровы ли Вы? Как Вы решили провести зиму?

9 сентября.

Сегодня я уезжаю в Москву. Третьего дня я провел вечер у Давыдова, здешнего директора консерватории, и вынес очень приятное впечатление. Это единственный дом в Петербурге (кроме отцовского), в котором я чувствую себя в симпатичной и родственной сфере. Одно только неприятно: я должен был выслушать целую серию всякого рода сплетен из музыкального мира. Между прочим, между Ник. Рубинштейном и Давыдовым летом

произошла крупная ссора, вследствие которой они разошлись навсегда. В ссоре этой Н[иколай] Г[ригорьевич] является, как всегда, самодуром, создающим себе без всякой надобности врагов. А сколько их у него теперь! В здешних газетах по поводу парижских концертов на него пишутся (особенно в «Новом времени»[4]) громоносные статьи. Досаднее всего то, что из-за невыгодных качеств его характера забывают его несомненные и замечательные достоинства. Бедный Ник[олай] Григ[орьевич], он и не подозревает, до чего его здесь не любят и как все радуются, когда какой-нибудь пошлый борзописец бросит в него грязью! Если Вы хотите, я Вам расскажу о предложениях, которые мне делают уже давно и которые теперь возобновляют с большой настойчивостью. Я теперь отказался от них так же решительно, как отказывался прежде. Интересно это обстоятельство оттого, что оно ярко обрисовывает характер отношений Рубинштейна ко мне и мое положение как профессора в Московской консерватории.

Оставляю следующую страничку, чтобы докончить письмо уже в Москве, где я надеюсь найти от Вас известия. Меня очень беспокоит, что Вы, вероятно, удивляетесь моему непривычному молчанию. Утешаюсь тем, что, получив обстоятельные сведения о Вашем местопребывании, я буду телеграфировать Вам завтра из Москвы. А пока до свиданья, мой милый, мой дорогой друг. Много, много и часто, очень часто я о Вас думаю.

Москва, 10 сентября.

Только что приехал в Москву и получил Ваше письмо. До чего Вы добры, заботливы, мой лучший, бесценный друг! Благодарю Вас тысячу раз за предложение поселиться на время у Вас. Но по многим причинам я не воспользуюсь им. К тому же, квартира моя готова, и Алеша устроил ее очень мило. Живу я на Знаменке, против Александровского училища, дом Сергеева, кв. № 13.

Я въехал в Москву с одним очень твердым убеждением: уехать отсюда как можно скорее. Свидание с Давыдовым (директором консерватории в Петербурге) еще более укрепило во мне мысль не оставаться здесь. Я объясню Вам в следующем письме почему.

Посылаю это письмо в Париж на poste restante. Надеюсь, что оно Вас застанет там.

До свиданья, милый, чудный, добрый друг. Буду с нетерпением ожидать Вашего ответа на мой вопрос.

Ваш П. Чайковский.

190. Чайковский — Мекк

Москва,
10 сентября 1878 г.
Тотчас по получении телеграммы
о Вашем отъезде в San Remo.

Сегодня утром я приехал в Москву, где меня ожидало письмо Ваше, милый друг мой. Я вам на него вкратце ответил в большом моем письме, начатом в Петербурге и сегодня оконченном. Так как из письма Вашего я не мог заключить с достоверностью, куда следует адресовать, то послал его в Париж, в той надежде, что в случае отъезда Вы распорядитесь, куда парижской почте препровождать письма на Ваше имя. Кроме того, я телеграфировал Вам тоже на poste restante. В случае если Вы позабыли сделать по почте распоряжение, то потрудитесь, дорогая моя, написать в Париж о доставке Вам моего письма. Это для меня весьма важно, ибо, кроме простого желания, чтобы письма не пропадали, в моем последнем письме к Вам я прошу Вас ответить на один очень существенный вопрос, состоящий в следующем.

Я приехал в Москву с отвращением, с тоской и с неудержимым, непобедимым желанием отсюда вырваться на свободу. Я хочу начать хлопоты и предпринять меры к мирному, тихому, но вечному разрыву с консерваторией, к которой не питаю ничего, кроме того чувства, какое узник питает к своей темнице. Все это очень нелепо, очень легкомысленно. Зачем было обещаться приехать и занять прежнее положение? Зачем было не обдумать раньше, что после всего случившегося я н е м о г у жить в Москве, не могу ни одного часа чувствовать себя здесь иначе, как несчастным?

И тем не менее я р е ш и л с я. Но прежде чем я начну предпринимать меры, мне нужно знать, что Вы на это скажете, что посоветуете. Я знаю, что Вы не захотите стеснять мою свободу и что средства свободной жизни, которые Вы мне даете, останутся при мне и где бы я ни был. Но мне хочется знать Ваше м н е н и е, и не стесняйтесь, ради бога, мне его высказать. Если Вы скажете, что все-таки нужно остаться, я, разумеется, останусь и поборю в себе, может быть, безумную, но страстную, бесконечную жажду свободы.

Завтра напишу Вам поподробнее.

Ваш П. Чайковский.

191. Чайковский — Мекк

Москва.
12 сентября 1876 г.
2 часа ночи.

Мне не спится, и я принимаюсь беседовать с Вами, бесценный, милый друг. Сейчас от меня вышли люди (Ларош и Кашкин), общество которых когда-то было мне приятно. Отчего я скучал сегодня с ними до того, что даже не имел силы скрыть этого, и они оба несколько раз делали замечания в этом смысле? Отчего три дня, проведенные мною здесь, кажутся мне тремя длинными, бесконечными годами? Отчего мне все здесь тошно, гадко, постыло? Отчего вчера и сегодня я выбегал из консерватории как ошеломленный или как человек, которому пришлось несколько времени прожить без воздуха и света, счастливый, что он может, наконец, насладиться и тем и другим? Отчего вообще то, что прежде казалось мне хотя очень скучным, но нормальным и неизбежным, теперь представляется невыносимым и невозможным?

Не оттого ли, что «там х о р о ш о, г д е н а с н е т»? Однакож был же я безусловно счастлив в Браилове, было же много хороших минут в Вербовке, чувствовал же я себя привольно и весело во Флоренции и Швейцарии? Даже Петербург, который был мне всегда ненавистен, теперь сравнительно представляется мне очень соблазнительным; все-таки там живут люди, которых я в самом деле люблю, близость которых согревает меня. Я не могу не притти к тому убеждению, что нужно бежать отсюда. Вся моя внутренняя жизнь сосредоточилась теперь в одной мысли, в одном чувстве: уехать отсюда во что бы то ни стало. Какая-то пропасть образовалась между моим прошедшим и будущим, и я должен или перешагнуть ее или провалиться в омут тоски, скуки, отвращения к жизни.

Я хотел рассказать Вам о моем разговоре с Давыдовым. Не буду вдаваться в подробности. Сущность в том, что здесь я должен был до сих пор иметь не менее двадцати шести, двадцати семи часов в неделю, что начальству нашей консерватории никогда не приходило в голову, во внимание к моим композиторским трудам, уберечь меня от утомления и дать мне возможность посвящать больше времени любимому труду. Оно никогда не выделяло меня из сонмища других преподавателей. Давыдов с о с л е з а м и н а г л а з а х говорил мне, что если б я решился перейти в Петербург, я бы имел только ч е т ы р е часа и получал бы почти вдвое больше вознаграждения. Он бы устроил мне класс высшей теории, т. е. свободного сочинения,

и даже не требовал бы, чтобы я давал эти четыре часа в стенах консерватории. Я бы мог их давать дома. Он не хотел верить, что я до сих пор, в течение двенадцати лет, занимался преподаванием гармонии и был обязан двадцать шесть, двадцать семь часов в неделю отдавать консерватории. Косвенные предложения перейти из Москвы в Петербург мне делали неоднократно прежде. В первый раз было сделано прямое предложение. Разговор этот произвел на меня большое впечатление. Перемена службы меня мало соблазняет. Как ни выгодны сравнительно условия, предлагаемые Давыдовым, но они все-таки не дают мне свободы. Да наконец, я ни за что не решился бы из-за большей платы за меньший труд дать переманить себя и нанести чувствительное огорчение Рубинштейну, сделаться врагом его на всю жизнь. С другой же стороны, разговор с Давыдовым на многое открыл мне глаза и содействовал к укреплению во мне твердого намерения бросить антипатичную деятельность в городе, где жизнь стала для меня немыслима. Вы можете себе представить, как мне приятно теперь четыре часа сряду (как сегодня) преподавать законы сочетания трезвучий сорока девицам, ничего не понимающим и не хотящим понимать, когда я знаю, что в другой консерватории я бы имел дело только с двумя или тремя талантливыми учениками, дошедшими до высшего класса, и посвящал бы на это всего четыре часа в неделю.

Много по этому поводу я бы мог припомнить и рассказать, но это было бы и длинно и скучно. Скажу одно. Хотя в тайне души я всегда несколько страдал от мысли, что московская дирекция никогда не хотела ни на одну линию выделить меня из общего состава преподавателей, но только теперь я понял, до какой степени мало здесь заботились о поощрении меня к композиторской деятельности.

Я ни слова не скажу обо всем этом Рубинштейну. Во-первых, это поведет только к недоразумениям между ним и Давыдовым. Во-вторых, это оскорбит его амбицию считать себя всеобщим благодетелем. В-третьих, незачем, решившись во всяком случае бежать отсюда, отравлять и без того уже несколько отравленные наши отношения. В-четвертых, бедному Рубинштейну до такой степени теперь достается от газетных фельетонов, ополчившихся на него с невероятною злобою, что мне его жаль (он очень чувствителен к газетным отзывам). В-пятых, я и в самом деле многим обязан ему как энергическому пропагандисту моих сочинений и очень бы не желал расстаться с ним иначе, как дружески. Резюме из всего этого то, что мне одинаково невозможно и оставаться здесь и переходить в Петербург. Остается одно: без огласки, без шума отказаться от профессорской обязанности

и сделаться если не навсегда, то хоть еще на два, на три года свободным, как птица. Боже мой! неужели это счастье возможно! Неужели скоро может наступить эта блаженная, чудная минута! С большим нетерпением, с сердечным трепетом буду я ожидать, что Вы скажете на это. Мне так бы хотелось живо, правдиво, убедительно доказывать Вам основательность моего решения уехать из Москвы, я так боюсь, что Вам оно не понравится, но вместе с тем чувствую, что и это стремление убедить Вас и этот страх излишни. Вы с полуслова, по одному намеку умеете читать в моем сердце. Мне кажется, что Вы одобрите меня. Боже мой, как я н е с к л а д н о и глупо пишу сегодня! У меня сильно раздражены нервы. Мне хочется сказать Вам так много, а слов нехватает. Ах, друг мой, дорогая, милая моя, как мне хочется куда-нибудь подальше отсюда, как здесь все противно и скучно! О работе теперь и думать нечего. Пока я окончательно не приду к какому-нибудь решению, пока я не буду иметь возможности назначить срок своего отъезда и считать дни и часы, оставшиеся до счастливой минуты, я не успокоюсь.

13 сентября, пополудни.

Итак, Вы в Сан-Ремо! Мне очень приятно воображать Вас среди столь знакомой местности. Напишите мне, дорогая моя, в каком отеле Вы остановились, как Вам понравилось вообще это место. Позвольте Вам рекомендовать две прогулки: 1) в Colo (кажется, так), маленький городок в горах, с замечательной картинной галлереей, и 2) F a g g i a, очень милое местечко. Мне кажется, что Вы должны сильно страдать от неумеренной жары. Я не сохранил особенно приятного воспоминания о San Remo, хотя жить там все-таки было покойно и приятно благодаря моим милым сожителям.

Вчера получил я письмо Ваше из Парижа. Благодарю Вас, друг мой, за сочувственные, теплые слова Ваши по поводу «Б у р и». Вы не можете себе представить, какое благодетельное действие имеют на меня подобные отзывы в устах таких людей, как Вы, и если бы Вы знали, как редко мне приходится их слышать! Я так счастлив, что моя музыка увлекает и трогает Вас. Никто и никогда не говорил мне того, что Вы мне часто говорите о моей музыке. Теперь, что бы я ни писал, я всегда имею Вас в виду и заранее представляю себе, что Вас затронет, к чему Вы отнесетесь хладнокровнее. Какой-то знаменитый актер говорил, что он всегда из всей публики выбирает одно симпатичное лицо и играет для него. Я пишу для Вас.

Сейчас я должен был провести т р и ч а с а у Фитценгагена, добродушного и любящего меня, но скучного и мелочного

немца. Каждый день мне приходится насиловать себя, говорить и даже посещать людей или скучных или несимпатичных. Что делать, с волками жить — по-волчьи выть... но чего все это мне стоит! До свиданья.

Ваш П. Чайковский

Пьесы скрипичные я получил. Спасибо Вам и Пахульскому.

192. Чайковский — Мекк

Москва,
[illegible] сентября [illegible] г.

Милый друг мой! Прошла уже неделя моего пребывания здесь. Она показалась мне вечностью. Образ жизни моей совершенно небывалый. Я ощущаю постоянное желание от кого-то и куда-то спрятаться. Дни были очень хорошие. В назначенные часы я являлся в консерваторию, проходил прямо в класс, высиживал свое время и потом как стрела бросался к извозчику и ехал куда-нибудь за город: или в Нескучный сад, или в Кунцево, или в Сокольники. Только там я находил успокоение. Я очень благодарен москвичам за то, что они чужды наслаждениям природою. Во всех этих местах я находил полное уединение, особенно в Кунцеве, где однажды я пробыл с десяти часов утра до шести часов вечера, не встретив в чудных аллеях парка ни одной живой души. По вечерам я запирался дома или бродил по отдаленным закоулкам Замоскворечья, предавался самым грустным размышлениям. Хуже всего то, что я решительно не в состоянии работать, и поэтому мне приходится убивать время. А как его убить! Да и жалко видеть, как часы улетают один за другим без пользы для меня, без смысла. Не буду Вам рассказывать всех трагикомических эпизодов моего у б е г а н и я о т л ю д е й. А было несколько очень курьезных случаев. Я, например, три дня сряду слышал из своей спальни, как певец К о р с о в, очень антипатичный человек, ругал моего Алексея и меня самого за то, что получал на вопрос: «Дома Петр Ильич?» ответ: «Дома нет». Наконец мы с ним встретились. Оказалось, что ему нужно, чтоб я написал сейчас же вставную арию для его роли. Я отвечаю, что мне некогда, что я не расположен, что ничего хорошего написать не могу. «Так что ж, — возражает он, — коли Вы напишете дурно, я заставлю Вас переделывать до тех пор, пока не выйдет хорошо». Если б не было уголовных законов, я,

кажется, в состоянии был бы нанять какого-нибудь b r a v o *, который из-за угла убил бы этого нахала. А сколько подобных ему!

В консерватории я чувствую себя гостем; все там происходящее стало мне чуждо. Я даже перестал, как прежде, кипятиться и горячиться и отношусь с тупым отвращением ко всему тому, что прежде так болезненно раздражало меня. Я чувствую, что все это не надолго, что так продолжаться не может, что я из Москвы уеду. Скажу Вам откровенно, что если б не эта мысль, если б не уверенность, что так или иначе, но скоро я буду свободен, то осталось бы одно: неумеренно и более часто, чем бы следовало, прибегать к крепким напиткам.

Ах, друг мой, если бы Вы знали, как мне тяжело и совестно наводить на Вас уныние своими жалобами, своим недовольством жизнью! Вы так много делаете для моего счастья, для моего спокойствия, а я все жалуюсь, все не могу найти ни прочного счастья, ни п о с т о я н н о г о спокойствия, для того чтобы п о с т о я н н о работать. И к чему было ехать сюда! Как я не предвидел всего этого? К чему было устраиваться здесь, не убедившись предварительно, могу ли я дышать московской атмосферой? Увы! оказалось, что не могу.

Я все собираюсь сходить в Ваш дом на Рождественском бульваре, но представьте, что у меня до сих пор недоставало решимости. Боюсь, что Вы не поверите этому, но я Вам скажу, что я до сих пор ни разу не был в той части города дальше консерватории. Я исключительно ограничился своей улицей и Замоскворечьем. Страх встреч обратился в какую-то манию. И в самом деле, я не что иное, как маньяк.

Сейчас я получил Вашу депешу. Буду с величайшим нетерпением ждать Вашего письма. Потрудитесь, друг мой, все Ваши письма адресовать ко мне на квартиру: З н а м е н к а, п р о т и в А л е к с а н д р о в с к о г о в о е н н о г о у ч и л и щ а, д о м С е р г е е в а.

Через несколько дней приедет Рубинштейн. По прочтении Вашего письма я тотчас же составлю план действий и начну приводить его в исполнение.

До свиданья, дорогой, милый друг. Телеграмма Ваша совершила значительное просветление в моей душе. Всякая весточка от Вас приносит мне бодрость, силу, надежду.

Ваш П. Чайковский.

---

* подкупленного убийцу

193. Мекк — Чайковскому

1878 г. сентября 20. Сан-Ремо.

Вчера я получила пересланное мне из Парижа Ваше письмо, дорогой мой, несравненный друг, и спешу отвечать Вам на Ваш вопрос, что я буду ч р е з в ы ч а й н о р а д а, если Вы оставите консерваторию, потому что я давно уже нахожу величайшим абсурдом, чтобы Вы с Вашим умом, развитием, образованием, талантом находились в зависимости от грубого произвола и деспотизма человека, во всех отношениях низшего от Вас; это противоестественно, нелогично. Я не позволяла себе давать Вам никаких советов по предмету Ваших занятий в консерватории, но искренно желаю, чтобы Вы бросили место, соединенное с подчинением нашему о б щ е м у д р у г у. Что касается пользы, которую Вы принесли бы грядущим поколениям Вашим преподаванием, то я нахожу, что Вы гораздо больше приносите им ее Вашими с о ч и н е н и я м и, а не зачеркиваниями квинт и октав. Для этого есть много таких, которые ни для чего другого не годны, Вы же оставляете в искусстве такие памятники, которые будут служить наилучшим руководством, образцом для учащегося юношества. Одним словом, мне-то вполне симпатично и соответственно моим взглядам и всей моей жизни тот акт, чтобы бросить то положение, которое несообразно с достоинством и способностями человека. Поэтому я вполне благословляю Вас на этот шаг, мой дорогой друг, и надеюсь, что Вы не пожалеете о нем.

Вот и я в Сан-Ремо. Как это странно: полгода назад Вы писали мне из Сан-Ремо в Москву, а теперь я пишу Вам оттуда и туда же. Но только я ошиблась в своем представлении Сан-Ремо. Он не нравится мне. Здесь так тесно, природа такая сухая, камни такие белые, что глазам трудно, некуда ни пойти, ни поехать, море не только не имеет ни прилива, ни отлива, но даже волн так мало, что его можно принять за Женевское озеро. Так что я переменила намерение нанять здесь виллу и долго прожить, а пробуду от двух до двух с половиной недель и тогда, вероятно, все-таки на Como; там гораздо лучше. Здесь я ездила специально к Pension Joly, чтобы видеть то место, где жил дорогой мне человек, где родилось столько [*пропуск в копии*] музыки. Я обошла весь Hôtel кругом, но чувствовала, что Вас в нем нет, потому что мое сердце было далеко, около Вас.

Когда я много раз думала о том, что Вам бы следовало бросить консерваторию, то именно так и распределяла Вашу жизнь, чтобы часть времени Вам быть в деревне, в России, а другую часть за границею, и я очень радуюсь, что и в этом сошлись наши

мысли. Я, вероятно, проведу зиму за границею. Приезжайте куда-нибудь поближе, мой милый друг,- как бы я была рада. Приезжайте на Lago di Como, там ужасно хорошо и есть много мест, кроме Bellagio, по берегу озера. Как было бы славно, если бы мы жили на расстоянии одной или двух верст или на двух берегах озера.

Здесь мы устроились в Hôtel'е великолепно. Я имею отделение в три комнаты, Юля в две, Соня и Милочка также две, Макс и Миша со своим французом три, так что только один Пахульский имеет одну комнату, ну, да ему довольно. [*Пропуск в копии*] то урок музыки Соне он дает в других комнатах. Ах, кстати, друг мой, Пахульский переписал и послал Вам в Москву, в консерваторию, Ваши браиловские сочинения; получили ли Вы их? Он послал еще из Интерлакена.

Я еще не принималась за музыку, но, вероятно, сегодня уже начну с Вашего скрипичного концерта и маленьких браиловских пьес. В Браилове и Женеве Пахульский очень усердно учил Ваш концерт, но за это время в переездах отстал в музыке. Как-нибудь в своем письме расскажу Вам и по поводу его подвига доброго сердца Ник[олая] Григ[орьевича].

Я была и в третьем русском концерте в Париже. Зала опять была полная. Из Ваших сочинений, друг мой, как Вы и увидите из программы, исполнялись Барцевичем серенада и вальс, и публика очень много аплодировала. Вообще для Парижа я скажу, что Ваши сочинения были весьма хорошо приняты публикою, а что, по-моему, главное—обратили на себя большое внимание музыкантов. Это несомненно, и это меня очень радует. Ваша серенада меня всегда приводит в восторг, а вальс я слышала в первый раз. Это красивое, блестящее, эффектное произведение. Барцевич исполнил очень хорошо, как и следовало ожидать от такого способного мальчика. Посылаю Вам, друг мой, еще рецензии из «Gazette Musicale» и программу третьего концерта. Музыкальный магазин «Durand» обещал мне прислать статьи и о третьем концерте, но еще не прислал. У меня здесь абонированы два пианино, очень недурные.

Сегодня моя мелкая публика начинает свои уроки. Жаль их, а делать нечего. Саша (Беннингсен) доехала благополучно до Петербурга; я рада за старших мальчиков. А мой бедный Володя недавно был болен возвратною горячкою и теперь для восстановления сил поехал в Ялту. Это и для его жены полезно, потому что у нее грудь слабая. В Париже я виделась со своею старшею дочерью Лизою, которая замужем за Иолшиным. Они два года уже живут за границею. У них есть мальчик, очень слабенький, но очень миленький и развитой.

В Париже я измучилась. Там теперь такой шум, такой хаос и такой бессовестный грабеж, что я все время возмущалась и рада была, когда вырвалась оттуда. Мой адрес в San Remo: Hôtel Victoria.

Теперь здесь совсем пусто. Так как зимний сезон начинается только с 1 октября (н. с.), то еще никого и нет, и благодаря этому я и могла так хорошо устроиться.

Я очень рада, мой милый друг, что Вы хорошо устроились с квартирою в Москве, но мне очень жаль, что Вы не взяли ее у меня. Но уж если не хотите жить у меня в доме, то мне бы очень хотелось, чтобы Вы, по крайней мере, сходили ко мне в дом ради прогулки и посмотрели бы его весь, весь. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы имели понятие и о моем московском жилье, и если пойдете, мой милый друг, то обратите внимание на те комнаты, которые приготовлены для Вас, это очень миленький уголок. Вы бы никого не увидели в доме, потому что туда дано приказание Ивану Васильеву, чтобы в то время никого не впускали и никто бы Вас не сопровождал. Так что я была бы рада, если бы Вы там посидели, покурили, посмотрели картины, поиграли на роялях. Там у меня есть два Erards в зале, один Бехштейн и один премилый Steinway. Соберитесь, мой дорогой, и прогуляйтесь.

Погода здесь очень жаркая, это великое достоинство Сан-Ремо: в тени 18° по Реомюру, на солнце 29°. Я наслаждаюсь, но зато москиты меня замучивают, не дают мне ночи спать, и в особенности они нападают на меня, Юлю и Милочку; мы совсем пестрые от их укусов. Вчера мы ездили кататься в Бордигеро. Это городок и железнодорожная станция. Высокое место над морем. Вообще прогулок здесь мало.

Вы меня ужасно огорчили известием, что Аксаков сослан. Я нигде этого не читала и не слыхала; за что же? А что касается той молодежи, которую теперь ссылают, то этих мне не жаль. Им мы обязаны тем тяжелым положением нашей родины, при котором не хочется и вернуться на нее. Это лентяи, проповедующие коммуну под фирмою социализма. Я не люблю их.

Я, вероятно, до декабря пробуду в Италии, а в декабре к нашим праздникам предполагаю поехать в Вену, чтобы моим из Петербурга было ближе приехать ко мне на праздники.

До свидания, дорогой мой, бесподобный друг. Жму Вам руку. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

194. Мекк — Чайковскому

Сан-Ремо,
[12] сентября [1878 г.]
Утро.

Только что я окончила свое письмо к Вам, как мне подали Ваше от 12 сентября. Предложение Давыдова Вам меня чрезвычайно радует, мой дорогой Петр Ильич, потому что я вижу из него, что есть люди, которые умеют ценить Вас. Но я также нахожу, что принять его не следует, тем более, что нет риска потерять выгодное условие. Я совершенно убеждена, что Вы можете получить их всегда и во всей Европе, но Вам как композитору с такою богатою фантазиею необходима полная свобода и достаточно времени для отдыха. Вы совершенно верно сказали, милый друг, что я с полуслова понимаю то, что Вы чувствуете. Я скажу Вам даже больше этого — что я поняла Ваше настоящее положение и необходимость перемены его раньше, чем Вы сами это почувствовали. Я давно хочу, чтобы Вы были в п о л н е с в о б о д н ы.

Что Рубинштейн вернулся в Москву? Когда я уехала из Парижа, то слышала, что предполагался и четвертый концерт Русского музыкального общества. Как жаль, что в этих концертах не участвовала Лавровская, — музыка Глинки имела очень неудовлетворительных толковательниц в г-жах Белохи и Велинской.

А я и в Париже не могла достать Вашего скрипичного вальса. Вообще у Брандуса почти ничего нет из Ваших сочинений, а больше гораздо я нашла у Durand, у которого я обыкновенно покупаю ноты. По Вашей рекомендации, друг мой, мы сегодня собираемся съездить в Taggia, а на-днях и в Colo. От жары я не страдаю никогда, напротив, я все ищу т е п л а на свете, а вот от москитов страдаю ужасно. Я поджидаю ответа на мою телеграмму о том, куда адресовать lettre chargée, но так как его до сих пор нет, то я посылаю одно письмо, а по получении ответа пошлю только paquet chargé. До свидания, мой дорогой, милый друг. Приезжайте на Como, — как будет хорошо!

Ваша Н. ф.-Мекк.

195. Мекк — Чайковскому

Сан-Ремо,
22 сентября 1878 г.

Ждала, ждала от Вас ответа на мою телеграмму с вопросом, куда адресовать lettre chargée, но до сих пор не дождалась. Думаю, что она не дошла до Вас, и не хочу терять времени на

повторение вопроса, поэтому посылаю прямо lettre chargée в Москву. Надеюсь, что оно найдет Вас еще в Москве, тем более, что, пожалуй, Рубинштейн еще не вернулся из Парижа, так как был и четвертый концерт.

Сейчас мне прислал Durand из Парижа газету с отчетом о третьем русском концерте, который и посылаю Вам здесь, мой милый друг. Насчет г-жи Белохи Вы не верьте этому отзыву. Эта певица вот какая: голос у нее очень приятный по тембру, contralto, но очень малый; музыкальное исполнение хорошо, но выражения никакого, холодно и вяло поет до несносности, а для арии Рогнеды, при шумной оркестровке Серова, у нее совсем уже нехватало силы. Я надеюсь получить от Durand отчет и о четвертом концерте. Мне почему-то кажется, что в нем играли нашу симфонию; если это так, то мне будет ужасно досадно, что я не была. Отчего Рубинштейн не дал спеть ни одного из Ваших романсов? Как они хороши. Вчера я играла Ваши браиловские пьесы, — что за прелесть! Что наша симфония печатается? Здесь продолжает стоять летняя жара, начинают прибывать путешественники в Hôtel; это очень скучно. До сих пор мы были одни, так как осенний сезон начинается только с 1 октября нового стиля. Третьего дня мы ездили в Taggia; это очень интересный город. Мы там гуляли, были в Cathédrale, обошли все кругом и вернулись домой. Я довольна своею жизнью здесь: удобно, покойно, тихо, в особенности после этого гадкого Парижа. Приезжайте на Como, дорогой мой. Вы увидите, что там очень хорошо. Там-то можно сочинять хорошие вещи. Нельзя представить себе лучших условий климата и природы, как там. До свидания, бесценный мой Петр Ильич. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

196. Чайковский — Мекк

Москва.
24 сентября [1878 г.]

Милый, дорогой мой друг! Я все ждал вашего письма, чтобы, сообразовавшись с Вашими советами, принять какое-нибудь положительное решение. Но письмо Ваше все еще не дошло до меня, хотя я и знаю, что, судя по Вашей первой телеграмме, оно должно быть близко. Между тем, произошли обстоятельства, о которых мне хочется рассказать вам сейчас же. На этой неделе приехал Рубинштейн. Я очень обрадовался его приезду, так как мне хотелось поскорее начать подготовления его к при-

нятию известия о предстоящей моей отставке. Ему был устроен в консерватории торжественный прием, и в тот же день был дан обед в Эрмитаже, на котором и я присутствовал [1]. Рубинштейн в ответ на первый тост, провозглашенный в его честь, сказал спич, смысл которого тот, что он особенно осчастливлен успехом моих сочинений в его концертах, что я — высокодаровитый композитор, что консерватория должна почитать себя счастливою, обладая такою знаменитостью, и т. д. все в том же роде. Речь окончилась тостом и овацией моей персоне. Нечего Вам говорить, как неприятно полействовала на меня эта речь и эти овации. Я почувствовал, что удрученному игом благодарности за сделанную честь мне будет неловко тотчас после всего этого заговорить с Рубинштейном о моих планах уехать отсюда. Я возвратился домой в совершенном отчаянии. Мне казалось, что после несомненных услуг, оказанных мне Рубинштейном в Париже, после устроенной им на обеде овации, с моей стороны будет черной неблагодарностью нанести ему чувствительную неприятность перспективой близкого моего удаления из консерватории.

На другой день однакож случилось так, что я высказался ему почти вполне. Он попросил у меня позволения интимно побеседовать. Я согласился. Беседа началась вопросом: почему я так мрачен, как я себя чувствую, что делаю? Само собой разумеется, что я не мог отвечать ему ложью и вводить в заблуждение. В сильнейшем волнении я ему высказал, до чего моя теперешняя жизнь невыносима, до какой степени меня безраздельно охватила мизантропическая мания, и предварил его, что во всяком случае долго здесь не останусь.

Представьте себе мое удивление! Я воображал, что Н[иколай] Гр[игорьевич] сокрушится, рассердится, станет меня уверять, что для моего счастья мне лучше оставаться. Ничуть не бывало. Рубинштейн выслушал все это с улыбкой человека, внимающего речам капризного и взбалмошного ребенка, и не выразил особенно сожаления. Он сказал только, что, лишившись моего имени, консерватория утратит *много престижа*, как бы намекая этим, что, в сущности, от моего удаления польза учеников нисколько не пострадает. Положим, что он совершенно прав и что я действительно очень плохой, раздражительный и неумелый учитель, но все-таки я ожидал большего упорства удержать меня при консерватории. Вы поймете, друг мой, до чего мне приятно было увидеть, что мое предстоящее удаление не особенно сердит и огорчает Рубинштейна. Не стану углубляться в причины этого равнодушия, тем более для меня непонятного, что накануне в его речи я как бы прочел убедительную с его

сторони: прошу остаться. Как бы то ни было, но у меня гора с плеч свалилась. Я ожидал бурных неприятных сцен, оказывается, что все кончится очень мирно и тихо. Я не назначил покамест срока отъезда и вообще не сказал ему ничего решительного, но предупредил, что ему нужно подумать о том, кто меня заменит, в случае если я исчезну. При этом я предложил ему одного очень талантливого петербургского теоретика, Б е р н г а р д а. Но от него он решительно отказывается, так как Бернгард учился в Петербургской консерватории, с которой он не желает иметь ничего общего. Мы расстались совершенно дружески. Сегодня я с ним виделся и с удовольствием заметил, что он продолжает быть, как был в день приезда, веселым и нимало не огорченным. Не думает ли он, что я б л а ж у (как он выражался про меня в прошлом году) и что эта блажь пройдет?

Увы! если так, то он сильно ошибается. С каждым часом, с каждой минутой я все более и более убеждаюсь, что б л а ж ь никогда не пройдет. Всего хуже то, что я решительно не могу здесь заниматься, а без этого жизнь теряет для меня всякий смысл. Бывают минуты ужасно тяжелые. К счастью, теперь, когда Рубинштейн уже извещен, я могу быть покойнее. Чтобы окончательно успокоиться, насколько это будет возможно, пока я здесь останусь, мне нужно только получить Ваше письмо. Я заранее чувствую, что Вы не станете советовать мне итти наперекор своей натуре. Но, тем не менее, мне нужно Ваше письмо как нравственная поддержка, с которой я все могу вытерпеть. Во всяком случае, впрочем, я никогда не сделаю чего-нибудь несогласного с Вашим советом и указанием.

И з в е с т н а я о с о б а изобрела новую тактику напоминать о себе. Она очень добросовестно исполняет поставленное мною условие субсидии: или переехать в другой город или устроить так, чтоб я никогда ее не видел. В настоящую минуту я даже не знаю, здесь она или куда-нибудь переехала. Но зато мать ее бомбардирует меня письмами с изъявлениями нежнейшей любви, с приглашениями навещать ее и даже с просьбой быть п о с а ж е н н ы м о т ц о м на свадьбе ее младшей дочери, говоря, что м о е б л а г о с л о в е н и е п р и н е с е т е й с ч а с т ь е (!!!!). Она уговаривает меня также в одном письме жить с известной особой и обещает мне п о л н о е с ч а с т ь е. Ах, боже мой, как хорошо быть вдалеке от всего этого. До свиданья, мой добрый, дорогой друг.

П. Чайковский.

Вчера получил Вашу вторую телеграмму. Спасибо Вам, дорогая моя.

197. Чайковский — Мекк

Москва,
29 сентября 1876 г.

Вчера я, наконец, получил Ваше письмо, мой лучший, мой беспредельно добрый, милый друг! Я заранее был уверен, что Вы во всяком случае не посоветуете мне насиловать свою природу, жить в среде, сделавшейся мне антипатичной, оставаться в таком положении, которое поневоле делает меня праздным, бессмысленно проводящим жизнь маниаком. Но только прочтя Ваши дорогие строки, я почувствовал себя вполне покойным. Счастью моему решительно нет пределов. Я не могу оставаться в этой атмосфере, я положительно задыхаюсь здесь, я считаю минуты, оставшиеся мне до вожделенного дня отъезда.

Пишу Вам только несколько строк, чтобы поблагодарить Вас за то, что Вы, в качестве моего доброго гения, даете мне возможность вырваться из ненавистной неволи. Я безмерно счастлив. Как я буду работать, как я буду стараться теперь доказать себе самому, что я в самом деле достоин того, что Вы для меня делаете! Часто, очень часто меня давит мысль, что Вы слишком много даете мне счастья. Вообще, как только я не пишу, не работаю, я начинаю презирать себя, впадать в несколько преувеличенное отчаяние от мысли о своем ничтожестве и недостойности, находить, что Ваше представление обо мне и мое действительное *я* безмерно далеки друг от друга. Когда я работаю, когда я доволен работой, тогда бездна наполняется, и я дорастаю до высоты Вашей доброты и Вашей симпатии ко мне, а работать я буду — это верно. Боже мой, что за счастье свобода! Я схожу сегодня в Ваш дом. До свиданья, милый друг мой.

Ваш П. Чайковский.

Я очень одобряю Ваше решение уехать из Сан-Ремо. Место это очень мало симпатично. Чудный климат, но скучная и серая природа.

198. Чайковский — Мекк

Москва,
[illegible] сентября 1876 г.

Я был, наконец, вчера в Вашем чудесном доме, дорогая моя. Иван Васильев принял меня с большим радушием и дал мне полную свободу бродить по комнатам одному. Я провел два часа в Вашем жилище и осмотрел все весьма подробно. Нечего и говорить, что я остался в совершенном восторге от великолепной залы и других парадных комнат, но всего более мне приш-

лись по сердцу Ваши собственные аппартаменты, а также те комнаты, в которых Вы предлагали мне поселиться. Эти последние я нашел вполне приготовленными для принятия жильца. Что это за чудный уголок! С каким наслаждением я бы пожил в этих столь же уютных, сколько и роскошных комнатах! К сожалению, это невозможно. Находясь профессором консерватории и имея обязательные отношения к людям, я не могу спрятаться в Вашем милом уголке. Мой адрес должен быть известен, а чего бы ни стали говорить, если б я поселился в Вашем доме! А между тем, ничего более подходящего нельзя себе представить для меня в настоящую минуту, как уголок Вашего дома, никому недоступный. Несмотря на перспективу близкого освобождения, несмотря на предвкушение счастья, которое я ощущаю с тех пор, как получил Ваше письмо, меня все-таки не оставляет странное, болезненное, острое и несносное неопределенное ощущение какого-то страха и жуткости, заставляющие меня избегать человеческого общества, преследующие меня даже дома, всюду и постоянно. Только у Вас я провел два часа вполне свободный от этого ощущения; да еще за городом я отдыхаю. Картины Ваши мне очень нравятся. Особенно все те, которые в Вашем доме. «I n g a n o e a m o r e»* нравится мне больше по рисунку и колориту, чем по несколько мелодраматическому сюжету. Но все, что в вашей спальне и в смежных комнатах— очаровательно. Одной заинтересовавшей меня картины я не мог хорошо рассмотреть по ее невыгодному положению. Между тем, она обратила на себя мое особенное внимание, потому что это как бы иллюстрация к первой части моей Первой симфонии. Картина эта изображает большую дорогу зимой. Хороша она! Что за прелесть голова старика над дверью! Я играл на Ваших инструментах; и Бехштейн и Steinway прекрасны. Орган Дебена очень хорош и как инструмент и как мебель. Я заключил первый осмотр Вашего дома тем, что попросил Ивана Васильева показать мне весь дом до величайших подробностей. Я перебывал во всех комнатах и был даже в Вашей чудесной бане. В настоящую минуту в доме работают обойщики. Ива[н] Вас[ильев] весьма усердно приглашал меня притти еще раз, когда все будет готово. Само собой разумеется что я буду; мне так хорошо и тепло было у Вас! Отчего дом приводится в полный порядок, несмотря на то, что Вы остаетесь зиму в Италии?

Теперь скажу Вам вкратце, что я порешил. Я объявил Рубинштейну, что останусь здесь не более месяца. В начале ноября я поеду в Петербург под предлогом семейных дел, без всяких

---

* «Обман и любовь»

провожаний, прощаний и т. п. Затем через две недели я напишу оттуда письмо, что болезненное состояние мешает мне возвратиться. Между тем, Рубинштейн уже принял меры к замещению меня, и я могу уехать с весьма утешительным сознанием, что меня заменит человек, который не хуже меня умеет отыскивать квинты и октавы. Человек этот — Танеев. Покамест, дабы предотвратить толки, Рубинштейн пригласил его в качестве фортепианного преподавателя, но как только я уеду, он примет мои классы, кроме инструментовки, которую будет преподавать сам Н[иколай] Г[ригорьевич]. В Петербурге я хочу прожить недели две-три, чтобы провести все это время неразлучно с братьями, и затем поеду в Clarens. Меня очень привлекает этот милый уголок главнейшим образом потому, что там мне раздолье работать. Когда посредством работы и уединения я приведу в порядок свои расшатанные нервы и вообще успокоюсь, тогда поеду дальше и непременно побываю на Como, вблизи от Вас, мой несравненный, мой лучший друг. Итак, мне остается провести здесь месяц. Много ли времени — месяц, а между тем я содрогаюсь от мысли об этом бесконечном периоде времени! Каждый месяц, проводимый здесь, кажется мне вечностью. Я попытаюсь в течение этого месяца поработать, но весьма сомнительно, чтоб это удалось. Меня утешает то, что в половине октября приедет сюда из деревни Модест, который хочет остаться у меня вместе со своим Колей несколько дней.

Мне было приятно увидеть из письма Вашего, что и Вам San Remo пришелся не по вкусу. Чудный климат, но местность мало привлекательная. Позвольте рекомендовать Вам поездку в экипаже по Corniche и до Ниццы. Невообразимо чудная прогулка! Впрочем, весьма вероятно, что Вы уже этой дорогой приехали в San Remo. Я нигде не бываю и почти никого не вижу, но каких трудов мне стоит отделываться от приглашений, приставаний, навязываний! Как мог я прежде переносить эту жизнь! Погода все еще стоит удивительная. Я все свободное время провожу за городом. Только вне Москвы, в лесу, · где-нибудь подальше я могу дышать свободно. Мне необходимо остаться еще месяц, чтобы дать время Танееву приготовиться к моей замене, а также чтобы мое нынешнее бегство из Москвы не было буквальным повторением прошлогоднего.

До свиданья, друг мой. Благодарю Вас тысячу раз за письмо Ваше, воскресившее меня. Что поделывает мой друг Милочка?

Передайте ей мой поцелуй.

Ваш П. Чайковский.

199. Чайковский — Мекк

Москва,
2 октября 1878 г.

Дорогая моя! Вчера вечером меня осенила следующая мысль. К чему мне тут без надобности оставаться целый месяц? Жизнь моя до того теперь бессмысленна, что и месяца трудно выдержать. Я хотел остаться по двум причинам: 1) дать Танееву время приготовиться заменить меня и 2) 3 ноября состоится первый концерт Р. М. О., на котором Рубинштейн собирается играть для меня мой фортепианный концерт[1].

Что касается первой причины, то оказывается, что высшие классы гармонии примет на себя не Танеев, а Губерт, которому готовиться нечего. К первому же курсу гармонии Танеев совсем готов. В концерт я все равно ни за какие блага в мире не пошел бы, следовательно, и без того не слышал бы исполнения Рубинштейна. Меня удерживали здесь еще некоторые другие соображения и преимущественно какая-то деликатность относительно консерватории. Мне не хотелось быстрым отъездом показать, до чего мало я ценю своих здешних soi-disant * друзей. Но, во-первых, я имею причины не быть особенно деликатным, а во-вторых, все эти соображения падают перед тем, что жизнь моя теперь — столь вопиющая бессмыслица, столь несносна, столь невыносима, что даже и месяца я не могу выдержать. Не скрою от Вас, что я постоянно должен был прибегать к вину, чтобы поддерживать себя. Ну, словом, j'ai précipité les événements **. Сегодня я сказал Рубинштейну, что уезжаю в конце недели.

Итак, друг мой, менее чем через неделю я свободен. Планы мои следующие. Октябрь я проведу в Петербурге, а в начале ноября поеду за границу, в Clarens.

Я устрою отъезд свой незаметно, без всяких прощаний и чествований. Вот мой адрес в Петербурге: Новая улица, на углу Невского проспекта, д. № 75, кв. № 30, Анатолию Ильичу Чайковскому, для передачи и т. д. Lettre chargée, вероятно, получу сегодня или завтра. Спасибо Вам, друг мой.

Ваш П. Чайковский.

---

* так называемых
** я ускорил события

200. Мекк — Чайковскому

Сан-Ремо,
9 октября 1878 г.

Как я рада, мой милый, бесценный друг, что Вы уже освободились от татарского ига нашего почтенного и несомненно заслуженного друга, но от которого все-таки лучше быть подальше и избегать личных с ним сношений. Я также рада, что он не обазартился на Ваш отказ, потому что худой мир лучше доброй ссоры. Мне почему-то кажется, что на Вашу кафедру был бы непрочь поступить Ларош, а сам Рубинштейн, вероятно, посадил Калиновского. Ну, да это нам все равно; слава богу, что Вы-то вырвались. Теперь Вам остается вытерпеть одну пытку, это официальные проводы, обед, спичи, прослезение и т. п.

Я все звала Вас в Bellagio, а сама изменила свой маршрут, потому что мне сказали, что в Bellagio 15 октября н. с. кончается сезон, и погода там дурная. Так я еду во Флоренцию, где намереваюсь нанять виллу месяца на два, а оттуда в Вену, чтобы там пробыть праздники. Скоро должна приехать за границу моя дочь Лида с семейством и, вероятно, прямо к нам. Теперь они, должно быть, в Браилове. Я очень довольна San Remo за его невозмутимую теплоту и ясность. Вообще здесь благодатный климат, но гигиенические условия жизни, как во всех городах Италии, а в особенности в старых, очень дурны: воздух в улицах ужаснейший, вода не фильтруется и т. п. неблагоустройства. Мы с Вами жили на двух противоположных концах города: Вы на западном фланге, мы на восточном. На-днях мы были у Pension Joly, и мне ужасно хотелось знать, в которых окнах Вы жили. Я вспомнила набеги, которые на Вас делали и генерал, ругающий Россию, и Азанчевские, и все это так живо мне представилось.

А теперь приезжайте во Флоренцию, мой милый друг, опять слушать «Pimpinella»; ведь Вам там нравится? Как бы Вам добыть которого-нибудь из братьев пожить с Вами за границею, а то я боюсь, что Вам долго одному будет скучно. Может быть, Конради опять пошлет своего мальчика за границу? Хорошо бы. Я боюсь, что это письмо не застанет Вас уже в Москве и не дойдет до Вас. Я предполагаю выехать во Флоренцию в четверг 5 октября вечером, следовательно, быть во Флоренции 6-го утром, и прошу Вас, дорогой мой, адресовать мне теперь во Флоренцию, poste restante, пока, а потом я Вам дам подробный адрес.

Сейчас ко мне прибежала Милочка. Я ее спросила, что написать Вам от нее, она отвечала: кланяться Вам и рассказать, как они на ослах катались, и сказать что она за границей est un petit peu contente*. Это означает то, что ей очень хочется в Москву, а хочется этого потому, как она говорит, что там остались ее маленькие часы и маленькая собачка Ренци. Вчера она, сидя с работою у Юли в комнате, говорит ей: «Il faut pourtant penser sérieusement si je dois me marier ou non» **. Прогулкою здесь на ослах она чрезвычайно довольна. В первый раз мы ездили все на ослах в этот городок Colo, который Вы рекомендовали, Петр Ильич, и она есть самая храбрая наездница из всей мелкой публики. Второй раз, на-днях, мы ездили в экипаже, а их я отпустила опять на ослах в гору к Madonna della Guardia. Это хорошенькое место, высокое, где стоит церковь над морем. Мы ни разу не съездили ни в Ниццу, ни в Монако; проездом видели, что они очень красиво лежат, но что природа такая же, как в Сан-Ремо, и нам лень поехать. Кстати, посылаю Вам вырезку из газеты с описанием театра в Lugano и в Ницце нашего русского — фон-Дервиза. Я когда-то хорошо знала его, он был компаньоном моего мужа по постройкам железных дорог, но теперь мы не встречаемся, так как я разошлась с людьми.

Так как я не уверена, что это письмо дойдет до Вас, то и не пишу много. До свидания, дорогой мой Петр Ильич. Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

201. Чайковский — Мекк

Москва.
7 октября 1878 г.

Вчера я дал свой последний класс. Сегодня я уезжаю в Петербург. Итак, я человек свободный. Сознание этой свободы доставляет неизъяснимое наслаждение. И как хорошо, что к наслаждению этому не примешивается никакого неприятного чувства, никакой неловкости. Совесть моя совершенно покойна. Я уезжаю в полнейшей уверенности, что консерватория нисколько не пострадает от моего отсутствия. Меня радует также мысль, что я не оказываю никакой неблагодарности, хотя не сомневаюсь, что некоторые обвиняют меня в этом. Хорошо припоминая всю мою консерваторскую службу, я не

* очень мало довольна

** «Надо, однако, серьезно обдумать, должна я выходить замуж или нет»

могу не притти к заключению, что никогда не было сделано ничего, чтобы облегчить и поощрить ту сторону моей деятельности, которая единственно придает смысл и цену моей жизни. С другой стороны, я уезжаю примиренный с Москвою. Я с благодарностью буду помнить, что здесь развернулись мои артистические силы, что здесь судьба столкнула меня с человеком, которому суждено было сделаться моим добрым гением.

Я получил вчера lettre chargée. Как эти вещи делаются просто за границей и как все это сложно и хлопотливо у нас. Между прочим, сообщу Вам, друг мой, что посылку эту я получил в следующем виде. Мне выдали большой конверт с адресом, написанным Вашей рукой; в конверте этом не было ничего, но к нему был привязан и припечатан множеством печатей обвернутый тряпкой пакет, в котором и находились деньги. На пакете этом было написано: Russie, Brody, Moscou. Kaikovsky. Как странно это!

Спасибо Вам, дорогой друг.

Я должен извиниться перед Вами. Я не понял, что Вы хотели телеграфического ответа на Ваш вопрос, куда адресовать письма, и оттого заставил Вас дожидаться ответа.

Я был вчера еще раз в Вашем доме и на этот раз видел его в том самом виде, в каком он бывает при Вас. Я еще раз обстоятельно рассмотрел все картины. Какие прелести есть у Вас! Какие милые акварели имеются в Ваших альбомах! Еслиб я ходил туда каждый день, то все еще оставалось бы каждый раз много нового и интересного. Но лучше всего Ваши три комнаты; как в них тихо, уютно, хорошо! Чудный дом.

Я уезжаю сегодня вечером с курьерским поездом в Петербург, где останусь недели две-три у брата Анатолия. В начале ноября предполагаю выехать за границу и хочу около месяца провести в Clarens, где мне удивительно удобно работать. После того я непременно побываю на Como и в свое время попрошу Вас, друг мой, посредством комиссионера узнать, можно ли устроиться в Menaggio или же в другом месте. Вот мой петербургский адрес: Новая улица, на углу Невского, д. № 2/75, кв. № 30. Ан. Ильичу Чайковскому, для передачи П. И.

До свиданья, добрый мой гений.

Ваш П. Чайковский.

Я высылаю Вам «Евгения Онегина», который готов[1]. Клавираусцуг нашей симфонии печатается. Задержал Танеев.

202. *Чайковский — Мекк*

Петербург,
10 октября 1878 г.

Пишу к Вам уже из Петербурга, мой бесценный, милый друг. Я поселился на одной лестнице с братом Толей в небольшом меблированном аппартаменте, очень покойном и удоб ном. Нечего и говорить, что мне приятно было увидеться с братом, отцом и несколькими друзьями. Тем не менее, я останусь здесь как раз столько, сколько нужно, чтобы Алеша успел устроить сдачу моей квартиры и достать себе заграничный паспорт, что сопряжено с некоторыми затруднениями, так как он близок к возрасту, в который бывает призыв к исполнению воинской повинности.

В день отъезда я обедал с некоторыми из приятелей, а именно: с Рубинштейном, Альбрехтом, Юргенсоном, Кашкиным и Танеевым. Несмотря на всю радость желанного освобождения, я испытал некоторое грустное чувство, расставаясь с людьми, в среде которых прожил более двенадцати лет. Они все казались очень опечаленными, и меня это тронуло.

Мне очень бы хотелось здесь немного заняться, а именно, докончить эскизы начатой в Браилове с ю и т ы и решить выбор сюжета для моей следующей оперы. К сожалению, случилось обстоятельство, которое покамест препятствует мне приступить к работе. У одного моего друга, товарища по Училищу, с которым я сохранил дружеские отношения до сих пор, случилось большое семейное несчастье, повергшее его в глубокое горе [1]. Это случилось в день моего приезда. Большую часть времени я провожу теперь у него. Не скрою, что эта катастрофа и на меня влияет настолько сильно, что омрачает радость свидания с близкими сердцу и сладкое ощущение свободы. Судьба любит отравлять всякие мои радости. Хотя я ни у кого, кроме близких, не был, но на улице встретил уже множество людей с неделикатными расспросами, с зазываньями и т. д. Скажу, чтобы не распространяться, что я рад буду очутиться далеко и в одиночестве.

В Москве до самого моего отъезда держалась чудная летняя погода. Петербург я нашел уже погруженным в осеннюю слякоть, туман и сырость. Как город, Петербург всегда был и всегда будет мне несимпатичен.

Через дней пять приедет Модест. Писал ли я Вам из Москвы, что еще раз был и провел чудных два часа в Вашем доме?

До свиданья, милый друг. Думаю, что письмо это уже не застанет Вас в San Remo.

Ваш П. Чайковский.

203. *Мекк — Чайковскому*

Флоренция,
13 октября 1878 г.

Милый мой, несравненный друг! Благодарю Вас очень, очень за ваши дорогие письма, которые я получаю в полной исправности и которые всегда доставляют мне несказанное удовольствие. Я очень рада, что Вы не остались долго томиться в Москве бесцельным пребыванием: Вы опять утомлены душою, и Вам надо скорее отдохнуть. Огорчает меня только вот что, мой милый, дорогой, — это способ успокоения, к которому Вы прибегаете в последнее время. Я очень хорошо знаю то состояние, в котором это становится почти необходимым, но я также хорошо знаю и тот страшный вред, который это приносит всему организму человека; вся его физическая и психическая стороны платят впоследствии ж е с т о к о. Поэтому, дорогой мой, хороший, если вы меня хоть немножко любите, если хотите что-нибудь для меня сделать, удержитесь от этого разрушительного паллиатива, поберегите Ваш талант, поберегите себя для других людей. Ваше назначение на земле так высоко, что стоит для него отказаться от минутного облегчения гнетущей тоски, тем более, что против этой же самой тоски лучшим средством было бы то же самое занятие, которым Вы выполняете это избранное назначение. Послушайтесь, бесценный мой.

Очень, очень Вас благодарю за исполнение моей просьбы побывать у меня в доме, но мне очень жаль, что Вы не были тогда, когда он совсем готов, — от этого он много терял. Ваше замечание о мелодраматичности сюжета картины «Amore e ingano» вполне совпадает и с моим отношением к нему. Этот сюжет так пуст, что я затруднялась покупать картину, но прелесть работы подкупила меня; я купила ее в Милане, в Galleria la Brera. Мое отделение во флигеле было приготовлено для Вас, мой милый друг; это мои любимые комнаты.

Я очень рада, что Вы теперь в Петербурге: туда письма идут скорее, а в Москву ужасно долго. Но еще больше я буду рада, когда Вы приедете за границу; я с бóльшим удовольствием буду жить там. Да, Вы спрашивали, друг мой, для чего готовится дом в Москве, — то на всякий случай, если бы я уж очень стосковалась по Москве, то чтобы могла в каждую минуту вернуться и найти все готовым. Я за границею чувствую всегда ужаснейшую тоску по родине. Здесь погода не такова, как в Сан-Ремо: хотя температура так же высока, как и там, но дождей много. Я наняла здесь дачу, Villa Oppenheim, à la Viale dei Colli. Я не

знаю, друг мой, знаете ли Вы эту дорогу, на которой расположены дачи по обе стороны. Это прелестная платановая аллея с красивыми скверами, эспланадами и т. п., по обе стороны которой, в начале ее от города, расположены дачи. Villa, которую я наняла, великолепна, т. е. самая вилла, потому что сад небольшой и не особенный, но помещение — верх роскоши. Я предполагаю пробыть здесь до начала декабря, а потом в Вену, чтобы успеть также приготовить квартиру и устроить хозяйство к нашим праздникам и приезду моих из Петербурга.

Что Анатолий Ильич, как его нервы? Возьмите-ка его с собой в Clarens; это будет для него очень полезно и Вам очень приятно. А куда же теперь приедет Модест Ильич? Что милые обитатели Каменки? Здоровы ли все? Какова свекловица у Льва Васильевича? А у меня в Браилове опять неудача по хозяйству: свекловица в поле была великолепная, ожидали огромного урожая, а теперь, когда приступили к копке, то оказалось очень мало, а это самый важный продукт в имении. В настоящее время в Браилове гостит Лида со своим семейством, а оттуда она также едет за границу, где мы и увидимся. Меня очень радует это ожидание. Как жаль, что я не могу Вам показать виллу, которую мы наняли, — она очень хороша. Если бы я была богаче, то купила бы ее, а теперь не могу, потому что хотят 650 тысяч lire; это очень большая сумма. В настоящее время мы еще живем в городе, в Hôtel d' Italie, потому что на даче не все еще устроено для принятия нас. Прошу Вас адресовать, друг мой, на Viale dei Colli, Villa Oppenheim.

Здесь развелось очень много певцов: в один день по несколько хоров приходят, а того мальчика с его «Pimpinell,ей» нет. Я получила из Москвы ноты Вашего скрипичного вальса и теперь выписываю оттуда концерт скрипичный. На дачу я абонирую великолепный рояль Эрара. До свидания, мой милый, бесценный друг. Жму Вам руку. Всем сердцем любящая Вас

Н. ф.-Мекк.

204. Чайковский — Мекк

С.-Петербург,
14 октября 1878 г.

Получил вчера письмо Ваше, дорогой друг мой. Я очень рад, что Вы поселяетесь во Флоренции. Город этот оставил во мне самое поэтическое и милое воспоминание. Я, с своей стороны, тоже мечтаю пожить там, но предварительно все-таки поеду в Clarens, в милую виллу Ришелье, которая соединяет в

себе все условия для тихой и благоприятной работе жизни. На Como я надеюсь все-таки побывать весною, перед отъездом в Россию. Таким образом, планы мои следующие: месяц или полтора в Clarens, месяц-два во Флоренции, поездка на Como и возвращение в Россию. Как бы я этого ни желал, но ни один из братьев со мной ехать не может. Очень может быть, что я несколько поскучаю после разлуки с ними, но в виду свободы и возможности во всякую данную минуту переменить местопребывание, грусть по ним не может быть такой жгучей и острой, как была в прошедшем году, когда я находился в ненормальном состоянии и когда обстоятельства, а не собственная воля, принуждали меня жить вдали от них. Зато какое благо для меня жизнь свободная от обязательных сношений с посторонними! К числу посторонних я отношу родных. Имеете ли Вы многочисленную родню, друг мой? Кажется, нет. У меня родство огромное, и все мои родные живут в Петербурге. Это очень тяжелое иго. Несмотря на узы крови, люди эти по большей части мне совершенно чужды, и сообщество их, кроме тягостной необходимости казаться довольным в то время, как никакого удовольствия не испытываешь, мне ничего не приносит. Я завален просьбами и приглашениями этих родных. И так как весьма неприятно огорчать людей без причины, то поневоле приходится ежедневно платить тяжелую дань скуке. Всего невыносимее то, что все они считают долгом говорить со мной о музыке и просить меня что-нибудь новенького сыграть. Между тем, тех, кого хотелось бы видеть часто, видишь мало. Моего чудного по ангельской доброте отца я вижу только урывками. Милый старичок каждый раз плачет от радости, когда посещаешь его. Он очень утешает нас. Здоровье его хорошо, и вчера он провел вечер в театре, что нисколько его не утомило.

Модест приехал. Нечего и говорить, что свидание с ним и с Колей доставило мне большую радость. Повесть его близится к концу. Коля сделал огромные успехи в выговоре и в понимании чужой речи. Он теперь свободно говорит со всеми.

Я не слышал здесь никакой музыки. Сегодня назначен экстренный концерт Музыкального общества с участием Антона Рубинштейна. На концерт этот я не пойду во избежание встречи с лицами, принадлежащими к музыкальному миру. В опере я тоже не был ни разу. «Вакула» стоял на репертуаре, но ни разу не шел вследствие того, что тенор Комиссаржевский каждый раз, как назначается опера, объявляет себя больным. Он делает это потому, что в роли этой не нравится: она требует сильного, свежего голоса, а у него какие-то

жалкие остатки голоса. Меня уговаривают хлопотать и просить, чтобы роль Вакулы отдали другому. Но хлопотать и просить есть для меня невыносимая мука. Опера эта не имела успеха в смысле аплодисментов и восторженных оваций, но она делала отличные сборы, и, следовательно, дирекции следовало бы самой озаботиться о благоприятном распределении ролей.

Меня несказанно радует, что Вы проведете зиму в Италии. Я убежден, что это в высшей степени хорошо повлияет на Ваше здоровье. Еще более мне приятно, что Вы выбрали своим местопребыванием Флоренцию, которую я крепко полюбил в прошлом году. Я радуюсь, что мы некоторое время будем жить в одном городе с Вами.

Я пробуду здесь еще две недели. Как обидно, что курс на наши деньги все падает и падает! И, кажется, нет причин ожидать повышения. Скорее, наоборот. До свиданья, милый друг. Передайте Милочке мои приветствия.

Ваш П. Чайковский.

205. Чайковский — Мекк

С.-Петербург.
18/30 октября 1878 г.

Получили ли Вы, милый друг мой, «Онегина»? Он был адресован в Сан-Ремо. Черновую же рукопись я покамест оставил в Москве, но написал Алексею, чтобы он привез мне ее сюда. Я приведу в порядок эти разрозненные листы и тетради и возьму с собой, а во Флоренции, где я непременно рассчитываю быть в одно время с Вами (т. е. в декабре), я Вам доставлю ее. Пожалуйста, друг мой, напишите мне, в каком месте находится Ваша вилла и вообще как Вы устроились. Я чрезвычайно радуюсь, что Вы именно Флоренцию избрали своим местопребыванием, но боюсь, чтоб Вы не страдали от холода. Все же климат Флоренции не такой теплый, как на Riviera Ponente.

Я продолжаю пользоваться гостеприимством моих многочисленных здешних родственников. Все эти люди оказывают мне самый теплый прием, но я немало страдаю от сознания ложности моего положения относительно их. Они мне все или почти все вполне чужды, а между тем, кровные узы обязывают к интимности. Приходится играть маленькую комедию, и это меня очень тяготит. Мне также чрезвычайно неприятно, что все они постоянно просят меня играть, затем распространяются насчет музыки и, наконец, допытываются узнать, когда

же я буду произведен в директора консерватории. Это все чиновный люд, и на меня они смотрят как на музыкального чиновника, несколько обойденного и пораженного несправедливостью высшего начальства, не догадавшегося произвести меня в директора.

Только наедине с братьями и в уютном уголке моего дорогого старичка-отца я отдыхаю и почерпаю силы вести скучную петербургскую жизнь. Если б не эти немногие милые мне до бесконечности лица, то, конечно, я бы никогда не показал носа в великолепной, но несимпатичной северной столице. Я бы не задумываясь уехал отсюда сейчас же, если б не братья и не отец. К сожалению, я мало наслаждаюсь сообществом их. Во всяком случае, не позже 1 ноября я уезжаю.

Моя отставка от профессорской должности и появление «О н е г и н а» произвели некоторую сенсацию в здешнем музыкальном мире. Обо мне много говорят и фантазируют на все лады. Все убеждены, что я д о б и в а ю с ь профессорства в Петербурге. О! как они далеки от истины! Из музыкантов я виделся только с Давыдовым, где целый вечер был посвящен ознакомлению с «О н е г и н ы м», который, повидимому, нравится.

Само собой разумеется, что писать я ничего не могу. Вот я поневоле и отдохнул теперь от занятий, так как уже около двух месяцев ничего не делаю. До свиданья, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

На будущей неделе пойдет, говорят, «В а к у л а».

206. Чайковский — Мекк

Петербург,
20 октября 1878 г.

Получил Ваше дорогое письмо из Флоренции, мой милый друг! Прежде всего скажу Вам насчет п а л л и а т и в а, к которому я неумеренно прибегал в Москве, что только в самых крайних случаях, когда решительно н е т м о ч и, я обращался к этому средству. Вы совершенно правы, говоря, что средство это в данную минуту хоть и успокоительно, но зато действие его на организм à la longue * убийственно для организма. Вино в умеренном количестве мне вовсе не вредно, но при малейшем злоупотреблении оно всегда отзывалось на общем состоянии здоровья весьма вредным образом. Я это отлично сознавал всегда

* в конце концов

и, тем не менее, в тех крайних случаях, о которых я говорил, я имел слабость переходить за должные пределы. Я даю Вам самое положительное обещание отныне обращаться мысленно к Вам, когда придется бороться с искушением, и в Вашей дружбе почерпать силы, дабы устоять против соблазна. Впрочем, теперь, когда я достиг величайшего из благ — свободы, я не думаю, чтобы когда-нибудь я имел причины падать духом до того, чтобы в вине искать забвения. Теперь для моего счастья и спокойствия нужно только одно: чтобы те несколько близких и дорогих существ, которых я люблю, быть может, больше самого себя, были спокойны и счастливы.

Много, много мне бы хотелось сказать Вам. Я хотел, например, поговорить с Вами насчет брата Анатолия, но моя сумасшедшая петербургская жизнь мешает мне вести с Вами обстоятельную беседу. Знаете ли, друг мой, что я невероятно утомлен этою жизнью, что я, несмотря на все наслаждение часто видеться с братьями и отцом, уехал бы сломя голову и сию же минуту, если б не боялся этим огорчить братьев и особенно Анатоля, которому я обещался остаться до 1 ноября. Откладываю мои излияния до того времени, когда одиночество и ровная, покойная жизнь приведут меня к нормальному состоянию. Этот шум, эта вечная суета, эти ежедневные свидания с многочисленными родственниками утомили меня до последней степени. Вообще месяц или три недели, которые я проведу в ненавистном Петербурге, суть жертва братской любви. Но могу ли я жаловаться? Эта же братская любовь составляет утешение и силу для моего существования.

Мне в высшей степени приятно воображать Вас теперь во Флоренции, в городе, который оставил во мне неизгладимо приятное впечатление. Я или не помню или не знаю той местности, в которой находится Villa Oppenheim, но вообще окрестности Флоренции мне показались очень симпатичны.

Я не могу последовать Вашему совету взять Анатолия с собой за границу. Это по многим причинам невозможно. Но об Анатолии я поговорю с Вами в близком будущем подробно. Он меня беспокоит немножко. Что касается Модеста, то, к сожалению, и ему нельзя будет в этом году уехать отсюда. Каменские обитатели здоровы и благополучны, но младшие дети выдержали недавно дифтерит, этот вечный бич Киевской губернии. Меня очень тянет туда, и я бы с удовольствием провел перед отъездом за границу несколько дней среди милых людей, но боюсь, что все эти переезды отдалят мой полный отдых, для которого нужно одиночество. Дела по хозяйству хороши. Как мне грустно слышать, что в Браилове опять неудача.

О, милый Браилов! Как люблю я вспоминать чудные дни, там проведенные! Теперь, когда уже обе мои поездки отдалились в прошедшее, я с бóльшим удовольствием вспоминаю первую, когда цвела сирень, пели соловьи, деревья только что оделись свежей листвою, когда Москва была еще далеко впереди...

Я получил сейчас известие, что Н. Г. Руб[инштейн] приедет сегодня в Петербург. Нужно будет повидаться с ним.

Не помню, писал ли я Вам, что для замены меня в консерваторию приглашен Танеев, который возьмет на себя классы первой гармонии. Высший класс гармонии будет у Губерта, а инструментовка и свободное сочинение у Рубинштейна. Последний хотел пригласить Балакирева, но получил отказ.

На будущей недели пойдет «Вакула». До свиданья, дорогая моя. Сейчас отправляюсь узнать, приехал ли Н[иколай] Г[ригорьевич]. Передайте мое нежное приветствие Милочке.

Ваш безгранично любящий

П. Чайковский.

207. Чайковский — Мекк

С.-Петербург,
21 октября 1878 г.

Дорогой друг!

Я говорил Вам в последнем письме, что сестра очень уговаривает меня приехать погостить в Каменку. После того я получил еще письмо оттуда, где все милые каменские обитатели самым красноречивым образом доказывают необходимость моей поездки к ним. Они предлагают мне вновь отстроенный флигелечек, в котором хотят устроить для меня удобное и покойное помещение, снабженное даже инструментом. Я соблазнился этими предложениями и сегодня написал туда, что приеду погостить на месяц, а может быть, и до рождества. Тотчас после рождества сестра, зять и старшие племянницы едут в Петербург месяца на два, и тогда, совершенно успокоенный и оправившийся, я поеду за границу, прямо в Италию, где и останусь до лета. Братья мои в восторге от этого изменения в моих планах. Признаюсь Вам, что и мне чрезвычайно приятно будет пожить среди милых, близких людей.

Таким образом, я начал свою новую, свободную жизнь тем, что выказал значительную изменчивость и непоследователь-

ность. Мне кажется, что Вы одобрите моё намерение освежиться и нравственно оправиться в деревне. Что я не буду скучать в Каменке и что там я найду успокоение и новое рвение к работе, в этом нельзя сомневаться. Быть может, переход от моих московских и петербургских треволнений к заграничной изолированности был бы слишком резок, но, как у всех нерешительных и слабохарактерных людей, теперь, когда решение уже окончательно принято, я все-таки нахожу повод к некоторым сомнениям. Как бы то ни было, но в Каменку я еду и именно около 1 ноября. Прошу Вас, милый друг мой, писать мне, следовательно, в Каменку.

Я еще не совсем понял из Ваших писем, куда Вы намерены отправиться после Вены. Вероятно, опять в виллу Oppenheim? Мне чрезвычайно приятно будет быть во Флоренции в одно время с Вами.

До свиданья, моя дорогая.

Ваш П. Чайковский.

Вчера я виделся с Н. Г. Рубинштейном. Встреча была дружеская.

208. Мекк — Чайковскому

Флоренция,
22 октября 1878 г.

Милый мой, дорогой! Пишу Вам только несколько слов, потому что не уверена, чтобы мое письмо застало Вас в Петербурге, а раньше никак не могла написать, потому что переезжала на дачу и устраивалась, а Вы понимаете, каково это устраиваться с большим хозяйством, да еще в чужой стране, где все не так, как у нас, начиная с самого расположения комнат. В Италии все дома строят на английский лад, т. е. в первом этаже, в rez-de-chaussée *, находятся только парадные залы, столовая, биллиардная и т. п, а все спальни во втором этаже. Комнаты же нижнего этажа до того высоки, что во второй этаж надо взойти сорок восемь ступеней лестницы, что для меня убийственно. Высоких лестниц я не выношу, но делать было нечего, пришлось поместиться во втором. К тому же холодно, а я страдаю от холода невообразимо; для меня ничто не может быть хорошо, если мне холодно. Для хозяйства хотя я и имею отличную исполнительницу в моей Юле, потому что она очень хорошо знает хозяйство, так как и в Москве им занимается, и говорит

* первом этаже

по-итальянски, но я мучилась, глядя на то, как ей много хлопот. Теперь, наконец, понемножку устраивается все.

Как бы мне хотелось, мой милый, хороший, чтобы Вы немножко изменили Ваш маршрут, а именно приехали бы сперва во Флоренцию месяца на полтора, а потом в Clarens, потому что я пробуду до начала декабря, а потом в Вену, как я Вам уже писала, а мне было бы ужасно приятно пожить с Вами в одном городе за границею. Если бы Вы решились приехать во Флоренцию сейчас, я бы вам приготовила в городе квартиру, так что Вам не надо было бы в эти полтора месяца н и о ч е м заботиться и только заниматься тем, что дорого и Вам и мне, — музыкою. Приезжайте, дорогой мой. На Женевском озере теперь, наверно, погода хуже, чем здесь, потому что в Швейцарии всегда много дождей, а теперь, конечно, еще больше, а здесь хотя их много, но все же через день ясная погода, светит и греет солнце, и тогда очень хорошо. Для вдохновения есть прелестные места в том районе, где мы живем. Природа еще совсем зеленая, трава как бархат, деревья почти все покрыты листьями, цветов много. Как бы я хотела Вас соблазнить Флоренциею!

Вчера я получила из Москвы печатный экземпляр фортепианного переложения Вашего «Евгения Онегина» и вчера же немножко проигрывала его. Что за восхитительное сочинение. В особенности из того, что я успела проиграть, сцена поединка и письмо Татьяны это верх прелести! Боже мой, какое благо на земле для человека музыка. Сколько горького, печального врачует она, сколько отрады, наслаждения доставляет тем, которые ни в чем другом уже этого найти не могут. Нет слов для выражения того, что ощутится, послушавши такую музыку, как Ваша. Забьется сердце, мысли устремятся куда-то, во всем существе разольется ощущение чего-то высокого, ощущение своего собственного человечества, и хотя хочется плакать, но чувствуется так легко. Благословенны Вы, который доставляет такие минуты страждущим, больным душою; велико Ваше назначение на земле! Я получила также из Москвы Ваш вальс для скрипки, но еще не играла его, а концерт и браиловские пьесы играю постоянно, и постоянно они меня восхищают. Кстати о скрипке. Хотелось бы мне ужасно дать на Ваш суд моего protégé Пахульского, хотелось бы мне узнать Ваше мнение, может ли из него когда-нибудь выйти композитор и как ему надо поступать со своими музыкальными способностями, чтобы направить их к композиторству. По моему мнению, он непременно должен быть композитором, потому что у него чрезвычайно богатая фантазия.

Он целый день может играть на фортепиано, как я их определяю, симфонии, оратории, оперы, и можно слушать с большим интересом. Но надо же сказать, что у него совсем нет фортепианной техники и достаточных, вернее сказать, законченных теоретических познаний, хотя он понимает музыку очень глубоко и отличается весьма верными критическими способностями. Между тем, Рубинштейн при каждом удобном случае твердит ему, что из него композитор не выйдет, и это, конечно, обескураживает, опечаливает его, а мне было бы весьма жаль, если бы пропал его творческий талант и столько богатых фантазий. Если Рубинштейн судит по его классным задачам, то, мне кажется, это слишком поверхностное суждение. Они, конечно ,ничего не стоят, но, я думаю, никто из тех, кто писал впоследствии симфонии, не отличался классными задачами, потому что для них рамки слишком тесны. Для серьезного и добросовестного композитора, мне кажется, прежде всего нужен такой материал, как фантазия, — без нее будет техническая работа, а не творчество. Одним словом, всему этому консерваторскому ареопагу я н е в е р ю ни в одном слове, потому что они понимают немногое и у всех действуют мелкие страстишки, зависть и т. п. милые свойства. Рубинштейн, например, терпеть не может Пахульского. [*Конец письма не сохранился.*]

209. Чайковский—Мекк

С.-Петербург,
24 октября 1878 г.
Вторник.

Представьте себе мою досаду, мой милый друг! Вчера вечером, вынимая из своего кармана разные бумаги, я нашел и два написанных и запечатанных три дня тому назад письма моих, из коих одно к Вам. Я забыл их бросить в ящик тогда же!!! Вообще я начинаю делаться очень рассеян и забывчив и ежедневно теряю то палку, то зонтик, то калоши, то портсигар. Таким образом, Вы тремя днями позже узнаете об изменении моих планов и о предполагаемой поездке в Каменку до заграничного путешествия. 1 ноября я еду в Каменку через Москву. В последней я намерен провести сутки i n c o g n i t o. Мне нужно будет распорядиться насчет моей квартиры, которая осталась по контракту за мной до будущего августа и которую мне непременно нужно будет сдать. Рубинштейн говорил мне, что одна дама непрочь занять мою квартиру вместе с моей мебелью. Кроме того, мне нужно будет сделать корректуру

сонаты, двенадцати фортепианных пьес и литургии. Скрипичные пьесы, посвященные Браилову, тоже печатаются.

Я намерен провести в Каменке весь ноябрь, а если заниматься окажется удобным, то и декабрь, вплоть до рождества. К этому времени туда прибудет Анатолий для свидания со мной, и тотчас после праздников я отправлюсь в Италию. Так как у меня теперь есть деньги и так как в Каменке жизнь мне ничего не стоит, то я прошу Вас, друг мой, не присылать мне в Каменку lettre chargée. У меня, во всяком случае, хватит денег доехать до того места за границей, где я поселюсь, а поселюсь я, вероятно, в милой Флоренции и в том же милом отеле, где стоял в прошлом году.

Я продолжаю вести здесь ту совершенно праздную жизнь, которая обусловливается моими отношениями к бесконечному количеству родственников и общим строем петербургской жизни. Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил двенадцать слишком лет, то я бы не сделал всего того, что сделал. Не могу при этом случае не помянуть добрым словом опостылевшую мне вследствие частных обстоятельств, но все-таки милую Москву. Как мне нравится, что Вы даже среди прелестей Италии, которую так любите, все-таки испытываете по временам тоску по родине! Как я понимаю хорошо, почему Вам невыносима мысль об опустелом доме на Рождественском бульваре и зачем Вам понадобилось, чтобы дом был во всякую минуту дня готов принять Вас.

В субботу я не надолго был в концерте Музыкального общества [1] и нашел на хорах темный уголок, где меня никто не видал. Прослушал я скрипичный концерт Гольдмарка, весьма недурной, и отрывки из «Arlésienne» Bizet, автора «Carmen». Эти последние очаровательны.

Сегодня брат Анатолий нездоров, и мне немножко грустно. Ему нужно было вчера присутствовать при обыске в квартире лиц, заподозренных в политическом преступлении, и при его болезненной впечатлительности это так подействовало на него, что он заболел.

До свиданья, дорогой друг.

П. Чайковский.

210. Чайковский — Мекк

С.-Петербург,
27 октября 1878 г.

Получил сегодня утром письмо Ваше, бесценный друг мой, и в ту же минуту решил изменить свои проекты. Достаточно того, что Вам желательно, чтобы я пожил во Флоренции теперь, когда и Вы там, дабы я всем сердцем стал стремиться в этот город. Независимо от этого, и я, со своей стороны, ни за что не хочу пропустить случая быть в течение некоторого времени вблизи Вас. Наконец, Вы так соблазнительно описываете прелести Флоренций, которую я и без того люблю, что меня так и тянет в соседство Viale dei Colli. Но, чтобы не уехать из России с неприятным сознанием, что я не привел в исполнение своего намерения побывать в Каменке, где меня с нетерпением ожидают, я решаю поступить так, как телеграфировал Вам сегодня, т. е. 1 ноября выеду отсюда, проведу в Каменке неделю и уже оттуда поеду во Флоренцию.

Благодарю Вас, дорогая моя, за предложение заранее распорядиться о моем помещении. Я буду, разумеется, очень счастлив приехать в готовое помещение, но боюсь, что это обеспокоит Вас.

Мне нужно небольшое помещение, но, главное, я бы желал быть обеспеченным насчет тишины. Меня до крайности раздражает среди занятий посторонняя музыка, и поэтому уж если Вы будете так добры, что поручите комиссионеру приискать мне квартиру, то желательно было бы, чтобы у меня не было музицирующих соседей. Со всяким другим шумом во время работы я мирюсь охотно, но музыка для меня невыносима. Простите, что так бесцеремонно излагаю свои условия благоприятной для меня обстановки.

Я с величайшей охотой и удовольствием займусь решением интересующих Вас вопросов насчет музыкальной натуры Пахульского. Я помню очень хорошо, что он обладает несомненною музыкальностью, но есть ли у него композиторское дарование, об этом я пока ничего не знаю. Приехавши во Флоренцию, я увижусь с ним и тогда, после обстоятельного ознакомления с характером его таланта, скажу Вам свое откровенное мнение.

Нечего и говорить, до какой степени я радуюсь, что «О н е г и н» Вам нравится. До свиданья, милый, добрый, дорогой друг. Завтра напишу Вам о «В а к у л е».

Ваш П. Чайковский.

211. Чайковский — Мекк

Петербург,
30 октября 1878 г.

Я очень хорошо помню, дорогой друг мой, что в последнем письме моем, посланном еще три дня тому назад, я сказал Вам, что напишу завтра. Однакоже три дня я тщетно искал получаса, благоприятного для задушевной беседы. Чем ближе конец моего пребывания в Петербурге, тем более меня терзают и рвут во все стороны. Вообще все мое пребывание здесь есть лютое, ужасное мученье. Это жертва братской любви. Она мне стоит сильного нервного расстройства. Но что же делать! В ближайшем будущем я непременно хочу обстоятельно поговорить о брате Анатолии, который и есть собственно виновник моего чрезмерно долгого пребывания здесь. Это чудное, идеально доброе и любящее существо составляет и усладу и отраву моей жизни, а почему — об этом коротко говорить нельзя.

Я еду завтра вечером. Останусь день в Москве (incognito), неделю в Каменке, откуда и поеду в милую Флоренцию. Телеграмму Вашу получил сегодня утром. О, мой чудный, лучший друг! Вы же виновница моего счастья, моего благополучия, моей свободы и Вы же меня благодарите!!!

«Вакула» прошел так же, как и в первое представление, т. е. гладко, достаточно чисто, но рутинно, бледно и бесцветно. Есть один человек, на которого я во все время сердился, слушая эту оперу. Этот человек — я. Господи, сколько непростительных ошибок в этой опере, сделанных никем иным, как мною! Я сделал все, чтобы парализовать хорошее впечатление всех тех мест, которые сами по себе могли бы нравиться, если б я более сдерживал чисто музыкальное вдохновение и менее забывал бы условия сценичности и декоративности, свойственной оперному стилю. Опера вся сплошь страдает нагромождением, избытком деталей, утомительною хроматичностью гармоний, недостатком округленности и законченности отдельных номеров. C'est un menu surchargé de plats épicés *. В ней много лакомств, но мало простой и здоровой пищи. Я очень чутко сознаю все недостатки оперы, которые, к сожалению, непоправимы. Но из нового прослушания я вынес хороший урок для будущего. Мне кажется, что «Евгений Онегин» — шаг вперед. Я ужасно рад, что он Вам нравится. Я писал эту вещь с искренним увлечением.

* Это меню, перегруженное острыми кушаньями

Многое мне хочется сказать Вам, но я недостаточно покоен для последовательной беседы. Только во Флоренции я буду в состоянии высказать Вам все, что накопилось в сердце.

Скоро я буду очень близко от Вас, дорогая моя, и мысль эта меня бесконечно радует. Из Москвы или из Каменки напишу Вам.

Ваш П. Чайковский.

212. Мекк — Чайковскому

Флоренция,
30 октября 1878 г.
Villa Oppenheim.

Что за чудный Вы человек, что за бесподобное у Вас сердце, мой дорогой, несравненный друг! Всякий искренний сердечный призыв находит всегда отголосок в Вашем благородном, нежном сердце. Ваша готовность приехать во Флоренцию меня трогает до глубины души, но принять ее безусловно мне запрещает Ваша собственная доброта и великодушие, с которым Вы готовы доставить другому все доброе и хорошее. Поэтому я прошу Вас убедительно, бесценный друг мой, я т р е б у ю, чтобы Вы н е приезжали во Флоренцию, если Вам хоть немножко н е захочется. Когда Вы приедете в Каменку, в круг милых и любимых Вами людей, нельзя захотеть ехать в какую-нибудь чуждую даль, в одиночество, как бы там ни было хорошо. Но ведь и поговорка есть: «От добра добра не ищут», и я прошу Вас, я обязываю Вас словом, — я имею на это право, потому что Вы хотите это сделать для меня же, — н е приезжать во Флоренцию, если Вам захочется остаться в Каменке, тем более, что и братьям Вашим это будет приятно. Благодарю Вас безгранично за Вашу доброту и дружбу ко мне, но чем более я ими пользуюсь, тем менее имею права принимать жертвы от Вас, мой несравненный друг.

Ваша телеграмма пришла в то время, когда я была чрезвычайно расстроена разными неприятностями, которые периодически подносит мне жизнь, и, когда я прочла ее, слезы любви и благодарности к Вам выступили у меня на глазах, мне стало так хорошо, так легко, я подумала, что когда есть хотя один такой человек на свете, как Вы, так жизнь может быть хороша. О, как Вы мне дороги, как я люблю Вас, как благодарна Вам! Теперь Вы уже в среде Вашего семейства, Вам тепло, хорошо. Вероятно, скоро приметесь за работу. В каком положении Ваша сюита, Петр Ильич? Очень, очень благодарю Вас за ноты,

дорогой мой. «Евгения Онегина», посланного Вами в Сан-Ремо, я не получила. За черновые рукописи я также в страхе: их вез сюда, получивши от Вашего Алексея, мой Иван Васильев, но они лежали в кофре, в котором находились также папиросы для меня же, и в Вене этот кофр из-за папирос задержали и сказали, что пришлют его на другой день, но вот три дня его все нет. Я выписала из Москвы свою гувернантку-немку, Ивана Васильева и еще одну горничную, так что у меня из московской прислуги здесь два лакея и три горничных, и здешних людей три человека, разных помощников буфетчику, поварам и т. п., два повара и два кучера. Надо Вам сказать о такой личности у меня в семействе, как эта гувернантка, потому что она находится при нас уже пятнадцать лет. Зовут ее Юлия Францовна, и каждый знает ее под этим только именем. Она немка, уроженка Риги, хотя и австрийская подданная. Прежде жила у меня в доме совсем, потом я нашла удобнее, чтобы она жила отдельно, и теперь она живет на квартире и каждый день с самого утра и на целый день приходит к нам и занимается детьми. Нравственности и правил она безукоризненных, но характера немножко тяжелого, но вполне предана всему моему семейству, и я вполне доверяю ей детей. Я говорю Вам о ней потому, что она есть непременный член моего дома, так надо же, чтобы Вы знали, что̀ за Юлия Францовна. Она играет на фортепиано, и я иногда играю с нею в четыре руки. Так вот она-то теперь и приехала сюда, и я ей очень обрадовалась, так же как и Ивану Васильеву, — мне казалось, что я вижу кусочек Москвы.

Вы спрашиваете, друг мой, много ли у меня родных, — то очень много, но я с ними не схожусь, даже с родною сестрою, которую я очень люблю, но понятия, взгляды, отношения к людям и жизни у нас совсем различны, и мы не видимся. Она ведет очень светскую жизнь со своим семейством. Муж у нее прекрасный человек; они живут в Петербурге. Детей у нее семь человек, все взрослые. Из моих родных я близка только с двумя братьями, Александром и Владимиром, из которых Александра, которого Вы знаете, я люблю не только как брата, но и как человека, которого я глубоко уважаю; к нему я имею безграничное доверие. Он занимается и всеми моими делами. Он женат и имеет четырех сыновей, из которых два старшие учатся в гимназии и отлично идут и вместе с тем отчаянные меломаны, знакомы со всею консерваториею, учатся оба на скрипке, и один еще и на фортепиано, и постоянно вертятся в музыкальном кружке, что мне не нравится, потому что общество консерваторских учеников я нахожу для них не полезным. Брата Владимира я тоже люблю и дружна с ним. Он недавно купил

себе маленькое именьице и в настоящее время сидит там и хозяйничает. Затем у меня масса cousins и cousines, с которыми я никогда не схожусь, а, кажется, все в России Потемкины, Энгельгардты, Челищевы и Лесли мне родственники; моя мать была рожденная Потемкина. Я Вам почти всю свою генеалогию расписала.

Вы спрашиваете, милый друг мой, где находится наша вилла? Она находится на прелестнейшей круговой дороге, называемой Viale dei Colli, которая выходит позади Palazzo Pitti, из городских ворот с заставою (octroi*) идет дефилеями по возвышенностям, проходит около церкви Сан-Миньято, у которой есть огромная эспланада с великолепным видом на Флоренцию, которая вся расстилается у подножья этой террасы. Там же стоит статуя Михаила-архангела. Дорога эта чрезвычайно красива, это есть аллея из платановых и каштановых деревьев с гротами по бокам, цветниками, уступами, террасами и т. п. По обе стороны этой дороги расположены дачи, наша близко к городу. В настоящее время здесь находится король Гумберт со своею Маргаритою и наследником, и город чрезвычайно оживлен. Вчера мы были в Cascino. Там каталась королева, и народу и экипажей было такое громадное множество, что можно было подумать, что они собрались со всей Италии сюда. Погода была великолепная, сегодня хмурится. Несколько уже раз были морозы, но трава зеленая, большая часть деревьев и все кустарники покрыты листьями, в садах цветы. Вы совершенно угадали, милый друг мой, что я очень страдаю от холода, потому что Вы знаете, как в Италии плохо устроены нагревательные средства; во многих комнатах у нас нет ничего, ни даже каминов. Если Вы все-таки решите приехать скоро во Флоренцию, то, я думаю, было бы хорошо, чтобы Вы к праздникам все-таки поехали в Каменку. Отсюда недалеко от Киевской губернии, из Браилова письма ко мне приходят на третий день. И если Вы решите приехать, дорогой мой, то, пожалуйста, телеграфируйте мне о дне Вашего приезда. Я Вам все приготовлю здесь,— доставьте мне это величайшее удовольствие заботиться о Вас. К тому же, такой приезд Ваш я принимаю как в гости ко мне и имею полное право воспользоваться своими обязанностями хозяйки. Не правда ли, милый? До свидания, бесценный, дорогой. Жму Вам руку. Всем сердцем горячо Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

---

* Застава, у которой взимаются пошлины на съестные припасы

213. *Мекк — Чайковскому*

Флоренция,
4 ноября 1878 г.
Viale dei Colli, Villa Oppenheim.

Милый, несравненный друг! Третьего дня я получила Ваше письмо и вторично испытала то чувство невыразимого счастья и благодарности к Вам за Вашу доброту и дружбу ко мне: Вы не только готовы приехать туда, где я нахожусь, но еще со свойственною Вам деликатностью уверяете меня, что Вам самому очень захотелось этого. Я глубоко ценю Вас и несказанно благодарна Вам, мой бесподобный друг, но повторяю то же, что уже писала Вам, что чем добрее Вы ко мне, тем более совесть запрещает мне пользоваться этою добротою, и я опять убедительно прошу Вас, дорогой мой, не приезжать во Флоренцию, если Вам захочется остаться дольше в Каменке. Будьте уверены, что я ни малейшего укора к Вам не почувствую. Но так как этот предмет все-таки составляет еще вопрос, то я прошу Вас, друг мой, сообщить мне на всякий случай, какое местопребывание предпочли бы Вы во Флоренции: в городе или за городом, на Viale dei Colli? Прошу Вас при этом не стесняться н и с к о л ь к о и н и к а к о ю мыслью, потому что квартиры у меня есть и там и тут. В городе у меня есть помещение в Hôtel'е на Via Vittorio Emmanuele, — это есть продолжение Lungarno, и за городом у меня есть квартира на Viale dei Colli, в полуверсте расстояния от нас, и эту-то квартирку я хочу Вам описать, так как Hôtel'ные расположения и условия Вам известны. Квартира эта находится в расстоянии от города одной версты, приблизительно в полуверсте от нашей виллы; состоит она в одном restaurant (Bonciani), в котором теперь, конечно, никто не бывает, хотя и стоят столики и стулья перед рестораном. При домике довольно большой сад, но, главное, прелестная прогулка по самой Viale: здесь сейчас лежит монастырь и Campo Santo. San Miniato — очаровательное место. Несмотря на теперешнюю мертвую природу и ненастную погоду, я каждый раз восхищаюсь этим местом, когда там бываю. Представьте себе, Петр Ильич, огромную террасу, на середине которой стоит очень высокая фигура Михаила-архангела, окруженная тремя другими фигурами (копия с такой же статуи Микель-Анджело). Внизу этой террасы, у ног зрителя расстилается Флоренция и другие окружные селения, позади которых высятся Апеннины. На другой стороне террасы находится очень красивое здание с колоннами, греческой архитектуры, которое, к сожалению, есть ничего более, как restaurant, а над ним возвышается монастырь

San Miniato, к которому ведет широкая каменная лестница. Все это окружено группами прелестнейших кипарисов. В некотором отдалении от монастыря, но также на высоте, стоит другая церковь и при ней очень красивое Campo Santo, расположенное на нескольких каменных террасах, возвышающихся одна над другою. Это такая прелесть, это место, что на-днях мы приехали туда кататься в отвратительную погоду, довольно поздно вечером, и то приходишь в такой восторг, что слезы выступают. Эта лежащая у ног Флоренция, с мириадами огней сквозь туман, с шумящею Арно, этот величественный монастырь, огромная площадь с громадною фигурою — это такая картина, которая никогда приглядеться не может, она всегда и во всякой обстановке восхитительна. Здесь же также близко стоит башня Галилея, с высоты которой, говорят, вид великолепный. Я не рискую всходить до самого верха, но ее интересно видеть и самое. Тут же недалеко и вилла, в которой он, т. е. Галилей, жил, и вообще прогулок очень много и очень красивые. На самой Viale отличные широкие тротуары и великолепное шоссе, так что можно гулять хотя бы сейчас после дождя, что нам приходится очень часто делать. Мы постоянно идем гулять в одиннадцать часов, перед завтраком, если только не идет дождь в ту минуту. Квартирка, о которой я Вам говорю, весьма не роскошна, но в ней есть все, что необходимо, и я думаю, что в ней будет вполне тихо. Я прилагаю Вам здесь планик размещения и состава квартиры. Время пользования квартирою необязательно, ее можно оставить во всякую минуту, если окажется неудобною. Обе резиденции, в городе и за городом, имеют свои pour et contre *. В городе, конечно, веселее, оживленнее, но прогулки здесь приятнее, виды красивее, и во многих отношениях обе стороны имеют свои преимущества и недостатки, и Вам решить, милый друг мой, что Вы предпочитаете, и я прошу Вас известить меня об этом письмом или телеграммою из Волочиска, с таким расчетом времени, чтобы я имела дня два до Вашего приезда сюда. Неудобства относительно квартир не произойдет никакого, если Вы и не приедете.

Благодарю Вас тысячу раз, бесценный друг мой, за рукописную партитуру «Онегина», которую я, наконец, получила только вчера. Это такой подарок, который я буду хранить как величайшую драгоценность. Это сочинение продолжает восхищать меня, я каждый день понемножку играю его и не дошла еще до конца не потому, чтобы я разыгрывала так плохо, — напротив, я читаю ноты очень легко, — но потому, что я ста-

* за и против

раюсь понять все, прислушиваюсь даже к инструментовке, которая всегда так восхитительна у Вас. А нот, посланных Вами в San Remo, я и до сих пор не получила. Мы хотели на-днях съездить в Рим, но там наводнение: Тибр залил не только нижние части города, но опасаются, что вода дойдет до Корсо и Piazza Navona; железные дороги все расстроились, так что поездка в настоящее время невозможна. У нас Арно также неспокойна. Городской синдикат делал вопросы по ее берегам о состоянии воды и получил неуспокоительные ответы, так что каждый вечер pompiers* находятся на набережной, но я думаю, что у нас ничего не случится, потому что дожди не так сильны, как в Риме. Да и, во всяком случае, на Viale dei Colli безопасно: это высокое место.

У меня, слава богу, все здоровы. Мелкая публика учится, бегает в саду, играет в крокет, ездим кататься, ходим гулять. В комнатах у нас теперь тепло, и я довольна. Спрашивала Милочку, что она поручила Вам сказать. Она поручила передать, что ей «здесь очень хорошо и что она очень желала бы, чтобы Вы приехали сюда». У нее здесь есть очень большой друг, сторожевая собака Murasko, которая, в свою очередь, очень привязана ко всем нам, во всех прогулках и катаньях бегает за нами, и нет возможности удержать ее дома, и мы часто имеем с нею хлопоты. И здесь к нам приходят хоры с театра Pagliano, и вчера явились с букетами и стихами. Король и королева уехали, и в городе стало тише. В театре мы еще не были, потому что Вы, вероятно, знаете, Петр Ильич, итальянский обычай давать целый месяц сряду одну и ту же оперу, и теперь все идет тот «Salvator Rosa», которого я не имела терпения дослушать до конца и в первый раз, когда была.

До свидания, мой милый, дорогой, хороший друг. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

214. Чайковский — Мекк

Каменка,
6 ноября 1878 г.

Третьего дня я приехал сюда, а вчера получил Ваше чудное письмо, мой милый и бесценный друг. Предполагая, что мне здесь хорошо, Вы просите меня не стесняться обещанием и оставаться в Каменке до января. Мне здесь действительно хорошо, и впервые после выезда из Вербовки, в конце августа, я испытал

* пожарные

теперь чувство спокойствия, которого тщетно искал хоть на мгновение в Москве и Петербурге. Да, в кругу семейства сестры, среди этих превосходных людей и милых детских лиц я отдохнул душою, я как бы проснулся от тяжелого кошмара, душившего меня в течение двух долгих как вечность месяцев. Бесчисленная масса лиц, с которыми я волей-неволей сталкивался, представляются мне теперь фантасмагорическими явлениями. Я снова нахожу самого себя, я как будто опомнился. И все-таки я Вас на этот раз не послушаюсь, все-таки через неделю я выезжаю отсюда и направляюсь во Флоренцию. И пожалуйста, дорогая моя, не думайте, что я приношу ради исполнения Вашего желания какую-нибудь жертву, хотя на последнее я готов во всякую минуту жизни. Хотя мне здесь хорошо и тепло, но ведь и во Флоренции сознание моей близости к Вам будет согревать и лелеять меня. Если б я послушался Вас и остался здесь, то мысль, что Ваше желание не исполнилось, отравила бы мне мое спокойствие. Между тем, поездка во Флоренцию, и помимо высказанного Вами желания и помимо того благоприятного обстоятельства, что я буду находиться близко от Вас, не заключает в себе ничего для меня неприятного. Во-первых, для занятий мне теперь лучше всего одиночество; во-вторых, Флоренцию я очень люблю; в-третьих, я свободен, и если мне уж очень захочется повидаться со своими, то ничто мне не помешает в январе съездить в Каменку. Впрочем, я не знаю, следует ли мне поддаваться безусловно потребности частого свидания с братом Анатолием, и я сейчас объясню Вам почему.

Вам уже известна хорошо та исключительная привязанность и дружба, которые соединяют меня с двумя младшими братьями. В последнее время любовь ко мне брата Анатолия приняла какой-то острый и болезненный характер вследствие особого рода нервного возбуждения, которое сказывается во всем, что он теперь делает. Вся его жизнь за последнее время состоит в вечном трепетании за меня, в постоянном страхе за мое благополучие, и эта трогательная братская привязанность выражается в самых ребяческих формах. Ввиду этого не лучше ли, чтоб он привыкал к моему отсутствию? Жить вместе мы не можем, так как в Петербурге я могу жить менее чем где-либо, а ему из Петербурга выехать нельзя, потому что условия его успешной служебной карьеры требуют его пребывания в столице. Вообще, как я уже писал Вам, брат Толя есть в настоящее время единственная тучка на моем светлом горизонте. Служба его идет хорошо, он пользуется всеобщей любовью, здоровье его, за исключением свойственной всему моему семей-

ству нервозности, отлично, в л ю б в и он счастлив, все близкие ему люди, начиная с меня, благополучны, а между тем о н о ч е н ь н е д о в о л е н и н е у д о в л е т в о р е н ж и з н ь ю, о н в е ч н о х а н д р и т и в е ч н о р а з д р а ж е н. Я тщетно отыскиваю причины этого странного, болезненного состояния души. Если б, подобно мне, он страдал м и з а н т р о п и е й, то я бы тогда понимал причину его недовольства. Между тем, он совсем не мизантроп, он очень любит свет и общество. Сестра и другие родные очень желали бы, чтоб он женился. Я далеко не разделяю этого желания, потому что трудно найти в девушке такого сочетания условий, которое могло бы обеспечить счастье Анатолия. Притом же, он очень непостоянен в любви к женщинам; он столь же быстро увлекается ими до самозабвения, как и быстро разочаровывается в них. О П а н а е в о й он теперь вовсе не думает, тогда как еще весной он с ума сходил от любви. Вообще, повторяю, для меня совершенная загадка мой бедный, милый, добрый и до бесконечности любящий Толя, и я решительно становлюсь втупик, когда начинаю соображать о средствах помочь ему выйти из странного, болезненного состояния души, в коем он находится. Иногда мне приходило в голову, что тайная причина его недуга есть неудовлетворенное самолюбие. Выше я сказал Вам, что служба его идет хорошо, но, будучи товарищем прокурора в столичном окружном суде, он не из тех, которые приобрели громкую известность красноречием. Он никогда об этом не говорит, и я никогда не хотел задевать эту струнку, потому что по опыту знаю, что то, о чем всегда умалчивается, не должно быть затрагиваемо. Не оттого ли он хандрит, что самолюбие его не удовлетворено? Может быть, но в таком случае я бессилен помочь ему. Т о л я — молодой человек очень неглупый, обладающий замечательным тактом в общении с людьми, одаренный от природы большою симпатичностью, сердцем изумительно нежным и любящим, но в нем нет задатков для знаменитости, в нем нет тех блестящих качеств иногда и поверхностного ума, в нем нет той способности изящного краснобайства, которые потребны для приобретения известности. Если б он был предметом несправедливого притеснения со стороны его начальства, то я бы мог ему сказать, что следует презирать несправедливость и выжидать благоприятного оборота. Но этого нет. Все его начальники всегда его любили, никто никогда не оказывал ему несправедливости по службе. Он просто оттого не выделился из среды своих двадцати пяти товарищей, как некоторые другие, что в нем нет данных для приобретения знаменитости красноречием. Наконец, если он и не знаменит, то

все-таки положение его очень почетно, и на неуспех в службе он жаловаться не может. Он бы мог сделать чрезвычайно блестящую карьеру, если б продолжал службу в канцелярии министра юстиции, где он был до своего поступления в окружной суд. Для такого рода канцелярской, чиновнической службы у него были все данные. Он обладает способностью нравиться высокопоставленным людям без искательства и лести, и благодаря этой способности он был на пути блестящей карьеры. Но мысль, что, служа в министерстве, он не приносит пользы, побудила его проситься в прокурорский надзор. Желание его исполнилось, и пользу он действительно приносит. Ему, например, поручено следить за содержанием в тюрьме политических преступников. Можно себе представить, до чего один вид его доброй, мягкой, симпатичной личности утешителен для этих несчастных! Нечего и говорить, что в дозволенных пределах он делает для них все, что можно. Но все-таки ему не удалось и, к сожалению, не удастся никогда выделиться из уровня хорошего и честного прокурора в качестве знаменитости. Может быть, это его мучает. Он действительно очень самолюбив. Но, повторяю, наверно определить этим способом его недовольство жизнью я не могу, так как никогда, даже мне, он этого не высказывает.

Засим я решительно не знаю, чем еще можно объяснить ту крайнюю возбужденность нервов, в которой он находится и вследствие которой он все видит en noir. И вот это незнание, как помочь моему нежно любимому брату, терзает меня. Видит бог, что я готов сделать все для его счастья, но как, чем — не знаю. Между тем, его болезненное состояние отражается и на его отношениях ко мне. Представьте, что он ревнует меня ко всем, кого я люблю, и что ревность эта высказывается иногда довольно резко и странно. Кроме того, он вечно боится за меня. Ему вечно мерещутся какие-то грозящие мне опасности. Он бывает совершенно покоен и счастлив, только когда я около него. Но как мне сделать, чтобы жить всегда вместе? Это невозможно. Да он и сам бы не захотел покидать Петербург; он понимает также отлично, что я жить в Петербурге не могу. Между тем, без меня он тоскует и беспокоится обо мне. Не знаю, вполне ли ясно я разъяснил Вам состояние брата? Он страдает неопределенною тоскою и недовольством. Я лишен возможности вывести его из этого состояния, ибо не знаю даже настоящих причин его недуга, и вот это незнание постоянно беспокоит меня. Я заметил однакож, что только время и привычка врачуют его тоску по мне. Вот почему я и думаю, что, может быть, мне не следует обещать ему

нового свиданья в близком будущем. Во всяком случае, я ему не обещал ничего верного, и потом, судя по письмам его, я приму то или другое решение. А покамест я приеду во Флоренцию и поживу вблизи от Вас.

Я выеду отсюда около 12-го числа, остановлюсь на один день в Вене, откуда буду Вам телеграфировать о дне моего приезда во Флоренцию. Благодарю Вас, дорогой друг, за намерение приказать приготовить для меня помещение. Не потрудитесь ли Вы послать в Hôtel de Milan, где я жил в прошлом году и где мне было хорошо? Он находится в улице Cerretani. Мне нужно только соблюдение одного главного условия, это, чтобы около меня не играли и не пели. Нет ли в этом отеле, хотя бы и очень высоко, такого помещения, где бы я был застрахован от музыкальных звуков? Еще я попросил бы Вас, дорогая моя, приказать приискать для меня инструмент, так чтобы тотчас по приезде я мог удобно заниматься. Фортепиано не есть необходимое условие для работы, но это хорошее вспомогательное средство, и иметь его под рукой для пишущего музыку очень приятно.

Вы спрашиваете, в каком положении моя сюита? Она не подвинулась ни на волос. Ни в Москве, ни в Петербурге я работать не мог. Наша симфония печатается. Мне ужасно совестно перед Вами, что она до сих пор не готова. Виноват не Юргенсон, а Танеев, очень долго возившийся над клавираусцугом. Соната тоже печатается, так же как и литургия, детские пьесы, двенадцать других пьес, романсы и т. д. Все это будет готово в непродолжительном времени.

С черновой рукописью «Онегина» вышло недоразумение. Я хотел сначала привести ее в порядок, но мой Алексей, на основании надписи «Над. Фил. ф.-М.», распорядился отнести ее к Вам. Во Флоренции я попрошу Вас всю рукопись прислать мне для приведения в порядок. Ответ на это письмо я получу уже во Флоренции.

Погода здесь стоит превосходная, и в саду до сих пор цветы растут! У меня на столе стоит только что сорванный букет резеды и левкоя.

Вчера я был нездоров вследствие дорожного утомления. Я очень устаю от железной дороги и поэтому на пути во Флоренцию остановлюсь два раза: в Вене и в Венеции.

Я столько же наслаждался Вашим письмом, сколько и удивлялся Вашей несказанной доброте. Вы меня благодарите за то, что я дал себе труд приехать во Флореницю! Да разве это представляет хотя бы отдаленное подобие какой-нибудь жертвы? Разве для меня не величайшее наслаждение быть там, где Вы

желаете, чтоб я был? Уж если пошло на благодарность, то мне следует благодарить Вас ежеминутно, всегда. Но уверяю Вас, беспредельно добрый друг мой, что каждое мгновение моей жизни проникнуто любовью и благодарностью к Вам, бесконечным удивлением Вашей изумительной доброте и самым искренним душевным стремлением хоть чем-нибудь быть полезным и нужным для Вас. Не только во Флоренцию, которую я люблю и где мне всегда приятно быть, но и в самый отдаленный конец мира я бы поехал с величайшей охотой, если б Вам этого захотелось.

Я виделся в Москве с Рубинштейном. Мне очень жаль его. С некоторого времени он стал предметом преследования нескольких газет, и он имеет слабость оскорбляться этим [1]. Разумеется, следует стоять выше этих анонимных газетных инсинуаций. Но я допускаю, что наконец нехватит терпения. Какие бы ни были недостатки Рубинштейна, но он все-таки личность, достойная всякого уважения за свою энергическую и полезную деятельность, и борзописцы, старающиеся теперь выставить его сумасбродом и бесчестным общественным деятелем, достойны величайшего презрения. Он очень огорчен и обижен этим упорным газетным преследованием. Дела Музыкального общества идут превосходно: у них две тысячи членов-посетителей и сто двадцать действительных [2]. В первом концерте Н[иколай] Г[ригорьевич] играл опять мой фортепианный концерт.

Боже мой! какое счастье быть свободным и не поправлять ежедневно шестьдесят задач, гармонических и инструментальных!

До свиданья, дорогой друг мой.

Ваш П. Чайковский.

215. Чайковский — Мекк

Каменка,
13 ноября 1878 г.

Дорогой, милый друг мой!

Я должен был, как писал Вам, уехать завтра утром, 14-го числа. Но случился следующий неожиданный казус. Вчера, в воскресенье, я принимал участие в большой охоте на волков, коз и лисиц, устроенной моим зятем в лесу. Оттого ли, что пришлось рано встать, оттого ли, что перед этим я несколько дней сряду страдал припадками дизентерии, но только часов около двенадцати я почувствовал необыкновенную слабость и

сильную боль в обоих глазных яблоках. Так как не представлялось возможности уехать одному домой и так как я надеялся себя пересилить, то, несмотря на все увеличивавшуюся слабость и боль, я перемогался и остался на охоте до пяти часов. Приехавши домой, я ощутил такую невыразимо жестокую боль во всей голове, тошноту и слабость, что должен был слечь, а затем со мной сделался самый ужасный нервный припадок, какой когда-либо случался. Мне казалось, что я умираю. Не помню, как и когда я заснул, но спал очень крепко и долго, и хотя проснулся сегодня здоровый, но очень слабый и с ломотой во всем теле. Мне нечего объяснять Вам, что это было не что иное, как мигрень, но только в очень резкой и странной форме. Как бы то ни было, но я решился завтрашний день пробыть еще здесь и уеду таким образом в среду, 15-го. В пятницу я приеду в Вену, где останусь сутки. В Венеции я тоже останусь отдохнуть, так как вообще я очень утомляюсь дорогой и с трудом переношу длинные переезды. Во Флоренцию я приеду около 20-го числа. Я буду телеграфировать Вам из Вены и из Венеции. Думаю, что моя венская телеграмма придет все-таки раньше этого числа.

Я получил сегодня письмо Ваше. Тысячу Вам благодарностей, несравненный друг мой, за заботы обо мне. Из двух предложенных Вами жительств я позволю себе выбрать то, которое на Viale dei Colli. Я в восторге, что это за городом, что ничто не будет мешать мне работать и что я буду близко к Вам[1]. Будьте здоровы, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

Сколько могу понять, вид из ресторана Bonciani должен быть чудесный.

216. Мекк — Чайковскому

Флоренция,
20 ноября 1878 г.
Porta Romana, Villa Oppenheim.

Здравствуйте, мой милый, дорогой, несравненный друг! Как я рада, боже мой, как я рада, что Вы приехали! Чувствовать Ваше присутствие вблизи себя, знать те комнаты, в которых Вы находитесь, любоваться теми же видами, которые и у Вас перед глазами, ощущать ту же температуру, как и Вы, это такое блаженство, которого никакими словами не выразишь! Как бы я желала, чтобы Вам понравилось помещение, которое

я выбрала, — soyez y le bienvenu, mon délicieux ami *. Теперь Вы мой гость, мой милый, дорогой моему сердцу гость. Но если Вам будет что-нибудь немножко неудобно, то прошу Вас непременно и сейчас же мне об этом сообщить; я не связана никаким сроком и могу каждый день разойтись.

Вообразите, какая случайность, что Вы приезжаете одним поездом с дочерью моею Лидою. Мы очень давно уже ждем их, и как раз вышло так, что она приезжает в один день с Вами. По этому случаю мне пришлось послать Вам навстречу Пахульского, потому что Иван Васильев, который знает Вашу квартиру, должен ожидать с чаем приезда Лиды со станции, а другой мой человек, француз, встречает их на станции, чтобы получить багаж. А я стеснялась посылать Пахульского, чтобы не сделать Вам беспокойства в дороге. Пожалуйста, мой дорогой, хороший друг, если Вам что-нибудь понадобится: экипаж, книги, наконец, что бы там ни было, обращайтесь прямо на Vill'y Oppenheim как в свой дом и будьте уверены, что это будет только дорого и приятно мне. Юля вспомнила, что здесь чай очень дурной, а у нас всегда с собою есть московский чай, мы заграничного нигде не пьем; поэтому мы и Вам приготовим московского, пусть Алексей хозяйничает с ним. Вероятно, он у Вас fort dans le ménage **.

Из прогулок рекомендую Вам близкую от Вас и самую прелестную, это монастырь, Campo Santo и Piazza San Miniato; это очаровательное место. Итти туда надо все по нашей Viale. Мы аккуратно гуляем каждый день, несмотря ни на какую погоду, и всегда выходим в одиннадцать часов и идем немножко дальше Bonciani, ныне Вашей резиденции, мой бесценный друг. Там мы поворачиваем назад тою же дорогою и возвращаемся в двенадцать часов, прямо к завтраку.

Я положила Вам газеты и журналы и рекомендую Вам прочесть некоторые статьи, а именно в «Отечественных записках» «Торжество Джинго» [1]. Это очень верная, бойкая и беспощадная сатира на Биконсфильда. Затем в «Московских ведомостях» выписки из немецкого сочинения: «Характеристике князя Бисмарка» [2], в «Голосе» статью Ларош[3] и еще в «Московских ведомостях» «Музыкальные новости» [4]. В этих обеих статьях Вы найдете воспоминания о себе. Кроме этих книг, все наши газеты и журналы к Вашим услугам.

---

* добро пожаловать туда, мой очаровательный друг
** мастер хозяйничать

До свидания, мой милый, несравненный друг Петр Ильич, отдохните хорошенько от дороги. Меня очень беспокоит, что Вы все хвораете. Дай бог, чтобы здешнее пребывание было на пользу Вашему здоровью. Сердечно жму Вам руку. Всею душою Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

217. Чайковский — Мекк

Флоренция,
21 ноября/3 декабря 1878 г.

Я решительно не приберу выражений, милый друг мой, чтобы выразить Вам мое полное очарование от всего, что меня здесь окружает. Нельзя себе представить более идеальных условий для жизни. Вчера я долго не мог заснуть и бродил по своему прелестному помещению, наслаждаясь чудной тишиной, мыслью, что под ногами у меня симпатичный город Флоренция, наконец, сознанием того, что я вблизи от Вас. Сегодня утром, когда я открыл ставни, очарование еще удвоилось. Я так люблю своеобразную характерность флорентийских окрестностей! Что касается самой квартиры, то она имеет лишь тот недостаток, что слишком хороша, слишком удобна и поместительна [1]. Боюсь избаловаться. Одно из самых драгоценных свойств квартиры это то, что у меня огромный балкон, по которому ничто не мешает мне гулять и наслаждаться чистым воздухом, не выходя, так сказать, от себя. Для меня, страстного любителя чистого воздуха, это имеет капитальное значение. Вчера я долго пользовался этой чудесной прогулкой и не могу Вам высказать всю чарующую прелесть ощущения абсолютной вечерней тишины, среди которой издали слышится только шум где-то падающей или по скату текущей воды Арно. Погода была чудесная, но сегодня, к сожалению, она испортилась; я привез Вам дождь и ненастье.

Благодарю Вас, мой безгранично добрый друг, за блаженство, которое Вы мне доставляете. У меня нет слов, чтобы выразить Вам полноту моего очарования. Я не воспользуюсь Вашим предложением в случае надобности обращаться в Villa Oppenheim с просьбой о лошадях и экипаже. Я большой любитель пешего хождения и очень рад, что посещение города сопряжено с прогулкой. В случае усталости я всегда могу взять из города домой экипаж (городской). Вообще мне нечего желать, кроме того, что уже есть в моем помещении и обстановке. Насколько моя переездка из Каменки в Вену была неприятна и утомительна,

настолько переезд от Вены до Флоренции был приятен. Всю дорогу до Вены я протомился от зубной боли, флюса и общего маленького нездоровья. В Вене я отдохнул и раздумал заезжать в Венецию. Италия на этот раз приняла меня так приветливо. Погода была совсем летняя, солнце так весело озаряло местности, воздух был так прозрачно чист и мягок!

Сегодня я намерен хорошенько отдохнуть с дороги, осмотреться и установить порядок жизни, а с завтрашнего числа начну заниматься. Пахульского я буду ожидать завтра около двух часов. Пока Вы здесь, я непременно хочу познакомить Вас хотя отчасти с новой сюитой моей или, лучше, нашей (как и симфония), и потому некоторые ее части аранжирую в четыре руки, укажу Пахульскому tempo и пришлю Вам. Но мне необходимо получить сначала оставленную мною в Петербурге рукопись.

Как странно, что я ехал в одном поезде с Л[идией] К[арловной] и не узнал ее! Я видел только какую-то русскую нянюшку с ребенком и еще одного русского господина, но дочери Вашей не видел, иначе, вероятно, я узнал бы ее по портрету.

Я буду Вам крайне обязан, дорогой друг, если от времени до времени Вы будете посылать мне русские газеты. Будьте здоровы. Тысячу благодарностей.

Ваш. П. Чайковский.

218. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
21 ноября 1878 г.
Villa Oppenheim.

Не могу Вам выразить, мой бесценный Петр Ильч, как я счастлива, что квартира Вам понравилась и что мы находимся так близко друг от друга. Мне даже мои комнаты кажутся теперь лучше со вчерашнего вечера, прогулка еще приятнее. Сегодня я проходила около Вашего жилища, смотрела во все окна и хотела угадать, что Вы поделывали в ту минуту. Ужасно мне жаль, что погода сегодня так дурна, но это не Вы ее привезли, мой дорогой, а почти все время она такова. Но завтра или послезавтра наверно будет солнце, и тогда у нас очень хорошо. Не знаю, как благодарить Вас за удовольствие, которое Вы мне хотите сделать нашею сюитою. Боже мой, сколько прелести в этом слове «нашею», сколько счастия иметь с Вами что-нибудь общее, — а в настоящее время у нас много общего, — как это хорошо! Когда будете гулять, милый друг мой, пройдите как-нибудь и около нашей дачи, взгляните, где

я живу. Теперь у меня переполнено народом. У Лиды двое детей, но только при них нет русской няни, а три немки, считая с кормилицею-чешкою. Напишите мне, мой дорогой друг, все Ваше распределение времени. Я только что играла со скрипкою Canzonett'у из Вашего скрипичного концерта и приходила в такой восторг, что и передать невозможно. Я получила печатный экземпляр из Москвы. Еще получила сегодня же второй экземпляр «Онегина» и «Вакулу» для фортепиано.

Тепло ли у Вас, милый друг мой? Какой температуры Вы придерживаетесь? Я все боялась, что будет холодно, и приказывала топить камин. Чрезвычайно Вам благодарна, мой несравненный Петр Ильич, за Вашу готовность обратить внимание на моего protégé Пахульского; во всем этом я вижу доказательства Вашей бесценной для меня дружбы. До свидания, мой дорогой сосед. Теперь я буду Вам писать короткие письма, но часто. Газеты завтра пришлю, сегодня не было. Всем существом Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

219. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
21 ноября/3 декабря 1878 г.
11 часов вечера.

Я получил письмецо Ваше, дорогой друг мой, во время обеда. Случилось, что Ив[ан] Вас[ильев], искавший Алешу, попал прямо ко мне, и папиросы, которые Вы приказали ему отдать Алеше, были приняты мной. Боже мой, как Вы бесконечно заботливы и добры, бесценная и дорогая моя! И как странно, что за пять минут до появления этих папирос я думал, что запас мой невелик и что, пока я получу заказанные для меня Анатолием папиросы, придется обратиться к Вам. Едва я это подумал, как уже с неба свалились на меня папиросы, да еще какие чудные!

После завтрака я ходил с Алексеем в город, во-первых, чтобы получить на poste restante письма, во-вторых, чтобы взять ванну, и, в-третьих, чтобы посмотреть на Флоренцию вообще и милую Via Cerretani—в особенности. Письма получил от обоих братьев и очень приятного свойства. Но бедный Толя мой неисправим. Он встретился на вечере с Панаевой и, повидимому, опять увлекается ею. Зато он весел и в хорошем расположении духа. Модест жалуется, как и я, на наших бесчисленных родных, мешающих ему заниматься и доканчивать повесть.

Прогулка, несмотря на неблагоприятную погоду, была чрезвычайно приятна. В город мы шли через San Miniato, где я наслаждался чудным видом, а возвращались через Porta Romana, и на этот раз я во всей подробности видел Вашу чудную виллу. Что за вид у Вас! Что за милый сад, из которого мне слышались детские голоса, вероятно, Ваших мальчиков, звавших, как мне показалось, какого-то Александра. Как странно мне было думать, что в этой вилле живет так близко от меня мой лучший и ближайший друг. Как приятно было сознавать близость к Вам, которую я привык воображать далеко от меня!

Распределение времени моего будет следующее. Вставать в восьмом часу и после кофе заниматься до завтрака. После завтрака гулять часов до двух-трех и потом до обеда опять работать. Вечером читать, играть, писать письма, наслаждаться природой, одиночеством и тишиной, а иногда, может быть, и в театр сходить.

У меня очень тепло. В отношении потребности в теплоте я прямой Ваш антипод. Я боюсь излишнего тепла и в России хлопочу всегда, чтобы топили меньше. Здесь же я охотно мирюсь даже с вовсе нетопленными комнатами, если есть камин. У меня есть теперь и то и другое, т. е. и камин и отопление посредством отдушин, греющих как раз настолько, что больше не нужно для меня. Вообще вся моя обстановка не оставляет ничего желать. Если б Вы знали, какое для меня благодеяние подобная тихая, ровная, уединенная жизнь, да еще вдобавок в местности, столь мне симпатичной и в частом общении с Вами. Брат Толя пишет мне, что рукопись найдена и на-днях мною получится. Я с тем большим рвением займусь инструментовкой сюиты, что меня начинает сильно манить один новый оперный сюжет, а именно «Орлеанская Дева» Шиллера. Мне кажется, что на этот раз я уже не шутя примусь за намеченный сюжет. Мне помнится, что вскоре после открытия новой парижской оперы там была поставлена опера «Jeanne d'Arc» композитора Mermet. Опера провалилась, но, сколько помню, очень хвалили ловко и сценически составленное либретто. Я справлялся сегодня у Ricordi, была ли эта опера напечатана. Мне не дали решительного ответа, но сказали, что едва ли она имеется в печати. Я надеюсь на возвратном пути в Россию побывать в Париже и добыть себе это либретто. Кроме того, нужно будет прочесть несколько сочинений, касающихся жизни Jeanne d'Arc. Мысль написать на этот сюжет оперу пришла мне в Каменке при перелистывании Жуковского, у которого есть «Орлеанская Дева», пере-

веденная им с Шиллера. Для музыки есть чудные данные, и сюжет еще не истасканный, хотя им уже и воспользовался Верди. Я достал в Вене вердиевскую «Giovanna d'Arco». Во-первых, она не по Шиллеру, во-вторых, она до крайности плоха, но все-таки я рад, что достал ее. Полезно будет сравнить его либретто с французским. Я уже и прежде иногда думал об этом сюжете и даже в последнее пребывание в Петербурге однажды мечтал о нем, но теперь начинаю увлекаться серьезно.

Пожалуйста, не давайте себе труда отвечать на каждое мое письмо. Я ведь знаю, как трудно Вам найти время для этого. Я же буду писать Вам почти ежедневно. Когда Вы едете в Вену? Покойной ночи Вам, чудный друг мой.

Ваш П. Чайковский.

220. Чайковский — Мекк

Флоренция,
[22 ноября/4 декабря 1878 г.
10 часов вечера.

Сообщу Вам, милый друг мой, свое мнение о Пахульском. Он имеет три хороших данных для побеждения всех трудностей сочинительской техники, а именно: 1) несомненные музыкальные способности, 2) большую любовь к музыке и авторское рвение, 3) смирение и скромность. Он не собирается удивить с первых шагов мир оригинальностью творчества и постиг уже теперь одну непреложную истину, именно ту, что красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности. Все это прекрасно. Однакоже, если Вы меня спросите, есть ли в нем задатки сильного и самобытного творчества, то на этот вопрос я теперь не сумею Вам ответить. Самобытность редко сказывается в очень молодом человеке, особенно в таком, который, как Пахульский, еще не совладал с техникой. Так как я не хочу ни на волос покривить душой, то я скажу Вам откровенно, что у меня бывали ученики с более блестящими задатками композиторского таланта. В их ученических опытах было больше легкости изобретения, гармонической красивости и инстинктивного понимания формы. Эти многообещавшие юноши были Давыдов (скрипач, ученик Лауба) и Танеев. Я возлагал на них огромные надежды, и нужно правду сказать, что до настоящего времени надежды эти не оправдались. Давыдов уже четыре года изучает медицину в Иенском университете и

бросил музыку, а Танеев вместе с большим дарованием одарен несчастною чертою недоверия к себе, и это недоверие, выражающееся в том, что во всякой своей мысли он усматривает повторение чего-то уже написанного, парализует его. Но главная причина того, что оба они не удались, состоит в том, что таланты их не согреты внутренним огнем. У них нет внутренней потребности высказываться посредством музыки. Таланты эти, так сказать, поверхностные, т. е. они по заказу могут написать все, что угодно, и напишут интересно, но собственной авторской инициативы у них нет. У Пахульского она есть, и это очень благоприятное обстоятельство. Очень может быть, что скромность, неуверенность в себе и недостаток техники мешают ему выказать свои способности более ярко. Как бы то ни было, но во всем, что он мне показал, я усмотрел несомненные, хотя непоразительные музыкальные способности, и вместе с тем из беседы с ним я вывел то заключение, что он будет иметь терпение и мужество победить массу трудностей и самых колючих терний, предстоящих всякому обрекающему себя на суровую школу композиции.

В результате я не могу не притти к заключению, что следует всячески поощрять и помогать ему учиться. В течение этих трех недель я имею в виду короче познакомиться с его музыкальною индивидуальностью и при расставании скажу ему, каким путем, по моему мнению, ему следует итти, чтобы скорее добиться цели. А покамест укажу на одно обстоятельство, имеющее капитальную важность. Ему необходимо приобресть фортепианную технику. Композитор должен быть пианистом настолько, чтобы свободно разбирать и играть всякую музыку, за исключением виртуозно-концертной. Пусть как можно больше играет и добивается техники.

Вот покамест все, что я могу сказать Вам о Пахульском. Между показанными мне вещами весьма недурен марш (по основной мысли), но он очень плох по форме, что нимало неудивительно, так как это лишь один из первых опытов. Я просил его переделать марш согласно моим указаниям. Это будет для него полезным упражнением, хотя и не лишенным трудностей. Тут опять приходится пожалеть, что он плохой пианист. Вы не поверите, друг мой, до чего пианисту легче все это дается!

Я принялся за инструментовку и работал весьма усердно до завтрака и немножко до обеда. Но что за чудная погода была сегодня от часу до пяти! Как обворожителен вид, открывающийся с некоторых пунктов Viale dei Colli на город и на всю долину! Это до сумасшествия красиво. Историческая правда требует, чтобы я хотя вкратце передал о немалом вол-

нении, испытанном мною сегодня, когда Вы и Ваши проходили сегодня мимо меня. Это так ново, так необычно для меня! Я так привык видеть Вас только внутренним взглядом. Мне так трудно уверить себя, что моя невидимая добрая фея была хоть на одно мгновение видима! Точно волшебство какое-то!

Я Васи не благодарил еще, добрая фея, за чудный инструмент. Вообще я часто себя упрекаю за то, что недостаточно благодарю Вас. С другой стороны, боюсь наскучить Вам выражениями благодарности. Да и как ее выразить!

Я открыл отличный способ быстрого сообщения с городом. От Porta Romana ходят омнибусы до площади и наоборот; это очень удобно и приятно.

Будьте здоровы, друг мой.

Ваш П. Чайковский.

221. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
23 ноября 1878 г.
Porta Romana, Villa Oppenheim.

Извините, дорогой мой, милый Петр Ильич, что я вчера не писала Вам в ответ на Ваше письмо, но у меня есть одно время в дне, в которое я могу писать, это именно утром, только что вставши с постели, потому что тогда, после письма, я делаю душ из холодной воды в глазные нервы, и это предупреждает головную боль. Если же я пишу среди дня, то у меня разбаливается голова, а я так боюсь этой боли, потому что она у меня никогда не бывает меньше трех дней и расстраивает меня надолго.

Я опять должна много, много, безгранично благодарить Вас, мой милый, дорогой сердцу друг. Вы так добро и внимательно отнеслись к моей просьбе в лице Пахульского, что я уже боюсь, чтобы Вас не беспокоили его приходы. Вы только что отделались от консерватории, а тут опять приходится толковать о гармонических несообразностях и мелодических требованиях. Пожалуйста, мой милый, добрый, хороший Петр Ильич, не стесняйте только себя нисколько. Если Вам вчера надоело это занятие, то бросьте его сегодня, если надоест в субботу, то бросьте в воскресенье. Для меня прежде всего и важнее всего Ваше здоровье, мой бесценный друг, и сохрани боже, чтобы что-нибудь ему вредило. Если же он еще будет приходить к Вам, то я очень бы желала, чтобы он осмелился перед Вами поиграть на фортепиано свои импровизации, потому что в них более всего видно обилие фантазии, а мне кажется, что это-то и есть главный задаток композиторства. Знание и технику можно приобрести, а

фантазия дается только природою. Я знала многих чрезвычайно способных музыкантов-и с п о л н и т е л е й по обеим сторонам музыки, и теоретических и практических, т. е. они умели писать очень хорошенькие сочинения, когда им давали их как задачи в консерватории, но им самим, так сказать, по доброй воле никогда никакие мысли в голову не приходили. Такие музыканты не есть композиторы по призванию, по вдохновению, это композиторы по выучке, технике. У него же такая богатая фантазия, что если он сядет пять раз в день к роялю, то он может по два часа сряду играть премилые фантазии; все они оркестрового свойства. Но для и з л о ж е н и я у него еще, мне кажется, нет достаточно средств, и я думаю, что он легко приобретет их, если будет работать.

Я очень рада, дорогой мой, что Вы получили хорошие письма из Петербурга. Я не так счастлива, как Вы. Я это время получаю все очень тяжелые письма, так что когда мне подают пачку, так у меня сердце обмирает, и в таком душевном состоянии для меня еще бо́льшим благом служит Ваша музыка, в ней я нахожу и утешение и примирение. А теперь еще Ваше присутствие здесь это такое благодеяние для меня, за которое я не знаю как Вас и благодарить, мой несравненный друг. Что касается Анатолия Ильича, то, слава богу, что он весел, пусть порхает от одного цветка к другому, лишь бы не скучал, а женить его н е следует, потому что тогда уж он совсем распустится и будет безвыходно тосковать. Я знаю много таких мужчин, способных тосковать и ныть ни о чем, и женитьбы для них были пагубны, потому что тогда уж нечем было забавляться, нечего ждать, не для чего поддерживать, и это ужасное положение для бедных жен — видеть никогда ничем не довольного, вечно ноющего мужа, да и для самого невесело, потому что помочь уже ничем нельзя. А пока человек не женился, его постоянно поддерживает и забавляет мысль о такой будущности, а такой влюбчивый юноша, как Анатолий Ильич, он двенадцать раз в году может мечтать о женитьбе и хандрить, вероятно, только тогда, когда не влюблен. Вы не беспокойтесь о его хандре, милый друг мой, когда она на него нападет, и не выказывайте слишком много в ней участия, — это положительно вредно с такими натурами. Чем больше с ними няньчиться, тем больше они размокают, а, напротив, надо заставлять его больше самого справляться со своею хандрою, потому что ведь это не горе, утешать не в чем и помочь нечему. А бедный Модест Ильич, он, должно быть, так же как и мы с Вами, не охотник до общества, и удовольствие родственных связей не совсем ему кстати. Хорошо, что он продолжает свою повесть, а то я думаю, что у него, пожалуй, терпения нехватит.

Вы спрашиваете, дорогой мой, когда я еду в Вену. Предположено у меня выехать 9 декабря нашего стиля (я здешнего не хочу знать), но мне ужасно жаль теперь уезжать отсюда, пока Вы здесь. Разве и Вы поедете, быть может, также в Вену и оттуда в Каменку на рождество? Напишите мне, дорогой мой, какие планы у Вас на будущее. Я очень рада, что Вы имеете намерение побывать в театре, потому что у меня уже был взят билет для Вас на представление в Pergola. А Вы знаете, конечно, что на этом театре, как на всех казенных в Италии (San Carlo, Scala etc.), представления бывают очень редки, и в этот раз довольно интересно посмотреть. Будет итти опера «Il violino del diavolo», написанная для певицы Carolin'ы Ferni, которая в то же время есть и скрипачка и покажет публике в этой опере оба свои таланта, и вокальный и инструментальный. Билет я посылаю здесь.

Скажите мне, дорогой мой, хорошо ли Вас кормят. Подают ли Вам фрукты за обедом? Что касается папирос, то заказанных для Вас Анатолием Ильичом Вы или очень нескоро получите или совсем не получите, друг мой. Я уже это испытала за границею: один транспорт в тысячу штук, посланный из Москвы, я совсем не получила, а другой в три тысячи штук, посланный теперь через Юлию Францевну, я едва-едва получила. Ей совсем задержали весь кофр в Вене из-за этих папирос, и она приехала без них, и уже отсюда я их вытребовала. Поэтому, дорогой мой, прошу Вас обращаться постоянно ко мне за папиросами, у меня большой запас из самого лучшего турецкого табаку. А Вы знаете, конечно, что меньше всех вреден турецкий табак: он меньше всех других содержит в себе никотина. Я пришлю Вам три сорта, и Вы мне скажете, который Вам лучше понравится. Один из них прямо привезен из Турции одним нашим родственником, гвардейским офицером, и табак великолепный, но Вы, быть может, найдете его слишком ароматичным, слишком нежным, — мужчины не всегда любят такой. Мне очень приятно, что Вы видели мою дачу; она очень красива внутри. Если бы Вы захотели посмотреть ее, то Вам стоит только зайти и приказать вызвать Пахульского, и тогда Вы обошли бы всю дачу, не встретив нигде ни одной души, а мне было бы это очень приятно. Детские голоса, которые Вы слышали, вероятно, именно звали Александра. Это один из наших итальянских кучеров, которого все дети очень любят, это тот, который привез Вас со станции. Мы давно его знаем, он служил у нас на даче на Fiesole пять лет назад и всегда ездит с нами, когда мы бываем во Флоренции. Около Вас, друг мой, есть интересная прогулка на башню Галилея. Надо пройти немного по нашей Viale в направлении к San Miniato, тогда будет дорога направо в гору, у которой стоит столб с какою-то

надписью, вероятно, указывающей, куда ведет дорога, то там надо повернуть, и здесь будет сперва вилла Галилея, а потом и его обсерватория. Потом рекомендую Вам, милый друг, прогуляться к Poggio Imperiale. Это женский институт, от которого идет очаровательная аллея из пирамидальных тополей до самой Porta Romana, так что можно сделать круговую прогулку. С башни Галилея также можно сойти другою дорогою. На Certosa также можно ехать через Poggio Imperiale, а в воскресенье всегда интересно проехаться в Cascine. Там бывает гулянье от трех до пяти часов; мы каждое воскресенье ездим. Там ездит один чудак англичанин на двенадцати лошадях, запряженных по две, одна перед другою (цугом), в шарабане. Он несколько лет составляет такой выезд, все прибавляя по две лошади. Я очень люблю его встречать.

В субботу мы также будем в Pergola на том представлении, в которое я посылаю и Вам билет. Вчера вечером мы проезжали около Вас, милый друг мой. У Вас была освещена столовая и кабинет, из чего я заключила, что Вы обедаете. Не знаю, заметили ли Вы, дорогой мой, что я немножко изменила распределение комнат, — это для того, чтобы спальня была на солнечной стороне. Довольны ли Вы инструментом, друг мой? Прочтите, Петр Ильич, в «Московских ведомостях» дело, разбиравшееся в окружном суде, француженки Жюжан, в котором возмутителен до-нельзя факт оправдания этой личности, которая, будучи наставницей детей, своего воспитанника, четырнадцатилетнего мальчика, сперва развратила, а потом отравила, и присяжные заседатели оправдали ее![1]. Это меня возмущает до глубины души. Неужели между этими присяжными не было ни одного отца, которого бы чувство возмутилось таким поступком? А уже нечего и говорить, как низко пала общественная нравственность у нас в России; меня это в ужас приводит. Однако, видно, мне не судьба писать Вам короткие письма. До свидания, мой дорогой, бесценный. Заверните как-нибудь посмотреть нашу дачу. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

222. Чайковский — Мекк

1878 г. ноября 23. Флоренция. Четверг, утром.

Пожалуйста, дорогой друг, не беспокойтесь насчет моих занятий с Пахульским. Он настолько музыкант, что мне вовсе не утомительно с ним беседовать. В следующий раз я попрошу его

пофантазировать, но заранее чувствую, что он будет при мне стесняться, и с этой стороны я не узнаю его так хорошо, как Вы. Нужно очень большое и интимное знакомство, для того чтобы не стесняться при фантазировании. Я еще ничего не знаю относительно своих предположений на будущее, но вряд ли на праздники поеду в Россию. В следующем письме объясню почему. Мне очень хочется побывать в этот раз в Неаполе, хотя не надолго, и, может быть, вскоре после Вашего отъезда я бы решился предпринять туда поездку. Впрочем, об этом напишу Вам в другой раз. А пока мне здесь так хорошо, что и не хочется думать об отъезде.

Благодарю за билет. Непременно воспользуюсь им.

Кормят меня отлично. Вообще я очень доволен прислуживающим мне синьором Г е к т о р о м. Он очень мил и предупредителен. Благодарю еще раз за письмо и билет. Книги и газеты я возвращу Вам завтра. Будьте здоровы, дорогая моя. Как меня огорчает, что Вы получаете невеселые известия из России.

П. Чайковский.

Папирос у меня покамест вполне достаточно.

223. Чайковский — Мекк

1878 г. ноября 23. Флоренция. Четверг, 12 часов ночи.

Я хочу просить Вас, добрый и милый друг мой, не стесняться обязательными ответами на каждое письмо мое. Мне очень было бы неприятно, если б Вы подвергали из-за меня утомлению глаза Ваши. Мне очень хорошо известно, до чего занят и полон Ваш день. Я отлично понимаю, что и Ваши многочисленные семейные отношения и разнообразные деловые переписки занимают и без того у Вас много времени. Ну, словом, я ни мало не претендую получать от Вас ответ на каждое письмо мое. Ради бога, берегите свое зрение и пишите мне как раз настолько, чтобы не делать никакого усилия над собой. Я до крайности благодарен Вам, дорогая моя, за приглашение побывать в Вашей вилле. Но простите меня чудака. Я не воспользуюсь этим приглашением, пока Вы здесь. Я знаю, что, пришедши в виллу, я, как Вы пишете, не встретил бы ни души. Но это меня стесняло бы и конфузило. Меня угнетала бы мысль, что из-за меня все скрываются. Я предпочел бы побывать на вилле O p p e n h e i m тотчас, как Вы уедете, и попросил бы Вас сделать распоряжение в этом смысле. Пожалуйста, не сердитесь на меня за это укло-

нение от Вашего предложения[1]. Я бы хотел посетить Вашу виллу с таким же отрадным и ничем не смущаемым чувством общения с Вами, какое я испытывал в Браилове и в московском доме Вашем.

Так как я заговорил об отъезде Вашем, то кстати поговорю и о том, что я предполагаю делать после того, как Вы уедете. Сегодня я довольно много думал об этом и решил, что так как я хочу много работать, то мне нельзя будет ехать ни в Рим, ни в Неаполь. Оба эти города слишком обильны интересом. Нельзя жить в Неаполе и не бродить целый день по фантастически-чудесным его окрестностям. Нельзя жить в Риме и сидеть дома. Поэтому я желал бы, оставшись здесь после Вас еще два или три дня, поехать в Париж, чтобы собрать там многочисленные материалы для «Jeanne d'Arc» и особенно либретто Mermet. А далее я еще не знаю, что бы я сделал, но, во всяком случае, на праздники в Россию не поеду. Сестра с семейством весь декабрь и январь проведет в Петербурге, и, следовательно, в Каменку меня ничто привлекать не будет. Таким образом, ранее начала весны я вряд ли возвращусь в Россию. Нужно будет поискать после Парижа тихого уголка для работы, а потом уже через Петербург вернуться надолго в Россию.

А покамест мне необходимо хорошенько заняться инструментовкой сюиты, чтобы, покончив с ней, вполне отдаться опере. Ах, друг мой, как у меня много материала накопляется для этой оперы и с какою любовью я весь отдамся ей, как только кончу теперешнюю работу. Я должен каждый день делать усилие над собой, чтоб удержаться от новой работы, пока первая еще не готова.

Я много гулял сегодня и был, между прочим, на вилле Галилея.

Покойной ночи Вам, милый друг.

Ваш П. Чайковский.

224. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
24 ноября 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Приношу Вам тысячу благодарностей, мой милый, бесподобный друг, за сообщение мне Вашего мнения о Пахульском. Ваш отзыв меня весьма порадовал, а Вашим словам ведь я верю, как евангелию. Вы находите в его способностях совсем то же самое, что и мне в них казалось. Я также в его фантазиях не

вижу ни оригинальности, ни своеобразности и так же, как Вы, думаю, что это, быть может, потому, что он слишком молод, слишком наивен еще во всем, — в музыке, как и в жизни. Но, быть может, у него и никогда не будет этих свойств, и все-таки он может быть хорошим композитором. Ведь нет же вовсе оригинальности в музыкальном отношении у Антона Рубинштейна, — у него есть самобытность, так сказать, физиологическая, эта страстная нервность, беспокойство, с которыми его сочинения очень нравятся. А кроме его, господа Брамсы, Раффы, Кили и целая фаланга немецких композиторов, также не обладающих никакою оригинальностью, пишут, сочиняют, и их играют, и они нравятся. Ведь такие единицы, как Вы, мой дорогой, весьма редки. Вас нельзя сравнивать ни с кем. Вас можно определить только так, что в Вас заключается все лучшее от самых лучших композиторов. Все, что есть восхитительного в Mendelsohn'e, Schuman'e, Глинке, есть и в Вас, с прибавлением своих, оригинальных, самобытных свойств, с которыми Вы так обособляетесь от всех существующих доныне талантов, что и сравнивать Вас даже ни с кем нельзя. Хотя Шуман в своей немецкой породе так же выделяется, как и Вы, но племенной характер в нем другой и не представляет ничего оригинального, так как почва для него давно была уже разработана его предшественниками, такими же немцами, как и он. Вы же не только самобытный, но и свежий талант. Для Вас не много было подготовлено, Вы шли по едва намеченной тропинке, и Вы разработали ее в прекраснейшую своеобразную дорогу. Теперь уже в русской музыке никто и ничего больше не может сделать, — Вы соединили в ней все стороны ученой со всеми свойствами характерной музыки. У Вас могут быть последователи, но реформаторов не может быть. Я думаю, что Вы совершенно угадали, что Пахульский не осмелится фантазировать перед Вами. Для меня он играет свободно, потому что не считает меня за музыканта, Вы же для него божество, перед которым он прежде всего трепещет. Так уже где же решиться фантазировать, разве уж очень увлекся бы. Ваши занятия с ним, мой несравненный друг, есть такое благодеяние для него, которое будет иметь самое огромное значение для всей его музыкальной карьеры.

Каков туман сегодня! Я боюсь, что мы, выйдя гулять сегодня, не найдем дороги до Villa Bonciani. Я очень довольна, что Вас кормят недурно, мой милый друг, и что Вы довольны Вашим Signor'ом Hettor'ом; а все-таки Вы мне не сказали, дают ли Вам фрукты к столу. Мне очень досадно, что так долго нет солнца. Я очень рада, что Вам нравятся виды с нашей Viale. Я теперь пять недель смотрю на них в день по два раза и каждый раз

любуюсь с восторгом. Дорогой мой, побывайте в городе на выставке картин от Société Artistique. Там есть очаровательные картины новых художников. Находится она на дороге, которая ведет на Fiesoli, на Viale Principe Eugenio, № 18. Это довольно далеко, но стоит поехать. За вход там не платится, но можно покупать картины, хотя это вовсе не обязательно. Вы ездили брать ванну в город, а у Вас есть на Villa Bonciani, в Вашем помещении. Мое общество каждый день после завтрака ездит в город, а я каждый день после обеда езжу кататься: один день в город, другой до San Miniato. У Лиды второй ее мальчик, Макс, такое миленькое созданьице, что всех забавляет. Она теперь в хлопотах прививать ему оспу: ему пять месяцев. Милочка ужасно рада своим племянникам, все свободное время проводит с ними. Знаете, что она постоянно напевает Вашу колыбельную песнь. Юля и Лида разучивают теперь Ваш дуэт из «Евгения Онегина». Лида очень хорошо поет; я жалею, что Вы не можете слышать ее. У нее премилый mezzo-soprano, с тою густотою, сочностью и страстною вибрациею в горле, которыми отличается и так действует на нервы голос певицы Лукки; Вы, вероятно, слыхали. А певица, которую мы будем слушать завтра, быть может, не лучше ли известна Вам по своему прежнему имени — Teresa Milanullo? А Ferni — ее имя по мужу.

До свидания, дорогой мой. Вся Ваша

Н. ф.-Мекк.

225. Мекк — Чайковскому

1878 г. ноября 24. Флоренция. Утро.

Только что отдала я свое письмо к Вам, бесценный мой Петр Ильич, как мне подали Ваше. Пожалуйста, не думайте, чтобы я принуждала себя писать Вам. Я пишу из собственной потребности, потому что мои мысли и все мое существо целый день полны Вами, и понятно, как меня тянет поговорить с Вами. Насчет моего приглашения Вам побывать у меня на даче я уже и сама подумала, мой милый друг, что предлагала Вам несообразность с данными обстоятельствами, так как теперь есть маленькие дети Лиды, да и вообще их присутствие здесь сделало невозможным убрать всех куда-нибудь. Поэтому я буду очень рада, дорогой мой, если Вы побудете здесь по нашем отъезде.

Как меня радует, что в Вашем воображении создается опять опера. Сюжет у Вас будет всякий хорош, мой милый друг, но что за богатое творчество у Вас: только что одна опера готова,

да и какая, как уж другая задумывается! Пошли Вам бог сил и здоровья, а творчество Ваше все идет вверх.

Я не знаю, милый друг, читали ли Вы в «Отечественных записках» статью Карновича «Самозванные дети»? [1]. Если не читали, то рекомендую Вам прочесть, — это очень интересно. Посылаю и вторую часть этого сочинения.

Пока я писала Вам два письма, туман рассеялся, выглядывает солнце. Через полчаса мы будем проходить около Вас.

Ваша Н. ф.-Мекк.

226. Чайковский — Мекк

Villa Bonciani.
Пятница,
9 часов вечера.

1878 г. ноября 24. Флоренция.

Какую чудную погоду обещало сегодняшнее утро, и как мало эти обещания исполнились! Я, тем не менее, совершил значительную прогулку, т. е. был на башне Галилея, на которую однакоже за отсутствием custode * не входил, а потом через San Miniato спустился в город, получил два письма на poste restante и вернулся домой все-таки пешком.

Одно из писем от Юргенсона. Он сообщает мне, что, кроме концерта, уже вышли из печати мои шесть романсов, виолончельная пьеса (исполненная в прошлом году Фитценгагеном) и детский альбом. Все эти вещи я поручил Юргенсону тотчас же прислать мне, и по их получении я их Вам доставлю. Полагаю, что детский альбом пригодится для Милочки. Впрочем, я не знаю, музыкантша ли она у Вас. Для Сони они слишком легки. Альбом этот я посвятил моему племяннику Володе, который страстно любит музыку и обещает быть музыкантом.

А симфония наша все-таки не готова. Мне ужасно перед Вами совестно, друг мой, за эту симфонию. Уже год как она готова, а клавираусцуг благодаря медлительности Танеева до сих пор еще не появляется. Однакож Юргенсон обещает сделать все возможное, чтобы он скорее был награвирован и напечатан [1].

Я с большим удовольствием прочел сатиру на Биконсфильда. Как я рад, что наше этому ненавистному еврею англичанам порядочно достается в Афганистане [2]. К сожалению, сегодня в «Gazzetta d'Italia» имеется благоприятное для англичан известие с театра войны.

---

* сторожа

Я прочел также непостижимое, загадочное дело Ж ю ж а н. Впрочем, оправдательный приговор присяжных нисколько не удивил меня. Разве не сплошь да рядом присяжные, а в особенности петербургские, выносят вердикты, оскорбляющие не только чувство справедливости, но и здравый смысл? Официально суд присяжных у нас называется с п р а в е д л и в ы м, с к о р ы м и м и л о с т и в ы м. Он действительно в сравнении с прежним скор и милостив, но ни в каком случае не справедлив. Не заходя далеко, вспомним процесс Засулич. А оправдание докторши К о в а л ь ч у к о в о й, устроившей убийство мужа и оправданной в Харькове? [3]. Дело Жюжан интересно не только как возмутительный уголовный роман, но и как курьезная бытовая картина. Не удивляют ли Вас эти непостижимые родители, знавшие об о с о б е н н о с т и отношений сына к гувернантке и все-таки не выгоняющие ее, эта мать, по показанию Жюжан, вечно проводившая вечера в клубе, оставляя детей на досмотр гувернантки-проходимки и кухарки? Бедный мальчик! Слезы выступают, когда подумаешь, что виною всего не его странная натура, не безумная и ненормальная страсть гувернантки, а недостаточная заботливость отца и матери.

Освещение у меня великолепное, и поэтому я отказался от предложенных Ив[аном] Вас[ильевым] свечей. Господи, до чего меня трогает Ваша бесконечная заботливость и доброта ко мне! Спасибо Вам, дорогой, милый друг.

Вчера я долго не мог решиться итти спать, до того была хороша лунная ночь. Я ходил по балкону, упивался воздухом и наслаждался ночным безмолвием.

Ваш П. Чайковский.

227. Чайковский — Мекк

1878 г. ноября 25. Флоренция. Суббота. Утром.

Друг мой, пришлите мне, пожалуйста, черновую рукопись «Онегина», мне хочется привести ее в порядок.

Я все забываю ответить Вам насчет ф р у к т о в. Мне подают их очень аккуратно и в большом изобилии. Вообще к о р м л е н и е превосходное, и если есть недостаток, так это излишнее количество кушаний.

Вчера вечером я много занимался музыкой, т. е. просмотрел обе сюиты Риса и концерт Lalo. Последний мне вовсе не нравится и не идет в сравнение с «Symphonie espagnole». Сюиты же очень милы; написаны без претензий, но мило, изящно, хотя, как у

всех современных немцев, мало свежести. Кстати о свежести в музыке. Рекомендую Вам оркестровую сюиту покойного Bizet «L'Arlésienne». Я слышал ее в Петербурге. Это в своем роде chef-d'oeuvre. Если не ошибаюсь, она издана в четыре руки. Имеете ли Вы понятие о «Roi de Lahore» Massenet?

Дождь лил весь вечер, и я уже не наслаждался ночной свежестью на балконе, как накануне.

До свиданья, милый друг мой.

Ваш П. Чайковский.

Я уже кончил четвертый номер сюиты и принимаюсь за пятый.

228. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
26 ноября 1878 г.
Воскресенье. 8 часов утра.

Дорогой мой друг! Пишу Вам сегодня несколько слов только для того, чтобы сказать, что у меня очень голова болит, и поэтому я не буду писать Вам такого письма, какое хотела, т. е. очень длинного. Я, вероятно, даже гулять не пойду, а только поеду кататься в три часа в Cascine. Дурная погода начинает меня сердить; мне так хочется, чтобы Вам было здесь хорошо, а такая погода сплин нагоняет. Прежде у нас было солнце через день, потом через два дня, а теперь уже дней шесть его нет. Это ретроградное движение в природе совсем некстати, да и не в моде: теперь все стремится вперед, хотя бы и в помойные ямы попасть, но все-таки лететь вперед. Но, видно, от зимы нигде не уйдешь, хотя я все-таки здешнему климату весьма благодарна за то, что могу каждый день пользоваться воздухом.

Очень, очень благодарю Вас, милый друг мой, за обещание прислать мне вновь вышедшие Ваши сочинения. К сожалению, детский альбом для Милочки не может быть употреблен, она еще не учится, а для Сони, я думаю, будет слишком трудно: у нее музыка идет очень плохо. А он, вероятно, как раз будет подходящ для меня. Известия об успехах англичан идут ведь из английских источников, и полагаться на них вполне нельзя. Если Вы читаете здешние газеты, друг мой, то не хотите ли французских? Мы получаем «Italie», римское издание, и «Touriste d'Italie», флорентийское издание. Вы говорите по-итальянски, друг мой, или знаете его только по сходству с французским? Только что я бранила погоду, как в эту же минуту ярко выглянуло солнце, — вот это так хо-

рошо. Мне кажется, что Иван Васильев не совсем верно передал Вам мое предложение, дорогой мой. Я предлагала à bas jour * на лампу или свечи с абажуром, потому что с ними легче заниматься по вечерам. Мне очень жаль, что Вам не понравился концерт Lalo, потому что мне он очень нравится. Мне кажется, что он очень оригинален своими странными гармониями, неожиданными последованиями, красивыми мелодиями (в особенности одна), с очень изящными аккомпанементами, резкими ритмами. Мне очень нравится Испанская симфония, но то народно-характерное сочинение, которое выдержано весьма хорошо и красиво в музыкальном отношении; концерт же, так сказать, индивидуальное произведение весьма оригинального таланта и написан так легко, без всякой тенденции, а просто по свойству натуры. Он везде верен себе, и слышен тот же человек, который написал и Испанскую симфонию. Я не знаю оперы Massenet «Roi de Lahore» и вообще имею только общее понятие о Massenet. Французы его ужасно почитают, ставят его наравне с Gounod и очень поклоняются ему, но по тем немногим его произведениям, которые были у меня в руках, мне кажется, что он сухой писатель: мало жизни в его сочинениях; впрочем, я не стою на этом ни одной минуты. Сюиту Bizet я непременно выпишу. Как Вы скоро работаете, мой несравненный друг: уже за пятый номер сюиты принялись в четыре дня времени.

Опять записалась на двух листах. До свидания, дорогой мой. А мне ни разу не удалось Вас увидеть через окошечко. Да, впрочем, это и невозможно: я так близорука, что в пяти шагах не различаю знакомых. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

По поводу процесса Жюжан и высказанного Вами мнения о родителях я напишу, когда голова перестанет болеть. Газет вчера не было.

229. *Чайковский — Мекк*

1878 г. ноября 26. Флоренция.

Дорогой друг! Если Вам сегодня концерт Lalo не нужен, то не пришлете ли мне его?

Ваш П. Чайковский.

---

* абажур

230. Чайковский — Мекк

1878 г. ноября 26. Флоренция.

Посылаю Вам, друг мой, телеграмму об успехе нашей симфонии. Я ужасно рад!

Ваш П. Чайковский.

231. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
26 ноября/8 декабря 1878 г.
Воскресенье, 8 часов.
Villa Bonciani.

А дождь продолжает упорно лить. Не скажу, чтобы я радовался этому. Италии вообще как-то не идет ненастье; на то она и Италия, чтоб небо было вечно синее. Но я охотно мирюсь с этим. В моих комнатах так уютно, так светло, на сердце у меня так спокойно. Я так глубоко наслаждаюсь и отдыхаю от двух ужасных месяцев, проведенных в Москве и Петербурге, что могу не без некоторого удовольствия внимать тихому шуму падающего дождя и при этом думать, что я под теплым Вашим крылышком защищен от всяких скучных и несносных столкновений со светом. Давно я не находился в таком сладком и очаровательном состоянии совершенного удовлетворения.

Как Ваше здоровье? Ничего не может быть несноснее головной боли. Если и сегодня у Вас боль продолжается, то надеюсь, что Вы не напишете ни одной строчки. Я по опыту знаю, до чего писание увеличивает головную боль.

Телеграмма Модеста была для меня очень приятным сюрпризом[1]. Я не знал, что симфония должна была быть исполнена теперь. Успеху, о котором он извещает, можно вполне верить. Во-первых, Модест знает, что я вовсе не люблю, когда меня тешут преувеличенными известиями об успехе. Во-вторых, С к е р ц о было повторено, а это уж несомненный признак успеха. По случаю этого известия я сегодня целый день погружен в н а ш у с и м ф о н и ю. Распеваю ее, вспоминаю, где, как и под каким впечатлением было написано то или другое, переношусь за два года назад и с каким-то отрадным чувством снова обращаюсь к настоящему. Сколько перемен! Как много совершилось в эти два года! Когда я начинал эту симфонию, Вы были мне еще очень мало знакомы. Но я отлично помню, что я писал ее для Вас. По какому-то предчувствию я знал, что никто так чутко, как Вы, не отзовется на мою музыку, что души наши очень сродни, что многое высказанное в этой симфонии понятно Вам более чем

кому-либо. Я ужасно люблю это детище свое, оно принадлежит к числу тех, в которых я не боюсь разочароваться.

В третьем часу я, взявши Алексея, отправился в город и в Cascine. В Cascine мы пришли как раз, когда дождь из мелкого и как будто скоропроходящего обратился в упорный. Убедившись, что надежды на ясное небо нет, я вернулся домой.

Я непременно побываю на выставке новых картин. В прошедшем году я был на ней, но она была на другом месте. Там была одна «Римская матрона» поразительной красоты, и мне приходило тогда в голову, что если б Вы увидели эту картину, Вы бы, может быть, приобрели ее.

Кроме того, я не уеду из Флоренции, не побывав в Uffizi, в Pitti, в San Lorenzo. Любите ли Вы здешний Duomo*? Я его люблю до страсти; мне нравится его суровая простота, и потом, я в архитектуре не знаю ничего пленительнее Campanile. Вообще я очень люблю Флоренцию. Есть ли здесь теперь хорошая драматическая труппа? Если бы не было дождя, я, может быть, отправился бы сегодня ради воскресенья в театр. Но дома лучше. Сейчас примусь за Lalo, если Алексей, посланный к Вам, принесет его. Будьте здоровы, бесценный друг.

Ваш П. Чайковский.

В следующем письме напишу об Lalo.

232. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
26 ноября / 8 декабря 1878 г.
Воскресенье.

С величайшим удовольствием прочел вчера повесть Карновича, которой начало, к сожалению, мне неизвестно. Но что в особенности интересно, так это статья доктора, лечившего Некрасова от его предсмертной болезни[1]. Статья эта помешала мне заснуть, до того мучительно было читать о бесконечных, невероятных страданиях его и в особенности о той, по выражению доктора, животной жизни, на которую обрекла его болезнь. Ради этих страданий я простил Некрасову все, что имел против него как человека.

Пришел Ив[ан] Вас[ильев]. Не думайте, дорогая моя, что дурная погода сильно огорчает меня. Уверяю Вас, что я давно не чувствовал себя так хорошо, как теперь, во всех отношениях. Вчера вечером мне даже приходило в голову, что, вероятно,

* собор

это не к добру. Я очень суеверен, и как только благополучие мое нравственное и физическое переходит за обычные пределы, я начинаю бояться. Это очень напоминает Собакевича в «Мертвых душах», который, пользовавшись сорок лет вожделенным здравием, говорит Чичикову, что это не к добру.

Я еще раз должен просить Вас, друг мой, не давать себе труда писать мне, если Вы нездоровы. Мне немножко неприятно, что при головной боли Вы все-таки написали мне.

Пожалуйста, пришлите мне при случае еще раз концерт Lalo. Я просмотрел внимательно одну первую часть, которая мне показалась жиденькой. Теперь, после того, что Вы написали о ней, мне захотелось еще раз внимательно прочесть концерт.

Я оттого отказался от предложения Ив[ана] Вас[ильева], что у меня три лампы, и одна из них с превосходным абажуром. Она-то и освещает меня, когда я пишу или читаю вечером.

По-итальянски я совершенно свободно читаю, но говорю довольно плохо, хотя говорю. Когда-то я учился и говорил недурно. Это было во времена увлечения Ристори[2].

Massenet я ставлю ниже Bizet, Deslibes и даже St. Saëns, но и в нем, как во всех современных французах, есть тот элемент свежести, которого недостает немцам. За «Italie» буду Вам очень благодарен.

Мне очень грустно, что Вы нездоровы, мой добрый друг. Я же здоров, покоен, благополучен. Я тоже отправлюсь сегодня в Cascine.

Ваш П. Чайковский.

Я кончил четвертый номер и начал пятый — сюиты, но ведь первых трех у меня до сих пор еще нет. Работы еще много.

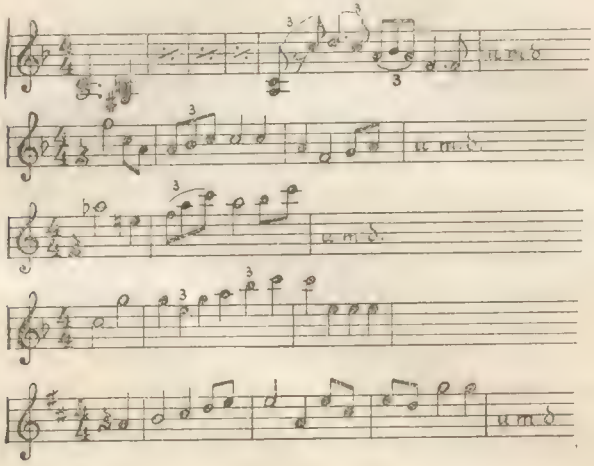
233. Чайковский — Мекк

Villa Bonciani,
27 ноября/9 декабря 1878 г.
Понедельник.

1878 г. ноября 27—28. Флоренция.

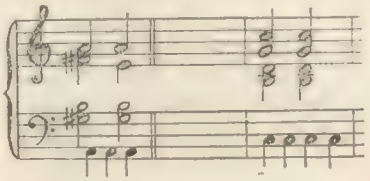
Позвольте мне, милый друг мой, сделать критическую оценку концерта Lalo, который я проиграл несколько раз и, кажется, теперь порядочно знаю. Прежде всего скажу, что Lalo очень талантлив, — об этом спору нет. Но или он очень молодой человек, потому что все его недостатки сводятся к какой-то невыработанности стиля, свойственной молодости, или же он далеко не пойдет, т. е. я хочу сказать, что если он уже зрелый человек, то недостатки его суть органические, неизлечимые. Я на-

хожу, что концерт гораздо слабее Испанской симфонии. Все, что в этой последней я объяснял себе преднамеренно вложенным в музыку характером несколько дикой и бессвязной рапсодичности, все те странности, которые в ней я приписывал восточно-мавританскому строю испанской мелодии, находится и в концерте, который однакож не испанский. Разберем первую часть концерта. Она состоит не из двух тем, как обыкновенно бывает, а из нескольких, а именно из пяти:

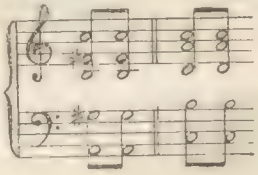


Во-первых, это слишком много. Всякое музыкальное кушанье должно быть удобоваримо, а для этого не должно состоять из слишком большого количества ингредиентов. Во-вторых, из тем этих вполне удачна только пятая. Остальные или сами по себе бесцветны или, как например вторая, не вполне высказаны, состоят из органически несвязных кусочков и страдают неопределенностью рисунка. В-третьих, во всех этих темах, за исключением опять-таки пятой, встречается однообразный прием, уже с излишеством употребленный в Испанской симфонии, т. е. смешение трехдольного с двухдольным ритмом. Уж если человек не в состоянии удержать своего вдохновения ради равновесия формы, то, по крайней мере, пусть старается разнообразить темы ритмом, а между тем ритмически-то именно темы очень однообразны. Не буду говорить о недостатках формы, о д е л а н н о с т и, которая замечается в последовании отдельных эпизодов, — это повело бы слишком далеко. Перехожу к гармонии. Концерт преисполнен самых странных, диких гармоний. Уже не говоря о том, что в скромном скрипичном концерте не место

этим пряностям, я не могу не заметить, что все они имеют какой-то школьнический характер, ибо не вызваны сущностью музыкальной мысли, а навязаны насильно, как бравада ученика перед учителем. Другие имеют характер тоже школьнической, так сказать, неопрятности. Например, к чему это два раза встречающаяся музыкальная грязь, à la Мусоргский:



Ведь если сыграть это дикое сочетание осьмыми, то выйдет вот что:



Это безобразно и вовсе не нужно, ибо ровно ничем не вызвано и я сначала думал, что это опечатка. Не думайте, друг мой, что во мне заговорил учитель гармонии, педант. Я очень люблю, мотивированные и кстати употребленные диссонирующие комбинации. Но есть известные пределы, за которые никому переходить не дозволяется. Чтобы не вдаваться в технические подробности, скажу только, что всякое нарушение гармонического закона только тогда красиво, как бы оно ни было резко, когда оно происходит под влиянием давления мелодического начала. Другими словами, диссонанс должен разрешиться или путем гармоническим или мелодическим. Если нет ни того, ни другого, то происходит просто безобразие à la Мусоргский. В приведенном примере я бы мог помириться с оскорбляющим ухо диссонансом, если б в следующем такте каждый голос шел бы мелодически плавно. У Lalo этого нет. У него безобразие ради безобразия.

Теперь, наругавшись, скажу и кое-что хорошее. Хотя связи мало, но отдельные части написаны тепло, много красивых гармонических и мелодических подробностей. В общем же характере его музыки есть общее всем современным французам свойство изящной пикантности, хотя это далеко не так элегантно, как у Bizet, например. Вот у кого бездна гармо-

нических смелостей, но сколько вкуса и прелести во всем этом! Если б я не знал Испанской симфонии, то концерт мне бы понравился втрое больше. Но я ожидал от L a l o такого мастерства, которого в концерте не нашел, и вот это разочарование и причина того, что я отозвался так неодобрительно. С другой стороны, я нисколько не удивляюсь Вашему хорошему мнению. Вас подкупает талантливость, беспрестанно сказывающаяся в подробностях. Я же, кроме талантливости, ищу прогрессивного мастерства технического и вот мастерства-то этого я, против ожидания, и не нашел. О второй части могу сказать, что она тоже какая-то недосказанная и притом написана под слишком заметным влиянием «Berceuse» Шопена.

Третья часть, кажется, очень и пикантна и мила. Но я ее еще мало знаю и очень буду благодарен Пахульскому, если он принесет в среду скрипку.

Простите за скучную и придирчивую критику. Она тем более некстати, что Вы нездоровы. Меня очень огорчает Ваше нездоровье. Это, очевидно, m i g r a i n e. Хотя этой болезнью я страдаю редко, но все-таки она мне знакома. Письмо это я отправлю к Вам только тогда, когда узнаю, что Вы совсем выздоровели. Я очень понимаю, что во время м и г р е н и не до Lalo и вообще не до музыки. Тут нужен покой и покой. Выздоравливайте, милый, добрый друг. Мысль, что Вы страдаете в то время, когда я вожделею и благоденствую, мне тяжела. А погода сегодня чудесная. Я гулял и после завтрака и вечером. Заход солнца был великолепный.

Последняя часть сюиты приближается к концу, а рукописи все еще Анатолий мне не посылает [1]. А мне бы очень хотелось отделаться от этой работы до Вашего отъезда. Впрочем, нет сомнения, что не сегодня-завтра получится. Я хочу еще успеть сделать клавираусцуг Andante и еще одной части для Вас. Будьте здоровы, ради бога, милый друг мой [2].

Ваш П. Чайковский.

Вторник.

Получил Ваше письмо. Ужасно рад, что боль Ваша прошла. Попрошу Пахульского захватить скрипку завтра. Будьте здоровы.

234. Мекк — Чайковскому

Флоренция,
2[4] ноября 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Сегодня у меня не болит голова, и я спешу воспользоваться этим. Безмерно радуюсь, дорогой друг мой, успеху н а ш е й с и м ф о н и и и твердо убеждена, что успехи Вашей музыки будут итти crescendo до тех пор, пока Вы будете писать, потому что у публики есть весьма вероятные инстинкты, а музыкальная критика им разъясняет их и укрепляет. Как бы мне хотелось еще послушать эту божественную симфонию, да где? Отсталой Италии далеко до такой музыки, она не сумела бы и понять ее, так же как не сумела оценить «Жизнь за царя», а Бюлов ставит эту оперу в Ганновере. Он молодец, умеет оценить и пропагандирует русскую музыку. А наши московские Симфонические собрания как изобилуют солистами в нынешнем сезоне[1]. Из них меня очень интересует Sarasate; я жалею, что не услышу его[2]. Им также Бюлов очень восхищается.

В прошлом Вашем письме по поводу процесса Жюжан Вы затронули, друг мой, вопрос, который меня чрезвычайно волнует и в котором я совершенно не согласна с Вашим мнением, так же как и с мнением всего общества. Всеми принято валить ответственность за свои и чужие грехи на воспитание родителей. Я не удивляюсь, друг мой, что так говорите Вы. Вы так счастливы, что не имеете детей и Вам не приходится нести нареканий за Ваши же страдания, за Ваше горе, но я не понимаю, как поднимается рука бросать камень обвинения в родителей у тех людей, которые сами имеют детей и полную возможность додуматься до истины. Но вот беда в том, что у нас думать-то не любят, да и не очень хочется сознать то, что каждый человек виноват своими понятиями не перед своими детьми только, а перед всем юношеством, настоящим и грядущим, — так легче уже отвечать только за своих детей, авось-либо о с о б е н н о дурного и не случится ничего. *Я* не признаю воспитания д о м а ш н е г о, воспитания р о д и т е л ь с к о г о, — я знаю воспитание о б щ е с т в о м, с р е д о ю, в которой вырастают дети и в которой родители имеют наименьшую долю участия, во-первых, потому, что практически невозможно избежать учителей, гувернанток, нянюшек, гимназии, гостей, театров и т. д., и, во-вторых, потому, что, как только дети поднялись на ноги, в особенности мальчики, им уже каждое требование родителей, как бы оно ни было законно и рационально, кажется излишним стеснением и стремлением родителей видеть своих детей с о в е р ш е н с т в а м и,

чему они, конечно, не берутся удовлетворить. Почему винить родителей, когда эти же самые родители в свое время были также детьми и за их взгляды и понятия также отвечают их родители? Таким образом, этою цепью мы доберемся до того, что виноват Адам во всех наших пороках и грехах. Я нахожу, что до известного возраста виновато все общество в безнравственности людей, а с известного возраста, когда человек вырос и явились собственные понятия, он сам отвечает за себя; родители же только в той мере, в какой они составляют часть общества. Скажите, если бы такое преступление, развращение, только без отравления, было совершено с десятилетнею девочкою (возраст, соответствующий у мальчика четырнадцати годам), общество пришло бы в ужас, и присяжные без колебания приговорили бы такого негодяя к каторжной работе? Почему же никто не возмутился тем, что наставница, девица, развратила четырнадцатилетнего мальчика? Это было только придаточным вопросом, за него никакому наказанию и не думают подвергать; а это потому, что каждый говорит себе: «С мальчиком это все равно рано или поздно случилось бы». Так вот, так же рассуждали и родители; так же, как и все общество, они больше боялись того, чтобы он не сделался пьяницей, а ведь ожидать, предугадать это отравление нельзя было. Следовательно, виновато общество за то, что оно воспитывает мальчиков так, что раньше или позже они должны приняться за известную великую деятельность, чем и дают полный простор таким проходимкам, как Жюжан, развращать безнаказанно ребенка, а другим — еще спекулировать таким развращением, женить на себе, яко на обольщенных. Отравление явилось последствием этого зла, а им никто не возмущается. Чем же виноваты родители, что они отнеслись к этому акту так же, как и все общество, и что они боялись последствий от разрыва, которые всеми признаются хуже самого факта связи? Я находилась в таком же положении, как родители Познанского, и поступила совершенно противоположно им: я сейчас же прогнала личность, желавшую развратить моего также четырнадцатилетнего сына. Но я никогда не скажу, что те родители, которые не поступили так, меньше меня любили или заботились о своих детях,— нисколько. У них другие понятия, чем у меня, и они совершенно правы в своих понятиях, потому что это есть то же, что и у всего общества, тогда как мои совсем противоположны им: я не выношу того, к чему общество относится очень снисходительно, даже часто симпатично. Я уничтожаю зло (по моим понятиям) сейчас, как только вижу его, не думая ни о каких последствиях; другие не находят такого зла в том, в чем я его вижу, и благоразумно обдумы-

вают последствия. Ни те, ни другие не виноваты, а вот виноват тот, кто, сознавая вполне зло, которое он делает, все-таки делает его, доходит в нем до апогея, как m-lle Жюжан. Она ведь знала, что ей как девице неприлично, безнравственно заводить связь с кем-нибудь, она ведь знала, что лишать жизни человека есть преступление против совести, и она все это сделала. Так вот она и виновата, и я не понимаю, для чего искать вины в несчастных родителях, когда так ясно виновата Жюжан, на почве, данной обществом. Бедные, бедные родители! Им же горько, больно сверх сил, и в них же бросают грязью, их же обвиняют. Извините, милый друг мой, если я немножко горячо вступилась за этих родителей, но вспомните, что у меня одиннадцать человек, и скажу Вам, что при всех одинаковых д о м а ш н и х условиях между ними нет двух сходных между собою. Но довольно об этом.

Отвечу Вам теперь на Ваш вопрос о драматической труппе, что в настоящее время нет никакой, кроме той, в которой производит фурор маленькая девочка Gemma (joyau *) Cuniberti, дочь содержателя труппы. Играют они в Teatro Salvini, бывший Loggi, но играют на тосканском наречии. Сейчас Юля мне сказала, что на-днях приехала труппа, которая играет на Teatro Rossini; а в Teatro Nuovo дают operas comiques, и очень хвалят одного певца; имени его я не помню. В Италии есть замечательная драматическая труппа Belloti Bon, в двух отделах. Эту труппу я очень люблю и всегда езжу смотреть, но теперь второй номер ее играет в Турине, а первый не знаю где. Как мне жаль, что прогулка в Cascine была так неудачна. Мы также были там в четвертом часу, под дождем. А вчера была великолепная лунная ночь. Мы были в городе; мне надо было Вашего хозяина. У него два Hôtel'я в городе, но ни в одном мы его не нашли. Я надеюсь, дорогой мой, что Вы не имеете никакого дела с хозяином, потому что это т о л ь к о мое дело и вдвойне его вести не следует. Вы спрашиваете, милый друг, люблю ли я здешний Duomo, — то нет, он мне совсем не нравится. Я бываю в сумасшедшем восторге от Миланского собора и св. Петра в Риме, а после их мне ужасно понравился собор в Пизе и в особенности Baptistère ** при нем же. Там такое замечательное эхо, что стоит за тысячу верст приехать послушать его. Вообразите, Петр Ильич, что на один данный звук Вы получаете в ответ целый септаккорд; это волшебно, восхитительно. Еще там Campo Santo очаровательно и кривая Campanile изумительна.

---

* драгоценность
** часовня для крещения

Не забудьте, друг мой, что сегодня представление «Il violino del diavolo». Если последует перемена, я пришлю Вам сказать. Напишите мне, желаете ли Вы, чтобы Пахульский принес скрипку завтра к Вам.

Теперь уже десять часов. Мой кофе простыл, пока я с Вами болтала. Скоро я Вам пришлю весьма интересные письма Екатерины II к Гримму[3]. Теперь мне их читают. У меня постоянным чтецом Пахульский; я сама не могу читать, у меня голова разбаливается.

До свидания, мой бесценный, хороший мой. Всею душою Ваша

Н. ф.-Мекк.

235. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
28 ноября/10 декабря 1878 г.
Вторник.

Вечер в P e r g o l a произвел на меня грустное впечатление. В каком глубоком упадке музыка в Италии! Какая банально пошлая и вместе полная претензий музыка! Какое непозволительно дурное исполнение со стороны оркестра и хоров. Последние по составу, как всегда в Италии, отличны, голоса сильные и свежие, но поют так же, как и играет оркестр, — все сплошь ff, без оттенков, площадно, глупо. Самая опера маэстро M e r c u r i балаганно нелепа и вместе с тем скучна. Наконец, и внешняя обстановка в высшей степени мизерная. Такие декорации в городе, где жили Рафаэль и Микель-Анджело, — это даже непонятно. Поведение публики возмутительно. Как ни плоха опера, но говорить во время музыки, на это только итальянцы способны. Единственное, что было хорошо, это игра Ferni. У ней много апломба, виртуозности, хотя вкуса мало и еще меньше той величавой простоты, с которой я привык слушать исполнение этой пьесы Вьетана. Ведь ее нередко играл когда-то Лауб и как играл!

С величайшим интересом прочел Ваше письмо. То, что Вы говорите об условности общественного отношения к добру и злу, вследствие которой один и тот же факт то является преступлением, то нимало не предосудительным поступком, смотря по тому, какого пола и возраста субъект и объект преступления, совершенно верно. Но, обращаясь к делу Жюжан, все-таки невольно приходится сетовать на родителей. Погиб умный, хороший юноша, которому, может быть, предстояла хорошая будущность, и погибель эту они могли предотвратить. Камня в них я бы не бросил, ибо вина их до некоторой степени невольная и, во всяком

случае, отрицательная, но я скорблю, что они поступили не так, как Вы в подобном случае. Еще я скажу по этому поводу, что Вы не совсем справедливы к обществу, говоря, что оно сваливает все на родителей, оправдывая Жюжан. Модест пишет мне, что все глубоко возмущены вердиктом присяжных. В том-то и дело, что у нас присяжные почти никогда не бывают представителями мнения общества, хотя это должно бы быть. Впрочем, Жюжан, во всяком случае, наказана, и бог знает, что лучше для нее: пойти в Сибирь и нести достойное наказание или, оставшись на свободе, быть предметом презрения и отвращения. Присяжные ее оправдали, но подозрение с нее не смыто, и жизнь ей предстоит ужасная, гораздо худшая той, которую ведут на каторге. Столкновения с людьми для нее невозможны, ибо и самый снисходительный и христиански добрый человек в глубине души никогда не простит ей того преступления, в коем она обвинялась и в которое общественный голос верит.

Сколько хлопот я приношу Вам, мой добрый друг! Как мне совестно, что Вы даете себе труд сами ездить искать синьора Bonciani. Нет конца Вашим одолжениям и заботам.

Ваш П. Чайковский.

236. Мекк — Чайковскому

1878 г. ноября 20. Флоренция.

Среда.
6 часов утра.

Драгоценный мой! С большим удовольствием вчера прочла Вашу критику Lalo и все в ней готова принять безропотно, но сравнение с Мусоргским меня огорчило чуть не до слез. Мусоргский мне просто противен, это даже не шарлатан, а музыкальный маньяк, фигляр, а Lalo такой изящный писатель, хотя и дикий, но мне эта дикость и нравится в нем, потому что она своеобразна и естественна, но вполне цивилизованна. Вы говорите, что концерт написан не по форме. Я это почувствовала по первому разу, как сыграла его, но мне-то и нравится, что ни на что не похоже. Вы говорите, милый друг, про одно сочетание звуков, что в восьмых оно вышло бы так, — но ведь он и не сделал его в восьмых, а в синкопах; это звучит совсем иначе. Одним словом, я сделала такой вывод из Вашего отзыва о Lalo, что Вы с л и ш к о м музыкант для того, чтобы он мог Вам нравиться. То ли дело, когда я не знаю ни формы, ни требований мелодии, ни правил гармонии, — мне то и хорошо, что нравится, а я люблю Lalo больше Bizet. Того музыка очень мила, изящна и свежа, но не оригинальна, а у Lalo она прежде всего оригинальна. Вы

говорите, друг мой, что его Andante — это «Berceuse» Chopin. Но, вероятно, она так изменяется гармонией, что в ней ухо совсем не узнает Chopin; я, по крайней мере, играя Lalo, совсем далека, от воспоминания о Chopin. Французы уверяют, что Lalo француз, но я им не верю. Я его считаю испанцем. Он уже человек лет сорока, женатый, и, кажется его жена певица в Париже. Я все-таки прошу Вас, мой добрый, милый друг мой, иметь терпение проиграть концерт Lalo и первую часть также. Мотивы ее очень певучи, пластичны, так сказать, и на фортепиано дурно передаются; для них необходима скрипка.

Тысячу благодарностей за желание доставить мне огромное удовольствие Вашей сюитою, бесценный друг мой, но мне совестно, чтобы Вы теряли Ваше дорогое время для меня, и потому прошу Вас убедительно [*окончание не сохранилось*].

237. Чайковский — Мекк

1878 г. ноября 29. Флоренция. Среда, $9^1/_2$ часов.

В пылу своего критического задора я действительно слишком резко отозвался о Lalo, и вчера меня целый день мучила совесть. Между Вашим и моим мнением нужно избрать середину, т. е. концерт Lalo — вещь очень талантливая и милая, но с далеко не безукоризненной техникой. А так как во мне все-таки упорно сидит профессор гармонии, двенадцать лет ежедневно поправляющий ошибки, то я более чем кто-либо чуток к этим ошибкам. Во всяком случае, я никогда не сравню Lalo с Мусоргским; только в некоторых подробностях он почти дошел до Мусоргского. Француз по природе своей не может дойти до тех геркулесовых столбов, которые доступны широкой и бесшабашной русской натуре.

Я отлично Вас видел вчера в театре, и нечего Вам говорить, как это было мне радостно, особенно в виду того, что еще накануне Вы были нездоровы [1]. Я сделал то же, что Вы, т. е. после второго акта уехал. Я сидел именно там, где меня Вы видели, как раз около труб и тромбонов, которым дела много в опере.

Я давно обратил внимание на Ваши чудесные бумажки, но, признаюсь, не решался думать, что это от руки [2]. Они великолепны. Дай бог, чтобы сегодня было так же хорошо, как вчера. Значительную часть дня вчера я просидел на террасе, устроенной на крыше виллы Bonciani. Чудный вид, и виллу Oppenheim видно.

А рукописи сюиты все еще нет. По этому случаю я вчера принялся за клавираусцуг, и пятая часть уже почти готова. Я

надеюсь здесь успеть сделать еще, по крайней мере, две части.

До свиданья, дорогая моя. Простите мне резкость к La.o.

П. Чайковский.

238. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
29 ноября/11 декабря 1878 г.
Среда.

Милый друг мой! Я сегодня был очень, очень порадован работой, которую сделал для меня Пахульский. Признаюсь, я даже не ожидал, чтобы он мог сразу вполне удачно удовлетворить всем моим требованиям. Р о н д о его оказалось вполне безупречной задачей. Отдельные части логически последовательно следуют одна за другой, ничего лишнего, все складно и ладно, а в этом-то и была вся цель задачи. Нет никакого сомнения, что у него есть чутье и инстинкт ф о р м ы, а это дается очень трудно тому, кто вступает на поприще сочинителя. Искусство, с которым он сумел исполнить вполне точно все, чего я потребовал от задачи, выказывает восприимчивость музыкального организма, которая служит очень хорошим предзнаменованием.

Я сегодня беспрестанно думал о том, как Вы должны страдать от холода. Какой ужасный день! Нет ничего бесполезнее, как сожалеть о чем-либо не сделанном, но я все-таки скажу, что Вам следовало нанять виллу не во Флоренции, а где-нибудь между Генуей и Ниццей. Флоренция удивительно хороша позже, в февравле. В прошлом году я имел счастье попасть как раз в лучшее для нее время года. Ведь главная Ваша цель, т. е. избегнуть холода, не достигнута. Все это я пишу на тот случай, что Вы и в будущем году проживете эту часть года не в России. Несомненно, что разница в климате между Флоренцией и R i v i e r a P o n e n t e огромна и что к Вашим требованиям всего лучше подходит та сторона. Извините, дорогая моя, что я навязываюсь Вам с советами и бесплодными сожалениями. Впрочем, в Вене Вы будете меньше страдать от холода; там в хороших отелях отопление отличное.

Я получил письмо от Модеста. Бедный мой повествователь повергнут в отчаяние. Л а р о ш, с которым он очень дружен и который в его глазах литературный авторитет, пристал к Модесту, чтобы он прочел ему повесть. Повесть была прочтена, и Ларош раскритиковал ее в пух и прах, так что Модест не хочет кончать. Я написал ему, чтобы он во что бы то ни стало кончил. И Ларош не отрицает в нем таланта, а что первый труд не вполне

удачен, так это неудивительно. Но ничего нет хуже, как поддаваться недоверию к себе и оставлять неоконченным хотя бы и относительно слабое сочинение. Со стороны Лароша это просто безжалостно и бестактно. Я не менее Лароша чувствовал многие недостатки Модестиной повести и в особенности растянутость. Но нужно было, сделавши замечание, все-таки поощрить. Но, будучи критиком по профессии, он счел долгом отщелкать бедного новичка. Меня это ужасно сердит.

А от Анатоля писем нет. Ах, друг мой, до какой степени верно все, что Вы мне сказали о нем в последний раз! Из письма Модеста я вижу, что он здоров и весел, следовательно, я все-таки спокоен на его счет.

Будьте здоровы, дорогая моя.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Я и забыл сказать про то, что концерт L a l o мы с Пахульским сыграли и что хотя я остаюсь при прежнем мнении (только сожалея об излишней резкости выражений), но, подобно Вам, начинаю, по мере ближайшего ознакомления, любить его. Ради его милых качеств я сегодня снисходительнее отнесся к недостаткам. Впрочем, это относится только к первой части. A n d a n t e мне вовсе не нравится, а финал, при исполнении с оркестром, должен иметь не мало юмора и пикантности. (Последнее слово очень противно, но как подыскать подходящее русское выражение?)

Клавираусцуг финала сюиты готов, но так как он написан партитурой и так как я не хочу посылать его Вам отдельно, то подожду, пока готовы будут одна или две другие части, которые все-таки придется сначала отдать переписать. Всего вероятнее, что я просто попрошу Пахульского отдать в Вене переписать мое маранье и оригинал послать к Юргенсону. Наученный горьким опытом симфонии, я хочу на этот раз, чтобы клавираусцуг был готов в одно время с партитурой, так чтобы ко времени исполнения сюиты он уже был напечатан.

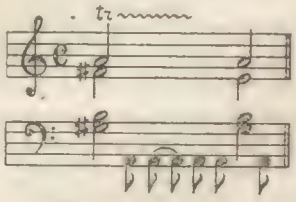
239. Мекк — Чайковскому

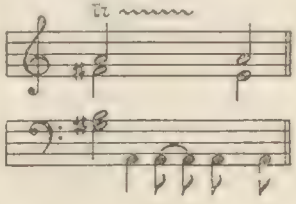
[Флоренция]
30 ноября 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Поздравляю Вас с зимою, мой милый, бесценный друг, хотя вовсе не радуюсь ей. Вид снега мне потому только и приятен, что напоминает мою милую Москву, но холод, при нем состоя-

щий, мне невыносим, и природа положительно имеет ко мне личности, она преследует меня своею зимою: я бежала от нее из Москвы в Италию, но и здесь не могу избавиться. Еще если бы у меня была здесь моя тройка и разукрашенные сани, то можно было бы подивить флорентийскую публику, проехавшись в них, а они так пусты и мелочны, что об этом написали бы в газетах. Ах, кстати, видели Вы англичанина на двенадцати лошадях?

Но это все болтовня, а вот я заметила сейчас дельное, это то, что я вчера по поводу Lalo возражала Вам совсем не на то, в чем Вы его обвиняли, и законы самолюбия требуют, чтобы я это поправила. Вчера у меня не было в руках концерта Lalo, и я не поняла того, что Вы говорили. Сегодня я взяла посмотреть и увидела, какую чушь я написала. Дело вот в чем. Signor Lalo обвиняется в нарушении правил благозвучия, приравнивающем его Мусоргскому и состоящем в следующем диссонансе:



которое, если сыграть восьмыми, то выйдет безобразие. Я совершенно согласна с тем, что если этот диссонанс повторить восемь раз, то это будет хуже Мусоргского, но в этом-то и состоит чувство меры у Lalo, что он не повторяет даже двух раз этого дикого сочетания (la и sol ♯). У него напечатано так:

тогда как Мусоргский,—на таком кушанье у него есть где-то sol ♮ sol ♯ —держит слушателя на трех тактах так, что тошно делается, не знаешь, куда деваться. Ну, теперь и довольно. Не думайте, мой бесценный, чтобы я имела претензию обратить Вас к Lalo. Не такой невежде в музыке, как я, и не с

таким музыкантом, как Вы, можно иметь такую претензию, а мне просто только по моему обожанию к Вам хотелось бы, чтобы и Вам нравилось все то же, что и мне, но я тут же сейчас понимаю, что это невозможно, что *Вы* и *я*—это свет и тьма.

Скажите мне, дорогой мой, довольны ли Вы Вашим староновым учеником, поддерживается ли надежда, что из него что-нибудь выйдет? Я Вам благодарна за него бесконечно.

Как ли ни холодно здесь, как ли ни неприветно, а мне все-таки не хочется уезжать отсюда: близость Вас — это неисчерпаемое блаженство для меня. Вставая утром, первая мысль есть о Вас, и в продолжение всего дня я не перестаю чувствовать Вашего присутствия; мне кажется, что оно носится в воздухе. Боже мой, как я люблю Вас и как счастлива, что узнала Вас! Вчера у нас было так холодно в комнатах, что мы даже кататься не ездили после обеда: неаппетитно было. Да, я и недосказала Вам, что собираюсь несколько отложить мой отъезд, т. е. уехать вместо 8-го 15-го или 16-го. Ведь Вы не уедете раньше меня, дорогой мой?

Посылаю Вам письма Екатерины, о которых я уже говорила Вам, милый друг мой. Я нахожу их очень интересными, потому что они проливают новый и весьма хороший свет на Екатерину. Газету также посылаю. Не хотите ли Вы, друг мой, читать других журналов? У меня есть «Дело», «Вестник Европы», «Отечественные записки» и «Русский вестник». Левисы пробудут у меня до нашего отъезда и тогда поедут в Рим на продолжительное время. Из Петербурга к праздникам приедут только Коля и Саша с братом Александром и гувернером-немцем. Беннигсены не приедут, потому что поедут на праздники в свое новое имение; оно очень забавляет их, и я очень этому рада.

Вот, кстати, еще к вопросу о воспитании детей вообще, а мальчиков в особенности. Вчера мне пишут из Петербурга, что англичанин, который дает уроки Коле и Саше и дежурит у них по воскресеньям, оказался таким негодяем, который внушает детям разные неприличные вещи. Его, конечно, сейчас прогонят, но доля вреда уже принесена. А как предупреждать такой вред, ведь без учителей и гувернанток нельзя обойтись! Вот и в том случае, о котором я Вам писала, бывшем у меня, соблазнительницею Коли явилась няня младших мальчиков, девица из Саксонии, лет тридцати и совсем некрасивая, которая жила у меня уже три года, и я вполне доверяла ей детей, потому что, по всем моим наблюдениям, она вела себя вполне хорошо, и к тому же она застала вначале Колю одиннадцатилетним ребенком, который был на руках у такой же няньки, как она, но француженки, и вот она, когда Коле минуло четыр-

надцать лет (он очень большого роста и сильно развит), вздумала соблазнять его. Но хорошо, что я узнала об этом очень скоро и разогнала их всех д о т о г о, что случилось бы что-нибудь дурное. Но у меня никогда сердце не с п о к о й н о за мальчиков. У себя в доме я постановила не брать м о л о д ы х не только нянек и гувернанток, но даже и горничных, и тем же обязала и Беннигсенов, и все-таки этого всего слишком мало.

До свидания, дорогой мой, хороший. Через два часа я буду проходить около Вашего жилища,— как это приятно! Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

240. Чайковский — Мекк

1878г. ноября 30. Флоренция. Четверг, утром.

Настоящая зима. Мне досадно за Вас, мой бедный, зябкий друг! Я не боюсь холода, на мои нервы он хорошо действует и в особенности очень благоприятно влияет на сон. Сейчас принимаюсь за переложение четвертой части.

Ваш П. Чайковский.

Алексей с этим письмом шел к Вам, но встретил Ив[ана] Ас[ильева] с Вашим. Я буду отвечать на Ваше письмо вечером, мой бесконечно милый друг.

241. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
30 ноября/12 декабря 1878 г.
Четверг, вечером.
Villa Bonciani.

Я очень рад, милый друг мой, что Вы несколько продлите свое пребывание здесь. Если позволите, и я останусь у Вас в гостях до дня Вашего отъезда. Я решился прямо отсюда поехать в Париж, во-первых, чтобы добыть то, что мне нужно, дабы приступить к опере, а во-вторых, чтобы послушать музыки. Если я найду возможным устроиться там в какой-нибудь тихой квартирке (а не в гостинице), то, может быть, проведу там недели три или около этого. Если же нет, то вероятнее всего отправлюсь оттуда в Clarens, а в самом начале весны в Россию. Что в Париже, как и во всяком большом городе, где нет ни родных, ни знакомых, можно работать, это я знаю по опыту, потому что в 1868 году я провел там три месяца и написал за это время большую часть моей первой оперы [1].

О Пахульском я уже писал Вам, но еще скажу, что успех, с которым он исполнил н е о б ы к н о в е н н о трудную за-

дачу, свидетельствует о весьма замечательном инстинктивном понимании музыкальной формы. Вы не поверите, до чего молодые люди, проведшие два или три года на гармонических и контрапунктических упражнениях, затрудняются, когда им в первый раз приходится думать уже не об одновременных комбинациях звуков, а об взаимном отношении тем и симметрическом их расположении. Прилежные, но мало способные ученики встречают тут камень преткновения, тут уж нельзя взять одним умом и прилежанием, тут необходимо ч у т ь е. И у кого его нет, тот дальше бесцельного и бесплодного, хотя для техники необходимого переливания из пустого в порожнее, которым занимаются в классах гармонии и контрапункта, не пойдет. Для меня теперь несомненно, что Пахульский п и с а т ь м о ж е т. Внесет ли он в свое творчество что-нибудь свое, это другой вопрос, на который теперь еще ответить нельзя. Это покажет время.

Рискуя быть обвиненным в упорстве, я все-таки возвращусь к Lalo. Мне очень хочется опровергнуть Ваш аргумент в пользу того места, о котором мы спорим. Если б концерт был написан с аккомпанементом фортепиано, то Вы до некоторой степени были бы правы. Звук фортепиано в сравнении с оркестром, так сказать, мертворожденный, и если для фортепиано написана целая нота, то, конечно, в конце такта о ней сохраняется лишь воспоминание. В оркестре не то. В то время когда г. Саразате будет выделывать свою трель на l a, оркестр будет держать целую ноту s o l ♯, причем этот последний будет в конце так же реален, как и в начале, в противоположность фортепиано. Впрочем, замечу, что я нападаю не на самую комбинацию этих двух звуков, — если порыться, то можно найти тысячу примеров, где она встретится, не оскорбив слуха, — а на то, что диссонанс этот не имеет никакого р а з р е ш е н и я. Диссонанс есть величайшая сила музыки: если б не было его, то музыка обречена была бы только на изображение вечного блаженства, тогда как нам всего дороже в музыке ее способность выражать наши страсти, наши муки. Консонирующие сочетания * бессильны, когда нужно тронуть, потрясти, взволновать, и поэтому диссонанс имеет капитальное значение, но нужно пользоваться им с уменьем, вкусом и искусством.

Когда мы спорим о чем-нибудь музыкальном, ради бога, не думайте, дорогой друг, что я становлюсь на пьедестал патентованного артиста и могу только в е щ а т ь, не унижаясь до выслушиванья мнений антагониста. Я, конечно, не нахожу

* Консонанс — слияние нескольких тонов в объединяющий созвук.

удовольствия слушать нахальную и невежественную болтовню о музыке людей, отрицающих в своей слепоте все, что выше их понимания, и решивших раз навсегда, что все, что не Оффенбах, есть у ч е н а я музыка, результат математических выкладок. Но спорить и толковать с Вами, т. е. с личностью, не только дорогой для меня по своим человеческим качествам, но по родственности наших музыкальных натур, мне в высшей степени приятно. Кроме того, скажу Вам, что я совсем не такой поклонник непогрешимости музыкантов-специалистов. Они очень часто односторонни. Их з н а н и е часто парализует их ч у т к о с т ь: следя за техникой, они часто упускают из виду самую сущность музыки. Такой любитель, как Вы, т. е. одаренный необычайною чуткостью и пониманием, есть собеседник, вполне достойный всякого самого тонкого и ученого музыканта. Поэтому, дорогая моя, никогда не стесняйтесь говорить мне все, что Вам вздумается, о музыке. Вы никогда не можете произнести какого-нибудь оскорбительного для моего профессорского достоинства суждения. Многие Ваши музыкальные характеристики замечательны, оригинальны и интересны. Например, скажу Вам, что никто так верно не определял, как Вы, музыкальную личность Антона Рубинштейна. Присяжные критики, вроде Ларош, поют ему вечный хвалебный гимн и никогда не указывают его настоящего места среди сочинителей. Очень часто мы с Вами не сходились во мнениях, например, хотя бы о М о ц а р т е. Но что же из этого следует? Есть множество очень авторитетных музыкантов по ремеслу, разделяющих Ваш взгляд на Моцарта.

Очень благодарен Вам за «Русский архив». Я не откажусь от «Русского вестника» и других свободных журнальных книжек. Благодарю Вас за материалы для чтения, мой бесконечно заботливый друг. С собою у меня, кроме «Жизни животных» Брэма, ничего нет, но какая славная эта книга Брэма! Я ужасно большой любитель животных и вчера с величайшим восторгом прочел его статью о собаках.

Ваш П. Чайковский [2].

242. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
1 декабря 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Что за чудный Вы человек! Что за сердце и доброта у Вас! С какою теплотою Вы можете относиться к человечеству, с каким участием к низшей братии! Эта фраза во вчерашнем

письме: «Я сегодня был очень, очень порадован работой, которую сделал для меня Пахульский» привела меня в такой восторг, что если бы Вы были здесь, я бы не выдержала, чтобы не броситься к Вам на шею и прижать Вас к самому сердцу. С какою искренностью, с какою мягкостью и теплотою Вы радуетесь успеху другого, совсем Вам чужого, даже мало знакомого человека; с каким неподдельным участием и снисходительностью Вы стараетесь поощрить на предстоящую ему дорогу! Такие люди, как Вы, рождаются на счастие другим, а сами им не пользуются, потому что на свете жить хорошо только эгоистам. Я не благодарю Вас на этот раз, потому что благодарить человека за то, что он такой славный, нельзя, — можно только удивляться ему, восхищаться им и любить без меры, как я это и делаю, мой дорогой, несравненный друг. Вот и меня Вы жалеете так искренно, что мне сразу стало тепло, прочевши Ваше письмо, и вообще, пока я их получаю, меня жалеть не надо. Вы не можете себе представить, какое это наслаждение для меня каждый день получать Ваше письмо. С тех пор как Вы приехали сюда, я сделалась равнодушнее ко многим весьма тяжелым неприятностям, которые это время так сыпают на меня. Когда мне больно и холодно от эгоизма, неблагодарности и бесчувственности других, я вспоминаю о Вас, и мне становится так тепло и так хорошо на сердце, что я все другое прощаю и забываю. С какою грустью я думаю, что это счастье продлится недолго, что через две недели надо уехать, а как было бы хорошо, если бы всегда было так. Я не жалею, что не нахожусь на Riviera Ponente, потому что здесь Вы, а я не знаю, были бы Вы там.

Меня также очень рассердил этот нахал Ларош. Вот если бы все люди поступали так, как Вы, с начинающими карьеру, никому не было бы горя, как бедному Модесту Ильичу, и таланты не затирались бы. Напишите ему, дорогой мой, чтобы он не слушал этих газетных болтунов и что никто не написал вполне хорошего, не написавши посредственного. Да и что за судья Ларош; пусть себе пишет свои остроумные музыкальные критики, а в деле общей литературы он некомпетентный судья.

Скажите мне, дорогой мой, откровенно, не мешают ли мои письма Вам заниматься, так как Вы именно занимаетесь в то время, когда я их присылаю, то тогда я буду их позже посылать. Завтра я напишу Вам только несколько слов, потому что у меня много лежит писем к ответу. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

243. *Чайковский — Мекк*

1878 г. декабря 1. Флоренция. Пятница. Утром.

С огромным наслаждением читаю письма Екатерины. Что за умная, пленительная женщина! Болтая так весело с Гриммом, она в то же время держала в страхе всю Европу.

Будьте здоровы.

244. *Чайковский — Мекк*

[Флоренция]
1/13 декабря 1878 г.
Пятница.

Буду писать Вам сегодня как можно короче, чтобы не вызвать Вас на ответ и не отвлечь от переписки с Россией. Ради бога, милый, добрый друг, не откладывайте из-за меня Ваших деловых и других многосложных письменных сношений.

Я только что из театра. Не буду говорить о спектакле подробно, так как Юлия и Лидия Карловны расскажут Вам о том, что происходило. Я остался очень доволен. Boltera в своем роде замечательное явление. Он не только отличный певец, но хороший актер в жанре буфф и, кроме того, играет на фортепиано и на скрипке с шутовством, но и с замечательною, небывалою для певца виртуозностью. Сюжет «Дон-Бучефало» очень забавен. Я очень много смеялся, особенно в сцене, где он сочиняет арию. Репетиция оперы тоже необыкновенно забавна.

Посылаю Вам «Онегина», приведенного в порядок.

Я до сих пор не получаю от Анатолия ни посылки, ни писем, из коих можно было бы узнать, в чем задержка. Если и завтра ничего не будет, я буду телеграфировать.

Спасибо Вам, бесценный друг мой, за выражение дружбы ко мне. Нет слов, чтобы выразить, до чего они мне дороги, как я счастлив, читая их! Я бы сказал, что не стою их, да не хочется употребить столь банальное выражение скромности. Лучше скажу, что люблю Вас всем сердцем, всей душой, всеми силами.

Ваш П. Чайковский.

Благодарю за книги и газеты.

245. *Мекк — Чайковскому*

[Флоренция]
2 декабря 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Вообразите, бесценный друг мой, что мне надо сегодня писать в Испанию, в Англию, в Швейцарию, в Смоленскую губернию и

в Москву; вследствие этого я пишу к Вам для того только, чтобы иметь право получить от Вас письмо, без которого мне было бы очень печально провести день. Как мне совестно перед Вами, дорогой мой, за журналы. Я сделала Вам предложение, не справившись вперед о возможности его исполнения, и по справке оказалось, что, так как журналов набралось уже очень много, их отослали все в Москву. Так уже извините, милый друг мой, что на этот раз ничего не посылаю, но на-днях должны притти ноябрьские книжки.

Ваш последний аргумент по поводу Lalo и его неразрешившегося (смешное выражение) диссонанса я совсем поняла и вполне убедилась им, милый друг мой. Да кого Вы не убедите! Ваша доброта, терпение и снисходительность действуют так благотворно, так приятно, что каждого человека Вы ставите tout à fait à son aise *, что, впрочем, м н е не мешает нисколько сознавать Ваше превосходство надо мною. До свидания, драгоценный мой. Всем сердцем Ваша

Н. ф.-Мекк.

246. Мекк — Чайковскому

10 часов утра.
Суббота.

1878 г. декабря 2. Флоренция.

Посланный мною к Вам Иван Васильев встретил Вашего Алешу и вернулся с ним, соображая, что может понадобиться ответ. Благодарю Вас еще и бесконечно, дорогой мой, милый друг, за «Евгения Онегина»; я буду хранить его как величайшую драгоценность. Мне совестно, что Вы доставляете себе еще беспокойство из-за меня. Пожалуйста, мой хороший, не лишайте меня Ваших писем из-за того, чтобы не принуждать меня к ответу. Я пишу к Вам потому, что приятно писать.

Вся Ваша Н. ф.-Мекк.

247. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
2/14 декабря 1878 г.
5 часов.
Villa Bonciani.

Милый друг мой! Оба утренние письма Ваши вместе со вложением я получил и принял с бесконечной благодарностью.

Я согласился на милое предложение Пахульского ради погоды, обещавшей быть особенно хорошей, отложить нашу

---

* [в такое положение, что] он не стесняется

музыкальную беседу на завтра и потом раскаивался, так как совершил прогулку очень неудачную, хотя и утомительную. Узнав из «Бедекера», что на Certosa можно попасть, взяв вправо от Poggio Imperiale, я отправился по этой дороге. Шел, шел, пока не пришел в какую-то находящуюся на значительной высоте деревню с церковью, называемую Pozzolatico. Тут какая-то нищенка до того неразборчиво разъяснила мне дальнейший путь, назвала столько различных местностей, что, не видя перед собой хотя бы вдали Certosa, я решился возвратиться, так как устал. Дорога все время была неинтересная и грязная.

Представьте, друг мой, что от Анатолия опять ни письма, ни посылки нет. Я начинаю и сердиться и беспокоиться и после обеда отправляюсь в город, чтобы телеграфировать. Собственно говоря, беспокоиться нечего, так как из писем Модеста видно, что он здоров. Тем не менее, я смущен и удивлен его необычным молчанием и неисполнением поручения.

С большим интересом прочел несколько статей «Русского архива». Одна из них навеяла на меня грусть. В статье о библиографе Соболевском [1] упоминается несколько раз князь Одоевский. Это одна из самых светлых личностей, с которыми меня сталкивала судьба. Он был олицетворением сердечной доброты, соединенной с огромным умом и всеобъемлющим знанием, между прочим, и музыки. Только читая эту статью, я вспомнил, что в будущем феврале исполнится десять лет со дня его смерти. А мне кажется, что еще так недавно я видел его благодушное и милое лицо! За четыре дня до смерти он был на концерте Музыкального общества, где исполнялась моя оркестровая фантазия «Fatum», очень слабая вещь. С каким благодушием он сообщил мне свои замечания в антракте! В консерватории хранятся тарелки*, подаренные им мне и им самим где-то отысканные. Он находил, что я обладаю уменьем кстати употреблять этот инструмент, но был недоволен самым инструментом. И вот чудный старичок пошел бродить по Москве отыскивать тарелки, которые и прислал мне при прелестном, хранящемся у меня письме [2]. Грустно и потому, что его нет, грустно и потому, что время летит так быстро. Мне вдруг показалось, что, в сущности, в эти десять лет я мало ушел вперед. Это я говорю, дорогой друг, не для того, чтобы вызвать с Вашей стороны уверения в противоположном, но дело в том, что как тогда, так и теперь я еще не удовлетворен самим собой. Я, например, не могу сказать про себя, что хоть

* Ударный инструмент.

одна из моих вещей есть безусловное совершенство, хотя бы самая маленькая! Во всякой я вижу все-таки не то, что я могу сделать. А может быть, это и хорошо! Может быть, это и есть стимул к деятельности. Кто знает, не потеряю ли я энергию к работе, когда, наконец, останусь безусловно доволен собой! Все это я говорю так, к слову. Не отвечайте мне на это. Ведь я отлично знаю, что, несмотря на мои несовершенства, Вы все-таки всегда будете своим сочувствием ободрять и поддерживать меня. Правда и то, что я теперь привык сочиняя всегда иметь Вас в виду. Когда выходит что-нибудь удачное, мне так отрадно думать, что это Вам понравится, что Вы отзоветесь на мою мысль! Ну, словом, я не написал бы, мне кажется, ни единой строчки, если б у меня не было в виду, что кто что́ бы ни говорил, а мой друг все-таки услышит и поймет, что я хотел сказать.

Заметили ли Вы маленькую музыкальную заметочку Дюбюка в «Московских ведомостях»? [3]. Она довольно знаменательна. Дюбюк уже несколько лет дуется и фрондирует против Рубинштейна. Но неприличный тон, с которым московская пресса (за исключением «Московских ведомостей») принялась говорить о Рубинштейне, даже и его задел за живое. Все это может кончиться очень грустно. Рубинштейн серьезно начинает помышлять об оставлении консерватории и Москвы. Об этом мне по секрету сообщает Юргенсон, и потому прошу Вас, друг мой, оставить это между нами. Когда Рубинштейн уйдет, тогда с пеной у рта нападающие на него борзописцы увидят, чего Москва лишилась, ибо, несмотря на все свои недостатки, это все-таки человек, положивший всю свою железную энергию на служение музыке в Москве. Он принес громадную и неизмеримую пользу русскому искусству. Весьма жаль, что, стоя на такой высоте и зная, что ни один порядочный человек не сочувствует газетным нападкам на него, он имеет слабость обижаться этими ругательствами. Но правда и то, что теперь эта злоба на него проявляется с таким упорством и наглостью, что и в самом деле терпение может лопнуть. У нас нет середины. Прежде Н[иколай] Гр[игорьевич] был лицом, которому в газетах расточались только безусловные похвалы. Теперь, наоборот, все накинулись на него с рвением, достойным лучшей цели.

10 часов.

Ходил в город и телеграфировал Анатолию. А знаете, друг мой, что если рукопись пропала, то это будет мне ужасно досадно. Второй раз сочинить одно и то же нельзя. Я

помню главные мысли, но это будет уже не то. Покойной ночи Вам, милый и добрый друг.

Ваш П. Чайковский.

248. Чайковский — Мекк

1878 г. декабря 2. Флоренция.

Очень может быть, что по случаю очень хорошего дня Вам хочется прокатиться и Пахульский Вам нужен. Если «да», то попрошу его притти завтра. Пожалуйста, дорогой друг, не стесняйтесь из-за меня и не отказывайте себе ради урока в прогулке. Ведь ни он, ни я ничего не потеряем от того, что урок будет перенесен на завтра.

Ваш П. Чайковский.

249. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
3 декабря 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Простите мне, мой милый, добрый друг, что вчера я сделала беспорядок в Ваших занятиях с Пахульским, но погода была так хороша, когда мы вышли гулять, мне так захотелось куда-нибудь проехаться, что я решилась просить Вас нарушить порядок, тем более, что я думала, что и Вам будет кстати воспользоваться хорошею погодою. Я хотела проехаться за город, чтобы сойти из экипажа и полюбоваться видом на Флоренцию, и вдвоем мне с Юлею поехать было бы неудобно, а просить Федора Федоровича нас сопровождать мне не хотелось, потому что он только что на этих днях объезжал все окрестности Флоренции, а я не люблю принимать услуг и жертв от своих зятей, а так как Пахульский по своему назначению у меня постоянно служит нам кавалером, то и понадобилось взять его. Сегодня погода неприятного вида. По Вашему отзыву о представлении в Teatro Nuovo я очень жалею, что не была. Скажите, друг мой, Вы сидели в ложе? Мне говорила Юля, возвратясь, что в одной ложе сидел господин, о котором она непременно сказала бы, что это были Вы, если бы могла думать, что Вы были в театре, то угадала ли она Вас? Письма Екатерины есть еще в одном нумере, и я очень тороплюсь дочитать их, чтобы скорее Вам послать. Но как Вы скоро читаете, мой дорогой, Вы просто поглощаете одно сочинение за другим, и это непостижимо. Вы так много сочиняете, так много читаете, и на все Вам время хватает, оно у Вас точно эластичнее.

В понедельник будет первый концерт Филармонического общества. Я пришлю Вам билет, милый друг мой, но так как его можно получить только в понедельник, то я тогда и пришлю его. Я думаю, что мы не будем в этом концерте. До свидания, мой дорогой. Всею душой Ваша

Н. ф.-Мекк.

Прилагаю программу концерта. Заметили Вы, друг мой, что Ларош начинает писать в «Московских ведомостях»? [1]. Да, скажите, дорогой мой, какая есть самая первая Ваша опера: «Воевода» или другая? И верно, что «Воевода» давался на сцене? Сколько Вам было лет, когда Вы начали писать, должно быть, двадцать пять или двадцать шесть? [*Очевидно, конец в копии не сохранился.*]

250. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
3/15 декабря 1878 г.
Воскресенье, 8 часов.
Villa Bonciani.

Прежде всего отвечу на Ваши вопросы.

1) В театре N u o v o я сидел как раз под ложей, где были Ваши, следовательно, Юлия Карловна приняла за меня когонибудь другого. Я же хорошо видел Ваших, ибо в антрактах выходил в партер. A propos, это самый чистенький и хорошенький театрик из всех мною виденных в Италии.

2) Ларош уже много лет сотрудничает в «Московских ведомостях», но пишет редко. Его рецензентская карьера началась у Каткова большой статьей о Глинке в «Русском вестнике» [1], и потом до переезда в Петербург он долго был там музыкальным рецензентом. Со времени переезда в Петербург он пишет только изредка.

3) Про которую жену Лароша Вы спрашиваете, друг мой? [2]. Известно ли Вам, что он женился во второй раз в 1876 году? Первая его жена умерла в 1875 году, в мае. Теперешняя его жива и живет вместе с ним в Петербурге.

4) Первая моя опера есть «В о е в о д а». Она написана на либретто Островского, очень плохо составленное. Музыка в общем чрезвычайно слабая, и я уже лет семь назад предал партитуру сожжению. Она была поставлена в конце января 1869 года в Москве и была дана около десяти раз. Из нее сохранились только танцы [3].

5) Настоящим образом писать я начал двадцати пяти лет, и первое мое сочинение, исполненное публично, была кантата

на текст оды Шиллера. Она была исполнена на публичном акте Петербургской консерватории, под управлением А. Рубинштейна, во дворце в. кн. Елены Павловны, в декабре 1865 года [3]. Вслед за этим я переехал в Москву, и в марте 1866 года на концерте Н[иколая] Г[ригорьевича] игралась моя увертюра, о которой я, кажется, однажды Вам писал, рассказывая историю моих отношений к Рубинштейну [5].

Вы замечаете, милый друг, что я очень быстро читаю. Это совершенно верно, но это недостаток, одно из проявлений моей нервности. Я все делаю с лихорадочною поспешностью, как будто боясь, что отнимут занимающую меня книгу, ноты или бумагу, на которой пишу. Но спешность эта отражается как на читаемом мной, так и на сочиняемом. Я забываю очень скоро прочитанное, так что моя начитанность не идет мне впрок. Я прямая противоположность Ларош в этом отношении. Он читает не так скоро, но зато с большим выбором и сохраняя все прочитанное в памяти. Память у него феноменальная. Это ходячая библиотека: он все знает, обо всем имеет основательное понятие. На сочиняемом спешность тоже отражается нередко.

За билет в концерт благодарю Вас от души, мой милый друг. Но зачем Вы беспокоитесь посылать за ним? Ведь я могу взять без всяких затруднений при входе. Если Вы еще не посылали, то не трудитесь, дорогой мой друг.

Я нарочно посылаю это письмо с вечера, чтобы Вы не трудились посылать за билетом, тем более, что я еще не решил, пойду ли. Если давно ожидаемая рукопись придет наконец, то я соблазнюсь и засижусь. Впрочем, классический концерт в Италии — это курьезно. Я велел Алеше уйти, не дожидаясь ответа, дабы Вы не писали вечером.

Ваш П. Чайковский.

251. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
4 декабря [1878 г.]
Понедельник, вечером.
Villa Bonciani.

Представьте, дорогой друг, что я не попал в классический концерт. Виною этому погода. Она была так хороша (хотя и холодная), что я загулялся. Сначала отправился на площадь М.-Анджело, потом в San Miniato, оттуда по какой-то тропинке вышел на Via Giramontino и, когда вернулся домой и вспомнил о концерте, то было уже три часа. Но я не особенно сожалею об этом: какой-то тайный голос говорит мне, что это была пародия на

классическую музыку. Остальное время, до захода солнца, я провел на крыше нашей виллы, откуда вид бесподобный.

Вы спрашиваете, был ли я в Santa Croce [1]. Был, и не один раз. Вообще я осмотрел во Флоренции все, что выдается, и все замечательные церкви мне известны. В Boboli, Bellosguardo и Certosa я тоже был. Оттого-то я и могу спокойно заниматься во Флоренции, что моя туристская совесть спокойна. В Риме, где я был в первый раз один день, а во второй, в прошлом году, три или четыре дня, я почти ничего хорошенько не рассмотрел. В Неаполе я был раз и провел неделю, но в самую ужасную погоду, так что и там видел мало. Поэтому в обоих этих городах мне бы неудобно было теперь быть, ибо я приехал за границу не для того, чтобы осматривать достопримечательности, а чтобы заниматься, быв вполне застрахованным от всяких посещений, вроде тех, которые в Петербурге отравляли мне жизнь. Условия жизни, в которых я нахожусь здесь, во всех отношениях для меня идеальные, и я давно так не наслаждался, как все это время. Villa Bonciani оставит во мне на всю жизнь самое теплое и сладкое воспоминание. Как я Вам благодарен, друг мой, за этот чудный месяц! Концерт Godard'a я проиграл не без удовольствия. Он несколькими чинами ниже Lalo, но при его крайней молодости еще нельзя сказать ничего решительного. Мне, как и Вам чрезвычайно нравится физиономия Massenet. Что-то тонкое, породистое, нервное, артистическое есть у него в лице, и все это вместе очень привлекательно. Лицо Lalo преисполнено bonhomie *, но лишено прелести.

Кстати по поводу лиц. Ошибаюсь я или нет? Мне кажется, что Соня Ваша—прелестная девочка и обещает быть очень хорошенькой барышней.

Я знал, что Вы занимаетесь польским языком, но только теперь, из письма Вашего узнал причину этого. Если я не ошибаюсь, язык этот очень нетруден. Высокого ли Вы понятия о Мицкевиче как поэте и личности? В «Русской старине», кажется, прошлого года была напечатана переписка польского историка Лелевеля с Булгариным [2], очень интересная в отношении курьезных литературных нравов той эпохи.

Первое мое напечатанное сочинение были три пьесы, носящие название «Souvenir de Hapsal». Это издание Юргенсона. Второе—танцы из оперы «Воевода» в четыре руки. Известны ли Вам эти две вещи? Когда-нибудь в России

* добродушия

я попрошу Вас прислать мне список имеющихся у Вас моих вещей и все недостающее Вам доставлю. Пусть у Вас будет совершенно полная коллекция моих (впрочем, вовсе не столь многочисленных, как многие думают) писаний. При этом я Вам доставлю, милый друг мой, и такие вещи, которые никогда не были напечатаны по различным причинам.

Не помню, писал ли я Вам, что вчера получил письмо от Анатолия. Из него я вижу, что рукопись моя отослана еще в прошлый вторник, 21-го числа. На телеграмму ответа нет. Что все это означает, не понимаю. Просто, я думаю, беспорядок на итальянских почтах.

До свиданья, бесценный друг. После обеда пойду в город и, если есть хороший спектакль, пойду в театр.

Ваш П. Чайковский.

Сегодня минуло две недели моему пребыванию здесь.

252. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
5 декабря 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Я вчера, так же как и Вы, милый друг мой, соблазнилась погодою и поехала после завтрака с младшими детьми (так как Юлю у меня теперь совсем отняли Левисы) в сад Torigiani, где мы прогуляли очень долго. Вернувшись, я еще играла в крокет,—я очень люблю эту игру. После обеда, в начале шестого часа, мы поехали по обыкновению кататься на San Miniato. У Вас было совсем темно, только где-то в углублении, как будто в Вашей уборной, виделся свет. Я думаю также, что мы ничего не потеряли, не бывши в классическом концерте. Я ожидаю много от музыки в Вене. Это очень музыкальный город, там гораздо больше и гораздо лучшую музыку можно слышать, чем в Париже.

Вы не поверите, мой бесценный, как я счастлива, что Вы довольны Вашим пребыванием у Bonciani, и как бы мне хотелось всегда заботиться о Вас и доставлять Вам всякие удобства жизни.

На вопрос Ваш о Соне, милый друг мой, я скажу, что по общим понятиям о красоте она, вероятно, будет красивенькая барышня. Она очень беленькая, нежненькая, совсем блондинка, волосы даже с рыжим оттенком, и при этом глаза карие и с такими длинными и пушистыми ресницами, что они совсем покрывают глаза, когда она опускает их. Но я предпочитаю Милочкино личико. Она в противоположность Соне смуглая

брюнетка, как цыганка, но у нее такие ласковые, заглядывающие в душу черные глазки, что ее все хочется ц е л о в а т ь, ц е л о в а т ь, как в Вашем романсе, друг мой, на перевод Мицкевича [1]. Соня к тому же, к сожалению, под влиянием всех француженок и немок, которые ее постоянно окружают, о ч е н ь уже знает цену красоте; ей 10 сентября минуло одиннадцать лет, и она в этом возрасте гораздо больше кокетка, чем ее сестры были и есть в двадцать пять лет. Это меня очень огорчает, но я одна ничего не могу против этого сделать, «о д и н в поле не воин»,— надо, чтобы все общество исправилось от пошлости и пустоты. Соня и Милочка обе не обижены от природы умом, но у Сони ее ум постоянно принимает пустое направление, а Милочка гораздо серьезнее, хотя шалунья ужаснейшая. Ее часто одевают мальчиком, вот она и щеголяет en gamin *; может быть, поэтому и шалит много, но так, что единственное слово, которое мой француз умеет говорить по-русски, это «Милочка — ш а л ю н я». Этим французом я очень довольна как гувернером. Он человек образованный и очень милого характера, но по общим свойствам и занятиям своим он такой смешной, такая баба, что я так жду, что он примется чулки вязать. Ему, как юной девице, ничего нельзя поручить, потому что у него нехватит храбрости исполнить, а человек, обросший черною бородою и усами: он лицом немного напоминает Гамбетту.

Очень, очень Вам благодарна, дорогой мой, за желание пополнить мне собрание Ваших сочинений. Из «Souvenir de Hapsal» у меня есть, кажется, один номер, «Les ruines d'un château»; это прелестная картина, соединенная с воспоминанием. Я вижу в ней сперва изображение неподвижных таинственных руин, любуясь на которые человек переходит к воспоминаниям того времени, когда в замке этом пировали рыцари, когда он загорался огнями, оживлялся веселым шумом, был переполнен кипучею жизнью и весельем... а теперь стоит мертвым, молчаливым (опять первая тема). Ах, как это хорошо; меня всегда восхищает эта живая, так сказать, осязательная картина. Затем у меня есть много фортепианных сочинений и все оркестровки и вокальные сочинения позднейшего времени. Я в особенности хотела бы иметь те из Ваших сочинений, которые Вы называете слабыми. Скажите, дорогой мой, разве Вы в р а г п р о г р а м м н о й м у з ы к и, как говорит об Вас Ларош [2], и что строго называется п р о г р а м м н о ю музыкою? По-моему, всякая музыка есть программная, и иной нет, потому что, например,

* мальчишкой

симфонии имеют программу, увертюры тем более, оперы уже конечно. Я знаю бетховенские сонаты, из которых одна изображает движение колеса, а другая—ссору мужа с женою. Так что же есть непрограммная музыка? Камерная? Квартеты, квинтеты, концерты? Просветите меня, милый друг мой, а то уже я совсем запуталась и думаю, что р о д а программной музыки не существует, а п р о г р а м м н а я есть только та, которой автор дал какую-нибудь программу.

Вы спрашиваете, друг мой, моего мнения о Мицкевиче, то как о п о э т е я об нем чрезвычайно высокого понятия. Это был такой великий, вдохновенный талант, подобного которому я не знаю. Он напоминает римских импровизаторов, которых венчали в капитолии. Но как человека я его не люблю и считаю его виновником и причиною многих заблуждений и вредных увлечений польской молодежи. Историка Лелевеля я также считаю замечательно умным, образованным и неподкупным человеком, но, во-первых, как русская я его терпеть не могу, и, во-вторых, как польского патриота я считаю его нанесшим огромный вред своему отечеству своими крайними понятиями, резкими суждениями, неразборчивыми средствами. В теперешнее время он был бы причислен к социал-демократам, а я этого народа терпеть не могу. Я читала переписку Лелевеля с Булгариным. Этот, второй, был негодяй. Но есть две личности в польской истории, которые мне чрезвычайно симпатичны, это Косцюшко и Хлопицкий, бывший некоторое время диктатором Польши в 1830 году. Это были не р е в о л ю ц и о н е р ы, как те другие, а п а т р и о т ы, и притом Хлопицкий—что за благородная, великодушная натура, настоящая славянская.

У нас очень трудно иметь что-нибудь для чтения по польской истории или библиографии — совсем нет сочинений; на русском их не писали, а на польском они запрещены. Я теперь выписала из Парижа «Histoire de la Pologne» на французском языке, но польского автора, имя его не помню. Она у нас также запрещена.

Я в ужасном беспокойстве за н а ш у сюиту, милый друг мой, Скажите, не послал ли ее Анатолий Ильич вместе с папиросами, которые он имел для Вас заказать? Если да, то это очень плохо, потому что папиросы, которые попадают в Австрию, или пропадают совсем или доходят через три-четыре месяца, и это было бы ужасно. Если Вы не знаете, как послал их Анатолий Ильич, то спросите его телеграммою, друг мой, и если он послал их с папиросами, то вам лучше поехать в Вену, чтобы выручить эту посылку, иначе она пропадет, сохрани бог.

Я так увлекаюсь писаньем к Вам, что прерываю его только тогда, когда почувствую, что голова у меня горит как в огне, как и в эту минуту. Поэтому до свидания, драгоценный мой. Всем сердцем ваша

Н. Ф.-Мекк.

P. S. Забыла Вам ответить, что для русского польский язык, конечно, не труден. Все спряжения и склонения очень сходны, конструкция языка почти та же, есть только превращения букв при перемене числа, которые я никак не могла усвоить себе, хотя имела отличное руководство, грамматику Орда на французском языке, парижское издание. Но я на слух справляюсь с этою вещью.

253. Чайковский — Мекк

[Флоренция,]
5/17 декабря 1878 г.
$4^1/_2$ часа.
Villa Bonciani.

Милый друг мой! Посылаю Вам телеграмму, из которой Вы усмотрите, что если рукопись и сильно запоздала, то, по крайней мере, цела. И то слава богу! Но почему так вышло, этого я до получения объяснений, обещанных Анатолием, не пойму. Вы знаете, что я очень не люблю приниматься за новую работу, когда еще не готова прежняя. Однакож, ввиду нескорого прибытия посылки и крайне неблагоприятной погоды, я сегодня просидел все утро и все время после завтрака, до той минуты, что сел писать Вам, за новой работой. Со страхом, с волнением и не без робости я принялся за оперу!.. [1].

Теперь буду по порядку отвечать на Ваши вопросы.

1) Очень многие из моих вещей я отношу к разряду слабых. Иные из них (меньшая часть) напечатана, другая (большая) не напечатана[2]. Эти последние или вовсе не существуют, как, например, оперы «Воевода» и «Ундина» (никогда не дававшаяся, написанная в 1869 году), симфоническая фантазия «Fatum», торжественная увертюра на датский гимн, кантата, — или же существуют, и вот эти-то сохранившиеся ради полноты коллекции я Вам со временем достану. Они очень слабы, но найдутся кое-какие эпизоды, кое-какие подробности, которые мне жаль бы считать навеки исчезнувшими, и потому я постараюсь их собрать, и пусть, с Вашего позволения, они хранятся у Вас.

2) Ларош не называет меня врагом программной музыки, но он находит, что я к ней неспособен, и потому говорит, что я антипрограммный композитор. Он при всяком удобном случае,

всегда, отзываясь обо мне; жалеет, что я часто пишу симфонические вещи с программой.

3) Что такое программная музыка? Так как мы с Вами не признаем музыки, которая состояла бы из бесцельной игры в звуки, то, с нашей широкой точки зрения, всякая музыка есть программная. Но в тесном смысле под этим выражением разумеется такая симфоническая или вообще инструментальная музыка, которая иллюстрирует известный предлагаемый публике в программе сюжет и носит название этого сюжета. Выдумал программную музыку Бетховен, и именно отчасти в Героической симфонии, но еще решительнее в Шестой пасторальной. Настоящим же основателем программной музыки следует считать Берлиоза, у которого каждое сочинение не только носит известный заголовок, но и снабжено подробным изъяснением, которое должно находиться в руках слушателя во время исполнения. Ларош вообще против программы. Он находит, что композиторы должны предоставлять слушателям иллюстрировать, как им угодно, исполняемое произведение, что программа стесняет их свободу, что музыка неспособна на изображение конкретных явлений физического и нравственного мира, что программа низводит ее с доступной ей одной высоты до других, низших искусств и т. д. Тем не менее, он ставит высоко Берлиоза и доказывает, что это было исключительное дарование и что хотя музыка его может служить образцом, но тем не менее программы излишни. Если Вы хотите, друг мой, знать мой взгляд на это, то я вкратце изложу его Вам.

Я нахожу, что вдохновение композитора-симфониста может быть двоякое: субъективное и объективное. В первом случае он выражает в своей музыке свои ощущения радости, страдания, словом, подобно лирическому поэту, изливает, так сказать, свою собственную душу. В этом случае программа не только ненужна, но она невозможна. Но другое дело, когда музыкант, читая поэтическое произведение или пораженный картиной природы, хочет выразить в музыкальной форме тот сюжет, который зажег в нем вдохновение. Тут программа необходима, и я нахожу, что Бетховен напрасно не приложил к тем сонатам, о которых Вы говорите, программы. Во всяком случае, с моей точки зрения, оба рода имеют совершенно одинаковые raison d'être*, и я не понимаю тех господ, которые признают исключительно только один из двух родов. Само собой разумеется, что не всякий сюжет годится для сим-

* права на существование

фонии, точно так же как не всякий годится для оперы, но программная музыка, тем не менее, может и должна быть, подобно тому как нельзя требовать, чтобы литература обошлась без эпического элемента и ограничилась бы одной лирикой.

Вчера вечером, после обеда, я ходил пешком в город с намерением пойти в какой-нибудь театр. Оказалось, что спектакль был только в театре Rossini, а так как театр этот плохой, по уверению Signore Hettore, то я возвратился домой, и тоже пешком. Когда Вы, проезжая мимо меня, не замечаете света, то это не оттого, что его в самом деле нет,— напротив, у меня в комнатах очень светло и уютно,— но Hettore перед обедом закрывает наглухо ставни, вследствие чего и кажется, что у меня темно. Каждый день в девять с половиной часов вечера я пью чай (удивительно вкусный) и после того тушу лампу в столовой. Затем перехожу в гостиную и сижу обыкновенно до часу ночи, читая, играя, мечтая, вспоминая и т. д.

Все, что Вы мне пишете про Ваших двух младших девочек, я предчувствовал, судя по лицам. Милочка симпатичнее, но Соня замечательно хорошенькая и, видимо, сознающая это.

Модест пишет мне, что сестра с двумя старшими (из коих самая старшая, Таня, несмотря на необычайно доброе сердце и замечательный природный ум, страдает тем же недостатком, какой у Сони) приехала в Петербург. Она, бедная, очень тоскует по своим младшим, оставшимся в Каменке под надзором отца и теток. Но что делать? Таня такая натура, что невозможно ее оставлять всегда в деревне; она чувствует такую неугомонную потребность людей посмотреть и себя показать, что томить ее нельзя, а без сестры как бы она могла пожить, хоть недолго, в столице? Заметили ли Вы, друг мой, что в последней присланной мне сегодня книжке «Русского архива» есть письмо Давыдова к гр. Самойлову, где идет речь о Каменке? [3].

Иду обедать. После обеда, если есть малейшая возможность, пойду погулять. Будьте здоровы, бесценный друг!

Ваш П. Чайковский[4].

254. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
6 декабря 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Благодарю Вас очень, милый друг мой, за присылку мне телеграммы и весьма радуюсь, что наше дорогое детище не пропало, но вполне успокоюсь за него только тогда, когда буду

знать, что оно находится уже у Вас в руках. Удалось ли Вам вчера погулять после обеда? Погода была безотрадная, но мы все-таки ездили кататься до San Miniato, и у Вас опять, увы, было темно, но теперь уже я знаю почему это и не буду беспокоиться.

Это, конечно, превосходно, милый друг мой, что Вы принялись за оперу, только я немножко боюсь, что она так увлечет Вас, что Вы не захотите доканчивать сюиту. Сюжет оперы будет Jeanne d'Arc? Отчего Вы чувствуете страх и волнение, принимаясь за эту оперу? И это только при этой опере или было также при каждой? Дай Вам бог найти радость и удовлетворение в своей новой работе. Вчера мне пришла мысль, на которой я и остановилась, это после Вены поехать так на месяц или полтора в Париж. Я предполагаю это сделать в конце января нашего стиля. Вот было бы хорошо, дорогой мой, если бы Вы также немножко переставили Ваш маршрут, поехали бы теперь в Clarens, а к февралю в Париж. Тогда мы опять пожили бы вместе, хотя, конечно, в Париже чувствовали бы себя дальше друг от друга, потому что город огромный и многолюдный, а все-таки это было бы для меня наслаждением.

Знаете ли Вы, друг мой, что к здешнему рождеству приезжает в город Compagnia Belloti Bon № 2, о которой я Вам говорила. В ней есть замечательная артистка, Pia Marchi, и Вы съездите посмотреть их, милый друг мой. Кажется, первое представление будет на самый день рождества, т. е. в будущую среду. Я вижу, что из этой труппы выбыли несколько человек великолепных артистов, но тем не менее одну Marchi стоит смотреть хоть каждый день. До свидания, бесценный мой. Всею душою Ваша

Н. ф.-Мекк.

P. S. Посылаю Вам, милый друг мой, папиросы трех сортов, для того чтобы Вы могли выбрать из них которые Вам больше нравятся и сообщить мне, чтобы я могла оставить Вам некоторый запас до прихода Ваших.

255. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
6/18 декабря 1878 г.
$5^1/_2$ часов.
Villa Bonciani.

Прежде всего скажу Вам, дорогой друг мой, что я с величайшим удовольствием прочел в Вашем письме, что Вы собираетесь в Париж в конце января. Я поступлю со своей стороны

так, как Вы мне советуете, только с той маленькой разницей, что все-таки поеду в Clarens через Париж и останусь там дня два или три. Видите, почему мне нужно. Я хочу во что бы то ни стало достать либретто оперы «Jeanne d'Arc», дававшейся пять лет тому назад в Париже. Музыка этой оперы, как оказывается, ненапечатана, но я почти уверен, что либретто напечатано и его можно достать. Если же и оно в продаже не имеется, то я достану себе копию с либретто, которое, как мне помнится из газетных отзывов, было превосходно составлено. Пока у меня не будет в руках этого либретто, я не могу вполне предаться своей работе. У меня покамест есть только драма Шиллера в переводе Жуковского. Очевидно, оперный текст не может быть основан строго по сценариуму Шиллера. В нем слишком много лиц, слишком много второстепенных эпизодов. Требуется переделка, а не только сокращение, поэтому мне и хочется знать, как поступил француз, всегда одаренный чутьем сцены. Кроме того, я хочу порыться в каталогах и достать целую маленькую библиотеку по части Jeanne d'Arc. Например, есть у Шиллера одна сцена, где Иоанна вступает в борьбу с Лионелем. Мне же, по некоторым соображениям, хотелось бы, чтобы вместо Лионеля тут был Монгомери. Можно ли это? Исторические ли эти лица? Чтобы все это узнать, нужно прочесть две-три книги. А покамест я взял прямо из Жуковского одну сцену, которая, во всяком случае, у меня должна быть, хотя бы я ее и не нашел у Mermet. Это именно та сцена, где король, архиепископы и рыцари признают в Иоанне посланницу свыше.

Итак, вот почему я все-таки съезжу в Париж, а потом с большим удовольствием готов ехать в Clarens, хорошенько там поработать, а после того, к февралю, приехать в Париж, который, разумеется, вдвое будет милее, роднее и приятнее для меня, потому что Вы там будете. Наконец, Вы этого желаете, и этого вполне достаточно, чтоб я желал искренно того же самого. После обеда вчера я ходил в город и был в телеграфном бюро, из коего послал поздравительную депешу Рубинштейну. Это ему доставит большое удовольствие, а мне так бы хотелось его, бедного, всячески утешить. Вообще с той минуты, как я вышел из-под его несколько тяжеловесной ферулы, я стал относиться к нему с гораздо большей симпатией. Кроме того, мне бесконечно жаль его, ибо я знаю, что он имеет слабость жестоко страдать от газетных ругательств.

Я только что из Cascine, где была огромная масса щегольских экипажей с франтами и франтихами. Американец с двенадцатью лошадьми не катался. Кстати, я имел невежество

не отвечать ни разу на Ваш вопрос, знаю ли я его. Знаю, и в прошлом году не только его много раз видел то с шестью, то с восьмью, то с десятью и т. д. лошадьми, но в наше пребывание случилось с ним трагическое происшествие, едва не стоившее ему жизни. Около Duomo он свалился и расшиб себе голову. После того он долго был болен. Какой странный маньяк!

Не бойтесь, дорогой друг, что опера помешает нашей сюите. Никоим образом. Я был бы не покоен и не мог бы как следует заняться оперой, если б не окончил сначала сюиты. Но мне очень досадно, что она запоздала.

Тысячу благодарностей за папиросы. Из них бостанжогловские мне нравятся больше всего. Но теперь мне больше никаких не нужно, ибо запас еще есть, а там придут и заказанные Анатолием. Какая Вы бесконечно добрая! Спасибо Вам, дорогая моя.

Ваш П.Чайковский[1].

256. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
7 декабря 1878 г.
8 часов утра.
Villa Oppenheim.

Мой милый, безгранично любимый друг! Не знаю, как и выразить Вам мою радость и благодарность за то, что вы опять готовы изменить ваш проект для меня, но только меня уже начинает мучить совесть, я думаю, не слишком ли уже я злоупотребляю вашею готовностью всегда сделать мне добро. Написала вам свое желание без всякой надежды на его исполнение с вашей стороны, и вдруг вы опять готовы меня баловать, но мне так совестно, что, несмотря на то, что мне этого ужасно хочется, я прошу вас, мой милый, добрый друг, если вам будет хоть немножко неудобно, не приезжайте в Париж к февралю. К тому, я очень боюсь вот чего: я за исполнение своих проектов никогда не могу поручиться, и я боюсь доставить Вам какое-нибудь расстройство и неудобство, если Вы не поживете теперь в Париже, а мне нельзя будет приехать к февралю. Поэтому еще раз прошу Вас, мой бесценный друг, сделайте так, чтобы для Вас не произошло никакого неудобства.

Посылаю Вам, милый друг мой, ту книжку «Отечественных записок», которая уже была у Вас, но где Вы, вероятно, не

прочли рассказы Додэ[1]; но это так хорошо, такие прелестные эскизы, полные поэзии, живости, типичной верности, что их стоит прочесть. Между ними заметьте, друг мой, «Старички», — ну, это такое представление, которое прямо просится под кисть художника как жанровая картинка.

Я вчера хотела, но потом забыла поздравить Вас с именинами нашего общего друга Ник[олая] Григ[орьевича]. Мне его также очень жаль, и если бы я могла, то готова была бы много сделать, чтобы удержать его в Москве в Музыкальном обществе и в консерватории. А знаете, друг мой, я думаю, он теперь скажет, что и Вас я погубила, потому что он, конечно, знает Ваш адрес и от моего брата легко может узнать и мой, и, сопоставляя их, он со своею подозрительностью придет к гениальному открытию, что это *я* Вас подстрекнула бросить консерваторию и что я Вас гублю. Я также часто бываю в своем роде козлом отпущения, но все-таки Ник[олая] Григ[орьевича] в известной его деятельности я очень люблю и очень почитаю, а это все недостатки, хотя нельзя сказать — мелкие, но все же свойственные человеческой натуре вообще и при крупных заслугах, какие он имеет, вполне извиняемые.

Теперь я, дорогой мой, денька два не буду Вам писать и прошу Вас сделать то же самое, иначе мне было бы совестно получать Ваши письма. А не буду я писать потому, что это время я так много получала писем и до того много писала сама, что у меня в глазах точно песок насыпан, и необходимо дать им отдохнуть.

Вчера, когда Вы были в Cascine, я наслаждалась Вашею музыкою. Мои дочери под мой аккомпанемент пели Ваш дуэт из «Евгения Онегина»: «Слыхали ль Вы». Что за прелесть этот дуэт, сколько в нем нежной грации, мечтательности, — восхитительно! Потом пели следующие Ваши романсы: «О, спой же ту песню!», Мазурку на слова Мицкевича, Молитву на слова Толстого (это до того хорошо, что я не могу слушать, не ощущая дрожь по всему телу) и «Вечер». Вы приводите в восторг с различными ощущениями. Да, еще пели одну из арий Натальи в «Опричнике», от которой я также с ума схожу.

Сегодня я замышляю съездить в Boboli, если погода не разрушит этого намерения; а начало дня некрасиво. Напишите мне, дорогой мой, до какого времени приблизительно Вы предполагаете пробыть здесь. Всею душою Ваша

Н. ф.-Мекк.

257. Чайковский — Мекк

1878 г. декабря 7—8 (?). Флоренция.

Друг мой! Я в совершенном восторге от присланной Вами книги [1]. Мне не только в высшей степени интересно, но и в высшей степени полезно будет просмотреть эту чудную книгу. Если позволите, я продержу ее до Вашего отъезда. Не знаю, как и благодарить Вас! Я сегодня целый день писал и очень доволен собой.

Ваш П. Чайковский.

Сейчас принимаюсь за чтение.

258. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
8/20 декабря 1878 г.
Villa Bonciani.

Милый друг мой! В последние дни я по горло погрузился в свою работу, до того, что не замечаю, как время идет. Я в отличном настроении, и дело идет как по маслу, Завтра у меня будет вполне готова целая большая и капитальная по значению в ряду других сцена. Засим я остановлюсь и буду ждать нашу сюиту, а также читать чудную книгу, присланную Вами. Впрочем, оговорюсь: она чудная как издание, написана же она хотя и хорошо, но слишком очевидным намерением уверить читателя, что Иоанна и в самом деле водилась с архангелами, ангелами и святыми. Итак, хотя книга Wallon историческая, но с легким оттенком Четьи-Минеи. Тем не менее, я пожираю ее. В конце разбираются все литературные и музыкальные обработки сюжета, причем Шиллеру достается, а M-r Mermet (очень посредственный талант) осыпается похвалами. Тут же приложены два отрывка из его оперы, очень плохо ее рекомендующие. Особенно хор ангелов до-нельзя плох.

Я прочел с большим удовольствием рассказы Додэ, а также некоторые другие статьи последнего номера «Отечественных записок». Но все это стирается перед захватывающим интересом писем Екатерины, за которые я чрезвычайно благодарен Вам. Нельзя не удивляться гениальному чутью женщины, которая сумела предсказать Наполеона и вообще так верно отзываться о характере французов, вполне сказавшемся гораздо позже. Как жаль, что письма эти, вероятно, не были в виду у Tain'a, когда он писал свою «Les origines de la

прочли рассказы Додэ[1]; но это так хорошо, такие прелестные эскизы, полные поэзии, живости, типичной верности, что их стоит прочесть. Между ними заметьте, друг мой, «Старички», — ну, это такое представление, которое прямо просится под кисть художника как жанровая картинка.

Я вчера хотела, но потом забыла поздравить Вас с именинами нашего общего друга Ник[олая] Григ[орьевича]. Мне его также очень жаль, и если бы я могла, то готова была бы много сделать, чтобы удержать его в Москве в Музыкальном обществе и в консерватории. А знаете, друг мой, я думаю, он теперь скажет, что и Вас я погубила, потому что он, конечно, знает Ваш адрес и от моего брата легко может узнать и мой, и, сопоставляя их, он со своею подозрительностью придет к гениальному открытию, что это я Вас подстрекнула бросить консерваторию и что я Вас гублю. Я также часто бываю в своем роде козлом отпущения, но все-таки Ник[олая] Григ[орьевича] в известной его деятельности я очень люблю и очень почитаю, а это все недостатки, хотя нельзя сказать — мелкие, но все же свойственные человеческой натуре вообще и при крупных заслугах, какие он имеет, вполне извиняемые.

Теперь я, дорогой мой, денька два не буду Вам писать и прошу Вас сделать то же самое, иначе мне было бы совестно получать Ваши письма. А не буду я писать потому, что это время я так много получала писем и до того много писала сама, что у меня в глазах точно песок насыпан, и необходимо дать им отдохнуть.

Вчера, когда Вы были в Cascine, я наслаждалась Вашею музыкою. Мои дочери под мой аккомпанемент пели Ваш дуэт из «Евгения Онегина»: «Слыхали ль Вы». Что за прелесть этот дуэт, сколько в нем нежной грации, мечтательности, — восхитительно! Потом пели следующие Ваши романсы: «О, спой же ту песню!», Мазурку на слова Мицкевича, Молитву на слова Толстого (это до того хорошо, что я не могу слушать, не ощущая дрожь по всему телу) и «Вечер». Вы приводите в восторг с различными ощущениями. Да, еще пели одну из арий Натальи в «Опричнике», от которой я также с ума схожу.

Сегодня я замышляю съездить в Boboli, если погода не разрушит этого намерения; а начало дня некрасиво. Напишите мне, дорогой мой, до какого времени приблизительно Вы предполагаете пробыть здесь. Всею душою Ваша

Н. ф.-Мекк.

ватее одно другого, чтобы побольше стянуть с меня. От этого у меня сегодня даже голова болит. Но не стоит об этом говорить.

Как я рада, дорогой мой, что у Вас так успешно идет новая работа, а какова она будет, уж это я знаю сама. Пожалуйста, милый друг мой, оставьте совсем у себя книгу, которую я Вам послала, она мне не нужна.

Я не помню, писала ли я Вам, что я уезжаю в четверг. Имея такие неприятности от здешнего дворника, я не хочу его просить, чтобы он после нашего отъезда пустил Вас в дом, друг мой, поэтому если Вы захотите посмотреть виллу, то придите как претендент нанять ее, тогда он Вам все покажет.

Как жаль, что тепло ушло; как мне было хорошо в этом теплом воздухе. Вообразите, что третьего дня вечером было 14° тепла, — ведь это наслаждение. Это потому, что дул сирокко, или, как итальянцы его называют, широкко; они говорят, что этот ветер всегда приносит тепло и дождь. Первое понятно, потому что идет из Африки, а второе — очень жаль.

Очень рада, друг мой, что Вам доставляет удовольствие переписка Екатерины; мне также очень нравится эта женщина. Сегодня предполагаю съездить в Boboli, а потом в Cascine. Что сюита не пришла еще? Теперь напишу Вам последнее письмо здесь перед самым отъездом, т. е. в среду или в четверг. Как мне грустно расставаться с Вами, мой дорогой. Всем сердцем Вас любящая

Н. ф.-Мекк.

260. *Чайковский — Мекк*

1878 г. декабря 10. Флоренция.

Воскресенье утром.
Villa Bonciani.

Представьте, милый друг мой, что моя героиня, т. е. Иоанна д'Арк, виновница того, что вчера я себя чувствовал в ненормально возбужденном состоянии и провел скверную ночь. Во-первых, я был в каком-то настроении подавленности перед громадностью задачи. Во-вторых, несмотря на то, что я с большим успехом окончил начатую сцену, на душе у меня было непокойно. Это со мной всегда бывает, когда мне предстоит большая и увлекательная работа. Очень трудно объяснить это состояние. Хочется поскорее-поскорее писать и писать. Мысли приливают к голове так, что там уж им места нет, приходишь

в отчаяние перед человеческой немощью своей, с тоской думаешь о долгих днях, неделях и месяцах, которые нужны, чтобы все это сделать, обдумать, написать. Так хотелось бы вот тут, сейчас же, одним взмахом пера окончить все разом! Наконец, вечером в этом возбужденном состоянии я принялся за чтение Вашей книги, и, когда дошел до последних дней Иоанны, ее мучений, казни и предшествовавшей ей abjuration*, где силы ей изменили и она признала себя колдуньей, мне до того в лице ее стало жалко и больно за все человечество, что я почувствовал себя совершенно уничтоженным. О сне и думать было нечего. Под утро я выпил стакан вина, и это мне помогло: я заснул и встал сегодня с головною болью, но здоровый [1]. Простите за сообщение этих подробностей, но я ощущаю потребность высказаться перед Вами. Недаром артисты называют свои произведения детьми своими. Смешанное ощущение острой муки, испытываемое при этом, и наслаждения в самом деле может сравниться с муками деторождения, среди которых и страдают и в то же время радостно ожидают свое дитя.

Сегодня день чудный, и я намерен посвятить его исключительно гулянью, чтобы отдохнуть и набраться сил. Нельзя жаловаться на здешнюю зиму. После двух-трех дурных дней она всегда дает в награду такие дни, как сегодня.

Возвращаюсь к книге Wallon. Теперь, прочитавши ее всю, я должен Вам сказать откровенно, что это вещь очень слабая, если исключить превосходное, роскошное издание и бездну интересных facsimile. Вместо того, чтобы постараться объяснить нам все величие факта, героинею которого является девятнадцатилетняя девушка, естественным образом, г. Wallon тщится доказать, что Иоанна в самом деле ежедневно разговаривала с архангелом Михаилом и другими небесными силами и что она говорила и поступала под наитием святого духа. Но тогда отчего же эта могущественная протекция не извлекла ее из когтей инквизиции? В начале процесса Иоанна постоянно говорила, что эти защитники освободят ее из тюрьмы, и даже назначала сроки. Ничего этого не сбылось, и г. Wallon решительно не дает нам объяснения, почему за все ее великие дела архангел Михаил и другие ниспослали ей в награду тюрьму и костер.

Письмо это пишется опять-таки не для того, чтобы вызвать письмо от Вас, мой дорогой и милый друг. Буду терпеливо ожидать, пока Вы хорошенько дадите отдохнуть глазам своим. Будьте здоровы!

Ваш П. Чайковский.

---

* отречения

261. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
11/23 декабря 1878 г.
Villa Bonciani.

Вы не поверите, друг мой, до чего меня злит и возмущает притеснение, причиняемое Вам цербером г. Оппенгейма. Мне досадно, что эта глупая история омрачит Ваши воспоминания о здешней жизни. Случаи, подобные этому, всегда заставляют живо почувствовать себя чужим на ч у ж б и н е, среди людей, которых как ни ласкай, а они все-таки смотрят на тебя как на пришельца, с которого чем больше сдерешь, тем лучше. Извините, что я навязываюсь Вам с советами, но мне кажется, что самое лучшее нанять туземных людей, исполнить его требование буквально и засим уехать, лишив его той щедрой награды, которую Вы не преминули бы дать этому негодяю, если б он был внимательнее к Вам.

Я очень приятно провел чудный вчерашний день. Утром был на мессе в S a n t a C r o c e (что за прелесть этот храм!), а после завтрака ездил в Bellosguardo и в Cascine, где очень долго гулял сначала по далеким аллеям по направлению к памятнику индийского раджи, а потом там, где катается б о м о н д; это довольно весело. Особенно приятно наблюдать за выражениями лиц катающихся, которые как бы совершают какое-то великое священнодействие, держат себя важно, чинно и стараются показать, что совершенно равнодушны к своей роскоши.

Юргенсон прислал мне обещанные ноты, а я их препровождаю к Вам. Позвольте мне, милый друг, возвратить Вам книгу о J e a n n e d' A r c. Я чрезвычайно благодарен Вам за этот подарок, но все-таки я попрошу Вас держать эту книгу у себя и по возможности в Браилове, где мне очень приятно будет встречаться с ней. Книга эта составит украшение для браиловской гостиной, а мне, странствующему номаду, не подобает обладать такою прелестью. Если я когда-нибудь прочно осную где-нибудь, в Москве или где бы то ни было, то тогда попрошу ее у Вас. Впрочем, если Вам неудобно ее возить с собой, то тогда, если хотите, я с удовольствием возьмусь довезти ее до России и Браилова. На всякий случай посылаю ее Вам и повторяю еще раз, что с величайшим удовольствием принимаю чудный подарок. Я еду в пятницу вечером.

Будьте здоровы, мой дорогой друг.

Ваш П. Чайковский.

262. Чайковский — Мекк

Флоренция,
12/24 декабря 1878 г.
Вторник.
Villa Bonciani.

Я опять начинаю беспокоиться и сердиться по случаю несчастной моей рукописи. Брат Анатолий в прошлый понедельник телеграфировал, что она выслана. Сегодня девятый день, а ее все нет! А между тем сколько часов проходит даром! Ужасно досадно.

Сегодня ровно три недели моему пребыванию в Villa Bonciani. Быстро пролетело время. Дни, проведенные здесь, останутся навсегда в моей памяти светлым воспоминанием. Я был здесь счастлив, покоен, на душе было светло и тепло и близость от моего лучшего милого друга сообщала всему окружающему какую-то особую прелесть. Хотя вследствие задержек с моей бедной рукописью я и не привел в исполнение своего плана уехать отсюда с готовою вполне сюитой, но зато я начал оперу и написал одну из капитальнейших сцен. Таким образом, я все-таки не праздно провел все это время и уеду не только с чудными воспоминаниями о своем милом уголке, но и со спокойною совестью.

Обратили ли Вы, друг мой, внимание на то, что в числе шести романсов моих один есть не что иное, как мелодия, присланная мною Вам в прошлом году в письме из Швейцарии, только слегка переделанная мной и принявшая форму вокального номера для комнаты и концерта. Музыку на «Любовь мертвеца» я написал вследствие того, что Вы однажды упоминали про это стихотворение в одном из писем Ваших. Романс этот я написал здесь, во Флоренции [1].

В ту минуту, как я пишу Вам, небо разъяснилось, и я хочу воспользоваться этим для прогулки.

После обеда.

Сейчас получил Ваше письмо [2], мой дорогой друг. Пожалуйста, не бойтесь критиковать «Любовь мертвеца», и когда Вы в близком будущем проиграете его, то скажите откровенно Ваше мнение. Неужели я могу иметь претензию писать всегда удачные вещи? Вы совершенно правы, говоря, что текст до того силен, что вряд ли музыка может достигнуть этой высоты, но я все-таки дерзнул. Простите.

Меня очень смущает, друг мой, что среди Ваших личных хлопот Вы еще берете на себя заботы обо мне. Что я Вам безгранично благодарен за все это, и говорить нечего. Но не сложите ли Вы на меня часть Ваших хлопот? Не нужно ли мне самому сходить к г. Bonciani и т. д.? Ради бога, не прибавляйте себе из-за меня утомления.

В следующем письме Вашем потрудитесь сказать мне, куда адресовать к Вам письма, т. е. в какой отель.

Я порывался писать Вам и вчера и сегодня утром, но боялся вызвать Вас на ответ и отвлечь от Ваших хлопот. До свиданья, дорогой друг. Спасибо за книгу.

Ваш П. Чайковский.

263. Мекк — Чайковскому

[Флоренция]
13/25 декабря 1878 г.
Villa Oppenheim.

Прощайте, мой милый, несравненный друг. Пишу Вам последний раз с Villa Oppenheim, из дорогого соседства Вашего. Я была бы очень счастлива, если бы еще когда-нибудь повторилось такое счастье. Благодарю Вас, дорогой мой, за все, все хорошее, доброе, что Вы мне доставляли здесь, и всегда буду вспоминать с восторгом время, проведенное так близко от Вас и в постоянном общении с Вами. Мне грустно, больно до слез, что счастье это кончилось, но я стараюсь утешать себя мыслью, что, быть может, когда-нибудь оно повторится.

Благодарю Вас также безгранично, мой бесподобный друг, за Вашу доброту и участие к моему protégé Пахульскому Вы сделали для него столько добра, сколько он никогда и ни в чем не мог бы приобрести. Я надеюсь, мой дорогой, что Вы закончите Ваше доброе дело указанием ему на будущее время чем заниматься, какой системы держаться и что преследовать исключительно. Не знаете ли Вы кого-нибудь, милый друг мой, в Вене, с кем бы он мог с пользою заниматься теориею музыки? Будьте так добры, мой драгоценный, напишите мне все это, а также и Ваше последнее мнение о его способностях. Я очень забочусь об нем, во-первых, потому, что мне это свойственно по натуре, во-вторых, потому, что страстно люблю музыку, и, в-третьих, потому, что хочу всячески п е р е д с о б о ю

опровергнуть то обвинение, что я г у б л ю музыканта. А так как, ко всему этому, я считаю его и с к л ю ч и т е л ь н о порядочным юношею, то я и хотела бы устроить ему хорошую будущность, которая для него вся заключается, конечно, в музыке.

Благодарю Вас от души, дорогой друг мой, за участие в моих хозяйственных неприятностях, и я бы сейчас же исполнила Ваш совет, но в том-то и беда, что это невозможно, потому что все перемещенные предметы до последнего дня моего отъезда необходимы мне на тех местах, на которых находятся теперь, так как это кровати и другие предметы спальных комнат. Но я сделала в том же роде, как Вы советовали: приказала спросить его, сколько надо заплатить за постановку вещей назад, и он назначил мне — как Вам это покажется? — шестьдесят lires! Это чтобы поставить несколько кроватей и комодов на свои места. Но, собственно, распоряжение об этом он получил от своего патрона, который написал ему, чтобы вещи были поставлены на свои места и что он не хочет истратить на это ни одного сантима, и это при том, что он взял с меня за т р и месяца по две тысячи lires в месяц, а я прожила неполных два, и сверх того насчитали мне за разбитую посуду двести lires, потому что ставили за все жидовские цены, и это делают такие люди которые стоят на самом первом плане в г. Флоренции. Вы, вероятно, имеете понятие о Фензи, здешнем банкире и сенаторе, которому поклоняются и которым г о р д и т с я вся Флоренция, — патриций нынешнего времени, так как настоящие вывелись. Так вот мой хозяин Оппенгейм, тоже банкир и жид, женат на дочери Фензи и от него получил в приданое нашу виллу с цербером Франческо, и я все сношения по найму имею с Фензи. Так вот какие люди делают какие дела!

Теперь, милый друг мой, позвольте мне поговорить немножко и о другом н а ш е м хозяйстве, у Бончиани. Я думаю, что может случиться, что прибытие н а ш е й сюиты задержит Вас здесь дольше, чем Вы предполагаете, то именно на этот случай я попрошу Вас, дорогой мой, докончить мои счеты с Бончиани и на этот предмет я прилагаю здесь двести lires. Ему уплачено все сполна до субботы включительно, а для того чтобы Вы видели, сколько ему следует платить в день и в неделю и для того чтобы он не мог вторично от Вас потребовать уплаты за все время, я прилагаю здесь все его счета с его расписками в получении уплаты (acquittés *).

Теперь второе. Быть может, будучи теперь в Париже, Вам

---

* оплаченные

вздумается там издать н а ш у сюиту, то и на этот предмет я прилагаю здесь две тысячи francs французскими бумажками, если же Вы все-таки захотите издать в Москве, у Юргенсона, то их легко перевести: и французские бумажки имеют курс золота.

Но теперь еще раз до свидания, мой милый, дорогой, несравненный друг. Не забывайте всем сердцем горячо и неизменно любящего вас друга

Н. ф.-Мекк.

Адрес мой: Vienne, Hôtel Metropole.

264. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
13/25 декабря 1878 г.
Villa Bonciani.

Дорогой и милый друг! Прежде всего благодарю Вас за все: и за чудесные дни, проведенные здесь и за все Ваши бесконечные заботы обо мне, и за теплое дружеское чувство, которое звучит в каждом Вашем слове. Вы — источник и моего материального и моего нравственного благосостояния, и моей благодарности Вам нет пределов.

Сначала поговорю с Вами о моих хозяйственных делах. Я внимательно просмотрел счеты B o n c i a n i, и хотя можно было бы кое к чему придраться, например, к таким статьям, как «V o i t u r e s, b a g a g e s e t f a c h i n o»* и в особенности к c a l o r i f e r o**, который действовал крайне непоследовательно, т. е. то невероятно грел (особенно в первое время), то вовсе не приносил тепла, а между тем составил очень крупную сумму расхода, но так как уже все уплачено, то говорить об этом поздно. К тому же, в общем, я вполне доволен обстановкой, среди которой жил. Она превосходна.

Что касается присланных Вами денег на издание сюиты и на тот случай, что я здесь засижусь, то это в тысячный раз доказывает Вашу беспредельную доброту и щедрость, но я должен Вам откровенно сознаться, милый друг мой, что этих денег мне не нужно. У меня в настоящую минуту 2700 франков золотом, и этого более чем достаточно, чтобы пропутешествовать в Париж и отличнейшим, роскошнейшим образом прожить где бы то ни было до 1 февраля, т. е. до того времени, когда Вы пришлете мне обычную сумму, вполне обеспечивающую мне не только безбедное,

---

* «экипажи, багаж и носильщики»
** духовое отопление

но роскошное существование. На издание денег мне тоже не нужно, ибо я все-таки отдам сюиту Юргенсону и не только не заплачу ему ни копейки, но еще получу скромный гонорарий. На основании всего этого я надеюсь, что Вы простите мне, друг мой, что я решаюсь прислать Вам обратно сегодняшнюю сумму. Уверяю Вас, что, если б мне понадобились деньги сверх тех, которые я имею, я не задумался бы написать Вам об этом. Вообще я совсем не руководствуюсь в моих отношениях к Вам каким-нибудь ложным, условным деликатничаньем. Мне просто достаточно вполне того, что я уже имею благодаря Вам. Очень боюсь, чтобы Вы не рассердились на меня, но даю Вам честное слово, что мне не на что тратить так много денег, а в случае нужды я все равно обращусь к никогда не оскудевающей руке Вашей [1].

Теперь о Пахульском.

Из ближайшего ознакомления с ним я вынес то убеждение что это молодой человек, обладающий несомненными музыкальными способностями и большим рвением к делу. У него есть та совокупность условий музыкального сочинительства, которую можно назвать п о н и м а н и е м, и то смирение, которое ручается нам за его способность к совершенствованию и к труду. Но я скажу Вам прямо, что о с о б е н н о в ы д а ю щ е г о с я, с и л ь н о г о д а р о в а н и я признать в нем покамест я не успел. Это не такая индивидуальность, про которую с первого шага можно с уверенностью сказать, что ему стоит только работать, не лениться, и результаты будут крупные. Правда, что слабая фортепианная техника, непривычка, неуверенность всегда мешают скромному начинающему музыканту выказать свое дарование во всей своей силе. С другой стороны, большие или меньшие результаты, достигнутые зрелым музыкантом-композитором, зависят не только от силы таланта, но и от х а р а к т е р а. Мы на каждом шагу встречаемся с тем фактом, что юноша, подающий самые блестящие надежды, не удается потому, что нехватило выдержки, характера и веры в себя. Наоборот, нередко случается, что сила вдруг скажется там, где ее не предполагали, потому что неуменье т о в а р л и ц о м п о к а з а т ь мешало ей обнаружиться раньше. Следовательно, если я не могу поручиться за то, что Пахульский выйдет крупной музыкальной единицей, то никоим образом не могу также предсказать и противоположное. Учиться же ему во всяком случае необходимо, потому что только ученье укажет ему, ч т о́ о н м о ж е т и ч е г о н е м о ж е т. Вообще, милый друг мой, вся его будущность зависит от него или, лучше сказать, от его характера, и Вам решительно не следует беспокоиться и смущаться н а и в н ы м обвинением, что Вы его г у б и т е.

У Н[иколая] Г[ригорьевича] в этом отношении очень рутинный взгляд, основанный на мысли высказанной Гете в одном из его стихотворений («Wer nie sein Brot mit Tränen ass»[2]), что для художника необходимо пройти школу лишений и нищеты. А Мейербер, а Мендельсон, а Глинка, Пушкин, Лермонтов? Не голод и холод делают художников-творцов, а внутреннее побуждение к творчеству.

Если я не ошибаюсь, характер в Пахульском есть, есть та общечеловеческая порядочность, о коей Вы упоминаете, есть музыкальный талант во всяком случае. В результате мы, во всяком случае, получим в нем отличного музыканта. Если Вы найдете возможным, то я попросил бы Вас, друг мой, взять ему на то время, что Вы проживете в Вене, учителя, который прошел бы с ним фугу и канон. Это для него необходимо. Я же, со своей стороны, дам ему письмо к Доору, который рекомендует ему учителя. Во-первых, это будет полезно, а во-вторых, это даст ему возможность при возвращении в консерваторию выдержать экзамен того класса, в котором он бы был, если бы оставался в Москве Я укажу ему, что, по моему мнению, ему следует вообще делать.

Простите, друг мой, я Вас обманул, обещавшись Вам доставить клавираусцуг нескольких частей сюиты, но я не виноват в этом. У меня две последние готовы, но мне их отдельно не хочется посылать Вам. Нужно бы, по крайней мере, еще Andante, а его все нет и нет! Все это я пришлю Вам в Вену.

Благодарю Вас за билет. Непременно буду в театре.

До свиданья, милый, добрый друг! Никогда не забуду нашего житья на милой Viale dei Colli. Будьте здоровы.

Ваш П. Чайковский.

P. S. Адрес мой покамест: Paris, poste restante, но я попрошу Вас дождаться, пока я не напишу Вам определенного адреса.

265. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
14/26 декабря 1878 г.
Villa Bonciani.

Не могу удержаться, чтоб не написать еще хотя несколько слов Вам, милый друг мой.

Мне очень понравилась труппа Bellotti Bon. Marchi действительно прекрасная актриса. Не менее ее понравилась

мне та, которая играла ее дочь. Вообще женщины хороши в этой труппе, но мужчины, за исключением комика, исполнявшего роль Дуки, показались мне все очень плохими, а главное, непрезентабельными, что составляет громадный недостаток, когда играется пьеса, в которой, кроме графов, маркизов и герцогов, ничего нет. Уверяю Вас, что мой Гектор мог бы с большим правом взять на себя роль аристократа. Пьеса до крайности слаба. Очень жаль, что мы напали как раз на такую. Мне кажется, что здесь было мало простора для такой актрисы, как Marchi. В антракте между первым и вторым действием я наслаждался — знаете кем? — Милочкой. Она так восхитительно, безумолку болтала с Вами! Должно быть, то, что она говорила Вам, было необыкновенно забавно и мило. Вы совершенно справедливо сказали про нее, что ее личико с его прелестным выражением напрашивается на поцелуи, и мысленно она получила их от меня целое множество. Я не знаю в мире ничего прелестнее, как личико милого ребенка. Только вчера я вполне хорошо рассмотрел эту маленькую особу и вполне оценил ее необычайную прелесть. При случае передайте ей, друг мой, что у нее есть большой поклонник и почитатель в моем лице [1].

Приехавши в Вену, Вы будете прежде всего устраиваться, потом приедут Ваши мальчики с Александром Филаретовичем, потом наступят праздники, и Вам часто придется выезжать, чтобы веселить приезжих. Все это, очевидно, будет до такой степени занимать Ваше время, что писать письма времени Вам нехватит. Поэтому, милый друг, пожалуйста, не смущайтесь моими письмами и не торопитесь отвечать на них. Ваше молчание мне будет совершенно понятно. Напишите мне из Вены, когда Вы вполне устроитесь и когда для переписки хватит свободного времени. Буду терпеливо ждать.

Тоскливая погода усугубляет мое грустное настроение, а грустно потому, что Вы уезжаете, потому, что кончается житье мое на милой вилле Bonciani, вблизи Вас, вдали от всякой суеты. Рукописи все нет, хотя обещанные объяснения Анатоля я получил. Они очень неудовлетворительны. Если и завтра она не придет, я, вероятно, останусь до субботы.

Книги возвращаю, но боюсь, что поздно и что Вам уложить их некуда. В таком случае я могу довезти их до России. Я не жду ответа. Попрошу Вас только, друг мой, решить вопрос с книгами, и если Вам их взять некуда, то Алексей принесет их назад. Будьте здоровы. Доброго пути желаю Вам, бесценный друг мой.

Ваш П. Чайковский.

266. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
15/27 декабря 1878 г.
12½ часов ночи.
Villa Bonciani.

Необыкновенно грустный день! Вы не можете себе представить, дорогой, чудный друг, до чего с Вашим отъездом здесь стало невыносимо грустно. Мне так горько было озаглавить это письмо виллой Bonciani и знать, что оно уже не пойдет в Вашу виллу, а в Вену. Viale dei Colli сделалась невыразимо пуста, скучна, потому что Вас нет. Признаюсь Вам, что я даже не ожидал, чтоб до такой степени с отъездом Вашим жизнь моя здесь утратила всякий смысл, уже не говоря о прелести, а между тем я не мог сегодня уехать, чтобы поскорее переменой места и движением сбросить с себя охватившую меня грусть[1]. Посылка все-таки не пришла. Это немало тоже способствовало к ухудшению состояния моего духа. Что мне делать? Это начинает походить на какую-то насмешку. Я решился подождать до завтра утром, и если ее опять не будет, я уеду, оставивши свой адрес Гектору и почтальону.

Погода дурная: целый день, с краткими перерывами, шел дождь. Я только что возвратился из театра. Давали очень забавную пьесу «Bébé», перевод с французского, но опять-таки я нашел весь мужской персонал очень слабым. Они все очень пересаливали комические положения. Удовольствия было мало, и мне было грустно сидеть в театре, где еще третьего дня я Вас видел. Возвращаясь назад и проезжая мимо виллы Оппенгейма, я с невыразимой грустью посмотрел на Ваше покинутое жилище. А утром сегодня как странно было не увидеть в двенадцатом часу сначала милую собаку, всегда являвшуюся предвестницей Вашего появления, потом детей, потом, наконец, Вас самих! Пока Вы здесь были, я привык смотреть на Viale dei Colli как на нераздельную принадлежность Вашу и мою. Теперь она сделалась чужой. Я не пойду на Вашу виллу. Во-первых, все переставлено и, следовательно, утратило свою притягательную силу, во-вторых, я боюсь оппенгеймского цербера, и его сопровождение по вилле парализовало бы всякое удовольствие.

От скуки я сегодня пытался заняться — как бы Вы думали чем? — стихотворством и начал сочинять стихотворение, мысль которого уже давно сидела у меня в голове. Увы! кропать стихи для меня во сто раз труднее, чем написать самую сложную фугу! Тем не менее, я хочу непременно докончить эти стихи и пришлю их Вам. Не правда ли, дикая мысль убивать время стихокро-

пательством? Да и вообще у б и в а т ь в р е м я — такое непривычное и непривлекательное для меня занятие! Вы теперь в Триесте и спите. Покойной ночи Вам, дорогая моя. Я дождусь двенадцати часов утра, чтобы написать Вам, пришла ли наконец посылка. До свиданья.

П. Чайковский.

267. Чайковский — Мекк

[Флоренция]
16/28 декабря 1878 г.
Суббота.

Посылки нет! Я решаюсь уехать, в надежде, что если судьба будет ко мне благосклонна, то рукопись моя доедет, наконец, и до Парижа.

Я получил письмо от Юргенсона, в котором он сообщает мне музыкальные известия Москвы. В последнем концерте имел большой успех голландский виолончелист Гольман [1]. 6 декабря должны были итти, в виде обычного ежегодного сюрприза, полтора действия моего «О н е г и н а», но по болезни певицы, исполняющей роль Татьяны, представление отложено до сегодня, 16-го [2]. Юргенсон слышал, что певица эта, сверх всякого ожидания, оказалась очень хороша и на репетициях приводила всех в изумление: никто не ожидал этого. Мужчины, и в особенности Ленский, плохи. Рубинштейн в разговоре с Юргенсоном отозвался об «Онегине» очень восторженно и сказал, что это лучшая моя вещь [3].

Погода и сегодня грустная, но это даже меня радует, так переход от итальянского климата к скверному парижскому будет менее чувствителен. Следующее письмо буду Вам писать уже из Парижа.

До свиданья, дорогой друг. Желаю Вам поскорее устроиться и дождаться Ваших мальчиков.

Ваш П. Чайковский.

268. Чайковский — Мекк

Париж,
18/30 декабря 1878 г.

Дорогой мой друг! Сегодня утром я приехал сюда. Путешествие совершилось с совершенно идеальным комфортом. Не знаю, случалось ли мне говорить Вам, что я страдаю болезнью, кото-

рую немцы называют железнодорожной лихорадкой. Уже за несколько дней до предстоящей поездки я всегда суечусь, беспокоюсь, и все это оттого, что мне ненавистно путешествие в набитом вагоне, с людьми, которые или смотрят прямо в лицо Вам или вступают в разговор. Я никогда ничего не жалею, чтобы добиться возможности ехать без посторонних. На этот раз я ехал от Флоренции до Турина в купе вдвоем с Алексеем, а от Турина до Парижа в превосходном sleeping car*. Прощание с Villa Bonciani было довольно трогательное. Г ктор и другие, состоящие при ней, провожали меня с необычайною сердечностью. Уезжать из места, где хорошо жилось, всегда грустно, и у меня при отъезде на сердце было жутко. Но так как, чтобы вполне оценить счастливую эпоху жизни, нужно всегда несколько отдалиться от нее, то только теперь я вполне начинаю понимать, до какой степени неизгладимо приятные следы оставит в моей памяти этот чудесный месяц, проведенный вблизи Вас и среди такой подходящей для моего нрава обстановки. Я не могу без навертывающихся на глаза слез вспомнить о Viale dei Colli. Париж я очень люблю, но как здесь шумно, какая суета! Правда, что по случаю приближающегося Нового года и тысячи расставленных по бульварам лавчонок с é t r e n n e s** оживление на улицах удвоенное. После той тишины, в которой я жил в вилле Bonciani, меня поражают и даже несколько пугают эти несметные толпы экипажей и пешеходов. Погода весьма неблагоприятная. В Италии, недалеко за Флоренцией, поезд наш вступил в область мороза и снега до такой степени, что ночью мне едва доставало шубы. Но переехавши Модену, мы очутились среди туманной и дождливой оттепели, весьма противной и на каждом шагу приносящей мелкий дождик.

Я останусь здесь несколько дней, во всяком случае не более недели, и поеду отсюда в C l a r e n s, где с удовольствием проживу до 1 февраля. Итак, милый друг, адрес мой теперь будет прежний (Clarens, Villa R i c h e l i e u). Мне очень, очень любопытно узнать, как Вы доехали, как устроились, здоровы ли, и если Вы мне пришлете сюда телеграмму с весточкой о себе, то это мне доставит огромное удовольствие (R u e d e l a P a i x, H ô t e l d e H o l l a n d e).

Оперный спектакль сегодня очень неинтересный: дают провалившуюся оперу антипатичного для меня автора, Joncière, и поэтому я решился итти в какой-нибудь другой театр.

---

* спальном вагоне
** новогодними подарками

Ежеминутно думаю о Вас и вспоминаю Флоренцию. Будьте здоровы, бесценный друг.

Ваш П. Чайковский.

269. Чайковский — Мекк

Париж,
21 декабря 1878 г./2 января 1879 г.

Дорогой друг! Пишу Вам с стесненным сердцем, с тоскою и грустью на душе. Причина следующая. Передо мной опять восстал неожиданно убийственный призрак недавнего прошлого. Известная особа опять напоминает о себе. Сегодня я получил письмо от Анатолия. К нему явился какой-то таинственный господин, назвавший себя родственником известной особы. Он сообщил брату, что известная особа обратилась к адвокату и сама теперь хочет требовать развода. Он же, хотя и не облеченный доверенностью, пришел сказать брату, что, убедившись из прочитанных моих писем в моей честности, он пожелал окончить дело миром и желает узнать мои условия.

Право, можно с ума сойти от этого сумбура! То она решительно отказывается от всяких разговоров о разводе, то начинает дело и хочет заставить меня согласиться на то, что составляет самое живейшее мое желание. После краткого обдумания я написал Анатолию следующее. 1) Разговаривать об этом деле с лицом, не облеченным доверенностью, нечего, особенно когда это лицо, как пишет Анатолий, преклоняется перед добродетелями и умом известной особы. 2) На развод я согласен во всякую минуту, но переговоры об этом могу вести только с человеком, получившим ее формальную доверенность. 3) Денег никаких не дам, согласно с тем, что ей было сказано летом, т. е. ей был предложен развод и десять тысяч, а когда она отказалась, было сказано, что, в случае когда она впоследствии сама начнет дело, денег уже в моем распоряжении не будет. 4) Дело можно будет начать не тогда, когда она этого захочет, а когда я вернусь в Россию, возвращение же свое я никоим образом не могу ставить в зависимость от ее капризов. 5) Расходы на ведение дела готов принять на себя.

В сущности, следует радоваться, что известная особа наконец одумалась. Но нет никакой возможности предвидеть и знать, насколько это серьезно, не выкинет ли она какой-нибудь новой штуки. А кроме того, мне просто невыносимо тяжело опять вспомнить! От времени до времени я забываю всю эту

историю, и потом, когда призрак неожиданно опять восстанет, мне в первое время очень тяжко [1].

В субботу я решился ехать в Clarens. Хотя все эти дни я веду жизнь, богатую развлечениями, но мне жизнь без дела, в конце концов, всегда утомительна, и я бы уехал тотчас же, если б не хотелось подождать еще присылки рукописи из Флоренции, а по письмам вижу, что она должна быть там. Был три раза в театре, но музыки еще никакой не слышал. Сегодня иду в музыкальный фестиваль, где будут исполняться сочинения Deslibes, Massenet и Joncières.

О, как я жалею в эту минуту Viale dei Colli и свой тихий уголок! До свиданья, милый и добрый друг мой!

Ваш П. Чайковский.

270. Чайковский — Мекк

Париж.
22 декабря 1878 г. 3 января 1879 г.

Привыкши на нашей Viale dei Colli ежедневно сообщаться с Вами письменно, мне было очень скучно без известий о Вас, милый друг мой, и потому я несказанно обрадовался вчера телеграмме Вашей, но болезнь Ваша огорчает меня. Надеюсь, что в ту минуту, как я пишу это письмо, Вы уже поправились и проводите приятные часы в обществе давно не виданных петербургских гостей Ваших. Желаю от души, чтоб Вам было хорошо во всех отношениях.

Жизнь постоянно проходит в чередовании ряда хороших и ряда дурных дней. Во Флоренции мне было удивительно хорошо. Здесь, несмотря на то, что я ежедневно в театре и нахожусь в городе, который по случаю праздников кипит весельем, мне невесело. Грозный призрак, о котором я писал Вам вчера, еще раз промелькнул передо мной. Юргенсон получил от известной особы письмо, в котором она без всякого повода наносит ему целый ряд непостижимых оскорблений. Само собою разумеется, что она получила подобающий ответ, т. е. предупрежденный мною уже прежде Юргенсон просто отвечал ей, что впредь ее письма будут посылаться ей нераспечатанными. Все это, конечно, пустяки, но я вследствие свойственной мне впечатлительности грущу, тоскую и очень мало наслаждаюсь парижской веселостью.

Вчера произошел очень комический эпизод. После обеда я отправился в Hippodrome на музыкальный фестиваль. Оказалось, что вместо «Jeudi 9 Janvier» я прочел

«Jeudi 2 Janvier» * и ошибся на целую неделю. Вместо музыки пришлось наслаждаться зрелищем наездников и наездниц. Впрочем, мне очень понравилось чудесное колоссальное здание гипподрома и его электрическое освещение. Освещалась ли при Вас Avenue de l'Opéra электрическим светом? Я прихожу в восторг каждый раз, как прохожу мимо этой улицы. Из всех театральных представлений, на которых я присутствовал, больше всего мне понравился спектакль в «Comédie Française», где давали две пьесы Мольера и «Andromaque» Расина. Все это было превосходно исполнено. Большое удовольствие я испытал также в «Gymnase», где дается очень милая новая пьеса, «L'âge ingrat». Сегодня пойду в оперу. Дают «Полиевкта» Гуно.

Погода стоит очень теплая. Вечером посетители кафе сидят на открытом воздухе. Я очень люблю после театра усесться за столиком где-нибудь в уголке и следить за снующими толпами народа. К сожалению, все эти удовольствия имеют цену, когда днем что-нибудь было сделано. Фланировать несколько дней сряду без всякого дела à la longue надоедает. Мне кажется, что я мог бы очень приятно прожить месяц или два в Париже, но занимаясь днем и вознаграждая себя вечерней прогулкой за трудовые часы. Поэтому я очень буду рад приехать сюда опять, но теперь с большим удовольствием еду в свою виллу Richelieu на берегу чудного Лемана. Я напишу еще раз Вам отсюда.

До свиданья, милый, чудный, добрый друг. Сердечно благодарю Вас за телеграмму.

Ваш П. Чайковский.

271. Мекк — Чайковскому

Вена,
24 декабря 1878 г.
Настоящий, наш сочельник.

Никто на свете не доставляет мне столько радости, столько удовольствия, как Вы, мой милый, мой дорогой друг. Мне было ужасно грустно расстаться с Вами и лишиться возможности так часто получать Ваши письма, и, приехавши в Вену, я думала уже на другой день: вот если бы я получила письмо, как бы было хорошо — но сама себя уговаривала, что невозможно же так скоро получить его, и вдруг на следующий за тем день мне подают письмо от Вас. Боже мой, как я обрадовалась. Мне показалось,

* «Четверг; 9 января»... «Четверг, 2 января»

что я на Villa Oppenheim, что мы не расставались, что письмо принес Алексей, что мне надо послать Вам газеты, и все, все, что было так невыразимо приятно на Viale dei Colli. Благодарю Вас еще бесконечно, безгранично, мой несравненный, хороший друг. Это было такое время, лучше которого и представить себе нельзя.

Простите мне, мой дорогой, что я только теперь пишу Вам, но мне поездка в Вену не повезла. Во-первых, в дороге было ужасно холодно. Мы также около Болоньи нашли такую зиму, как у нас в России бывает, с сугробами снега, с метелью, холодом, но только без теплых вагонов,— кладут под ноги грелки, которые, конечно, очень полезны, но за ночь выстывают, и тогда становится очень холодно. К Триесту зима все делалась легче, и в самом городе внешняя температура была очень теплая, но в комнатах 8—9° тепла. В Триесте мы съездили осмотреть большой пароход австрийского Lloyd'a и проехались по городу, а вечером, в половине одиннадцатого, уехали опять, взявши там уже австрийские вагоны. В том вагоне, который заняла я с дочерьми, была затоплена печка. Мне это не понравилось, потому что она была железная, но делать было нечего, и вообразите, что только что мы отъехали от станции, как наш вагон наполнился дымом и начинает что-то гореть. Можете себе представить мой испуг. Мы одни, женщины, я с дочерьми и две горничных, но мы собираем всю воду, какая у нас была, и принимаемся тушить пожар, при этом стучим зонтиками в окно другого нашего вагона, в окно к Пахульскому; тот не слышит за стуком вагона. Это были очень томительные минуты, но, к счастью, он наконец услышал, стал кричать кондуктору, что здесь пожар; тот явился с истопником, и тут же сейчас приехали в Nabresin'у, но мы до того, конечно, водою остановили пожар. Но все-таки в Nabresin'е мы перешли в другой вагон, где и улеглись спать. Но, приехавши в Вену, я почувствовала простуду, лихорадку, головную боль и проч. и уже не могла никак писать в таком состоянии. Теперь немного мне лучше, хотя все еще голова так дурна, что Вы увидите это из первого листка, мой милый друг, который я взяла не тою стороною, за что прошу еще меня извинить. Вчера приехали мои мальчики в пять часов утра, потому что их поезд из Петербурга также опоздал без всякой причины, и они должны были ночевать в Варшаве. Я очень рада их приезду. Вчера уже принялись готовить все для елки, и сегодня она должна состояться, при общем нетерпении всей моей публики. Помещение я нашла здесь для себя вполне приготовленным и очень мило устроенным моим здешним большим приятелем, директором Hôtel Métropole. Он очень светский, изящный и любезный джентльмен, говорит

со мною не иначе, как на Excellence *, так что Милочка, увидав его на станции, куда он приехал меня встретить, указывает мне: «Maman, voilà Excellence» **. Так что я должна была ей сделать внушение, что он может обидеться за это. Так вот этот милый человек приготовил мне двадцать комнат в один ряд и устроил мое отделение очень мило и берет с меня очень умеренно, а именно за помещение две тысячи florins в месяц и за еду, т. е. обед и завтрак, по четыре гульдена в день с особы. Чай, кофе, освещение и дрова я имею на свой счет. Я очень довольна своим устройством здесь, но скучно только то, что я не могу выходить из комнаты, но это, бог даст, скоро пройдет.

Как мне жаль Вас, мой дорогой, бедный друг, что Вас опять тревожат старые раны, но только мне кажется очень хорошим симптомом то, что о н а заговаривает теперь о разводе, — быть может, это и приведет к нему. Дай-то бог. Мне тогда станет спокойнее на душе, когда я буду знать Вас вполне свободным, а в теперешнем положении она, конечно, не будет Вам давать покоя. Я думаю, что мне не надо повторять Вам, мой дорогой, что если для этого нужны будут средства, то, конечно, мои к Вашим услугам, а я только напомню Вам Ваше недавнее обещание, мой бесценный, в случае надобности в них в с е г д а обращаться ко мне. Прошу Вас только, милый друг мой, не огорчаться никакими ее выходками: ведь она сама не ведает, что творит. Надо уж на нее рукой махнуть и стараться только от нее б е з в о з в р а т н о отделаться.

Сейчас мне подали еще Ваше письмо. Благодарю Вас глубоко и горячо, мой безгранично любимый друг. Мне очень жаль, что Вам испорчено все пребывание в Париже, но, быть может, это вознаградится в феврале. Я также очень люблю Париж, хотя в прошлый раз во время выставки я осталась им очень недовольна; но все-таки вообще он мне нравится. Освещение Яблочкова меня также очень восхищает и возбудило во мне желание устроить его у себя в доме в Москве. Avenue de l'Opéra освещалась этим светом и при мне, и у нас в Hôtel du Louvre двор также освещался электричеством. Это восхитительный свет, и как дешево такое освещение.

Чуть было не забыла сказать Вам, мой дорогой друг, о нашем общем воспитаннике, Пахульском. Он передал Доору Ваше письмо, которое он принял очень любезно, но относительно занятий Пахульского он так напугал его, что тот не решается приступить к ним, а дает мне слово, что он каждый день усердно будет зани-

---

* «ваше превосходительство»
** «Мама, вот ваше превосходительство»

маться сам ф у г о ю. Я не настаиваю сама, чтобы он непременно с кем-нибудь здесь занимался, потому что понимаю, что пройти такой ряд испытаний тяжело, да и слишком шумно все это выйдет, а я не хотела бы г н е в и т ь Ник[олая] Григ[орьевича]. Но вот в чем дело. Доор начал с того, что спросил его, говорит ли он по-немецки, и на отрицательный ответ сказал, что он очень трудно найдет преподавателя, который бы говорил по-французски. Потом заметил, что он удивляется, как Пахульский хочет изучить фугу в о д и н м е с я ц, тогда как он изучал ее в полтора года (хотя я не знаю, кто ему сказал, что он хочет и з у ч и т ь в один месяц; он хотел учиться один месяц в Вене). Наконец, после многих затруднений он сказал ему, чтобы он явился к нему в к о н с е р в а т о р и ю, г д е о н п е р е с п р о с и т р а з н ы х п р о ф е с с о р о в, к т о г о в о р и т п о-ф р а н ц у з с к и и к т о м о ж е т в з я т ь с я у ч и т ь, и п о к а ж е т и м П а х у л ь с к о г о, и тогда, быть может, что-нибудь устроится. Все это весьма любезно, но слишком тяжело для всякого застенчивого человека. Я сама очень дика с людьми и понимаю всю невозможность вынести такую пытку, когда тебя будут показывать, как дикого зверя. Между прочим, Доор также заметил, помянув о Вас, что как странно, что все з а м е ч а т е л ь н ы е л ю д и уходят из Московской консерватории, что вот о н ушел, Лауб также и теперь Вы. При этом Пахульский ему напомнил, что Лауб ушел совсем со света. Вообще изо всего рассказа об этом визите и разговоре, который продолжался не долее десяти минут, стоя, я вынесла понятие, что г. Доор — человек с в о е й с р е д ы, и понимаю, что на того, кто имел благо целый месяц пользоваться Вашею деликатностью, Вашею снисходительностью и добротою, такая личность должна была произвести самое тяжелое впечатление. Поэтому дальше это и не пойдет, а я сказала ему, чтобы послал человека сказать г. Доору, что он извиняется, что не может явиться в консерваторию.

До свидания, мой милый, бесценный друг. Всем сердцем глубоко и горячо любящая Вас

Н. ф.-Мекк.

Поздравляю Вас с наступающим праздником. Дай бог Вам провести его в полном здоровье, спокойствии и удовольствии. Около Вас по соседству, в Nancy, живет моя старшая дочь Иолшина.

272. Чайковский — Мекк

Париж,
24 декабря 1878 г./5 января 1879 г.

Дорогой друг! Как-то Ваше здоровье? Поправились ли Вы? Утешаю себя утвердительным ответом и сокрушаюсь, что тысячи верст препятствуют мне иметь о Вас ежедневные сведения. Я повеселел и перестал трагически относиться к известному Вам казусу. Да и нечего много обдумывать это дело теперь. А по возвращении в Россию посмотрим, что делать. Если окажется, что есть шансы повести дело на этот раз серьезно, если я увижу, что известная особа поняла наконец, что развод утверждается консисторией, а консистория имеет свои порядки и формальности, которым нужно подчиниться, то приступлю к скучной, но весьма желанной процедуре. Если же это такая же комедия, как в прошлом году, то на этот раз не позволю водить себя за нос и уеду в деревню, не дожидаясь, пока опять мне не будет предложено обратиться к людям, как это было в прошлом году.

Я теперь уже почти уверен, что рукопись сюиты пропала, и начинаю свыкаться с этой мыслью. Слабый луч надежды еще остался, и я буду неимоверно счастлив, если она осуществится, но гораздо более вероятия, что рукопись пропала. Во Флоренции я сделал все, что нужно, чтобы в случае ее прибытия ее мне сюда переслали, и нет никакого сомнения, что если она пропала, то между Петербургом и Флоренцией, а не между Флоренцией и Парижем. Я имею положительные сведения, что она была выслана по почте 4 декабря. Я уехал из Флоренции 16-го, и, следовательно, она имела время застать меня там. Если случилась какая-нибудь непостижимая для меня задержка, но рукопись цела, то она дойдет до меня, даже если б пришлось и из Парижа уехать не дождавшись ее. Здесь я приму меры, чтоб ее переслали мне в Clarens.

В случае пропажи я решился заняться теперь оперой, так как мне невыразимо трудно было бы сейчас же приняться за пересочинение. Впоследствии же, когда пройдут всякие следы огорчения, причиненного пропажей, я в состоянии буду пересочинить утраченные три части, так как темы помню хорошо. Это, во всяком случае, очень, очень грустно, потому что труд пересочинения очень тягостен.

Слышал я «Polyeucte» Гуно. Я знал по газетным отзывам, что опера неудачна, скучна, но действительность далеко превзошла мои ожидания. Нельзя себя представить ничего более

плоского, бездарного, жалкого, как эта музыка. Даже мастерства никакого нет, точно ее будто написал неопытный и бесталанный ксвичок. Вообще художественная организация Гуно есть для меня загадка. Невозможно отрицать, что «Фауст» написан если не гениально, то с необычайным мастерством и не без значительной самобытности. Все, что написано им прежде и после «Фауста», слабо, бездарно. Ничего подобного история музыки не представляет. Исполнение же и постановка «Полиевкта» выше всякой похвалы. Имеете ли вы понятие о баритоне Lassalle? Это самый чудный баритонный голос из всех когда-либо мною слышанных.

В этом отношении, т. е. по части оперы, Вена далеко все-таки превосходит Париж, начиная с репертуара. Здесь он мало интересен. В течение всей этой недели даются поочередно провалившаяся опера композитора Joncière'a (очень несимпатичного, того, который написал «Дмитрия Самозванца») и «Полиевкта». С каким бы удовольствием я послушал одну из старых опер парижского репертуара: «Гугеноты», «Жидовку», «Пророка»! Как нарочно их-то и не дают.

Вчера я очень наслаждался в «Comedie Française». Давали недурную драму Дюма «Le fils naturel». Но что за чудные исполнители!!!

До свиданья, мой милый, чудный друг. Ради бога, будьте здоровы.

Ваш П. Чайковский.

273. Чайковский — Мекк

Париж,
26 декабря 1878 г./7 января 1879 г.

Я все еще в Париже, дорогой друг мой, и причиною столь долгому пребыванию моему вовсе не прелести Парижа, которые вследствие праздной жизни начинают сильно надоедать мне, а все та же злополучная рукопись. Я получил известие, что петербургский Юргенсон, узнав от брата о неполучении рукописи, сделал справку, по которой оказалось, что посылка отправлена во-время. Возгоревшись новой надеждой, я написал во Флоренцию к Hettore письмо, прося его сходить на почту и узнать, не находится ли посылка там. Хотя я, уезжая, поручил ему хлопоты по этому делу, но счел нелишним напомнить о себе. Ответа его жду завтра, и, во всяком случае, не позже четверга вечером буду уже в Clarens, где, вероятно, меня ожидает дорогое письмо Ваше. Как давно я не видел ми-

лого мне почерка, и как мне непривычно столь долго быть без известий о Вас!

Здесь после оттепели наступили морозы, и в комнате ужасно холодно; если б в эту минуту я не сидел у камина, то рука едва ли была бы в состоянии двигаться. Зато на улице ходить чрезвычайно приятно. Небо чисто, солнце светит ярко, асфальт сух, и не приходится, как в первое время, ступать ежеминутно в лужи грязи. Невозможно не восхищаться красивостью праздничного Парижа. Я в совершенном восторге от электрического освещения: в нем есть что-то фантастически-прелестное. Но эта суета, когда ведешь такую уличную и праздную жизнь, à l a l o n g u e утомительна.

Я, как всегда, был очень несчастлив на музыку. В опере даются все вещи плохие. У P a s d e l o u p исполнялась оратория какого-то юноши-француза, мало интересная. Фестиваль состоится уже после моего отъезда. С тех пор как я Вам писал, я был два раза в театре и оба раза в C o m é d i e F r a n ç a i s e». Видел «Le fils naturel» Дюма и «Les Fourchambault» Ожье. Исполнение той и другой пьесы было в полном смысле превосходное, но комедия Ожье далеко не так хороша, как о ней писали в свое время в газетах, и только безгранично тонкое и художественное исполнение спасает ее от неуспеха. Давно мне не приходилось так много бывать в театре, как в эту неделю, и, несмотря на всю мою страсть к этого рода развлечениям, я устал и вчера не пошел никуда.

Запас нужных мне материалов для «Jeanne d'Arc» готов. Я очень рад, что приобрел книгу M i c h e l e t. Она даст мне немало полезных сведений. Что касается оперы M e r m e t, то, в общем, я нашел сценариум этой оперы очень плохим, но есть две-три эффектные сцены, которыми я, может быть, воспользуюсь. В конце концов я пришел к заключению, что трагедия Шиллера хотя и не согласна с историческою правдой, но превосходит все другие художественные изображения И о а н н ы глубиной психологической правды. Следующее письмо уже буду писать вам из C l a r e n s, милый друг мой. Как бы мне хотелось поскорее узнать то, что Вы здоровы!

До свиданья!

Безгранично преданный П. Чайковский.

274. Чайковский — Мекк

Дижон.
29 декабря 1878 г./10 января 1879 г.

Дорогой, милый друг!

Вы, вероятно, очень удивитесь, что я пишу Вам из Дижона. Вот как это случилось. Вчера вечером я выехал из Парижа. Так как я сидел в купе вдвоем с Алексеем, то очень скоро заснул и, когда проснулся, то было уже утро, и мы стояли на месте около какой-то маленькой станции. Холод был ужасный, и окна так замерзли, что сквозь стекла ничего не было видно. Отворив окно, я с изумлением увидел, что горы и поля покрыты густым слоем снега. Оказалось, что мы стояли тут уже с четырех часов утра, и стояние это продолжалось до часа пополудни. Так как около поезда не было ни единого кондуктора, то никто не мог объяснить нам, в чем дело. Побуждаемый голодом и холодом, я, подобно нескольким другим пассажирам, отправился по направлению к городку, лежащему около станции, и здесь в первом попавшемся кабачке мы нашли кондуктора, машиниста и кочегара, от которых мы узнали, что вследствие сильнейшей метели и снежных заносов все поезда ждут расчистки пути. В кабачке этом мы позавтракали хлебом и вином. Во втором часу раздался звонок. Мы все побежали к поезду, утопая в снегу, и тронулись скоро в путь. Через час мы доехали до Дижона. Так как здесь на станции никто ничего нам не сказал, то мы продолжали сидеть в вагоне, трясясь от невыносимого холода. Через несколько времени поезд двинулся и, проманеврировавши минут пять, остановился где-то среди массы других пассажирских и товарных вагонов. Тут мы простояли ровно три часа. Начало темнеть, и холод сделался невыносимым. Я вышел из вагона, чтобы узнать что-нибудь про нашу участь. Тут только я с изумлением увидел, что все вагоны пусты. Оказалось, что наш вагон, который при обычном движении прицепляется в Дижоне к новому поезду, был совершенно забыт. Тогда я решился, увязая по колена в снегу, добраться до вокзала, и только тут начальник станции объяснил мне, что все поезда прекращены и что совершенно неизвестно, когда возобновится движение. Беспорядок на станции страшный; никто ничего не понимает. Уже двадцать лет не было у них ничего подобного.

Осталось одно: отправиться в гостиницу и ждать. Так мы и сделали. По крайней мере, я сыт и не мерзну. Придется завтра купить белья, так как все вещи в багаже. Говорят, что мы можем просидеть здесь несколько дней.

До свиданья, милый друг. Когда-то я доберусь до места и получу Ваши письма!

Ваш П. Чайковский.

275. Чайковский — Мекк

Clarens.
30 декабря 1878 г./11 января 1879 г.

Наконец-то я попал в Clarens, мой милый друг. После моего письма к Вам из Дижона я оставался там еще целые сутки в ожидании поезда, очень страдая от мороза. Наконец вчера ночью, в два часа, поезд двинулся по направлению к Швейцарии. Мы благополучно перевалили через Юру, и сегодня в двенадцать часов я был уже в вилле Ришелье. Бедная моя хозяйка очень рада моему приезду. С ноября месяца у нее не было ни одного жильца. Мне решительно непонятно, почему она почти всегда лишена гостей. Дом устроен с комфортабельностью, очень близкой к роскоши, кормит она превосходно, прислуга необыкновенно милая, ну, словом, все данные для привлечения жильцов, а между тем никогда никого нет. Мне очень жаль ее, но я не могу не радоваться тому обстоятельству, что у меня нет соседей, что я обедаю один, что никого здесь не вижу, кроме хозяйки и ее прислуги. Погода здесь гораздо теплее, хотя на улицах лежит снег, и я видел много прогуливающихся на санях жителей Montreux и Clarens. Я занимаю как раз тот аппартамент, в котором в прошедшем году жил брат Модест со своим Колей, и мне немножко грустно быть окруженным вещами, которые так сильно напоминают мне их обоих. Но, с другой стороны, это имеет и свою хорошую сторону. Я здесь как дома, и после шумной парижской жизни я очень рад буду отдохнуть в этой тишине. Невыразимое удовольствие доставило мне письмо Ваше, добрый, милый друг мой. Я прочел его с живейшим интересом. Очень радуюсь, что Вы хорошо устроились в Вене и довольны своим помещением. Но какова история с пожаром! Хорошо, что это было близко от станции. Что бы могло выйти, если бы Вы потеряли присутствие духа, страшно и подумать.

Благодарю Вас тысячу раз, мой милый друг, за все утешительное, что Вы говорите по поводу снова возникающего вопроса о разводе. Разумеется, что это было бы самым желанным разрешением всех затруднений. Но в том-то и дело, что при бракоразводном процессе нужно, чтобы обе стороны ведали, что творят, а она решительно не ведает, и с ней очень

страшно приступать к этому очень тяжелому по своим формальностям делу. Ведь и в прошлом году она изъявляла согласие на развод, но что же вышло, когда я, наконец, хотел начать дело? Во всяком случае, до тех пор, пока от имени ее не начнет действовать поверенный, понимающий дело, я не решусь вести серьезные разговоры.

Какой глупый этот Доор! Фуге можно выучиться не только в два месяца, но в две недели. Очень неудачно он привел себя в пример. Его полуторагодовое ученье не принесло плодов, ибо мне достоверно известно, что он и теперь не может написать фуги. Между тем, я могу указать на многих людей, выучившихся этой хитрой науке в два-три урока.

Я совершенно одобряю решение Пахульского, ввиду всех затруднений, отложить это дело до Москвы. Пусть покамест занимается гомофонными формами и пишет как можно более сонат. Время не пройдет даром.

До свиданья, милый друг. Примите от меня по случаю Нового года пожелания самые искренние. Желаю Вам всякого счастья, мой добрый и безгранично любимый друг.

П. Чайковский.

276. Чайковский — Мекк

Clarens.
31 декабря 1878 г./12 января 1879 г.

Если не ошибаюсь, я ни в дижонском, ни во вчерашнем письме не писал Вам, дорогой мой друг, о повестке, которую я получил в Париже утром в день отъезда. Повестка эта переслана мне из Флоренции. Она не от почтамта, а от администрации железной дороги, и гласит, что на мое имя получен из России пакет, который я могу получить, явившись на железную дорогу и заплативши четыре с половиной лиры. В первую минуту я ужасно обрадовался и решил, что это рукопись. Но потом у меня явилось сомнение. Неужели Юргенсон (петербургский) мог вздумать послать мне три исписанных листка нотной бумаги не по почте, а большой скоростью? Кроме того, местность, из которой отправлена посылка, отмечена в высшей степени неразборчиво, но каракули эти более похожи на «Mosca», чем на «Pietroburgo». Как бы то ни было, но теперь предст вляется вопрос, как получить эту посылку. Не ехать же нарочно для этого во Флоренцию! Посоветовавшись с хозяином Hôtel de Hollande, я решился написать в контору товаров большой скорости во Флоренцию, прося ее переслать мне

посылку сюда, в Clarens. Очень сомневаюсь, чтобы контора поспешила исполнить мою просьбу, да и бог весть, исполнит ли. Во всяком случае, я теперь уже не обольщаю себя преждевременными надеждами и решился, не дожидаясь рукописи, всецело предаться опере.

Сегодня я уже начал и написал первый хор первого действия. Сочинение этой оперы будет мне очень затруднено тем, что я не имею готового либретто и даже еще не вполне выработал план сценариума. Покамест я составил подробную программу первого действия и понемножку пишу текст, конечно, заимствуя больше всего у Жуковского, но также и в других источниках, и в особенности у Barbier, трагедия которого на сюжет «Иоанны» имеет много достоинств. Но так или иначе, а все-таки приходится самому кропать стихи, что мне дается с большим трудом. Кстати о стихах. Прилагаю при этом письме стихотворение мое, начатое во Флоренции и конченное в Париже[1]. Дабы Вы поняли его вполне, я должен предпослать маленькое предисловие. Я, кажется, не раз писал Вам, милый друг, о моей страсти к ландышам. У брата Модеста такая же страсть к фиалкам, и мы с ним всегда спорим о преимуществе своих любимых цветов над другими. Я давно уже говорил ему, что непременно когда-нибудь в стихах воспою ландыши. Вот это-то намерение я и исполнил. Я ужасно мучительно и затруднительно корпел над каждым стихом, но в результате вышло стихотворение довольно приличное и внушающее мне большую гордость. Восторг мой перед ландышами воспет несколько преувеличенно и не вполне правдиво. Например, совершенно несправедливо, что «меня не радуют книги, театр, беседа» и т. д. Все это имеет свою цену. Но мало ли чего ни наклеплешь на себя ради стиха! Ради бога, простите, что навязываю Вам чтение моих пиитических опытов, но мне так хочется показать Вам произведение, стоившее мне такого труда и внушающее мне так много гордости!

Через два часа наступает Новый год. Поздравляю Вас, милый, добрый друг. Главное, будьте здоровы.

Ваш П. Чайковский.

ПРИМЕЧАНИЯ

К письму № 2

Датируется в соответствии с письмом № 1.

К письму № 4

Датируется в соответствии с письмом № 3.

К письму № 6

[1] Это относится к началу 1870-х годов. См. Ж. Ч., т. I, стр. 461 и сл.
[2] Насколько нам известно, марш (Marche funèbre) не был издан. Сохранилась ли рукопись, установить не удалось.

К письму № 7

[1] Байрейт — город в Баварии, близ которого построен Национальный театр для исполнения опер Вагнера. Байрейтские торжества (первое представление «Кольца Нибелунгов») происходили в 1876 году.

К письму № 8

Датируется в соответствии с письмом № 9.
[1] Ни об этом композиторе, ни об его произведениях редакция сведений не имеет.

К письму № 10

[1] И. И. Котек.
[2] Чайковский начал писать Четвертую симфонию f-moll в четырех частях. 11 августа 1877 г. приступил к инструментовке, 12 сентября окончил первую часть (в ноябре — декабре переделывал ее), 15 декабря — вторую часть (Andante), 20 декабря — третью часть (Scherzo) и 26 декабря — финал. (Здесь и дальше большая часть дат, относящихся к процессу творчества Чайковского, заимствована из Ж. Ч.)

К письму № 11

Основание датировки: письмо является ответом на письмо Чайковского от 1 мая 1877 г. (воскресенье); написано оно в понедельник, на другой день. Дата подтверждается его письмом от 2 мая.

К письму № 14

Датируется в соответствии с письмом № 15.

К письму № 15

[1] В 1876 г., летом, Чайковский пробыл в Виши десять дней, выдержав только половину лечебного курса. Там он «плакал по десяти раз в день». Тогда же писал братьям Анатолию и Модесту: «О, проклятый, проклятый, проклятый Виши». «Я глубоко ненавижу Виши... Я совершенно потерял возможность жить на чужбине один». «Мне нельзя остаться здесь, так как, имей я еще перед собой две с половиной недели пребывания в ненавистном месте, я бы истерзался нравственно, а по уверению здешнего доктора, для целесообразного действия вод необходимо полнейшее спокойствие духа». См. Ж. Ч., т. I, стр. 417 и сл.

[2] Этого произведения Чайковский не написал.

К письму № 17

[1] По поводу нового замысла Чайковский писал братьям (Модесту и Анатолию) и Л. В. Давыдову: «На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для оперы. Ее глупый муж молол невообразимую чепуху и предлагал самые невозможные сюжеты. Лизавета Андреевна молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: „А что бы взять «Евгения Онегина»?". Мысль эта показалась мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире о д и н, я вспомнил об «О н е г и н е», задумался, потом начал находить мысль Лавровской не-можной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать П у ш к и н а. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную н о ч ь, результатом которой был с ц е н а р и у м прелестной оперы с т е к с т о м Пушкина. На другой день съездил к Шиловскому, и теперь он на всех парах обделывает мой сценариум... Ты не поверишь, до чего я ярюсь на этот сюжет. Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в «О н е г и н е»! Я не заблуждаюсь, я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с г е н и а л ь н ы м текстом заменят с лихвой эти недостатки». «Я напишу прелестную оперу, совершенно подходящую к моему музыкальному характеру». «Сочинение же оперы — дело такого рода. 1. [Ежедневно] в течение нескольких часов я не должен видеть ни души и знать, что и меня никто не видит и не слышит: сочиняя, я имею привычку громко петь, и мысль, что меня слышно, меня стесняет. 2. Я имею [у Шиловского] в моем распоряжении фортепиано тут же в спальне. Без этих условий писать я не могу, по крайней мере, покойно и легко». (Письма от 18 и 19 мая 1877 г.) См. Ж. Ч., т. I, стр. 533 и сл. и Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском». Изд. Юргенсона, М. 1896, стр. 107 и сл. 6 июня 1877 г., Чайковский написал вторую картину первого акта (письмо Татьяны), 15 июня закончил весь первый акт; 23 июня две трети оперы были готовы вчерне. В августе, после месячного перерыва, закончил сочинение оперы и инструментовал первую картину первого акта. В течение сентября и первых чисел октября был перерыв. 20 октября Чайковский закончил инструментовку всего первого действия, в середине ноября — первой картины второго действия. В декабре — перерыв. 20 января 1878 г. опера была окончена. В общей сложности на сочинение оперы и инструментовку ее было потрачено около пяти месяцев труда.

Впервые опера была поставлена силами учеников Московской консерватории весной 1879 г. на сцене Малого театра.

К письму № 19

В архиве Чайковского сохранились три письма к нему А. И. Милюковой того времени: от 4 мая, 4 с мая и 21 мая 1877 года. Письма Чайковского к ней не сохранились. Антонина Ивановна писала в первых двух письмах.

«Я вижу, что пора уже мне начать себя переламывать, что Вы и сами упомянули мне в первом письме. Теперь хоть я и не вижу Вас, но утешаю себя мыслью, что Вы в одном со мной городе, тогда как через месяц, а может быть, и менее, Вы, по всей вероятности, уедете, и, бог знает, придется ли Вас увидать, потому что и я не думаю оставаться в Москве. Но где бы я ни была, я не буду в состоянии ни забыть, ни разлюбить Вас. То, что мне понравилось в Вас, я более не найду ни в ком, да, одним словом, я не хочу смотреть ни на одного мужчину после Вас. А между тем, неделю тому назад должна была выслушать признание человека, который полюбил меня чуть ли не со школьной скамьи и остался верен в продолжение пяти лет. Мне так было тяжело его выслушивать, и я думала, что Вам, верно, так же нелегко читать мои письма, не имея ничего мне ответить приятного и при всем желании не быть в состоянии более ничего мне показать, кроме полнейшего равнодушия».

«Целую неделю находилась я в самом мучительном состоянии. Петр Ильич, не зная, писать Вам или нет. Я вижу, что письма мои уже начинают тяготить Вас.

Но неужели же Вы прекратите со мной переписку, и не повидавшись даже ни разу? Нет, я уверена, что Вы не будете так жестоки! Бог знает, может быть, Вы считаете меня за ветреницу и легковерную девушку и потому не имеете веры в мои письма? Но чем же могу я доказать Вам правдивость моих слов, да и, наконец, так лгать нельзя. После последнего Вашего письма я еще вдвое более полюбила Вас, и недостатки Ваши ровно ничего для меня не значат.

Может быть, если бы Вы были совершенством, то я и осталась бы совершенно хладнокровной к Вам. Я умираю с тоски и горю желанием видеть Вас, сидеть и говорить с Вами, хотя и боюсь, что в первый момент не буду в состоянии выговорить ни слова. Нет такого недостатка, который бы заставил меня разлюбить Вас. Это ведь не минутное увлечение, а чувство, развившееся в продолжение очень долгого времени, и уничтожить его теперь я положительно не в силах, да и не хочу.

Послав сегодня к Вам с письмом рассыльного, я была очень удивлена, узнав, что Вас нет в Москве, и на меня еще более напала тоска. Сижу целый день дома, брожу из угла в угол, как полоумная, думая только о той минуте, когда я Вас увижу. Я готова буду броситься к Вам на шею, расцеловать Вас, но какое же я имею на то право? Ведь Вы можете принять это за нахальство с моей стороны. Не могу не отплатить Вам за Вашу откровенность тем же и потому скажу Вам, что хотя я и высказала свои чувства, но мне было бы крайне прискорбно, если бы Вы истолковали это в дурную сторону.

Могу Вас уверить в том, что я порядочная и честная девушка в полном смысле этого слова и не имею ничего, что бы я хотела от Вас скрыть. Первый поцелуй мой будет дан Вам и более никому в свете. До свидания, дорогой мой. Не старайтесь меня более разочаровывать в себе, потому что напрасно истратите только время. Жить без Вас я не могу, а потому скоро, может, покончу с собой. Так дайте же мне посмотреть на Вас и

поцеловать Вас так, чтобы и на том свете помнить этот поцелуй. До свидания. Ваша вечно А. М.

Уведомьте меня, пожалуйста, предварительно, когда Вы будете у меня, потому что вторник, четверг и субботу меня не бывает в Москве. Не видя Вас, смотрю на Ваш портрет; но Панов до того обезобразил Вас, что мне просто обидно за Вас. Вот и кончила свое письмо и опять не знаю, куда деться с тоски. Желаю Вам веселиться в деревне.

Вот уже третий день, как письмо мое написано, и только сегодня посылаю его, предполагая, что Вас нет еще в Москве. Еще раз умоляю Вас, приходите ко мне. Если бы Вы знали, как я страдаю, то, вероятно, из одного сожаления исполнили бы мою просьбу. Извините, что не могу принять Вас с тем комфортом, с каким бы желала, так как у меня в распоряжении одна только комната, но надеюсь, что от этого я не упаду в Ваших глазах. Это было мое собственное желание трудиться и жить самостоятельно. Завтра, т. е. в четверг, отправляюсь по необходимости в Ховрино, по Николаевской железной дороге, а в пятницу буду Вас ждать целый день. Целую и обнимаю Вас крепко, крепко».

К письму № 24

[1] Женитьба Чайковского — одно из самых исключительных событий в его жизни. Она едва не кончилась трагически, ее конец, быть может, наложил отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, на все творчество. Несходство характеров, роковая ошибка в выборе подруги жизни, оказавшейся слишком ничтожной для композитора, — вот установившаяся трактовка неудачной женитьбы Чайковского. Брат Модест, обладавший всем фактическим материалом, был связан родственными узами и временем: несколько лет только прошло после смерти Чайковского, когда он писал его биографию. Близкие друзья по тем же мотивам не решались коснуться щекотливой темы. Новые биографы* не имели в своем распоряжении точных данных. Теперь же, сорок лет спустя после смерти Чайковского, нужно этот эпизод его жизни осветить со всей прямотой. Чайковский принадлежит истории; жизнь его — предмет серьезного изучения, и мы обязаны раскрыть перед наукой все факты, отнюдь не боясь нездорового любопытства случайного читателя.

Чайковский по природе своей был лишен чувства любви к женщине. Увлечение в молодости артисткой Дезире Арто** было случайной вспышкой, оно не дало рецедивов, не переключилось на другие объекты. Чайковский был гомосексуален, и в этом субъективно и объективно его величайшая трагедия. Он мучился своей отрешенностью, боялся огласки (а слухи уже ходили), искал выхода. Но большую ошибку можно допустить, пытаясь объяснить эту особенность порочностью Чайковского, последствием «правоведской» среды. Чайковский был очевидно гомосексуален от природы, почему его попытка изменить характер своей половой жизни и оказалась безрезультатной. А попыткой этой была женитьба. Вот документы.

Чайковский писал брату Модесту в 1876 г., меньше чем за год до женитьбы: «Я много передумал за это время о себе и о моей будущности. Результатом всего этого раздумывания вышло то, что с нынешнего дня я буду серьезно собираться вступить в законное брачное сочетание с кем бы то ни было. Я нахожу, что мои с к л о н н о с т и суть вели-

* Например, Richard H. Stein, «Tschaikowskij». Deutsche Verlags Anstalt. Stuttgart, Berlin und Leipzig, 1927, стр. XI; Hugo van Dalen, «Tschaikowsky», 's-Gravenhage [1930], стр. 96 и сл.
** См. Ж. Ч., т. I, стр. 300 и сл.

чайшая и непреодолимейшая преграда к счастию, и я должен всеми силами бороться со своей природой... Я сделаю все возможное, чтобы в этом же году жениться, а если на это нехватит смелости, то, во всяком случае, бросаю навеки свои привычки» (10 сентября). «В этом деле я не намерен торопиться, и будь уверен, что если я в самом деле свяжусь с женщиной, то сделаю это весьма осмотрительно» (17 сентября). «Есть люди, которые не могут меня презирать за мои пороки только потому, что они меня стали любить, когда еще не подозревали, что я, в сущности, человек с потерянной репутацией. Сюда относится, например, Саша! [сестра]. Я знаю, что она о в с е м догадывается и все п р о щ а е т. Таким же образом относятся ко мне очень многие любимые или уважаемые мной личности. Разве ты думаешь, что мне не тяжело это сознание, ч т о м е н я ж а л е ю т и п р о щ а ю т, когда, в сущности, я ни в чем не виноват! И разве не убийственна мысль, что люди, меня любящие, иногда могут с т ы д и т ь с я меня! А ведь это сто раз было и сто раз будет. Словом, я хотел бы женитьбой или вообще гласной связью с женщиной зажать рты разной презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но которая может причинять огорчения людям мне близким... Осуществление моих планов вовсе не так близко, как ты думаешь. Я так заматорел в своих привычках и вкусах, что сразу отбросить их, как старую перчатку, нельзя. Да притом я далеко не обладаю железным характером и после моих писем к тебе уже раза три отдавался силе природных влечений» (28 сентября).

Произошла случайная встреча с А. И. Милюковой, которая взяла инициативу на себя. После свадьбы Чайковский писал братьям: «Я бы жестоко солгал перед тобой, если б стал тебя уверять, что я уже вполне счастлив, вполне привык к новому моему положению и т. д. После такого ужасного дня, как день 6 июля [свадьба], после этой бесконечной нравственной пытки нельзя скоро оправиться. Но всякие невзгоды имеют и свою хорошую сторону: я невыносимо страдал, видя, как ты обо мне сокрушаешься, но вместе с тем ты виновник того, что я с таким мужеством боролся со своими мучениями... Когда вагон тронулся, я готов был закричать от душивших меня рыданий. Но нужно было еще занять разговором жену до Клина, чтобы заслужить право в темноте улечься на свое кресло и остаться одному с собой... Утешительнее всего мне было то, что жена не понимала и не сознавала моей плохо скрываемой тоски. Она и теперь и все время имеет вид вполне счастливый и довольный. Elle n'est pas dificile [она нетребовательна]. Она со всем согласна и всем довольна... Были разговоры, которые еще более уяснили наши взаимные отношения. Она решительно на все согласна и никогда не будет недовольна. Ей только нужно лелеять и холить меня. Я сохранил себе полную свободу действий... Я до того обеспечил себе свободу действий, что, как только мы с женой привыкнем друг к другу, она не будет меня стеснять ни в чем. Не нужно себя обманывать. Она очень ограничена, но это даже хорошо. Умная женщина вселяла бы во мне страх к себе. Над этой я стою так высоко, я до такой степени доминирую ее, что, по крайней мере, никакого страха перед ней не испытываю» (А. И. Чайковскому, 8 июля 1877 г.). «У жены моей одно огромное достоинство: она слепо мне подчиняется во всем, она очень складная, она всем довольна и ничего не желает, кроме счастия быть мне подпорой и утешением. Сказать, что люблю ее, я еще не могу, но уже чувствую, что буду ее любить, как только мы друг к другу привыкнем» (М. И. Чайковскому, 8 июля). «Я переживаю в самом деле тяжелую минуту жизни. Однакож чувствую, что мало-по-малу свыкаюсь с новым положением. Оно было бы совсем ложно и невыносимо. если б я в чем-нибудь обманул жену, но я ведь предупредил ее, что она может

рассчитывать только на мою братскую любовь. Жена моя в физическом отношении сделалась мне безусловно противна. Я уверен, что впоследствии когда-нибудь атаки возобновятся, но теперь попытки были бы бесполезны» (А. И. Чайковскому, 11 июля).

Развязка пришла скоро. См. письмо № 5[illegible].

К письму № 25

¹ Каменка — местечко в Киевской губернии, имение Н. В. Давыдова. Управлял имением его брат Л. В. Давыдов. При декабристе В. Л. Давыдове Каменка была в течение нескольких лет центром ежегодных совещаний членов Южного общества. Между прочим, в Каменке бывал Пушкин.

К письму № 26

¹ Имеются в виду военные переживания в связи с русско-турецкой войной 1877—1878 гг.

² Плевна — город в Болгарии, важный стратегический пункт в кампанию 1877—1878 гг. Взята русскими войсками 28 ноября 1877 г.

К письму № 28

¹ Чайковский впервые был в Италии в апреле 1874 года. См. Ж. Ч., т. I, стр. 432 и сл.

К письму № 30

В этом и в следующих девяти письмах фон-Мекк в копиях, по которым они публикуются, вместо подписи имеются лишь инициалы Н. М. Восстанавливается нами полная подпись по предыдущим письмам.

К письму № 31

¹ Чайковский познакомился с Л. Н. Толстым в Москве в декабре 1876 года. Н. Г. Рубинштейн устроил для Толстого концерт из камерных и вокальных произведений Чайковского. Andante из первого квартета произвело такое сильное впечатление на Толстого, что он разрыдался. «Может быть, никогда в жизни я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Лев Толстой, слушая Andante моего квартета и сидя рядом со мной, залился слезами», записал Чайковский в дневнике в 1886 году.

Вскоре они обменялись письмами. Толстой писал Чайковскому: «Сколько я не договорил с вами! Даже ничего не сказал из того, что хотел. И некогда было. Я наслаждался. И это мое последнее пребыванье в Москве останется для меня одним из лучших воспоминаний. Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер. И какой милый Рубинштейн! Поблагодарите его еще раз за меня. Он мне очень понравился. Да и все эти жрецы высшего в мире искусства, заседавшие за пирогом, оставили мне такое чистое и серьезное впечатление. А уж о том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспомнить без содрогания. Кому из них можно послать мои сочинения, т. е. у кого нет и кто их будет читать? Вещи ваши еще не смотрел, но, когда примусь, буду — нужно ли вам или не нужно — писать свое суждение, и смело, потому что я

любил ваш талант» (60-е годы). Чайковский — Толстому: «Как я рад, что вечер в Консерватории оставил в Вас хорошее воспоминание! Наши квартетисты в этот вечер играли как никогда. Вы можете из этого факта вывести то заключение, что пара ушей такого великого художника, как Вы, способна воодушевить артиста в сто раз больше, чем десятки тысяч ушей публики. Вы один из тех писателей, которые заставляют любить не только свои сочинения, но и самих себя. Видно было, что, играя так удивительно хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека. Что касается меня, то я не могу сказать Вам, до чего я был счастлив и горд, видя, что моя музыка могла Вас тронуть и увлечь!.. Кроме Фитценхагена, не читающего по-русски, все участвовавшие в квартете читали Ваши сочинения. Я полагаю, что они будут вам очень благодарны, если Вы пришлете каждому какое-нибудь одно сочинение. Что касается меня, то я попросил бы Вас подарить мне «Казаки», если не теперь, то в другой раз, когда Вы опять побываете в Москве, чего я буду ожидать с величайшим нетерпением» (24 декабря 1876 г.).

Они больше никогда не встретились. См. Ж. Ч., т. I, стр. 519 и сл., С. Л. Толстой, «Музыка в жизни Л. Н. Толстого», в еженедельнике «Музыка», № 50, 1911; он же, «Лев Толстой и Чайковский», в сборнике «История русской музыки в исследованиях и материалах», под ред. проф. К. А. Кузнецова, т. I, изд. Музсектора Госиздата, М. 1924; R. Newmarch, «Tchaikowsky and Tolstoy» — «Contemporary Review» London 1903, January; «Tolstoi und Tschaikowsky» — «Allgemeine Musik-Zeitung», Berlin, 1908, 25 September.

К письму № 32

[1] Чайковский писал брату Анатолию 2 сентября 1877 г. из Каменки: «Только в разлуке, думая о любимом человеке, сознаешь всю силу своей любви к нему. Толя! я ужасно люблю тебя. Но, ах! как я мало люблю Антонину Ивановну Чайковскую! Каксе глубокое равнодушие внушает мне эта дама! Как мало меня тешит перспектива свидания с ней! Однакож и ужаса она не возбуждает во мне. Просто лишь одну тоску». Ему же 12 сентября, после встречи с женой: «Ты, конечно, желаешь знать, что я теперь ощущаю. Толя, позволь умолчать об этом. Мне жутко, вот все, что скажу. Но ведь это было неизбежно после той полноты счастья, которую я испытал в Каменке».

К письму № 34

[1] Встреча с женой доказала полную невозможность их совместной жизни. Восторжествовала особенность конституции Чайковского. Только этим, вероятно, можно объяснить все последующее. Заурядность жены, низкий уровень умственных и нравственных качеств ее, все это могло привести к решительному отчуждению, разрыву, ненависти даже, но не к болезни. А Чайковский нервно заболел. Он сам рассказывал много лет спустя Н. Д. Кашкину: «Хотя со времени приезда от сестры прошло не более недели, но я уже утратил всякую способность бороться с тяжестью своего положения, и сознание у меня, как я сам чувствовал, по временам стало мутиться. Днем я еще пытался работать дома, но вечера мне делались невыносимы. Не смея зайти куда-нибудь к знакомым или даже в театр, я каждый вечер отправлялся на прогулку и несколько часов бесцельно бродил по дальним глухим улицам Москвы. Погода стояла мрачная, холодная,

и по ночам слегка морозило. В одну из таких ночей я пошел на пустынный берег Москва-реки, и мне пришла в голову мысль о возможности получить смертельную простуду. С этой целью, никем в темноте не видимый, я вошел в воду почти по пояс и оставался так долго, как только мог выдержать ломоту в теле от холода. Я вышел из воды с твердой уверенностью, что мне не миновать смерти от воспаления или другой какой-либо простудной болезни, а дома рассказал, что принимал участие в ночной рыбной ловле и случайно упал в воду. Здоровье мое оказалось, однако настолько крепким, что ледяная ванна прошла для меня без всяких последствий. Я не успел сделать еще какого-либо опыта с той же целью, ибо почувствовал, что не могу существовать при данных условиях, и написал брату Анатолию, чтобы он телеграфировал мне от имени Направника о необходимости приезда в Петербург, что Анатолий немедленно исполнил. Относительно моего пребывания в Петербурге я вспоминаю очень немногое, и то случайно. Помню жестокие нервные припадки, помню Балинского, отца, братьев, и только». «По словам Анатолия, когда он вышел встретить Петра Ильича на Николаевскую платформу, последнего нельзя было узнать, до того в течение месяца его лицо изменилось. Прямо из вагона его провели в ближайшую гостиницу «Дагмара», где после сильнейшего нервного припадка он впал в бессознательное состояние, длившееся около двух недель. Когда острый кризис миновал, доктора поставили единственным условием выздоровления полную перемену обстановки жизни. Съездив в Москву, наскоро устроив все дела Петра Ильича и поручив дальнейшие заботы об Антонине Ивановне своей семье, Анатолий Ильич увез больного за границу». См. Н. Кашкин, «Из воспоминаний о П. И. Чайковском», в сборнике «Прошлое русской музыки», т. I, П. 1920 (цит. на стр. 125—126); Ж. Ч., т. II, стр. 23—31 (цит. на стр. 30); Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском», М. 1896, гл. VII; Антонина Чайковская, «Из воспоминаний вдовы П. И. Чайковского», в «Петербургской газете», № 91 от 3 апреля 1894, и в «Русской музыкальной газете», № 42 от 20 октября 1913.

Чайковский писал брату Модесту из Петербурга 1 октября 1877 г.: «Я прихожу наконец в себя и возвращаюсь к жизни. В те минуты, в ужасные минуты, которые я пережил, меня поддерживала и утешала мысль об тебе и Толе. Только в эти минуты я понял, до какой степени люблю Вас обоих. Итак, несмотря на разлуку, я жил с тобой, потому что мысль о тебе не покидала меня; вы оба были той соломинкой, за которую я ухватился, и соломинка в виде Толи вынесла меня на̀ берег. Много пока не распространяюсь: я еще не настолько спокоен, чтоб написать целое письмо. Мне очень, очень горько, что не дождусь тебя здесь. Но ждать более нет сил. Нужно поскорей уехать и вдали осмотреться и одуматься». Ему же 5 октября из Берлина: «Не ожидай от меня описания всего пережитого мной в истекшем месяце. Я не могу еще без жгучей боли вспоминать об ужасах, через которые я перешел. Когда-нибудь расскажу». 17 октября из Кларана [Кларенса]: «По поводу твоего письма к Толе скажу одно: что бы ни случилось, но никогда я не соглашусь и одного дня провести с Антониной Ивановной! Я желаю ей всякого счастья, что не мешает мне глубоко ее ненавидеть. Скорее я соглашусь на какие угодно терзания, но лишь бы не видеть ее. Поэтому ты напрасно мечтаешь переделать ее и сделать из нее подходящую для меня подругу жизни. Во-первых, опыт доказал, что мне жить вдвоем с женой безумие. Во-вторых, уж если это и возможно, то никак не с А. И. Я не встречал более противного человеческого существа. Напрасно ты воображаешь, что она добродушна. Весьма заблуждаешься. Впрочем, не буду распространяться об ней. Она мне ненавистна, ненавистна до умопомешательства».

...ному № 37

[1] В тот же день, 26 октября 1877 г., Чайковский писал брату Модесту: «В ...время когда ты нуждаешься в деньгах, я внезапно сделался если не бога... то надолго совершенно обеспеченным человеком. Известная тебе ...ба прислала мне три тысячи франков и засим будет посылать ежеме... но полторы тысячи. Все это предложено с такой изумительною дели...ностью, с такой добротой, что мне даже не особенно совестно. Боже ...! до чего эта женщина добра, щедра и деликатна. В то же время и ...на удивительно, потому что она, оказывая мне такие неизмеримые ...уги, делает это так, что я ни на минуту не сомневаюсь в том, что ... делает это с радостью».

[2] Из того же письма к М. И. Чайковскому: «Последнее письмо [жены] ...зачательно тем, что из овцы, умилившей тебя до того, что даже в отда...ном будущем ты предположил возможность примирения между нами, ...вдруг явилась весьма лютой, коварной и хитрой кошкой. Я оказался ...анщиком, женившимся на ней, чтоб з а м а с к и р о в а т ь с я. Я ...дневно оскорблял ее, она много от меня претерпела, она ужасается ...му позорному пороку и т. д. и т. д. О, какая мерзость! Но чорт с ней. ...ьмо Саши тоже неприятно. По ее рассказу я заключаю, что уж если ...б и [племянник Володя] знает мою историю и осуждает меня, то чего ...ожидать от всех других! Не скоро, или, лучше сказать, никогда мне ...ерь нельзя будет показать носа в Каменку. Это очень грустно. Мне ...ль, что Саша увлеченная своим добрым сердцем, взяла к себе А. И.! ... не упростит, а усложнит дело. Теперь я уже написал А. И. мое абсо...тное решение не жить с ней. Засим я предоставил ей полную свободу ...рать место жительства и требовать от меня какого она хочет удо...творения. Но еще раз скажу: чорт с ней».

...ному № 44

...Алексей Иванович Софронов.

...ному № 46

Чайковский писал Н. Д. Кашкину 26 ноября 1877 г.: «Путешествие ...лию было чистым безумием. Ее богатство, ее ослепительная роскошь ...о бесили и раздражали меня. Нужно было (для брата) ходить по ...м и галлереям, и я был в состоянии совершенной неспособности ...каться какими бы то ни было художественными красотами».

...ному № 47

[1] ...пятницу 11 ноября 1877 г. в зале Российского благородного собра...ия состоялось второе Симфоническое собрание Р. М. О. Программа: ...йдн, Увертюра (D-dur), в первый раз; Серов, ария из 2-го акта оперы ...», исп. Юневич; Вьетан, Концерт для скрипки № 1 (E-dur), исп. ...али; Балакирев и Шуберт, Романсы, исп. Юневич; Бетховен, ...ия № 7 (A-dur).

...слух этот не соответствовал действительности. В консерваторских ...ругих говорили также, что Чайковский был влюблен в Баталину.

[3] Лебединое озеро», Неаполитанский танец (D-dur). Эта тема ис...ользована также в Детском альбоме, № 18: Неаполитанская песенка ...s-dur).

К письму № 48

[1] Карс — турецкий город и крепость. Взят русскими войсками 6 ноября 1877 года С 1921 г. вновь принадлежит Турции.

К письму № 50

[1] 18 ноября состоялось третье Симфоническое собрание Р. М. О. Про грамма: А. Рубинштейн, Симфония № 3 (A-dur), op. 56; Гендель, Хор из оратории «Саул»; Чайковский, Variations sur un thême rococo для вио лончели, в первый раз. исп. Фитценгаген; Бизе, Увертюра «Patrie!», в пер вый раз.

К письму № 53

[1] См. письмо № 30.

К письму № 54

[1] О смерти матери Чайковского см. Ж. Ч., т. I, стр. 79.

[2] Вероятно, тогда же Чайковский писал сестре. А. И. Давыдо «Не могу скрыть от тебя, что пребывание Антонины Ивановны среди Вас составляет самую чувствительную рану моего сердца. Я рад, что ты сош скала ее, но я не рад тому, что теперь всякому каменскому жителю извест моя история. Как я покажусь теперь среди Вас, когда и Беби даже об няет меня, когда и ему все известно, как я теперь встречусь с Александ рой Ивановной [Давыдовой] и всеми остальными жителями большого дома? Нужно много-много времени, чтоб без невыносимых нравственных терзаний очутиться в Вашей столь дорогой, столь необходимой для мо счастья среде». (В архиве сохранилась часть письма, не датированная

[3] О том же впечатлении от балета писал Чайковский С. И. Танееву 7/19 декабря 1877 года. См. «Письма П. И. Чайковского и С. И. Танеева», изд. Юргенсона [1916], стр. 17.

К письму № 55

Датируется в соответствии с письмом № 54.

К письму № 56

[1] Следующих четырех фраз в копии нет. Воспроизводятся по публикации М. И. Чайковского. См. Ж. Ч., т. II, стр. 55.

[2] Чайковский впервые видел «Кармен» в январе 1876 г. в Париже. Опера произвела на него огромное впечатление. См. Ж. Ч., т. I, стр. 478—479.

[3] Чайковский писал С. И. Танееву 7/19 декабря 1877 г.: «В Вене я слышал «Валькирию» Вагнера и имел случай проверить свое первое байрейтовское впечатление. Если в самом деле музыке суждено иметь в лице Вагнера своего главного и величайшего представителя, то можно притти в отчаяние. Неужели это последнее слово искусства, неужели этой претенциозной, тяжеловесной и бездарной дребеденью будут наслаждаться грядущие поколения, подобно тому как мы теперь наслаждаемся Девятой симфонией [Бетховена], в свое время признававшейся тоже чепухой?! Если да, то это ужасно» (указанн. изд., стр. 16—17). О Байрейтских торжествах см. Ж. Ч, т. I, стр. 490 и сл., и П. И. Чайковский «Музыкальные фельетоны и заметки», М. 1898, стр. 323—353.

К письму № 57

[1] Не совсем так. Увертюра «Ромео и Джульетта» была исполнена в Вене в ноябре 1876 г. под управлением Ганса Рихтера. Во время исполнения раздалось несколько шиканий, и вскоре в «Neue Freie Presse» появилась ругательная статья. Большинство же отнеслось к произведению с интересом и одобрением. См. Ж. Ч., т. I, стр. 513 и сл.

[2] Чайковский посетил Листа во время Байрейтских торжеств.

[3] Елена — болгарский город, 22 ноября 1877 г. занятый войсками Сулейман-паши. Дальнейшее наступление его было задержано.

К письму № 58

[1] Чайковский писал брату Анатолию после его отъезда: «Возвратившись домой в самом отвратительном состоянии, я был встречен Алешей и тотчас же, как и следовало ожидать, подвергся сильному истерическому припадку. Я целый день боролся со слезами и очень желал остаться победителем, но тут, увидя опустелые комнаты и сознавши всю великость утраты, которую я сделал с твоим отъездом, я потерял силу владеть собой... Мне бы хотелось словами выразить тебе, как я тебя люблю, но нет слов. Это бездонная пропасть любви». «Ты и представить себе не можешь, до чего я тоскую об тебе, до чего Венеция, Hôtel Beau Rivage, все, все мне отвратительно, потому что все это живо напоминает мне тебя, а ты где-то далеко... И как я бесконечно люблю тебя! Только теперь, когда тебя нет, я сознаю всю силу моей любви к тебе и мучаюсь, что, пока ты был со мной, я не умел выразить тебе этой любви. И это всегда так со мной» (письма от 1 и 2 декабря 1877 г.).

К письму № 59

Письмо писалось в течение двух дней. Основание датировки: дата Мекк в начале письма и фраза в конце: «Послезавтра Симфоническое собрание» (состоявшееся 2 декабря).

[1] 2 декабря состоялось пятое Симфоническое собрание. Программа: Бах, Сюита (h-moll); Шуман, Концерт для ф.-п. (a-moll), ор. 54, исп. Танеев; Мендельсон-Бартольди, «Первая Вальпургиева ночь», баллада Гете, исп. учен. консерватории.

К письму № 61

[1] В Музее Чайковского сохранился любопытный документ, который может служить иллюстрацией душевного состояния Чайковского в то время, — книга: Evripidis Poëtae Tragici Tres Tragoediae, Phoenissae Hippolytus coronatus, atque Andromacha. De graecis olim Latino carmine conuersa nunc primum edita: auctore Georgio Ratallero. Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1581, — с собственноручной надписью: «Украдена из библиотеки Палаццо Дожей в Венеции 3/15 декабря 1877 года Петром Чайковским, надворным советником и профессором консерватории».

[2] Присланный в Москву первый акт «Евгения Онегина» был сыгран по рукописи на фортепиано С. И. Танеевым на квартире Н. Г. Рубинштейна в присутствии Альбрехта, Кашкина и др. Об успехе известил Чайковского Альбрехт. См. Ж. Ч., т. II, стр. 57—59, и Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском», стр. 115 и сл.

К письму № 62

[1] Чайковский писал брату Анатолию в тех же числах: «От Н. Ф. не получил покамест ничего, кроме известия о взятии Плевны. Это меня очень удивляет. У меня в кармане десять лир» (3 декабря 1877 г.). «Кстати о M-me Мекк. Сегодня пятое число, а о деньгах ни гу-гу. Теперь у меня в кармане всего три лиры, и если и завтра ничего от нее не будет, то придется принять какие-нибудь меры» (5 декабря). «Получил сегодня утром Н. Ф. [письмо] с векселем. Она прислала мне денег разом на два месяца. Письмо ее на восьми листах опять с философией. Это письмо написано гораздо лучше и яснее предыдущего. Между прочим, она очень трогательно рассказывает о периоде, когда она жила с мужем и пятью детьми, имея двадцать копеек в день на расходы. Вообще письмо доставило мне большое удовольствие» (6 декабря). «Боже мой! Что бы я делал без M-me Мекк! Да будет тысячу раз благословенна эта женщина!» (9 декабря).

[2] Вопрос о «Персидских песнях» Мекк задала в письме, до нас не дошедшем (см. письмо № 67). Точное название первого издания: «12 персидских песен и романсов. Перевод П. Чайковского. Музыка А. Рубинштейна». Op. 34. Изд. Юргенсона, М. 1870.

К письму № 64

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от того же числа, 12 декабря 1877 г.: «Только благодаря венецианской однообразной жизни и отсутствию всяких развлечений я мог так упорно и так усидчиво заниматься. Когда я писал оперу [«Евгений Онегин»], я не испытывал того чувства, какое дает мне симфония. Там я пишу наудачу, — может быть, годится, а может быть, ничего не выйдет. Симфонию я пишу с полным сознанием, что это произведение недюжинное и наиболее совершенное по форме из всех моих прежних писаний».

К письму № 65

Письмо писалось в течение трех дней. Основание датировки: дата в начале письма Мекк и фраза в конце: «В Симфоническом собрании на послезавтра...» (т. е. 16 декабря; см. прим. 3).

[1] 9 декабря 1877 г. состоялось шестое Симфоническое собрание Р. М. О. Программа: Моцарт, Симфония (Es-dur); Чайковский, ария Оксаны из оп. «Кузнец Вакула», исп. Милорадович; Бетховен, Концерт для скрипки (D-dur), ор. 61, исп. Бродский; Даргомыжский и Шуберт, Романсы, исп. Милорадович; Лист, Симфоническая поэма «Тассо».

[2] В корреспонденции из Москвы («Московские заметки»), напечатанной в «Голосе», № 298 от 6 декабря 1877, есть краткое упоминание об исполнении «Вариаций» Чайковского (положительная оценка).

[3] Программа Симфонического собрания, состоявшегося 16 декабря: Глюк, Увертюра «Ифигения в Авлиде»; Ф. Киль, Хоры из Реквиема; А. Рубинштейн, Концерт для ф.-п. № 3 (G-dur, а не g-moll, как ошибочно назвала его фон-Мекк) исп. Вильборг; Брамс, Симфония (c-moll), ор. 68.

К письму № 66

[1] См. письмо № 102.

[2] Эта тема использована Чайковским дважды: в Детском альбоме № 23 («Шарманщик поет»; G-dur) и в ор. 40, № 12 («Прерванные грезы»; As-dur).

К письму № 70

[1] По поводу предложения принять на себя обязанности делегата на Всемирной выставке 1878 г. в Париже Чайковский писал Н. Г. Рубинштейну: «Я в таком положении, что с моей стороны было бы безумием отказаться от предложения быть членом выставочного комитета. Напиши мне, что я должен там делать. Давыдов говорил уже об этом Толе, но я хорошенько не понимаю, в чем дело» (11 октября 1877 г.). «Сегодня получил официальное извещение, что я назначен делегатом в Париж и что нужно скорее туда ехать. Это ужасно! В первую минуту я хотел телеграфировать: «Не хочу», но теперь одумался, и мне кажется, что ехать нужно. Но что я буду там делать? Ради бога, научи» (21 декабря). «Я не могу ехать в Париж. Это не малодушие, это не лень, но я не могу. Я все эти три дня, с минуты получения известия о моем назначении, совершенно болен, я с ума схожу. Лучше смерть, чем это. Хотел себя переломить, но ничего из этого не вышло. Я знаю теперь по опыту, что значит мне переламывать себя и итти против своей натуры, какая бы она ни была. Я не могу видеть людей, мне необходима изолированность от всякого шума и суеты. Словом, если ты хочешь, чтобы я возвратился в твои объятия целым, не требуй, чтобы я ехал в Париж. Из этого не выйдет ничего хорошего ни для русской музыки, ни лично для меня. Если бы ты видел, что со мной делается, ты бы сам отсоветовал мне ехать. Спокойствие, спокойствие, спокойствие и работа — вот две вещи, которые мне теперь нужны. Ради бога, прости!» (23 декабря). Из письма к А. И. Чайковскому от 23 декабря: «Я знаю, что теперь, решившись отказаться от делегатства, я буду мучиться от мыслей, что я был малодушен, что ты, M-me Мекк и другие будете этим недовольны, и т. д., но все-таки это лучше чем то, что со мной было эти дни, с минуты получения письма от Бутовского. Я тебе могу сказать теперь откровенно. С тех пор как ты уехал, здоровье мое физическое ничего, но нервы стали хуже. Я от тебя скрывал одну вещь, в которой теперь признаюсь. С того дня, как ты уехал, и до сегодня я каждый вечер перед сном выпиваю несколько рюмок коньяку; днем я тоже ужасно пью. Я не могу обойтись без этого. Я бываю спокоен, только когда немножко пьян. Я так пристрастился к этому тайному выпиванию, что один вид бутылки с коньяком, который всегда держу при себе, меня радует. И письма писать я могу только выпивши. Это служит тебе доказательством, что я еще болен. В Париже, чтоб поддержать себя, мне пришлось бы пить с утра до вечера».

Переписка Чайковского с Рубинштейном опубликована в книге: «История русской музыки в исследованиях и материалах», т. I.

[2] Об этой поездке см. Ж. Ч., т. I, стр. 408 и сл.

К письму № 71

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от того же числа, 24 декабря 1877 г.: «Кстати о M-me Мекк. Она мне давно не писала, и, конечно, по свойственной мне подозрительности, я уже вообразил, что она меня разлюбила, что она узнала про *то* и хочет прекратить всякие сношения. До сегодняшнего утра я был даже уверен в этом. Но получил именно сегодня утром письмо от нее и такое милое, такое ласковое, с такими искренними изъявлениями любви. Хороший человек эта Филаретовна!».

[2] Имеется в виду кружок «Могучая кучка». Это название дано группе композиторов, образовавших в шестидесятых годах «новую русскую школу» (Балакирев, Бородин, Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков).

К письму № 73

[1] О четвертой симфонии Чайковский писал Н. Г. Рубинштейну: «Весьма может статься, что по первому взгляду она тебе не понравится, но не спеши произносить решительного приговора, а напиши мне свое откровенное мнение после ее исполнения. Я надеюсь, что ты не откажешься дать ей место в одном из последних концертов. Что касается меня, то мне кажется, что это лучшая моя работа. Из двух моих детищ последнего времени, т. е. оперы и симфонии, я отдаю предпочтение последней» (1 января 1878 г.). Из письма к П. И. Юргенсону: «Я чрезвычайно желаю, чтобы клавираусцуг этой вещи был сделан б е з у к о р и з н е н н о хорошо. Я не только не желаю никакого гонорара, но готов сам приплатить сколько угодно, т. е. сколько могу, дабы эта симфония была хорошо переложена, хорошо напечатана, а главное, хорошо корректирована. Реши сам, кому предложить клавираусцуг, но только одному из двух: или Клиндворту или Танееву; и тому и другому нужно дать хороший гонорарий, но первому, вероятно, больше, чем второму. Словом, приложи, о мой милый издатель, все старания, чтобы симфония была издана на славу» (12 января).

К письму № 74

[1] Из писем к А. И. Чайковскому: «Трудно мне выразить, как я люблю Колю... Какое счастье иметь около себя такого ребенка, как приятно его ласкать, лелеять» (1 января 1878 г.). «Я с каждым днем все больше и больше влюбляюсь в Колю... Я не знаю ни одного ребенка с более приятным нравом, более нежного, мягкого» (4 января).

К письму № 76

[1] Hans von Bülow, «Reise-Recensionen» — «Signale für die Musikalische Welt», Leipzig, 1877. Перепечатано в книге Бюлова «Ausgewählte Schriften (1850—1892)», Leipzig, 1896, стр. 385.

К письму № 78

[1] Ответ Чайковского Альбрехту см. в Ж. Ч., т. II, стр. 83—87.

[2] В тот же день, 9 января 1878 г., Чайковский писал брату Анатолию: «M-me Мекк продолжает разыгрывать относительно меня роль бодрствующего и пекущегося обо мне провидения. Вскоре после того как Модя, успокоивши меня, ушел гулять с Колей, является почтальон с письмом (lettre chargée) от Н. Ф. Раскрываю. Прежде всего она говорит мне, что радуется моему отказу от делегатства, тогда как я боялся, что она рассердится. Потом пишет по обыкновению тысячу нежностей и, наконец, посылает мне вексель в 1500 франков сверх абонемента на издание симфонии. Нужно тебе сказать, что я теперь далеко не в блестящем денежном положении. Мои деньги давно уже разошлись, и остались только деньги Модеста. Эти 1500 весьма кстати. Что это за непостижимая женщина! Она угадывает, когда и как мне написать, чтоб утешить меня. Модест по возвращении не мог притти в себя от изумления деликатной утонченности ее милого письма».

[3] До 1878 г. Чайковский сделал следующие переложения своих оркестровых произведений: Вторая симфония для ф.-п. в 4 руки; Датский гимн (ор. 15) для ф.-п. в 4 руки; Славянский марш (ор. 31) для ф.-п. в 2 руки; Вариации рококо для виолончели с оркестром (ор. 33) для виолончели с ф.-п.; ф.-п. Юмореск (ор. 10) для скрипки с ф.-п.

[1] Чайковский писал П. И. Юргенсону 4 февраля 1878 г.: «Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что при самой рациональной тщательной постановке [опера] может нравиться и на сцене. Но для такой постановки нужно, чтобы исчезли рутинные, ходульные казенные приемы и чтобы я и м е л п р а в о требовать всего, что я считаю необходимым для того, чтоб опера была обставлена как следует. Вот почему я никогда не сделаю первого шага к постановке оперы на казенном театре и буду ждать, чтоб меня униженно просили об ней. Тогда я скажу: извольте, но в таком случае так и так; а не так — так ну вас к матери! Что касается постановки в консерватории, то это будет для «Онегина» большим счастьем. Там будут петь птенцы, но зато не будет рутины. Консерватория должна дать образец постановки этой оперы, и я заранее знаю, что в о б щ е м эта постановка не оставит ничего желать. Что касается того, что в консерватории нет вполне достойных и подходящих исполнителей, то их еще меньше в казенном театре».

К письму № 80

[1] Paul Janet, «La métaphysique en Europe depuis Hegel»; E. Caro, «La maladie du pessimisme au dixneuvième siècle» — «Revue des Deux Mondes». 1877, тт. 20, 21, 24.

К письму № 81

[1] М. Ф. Рейнер.

[2] 5 февраля 1878 г. состоялось в Малом зале Благородного собрания третье квартетное собрание Р. М. О. второй серии. Программа: Шуман, Квартет № 3 (A-dur), ор. 41; Боккерини, Соната № 2 для виолончели, исп. Грюцмахер; Бетховен, Квартет (cis-moll), ор. 131. Исполнители: Гржимали (первая скрипка), Лойко (вторая скрипка), Бродский (альт), Грюцмахер (виолончель).

[3] См. письмо № 87.

[4] Н. Г. Рубинштейн написал девять пьес для ф.-п., изданных после его смерти Юргенсоном под названием: «Souvenir-Album. 1835—1881».

К письму № 82

[1] Письмо Н. Г. Рубинштейна в архиве не сохранилось. Чайковский ответил 14 января 1878 года. Он писал между прочим: «Что касается M-me Мекк, то, во-первых, ты жестоко заблуждаешься насчет ее характера и ее отношений ко мне, в которых ты не играл и не играешь никакой роли, а во-вторых, твой п о п р е к, что я получаю ее субсидии по т в о е й и н и ц и а т и в е, я нашел бы неуместным, даже если бы это и было действительно так. Я не могу рассказывать тебе всю историю моих сношений с M-me Мекк, ибо это было бы очень длинно, да оно и излишне. Я тебя умоляю об одном только по этому поводу, это чтобы к р о м е т е б я и К а р л у ш и [Альбрехта] н и к т о н и ч е г о н е п о д о з р е в а л. Для меня было бы крайне неприятно, если бы до нее дошло, что кроме меня кто-нибудь знает о наших отношениях с ней *... Я тебе должен сказать, что все твои н а м е к и на M-me Мекк, несмотря на твои дружеские побуждения, за которые я тебе очень благодарен, могли только и с п о р т и т ь мои отношения к ней и очень ее обеспокоили,

* Чайковский в письме от 10 ноября 1877 г. конфиденциально сообщил Рубинштейну о своем знакомстве с Мекк, объяснив ему, на какие средства он предпринял путешествие за границу.

так как она из твоих слов заключила, что тебе известны предыдущие мои отношения к ней, о которых она желала сохранить величайшую тайну [*см. письмо № 35*]. Относительно этой женщины я тебе не могу не сказать, что никогда доброта, деликатность, щедрость, безграничное великодушие ни в одном человеке не соединялись с такой полнотой, как в ней. Я ей обязан не только жизнью, но и тем, что могу продолжать работать, а это для меня дороже жизни. Мне было за нее обидно, что ты и ее так же мало понимаешь, как и меня. Она именно н е в з б а л м о ш н а. Для меня это просто какая-то неоскудевающая рука провидения. Нужно знать ее, как я теперь ее знаю, чтобы не сомневаться в том, что есть еще люди, столь непостижимо добрые и доверчивые. Моя же роль относительно ее очень незавидна. Я просто э к с п л о а т и р у ю ее доброту, и это было бы для меня очень мучительным сознанием, если бы она не умела успокаивать и заглушать упреки моей совести».

[2] О Рубинштейне Чайковский писал брату Анатолию: «Как я прав, не любя этого человека! Как он бессердечен, сух и помешан на своей роли благодетеля! Я ему раз навсегда объяснил, что я совсем не так много ему обязан, как он думает. Весьма противно мне будет попасть в Москве опять под его иго» (14 января 1878 г.). «Все элементы антипатии и ненависти к Рубинштейну, бессознательно бродящие на дне моего сердца, забушевали с неудержимой силой... Знаешь, что я вижу в основании всего этого? Опять все то же. Шантаж! Дескать, с своей позорной репутацией, благодари судьбу, что я еще держу тебя... Рубинштейн прав, если хочешь, говоря, что я блажу. Это верно. Но ведь единственная моя болезнь в том и состоит, что я блажу и не могу не блажить» (15 января).

К письму № 83

[1] См. письмо № 276.

К письму № 84

[1] Речь идет о девяти посмертных сочинениях М. Глинки для пения с ф.-п., изданных Юргенсоном. Участие Чайковского в этом издании на нотах не обозначено.

К письму № 85

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от 20 января: «Вечером получил письмо от M-me Мекк, которое взволновало меня. Письмо по обыкновению и даже более обыкновенного наполнено изъявлениями любви. Но, вместе с тем, она опять жалуется на какую-то неприятность, случившуюся с ней, и хотя не называет виновника, но по тем насмешкам и ироническим замечаниям, которыми она отделывает Рубинштейна, а также по разным другим намекам я имею основание заключить, что виновник неприятности именно он, Рубинштейн. Я даже понял из ее письма, что Рубинштейн был у нее и говорил про меня. Отсюда и из сопоставления этого факта с письмом его я догадываюсь, что Рубинштейн ездил к ней хлопотать, чтобы она перестала высылать мне деньги, так как я приучаюсь к лени и т. д. Хорош господин! Фу, какая сволочь!».

К письму № 86

[1] В письме речь идет о ф.-п. концерте b-moll. Чайковский предполагал посвятить его Н. Г. Рубинштейну, но после этого эпизода решение изменил и посвятил Гансу Бюлову, который сразу же включил его в про-

грамму своих концертов и исполнил в Бостоне (первое исполнение). Впоследствии Рубинштейн оценил произведение и часто играл его (также и на Всемирной выставке 1878 г.). См. Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском», стр. 93 и сл.

К письму № 87

[1] В пятницу 27 января 1878 г. состоялось восьмое Симфоническое собрание Р. М. О. Программа: Глинка, Увертюра и антракты к «Князю Холмскому» (соло исп. Святловская); Вагнер, Сцена из последнего действия «Валькирии», исп. Мельников; Вьетан, Концерт для скрипки № 4 (d-moll), ор. 31, исп. Барцевич; Даргомыжский, Ария из оп. «Каменный гость», и Моцарт, Серенада из «Дон-Жуана», исп. Мельников; Берлиоз, Увертюра «Римский карнавал».

К письму № 88

[1] Мекк имела в виду Зильберштейна. У него вышло недоразумение с Рубинштейном, а потому он вскоре оставил Московскую консерваторию и переехал в Петербург.

К письму № 89

[1] Братья писали Чайковскому за границу: «Я так бываю счастлив, так доволен получать [твои письма] так часто, с такою гордостью сообщаю всему Петербургу наисвежейшие новости на твой счет. Говоря «весь Петербург», я не преувеличиваю. Твоя болезнь страшно популярна здесь и служит вместе с военными известиями предметом разговора, начиная от гостиной вел. кн. Константина Николаевича и кончая столбцами газеток, вроде «Петербургского листка». Почти во всех газетах было помещено, не знаю кем, опровержение слуха о том, что ты будто с ума сошел, с обозначением даже Кларанса как места твоего пребывания на зиму. Люди, с которыми я едва знаком, останавливают меня на улице и в театрах, чтобы спросить о тебе, и все, кого ни вижу из хороших знакомых, справляются об адресе твоем, чтобы писать тебе. Я призадумался бы писать тебе об этом шуме, наделанном твоею болезнью, зная, как ты не любишь заставлять говорить о себе вне твоей музыкальной деятельности, если бы я в этом всеобщем интересе к тебе в большинстве случаев не находил очень много сочувствия и большого участия» (М. И. Чайковский, 9 ноября 1877 г.). «В Москве теперь, конечно, было бы тебе неприятно. Сплетен столько, что и не приведи бог. Все они, правда, в твою пользу, да что ж из этого. Я все-таки понимаю, что тебе было бы здесь неловко, неприятно» (А. И. Чайковский, 14 декабря).

К письму № 90

[1] Скончался Пий IX, занимавший папский престол с 1846 года. (При нем в 1870 г. была уничтожена светская власть папы, и папа объявил себя «ватиканским пленником».) На его место был избран Лев XIII.

К письму № 91

[1] Имеются в виду гастроли Н. Г. Рубинштейна в пользу Красного креста.

[2] Мекк прислала вырезку из № 29 «Московских ведомостей» от 30 января 1878 года. В газете сообщалось, что на последнем Симфоническом соб-

рании будет исполнена новая симфония Чайковского, «талантливого композитора, которого болезнь на целый год разлучила с Москвой».

[3] Лермонтов, «Родина».

[4] Мекк имела в виду увлечение Чайковского артисткой Дезире Арто. См. прим. к письму № 24.

К письму № 92

[1] Чайковский боялся, что Рубинштейн выдал его, дав понять Мекк, что ему от Чайковского известны их взаимоотношения. См. прим. к письму № 82.

[2] Ответ Чайковского Рубинштейну, датированный 30 января/11 февраля 1878 г., напечатан в «Истории русской музыки», стр. 177—178.

К письму № 93

[1] Чайковский тогда же писал брату Анатолию: «... Вернувшись домой, нашел письмо от Н. Ф. chargée. На сей раз вместо трех тысяч она прислала четыре. Хотелось бы, чтобы это была последняя присылка. Не знаю, отчего, но мне на этот раз как-то тяжело было сознание своей эксплоатации изумительной щедрости этой женщины» (31 января 1878 г.). «После завтрака и прогулки я написал большое письмо Н. Ф. Представь себе, что чуть ли не в первый раз в нашей переписке я затруднялся в выражениях. Оттого ли, что совестно, оттого ли, что трудно вечно благодарить и благодарить, только я порядком помучился, прежде чем написал» (1 февраля).

К письму № 97

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от того же числа, 9 февраля 1878 г.: «Весь вечер я писал ответ Н. Ф., от которой письмо ожидало меня во Флоренции. Письмо это [от 30 января]—на восьми листах, необыкновенно, както особенно милое и нежное. Пришлось и мне отвечать длинным письмом».

[2] М. И. Чайковский писал повесть «Трутни» (не опубликована).

К письму № 98

[1] Четвертая симфония была исполнена в десятом Симфоническом собрании 10 февраля 1878 года. Кроме симфонии, в программе был Мендельсон, музыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Большого впечатления ни на публику, ни на прессу симфония не произвела. Большинство газет умолчало, в других были краткие и сдержанные упоминания. В № 46 «Московских ведомостей» отмечалось: «Как симфонист, помимо многих достоинств, Чайковский особенно поражает богатством и оригинальностью инструментовки... Техническая сторона по обыкновению безукоризненна». См. Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском», стр. 119—120; письмо С. И. Танеева к Чайковскому от 18 марта 1878 г. (Переписка, стр. 27) и прим. к письму № 231.

[2] В феврале—апреле 1878 г. Чайковский написал шесть романсов (четыре на слова А. К. Толстого, один на слова Лермонтова и Флорентийскую песню с русским текстом композитора), посвященных А. И. Чайковскому, и двенадцать фортепианных пьес, посвященных М. И. Чайковскому. Произведения эти составили opp. 38 и 40.

К письму № 99

[1] Этот девиз помещен в монограмме Мекк, отпечатанной на ее почтовой бумаге.

К письму № 101

[1] Очевидно, письмо Мекк от 12 февраля сохранилось в копии не все: в нем нет ни этих подробностей, ни этого вопроса. По поводу письма Мекк Чайковский писал брату Анатолию 17 февраля: «Получил письмо от М-me Мекк, которая в восторге от моей симфонии. Какая она милая! Как тепло и лестно ее письмо! Заметь, что из моих московских друзей никто и ничего мне покамест не пишет о симфонии».

К письму № 102

[1] В письме к А. И. Чайковскому от 18 февраля 1878 г. так описана встреча с этим мальчиком: «Ровно в девять часов я подошел к месту, где должен был меня ожидать человек, обещавший найти его. И этот человек был тут, и какая-то толпа других мужчин с любопытством ожидала меня, и центром всего этого был наш мальчик. Прежде всего я заметил, что он немножко вырос и что он красив, тогда как мне с тобой показалось тогда [в декабре 1877 г.], что он невзрачен. Так как толпа все увеличивалась и место людное, то я направился подальше по направлению к Кашино. Дорогой я изъявил сомнение, что это он. «Вы услышите, когда я запою, что это я был. Вы мне тогда дали серебряный полфранка!». Все это говорилось чудным голосом и проникало до глубины души. Но что со мной сделалось, когда он запел! Описать этого невозможно. Я думаю, что ты не сильнее наслаждаешься, когда услышишь пение П[анаевой]! Я плакал, изнывал, таял от восторга. Кроме известной тебе песни, он спел еще две новых, из которых одна, «Pimpinella», прелестная. Я вознаградил его щедро».

«Pimpinella» помещена Чайковским среди романсов в ор. 38. См. письмо № 66.

К письму № 104

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от 27 февраля 1878 г.: «Я совершенно здоров, совершенно был бы счастлив, если б не беспокойство о тебе. Ах, Толя, как мне теперь кажется смешна вся трагедия, разыгравшаяся нынешнею осенью! Как это было дико и глупо! Но если трагедия оказалась теперь лишь водевилем, то это благодаря тебе, именно тебе, да еще Н. Ф. Господи, сколько я должен быть благодарен этой чудной женщине и как я боюсь привыкнуть начать смотреть как на нечто должное мне на все, что она для меня делает! Никогда, никогда я не в состоянии буду доказать искренность моей благодарности. Я теперь уж стал затрудняться писать ей. В сущности, все мои письма к ней должны бы были быть благодарственными гимнами, а между тем, нельзя же вечно изобретать новые фразы для выражения благодарности!».

К письму № 106

[1] В то время во всех газетах сообщалось об эпидемиях, свирепствовавших в России. Распространялись заразные болезни, особенно тиф, через пленных турок (официальное объяснение).

К письму № 109

Письмо писалось в течение двух дней. Основание датировки: дата письма Мекк и дата концерта Папендик-Эйхенвальд (7 марта).

[1] 5 марта в зале Московской городской думы состоялся концерт из произведений Баха, Бетховена, Брамса, Гуно, Сен-Санса, Шумана и др.

Исполнители: Люценко (пение), Лойко (скрипка), Брандуков (виолончель), Конев (ф.-п.).

[2] В пятницу 10 марта в зале Благородного собрания состоялся концерт Н. Г. Рубинштейна из произведений Чайковского (ф.-п. концерт), Бетховена, Мендельсона, Шопена, Шумана. Оркестром дирижировал Э. Л. Лангер. См. письмо № 112.

[3] 7 марта в Большом театре состоялся устроенный И. И. Папендик-Эйхенвальд большой вокальный и инструментальный концерт с участием учеников консерватории и оркестра московских оперных театров под управлением Н. Г. Рубинштейна. Среди прочих номеров был исполнен Славянский марш Чайковского.

[1] Имеется в виду Вениамин Дизраели, граф Биконсфильд, сын крещенного еврея.

[2] Лермонтов, «Демон», IX.

К письму № 110

[1] Письма А. Н. Серова печатались в «Русской старине» в 1875—1878 гг.

[2] Знакомство Чайковского с Серовым относится к 1863 году. Симпатию к «Юдифи» он сохранил до конца своей жизни. См. Ж. Ч., т. I, стр. 178 и сл.

[3] «Серенада Дон-Жуана» на слова А. К. Толстого включена в ор. 38.

[4] Эпизод этот относится к 1861 году. См. Ж. Ч., т. I, стр. 133—134, 139 и сл.

[5] «До сих пор еще ни один из московских приятелей не прислал мне ни единого сочувственного слова по поводу этой симфонии. А я-то, дурак, ожидал, что все будут тронуты, потрясены, восхищены!» (А. И. Чайковскому, 7 марта 1878 г.). «Я серьезно был огорчен и обижен. Мне казалось, что симфония стоила того, чтоб меня друзья хотя немножко похвалили... Если симфония не понравилась, то ведь можно было прямо так и написать. Я не требовал восторгов и похвал, хоть и желал их. Но и з в е с т и й я имею право ожидать и требовать» (К. К. Альбрехту, 9 марта 1878 г.).

К письму № 111

[1] Из письма к П. И. Юргенсону от 15 марта 1878 г.: «Я кончаю скрипичный концерт. Как-то совершенно случайно я набрел на мысль о нем, сел, увлекся, и теперь черновая работа уже почти готова».—Концерт для скрипки и оркестра (ор. 35) был начат в первых числах марта, закончен 16—20. Andante, исполненное Котеком, не понравилось Чайковскому, и 22—24 марта он написал новое. В 20-х числах апреля концерт был инструментован. Первое издание (D. Rather, Гамбург) посвящено Ауэру, второе (Юргенсона) и последующие — Бродскому, который в первый раз исполнил концерт в Вене в 1879 году.

К письму № 113

[1] 16 апреля 1866 г. (а не 1864 г.) на обеде в Английском клубе Некрасов прочитал стихи в честь гр. М. Н. Муравьева, зверски усмирявшего польское восстание 1863—1864 гг.

К письму № 114

[1] «Франческа да-Римини» была исполнена в Петербурге 11 марта 1878 г. на восьмом Симфоническом собрании Р. М. О., под управлением Э. Ф. Направника. По этому поводу Чайковский писал брату Анатолию

16 марта: «Меня немножко удивляет, что я ни от кого не получил депеши по поводу исполнения «Франчески». Неужели она не произвела никакого эффекта? Неужели она была скверно исполнена? Неужели ни одному человеку она не внушила в голову мысль уведомить меня, что она сыграна и понравилась?.. Если она никому не понравилась, то это значит, что Направник нарочно провалил ее. При хорошем исполнении она не может не произвести эффекта».—После концерта Ларош поместил в «Голосе», № 93, 1878 сочувственную рецензию (перепечатана в его «Собрании музыкально-критических статей», т. II, М. 1924, стр. 43 и сл.). См. также письмо С. И. Танеева к Чайковскому от 18 марта 1878 г. (Переписка, стр. 26).

К письму № 115

[1] 16 марта 1878 г. в Петербурге, в зале Дворянского собрания, состоялся концерт Н. Г. Рубинштейна в пользу Красного креста. Оркестром управлял К. Ю. Давыдов. В программе: ф.-п. концерт Чайковского и др.

[2] 28 марта состоялось экстренное Симфоническое собрание в пользу фонда, учрежденного при московском отделении Р. М. О., для вспомоществования вдовам и сиротам артистов. Программа: Вагнер, Увертюра к оп. «Тангейзер»; Бетховен, Тройной концерт для ф.-п., скрипки и виолончели, с оркестром (C-dur), op. 56 (исп. Рубинштейн, Гржимали, Фитценгаген); Чайковский, Музыка к сказке Островского «Снегурочка» (исп. пение соло Святловская и Додонов, читали Никулина и Самарин).

[3] Сведения эти Мекк прочитала, вероятно, в «Нувеллисте», № 2, февраль, 1878: „«Сен-Марс» Гуно торжественно провалился в Милане, на театре «La Scala», несмотря на присутствие композитора, лично дирижировавшего оркестром. В сцене приготовления Сен-Марса и де-Ту к смертной казни, когда действующие лица только разговаривают под музыку, в зале поднялся шум, смех, свистки, совсем было помешавшие окончанию оперы. Гуно был вызван раз пять, не более, что совсем мало для итальянской сцены, тем более, когда идет дело о столь любимом в Италии композиторе, как автор «Фауста»".

К письму № 117

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от 18 марта 1878 г.: «Во мне не осталось никаких следов болезненного состояния души. Я сделался совершенно таким, каким был до катастрофы. На самую катастрофу привык смотреть как на проявление сумасшествия, мании. О будущем вообще думаю без всякого страха».

К письму № 118

[1] Восстание сипаев (индийских туземных войск) против британского владычества началось 10 мая 1857 г. и приняло огромные размеры. Основное ядро восставших было разбито через несколько месяцев, но в отдельных районах война продолжалась полтора года.

К письму № 120

[1] Непонятно, почему в газетной заметке появилась фамилия композитора Виктора Кажинского, умершего в 1870 году. Возможно, что спутали с А. Контским.

К письму № 122

[1] «Нувеллист», № 1, 1878.
[2] См. прим. 2 к письму № 115.
[3] См. прим. 1 к письму № 115.

К письму № 123

[1] Фитценгагену Чайковский писал по-русски в письме к Альбрехту от 14 февраля 1878 г., прося Альбрехта перевести письмо для Фитценгагена на немецкий язык. В конце он писал: «...В таких обстоятельствах я не мог не притти к тому заключению, что для меня не только нет никакой выгоды ждать, пока берлинскому джентльмену вздумается оказать мне честь гравирования моих сочинений, но и несколько унизительно подвергаться капризам какого-то голландского ... (смягчи выражение!), когда я ни мало в нем не нуждаюсь. Поэтому прошу Вас, милый друг, взять на себя труд написать этой колбасницкой ж... (смягчи выражение!), что я решительно отказываюсь отдать ему мои пьесы, даже если он предложит мне 300 миллионов марок за каждую. Я требую от мерзкого колбасника (смягчи выражение!), чтоб он тотчас же прислал обе рукописи г. Юргенсону. Кстати, прибавьте, что если он когда-нибудь вздумает опять предлагать мне гонорарий за ту или другую пьесу, то я намерен ..... ему на рыло (смягчи выражение!)».

К письму № 126

[1] Н. Ф. Христианович, «Шопен (Письма из провинции)» — «Русский вестник», № 9, 1857; его же, «Письма о Шопене, Шуберте и Шумане», изд. Юргенсона, М. 1876.

К письму № 127

Письмо писалось в течение пяти дней. Основание датировки: дата письма Мекк и дата сообщения в «Московских ведомостях» (см. прим. 3).

[1] 24 января 1878 г. Засулич выстрелила в петербургского градоначальника Трепова, отдавшего приказание высечь политического заключенного Боголюбова (Емельянова), за то что он не снял перед Треповым шапки. 31 марта присяжные заседатели вынесли Засулич оправдательный приговор. См. А. Ф. Кони, «Воспоминания о деле Веры Засулич» — сборник «Звенья», II, изд. «Academia», М.—Л. 1933.

[2] В катковских «Московских ведомостях», № 85 от 2 апреля, 1878, по поводу телеграфного сообщения о деле Засулич помещена передовая статья, из которой приводим следующую цитату: «Миловать может верховная власть, а не суд. Мы уверены, что многие в публике приняли это известие за первоапрельскую шутку... Есть, очевидно, какое-то роковое несогласие между нашею интеллигенцией и действительностью. Где в нашей народной жизни выступают ее живые силы, там совершаются чудеса, там чувствуется благодать божия. Но как только заговорит и начнет действовать наша интеллигенция, мы падаем».

[3] В «Московских ведомостях», № 87 от 4 апреля 1878, напечатано сообщение о происшествии, имевшем, как указывают «Московские ведомости», место 3 апреля в Москве, во время переезда в тюремных каретах арестованных студентов, высланных из Киева за «беспорядки»: «Толпа молодых людей последовала за каретами и своими криками «ура», «шапки долой» возбуждала внимание прохожих. Народ думал, что крики «ура»

раздаются в честь раненых. Когда же узнали, что везут «в ссылку пострадавших за правду, преследуемых правительством», то толпа с криком: «Бей изменников белого царя!» набросилась на толпу агитаторов и мгновенно смяла ее. Кареты с пересыльными, между тем, безостановочно продолжали путь на колымажный двор... Это — ответ русского простого народа на скандал «избранной публики», бывший 31 марта в Петербурге». Как видно из письма Н. Ф. фон-Мекк, она разделяла восторг катковской газеты по поводу кулачной расправы инспирируемых полицией самых отсталых слоев городского мещанства над революционной молодежью.

[1] См. прим. к письму № 114.

К письму № 131

[1] Чайковский писал Н. Г. Рубинштейну 18 апреля 1878 г.: «Ты спрашиваешь меня на счет квартиры и моей мебели. Пусть покамест все останется как было. По этому поводу я тебе должен сообщить следующее, но по секрету и прося тебя держать это втайне, покамест дело не устроится окончательно. Зять мой, Давыдов, и сестра уговорили меня решиться на р а з в о д. Он дает мне на это д е с я т ь т ы с я ч ».

К письму № 133

[1] 1 апреля 1878 г. в Малом театре состоялся спектакль учеников Московской консерватории. Под управлением Н. Г. Рубинштейна были исполнены оп. Буалдье «Призрак Авенельского замка» («La dame blanche») и сцены из оп. Мейербера «Роберт-дьявол». Учениками драматического класса был исполнены сцены из комедии Мольера. Спектакль повторен не был.

К письму № 135

[1] Большая соната для ф.-п. в четырех частях (G-dur), ор. 37 начата в первых числах марта 1878 г., но во время сочинения скрипичного концерта работа над ней была приостановлена и возобновилась только в 20-х числах апреля. 30 апреля соната была окончена. Посвящена Клиндворту. Впервые исполнена Н. Г. Рубинштейном 21 октября 1879 г. на Симфоническом собрании Р. М. О. в Москве.

К письму № 137

[1] Детский альбом, 24 легких пьесы (à la Schuman), ор. 39. Посвящен Володе Давыдову (племяннику). Пьесы написаны в мае 1878 года.

[2] Опера «Ундина» была написана Чайковским в январе — июле 1869 года. Партитура сожжена композитором в 1873 году. Сохранились только три отрывка. См. Ж.Ч., т. I, стр. 325—328. Вторично на этот сюжет Чайковский не писал.

К письму № 143

[1] Из письма к М. И. Чайковскому от того же числа, 17 мая 1878 г.: «[На станции] я послал узнать, есть ли лошади из Браилова. Через две минуты явился Марсель. Он оказался совсем не француз, а туземец, прозванный кем-то Марселем. Учтивости и услужливости необычайной. Пальто и шляпу имеет лучше моих, и потому, когда я уселся в великолепную коляску, запряженную великолепной четверкой, а он на козлы рядом с кучером, то я стал конфузиться и проконфузился до самого Браилова. Ехали около часа. Дом в полном смысле дворец. Моя комната верх

роскоши и удобства. Умывшись, я шествовал по приглашению Марселя в столовую, где стоял огромный серебряный самовар, кофейник на спирту, яйцы, фарфоровый сервиз, масло и т. д. Кофе и чай идеальны. Я тотчас же заметил, что Марсель предупрежден: в разговоры не вступает, не торчит, а, подавши то или другое, тотчас же уходит. Он спросил, как я желаю распределить день. Я п р и к а з а л в час подать обед, а в девять чай с холодным ужином. После кофе осматривал дом, который состоит из массы отдельных квартир, превосходно меблированных. Громадный каменный флигель, предназначенный для гостей, построен как гостиница: огромный коридор и по бокам нумера, содержимые постоянно так, как бы они были обитаемы. Что касается нижнего этажа дома, где я живу, то нет пределов утонченной комфортабельности. В моей комнате все принадлежности туалета, как то: щетки, гребни, ногтяные и зубные щетки, мыло, порошки, все имеется новое. На двух столах лежат бумага, перья и все принадлежности письма. Несколько шкапов с книгами стоят в разных комнатах. Повсюду интересные иллюстрированные издания. В музыкальном зале рояль, великолепная фисгармоника и м а с с а нот».

[2] Письмо это не сохранилось.

К письму № 146

[1] Это место из Серенады Фолькмана № 2, ор. 63, первая часть, Molto vivace (в партитуре стр. 11).

[2] В архиве сохранилось это письмо А. И. Чайковской от 15 мая 1878 года. Приводим выдержки: «Ты просишь развода, но я не понимаю, почему же непременно требовать его судом. Ты пишешь, что принимаешь вину на себя,—тут нет ничего удивительного. Ты добиваешься свободы для с е б я, нисколько и не думая об том, хорошо ли это или дурно для меня. С самого первого дня нашей свадьбы у тебя [во] всем проглядывал э г о и з м, а теперь он проявляется все в бо́льших размерах. Неужели тебе мало того горя, которое ты заставил меня перенести с октября, бросив меня безжалостно на посмеяние и поругание всем, и теперь еще требуешь, чтобы я на тебя же подавала прошение, приискивая несуществовавшие причины для развода? Ты уже сам выразил в одном из писем ко мне, что нисколько не заботишься о мнении, какое о тебе составят, а хочешь только остаться честным артистом, и потому тебе этот скандал будет как с гуся вода, между тем как одно то, что я буду с тобой судиться, наложит на меня неизгладимое пятно. Знаешь, такой эгоизм с твоей стороны становится просто обидным для меня. Где же тот человек, которого я считала каким-то п о л у б о г о м и который в глазах моих не мог вмещать в себе никаких недостатков! Если бы ты только знал, как горько р а з о ч а р о в а н и е!.. Ты предлагаешь мне в обеспечение 10000 р. с., с тем чтобы их выслать до окончания дела. Да, теперь я вполне могу считать себя вправе на это. Куда же я теперь гожусь, разбитая не ф и з и ч е с к и, но м о р а л ь н о. Физический недуг излечивается медиками, а моральный — н и к е м. Но разве эти деньги могут считаться обеспечением, когда у меня есть долг в 2500 р., который мне скоро предстоит уплачивать, иначе мы с сестрой рискуем, что у нас отнято будет и последнее достояние... Обращаюсь к тебе как к человеку, в котором, верно, еще не заглохли все хорошие инстинкты. Потрудись прежде всего уплатить мой долг, вместо того чтобы платить ни за что адвокатам; а 10000 р. вышли, как и всегда, на Юргенсона. Ты пишешь, что никакие силы не могут заставить давать мне. Но ведь я ни к кому и не собиралась обращаться. Полагаюсь только на твою совесть, и верь, что, писав эти строки, я руководствуюсь не кор-

столюбием, но при той тяжелой последующей жизни, которая мне предстоит, все-таки будет легче, если буду избавлена от лишений и недостатков. В тебе есть твоя гениальность, которая тебя навсегда обеспечила в материальном отношении, меня же природа не одарила ничем выходящим из обыкновенного... Упреки совести будут для тебя самым большим наказанием. Пусть же нас бог [рассудит], кто прав и кто виноват. Жду извещения, как приступать к делу, чтобы кончить тихо и без скандалов».

К письму № 151

[1] Воспоминания Яна Дуклана Охотского, доведенные до 1837 г., изданы И. Крашевским под названием: «Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wydane». 4 тома, Wilno, 1857. Русский перевод: «Рассказы о польской старине». Записки XVIII века Яна Дуклана Охотского с рукописей, после него оставшихся, переписанных и изданных И. Крашевским. 2 тома. Спб. 1873.

[2] «Литургия св. Иоанна Златоуста» для четырехголосного смешанного хора, ор. 41. Написана в мае 1878 года. Начальник Императорской певческой капеллы наложил запрещение на это издание. Юргенсон выиграл процесс в Петербургском окружном суде в 1879 году. См. Ж. Ч., т. II, стр. 293—294.

К письму № 152

[1] «Воспоминания о дорогом месте» («Souvenir d'un lieu cher»), три пьесы для скрипки с аккомпанементом ф.-п., ор. 42: № 1 «Méditation», № 2 Scherzo и № 3 «Mélodie». Первая является первоначальным Andante скрипичного концерта, сочиненного в Кларансе, остальные сочинены в Браилове. Посвящено Б[раилову].

К письму № 155

Датируется в соответствии с письмами №№ 153—156.

К письму № 162

Сохранился отрывок письма (без начала и без конца). Датируется в соответствии с письмом № 163.

К письму № 163

[1] Кантата на открытие Политехнической выставки в Москве, на слова Я. П. Полонского, была заказана Чайковскому выставочным комитетом в январе 1872 года. В марте сочинение было закончено и исполнено 31 мая на торжественном открытии выставки. По словам Кашкина, исполнение длилось около часу. Рукопись не сохранилась. См. Ж. Ч., т. I, стр. 375 и сл., и Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском», стр. 80—81.

[2] Славянский марш для большого оркестра был сочинен в сентябре 1876 года. Исполнен в первый раз 5 ноября 1876 г. в Москве в Симфоническом собрании Р. М. О., под управлением Н. Г. Рубинштейна.

[3] Об этом см. П. И. Чайковский, «Руководство к практическому изучению гармонии», изд. Юргенсона, М. 1914, стр. 10.

[1] В симфониях первая часть почти всегда пишется в форме так называемого сонатного allegro, которая основывается на двух контрастирующих между собой темах — главной и побочной. Побочная тема (партия) пишется обычно в родственном по отношению к главной строе (тоне).

Таким образом, при строе главной темы f-moll, в котором написана главная тема Четвертой симфонии Чайковского, пособная тема должна была бы быть в As-dur или c-moll, тогда как у Чайковского она написана в as-moll — строе не родственном, отдаленном. Четвертая часть обыкновенно строится на двух или трех темах или в форме сонатного allegro. В Четвертой симфонии финал построен на одной теме («Во поле березанька стояла»), разработанной в форме вариаций.

К письму № 265

[1] Иван Васильевич Войков.

[1] C. Cui, «La musique en Russie. Chansons populaires russes» — «Revue et Gazette musicale», № 19, Paris, 1878. Статьи Кюи, помещенные в «R. et G. m.», изданы отдельной книгой: C. Cui, «La musique en Russie», Paris, 1880.

[2] Альбом с видами Браилова хранится в музее Чайковского в Клину. Один из снимков воспроизводится в нашем издании.

К письму № 176

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от 28 июля 1878 г.: «Вообще я все злюсь, на кого и на что — неизвестно, обыкновенно на первого попавшегося. Это доказывает, что свойственная мне мизантропия начинает сильно давать себя чувствовать и что нужно на несколько времени уединиться. В этом отношении Браилово будет мне очень полезно».

К письму № 177

[1] Ferney (Ферней) — селение в департаменте Эн, в Швейцарии. В 1759 г. было куплено для Вольтера, который с тех пор там и жил.

[2] Мекк имела обыкновение писать на почтовой бумаге, в верхнем левом углу которой были акварельные рисунки. В данном случае, очевидно, на конверте были нарисованы ландыши.

К письму № 179

[1] 4 августа 1878 г. С. М. Кравчинский ударом кинжала убил шефа жандармов Н. В. Мезенцова.

К письму № 182

[1] Эти наброски относятся к первой оркестровой сюите в шести (по первому замыслу — в пяти) частях, ор. 43. Вскоре работа приостановилась и была возобновлена только в начале ноября. 13 ноября сюита вчерне была готова. С 22 ноября Чайковский приступил к оркестровке двух последних частей (эскизы остальных задержались при отправке их почтой из России в Италию). Работа была закончена в 1879 году. Сюита негласно посвящена Н. Ф. фон-Мекк.

К письму № 183

[1] 24 мая 1878 г. революционером Попко был ранен в Киеве жандармский офицер барон Г. Э. фон-Гейкинг, умерший от раны 29 мая. После вооруженного сопротивления Попко скрылся.

К письму № 184

Дата телеграммы проставлена в копии, с которой она печатается.

К письму № 188

[1] На Всемирной выставке в Париже, в зале Трокадеро, состоялось четыре симфонических концерта под управлением Н. Г. Рубинштейна (оркестр и хор в 350 человек). Концерты были посвящены исключительно произведениям русских композиторов. Программа первых двух, 9 и 14 сентября н. ст. 1878 г.: 1. Глинка, Увертюра из оп. «Руслан и Людмила»; 2. Глинка, Хор из оп. «Жизнь за царя»; 3. Глинка, Ария Антониды из «Жизнь за царя», исп. г. Торриджи; 4. Чайковский («профессор класса композиции Московской консерватории»), Концерт для ф.-п. с оркестром (b-moll), исп. Н. Г. Рубинштейн, оркестром управлял Колонн; 5. Бортнянский, Духовное пение, хор для мужских и детских голосов; 6. А. Рубинштейн, Восточные танцы из оп. «Демон»; 7. Глинка, Ария Ратмира из 3-го акта оп. «Руслан и Людмила», исполн. г. А. де-Белокк [А. Белоха]; 8. А. Контский, Мазурка и Rêverie для скрипки, исп. автор; 9. Даргомыжский, Хор из оп.«Русалка»; 10. Глинка, «Арагонская хота». (Точный перевод программы см. в «Собрании сочинений В. В. Стасова», т. III, Спб. 1894, столб. 323.)—Второй концерт: 1. А. Рубинштейн, «Иван Грозный»; 2. Даргомыжский, Хор крестьян из оп. «Русалка»; 3. Глинка, Ария Вани из «Жизнь за царя», исп. А. Белоха; 4. Венявский, Второй концерт для скрипки, исп. автор; 5. Бахметев, Религиозный хор; 6. Чайковский, «Буря»; 7. Глинка, Ария Гориславы из оп. «Руслан и Людмила», исп. Полонская; 8. а) Чайковский, «Chant sans paroles», б) А. Рубинштейн, Valse-caprice; 9. Серов, Хор из оп. «Юдифь», соло исп. А. Белоха; 10. Глинка, «Камаринская», национальный русский танец, фантазия для оркестра.—В третьем концерте скрипач Барцевич исполнил в сопровождении оркестра Меланхолическую серенаду Чайковского (ор. 26) и Вальс-скерцо (ор. 34). В четвертом концерте был повторен Рубинштейном его ф.-п. концерт (b-moll).

[2] М. И. Чайковский зарегистрировал отзывы о русских концертах на Всемирной выставке в следующих парижских периодических изданиях 1878 г.: «La Gazette musicale», 15, 23 и 29 сентября, 6 октября; «Le Ménestrel», 15, 22 и 29 сентября; «Le Moniteur universel», 3 октября; «L'Art musical», 12 сентября; «L'Evénement», 16 сентября; «Le Figaro», 16 сентября; «Le Voltaire», 25 сентября; «Le Soleil», 1 октября. См. Ж. Ч., т., II, стр. 209.

[3] Фантазии «Буря» предпослана программа. Место, о котором говорит Мекк, в программе изложено так: «Влюбленная чета отдается торжествующему обаянию страсти» (в партитуре стр. 87). Музыка на тему «Волшебный остров» идет несколько раньше.

К письму № 189

[1] Чайковский имел в виду «Московский фельетон», напечатанный в «Новом времени», № 895 от 26 августа 1878. В статье допущены резкие нападки на Н. Г. Рубинштейна, своим деспотизмом якобы парализующего нормальное развитие музыкального образования в Москве. В консерватории оставлены только посредственности, подчинившиеся воле Рубинштейна, а все талантливые профессора принуждены были покинуть консерваторию. Даны резкие оценки некоторых профессоров. В фельетоне сообщалось также об «амурах профессоров-музыкантов», ставящих в двусмысленное, тяжелое положение бедных учениц, которых они «заставляют переносить многие обиды и даже п р и у ч а т ь к этим обидам». «Есть и еще консерваторские «амуры», но о тех я, по весьма понятным причинам, совсем не буду говорить», закончил автор фельетона.

Чайковский писал брату Модесту 29 августа: «В Флетове я взял газету («Новое время») и нашел в ней «Московский фельетон», посвященный грязной, подлой, мерзкой и полной клевет филиппике против консерватории. Лично про меня там почти ничего нет, и даже упоминается, что я занимаюсь одной музыкой, не принимая участия в интригах и дрязгах. Но в одном месте статьи толкуется про амуры профессоров с девицами и в конце ее прибавляется: «есть в консерватории еще амуры другого рода, но о них, по весьма понятной причине, я говорить не буду» и т. д. Понятно, на что это намек. Итак, тот Дамоклов меч в виде газетной инсинуации, которого я боюсь больше всего в мире, опять хватил меня по шее. Положим, что лично до меня инсинуация на сей раз не касается. Но тем хуже. Моя репутация падает на всю консерваторию, и от этого мне еще стыднее, еще тяжелее. Я геройски и философски выдержал этот неожиданный пассаж, продолжал до Киева толковать с Левой о черноземе и т. п., но в душе у меня скребли кошки».

[2] Из писем к братьям: «Вчера я целое утро писал Н. Ф., стараясь подготовить почву для предположенной отставки от консерваторских обязанностей» (М. И. Чайковскому, 4 сентября 1878 г.). «Письма от Н. Ф. чудные, и я уверен, что она меня поощрит оставить Москву. Все дело в ней» (А. И. Чайковскому, 11 сентября).

[3] И. С. Аксаков летом 1878 г. был на короткое время выслан из Москвы за речь, произнесенную 22 июня на заседании Московского славянского комитета, направленную против уступок русской дипломатии на Берлинском конгрессе.

[4] В новом времени» печатались «Письма из чужих краев» В. С[тасова]. В корреспонденциях о концертах на Всемирной выстаке Стасов обвинял Н. Г. Рубинштейна за его нежелание показать парижской публике образцы лучшей русской музыки — петербургских композиторов, представителей «могучей кучки». Он писал: «Появление в концерте такого прекрасного пианиста, как г. Николай Рубинштейн, должно производить здесь самое радостное впечатление. Его встретили и провожали с великим восторгом, и это по всей справедливости. Он далеко не обладает ни художественностью, ни поэтичностью своего изумительного брата, его исполнение гораздо будет погрубее, поординарнее, попрозаичнее и попроще исполнения того Рубинштейна, у него нет никакой своей собственной физиономии, никакого собственного характера, потому что он есть только разжижонное эхо своего брата, но, тем не менее, в его игре есть немало и действиительно хороших качеств. У него есть сила, блеск, легкость, беглость, иной раз даже некоторая тонкость исполнения. Концерт г. Чайковского, не принадлежит к числу лучших произведений этого композитора, так что даже было бы, может быть, выгоднее со стороны музыкальной, если бы г. Николай Рубинштейн сыграл одну первую часть, достаточно длинную, снабженную раскатистым и блестящим заключением (вообще это была лучшая часть всего этого сочинения), но г. Николаю Рубинштейну хотелось, повидимому, кончить еще блестящее: он продержал довольно долго слушателей на скучном и незначительном andante и потом на столько же незначительном финале, все для того только, чтобы добраться до нарастания, нарастания, нарастания, идущего столпом в гору и приведшего, наконец, к очень громкому и банальному развалу всего оркестра, на фоне которого медь ревет во всю глотку банальную некую тему, по всей вероятности, назначенную представлять что-то вроде апофеоза. Музыки тут мало, — но публика кричит и аплодирует с яростью, и дело в шляпе». «Сочинения Ант. Рубинштейна и г. Чайковского, кажется, далеко не могут служить полными представле-

нициями наших русских музыкантов и их стремлений: оба они недостаточно самостоятельны и недостаточно оригинальны и национальны». «В своем концерте Рубинштейн; властен пропускать хоть всю музыку, не только русскую, но даже какая есть на свете, и угождать публику всеми ее капризами своего незнания, своей тупости и необразованности... А нам какое дело до его желаний или нежеланий! Что он за хозяин в нашем отечестве и в нашем искусстве? Почему все должны быть жертвами его капризов или невежества?.. Русское искусство вообще будет зависеть от г. Николая Рубинштейна! Что за стыд и позор!» («Новое время», №№ 936 и 938 от 6 и 8 сентября, 1878; перепечатано в «Собрании сочинений В. В. Стасова», т. III, СПБ. 1894, столб. 328—329, 332). Идейный смысл этой полемики полнее во вступительной статье.

К письму № 193

Датируется в соответствии с письмом № 194.

К письму № 196

[1] По поводу торжественной встречи Н. Г. Рубинштейна в Москве В. С[тасов] писал в «Новом времени»: «Как вам нравится целая компания людей, называющих себя и музыкантами, и специалистами, и личностями, преданными своему делу, которые собираются и сердечно благодарят кого-то из своей среды за все, что он сделал самого непозволительного и гадкого: за то, что он публично утопил Глинку и Даргомыжского в Париже; за то, что он спрятал в карман всю новую русскую школу... и при этом торжественно и с восхищением выставил напоказ Бортнянских, Гурилевых и Варламовых; за то, что он плохо дирижировал и немилосердно исковеркал несколько гениальных созданий. Другие, пожалуй, за все это и не поблагодарили бы. Но московские музыканты, тем какое дело до справедливости вещей! Те умильно улыбаются, радуются, благодарят, те обнимаются и произносят спичи, жуя кулебяки и прихлебывая шампанское; те даже тосты предлагают за здоровье тех, кто выставляет напоказ всякую гадость и непотребство, совершающиеся в Париже. Им какое дело! Им бы только лишний тостик выпить, как бы он бестолков ни был» («Новое время», № 935 от 5 октября 1878; перепечатано в «Собрании сочинений В. В. Стасова», т. III, столб. 348—349).

К письму № 197

[1] 3 ноября 1873 г. состоялось первое Симфоническое собрание Р. М. О. Программа: Ф. Эм. Бах, Симфония (D-dur); Мендельсон-Бартольди, Три хора из оратории «Павел»; Чайковский, Концерт для ф.-п. с оркестром, исп. Н. Г. Рубинштейн; Бетховен, Шестая симфония (F-dur).

К письму № 201

[1] Чайковский послал Мекк изданный Юргенсоном клавираусцуг оперы «Евгений Онегин». Он очень хотел, чтобы издание осуществилось раньше появления оперы на сцене. Еще в феврале он писал Юргенсону: «Теперь клавираусцуг — полный, и я буду несказанно рад, если ты можешь в близком будущем перейти к гравированию оного. Опера эта, мне кажется, скорее будет иметь успех в д о м а х и, пожалуй, на концертных эстрадах, чем на большой сцене, и потому то обстоятельство, что она будет напечатана гораздо раньше, чем поступит в репертуар больших театров, не неблагоприятно. Успех этой оперы должен начаться снизу,

а не сверху, т. е. не т е а т р сделает ее известной публике, а, напротив, публика, мало-по-малу познакомившись с нею, может полюбить ее, и тогда т е а т р поставит оперу, чтобы удовлетворить потребности публики» (4 февраля 1878 г.).

К письму № 202

[1] Скончался Николай Николаевич Апухтин, брат поэта.

К письму № 209

[1] 21 октября 1878 г. в Петербурге состоялось экстренное Симфоническое собрание Р. М. О.

К письму № 214

[1] Нападали на Н. Г. Рубинштейна петербургские газеты: «Биржевые ведомости», «Новое время», «Русская правда». Выдвинуты были два предлога: уход из консерватории преподавателя-пианиста Шостаковского и русские концерты на Всемирной выставке в Париже. Шостаковскому дирекция объявила, что по постановлению профессоров в наступающем сезоне он не будет допущен к публичным выступлениям на концертах Музыкального общества (на других же концертах не мог выступать по контракту). Мотивы постановления остались неизвестными Шостаковскому, и он, не сочтя для себя возможным оставаться после этого в консерватории, вышел из состава преподавателей и открыл свою музыкальную школу. Газеты обвиняли Рубинштейна в пристрастном отношении, даже в травле талантливого пианиста — его конкурента. В Париже Рубинштейн, по мнению этих газет, дал ложное представление о русском искусстве, показав Глинку и Даргомыжского с слабых сторон, «лучшие образцы нашей музыки осквернив сопоставлением рядом с ними пошлейших цыганских песен»; подлинно национальное искусство осталось мало известным европейской публике. Резкие возражения вызывали восторженные отзывы «Московских ведомостей», в ответ на которые фельетонисты писали: «Господа, заткните фонтан ваших восторгов. Довольно! Поверьте слову, вы с своим «неутомимым деятелем» Николаем Григорьевичем становитесь смешными. Ваши рекламы являются не «широкою полнозвучною гармонией», а разбитою балалайкой, на которой чей-то лакей в угоду своему барину день и ночь наигрывает арию о белом бычке. А «Николай Григорьевич» упивается этими звуками и... и попрежнему не отвечает на те печатные вызовы, которые ему были сделаны по поводу выхода из состава профессоров консерватории г. Шостаковского... Какие тут еще объяснения? Прогнал из консерватории талантливого пианиста — вот и конец всему делу! Он т а к хотел, он т а к приказал! Разве кто смеет перечить его нраву?.. Зачем москвичам иметь двух талантливых пианистов? Разве для них недостаточно одного Николая Григорьевича?.. Я уверен, что г. Шостаковский, основательно ознакомившись с порядками, существующими в нашей консерватории, сумеет оградить свою школу от многого, что тормозит успех всякого дела. Главное, не следует в угоду личного самолюбия кого бы то ни было жертвовать лицами, полезными общему делу музыкального образования, хотя бы эти лица и могли являться г. Шостаковскому опасными конкурентами в качестве артистов-исполнителей». «Как бы ни велики были самолюбие и сознание своих достоинств, но не можете вы не страдать, если вас делают предметом какого-то фетишизма, постоянных подкуриваний, реклам, смешных

возгласов, печатных сообщений о том, где вы были, куда вы поехали, что вы ели, с кем вы обедали и т. д. и т. д. И все это в самом противном (я не могу иначе выразиться) тоне вычурной, напыщенной фразеологии или безвкусной лести. Немудрено, что в последнее время, особенно по поводу русских концертов в Париже, директор Московской консерватории вызвал нападки музыкальных критиков... Дело дошло здесь до того, что редакция газеты отсылает на прочтение музыкальные рецензии к тем лицам, о которых говорится в них... Разве при таких порядках может выработаться что-нибудь, кроме взаимных восхвалений, духа интриги и камарадерии, которая будет давить, гнуть и отвергать все то, что не приходит кланяться и воскурять фимиамы?» (А. Л., «Московские письма» — «Биржевые ведомости», № 291 от 21 октября, 1878; П. Боборыкин, «Московские письма» — «Русская правда», № 37 от 6 ноября, 1878). См. также «Биржевые ведомости», №№ 221, 235, 249, 270, 1878; «Русскую правду», № 2, 1878 и фельетоны «Нового времени», указанные в прим. к письмам №№ 189 и 196. — В № 235 «Биржевых ведомостей» напечатано письмо Шостаковского с объяснением мотивов его ухода из Московской консерватории. См. прим. к письму № 247. Общая характеристика этой полемики дана во вступительной статье.

[2] В 1878/79 г. в московском отделении Р. М. О. было 8 почетных членов, 128 действительных, 2000 членов-посетителей и 68 членов-исполнителей.

К письму № 215

[1] Из писем к А. И. Чайковскому: «Надежда Филаретовна уже наняла мне квартиру, и хотя, судя по описанию, квартира в прелестном месте, с чудным видом на Флоренцию, но в двух шагах от виллы, где живет Н. Ф., и я боюсь, что это будет стеснять меня» (14 ноября 1878 г.). «Вскоре по получении этого письма ты увидишься с Сашей и Левой. Предупреждаю тебя, что я им не сделал признания насчет денег, получаемых от Н. Ф. Поэтому ты с ними покамест об этом не говори; то же самое и передай Моде. Скажи Леве, Саше, Тане, чтоб с посторонними они не говорили об Н. Ф., моих отношениях к ней, о том, что я живу здесь на приготовленной ею квартире и т. д. Вообще ни с кем, кроме Вас двух, пусть они не говорят о Н. Ф. Не забудь это передать им» (21 ноября).

К письму № 216

[1] Е. Дженкинс, «Торжество Джинго». Политическая сатира. Перевод с английского.—«Отечественные записки», 1878, № 9.

[2] «К характеристике князя Бисмарка» (выдержки из книги Морица Буша «Граф Бисмарк и его приближенные за время войны с Францией») — «Московские ведомости», № 294 от 18 ноября 1878. См. также № 282.

[3] «Музыкальные очерки» Г. Ларош напечатаны в «Голосе», № 311 от 10 ноября 1878, и № 317 от 16 ноября.

[4] Вероятно, имелась в виду заметка в «Московских ведомостях», № 286 от 9 ноября 1878: «Опасения, что П. И. Чайковский не будет в силах провести всю зиму в Москве, к сожалению, оправдались. Наш талантливый композитор уже за границей. На память о себе он оставил свое произведение «Евгений Онегин», которое разучивается учениками и ученицами консерватории и будет ими исполнено в годовом публичном спектакле». В № 292 «Московских ведомостей», от 16 ноября, помещен отчет о втором Симфоническом собрании, с комплиментами по адресу Московской консерватории.

К письму № 217

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от 21 ноября 1878 г.: «Квартира состоит из целого ряда великолепных комнат, а именно из салона, столовой, спальни, уборной, ватерклозета и Алешиной комнаты. В салоне стоит чудесный инструмент, на письменном столе два огромных букета, все принадлежности письма. Меблировка превосходная. Я совершенно очарован всем этим, но главная прелесть состоит в том, что квартира за городом, что из окон чудный вид, что тишина невозмутимая, а между тем до города ходьбы полчаса. Я чувствую себя превосходно. Дорогой меня немножко беспокоила мысль, что Н. Ф. будет так близко, что мы будем встречаться, и я даже минутами подозревал, что она пригласит к себе. Но письмо ее, лежавшее вчера на столе, меня совершенно успокоило. Можно очень легко устроиться так, что встреч никаких не будет. Она через три недели уже уезжает отсюда, и за это время мы, конечно, ни разу не встретимся. Вообще, насколько в Вене я грустил, настолько теперь мне весело и хорошо. Для занятий нельзя будет выдумать ничего более удобного и подходящего, как мое помещение».

К письму № 221

[1] 6—9 ноября 1878 г. в Петербургском окружном суде разбиралось дело француженки М. А. Жюжан, тридцати восьми лет, обвинявшейся в отравлении шестнадцатилетнего юноши, сына жандармского полковника, Н. И. Познанского. Жюжан в течение пяти лет бывала у Познанских: первое время была гувернанткой детей, потом приходящей учительницей и затем посещала дом как знакомая. Когда Н. Познанский был в возрасте четырнадцати лет, окружающим стало очевидным, что между ним и Жюжан установились интимные отношения. Родители боялись, что удаление Жюжан из дома еще больше усложнит положение, а потому они даже не намекали сыну о своих подозрениях, надеясь, что новые интересы и знакомства побудят его оборвать эту связь. И правда, Н. Познанский завел круг своих знакомых, стал усердно заниматься и явно тяготился отношениями с Жюжан, был груб с ней, третировал ее. Жюжан ревновала юношу, стараясь отвлечь его от новых знакомств. В ночь на 17 апреля 1878 г. Познанский скоропостижно скончался. Вскрытие установило отравление морфием. Косвенные улики заставили родителей возбудить уголовное дело против Жюжан (она якобы незаметно положила морфий в лекарство, которое недомогающий Познанский должен был принять перед сном). Поскольку на суде вопрос стоял только о предумышленном убийстве (на что прямых улик не было, — в равной степени можно было допустить самоубийство), а не о совращении малолетнего, Жюжан присяжными была оправдана. Председательствовал на суде А. Ф. Кони. Этому процессу он посвятил в своих воспоминаниях целую главу. См. его «На жизненном пути», т. I, гл. XVI, и «Московские ведомости», №№ 284—293, 1878.

К письму № 223

Письма №№ 222 и 223 датируются в соответствии с письмом № 221.

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от того же числа, 23 ноября 1878 г.: «Живу я очень хорошо, очень роскошно и очень покойно. Но не могу скрыть, что близость Н. Ф. немножко стесняет меня. Она очень часто мимо ходит и ездит. Что, если я с ней встречусь? Как мне поступить? Она, повидимому, этого вовсе не боится, так как даже прислала мне на суб-

доту билет в театр, где и она будет. Она предлагает мне осмотреть ее виллу и хотя говорит, что во время осмотра я не встречу ни души, но мне все как-то боязно. Иногда мне даже кажется, что уж не желает ли она теперь личного знакомства, хотя в ее ежедневных письмах нет ни единого намека на это. Все это делает меня не вполне свободным, и, признаться сказать, в глубине души я очень желаю, чтобы она скорее уехала».

К письму № 225

Датируется в соответствии с письмом № 224.

[1] Е. Карнович. «Самозванные дети» (Из сказаний XVIII столетия) — «Отечественные записки», №№ 8—10, 1878.

К письму № 226

[1] Чайковский писал П. И. Юргенсону в тот же день, 24 ноября 1878 г.: «Когда приблизительно будет готова симфония, т. е. клавираусцуг, и как понимать твои слова, что ты за нее боишься? Если под этим ты подразумеваешь, что заглавный лист уже готов и без посвящения, то умоляю тебя христом-богом велеть сделать новый. Я бы сказал, что убытки беру на себя, если б не знал, что ты таких предложений не принимаешь. Пожалуйста, ответь обстоятельно».

[2] В начале ноября 1878 г. началась англо-афганская война, закончившаяся в 1880 году. После войны Афганистан стал фактически колонией Англии.

[3] В конце октября 1878 г. в Харьковском окружном суде разбиралось дело об убийстве врача, служащего железной дороги, А. И. Ковальчукова (10 декабря 1877 г.). На скамье подсудимых были его жена, М. С. Ковальчукова, тридцати одного года, и отставной поручик Г. А. Безобразов, сорока восьми лет. Задолго до убийства Ковальчуковы неофициально разошлись. В августе 1877 г. Ковальчукова познакомилась с Безобразовым и вскоре сблизилась с ним. Чтобы улучшить свое материальное положение, Безобразов задумал жениться на Ковальчуковой и, чтобы вместе с женитьбой получить имущество ее первого мужа, приехав в Харьков под чужой фамилией, пригласив к себе в номер как пациент д-ра Ковальчукова, убил его и скрылся. Путем косвенных улик убийца был обнаружен, и вместе с ним была привлечена к ответственности Ковальчукова, обвинявшаяся в соучастии. Большинство свидетелей охарактеризовало Ковальчукову как женщину сомнительного поведения. На суде Безобразов соучастие ее отрицал. Суд оправдал Ковальчукову, а Безобразова приговорил к отдаче в каторжные работы на одиннадцать лет. См. «Новое время», №№ 959, 960, 1878.—Нападки на суд присяжных за слишком мягкие приговоры были в то время одним из излюбленных мотивов реакционной публицистики.

К письму № 227

Письма №№ 225—227 датируются в соответствии с письмами №№ 224 и 228.

К письму № 230

Письма №№ 229 и 230 датируются в соответствии с письмом № 231.

К письму № 231

[1] Вслед за телеграммой М. И. Чайковский сообщил подробности об исполнении Четвертой симфонии. Он писал 25 ноября 1878 г.: «Конечно, никто в Петербурге не отдаст тебе так скоро отчет о твоей симфонии, как я, потому что пишу тебе через десять минут после ее окончания. Я не остался дольше, потому что решительно не могу себе представить, чтобы в том состоянии, в котором нахожусь, можно было бы что-нибудь слушать другое. Если возможен фурор после исполнения симфонических вещей, то твоя симфония произвела его. После первой части аплодисменты были умеренные, — ну как тебе сказать? — приблизительно как всегда бывает после первой части бетховенских или шумановских симфоний. После второй части уже значительно более аплодисментов, так что Направник должен был даже поклониться; после скерцо — fff криков, топания и bis'ов. Направник кланяется один раз... другой... Шум только усиливается, до тех пор пока не поднимается дирижерский жезл; тогда все затихает и дает место твоим пиццикато. После этого опять крики, вызовы, поклоны Направника и проч. Final оканчивает свои заключительные аккорды вместе с хлопанием, криками и топаньем ног. Тут я вылетел из залы, как бомба, чтобы не встречаться ни с кем из знакомых, кишащих в публике симфонических концертов, и через четверть часа очутился у себя в кабинете с пером в руках. Милый мой! Нет, решительно не знаю даже, как назвать тебя. Я не стану описывать тебе моего впечатления от твоей симфонии. Перечти прошлогоднее письмо M-me Мекк, — приблизительно оно будет подходить к выражению моего восторга, разве только еще письмо это будет в слишком слабой степени для меня».

Петербургские газеты дали блестящий отзыв. См. «Биржевые ведомости», № 334, 1878; «Новое время», № 995; «Голос», № 338; «С.-Петербургские ведомости», № 339; «Петербургскую газету», № 235, и Ж. Ч., т. II, стр. 225—227.

К письму № 232

[1] Н. Белоголовый, «Болезнь Николая Алексеевича Некрасова» — «Отечественные записки», № 10, 1878.

[2] Увлечение Чайковского игрой итальянской актрисы Аделаиды Ристори относится к 1861 году. См. Ж. Ч., т. I, стр. 116—117.

К письму № 233

[1] Чайковский оставил в Петербурге рукопись первых частей сюиты, и так как пересылка их за границу задержалась, он начал инструментовку двух последних частей. См. прим. к письму № 182.

[2] В тот же день, 27 ноября 1878 г., Чайковский писал брату Модесту: «Так мне здесь прекрасно, и так как я знаю, что ничто мне не мешает, когда захочу переменить место и образ жизни, то я не скучаю. Но близость Н. Ф. все-таки делает мое пребывание здесь как бы несвободным. Притом, несмотря на все ее бесконечные и ежедневные уверения, что она с ч а с т л и в а, чувствуя меня близко, мне все кажется, что она должна ощущать нечто ненормальное. Она, бедненькая, считает своим долгом ежедневно писать мне письма, и видно, что иногда затрудняется в материале для беседы. С своей стороны, и я тоже не всегда имею что писать, а тоже почитаю себя как бы обязанным ежедневно писать. А главное, меня все преследует мысль, что она уж не хочет ли заманить меня. Но, впрочем, ни в одном письме намека на это нет».

К письму № 234

[1] На первых четырех Симфонических собраниях в Москве в ноябре 1878 г. солистами выступали: Н. Г. Рубинштейн, Скальковская-Бертенсон, Гржимали, Фитценгаген, Брассен, Гильф. На пятом собрании, 1 декабря, выступала Паприц.

[2] Пабло Саразате, впервые посетивший Москву, выступал на восьмом Симфоническом собрании в январе 1879 года. Исполнил М. Бруха Концерт для скрипки (g-moll), ор. 26, и И. Раффа Сюиту для скрипки с аккомпанементом оркестра, ор. 180.

[3] Письма Екатерины II к Гримму печатались в «Русском архиве», № 9—10, 1878, и в «Сборнике Императорского Русского исторического общества», т. 23, Спб. 1878.

К письму № 236

Датируется в соответствии с письмом № 233.

К письму № 237

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от того же числа, 29 ноября 1878 г.: «Н. Ф. тоже была в театре, и это меня стесняло, точно так же как и вообще ее близость от меня постоянно меня стесняет. Мне все кажется, что она желает видеть меня. Например, я каждое утро вижу, как, проходя мимо моей виллы, она останавливается и старается увидать меня. Как поступить? Выйти к окну и поклониться? Но в таком случае почему уж кстати не закричать из окна: «Здравствуйте»? Впрочем, в ее ежедневных длинных, милых, умных и удивительно ласковых письмах нет ни единого намека на желание свидеться».

[2] См. прим. к письму № 177.

К письму № 240

Датируется в соответствии с письмами №№ 239 и 241.

К письму № 241

[1] Летом 1868 г. Чайковский писал в Париже оперу «Воевода». См. Ж. Ч., т. I, стр. 291 и сл.

[2] В тот же день, 30 ноября 1878 г., Чайковский писал брату Модесту: «Что мне нравится здесь, так это совсем не город, не погода, а моя уютная, тихая квартира и в особенности та абсолютная тишина, которою я наслаждаюсь по вечерам. Меня это в высшей степени освежило и отдохновило от всех испытанных треволнений. Н. Ф. продолжает окружать меня самыми трогательными и нежными заботами. Мы переписываемся ежедневно. Но, повторяю, близость ее тяготит меня, и я не чувствую себя свободным. Вот единственная неприятная сторона моей здешней жизни».

К письму № 246

Датируется в соответствии с письмами №№ 245 и 247.

К письму № 247

[1] Яков Березин-Ширяев, «Мое знакомство и переписка с С. А. Соболевским» — «Русский архив», № 11, 1878.

[2] Это было в 1869 году. См. Ж. Ч., т. I, стр. 254 и сл.

[3] В московской газете «Современные известия», № 313 от 13 ноября, 1878, напечатан фельетон, посвященный уходу Шостаковского из кон-

серватории,—с нападками на Рубинштейна (см. прим. к письму № 214). Сообщалось, что открытая Шостаковским школа приобретает все большую и большую известность. «Как ни стараются благоприятели г. Рубинштейна поддержать при этих новых обстоятельствах в музыкальной школе славу своего любимца, но нам кажется, что при открытии училища Шостаковского ветер переменится. И то сказать: не все коту масляница». В ответ на этот фельетон Александр Дюбюк опубликовал письмо к издателю «Московских ведомостей». Он писал: «Очень немудрено, что есть десяточка два-три недоброжелателей г. Рубинштейна и вместе с тем охотников до г. Шостаковского, которые злорадно распускают разные нелепости. Но предавать их печати значит вводить в заблуждение не понимающих музыки, — цель неблагородная и непользительная для искусства. Сравнение Н. Г. Рубинштейна с г. Шостаковским немыслимо. Это все равно что: куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Николай Григорьевич, не опасаясь соперничества, постоянно приглашает в Москву для симфонических концертов знаменитых европейских пианистов, каждый год дает в Петербурге концерты с громадным успехом, наконец, недавно в Париже производил фурор и... в конце концов, он будто бы страшится виртуозности какого-нибудь калифа на час! Из сказанного ясно видно, что охотники до г. Шостаковского придумали курьез насмех себе» («Московские ведомости», № 298 от 23 ноября, 1878).

К письму № 248

Датируется в соответствии с письмом № 249.

К письму № 249

[1] Г. Ларош, «Музыкальные письма из Петербурга» — «Московские ведомости», №№ 299 и 300 от 24 и 25 ноября 1878.

К письму № 250

[1] Г. А. Ларош, «Глинка и его значение в истории музыки» — «Русский вестник», 1867, октябрь (перепечатано в его «Собрании музыкально-критических статей», т. I, М. 1913).

[2] Очевидно, вопрос этот был задан в последней, не сохранившейся части письма Мекк от 3 декабря.

[3] Первое представление «Воеводы» в московском Большом театре состоялось 30 января 1869 года. Опера шла на сцене только пять раз. Впоследствии Чайковский, хитростью получив из театральной библиотеки партитуру, уничтожил ее. Сохранились только увертюра, антракт и танцы, составившие ор. 3. См. Ж. Ч., т. I, стр. 313 и сл.

[4] Музыка к гимну Шиллера «К радости» была предложена Чайковскому А. Г. Рубинштейном для выпускного акта Петербургской консерватории. Была исполнена 31 декабря 1865 г. на публичном экзамене (Чайковский лично не присутствовал). Большого успеха кантата не имела, и А. Рубинштейн отказался исполнить ее на концерте Р. М. О., потребовав больших изменений. Издана не была. См. Ж. Ч., т. I, стр. 201.

[5] Увертюра F-dur сочинена в 1865 г. и была исполнена в ноябре в зале Михайловского дворца, в Петербурге, консерваторским оркестром под управлением автора. По переезде в Москву Чайковский получил от Н. Г. Рубинштейна предложение переинструментовать увертюру для большого оркестра. 4 марта 1866 г. увертюра была исполнена в Симфоническом собрании под управлением Н. Г. Рубинштейна. По словам

Кашина, увертюра «блестящего успеха не имела»; пресса обошла ее молчанием. Сочинение издано не было. См. Ж. Ч., т. I, стр. 285 и сл., и Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском», ст. 13—14.

К письму № 251

[1] Чайковский отвечает на несохранившееся письмо Мекк от 4 декабря.

[2] «Иоахим Лелевель как критик «Истории государства Российского», соч. Карамзина. Переписка с Ф. В. Булгариным. 1822—1830 гг.» — «Русская старина», VIII—IX, 1873.

К письму № 252

[1] Романс Чайковского «Моя баловница», слова Мея из Мицкевича (ор. 27).

[2] В статье о «Франческа да-Римини» («Голос», № 93, 1878) Ларош писал: «Творец «Ромео и Джульетты» давно уже сделал свои первые опыты на поприще программной музыки, но эти первые опыты были неудачны: при истинно музыкальных красотах, программные сочинения г. Чайковского часто страдали недостатком меткости и образности музыкального языка... [Хотя «Франческа да-Римини» — произведение «яркое и обаятельное», но другие его непрограммные произведения далеко за собой оставляют «Франческу».] Чайковский призван к задачам неизмеримо высшим, чем программное малевание, и человеческий поэтический элемент в его сочинениях будет возрастать именно по мере того, как он будет освобождаться от заглавий и композитор будет предаваться «бесцельной игре звуков», столь ненавистной вагнеристам».

К письму № 253

[1] Чайковский начал писать оперу «Орлеанская дева» по собственному либретто, заимствованному из «Орлеанской девы» Шиллера в переводе Жуковского (несколько сцен взяты из книги Вайлона, драмы Барбье и либретто Мермэ). Вначале опера писалась без либретто и без плана. К 10 декабря была начерно готова вторая половина второго акта. Потом сочинение музыки и либретто шло параллельно. К 11 января 1879 г., кроме половины второго акта, был готов весь первый акт. 22 февраля опера была закончена. Инструментовка была готова 27 августа. См. Ж. Ч., т. II, стр. 310 и сл.

[2] В то время остались неопубликованными следующие произведения Чайковского:

1. «Вальс» [для ф. п.] 1854. Ноты А. П. Петровой. Не издан. Местонахождение рукописи неизвестно. (Дальше стереотипные указания на то, что нахождение означает, что он неизвестно).

2. «Мой гений, мой ангел, мой друг», романс для голоса и ф.-п. На слова Фета (1857—1858?). Не издан. Рукопись находится в музее Чайковского.

3. «На сон грядущий», хор à capella, c-moll. На слова Старева (1863—1864?). Не издан. Рукопись там же.

4. «На сон грядущий», хор с сопров. оркестра, c-moll. На слова Старева (1863—1864?). Не издан. Рукопись там же.

5. «Тема и вариации» [9] для ф.-п. в 2 р., a-moll. (1863—1864). Изданы Юргенсоном в 1909 г.

6. «Гроза», увертюра для оркестра к драме Островского того же названия, e-moll (1864). Издана Беляевым в 1896 г. под ор. 76.

7. «Римляне в Колизее» [для оркестра?] (1864—1865?). Не издано. Упоминается в Ж. Ч., т. I, стр. 205, 227. Рукопись не сохранилась.

8. «Борис Годунов», сцена (Ночь. Сад. Фонтан. Объяснение Самозванца с Мариной). [На сюжет соч. Пушкина того же названия.] (1864—1865?). Не издана. Упоминается там же.

9. «Оратория» (1864—1865?). Упоминается там же, стр. 227. Рукопись не сохранилась.

10. Соната для ф.-п. в 2 р. в четырех частях, cis-moll (1865). Издана Юргенсоном в 1900 г. под ор. 80.

11. «Характерные танцы», для оркестра (1865). Не изданы. Переделаны в «танцы сенных девушек» (в опере «Воевода»).

12. «Концертная увертюра» для оркестра, c-moll (1865—1866). Не издана.

13. Квартет для двух скрипок, альта и виолончели, в одной части, B-dur (1865). Не издан. Рукопись в Музее Чайковского.

14. «Концертная увертюра», для оркестра. F-dur (1865—1866). Не издана.

15. «К радости», музыка к гимну (оде) Шиллера (кантата), для солистов, хора и оркестра в шести частях (1865). Не издана. Рукопись в Музее Чайковского.

16. «Воевода», опера в трех действиях (четырех картинах). Сюжет заимствован из ссч. Островского «Сон на Волге» («Воевода»). Либретто Островского и автора (1867—1868). Не издана.

17. «Музыка для водевильных куплетов» к пьесам «Шила в мешке не утаишь», «Путаница», и «Соль супружества» (1867). Не издана. Упоминается в Ж. Ч., т. I, стр. 285.

18. «Фатум», симфоническая поэма для оркестра, c-moll (1868). Посв. М. А. Балакиреву. Издана Беляевым в 1896 г. под. ор. 77.

19. «Черное домино», речитативы и хоры к опере Обера того же названия (1868). Не издано.

20. «Ундина», опера в трех действиях. [Сюжет заимствован из сказки де-ла Мот Фуке того же названия, перев. В. А. Жуковского.] Либретто гр. Соллогуба (1869). Не издана.

21. «Хор цветов и насекомых» из фантастической оперы «Мандрагора» [проект оперы], хор. с сопр. оркестра, D-dur (1869—1870). Не издан.

22. Музыка к хронике Островского «Дмитрий Самозванец» (до 1870). Интродукция к первому действию и мазурка.

23. «Песнь Земфиры» («Старый муж, грозный муж»), для голоса и ф.-п., a-moll. На слова Пушкина (1870?). Не издана. Рукопись в Музее Чайковского.

24. «Природа и любовь», трио для двух сопрано и альта с хором и ф.-п., Ges-dur (1870). Издано Юргенсоном после смерти автора.

25. «Кантата на открытие Политехнической выставки», для соло (тенора), хора и оркестра в трех частях. На слова Полонского (1872). Не издана.

26. «Серенада к именинам Н. Г. Рубинштейна», для малого оркестра (1872). Не издана.

27. «Кантата (гимн) по случаю празднования пятидесятилетнего юбилея О. А. Петрова», для соло (тенора), хора и оркестра (1876?). Не издана.

28. «Куплеты графа Альмавивы» («Имя звук лишь пустой»), для голоса и двух скрипок. На слова Бомарше (из «Севильского цирюльника»). G-dur (1877?). Изданы Юргенсоном в 1906 г.

[3] Письмо Александра Львовича Давыдова к его дяде генерал-прокурору Александру Николаевичу Самойлову от 12 января 1807 г. напечатано в «Русском архиве», № 10, 1878.

[1] В тот же день, 5 декабря 1878 г., Чайковский писал брату Анатолию: «Н. Ф. перестала меня стеснять. Я даже привык к ежедневной переписке, но нужно отдать справедливость этой не только чудной, но и умнейшей женщине: она умеет так устроить, что у меня всегда есть бездна материала для переписки. Ежедневно я получаю от нее утром огромное письмо, иногда даже на пяти листах, и вместе с этим русские газеты и «Italie». Я ей отвечаю вечером. Ровно в $11^1/_2$ утром она проходит мимо меня и пристально смотрит в мои окна, стараясь увидать меня, но не видя по близорукости. Я же ее отлично вижу. Кроме этого, мы виделись с ней раз в театре. Ни малейших намеков на желание свидеться нет, так что в этом отношении я совершенно покоен. Вообще говоря, мне здесь отлично, и моему мизантропическому нраву ничто не препятствует; даже лакей, подающий еду, очень учтив, но совсем неразговорчив».

К письму № 255

[1] Из письма к М. И. Чайковскому от того же числа, 6 декабря 1878 г.: «... И тем не менее я не в духе! И причиной этого сегодня — кто бы ты думал? — Надежда Филаретовна! Эта баснословно благодетельная для меня женщина выдумала следующее. Уже в нескольких письмах ее были намеки, что она хотела бы, чтобы всегда было как теперь, чтобы всегда она принимала на себя все заботы обо мне. (Ты уже знаешь, что я здесь ничего не плачу, хотя обычную сумму аккуратно 1 декабря я получил.) Я думал, что это только так говорится. Но сегодня она пишет мне, что решила после Вены, в конце января приехать в Париж, и просит меня теперь туда не ехать, и уж если я не хочу ехать в Вену (она мне это предлагала), то чтоб отправлялся теперь в Clarens, а в Париж пожаловал бы к 1 февраля. Другими словами, ей хочется, чтоб и в Париже я жил не сам по себе, а на нанятой ею и снабженной всем нужным квартире. Я отвечал, что мне нужно достать материалы для оперы в Париже (это правда) и что поэтому я все таки поеду теперь в Париж на несколько дней, но затем готов ехать в Кларанс и 1 февраля явиться в Париж. И вот, написавши это, злюсь. Ты скажешь, что я бешусь с жиру. Это правда, но правда и то, что как ни деликатно, ни нежно, а Н. Ф. все-таки несколько стесняет мою свободу, и что я с наслаждением отказался бы от ее квартир, если б можно было, ибо денег, даваемых ею, мне вполне достаточно для моего благоденствия. Господи! прости мое прегрешение. Мне жаловаться на Н. Ф.! Это ужасная подлость! Не знаю, чем все это кончится, но в Париж 27-го числа я, во всяком случае, поеду и проживу там с неделю, а потому пиши туда».

К письму № 256

[1] Альфонс Додэ, Рассказы и очерки (I. Пожалованный орденом; II. Продается дом; III. Кабесилья; IV. Старички; V. Письмоводитель; VI. С тремя стами тысяч франков; VII. Видение кольмарского судьи)— «Отечественные записки», № 10, 1878.

К письму № 257

Датируется в соответствии с письмом № 258.

[1] Мекк прислала книгу H.-A. Wallon, «Jeanne Darc». 2-е изд., Paris, 1876.

К письму № 200

Отсюда и до конца даты приведенных ниже писем к М. И. Чайковскому.

Из письма к М. И. Чайковскому от 10 декабря 1878 г.: «Последние дни прошли в очень сильной творческой лихорадке. Я принялся за «Орлеанскую деву», и ты не можешь себе представить, как это мне трудно досталось. Т. е. трудность не в отсутствии вдохновения, а, напротив, в слишком сильном наплыве оного (надеюсь, что ты не упрекнешь меня в самохвальстве). Мной овладело какое-то бешенство; я целые три дня мучился и терзался, что материалу так много, а человеческих сил и времени так мало! Мне хотелось в один час сделать все, как это иногда бывает в сновидении. Ногти искусаны, желудок действовал плохо, для сна приходилось увеличивать винную порцию, а вчера вечером, читая книгу о Жанне д'Арк, подаренную мне Н. Ф. (великолепное издание, стоящее по меньшей мере франков двести), и дойдя до процесса, abjuration и самой казни (она ужасно кричала все время, когда ее вели, и умоляла, чтоб ей отрубили голову, но не жгли), я страшно разревелся. Мне вдруг сделалось так жалко, больно за все человечество, и взяла невыразимая тоска».

К письму № 262

[1] Речь идет о шести романсах, составивших ор. 38. Первый, упоминаемый в письме, — «Pimpinella».

[2] Это письмо Мекк не сохранилось.

К письму № 264

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от 14 декабря 1878 г.: «Вчера я оказал подвиг необыкновенного гражданского мужества. Н. Ф. в своем прощальном письме (она уезжает сегодня) прислала мне все счета по вилле Bonciani, уже уплаченные, кроме того 200 франков на случай, если из-за рукописи я застряну здесь, и 2000 франков золотом на издание сюиты! Хотя деньги у меня есть, но не особенно много, а именно 2500 франков, которые должны мне хватить до 1 февраля, и потому ох, как мне не помешала бы для Парижа эта сумма! Но меня обуяло гражданское мужество. Я нашел, что просто неприлично брать с нее, кроме всего, что она для меня делает, еще деньги на издание, которое мне не только ничего не стоит, но еще приносит г о н о р а р и й от Юргенсона. Кроме того, мне не хотелось взять с нее эту уплату за мои занятия с Пахульским, которому я давал два раза в неделю уроки. Ну, словом, при самом ласковом письме я возвратил ей 2200 франков, а теперь (о, стыд и позор!) жалею. Вообще я иногда ужасаюсь своему сребролюбию и жадности к деньгам».

[2] Мекк цитирует стихотворение Гете «Harfenspieler» («Арфист»). Первая строфа его:

Wer nie sein Brot mit Tränen ass.
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sass.
Der kennt euch nicht, ihr himmlische Mächte!

Кто с хлебом слез своих не ел.
Кто в жизни, целыми ночами
Стеня, на ложе не сидел,
Тот незнаком с небесными властями!

(Перевод Ф. Тютчева)

К письму № 265

[1] Из письма к А. И. Чайковскому от того же числа, 14 декабря 1878 г.: «Вчера я был в театре. Билет мне прислала Н. Ф., которая тоже была со всем семейством, и в антракте я с смешанным чувством любопытства, умиления и удивления рассматривал ее в бинокль. Она болтала с своей прелестной дочкой Милочкой, и лицо ее выражало столько нежности и любви (это ее любимица), что мне даже понравилась ее некрасивая, но характерная внешность».

К письму № 266

[1] Из писем к братьям: «Я должен был уехать сегодня, но так как посылки нет, то принужден еще прожить день, хотя это нимало не весело. Н. Ф. уехала, и, сверх ожидания, я испытываю большую тоску по ней и пустоту. Я со слезами на глазах прохожу мимо ее пустынной виллы, и Viale dei Colli сделалась мрачна и скучна. Я так привык ежедневно иметь с ней общение, каждое утро смотреть на нее, проходящую мимо меня со всей свитой, и то что вначале меня стесняло и конфузило, теперь составляет предмет самого искреннего сожаления. Но, господи, что это за удивительная, чудная женщина! Как трогательны были все ее заботы обо мне, доходившие до мелочей, но в общем делавшие мою жизнь здесь в высшей степени приятной» (М. И. Чайковскому, 15 декабря 1878 г.). «В Париж я еду с тем большим удовольствием, что здесь с отъездом Н. Ф. стало очень пусто и грустно. Давно ли я стеснялся ее пребыванием в моей близости, а теперь грущу!» (А. И. Чайковскому, 16 декабря).

К письму № 267

[1] 8 декабря 1878 г. в Москве состоялось шестое Симфоническое собрание Р. М. О. Программа: Гайдн, Симфония (B-dur); А. Линднер, Концерт для виолончели (e-moll), исп. Гольман; Кюи, отрывки из оп. «Ратклиф»; Бах, «Ария», и Д. Поппер, «Арлекин», исп. Гольман; А. Рубинштейн, Музык. характеристическая картина «Дон-Кихот», ор. 87.

[2] В то время в Московской консерватории существовал обычай устраивать 6 декабря, в день именин Н. Г. Рубинштейна, спектакль или музыкальный вечер. На этот раз предполагалось поставить часть «Евгения Онегина», в виде подготовки к исполнению оперы на сцене Малого театра весной 1879 года. См. Н. Кашкин, «Воспоминания о П. И. Чайковском», стр. 122.

[3] П. И. Юргенсон писал Чайковскому 9 декабря 1878 г.: «Рубинштейн говорит, что твой «Онегин» — твоя лучшая вещь; он в восторге. Про Карлушу [Альбрехта] нечего и говорить; он даже сына заразил. «Я всегда любил музыку слушать, но это что-то особенное», сказал Карлуша-младший. Ты рад? Пожалуйста, не фыркай; что женщинам сладости, то художнику хвала. Нет? Ты говоришь: «плевать»? Не ври».

К письму № 269

[1] Из писем к А. И. Чайковскому: «Твое письмо с известием о визите г. неизвестного произвело на меня совершенно громовое впечатление. Хотя ум мой и говорил мне, что все это пустяки, но все мое существо было уязвлено напоминанием гадины. Я так отвык об ней думать! Иногда во Флоренции среди своих размышлений и мечтаний я вдруг припоминал всю историю и с трудом мог себя уверить, что это было в действительно-

сти, а не во сне. Приехавши сюда, я получил одно за другим два напоминания о гадине от Юргенсона и от тебя. Достаточно мне было увидеть почерк ее, чтобы почувствовать себя тотчас же несчастным и упасть духом. Таково свойство яда этой змеи. Твое письмо доконало меня. Но вчера я стал уже спокойнее, а сегодня начинаю опять забывать» (23 декабря 1878 г.). «Мне теперь смешно и совестно вспоминать, какую кутерьму я поднял по поводу твоего письма об Антонине Ивановне. Я делаюсь совсем сумасшедшим, как только это дело всплывает! Чего я не воображал себе! Между прочим, я в своем уме уже решил, что она начинает уголовное дело и хочет обвинять меня. Живо я воображал себя на скамье подсудимых и хотя громил прокурора в своей последней речи, но погибал под тяжестью позорного обвинения. В письмах к тебе я храбрился, но, в сущности, считал себя уже совсем погибшим. Теперь все это представляется мне чистым сумасшествием» (26 декабря).

Бракоразводного процесса не было. Антонина Ивановна до своей смерти формально считалась женой Чайковского. Все годы, с небольшими перерывами, Чайковский выдавал ей пенсию. В начале восьмидесятых годов А. И. Чайковская сошлась с кем-то (фамилию этого лица установить не удалось) и имела несколько детей, отданных ею в воспитательный дом. Изредка Антонина Ивановна писала Чайковскому, — обычно с просьбой о материальной помощи; однажды просила взять на воспитание ее сына. С 1896 г. находилась в петербургской лечебнице для душевнобольных, где и скончалась в 1917 году.

К письму № 276

[1] Чайковский послал Мекк свое стихотворение «Ландыши». Он писал М. И. Чайковскому: «Я ужасно горжусь этим стихотворением. В первый раз в жизни мне удалось написать в самом деле недурные стихи, к тому же г л у б о к о п р о ч у в с т в о в а н н ы е. Уверяю тебя, что хотя они мне достались с большим трудом, но я работал над ними с таким же удовольствием, как и над музыкой. Пожалуйста, дай сему моему творению самую широкую публичность: прочти его Леле [Апухтину], Ларошу, у Давыдовых, Саше и Тане, Алине Ивановне [Конради], Жедринскому с Толей и т. д. Хочу, чтоб все удивлялись и восхищались» (15 декабря 1878 г.) («Как я ни горжусь «Ландышами», а все-таки не нахожу их годными для печати и потому отказываюсь от твоего предложения напечатать их... Нет. Распространяй мою стихотворческую славу, труби, греми, но тиснению не предавай» (30 декабря). — Стихотворение «Ландыши» напечатано в Ж. Ч., т. II, стр. 242 — 245. На отрывок из него А. С. Аренский написал романс для сопрано в сопровождении виолончели и ф.-п. (ор. 38). Об отношении Чайковского к цветку ландыш см. письмо № 83; Дм. Кайгородов, «П. И. Чайковский и природа», СПБ. 1907, и Н. Т. Жегин, «Дом Петра Ильича Чайковского в Клину» — «Прошлое русской музыки», т. I. стр. 89-92.

Кроме имен, в список включены названия всех упомянутых музыкальных произведений и сочинений о музыке под фамилией автора. В иностранном указателе сделаны ссылки на русский указатель у тех имен, которые в письмах встречаются на русском и иностранном языках.

А. Л., «Московские письма».—597.

Адамов Владимир Степанович (1833—1877)—гофмейстер, с 1872 г. директор департамента Министерства юстиции. Окончил Училище правоведения в 1853 г.—34.

Азанчевская Анна Ивановна—жена М. П. Азанчевского.—196, 197, 451.

Азанчевский Михаил Павлович (1839—1881) — в 1871—1876 гг. директор Петербургской консерватории, автор ряда музыкальных произведений. Последние четыре года по состоянию здоровья жил за границей.—186, 196, 197, 451.

«*Аида*», опера—см. Верди.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886)—славянофил-публицист.—431, 442, 594.

Александр—кучер фон-Мекк во Флоренции.—484, 439.

Александр II (1818—1881).—231, 241, 258, 259, 296, 299.

Александр III (1845—1894)—в то время наследник. По случаю его коронации Чайковский написал Торжественный коронационный марш и кантату «Москва».—241, 258.

Александрова-Кочетова Александра Дормидонтовна (1833—1903)—оперная певица (сопрано), проф. Московской консерватории.—124.

Альбрехт Константин (Карл) Карлович (1835—1893)—виолончелист, инспектор и преподаватель Московской консерватории. Близкий друг Чайковского. Чайковский посвятил ему романс «В темном аде» (ор. 16) и Серенаду для струнного оркестра (ор.48).—150, 172, 184, 454, 577, 580, 581, 586, 588, 607.

Альфонс XII (1857—1885)—король испанский. В январе 1878 г. женился на своей кузине Марии де-лас-Мерседес, скончавшейся полгода спустя.—383.

Алябьев Александр Александрович (1802—1852)—композитор. Его романс «Соловей» приобрел европейскую известность.—19.

Андраши гр. Юлий (1823—1890)—в 1871—1879 гг. министр иностранных дел Австро-Венгрии.—279.

Апраксина гр. Александра Васильевна, рожд. кн. Трубецкая (1827—1905)—жена гр. Ф. С. Апраксина (1816—1858), по второму браку—баронесса Шарлеф де-Бош.—351.

Апухтин Алексей Николаевич (1844—1893)—поэт, друг молодости Чайковского. На его слова Чайковский написал три романса (opp. 47, 60 и без op.).—454, 596, 608.

Апухтин Николай Николаевич (1842—1878)—брат поэта.—454, 596.

Аренский А. С., романс «Ландыш», op. 38.—608.

Арто Дезире (1835—1907)—знаменитая французская певица (меццо-сопрано), ученица Виардо; в 1868—1869 гг. пела в России. Чайковский посвятил ей ф.-п. пьесу «Romance» (op. 5) и 6 романсов (op. 65).—190, 570, 584.

Ауэр Леопольд Семенович (1845—1925)—скрипач-виртуоз, проф. Петербургской консерватории. Чайковский посвятил ему Серенаду для скрипки (op. 26).—586.

Бабушка К. О.—чех по происхождению, скрипач, в 1880—1885 гг. преподаватель Московской консерватории.—279, 306, 330, 339.

Балакирев Милий Алексеевич (1836—1910)—композитор, музыкальный деятель, глава «могучей кучки». Чайковский посвятил ему «Фатум» (op. [77]), «Ромео и Джульетту», написанную по его мысли и плану, и «Манфред» (op. 58).—137, 461, 579, 604.

Балинский Иван Михайлович (1827—1902)—психиатр.—574.

Барбье—см. Barbier.

Барцевич Станислав Карлович (род. в 1858 г.)—скрипач. В 1876 г. окончил Московскую консерваторию. Впоследствии профессор Варшавской консерватории. Как музыкант пользовался большой популярностью.—180, 188, 398, 425, 441, 583, 593.

Баталина А. И.—см. Губерт А. И.

Бах Иоганн-Себастиан (1685—1750).—231, 249, 262, 577, 585, 607.

— Сюита (h-moll).—577, 585.

Бах Филипп-Эммануил, Симфония (D-dur).—595.

Бахметев Николай Иванович (1807—1891)—композитор церковной музыки.—593.

Бедекер Карл (1801—1859) — составитель путеводителей, так называемых «бедекеров».—68, 520.

Безекирский Василий Васильевич (1835—1921?) — скрипач-виртуоз; в 1855—1890 гг. первый скрипач Большого театра в Москве; автор ряда сочинений для скрипки.—279.

Безобразов Григорий Александрович—отставной поручик, убивший врача Ковальчукова (см.).—496, 599.

Беккер Яков Давидович — основатель ф.-п. фабрики в Петербурге в 1841 г. В 1861 г. фабрика перешла к брату Францу и потом в собственность М. А. Битепажа.—387.

Беллини Винченцо (1802—1835)—итальянский композитор, автор ряда популярных в свое время опер.—86, 341.

Белоголовый Н., «Болезнь Николая Алексеевича Некрасова». —500, 600.

Белоха Анна Порфирьевна—концертная певица (контральто), в 1886—1887 гг. артистка московского Большого театра.—443, 444.

Беннигсен гр. Павел Александрович (род. в 1845 г.)—тульский и новгородский помещик, муж А. К. Мекк.—23, 127, 273, 305, 306, 339, 391, 400, 420, 515.

Беннигсен гр. Эммануил Павлович (Маня) (род. в 1875 г.)—впоследствии помещик Новгородской губ., член 3-й и 4-й Государственной думы, октябрист, с 1912 г. камергер.—23, 279, 280, 321, 339, 382, 389, 400 — 402, 416.

Березин-Ширяев Яков, «Мое знакомство и переписка с С. А. Соболевским».—521, 601.

Березовский Максим Созонтович (1745—1777)—композитор церковной музыки.—314.

Берлиоз Гектор (1803—1869)—французский композитор, музыкальный критик.—119, 137, 180, 255, 289, 391, 531, 583.

— Увертюра «Римский карнавал», ор. 9 (1843).—180, 583.

— Сборник фельетонов «Les soirées de l'orchestre», Paris, 1853.—119.

Бернард Матвей Иванович (1794—1871)—пианист и композитор. В 1829 г. основал в Петербурге музыкально-издательскую фирму, а в 1840 г. начал издавать дилетантский музыкальный журнал «Нувеллист», издававшийся и после его смерти.—282.

Бернгард Август Рудольфович (1852—1908)—музыкальный деятель. С 1878 г., по окончании консерватории, был преподавателем гармонии и сольфеджио в Петербургской консерватории, в 1898—1905 гг.—директор ее. Перевел на немецкий язык ряд русских опер, в том числе «Евгения Онегина» и «Пиковую даму».—446.

Бессель Василий Васильевич (1843—1907)—основатель нотной торговли и издательской фирмы в Петербурге, один из первых издателей произведений Чайковского.—8.

Бетховен ван Людвиг (1770—1827).—27, 80, 120, 137, 140, 215, 229, 231, 249, 262, 281, 282, 289, 332, 375, 376, 531, 575, 576, 578, 581, 585—587, 595.

— 3-я (героическая) симфония (Es-dur), ор. 55 (1804).—531.

— 6-я (пасторальная) симфония (F-dur), ор. 68 (1807—1808).—531, 595.

— 7-я симфония (A-dur), ор. 92 (1812).—80, 376, 575.

— 9-я симфония (d-moll), ор. 125 (1824).—576.

— Квартет (cis-moll), ор. 131.—581.

— Тройной концерт для ф.-п., скрипки и виолончели (C-dur), ор. 56.—282, 587.

— Концерт для скрипки (D-dur), ор. 61.—120.

— 2-я месса (Missa solemnis) (D-dur), ор. 123 (1818—1822).—140.

Бехштейн Фр. В. Карл—фортепианный мастер, в 1856 г. основавший ф.-п. фабрику в Берлине.—442, 443.

Бизе Жорж (1838—1875)—французский композитор.—100, 120, 137, 138, 212, 234, 257, 465, 497, 498, 503, 509, 576.

— Опера «Кармен» (1875)—100, 137, 138, 212, 257, 465, 576.

— Сюита «L'Arlesienne» (1872).—465, 497, 498.

— Увертюра «Patrie!», ор. 19 (1874).—120, 137, 576.

Биконсфильд гр.—см. Дизраели.

Боборыкин П., «Московские письма».—597.

Боголюбов А. П.—см. Емельянов А. С.

Боденштедт фон Фридрих (1819—1892)—немецкий писатель и переводчик. Его «Lieder des Mirza Schaffy», имевшие огромный успех (в 1851 г. вышло 1-е издание, в 1917 г.—267-е), несколько раз переводились на русский язык.—115.

Бойков Иван Васильевич—слуга Мекк.—380, 393—395, 419, 442, 447, 448, 469, 480, 483, 496, 498, 500, 501, 515, 520, 592.

Боккерини Луиджи, 2-я соната для виолончели.—581.

Бомарше Пьер-Огюстен Карон (1732—1799)—французский драматург и публицист.—604.

Бончиани—владелец ресторана и отеля близ Флоренции.—507, 509, 543.—545.

Борджиа Цезарь (Чезаре) (1478—1507)—побочный сын папы Александра VI, итальянский политический деятель.—74.

Бородин Александр Порфирьевич (1834—1887)—композитор и химик, проф. Медико-хирургической академии. Член кружка «могучей кучки».—119, 136—133, 579.

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751—1825)—композитор церковной музыки, первый директор Придворной певческой капеллы.—314, 593, 595.

Брамс Иоганнес (1833—1897)—немецкий композитор.—99, 118, 119, 122, 137, 286, 473, 578, 585.

— 1-я симфония (g-moll), ор. 68.—122, 578.

Брандуков Анатолий Андреевич (1853—1930)—виолончелист-виртуоз. В 1877 г. окончил Московскую консерваторию с золотой медалью и уехал в Париж, где прожил до конца 1889 года. Ближайший друг Чайковского. Чайковский посвятил ему «Pezzo capriccioso» (ор. 62) для виолончели.—240, 586.

Брандус, Дюфур и Ко (Brandus, Dufour et Co)—крупная парижская издательская фирма.—267, 443.

Брассен Луи (1840—1884)—пианист, композитор, проф. Петербургской консерватории.—601.

Брем Альфред-Эдмунд, «Жизнь животных».—517.

Бродский Адольф (1851—1929)—скрипач, в 1875—1878 гг. преподаватель Московской консерватории. С большим успехом концертировал в России и за границей. Впервые исполнил за границей скрипичный концерт Чайковского, ему посвященный (ор. 35). Последние двадцать лет был директором консерватории в Манчестере.—120, 279, 306, 578, 581, 586.

Брух Макс (1838—1920)—немецкий композитор. Наибольшей популярностью пользуются его 1-й скрипичный концерт и «Kol Nidrei».—250, 261, 601.

— 1-й концерт для скрипки (g-moll), ор. 26.—250, 261, 601.

— 2-й концерт для скрипки (d-moll), ор. 44.—250.

Буалдье Франсуа-Адриен, опера «La dame Blanche» (1825).—231, 589.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859)—реакционный журналист и беллетрист.—526, 529, 603.

Бутовский Александр Иванович (1814—1890)—директор департамента мануфактур Министерства финансов, впоследствии сенатор.—132, 579.

Буш Мориц, «Граф Бисмарк и его приближенные за время войны с Францией».—480, 597.

Бюлов бар. фон Ганс-Гвидо (1830—1894)—пианист, дирижер, музыкальный критик. С начала 1878 г. капельмейстер оперного театра в Ганновере. Пропагандировал произведения Чайковского в Европе и Америке. Чайковский посвятил ему 1-й ф.-п. концерт (ор. 23).—147, 157, 180, 257, 269, 284, 505, 580, 582, 583.

— «Ausgewählte Schriften».—580.

— «Reise-Recensionen».—580.

Вагнер Рихард (1813—1883).—11, 97—100, 118, 119, 121, 178, 180, 229, 239, 249, 282, 375, 376, 567, 576, 583, 587.

— Романтическая опера «Тангейзер» (1845).—282, 587.

— Тетралогия «Кольцо Нибелунгов» (пролог «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов») (1853—1874).—97—99, 180, 376, 567, 576, 583.

Валлон—см. Wallon.

Валтазар—по библии последний вавилонский царь, устраивавший в осажденной столице пышные пиры.—333, 334, 336, 345, 407.

Варламов Александр Егорович (1801—1843)—композитор.—595.

Вебер Карл-Мария (1786—1826)—немецкий композитор.—375.

Велинская Феодосия Никитишна (ум. в 1929 г.)—певица (сопрано), в 1877—1885 гг. артистка Мариинского театра, исполнительница ролей Антониды в оп. «Жизнь за царя» и Гориславы в оп. «Руслан и Людмила».—443.

Венявский Генрих Иосифович (1835—1880)—скрипач и композитор. Упоминаемый в письме романс А. Рубинштейна из ор. 44, № 1 (Es-dur).—343, 593.

— 2-й концерт для скрипки (d-moll), ор. 22.—593.

Верди Джузеппе (1813—1901)—итальянский композитор.—123, 129, 200, 215, 268, 376, 429, 485.

— Опера «Аида» (1871).—429.

— » «Травиата» (1853).—215.

— » «Трубадур» (1853).—215.

— » «Le Bal masqué» (1858).—376.

— » «La Forza del Destino» (1862).—200.

— » «Giovanna d'Arco» (1845).—485.

Виктор-Эммануил II (род. в 1820 г., ум. 9 января 1878 г.)—король Италии.—142, 160.

Вильборг В. И. (ум.)—пианист, ученик Клиндворта. Впоследствии открыл музыкальную школу.—122, 578.

Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778).—360, 403, 538, 592.

Воронец Александра Филаретовна (ум. в 1881 г.)—сестра Н. Ф. фон-Мекк, помещица Смоленской губ.—459.

Вьетан Анри (1820—1881)—скрипач-виртуоз и композитор.—80, 508, 575, 583.

— 1-й концерт для скрипки (E-dur), ор. 10.—80, 575.

— 4-й концерт для скрипки (d-moll), ор. 31.—583.

Гайдн Франц-Иосиф (1732—1809).—262, 263, 575, 607.

— Симфония (B-dur).—607.

— Увертюра (D-dur).—575.

Галеви Жак-Фроманталь, опера «Жидовка» (1835).—559.

Галилей Галилео (1564—1642).—105, 209, 472, 490, 495.

Галли Анатолий Иванович—преподаватель Московской консерватории по классу ф.-п. В 1893 г. Чайковский посвятил ему ф.-п. пьесу «Danse caractéristique» (ор. 72).—257, 270.

Гамбетта Леон Мишель (1838—1882)—французский политический деятель, лидер умеренного Республиканского союза.—528.

Гафиз Мохамед-Шемседин (1300—1389)—персидский поэт-лирик.—115.

Гверини—скрипач-итальянец.—186.

Гейкинг бар. фон Густав Эдуардович (ум. в 1878 г.)—жандармский офицер.—415, 592.

Гейне Генрих (1797—1856). На его слова Чайковский написал три романса: «Отчего» (ор. 6), «Нет, только тот, кто знал» (ор. 6) и «Глазки весны голубые» (без ор.).—219.

Гектор—слуга Чайковского на вилле Бончиани во Флоренции.—491, 493, 532, 548, 549, 551, 559.

Гельмесбергер Иосиф (1828—1893)—скрипач, директор Венской консерватории, с 1877 г. придворный капельмейстер.—97.

Гендель Георг-Фридрих (1685—1759).—332, 576.

— Оратория «Саул» (1738).—576.

Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832). На его слова Чайковский написал два романса: «Песня Миньоны» (ор. 25) и «Не спрашивай» (ор. 57).—111, 145, 547, 577, 606.

Гилев Сергей Васильевич (род. в 1854 г.)—певец (баритон), первый исполнитель роли Онегина. В 1879 г. окончил Московскую консерваторию. Три сезона был в провинциальных оперных труппах, в 1881 г. перешел на педагогическую работу (профессор сольного пения).—145, 153.

Гильф Арно (1853—1909)—скрипач, в 1878—1888 гг. второй концертмейстер и преподаватель Московской консерватории.—601.
Глинка Михаил Иванович (1804—1857).—121, 123, 168, 180, 229, 256, 370, 373, 374, 376, 408, 443, 493, 505, 524, 547, 582, 583, 593, 595, 596.
— Опера «Жизнь за царя» (1836).—123, 373, 374, 505, 593.
— » «Руслан и Людмила» (1842).—373, 593.
— Музыка к трагедии Кукольника «Князь Холмский» (1840).—180, 583.
— Увертюра «Арагонская хота» («Caprice brillant») (1845).—180, 583.
— Фантазия «Камаринская» (1848).—593.
— «Записки Михаила Ивановича Глинки». Спб. 1871.—373, 408.
Глюк Кристоф-Виллибальд (1714—1787)—нем. композитор.—289, 578.
— Опера «Ифигения в Авлиде» (1772).—578.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852). На его сюжет Чайковский написал оперу «Кузнец Вакула» («Черевички»).—343, 390, 501.
Годунов Борис Федорович (1551—1605)—с 1598 г. русский царь.—192.
Гольдмарк Карл (1830—1915)—немецкий композитор.—249, 250, 261, 465.
— Увертюра «Сакунтала» (F-dur), ор. 13.—261.
— Квартет (B-dur), ор. 8.—261.
— 1-й концерт для скрипки (a-moll), ор. 28.—249, 250, 261, 465.
Гольман Иосиф (1852—1927)—голландский виолончелист, солист короля Нидерландского. С большим успехом выступал в главных городах Европы и Америки.—550, 607.
Горчаков кн. Александр Михайлович (1798—1883)—дипломат, государственный канцлер.—165, 231, 279.
Гржимали Иван Войцехович (1844—1915)—скрипач, с 1869 г. преподаватель, с 1875 г. профессор Московской консерватории, концертмейстер концертов Р. М. О.—80, 575, 581, 587, 601.
Гримм Фридрих (1723—1807)—писатель и дипломат, корреспондент Екатерины II.—508, 519, 538, 601.
Грюцмахер Фридрих-Вильгельм-Людвиг (1832—1903)—немецкий виолончелист-виртуоз и композитор. В 1860 г. вошел в состав придворного оркестра в Дрездене.—161, 581.
Губерт Александра Ивановна, рожд. Баталина (род. в 1850 г.)—жена Н. А. Губерта, пианистка, преподавательница Московской консерватории, в 1889—1914 гг. инспектор ее. Сделала ряд переложений оркестровых партитур Чайковского для ф.-п.—80, 575.
Губерт Николай Альбертович (1840—1888)—с 1870 г. профессор теории музыки в Московской консерватории, в 1881—1883 гг. директор ее. Близкий знакомый Чайковского. Чайковский посвятил ему романс «О, спой же ту песчю» (ор. 16).—80, 172, 173, 450, 461.
«Гугеноты», опера—см. Мейербер.
Гугентоблер—французский педолог.—286.
Гумберт I (1844—1900)—с 9 января 1878 г. король Италии.—470. 473.
Гуммель Иоганн (1778—1837)—немецкий композитор, находившийся под влиянием Моцарта; в детстве в течение двух лет был его учеником.—231, 263, 264, 266.
Гуно Шарль-Франсуа (1818—1893)—французский композитор.—119, 142, 212, 213, 256, 257, 341, 391, 413, 498, 554, 558, 559, 585, 587.
— Опера «Полиевкт («Polyeucte») (1878).—554, 558, 559.
— » «Ромео и Юлия» (1867).—341, 391, 413.
— » «Сен Марс» («Cinq Mars») (1877).—142, 212, 213, 256, 587.
— » «Фауст» (1859).—212, 257, 559, 587.

Гурилев Александр Львович (1802—1856)—композитор.—595.

Давыдов Александр Львович (1773—1833)—брат декабриста, бывший офицер Кавалергардского полка, отставной генерал-майор.—532, 605.

Давыдов Василий Львович (1792—1855)—декабрист. Был причислен к первому разряду осужденных и приговорен к двадцати годам каторжных работ.—310, 572.

Давыдов Владимир Львович (Беби) (1871—1906)—любимый племянник Чайковского, впоследствии офицер л.-гв. Преображенского полка. Чайковский посвятил ему Детский альбом для ф.-п. и 6-ю симфонию и сделал для него упрощенное переложение для ф.-п. музыки балета «Щелкунчик». По завещанию ему перешло авторское право на произведения Чайковского. Кончил жизнь самоубийством.—408, 495, 575, 576, 589.

Давыдов Дмитрий Львович (1870—1930)—племянник Чайковского. Впоследствии занимал выборные дворянские должности в Киевской губ. 408.

Давыдов (Давидов) Карл Юльевич (1838—1889)—виолончелист-виртуоз, композитор и музыкальный деятель, в 1876—1886 гг. директор Петербургской консерватории. Одно время дирижировал концертами и был членом квартета Р. М. О. Чайковский посвятил ему «Итальянское каприччио» (ор. 45).—409, 432, 433, 435, 436, 443, 459, 579, 587, 608.

Давыдов Лев Васильевич (1837—1896)—сын декабриста, с 1860 г. муж сестры Чайковского, управляющий имением братьев Николая и Петра (Каменка).—35, 37, 39, 40, 49, 95, 96, 110, 140, 301, 302, 304, 305, 307—310, 312, 313, 316—319, 368, 369, 383, 390, 395, 399, 400, 404, 408, 456, 461, 478, 532, 568, 572, 589, 597.

Давыдов М.—скрипач, в 1870—1871 гг. ученик Московской консерватории.—485, 486.

Давыдов Николай Васильевич (ум. в 1917 г.)—сын декабриста, брат Л. В. Давыдова, владелец Каменки.—49, 96, 309, 321, 572.

Давыдов Юрий Львович (род. в 1874 г.)—племянник Чайковского, впоследствии земский деятель.—400, 408.

Давыдова Александра Аркадьевна (1849—1902)—жена К. Ю. Давыдова, издатель журнала «Мир божий».—93, 608.

Давыдова Александра Ивановна (1802—1895)—жена декабриста. После смерти мужа вместе с детьми вернулась из Сибири.—49, 96, 310, 390, 576.

Давыдова Александра Ильинишна (1842—1891)—сестра Чайковского, с 1860 г. жена Л. В. Давыдова. Чайковский посвятил ей ф.-п. пьесу «Valse scherzo» (ор. 7).—32, 34, 35, 37, 39, 40, 49, 50, 54, 58, 62, 64, 69, 71, 73, 81, 92—96, 109, 110, 129, 134, 135, 140, 185, 277, 297, 301—303, 309, 311, 315—317, 322, 323, 325, 326, 341, 363—365, 368, 369, 376, 383, 384, 386, 395, 399, 400, 408, 431, 461, 475, 492, 532, 571, 573, 575, 576, 589, 597, 608.

Давыдова Анна Львовна (род. в 1864 г.)—племянница Чайковского, впоследствии жена сына Н. Ф. фон-Мекк—Н. К. фон-Мекк. Чайковский посвятил ей ф.-п. пьесу «Polka peu dansante» (ор. 51).—399, 404, 408.

Давыдова Вера Львовна (1863—1889)—племянница Чайковского с 1881 г. жена Н. А. Римского-Корсакова (не композитора). Чайковский посвятил ей ф.-п. пьесу «Romance» (ор. 51).—326, 338, 362, 369, 383, 384, 408.

Давыдова Наталья Львовна (род. в 1868 г.)—племянница Чайковского, после смерти сестры Веры вышедшая замуж за Н. А. Римского-Корсакова. 408.

Давыдова Татьяна Львовна (1862—1886)—племянница Чайковского, принимавшего в ее судьбе большое участие. Чайковский посвятил ей 6 дуэтов (ор. 46).—369, 383, 390, 408, 532, 608.

Данильченко Петр Антонович (1857—190?)—виолончелист. В 1880 г. окончил Московскую консерваторию (ученик Фитценгагена, Чайковского, Губерта), в 1882—1887 и 1890—1908 гг. артист московского Большого театра.—23, 279, 289, 322, 331, 361.

Данте Алигьери (1265—1321).—На его сюжет Чайковский написал «Франческу да Римини» (ор. 32).—272, 321.

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869)—композитор.—578, 583, 593, 595, 596.

— Опера «Каменный гость» (1866—1869).—583.

— » «Русалка» (1855).—593.

Дебен Александр-Франсуа (1809—1877)—изобретатель гармониума, основатель ф.-п. фабрики (1834).—344, 448.

Дегтярев—пианист, преподаватель музыки.—230, 245.

Дерби гр. Эдуард-Генри-Стенли (1826—1893)—английский политический деятель, в 1874—1878 гг. министр иностранных дел.—265.

Дервиз фон Павел Григорьевич (1826—1881)—концессионер и строитель железных дорог, композитор-дилетант. С 1868 г. жил за границей, где имел собственный оркестр, концерты которого пользовались большой известностью.—452.

Дженкинс Е., «Торжество Джинго».—480, 597.

Дизраели Бенджамен (1804—1881), с 1876 г. граф Биконсфильд—английский политический деятель.—241, 480, 495, 586.

Димитрий царевич (1581—1591)—сын Ивана Грозного.—192.

Додонов Александр Михайлович (1837—1914)—оперный певец (тенор), в 1869—1890 гг. артист московского Большого театра. Чайковский посвятил ему романс «Корольки» (ор. 28).—152, 587.

Додэ Альфонс (1840—1897)—французский романист.—536, 537.

Доменикино (Доменико Цампьери) (1581—1641)—итальянский живописец и архитектор.—74.

«*Дон-Бучефало*», опера-буфф—см. Каньони.

Доор Антон (1833—1919)—пианист-виртуоз, профессор Венской консерватории, до 1869 г. профессор Московской консерватории. Первый концертный исполнитель произведений Чайковского, автор воспоминаний о нем («Die Zeit», Wien, 5 февраля 1903). Чайковский посвятил ему ф.-п. пьесу «Valse caprice» (ор. 4).—547, 556, 557, 563, 605.

Дюбюк Александр Иванович (1812—1897)—пианист, в 1866—1872 гг. профессор Московской консерватории, автор в свое время популярных музыкальных произведений. Чайковский посвятил ему ф.-п. пьесу «Mazurka de salon» (ор. 9).—522, 602.

Дюма Александр (сын), «Le fils naturel» (1858).—559, 560.

Дюссо—ресторан в Москве.—27.

Еж Теодор-Томаш—псевдоним Сигизмунда Милковского (1824—1915), польского писателя.—255.

Екатерина II (1729—1796)—русская императрица.—508, 514, 519, 523, 538, 539, 601.

Елена Павловна вел. кн. (1806—1873)—жена вел. кн. Михаила Павловича, брата Александра I. Основательница Русского Музыкального Общества. Ее памяти Чайковский посвятил оперу «Кузнец Вакула» (ор. 14).—525.

Емельянов Алексей Степанович (1852—188?)—землеволец, за участие в демонстрации на Казанской площади в декабре 1876 г. приговоренный к отдаче в каторжные работы на пятнадцать лет.—202, 588.

Ефим—кучер в Браилове.—348, 393, 407, 410, 413.

Жанна д'Арк (1412—1431)—мистически настроенная крестьянская девушка, принявшая деятельное участие в Столетней войне. Руководимый

ею французский отряд освободил осажденный г. Орлеан. Была взята в плен англичанами и сожжена как колдунья.—534, 537, 539, 540, 560.

Жедринский Владимир Александрович (1851—1891)—товарищ прокурора Петербургского окружного суда, приятель А. И. Чайковского.—608.

Жевин Н. Т., «Дом Петра Ильича Чайковского в Клину».—608.

«Жидовка», опера—см. Галеви.

Жорж Санд—псевдоним французской романистки Авроры Дюдеван (1804—1876).—255, 272, 411.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852)—поэт.—314, 315, 320, 484, 534, 564, 603, 604.

Жюжан Маргарита Александровна—гувернантка Познанского (см.).—490, 496, 498, 505—509, 598.

Засулич Вера Ивановна (1851—1919)—революционерка.—292, 295, 296, 298, 415, 496, 588.

Зильберштейн Моисей Иоакимович (1855—1923)—певец (тенор), в то время ученик Московской консерватории (не окончил), в 1884—1896 гг. артист Мариинского театра под фамилией Михайлов (с 1893 г., после крещения, принял имя Михаила Ивановича Михайлова), первый исполнитель на петербургской сцене Ленского и княжича Юрия в «Чародейке».—145, 152, 180, 181, 583.

Иван Иванович—слуга Мекк в Браилове.—412, 416.

Игнатьев (с 1877 г.—граф) Николай Павлович (1832—1908)—политический деятель царской России, дипломат и министр.—279.

Иоанн Златоуст (344—407)—представитель восточной церкви.—314.

Иоахим Иосиф (1831—1907)—скрипач-виртуоз, директор Высшей музыкальной школы в Берлине.—97, 233, 257.

Иолшин Александр Александрович (ум. в 1929 г.)—муж Е. К. Иолшиной, рожд. фон-Мекк.—441.

Иолшина Е. К.—см. Мекк. Е. К.

Кажинский Виктор М. (1812—1870)—композитор, с 1845 г. капельмейстер Александринского театра в Петербурге.—272, 587.

Кайгородов Дм., «П. И. Чайковский и природа».—608.

Калиновский—музыкант.—331, 451.

Канова Антонио (1757—1822)—итальянский скульптор.—81.

Кант Иммануил (1724—1804).—111.

Каньони Антонио (1828—1896)—итальянский оперный композитор. Его опера-буфф «Дон-Бучефало» (1847) пользовалась в Италии большой популярностью.—519.

Карлейль Томас, «Исторические и критические опыты», М. 1878.—255.

Карнович Е., «Самозванные дети» (Из сказаний XVIII столетия).—495, 500, 598.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887)—реакционный публицист, издатель «Русского вестника», редактор «Московских ведомостей».—292, 521.

Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920)—проф. Московской консерватории по классу теории и истории музыки (1866—1896), музыкальный критик, автор воспоминаний о Чайковском: «На память о П. И. Чайковском» (совместно с Г. А. Ларошем), изд. Гербек, М. 1894; «Воспоминания о П. И. Чайковском», изд. Юргенсона, М. 1896; «Из воспоминаний о П. И. Чайковском» в сборн. «Прошлое русской музыки», т. I, «Огни», П. 1920. Был в большой дружбе с Чайковским. Чайковский посвятил ему романс «Ни слова, о, друг мой» (ор. 6).—150, 435, 454, 568, 574, 575, 577, 583, 584, 591, 603, 607.

Керубини Луиджи (1760—1842)—итальянский композитор, автор 29 опер и других музыкальных произведений.—96, 249.

— Опера «Водовоз» («Les deux journées») (1800).—96.

Киль Фридрих (1821—1885)—немецкий композитор, профессор консерватории Штерна по классу ф.-п.—493, 578.

— «Реквием», ор. 20 (1860; новая обработка—1878).—578.

Кламрот Карл Антонович (182?—1912)—выдающийся скрипач, профессор Московской консерватории; в 1855—1900 гг. первый скрипач, а затем концертмейстер московского Большого театра.—279.

Кленовский Николай Семенович (род. в 1857 г.)—композитор и дирижер. В 1879 г. окончил Московскую консерваторию (ученик Гржимали, Губерта и Чайковского).—270.

Климентова-Муромцева Мария Николаевна (род. в 1856 г.)—певица (сопрано). В 1879 г. окончила Московскую консерваторию и около десяти лет была на сцене московского Большого театра. Первая исполнительница роли Татьяны в «Евгении Онегине» (1879). Чайковский посвятил ей ф.-п. пьесу «Rêverie» (ор. 9).—145, 152, 153.

Клиндворт Карл (1830—1916)—пианист, ученик Листа, в 1868—1884 гг. профессор Московской консерватории. Известен своими редакционными работами (Шопен в изд. Юргенсона) и переложениями для ф.-п. оркестровых произведений, в том числе симфонической фантазии Чайковского «Франческа да Римини». Чайковский посвятил ему ф.-п. пьесу «Capriccio» (ор. 8) и сонату для ф.-п. (ор. 37).—152, 184, 22?, 580, 589.

Ковальчуков Александр Ильич—врач, убитый Безобразовым (см.).—496, 599.

Ковальчукова Мария Самойловна—жена врача Ковальчукова.—496, 599.

Колаковский Алексей Антонович (род. в 1855 г.)—скрипач, ученик Ауэра. В 1878 г. окончил Петербургскую консерваторию, с 1879 г. профессор Киевской консерватории.—161, 180.

Колонн Эдуард (1833—1910)—французский дирижер. Дирижировал концертами на Всемирной выставке 1878 года.—593.

Коммисаржевский Федор Петрович (1833—1905)—певец (тенор), артист Мариинского театра (1863—1879), профессор Московской консерватории (1883—1888). Чайковский посвятил ему один романс (ор. 57).—124, 152, 183, 457, 458.

Кондратьев Николай Дмитриевич (183?—1887)—помещик и предводитель дворянства Сумского у., Харьковской губ., друг П. И. Чайковского; был знаком с ним с 1864 года. Чайковский посвятил ему ф.-п. пьесу «Rêverie du soir» (ор. 19).—113, 114, 307, 308, 357.

Конев П. Т.—пианист, в 1880 г. преподаватель Московской консерватории.—586.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927)—судебный деятель, автор воспоминаний «На жизненном пути».—588, 598.

Конради Алина Ивановна (1849—1932)—с 1867 г. жена своего родного дяди Г. К. Конради. В 1879 г. разошлась с ним и вышла замуж за Владимира Александровича Брюлова (1845—1918), сына известного архитектора. Чайковский посвятил ей ф.-п. пьесу «Echo rustique» (ор. 72).—114, 115, 127, 192, 234, 247, 275, 317, 358, 359, 42?, 608.

Конради Герман Карлович (1833—1882)—агроном, управляющий крупными имениями на Украине.—93, 114, 115, 117, 127, 139, 180, 192, 234, 247, 317, 324, 327, 451.

Конради Николай Германович (1858—1923)—воспитанник М. И. Чайковского, впоследствии владелец имения Гранкино, Полтавской губ., где часто у него гостил П. И. Чайковский.—76, 93, 94, 114, 115, 117, 127, 132, 139—145, 148—154, 162, 165, 166, 171, 175, 177, 180—183, 185, 187, 190, 192, 193, 196, 198—201, 205—207, 209, 223—225, 231, 233, 234, 237, 247,

253, 274, 275, 286, 294—296, 307, 317, 324, 369, 398, 407, 429, 437, 449, 451, 457, 562, 580.

Константин Николаевич вел. кн. (1827—1892)—сын Николая I, с 1873 г. президент Р. М. О. Чайковский посвятил ему оперу «Опричник» и 2-й квартет (ор. 22).—145, 279, 583.

Контский Аполлинарий (1825—1879)—скрипач-виртуоз, автор нескольких произведений для скрипки.—537, 593.

«*Коппелия*», балет—см. Deslibes.

Корсов (настоящая фамилия—Геринг) Готфрид Готфридович (Богомир Богомирович) (1845—1920)—выдающийся певец (баритон), в 1869—1881 гг. артист петербургского, с 1882 г. московского императорских театров; с 1894 г. заслуженный артист. Принимал участие в первых представлениях опер Чайковского «Опричник», «Мазепа», «Черевички», «Чародейка», «Пиковая дама». Был в переписке с Чайковским. Чайковский посвятил ему два романса: «Ни отзыва, ни слова» (ор. 28) и «На нивы желтые» (ор. 57).—438, 439.

Костюшко Тадеуш (1746—1817)—польский военный и политический деятель, начальник вооруженных сил восстания 1794 г.—120, 529.

Котек Иосиф Иосифович (1855—1885)—скрипач. Окончил Московскую консерваторию в 1876 г. (ученик Лауба и Чайковского). Был в большой дружбе с Чайковским, который посвятил ему «Valse scherzo» для скрипки (ор. 34).—14, 33, 59, 97—102, 232—234, 264, 276, 303, 567, 586.

Кравчинский (Степняк) Сергей Михайлович (1852—1895)—революционер, писатель. После убийства Мезенцова переехал за границу.—406, 592.

Краевский Андрей Александрович (1810—1889)—журналист-делец, редактор «Отечественных записок» (до 1868 г.), представитель крайне умеренного либерализма.—252.

Крашевский Иосиф-Игнатий (1812—1887)—польский писатель. Один из самых плодовитых писателей мира.—347, 591.

Кудрявцев—знакомый А. И. Чайковской.—33.

Кюи Цезарь Антонович (1835—1920)—композитор (член кружка «могучей кучки»), музыкальный критик, инженер-генерал, проф. фортификации.—119, 136, 137, 331, 393, 397, 579, 592, 607.

— Опера «Анджело» (1871—1876).—507.

— » «Вильям Ратклиф» (1851—1868).—136.

— Статья «La Musique en Russie».—331, 393, 397, 592.

Лавровская (по мужу—кн. Цертелева) Елизавета Андреевна (1849—1919)—известная певица (контральто), с большим успехом гастролировавшая в России и за границей. С 1888 г. профессор Московской консерватории. Чайковский посвятил ей 6 романсов (ор. 27).—385, 398, 443, 568.

Лажечников Иван Иванович, «Последний Новик» (1831).—189.

Лангер Эдуард Леонтьевич (1835—1905)—преподаватель Московской консерватории, композитор, автор многих ф.-п. переложений оркестровых произведений русских композиторов. Чайковский посвятил ему ф.-п. пьесу «Capriccioso» (ор. 19).—586.

Ларош Александра Федоровна, рожд. кж. Ухтомская (ум. в 1900 г.)—вторая жена Г. А. Ларош (с 1876 г.).—300, 524.

Ларош Анастасия Петровна, рожд. Сушкина (1847—1875)—первая жена Г. А. Ларош (с 1868 г.), дочь заводского служащего.—300, 524.

Ларош Герман Августович (1845—1904)—музыкальный критик, разделявший консервативно-академическую точку зрения, в 1872—1879 гг. проф. Петербургской, в 1883—1886 гг. проф. Московской консерваторий по классу теории и истории музыки. Его статьи о Чайковском переизданы

в книге: Г. А. Ларош, «Собрание музыкально-критических статей», т. II (2 выпуска), изд. Музсектора, М.—П. 1924. С его предисловием изданы «Музыкальные фельетоны и заметки П. И. Чайковского», М. 1898. Чайковский посвятил ему романс «Пойми хоть раз» (ор. 16) и «Thême original et variations» (ор. 19) для ф.-п.—257, 293, 294, 299—301, 305, 435, 451, 480, 511, 512, 517, 518, 524, 525, 528, 531, 587, 597, 602, 603, 608.

Лауб Фердинанд (1832—1875)—скрипач-виртуоз, в 1866—1874 гг. профессор Московской консерватории, первый скрипач квартета и концертмейстер Р. М. О. Памяти его посвящен Чайковским 3-й квартет (ор. 30).—262, 485, 508, 557.

Лахнер Франц (1803—1890)—немецкий композитор. Из многочисленных произведений его первое место занимают сюиты для большого оркестра.—421.

Лев XIII (Джоакино Печчи) (1810—1903)—с 1878 г. римский папа.—201, 241, 583.

Левис Георгий Федорович (Georgy)—сын Л. К. Левис, впоследствии кирасир.—392.

Левис Л. К.—см. Мекк Л. К.

Левис Максимилиан Федорович (Макс) (ум. в 1902 г.)—сын Л. К. Левис, впоследствии гвардейский офицер.—392, 494.

Левис (Levis of Menar) Федор—муж Л. К. Мекк.—305, 306, 514, 523, 527.

Лелевель Иоахим (1786—1861)—польский историк, один из вождей восстания 1830 г.—526, 529, 603.

Леон—слуга Мекк в Браилове.—348.

Леонардо да-Винчи (1452—1519).—142, 159, 207.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841). На его слова Чайковский написал романс «Любовь мертвеца» (ор. 38.).—24, 115, 177, 202, 203, 547, 584, 586.

Линднер Август, Концерт для виолончели (e-moll).—607.

Лист Франц (1811—1886). Написал парафразу на мотив полонеза из «Евгения Онегина» (1879).—100, 268, 289, 577, 578.

— Симфоническая поэма «Тассо».—578.

— Книга «Frédéric Chopin» (1852); русский перевод Зиновьева, Спб. 1887.—289.

Лойко И. (ум. в 1891 г.)—скрипач, с 1879 г. артист оркестра московского Большого театра.—581, 586.

Лукка Паулина (1841—1908)—певица (сопрано). С большим успехом гастролировала в Европе (была в Петербурге) и в Америке.—494.

Льюис Д. Г. «Жизнь И. Вольфганга Гете». Перевод со второго английского изд. под ред. А. Н. Неведомского. Спб. 1867.—111, 146.

Люценко Любовь—певица, в 1876—1880 гг. артистка московского Большого театра.—586.

Мамонтов Николай Николаевич (1836—1890)—купец, владелец Лоскутной гостиницы в Москве, построенной в 1877 г.—355.

Маргарита-Мария-Тереза-Иоанна Савойская—жена Гумберта I, короля Италии.—383, 470, 473.

Мария Федоровна (1847—1928)—жена Александра III, в то время наследника. Чайковский посвятил ей 12 романсов (ор. 60).—241.

Маркетти Филиппо, опера «Рюи Блаз» (1869), в то время одна из наиболее популярных в Италии опер.—123.

Марсель Карлович—слуга Мекк в Браилове.—312, 313, 327, 328, 332, 334, 337, 341, 346, 350, 352, 363, 369, 377, 379, 392, 393, 400, 404, 406, 409, 410, 414, 419, 589, 590, 605.

Массе Виктор, опера «Paul et Virginie» (1876).—65.

Массне (Массене) Жюль (1842 — 1912) — французский композитор, автор ряда опер, балетов и других музыкальных произведений.—64, 119, 180, 497, 498, 501, 526, 553.

— Опера «Le Roi de Lahore» (1877).—64, 180, 497, 498.

Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878) — шеф жандармов. Убит Кравчинским (см.).—406, 415, 592.

Мей Лев Александрович (1822—1862)—поэт. На его слова Чайковский написал 11 романсов (опр. 6, 25, 27 и 28).—214, 230, 231, 603.

Мейербер Джакомо (1791—1864)—оперный композитор.—244, 547, 559, 589.

— Опера «Гугеноты» (1836).—559.

—. » «Пророк» (1848).—559.

- » «Роберт-Диавол» (1831).—589.

Мекк Александр Карлович (1864—1911) председатель Русского горного общества, коллекционер.—20, 23, 24, 127, 152, 166, 167, 178, 214, 230, 257, 260, 305, 344, 352, 354, 363, 401—403, 409, 414, 416, 418, 426, 514, 555.

Мекк Александра Карловна (1849—1920)—с 1874 г. жена гр. П. А. Беннигсена.—23, 79, 127, 273, 279, 305, 306, 321, 331, 339, 344, 362, 369, 382, 383, 389, 391, 393, 395, 400—402, 409, 414, 416, 418, 420, 426, 441, 515.

Мекк Владимир Владимирович (внук) (1877—1932) —впоследствии окончил лицей, художник-дилетант.— 305, 306, 313, 321, 392.

Мекк Владимир Карлович (1852—1892) после смерти отца заведывал коммерческими предприятиями Мекк. Владелец имения под Можайском.—292, 313, 321, 392, 420, 441.

Мекк Елизавета Михайловна, рожд. Попова (1851 — 1892) — жена В. К. Мекк.—441.

Мекк Елизавета Карловна (1848—1903)—в замужестве Иолшина.—441.

Мекк Карл Федорович (1819—1876)—муж Н. Ф. Мекк.—105, 152, 292, 312, 326, 452, 578.

Мекк Лидия Карловна (1855—1910)—в замужестве Левис (Levis of Menar).—79, 257, 258, 305, 306, 313, 331, 362, 382, 392, 403, 420, 451, 456, 480, 482, 483, 494, 514, 519, 527, 536, 557.

Мекк Людмила Карловна (Милочка) (род. в 1872 г.)—впоследствии жена кн. А. А. Ширинского-Шихматова.— 11, 23, 28, 48, 100, 141, 152, 178, 185, 192, 193, 195, 196, 198, 208, 214, 230, 238, 240, 248, 249, 265, 273, 285, 293, 295, 306, 309, 315, 331, 369, 377, 389, 414, 441, 442, 449, 452, 453, 473, 494, 495, 497, 527, 528, 532, 548, 556, 607.

Мекк Максимилиан Карлович (род. в 1869 г.)—впоследствии секретарь посольства в Стокгольме.—23, 84, 166, 362, 363, 403, 441.

Мекк Михаил Карлович (1871—1883).—11, 23, 162, 362, 363, 403, 441.

Мекк Николай Карлович (1863—1929)—правовед, с 1892 г. председатель правления Московско-Казанской ж. д. Расстрелян как вредитель.—20, 23, 127, 152, 166, 167, 178, 214, 230, 257, 260, 305, 313, 344, 354, 362, 363, 369, 392, 401, 402, 409, 412, 416, 418, 419, 426, 514, 515, 555.

Мекк София Карловна (род. в 1867 г.)—по первому браку Римская-Корсакова, по второму—кн. Голицына; основательница Высших женских курсов в Москве.—23, 152, 214, 240, 255, 257, 363, 402, 441, 495, 497, 526, 527, 528, 532.

Мекк Юлия Карловна (1853—1915)—впоследствии жена В. А. Пахульского.—23, 37, 42, 43, 45, 52, 79, 107, 118, 121, 162, 178, 209, 212, 214, 230, 238, 240, 251, 272, 313, 331, 363, 402, 418, 441, 442, 452, 462, 463, 480, 494, 507, 519, 523, 524, 527, 536.

Мельников Иван Александрович (1831—1906)—выдающийся певец (баритон), в 1867—1891 гг. артист Мариинского театра. Принимал участие в первых представлениях опер Чайковского «Опричник», «Кузнец Вакула», «Мазепа», «Чародейка», «Пиковая дама». Чайковский посвятил ему романс «Я с ней никогда не говорил» (ор. 25).—153, 583.

Мендельсон (Мендельсон-Бартольди) Яков-Людвиг-Феликс (1809—1847) — немецкий композитор.—231, 289, 370, 375, 493, 547, 577, 584, 586, 595.

— Оратория «Павел», ор 36 (1836).—595.

— Увертюра «Сон в летнюю ночь», ор. 21 (1826).—584.

— Квартет (e-moll).—370.

— Хор «Первая Вальпургиева ночь», ор. 60.—577.

Меринг Фридрих Фридрихович (1822—1887)—терапевт, проф. Киевского университета.—416, 423.

Мерме Огюст (1822 — 1887) — французский композитор. — 484, 492, 534, 537, 560.

— Опера «Jeanne d'Arc» (1876).—484, 534, 537, 560, 603.

Мещерский кн. Владимир Петрович (1839—1914)—беллетрист, журналист реакционного направления.—417.

Микель-Анджело Буонаротти (1475 — 1564). — 209, 215, 229, 471, 508, 525.

Милорадович М. М.—певица (сопрано), в 1880 г. профессор Московской консерватории.—578.

Милюкова А. И.—см. Чайковская А. И.

Михаил-архангел—по библейской мифологии вождь небесного воинства в борьбе с темными силами ада.—470, 471, 540.

Михаил Николаевич вел. кн. (1832—1909)—сын Николая I, в 1863—1881 гг. наместник Кавказа, в 1877—1878 гг. главнокомандующий кавказской армией.—241, 279.

Мицкевич Адам (1798—1855)—польский поэт. На его слова Чайковский написал три романса: «А ли мать меня рожала», «Моя баловница» (ор. 27) и «На землю сумрак пал» (ор. 47).—526, 529, 536, 603.

Мольер Жан-Батист (1622—1673).—390, 554, 589.

Мосалитинов —знакомый Чайковского.—72—74.

Моцарт Вольфганг-Амедей (1756—1791). Чайковский написал на его музыку сюиту «Моцартиана» и на его ф.-п. фантазию № 4 вокальный квартет «Ночь».—215, 231, 261—264, 278, 280—283, 287, 289, 332, 517, 578, 583.

— Опера «Дон Жуан» (1787).—262—264, 289, 281, 583.

— «Реквием» (1791).—262.

— Симфония (Es-dur).—578.

— Квинтет (g-moll).—262, 264, 282, 289.

Муравьев гр. Михаил Николаевич (1796—1866)—государственный деятель, крайний реакционер. За усмирение польского восстания 1863 г. получил титул графа и вошел в историю под кличкой Муравьева-вешателя.—252, 586.

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881)—композитор, член кружка «могучей кучки».—119, 136—138, 503, 509, 510, 513, 579.

Нагорнов Ипполит Николаевич—скрипач-виртуоз, с большим успехом выступавший на концертах за границей.—186.

Наполеон I (1769—1821).—538.

Направник Эдуард Францевич (1839—1916)—дирижер и композитор, капельмейстер петербургской оперы, с 1875 г. член главной дирекции Р.М.О. Под его управлением шли в Петербурге первые представления опер Чайковского. Был лично знаком с Чайковским и находился с ним в пере-

писке. В опере Направника «Дубровский» заметно влияние Чайковского. Чайковский посвятил ему оперу «Орлеанская дева».—119, 254, 331, 332, 343, 409, 574, 586, 587, 600.

Трио, ор. 24 (1876); премировано Р. М. О.—331, 332, 343.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877). На его слова Чайковский написал романс «Прости» (ор. 60).—146, 242, 251—253, 255, 272, 273, 277—279, 291, 500, 566.

Николини (Эрнест-Никола) (ум. в 1898 г.)—итальянский певец (тенор). Гастролировал вместе со своей женой Аделиной Патти.—122.

Никулина Надежда Алексеевна (1842—1923)—артистка московского Малого театра. Для нее Островский написал «Шутников», «Дикарку», «Волки и овцы».—239, 587.

Обер Даниель, опера «Чернсе домино» (1837).—604.

Огарев Николай Платонович (1813—1877)—поэт и редактор «Колокола». На его слова Чайковский написал хор и романс «На сон грядущий» (ор. 27).—603.

Одоевский кн. Владимир Федорович (1803—1869)—писатель и общественный деятель. Написал ряд статей о музыке; с 1863 г. был одним из директоров московского отделения Р. М. О.—521.

Ожье Эмиль (1820—1889)—французский драматург. «Les Fourchambault» (1875)—его последняя пьеса, имевшая исключительный успех.—560.

Ольга Николаевна (1822—1892)—королева вюртембергская.—154.

Ольховский Евгений Иванович (ум. в 1876 г.)—муж З. И. Чайковской.—185.

Оппенгейм—владелец виллы близ Флоренции.—541, 544.

Орда Наполеон, «Grammaire analytique et pratique de la langue polonaise á l'usage de Français», изд. 2-е, Варшава 1874.—530.

Орлов Дмитрий Александрович (род. в 1842 г.)—певец (тенор), в 1869—1880 гг. артист оперы в Петербурге; один год служил в Большом театре в Москве. Чайковский посвятил ему романс «Как над горячею золой» (ор. 25).—152.

Островский Александр Николаевич (1823—1886). На сюжеты его сочинений Чайковский написал оперу «Всевода», музыку к сказке «Снегурочка», увертюру к драме «Гроза» и музыку к хронике «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский».—524, 603.

Оффенбах Жак (1819—1880)—композитор всемирно известных опереток. Написал 102 сценических произведения.—517.

Охотский Ян-Дуклан, сын Станислава, камергера польского короля Станислава-Августа,—автор воспоминаний.—347, 591.

Панаев Валерьян Александрович (1824—1899)—инженер путей сообщения. Был приглашен К. Ф. фон-Мекк на постройку Курско-Киевской жел. дор.—281, 285, 290, 303.

Панаев Ипполит Александрович (1822—?)—инженер путей сообщения.—290.

Панаев Кронид Александрович (1830—1904)—гвардейский штабс-ротмистр.—290.

Панаева Александра Валерьяновна (род. в 1853 г.)—талантливая певица, ученица Виардо, с большим успехом выступавшая на концертах. С 1885 г. жена двоюродного племянника Чайковского, поручика Кавалергардского полка Георгия Павловича Карцова (1861—1931). Чайковский посвятил ей 7 романсов (ор. 47).—277, 282, 285, 290, 291, 303, 355, 412, 417, 475, 483.

Панов Иван Степанович (1844—1885)—художник.—570.

Папендик-Эйхгнвальд Ида Ивановна (1845—1918)—арфистка, проф. Московской консерватории, первая арфистка Большого театра (1851—1901).—240, 585, 586.

Паприц Е. Э.—певица.—601.

Патти Аделина (1843—1919)—выдающаяся итальянская певица (колоратурное сопрано), с большим успехом гастролировавшая в Европе (была в Петербурге и в Москве). Чайковский впервые слышал ее в Лондоне в 1861 г.; к ней как к певице относился отрицательно.—122.

Пахульский Владислав Альбертович (ум. в 1919? г.)—скрипач, ученик Московской консерватории, впоследствии муж Ю. К. Мекк.—23, 147, 239, 240, 255, 289, 350, 351, 353, 392, 402, 425, 438, 441, 453, 454, 480, 482, 483, 485—493, 504, 508, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 520, 523, 543, 544, 545, 547, 555, 556, 563, 605.

Петров Осип Афанасьевич (1807—1878)—знаменитый певец (бас), артист Мариинского театра.—604.

Петрова Анастасия Петровна (ум. в 1893 г.)—гувернантка Чайковского.—603.

Пий IX (гр. Джованни-Мария-Мастаи-Феретти) (1792—1878)—римский папа.—185, 583.

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868)—критик и публицист.—24, 27, 28.

Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881)—писатель.—77, 78.

Платон (427—348 до н. э.)—греческий философ.—190.

Познанский Николай Игнатьевич—сын жандармского полковника. М. Жюжан (см.) обвинялась в отравлении Н. Познанского.—490, 496, 506—508, 598.

Полонская—певица.—593.

Полонский Яков Петрович (1819—1898)—поэт. На его слова Чайковский написал, «Кантату на открытие Политехнической выставки», четыре романса (ор. 60), хор «Привет А. Рубинштейну» (1889) и по его либретто оперу «Кузнец Вакула» (ор. 14).—591, 604.

Попко Григорий Анфимович (1852—1885)—член партии «Земля и воля», покушавшийся на бар. Гейкинга.—592.

Поппер Давид, пьеса для виолончели «Арлекин».—607.

Порубиновский Иван Романович (1852—1912)—фаготист. В 1878 г. окончил Московскую консерваторию, в 1879—1900 гг. служил в оркестре московского Большого театра.—232, 233, 239.

Потемкин Дмитрий Демьянович—дед Н. Ф. Мекк.—470.

«*Пророк*», опера—см. Мейербер.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). На его слова Чайковский, кроме трех опер, написал романс «Соловей» (ор. 60) и симфоническую балладу «Воевода». (ор. [78]).—22, 24, 26—28, 44, 115, 123, 124, 130, 152, 547, 568, 572, 604.

Радецкий Федор Федорович (1820—1890)—генерал от инфантерии, командир 8-го корпуса. Во время турецкой войны вел операции на Балканах.—143.

Разумовский Дмитрий Васильевич (1818—1889)—протоиерей, профессор истории церковной музыки в Московской консерватории.—357.

Расин Жан-Батист, трагедия «Andromaque» («Андромаха») (1667).—554.

Рафаэль Санти (1483—1520).—74, 207, 215, 231, 508.

Рафф Иосиф-Иоахим (1822—1882)—немецкий композитор, в свое время пользовавшийся большой популярностью. Осенью 1877 г. был назначен директором консерватории во Франкфурте-на-Майне.—493, 601.

— Сюита для скрипки, ор. 180.—601.

Рейнер Мария Федоровна—певица, ученица Московской консерватории, которую окончила в 1879 г.—161, 581.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908)—композитор, член кружка «могучей кучки». Посвятил Чайковскому романс «Где ты, там мысль моя» (ор. 8). Чайковский посвятил ему романс «Погоди!» (ор. 16).—119, 135—137, 293, 579.

Рис Франц (род. в 1846 г.)—немецкий композитор, скрипач, автор многочисленных оркестровых и камерных произведений.—496, 497.

Ристори Аделаида (маркиза Капраника дель-Грилло) (1821—1906)—итальянская драматическая актриса. Гастролировала в Европе и в Америке, была в Петербурге в 1861 г.—501, 600.

Рихтер Ганс (1843—1916)—выдающийся дирижер. В 1876 г. дирижировал первыми представлениями «Нибелунгов» в Байрейте и с тех пор являлся главным дирижером байрейтских представлений. В 1878—1892 гг. второй капельмейстер Придворной капеллы в Вене.—156, 267, 268, 271, 577.

Розанов Николай Павлович (1809—1883)—секретарь консистории в Москве.—354, 355, 357.

Росси Эрнесто (1829—1896)—итальянский трагик. Несколько раз гастролировал в России (последний раз в 1896 г.).—306, 322, 325, 341.

Россини Джоакино (1792—1868)—итальянский композитор, автор «Севильского цирульника» и многих других опер.—199, 532.

— Опера «Вильгельм Телль» (1829).—199.

Рошфор Виктор—видный французский публицист Парижской коммуны. Бежал из ссылки в Женеву, откуда в 1880 г., после амнистии, вернулся во Францию. Впоследствии монархист и антисемит.—129, 415.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894)—пианист, дирижер, композитор, насадитель музыкального образования в России. Посвятил Чайковскому ф.-п. пьесу «Scherzo» (F-dur) (ор. 93). Чайковский посвятил ему 6 пьес для ф.-п. (ор. 21) и «Impromptu» (1889) и написал «Привет А. Рубинштейну», хор á capella. Кроме «Персидских песен» Боденштедта, Чайковский перевел текст ряда романсов Рубинштейна (opp. 32, 33, 34, 72, 76 и 83).—115, 119, 121, 122, 126, 189, 190, 256, 269, 300, 305, 332, 342, 361, 376, 425, 457, 492, 517, 525, 576, 578, 593, 594, 602, 607.

— Опера «Демон» (1875).—189, 190, 593.

— » «Маккавеи» (1875).—256.

— 2-я симфония «Океан» (C-dur), ор. 42.—376.

— 3-я симфония (A-dur), ор. 56.—576.

— Музык. характеристическая картина «Дон-Кихот», ор. 87.—607.

— Музык. характеристическая картина «Иван Грозный», ор. 79.—425, 593.

— Трио (B-dur), ор. 52, посвящено гр. А. В. Апраксиной.—361.

— 3-й концерт для ф.-п. (G-dur), ор. 45.—122, 578.

— Романс для ф.-п. (Es-dur), ор. 44.—343.

— «Allegro appassionato» для ф.-п. (d-moll), ор. 30.—361.

— «Valse caprice» для ф.-п. (Es-dur).—593.

— 2-я соната для скрипки и ф.-п. (a-moll), ор. 19.—361.

— Концерт для скрипки (G-dur), ор. 46.—332, 343.

— «Персидские песни» ор. 34.—115, 126, 578.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881)—пианист и дирижер, основатель московского отделения Р. М. О. и Московской консерватории, директором которой состоял. Чайковский посвятил ему 1-ю симфонию, 2 пьесы для ф.-п.: «Scherzo à la russe» и «Impromptu» (ор. 1), романс «Так что же?» (ор. 16), 2-й ф.-п. концерт (ор. 44) и памяти его ф.-п. трио (ор. 50), названное «Памяти великого артиста».—49, 50, 52, 59, 65, 80,

85, 110, 120, 134, 138—140, 142, 144, 145, 152, 157, 160—162, 164, 16
868—170, 172—176, 178—181, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 206, 212, 21
240, 246, 247, 250, 251, 256, 257, 259, 261, 282—284, 291, 316, 321—32
331, 352, 355, 358, 365, 385, 397, 398, 404, 419, 420, 424, 427, 428, 43
433, 435, 439—441, 443—445, 448—451, 454, 461, 462, 464, 478, 522, 534
535, 547, 550, 557, 572, 573, 577, 579, 580—583, 584, 586, 587, 589, 591
593—597, 601—604, 607.

—«Souvenir-Album».—162, 581.

Садовский Михаил Провович (1847—1910)—артист московского Малого театра (с 1869 г.), переводчик и беллетрист.—239.

Салисбери Роберт-Артур (1830—1903)—английский политический деятель, лидер консервативной партии.—284.

Самарин Иван Васильевич (1817—1885)—ученик М. С. Щепкина артист московского Малого театра. Преподавал драматическое искусство в театральной школе и в консерватории. Памяти его Чайковский посвятил Элегию для струнного оркестра.—152, 239, 587.

Самарин Юрий Федорович, «Иезуиты и их отношение к России», изд. 2-е, Спб. 1868.—255.

Самойлов гр. Александр Николаевич (1744—1814)—с 1792 г. генерал-прокурор и государственный казначей.—532, 605.

Сарасате Пабло (1844—1908)—испанский скрипач. Концертировал в городах Европы, Америки и Азии (Индия). В России впервые был в 1879 г.—234, 250, 257, 505, 516, 601.

Святловская Александра Владимировна—певица (контральто), в 1876—1880 и в 1883—1887 гг. артистка московского Большого театра.—583, 587.

Серов Александр Николаевич (1820—1871)—оперный композитор и музыкальный критик; первый русский музыкальный писатель (участвовал в 27 русских и иностранных периодических изданиях). Его первая опера—«Юдифь».—243—245, 255, 444, 575, 586, 593.

— Опера «Вражья сила» (1871).—244, 245.

— » «Рогнеда» (1866).—244, 245.

— » «Юдифь» (1863).—243—245, 575, 586, 593.

Сикст V (Феличе Перетти) (1521—1590)—с 1585 г. римский папа.—74.

«*Сильвия*», балет—см. Deslibes.

Симеони Джованни (1816—1892)—кардинал. В 1876 г. получил должность статс-секретаря папы. В 1878 г., после смерти Пия IX, назначен главным префектом конгрегации пропаганды.—241.

Скальковская-Бертенсон О. Н.—певица (сопрано), артистка петербургской оперы.—601.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882)—генерал, приобревший большую известность во время войны 1877—1878 гг.—161.

Смит Ф., «История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов». Перевод с немецкого Квитницкого. Спб. 1863 (2 тома) и 1864 (3-й том).—255.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870)—известный библиограф, друг Пушкина и Мицкевича.—521, 601.

Соллогуб гр. Владимир Александрович (1814—1882)—писатель.—604.

Соловьев Сергей, «Император Александр Первый. Политика-дипломатия». Спб. 1877.—165.

Софронов Алексей Иванович (1859—1925)—крестьянин Клинского у., Московской губ., слуга Чайковского с 1873 г. до его смерти. После смерти Чайковского купил в Клину дом, в котором жил Чайковский, и сохранил его, положив основание музею.—70, 71, 82, 85, 96—98, 101, 122, 128, 148—151, 156, 157, 171, 177, 183, 187, 190, 195, 198, 296, 308, 312, 313,

, 332, 334, 337, 339, 348, 350, 354, 429, 433, 438, 454, 458, 459, 477,
), 483, 500, 515, 520, 525, 548, 551, 555, 561, 575, 577, 598.
Спиноза Бенедикт (1632—1677).—111, 113.
Стасов В. В., «Письма из чужих краев».—593—595.
Стелловский Федор Тимофеевич (ум. в 1875 г.)—музыкальный изда-
ть, владелец нотного магазина в Петербурге. Фирма существовала
1854—1885 гг.—245.
Страдивариус Антонио (1644—1736)—скрипичный мастер.—120.
Строцци—сенатор (Флоренция).—207.
Сулейман-паша (1838—1883)—турецкий генерал, участник войны
77—1878 гг., с 29 октября по 23 декабря 1877 г. главнокомандующий.—
1, 577.
Сциппио гр.—директор сахарного завода Мекк.—335, 342.
Таль Роберт Христианович (1808—1875)—агент мануфактурной части
инистерства финансов в Париже, начальник русского отдела Всемир-
й выставки 1873 г.—131, 133, 271, 272.
Танеев Сергей Иванович (1856—1915)—композитор, пианист и музы-
льный деятель. Ученик Чайковского (окончил Московскую консерва-
рию в 1875 г., с 1878 г. профессор консерватории, в 1885—1889 гг.
ректор ее); автор ряда переложений произведений Чайковского. Чай-
вский посвятил ему «Франческу да Римини» (ор. 32). Танеев посвятил
айковскому квартет (ор. 4).—107, 161, 168, 184, 270, 398, 449, 450, 453,
4, 461, 477, 485, 486, 495, 576, 577, 580, 584, 587.
Тен Ипполит (1828—1893)—французский историк, философ и кри-
к.—215, 295, 538.
Тиманова Вера Викторовна (род. в 1855 г.)—пианистка. Впервые
выступила в Берлине в 1870 г. и в 1871 г. в Петербурге, в концерте Р. М. О.;
1877 г. брала уроки у Листа. В 1877—1882 гг. совершала турнэ за
границей. Позднее поселилась в Петербурге. Чайковский посвятил ей
-п. пьесу «Scherzo humoristique» (ор. 19).—279.
Толстой гр. Алексей Константинович (1817—1875)—поэт и драма-
рг. На его слова Чайковский написал 14 романсов (орр. 6, 28, 38, 46,
и 57).—214, 230, 231, 245, 252, 584, 586.
Толстой Лев Николаевич (1828—1910).—45, 286, 572, 573.
Толстой С. Л., «Музыка в жизни Л. Н. Толстого».—573.
— «Лев Толстой и Чайковский».—573.
Толстой Юрий Васильевич (1824—2 января 1878)—государственный
еятель и историк; с 1866 г. товарищ обер-прокурора синода.—160.
Торриджи—певица.—593.
Трепов Федор Федорович (1803—1889)—генерал, петербургский гра-
оначальник.—292, 295, 296, 298, 299, 588.
Трескин—нотариус.—352.
Тютчев Федор Иванович (1803—1873). На его слова Чайковский
аписал два романса (орр. 25 и 46).—214, 230, 231, 606.
Тэккерей Вильям, «История Пенденниса, его приключений и бед-
ий, его друзей и величайшего врага». Перевод с английского. Спб.
—114.
Фалмцен—инженер.—355.
Фензи—итальянец, популярный в то время в Москве учитель пения.—
21, 140, 141, 238.
Фензи—итальянский банкир и сенатор.—544.
Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892). На его слова Чайковский
аписал три романса (орр. 27 и 60.)—205, 214, 230, 231, 603.
Фетис Франсуа-Жозеф (1784—1871)—автор многих трудов по исто-
ии музыки и в области науки о гармонии.—137.

Фитценгаген Вильгельм Федорович (1848 –1890)—виолончелист-виртуоз, член оркестра и квартета московского отделения Р. М. О., с 1870 г. профессор Московской консерватории, автор нескольких произведений для виолончели. Чайковский посвятил ему «Variations sur un thême rococo» (ор. 33), для виолончели—84,276, 437, 438, 495, 573, 576, 587, 588, 601.

Фолькман Фридрих-Роберт (1815—1883)—немецкий композитор. В то время занимал место профессора гармонии и контрапункта в Национальной музыкальной академии в Пеште.—335, 337, 343, 590.

— 2-я симфония (B-dur), ор. 53, посвящена Р. М. О.—337.

— Серенады для струнного оркестра (C-dur, F-dur и d-moll), opp. 62, 63 и 69.—335, 337, 343, 590.

Франческо—дворник виллы Оппенгейм во Флоренции.—539, 541, 544, 549.

Фроловская Анастасия Дмитриевна, рожд. Потемкина—мать Н. Ф. Мекк.—470.

Фроловский Александр Филаретович (ум.в 191? г.)—брат Н. Ф. Мекк. Работал на ее жел. дорогах.—256, 292, 321, 381, 382, 402, 403, 420, 469, 514, 536, 548.

Фроловский Владимир Филаретович—брат Н. Ф. Мекк, инженер.—392, 469, 470.

Фуке де-ла Мот Ф. (1777—1843)—немецкий писатель, автор «Ундины», переведенной Жуковским.—604.

Хлопицкий Григорий-Иосиф (1771—1854)—польский генерал, возглавлявший польскую армию в начале восстания.—529.

Христианович Николай Филиппович (1828—1890)—композитор и музыкальный писатель, автор «Писем о Шопене, Шуберте и Шумане».—289, 588.

Чайковская Александра Андреевна, рожд. Ассиер (ум. в 1854 г.)—мать композитора.—40, 92, 93, 576.

Чайковская Александра Ильинишна—см. Давыдова А. И.

Чайковская Антонина Ивановна (1849—1917)—дочь малоземельного помещика Клинского у., Московской губ., воспитанница Елисаветинского института, недолгое время ученица Московской консерватории, с 1877 г. жена Чайковского.—25—30, 32—34, 38, 44, 46, 48—51, 54—62, 72, 73, 76, 77, 81, 83, 94—96, 109, 110, 117, 118, 140, 143, 197, 209, 210, 226, 241, 275, 301, 303, 304, 315—317, 320—323, 337, 338, 344, 352, 354—357, 359, 362, 364—368, 377, 379, 380, 382, 383, 385—387, 391, 393, 394, 431, 446, 552, 553, 556, 558, 562, 563, 569—575, 590, 591, 608.

Чайковская Елизавета Михайловна—третья жена И. П. Чайковского, мачеха композитора.—92.

Чайковская Зинаида Ильинишна (1829—1878)—сестра композитора от первого брака отца, жена Е. И. Ольховского.—94, 185, 197, 388.

Чайковская Софья Петровна, рожд. Никонова (1843—1920)—жена И. И. Чайковского.—390, 396.

Чайковский Анатолий Ильич (1850—1915)—брат композитора, в то время товарищ прокурора Петербургского окружного суда, впоследствии вице-губернатор в Н.-Новгороде и затем сенатор. Чайковский посвятил ему 6 романсов (ор. 38).—32, 35, 37, 39, 40, 44, 49, 51, 55, 57—60, 64, 65, 68—70, 73—76, 81, 82, 85, 88, 92—96, 98, 100—102, 107, 109, 110, 114, 117, 123, 124, 129, 131, 134, 135, 140, 143, 148, 163, 164, 184, 185, 187, 195, 197, 198, 202, 209, 212, 216, 225, 226, 230, 235—237, 241, 245, 247, 254, 260, 272, 275, 277, 285, 286, 290, 291, 298, 299, 301, 303, 304, 308, 310, 315—317, 320, 321, 323, 324, 341, 342, 349—351, 353—360, 362, 364, 365, 368, 376, 381—384, 386, 389, 390, 395, 398, 404, 407, 412, 417, 421—423, 429, 431, 450, 453, 454, 456, 457, 459—461, 465, 467, 468, 474—477, 483, 484, 488, 489, 504, 512, 519, 521, 522, 527, 529, 530, 535, 542, 548, 552,

559, 566, 571—575, 577, 578—581, 583—587, 592, 594, 597—599, 601, 605—608.

Чайковский Илья Петрович (1795—1880)—отец композитора, горный инженер, в то время в отставке.—32, 92—94, 185, 186, 197, 226, 245, 246, 366, 389, 407, 421, 429, 431, 454, 457, 459, 574.

Чайковский Ипполит Ильич (1843—1927)—брат композитора, военный моряк, впоследствии служивший в торговом флоте. Подготовил к печати «Дневники П. И. Чайковского», М.—П. 1923.—92, 93, 390, 396.

Чайковский Модест Ильич (1850—1916)—брат композитора, впоследствии драматург, автор либретто нескольких опер, автор трехтомной биографии Чайковского, основатель Дома-Музея Чайковского в Клину. Чайковский посвятил ему 12 пьес для ф.-п.(ор.40).—32, 35, 37, 39, 40, 44, 69, 76, 82, 92—94, 107, 114—117, 122, 123, 127, 129—135, 139—145, 148—154, 159, 162—166, 171, 175, 177, 181—184, 187, 190, 192, 193, 195, 196, 198—202, 205—207, 209, 212, 223—225, 229—231, 233—238, 245, 247, 275, 279, 284—286, 289, 294—297, 305, 307, 310, 315, 317, 321—327, 329, 337—339, 341, 350, 358, 368, 369, 382, 383, 386, 389, 396, 398, 399, 402, 404, 406, 407, 417, 429, 437, 449, 454, 456, 457, 459—461, 468, 474, 483, 488, 499, 511, 512, 518, 521, 532, 562, 564, 568, 570, 571, 574—576, 580, 583, 584, 589, 590, 593, 594, 597, 600, 601, 605, 606, 608.

Чайковский Николай Ильич (1838—1911)—брат композитора, горный инженер.—76, 92, 93, 429.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889).—24.

«Четьи-Минеи»—сборники духовной литературы, составленные в XVI веке.—537.

Шекспир Вильям (1564—1616). На его сюжеты Чайковский написал «Бурю» (ор. 18), «Ромео и Джульетту», увертюру и музыку к «Гамлету» (ор. 67).—325, 341, 391, 413.

Шеншин Сергей Владимирович (1828—1897)—действительный статский советник, директор московского Воспитательного дома.—287, 288.

Шиллер Иоганн-Фридрих (1759—1805). На его слова Чайковский написал кантату «К радости».—484, 485, 525, 534, 537, 560, 603, 604.

Шиловский Константин Степанович (1849—1893)—помещик Московской губ., дилетант-художник, поэт и музыкант (автор популярного в свое время вальса «Тигренок»), с 1886 г. артист московского театра Корша (по сцене—Лошивский), с 1888 г. артист Малого театра.—22, 568.

Шлоссер Фридрих-Христофор, «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи, с особенно подробным изложением хода литературы». Русский перевод Чернышевского в 8 томах, изд. 2-е, Спб. 1868—1872.—255.

Шопен Фредерик (1809—1849).—147, 257, 282, 289, 504, 510, 586.
— «Berceuse» для ф.-п. (Des-dur), ор. 57.—504, 510.

Шопенгауер Артур (1788—1860)—157, 178, 193, 198, 199, 203, 204, 207, 213, 215, 216, 246, 252.

Шостаковский Петр Адамович (1853—1916)—пианист, с большим успехом выступавший в разных городах. После ухода из Московской консерватории открыл собственную музыкальную школу, в 1883 г. переданную им в ведение Филармонического общества, организованного при его содействии.—596, 597, 601.

Шуберт Франц (1797—1828) немецкий композитор.—575, 578.

Шувалов гр. Петр Андреевич (1827—1889) в 1866—1874 гг. шеф жандармов, затем посол в Англии.—341.

Шуман Роберт (1810—1856)—немецкий композитор.—100, 106, 107, 141, 231, 281, 314, 361, 375, 493, 577, 581, 585, 586, 589.

— 3-я симфония (Es-dur), ор. 97.—100.

— 3-й квартет (A-dur), ор. 41.—581.

— Концерт для ф.-п. (a-moll), ор. 54.—107, 577.

— Ф.-п. пьеса «Bittendes Kind», ор. 15, № 4.—281.

— Ф.-п. пьеса «Puppenwiegenlied» из 1-й сонаты для юношества, ор. 118.—281.

Шумский Сергей Васильевич (1821—1878)—ученик Щепкина, артист московского Малого театра.—239.

Эрар Себастьен (1752—1831)—французский фортепианный мастер. По смерти его преемника Пьера Эрара (1796—1855) фирма перешла к Пьеру Шеффер (ум. в 1878 г.).—305, 313, 442, 456.

Юковский—первый владелец Браилова.—347.

Юлия Францевна—гувернантка детей фон-Мекк.—469, 489.

Юневич Мария Павловна—певица (сопрано), в 1878—1886 гг. артистка московского Большого театра.—575.

Юргенсон Осип Иванович (1829—1910)—с 1871 г. владелец нотного магазина в Петербурге, комиссионер изд. П. И. Юргенсона.—559, 563.

Юргенсон Петр Иванович (1836—1903)—основатель крупнейшей музыкально-издательской фирмы (1861), член дирекции московского отделения Р. М. О., издатель почти всех произведений Чайковского, ближайший его друг. Чайковский посвятил ему романс «Слеза дрожит» (ор. 6).—8, 22, 56, 82, 151, 155, 161, 167, 168, 183, 184, 246, 256, 271, 276, 281, 289, 291, 303, 314, 352, 355, 357, 364, 365, 379, 385, 386, 397, 403, 454, 477, 495, 512, 522, 541, 545, 546, 550, 553, 576, 578, 580, 581, 586, 588, 590, 591, 595, 596, 598, 606—608.

Яблочков Павел Николаевич (1847—1894)—электротехник, изобревший электрическую свечу и тем создавший новую эру в истории электрического освещения. С 1875 г. жил в Париже, где и были сделаны его главные открытия.—556.

Ян Отто (1813—1869)—археолог, филолог и художественный критик, автор классической биографии Моцарта: «W. A. Mozart» в 4 томах. Лейпциг, 1856—1859.—262, 263, 282, 287.

«L'âge ingrat», комедия—см. Pailleron.

Archambault (Аршамбо)—врач в Париже.—65—67, 108.

Bach—см. Бах И. С.

Balthazar—см. Валтазар.

Barbier Jules, «Jeanne Darc», drame en cinq actes (русский перевод изд. Травским, Спб. 1892).—564, 603.

«Bébé»—пьеса (автор не установлен).—549.

Beethoven—см. Бетховен.

Belli-Blanes (Белли-Блан)—артист драматического театра во Флоренции.—238.

Bellini—см. Беллини.

Belloti Bon (Беллоти Бон)—драматическая труппа во Флоренции.—533, 547.

Bernard (Бернар Софья Алексеевна, рожд. Головина) (ум. в 1920 г.)—московская филантропка, заведывавшая дешевыми квартирами Московской консерватории.—240.

Bizet—см. Бизе.

Blanchard (Бланшар, Франсуа) (1600—1638)—французский художник.—313.

Boltera (Болтера)—актер оперной труппы во Флоренции.—519.

Bonciani—см. Бончиани.

Bulow—см. Бюлов.
Caro E., «La maladie du pessimisme au dix-neuvième siècle».—581
Cerasi (Черази)—банкир в Риме.—72.
Ceresa (Череза)—артист драматического театра во Флоренции.—238.
Cherubini—см. Керубини.
Chopin—см. Шопен.
Cianchi Emilio, опера «Salvator Rosa». Впервые поставлена в театре Pagliano во Флоренции в 1855 г.—473.
«Coppelia», балет—см. Deslibes.
Correggio (Корреджо; наст. имя Антонио Аллегри) (1494—1534)—живописец эпохи Возрождения.—231.
Cuniberti Gemma (Куниберти Гемма)—артистка драматического театра во Флоренции.—507.
Dalen van Hugo, «Tschaikowsky».—570.
Debain—см. Дебен.
Deslibes (Делиб Лео) (1836—1891)—французский композитор.—96, 100, 121, 137, 138, 147, 157, 234, 501, 553, 576.
— Комическая опера «Le roi l'a dit» (1873).—147, 157.
— Балет «Коппелия» (1870).—147, 157.
— » «Sylvia ou la nymphe de Diane» (1876).—96, 100, 121, 157, 576.
Dolci (Дольчи Карло) (1616—1686)—итальянский живописец.—231.
Dubois (Дюбуа Франсуа-Клеман-Теодор) (1837—1913) французский композитор, проф. Парижской консерватории по классу гармонии. Его оратория «Потерянный рай» была премирована городом Парижем в 1878 г.—293.
Durand (Дюран Мари-Сгюст) (1830—1909)—французский композитор и музыкальный издатель, основавший в 1870 г. фирму «Дюран и Шенемарк». Издал большую часть лучших произведений новых французских композиторов.—441, 443, 444.
Euripidus Pcëtae Tragici Tres Tragoediae...—577.
Ferni (Ферни-Джиральдони Каролина) (род. в 1841 г.)—скрипачка и певица (сопрано). Училась у Вьетана и др., в 1854—1859 гг. концертировала по Европе (была и в России), с 1861 г. стала изучать пение, в 1863—1885 гг. пела на итальянских и испанских сценах, с 1896 г. проф. Петербургской консерватории.—489, 494, 508.
Franchi (Франки Алессандро) (1819—1878)—итальянский кардинал.—241.
George Sand—см. Жорж Санд.
Godard (Годар Бенжамен-Луи-Поль) (1849—1895)—французский композитор, ученик Ребера (композиция) и Вьетана (скрипка).—292, 293, 526.
— Драматическая симфония «Тассо» (1878), премирована городом Парижем.—293.
— «Concert romantique» для скрипки (a-moll), op. 35.—293, 526.
Goldmark—см. Гольдмарк.
Grandclement (Гранклеман)—гувернер детей Мекк.—403.
Guerini—см. Гверини.
Hamilton (Гамильтон, леди. Евдокия Гавриловна) (1846—1887)—с 1875 г. жена лорда Чарльза-Джорджа Гамильтон-Дуглас (1847—1887), отставного поручика английской армии.—74.
Hettore—см. Гектор.
Hummel—см. Гуммель.
«Il violino del diavolo», опера—см. Mercuri.
«I falsi monetari», опера.—см. Rossi.
Jacolliot (Жаколио Луи) (1837—1897)—французский писатель. Был колониальным чиновником. В семидесятых годах выпустил ряд романов из жизни Индии.—232, 251, 252, 258, 273.

Janet Paul, «La metaphysique en Europe depuis Hegel».—581.
Jeanne d'Arc—см. Жанна д'Арк.
Jahn Otto—см. Ян Отто.
Jeoffrin (Жофрен Мария-Тереза) (1699—1777)—хозяйка знаменитого литературного салона в Париже.—538.
Joly (Жоли)—владелец пансиона в Сан-Ремо.—196.
Joncières (Жонсьер Феликс) (1839—1903)—французский композитор, музыкальный рецензент.—551, 553, 559.
— Опера «Дмитрий Самозванец» (1876).—551, 559.
Kohne, «Etudes caractéristiques» («Le Reproche», «Danse Juive»).—12, 13, 16, 19, 567.
«La dame Blanche», опера—см. Буалдье.
Lacombe (Лакомб Луи-Трульон) (1818—1884)—французский композитор, пианист.—292, 293.
Lalo (Лало Эдуард) (1823—1892)—французский композитор, скрипач.—234, 249, 250, 257, 292, 293, 496, 498, 500, 501—504, 509—513, 515, 520, 526.
— 1-й концерт для скрипки (f-moll), ор. 20, посвящен Сарасате.—249, 496, 498, 501—504, 509, 510, 512, 513, 515, 526.
— 2-й концерт для скрипки («Symphonie espagnole») (d-moll), ор. 21. 234, 249, 496, 498, 502, 504.
Leonardo da Vinci—см. Леонардо да Винчи.
«Le roi de Lahore», опера—см. Массене.
«Le roi l'a dit», комическая опера—см. Deslibes.
Lescure M. de, «Marie-Antoinette et sa famille», d'après les nouveaux documents. Eugène Ducrocq libraire-éditeur, Paris, s. a.—255.
Leuckart (Лейкарт Ф.-Эрнст-Кристоф)—основатель музыкально-издательской фирмы (1782), в 1870 г. переведенной из Бреславля в Лейпциг.—276.
Machiavelli (Макиавелли Никколо) (1469—1527)—итальянский государственный деятель и писатель.—209.
Marsэl—см. Марсель Карлович.
Massenet—см. Массне.
Mendelsohn—см. Мендельсон.
Mercuri A., опера «Il violino del diavolo» (первое представление 12 сентября 1878 г.).—489, 508, 510.
Mermet—см. Мерме.
Michelet Jules, «Jeanne d'Arc», Paris, Hachette, 1853 (10-е изд. в 1912 г.).—560.
Molière—см. Мольер.
Montegazza (Монтегацца Джакомо)—художник.—159.
Musset (Мюссе Альфред) (1810—1857)—французский поэт, драматург, романист. На его слова Чайковский написал один романс (ор. 28).—411—413.
Newmarch R., «Tchaikowsky and Tolstoy».—573.
«Niebelungen»—см. Вагнер.
Oppenheim—см. Оппенгейм.
Palestrina (Палестрина Джиованни-Пьер-Луиджи) (1514—1594)—католический церковный композитор.—249.
Pailleron Edouard, комедия «L'âge ingrat» (впервые поставлена в «Gymnase» в 1878 г.).—554.
Papendick-Eichenwald—см. Папендик-Эйхенвальд.
Pasdeloup (Падлу Жюль-Этьен) (1819—1887)—заслуженный парижский дирижер. В 1851 г. основал «Société des jeunes artistes du Conservatoire», которое устраивало общедоступные симфонические собрания.

Исполнялись классические произведения и музыкальные новинки. Концерты эти пользовались большой популярностью.—155, 560.

Pasta (Паста)—артист драматического театра во Флоренции.—238.

Pia Marchi (Пиа Марки)—артистка драматического театра во Флоренции.—238, 533, 547, 548.

Poribinowsky—см. Порубиновский.

Rather (Ратер Д.)—гамбургский музыкальный издатель—586.

Reni Guido (Рени Гвидо) (1575—1642)—итальянский живописец.—231.

Ricordi (Рикорди Джованни) (1785—1853)—основатель одной из крупнейших в мире итальянской музыкально-издательской фирмы. Наследником был его сын Тито Рикорди (1811—1888).—484.

Rossi Lauro, опера «I falsi monetari» (1834). 220.

Saligoux (Салигу)—врач в Париже.—19, 64 -66.

«Salvator Rosa», опера—см. Cianchi.

Sarasate—см. Саразате.

Scharwenka (Шарвенка Людвиг-Филипп) (1847—1917)—композитор, автор ряда произведений для оркестра, ф.-п., скрипки, виолончели и хора.—147, 157, 257.

Scharwenka (Шарвенка Франц-Ксаверий) (1850—1924)—пианист, композитор. С 1874 г. концертировал в Европе и Америке, в 1881 г. открыл в Берлине собственную консерваторию. Большой популярностью пользовался его ф.-п. концерт (b-moll), ор. 32.—147, 157, 257.

Schumann—см. Шуман.

St. Saëns (Сен-Санс Шарль-Камилл) (1835—1921)—французский композитор и пианист.—501, 585.

Stein Richard H., «Tschaikowskij».—570.

«Steinway and Sons» («Штейнвей и Сыновья»)—крупнейшая фортепианная фабрика в Нью-Йорке, основанная Генрихом Штейнвегом (1797—1871).—419, 442, 448.

Thal Robert—см. Таль Р. Х.

Taine—см. Тен.

Teresa Milanullo—см. Ferni.

«Tolstoi und Tschaikowsky», статья.—573.

Vallon—см. Wallon.

Veronese (Веронезе Паоло) (1528—1588)—итальянский живописец.—231.

Wallon Henri-Alexandre, «Jeanne d'Arc», изд. 2-е, Paris 1876.—537, 540—542, 603, 605.

Zola (Зола Эмиль) (1840—1902)—французский романист.—78.

Zoppeti (Зоппети)—артист драматического театра во Флоренции.—238.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧАЙКОВСКОГО

(упоминаемых в т. I переписки)

Для сцены (оперы, балет, музыка к драматическим произведениям):

«Воевода», оп. в 3-х действиях (4 картины) (1868).—515, 524, 526, 530, 601, 602, 604.

«Евгений Онегин», оп. (лирические сцены) в 3-х действиях (7 картин), ор. 24 (1878).—19, 22, 24, 26, 28, 42, 44, 45, 65, 81, 85, 87, 88, 110, 119, 123, 145, 148, 149, 152, 153, 157, 161, 162, 165, 168, 178, 180, 183, 184, 187, 193, 195, 282, 284, 285, 378, 381, 388, 392, 399, 404, 405, 416, 453, 458, 459, 463, 466, 467, 469, 472, 473, 477, 483, 494, 496, 519, 520, 536, 550, 568, 569, 577, 578, 580, 581, 595—597, 607.

«Кузнец Вакула», оп. в 3-х действиях (7 картин), ор. 14 (1874), посвящена памяти вел. кн. Елены Павловны.—12, 49, 80, 124, 183, 332, 343, 357, 457—459, 461, 466, 467, 483, 578.

«Опричник», оп. в 4-х действиях (1872), посвящена вел. кн. Константину Николаевичу.—7—9, 24, 189, 348, 536.

«Орлеанская дева», оп. в 4-х действиях (6 картин) (1879), посвящена Э. Ф. Направнику.—484, 485, 492, 494, 495, 515, 530, 533—535, 539, 540, 542, 558, 560, 564, 603, 605.

«Ромео и Джульетта», проект оперы (неосуществившийся).—341, 391, 394, 396, 413.

«Ундина», оп. в 3-х действиях (1869).—314, 315, 530, 589, 604.

«Ундина», проект новой оперы (неосуществившийся).—324, 341, 391, 394, 413.

«Лебединое озерс», бал. в 4-х действиях, ор. 20 (1876).—80, 96, 100, 575.

«Снегурочка», музыка к весенней сказке А. Н. Островского, ор. 12 (1873).—256, 282, 587.

Для оркестра:

1-я симфония «Зимние грезы» (g-moll), ор. 13 (1866), посвящена Н. Г. Рубинштейну.—448.

2-я симфония (c-moll), ор. 17 (1872), посвящена московскому отделению Русского музыкального о-ва.—580.

3-я симфония (D-dur), ор. 29 (1875).—267, 268.

4-я симфония (f-moll), ор. 36 (1877), посвящена «Моему лучшему другу» [Н. Ф. фон-Мекк].—15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 38, 39, 40—42, 46, 52, 59, 70, 73, 85, 87, 102, 107, 109, 115, 116, 118, 123, 128, 130, 140, 142, 145, 146, 151, 155, 156, 161, 168, 184, 188, 194, 206, 212, 213, 216—220,

223, 224, 228, 229, 232, 236, 239, 240, 246, 266, 281, 375, 385, 421, 425, 426, 444, 453, 477, 482, 495, 499, 500, 505, 512, 567, 578, 580, 584—586, 592, 598, 600.

1-я сюита, ор. 43 (1878—1879), негласно посвящена Н. Ф. фон-Мекк.—412, 419, 421, 426, 454, 468, 477, 482, 483, 486, 492, 497, 498, 501, 504, 510 512, 515, 519, 522, 523, 527, 529, 530, 533, 535, 539, 542, 544—550, 558, 559, 563, 564, 592, 600.

«Буря», фантазия по Шекспиру, ор. 18 (1873), посвящена В. В. Стасову.—5, 308, 375, 385, 424—426, 437, 593.

«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия по Шекспиру (1870, 2-я редакция), посвящена М. А. Балакиреву.—100, 155, 156, 267, 268, 577, 603.

Славянский марш, ор. 31 (1876) (в письмах называется Сербский и Сербско-русский марш).—240, 242, 371, 425, 580, 586, 591.

Торжественная увертюра на датский гимн, ор. 15 (1866).—530, 580.

Увертюра (F-dur) (1866) (не издана).—525, 602, 603.

«Фатум», симфоническая поэма, ор. [77] (1868), посвящена М. А. Балакиреву.—521, 530, 604.

«Франческа да Римини», фантазия по Данте, ор. 32 (1876), посвящена С. И. Танееву.—7, 11, 254, 272, 284, 375, 385, 586, 587, 603.

Для камерного ансамбля:

1-й квартет, для двух скрипок, альта и виолончели (D-dur), ор. 11 (1871), посвящен С. А. Рачинскому.—16, 17, 106, 146, 267, 572, 573.

3-й квартет, для двух скрипок, альта и виолончели (es-moll), ор. 30 (1876), посвящен памяти Ф. Лауба.—267.

Для отдельных инструментов (ф.-п., скрипка, виолончель):

1-й концерт для ф.-п. с оркестром (b-moll), ор. 23 (1875), посвящен Гансу фон-Бюлову.—147, 172—174, 247, 250, 251, 256, 257, 261, 279, 284, 385, 450, 478, 582, 583, 586, 587, 593—595.

Баркаролла (g-moll), № 6 из «Времена года», ор. 37-bis (1876). 267.

«Воспоминания о Гапсале» («Souvenir de Hapsal»), 3 пьесы для ф.-п., ор. 2 (1867), посвящены В. В. Давыдовой.—526, 528.

№ 1. «Развалины замка» («Les ruines d'un château») (e-moll).—528.

№ 3. «Песня без слов» («Chant sans paroles») (F-dur).—593.

Двенадцать пьес средней трудности, ор. 40 (1878), посвящены М. И. Чайковскому.—314, 347, 465, 477, 584.

№ 12, «Прерванные грезы» (As-dur).—578.

Детский альбом (24 детских пьесы), ор. 39 (1878), посвящен Володе Давыдову.—314, 319, 347, 391, 477, 495, 497, 575, 578, 589.

№ 18. «Неаполитанская песенка» (Es-dur).—575.

№ 23. «Шарманщик поет» (G-dur).—578.

Соната для ф.-п. (Grande Sonate) (G-dur), ор. 37 (1878), посвящена К. Клиндворту.—238, 243, 310, 314, 347, 364, 384, 465, 477, 589.

«Юмореск» («Humoresque») (G-dur), ор. 10, № 2 (1871), посвящен В. С. Шиловскому.—580.

Marche funèbre для ф.-п. в 4 руки, на мотивы из оп. «Опричник» (1877). Сочинен для Н. Ф. фон-Мекк. Не сохранился.—8—10, 567.

Вальс-скерцо для скрипки с сопровождением оркестра (C-dur), ор. 34 (1877), посвящен И. И. Котеку.—271, 276, 425, 441, 443, 456, 463, 593

«Воспоминания о дорогом месте» («Souvenir d'un lieu cher»), 3 пьесы для скрипки с сопровождением ф.-п., ор. 42 (1878), посвящены Б[раилову].—276, 333, 334, 343, 344, 347, 350, 352, 360, 361, 390, 392, 425, 438, 441, 463, 465, 591.

Концерт для скрипки с оркестром (D-dur), ор. 35 (1878), первоначально был посвящен Л. Ауэру, а затем А. Бродскому.—238, 243, 246, 261, 271, 274, 276, 284, 285, 328, 330, 338, 339, 347, 348, 351, 441, 456, 463, 483, 495, 497, 578, 586, 589, 591.

Серенада для скрипки с сопровождением оркестра («Sérénade mélancolique») (b-moll), ор. 26 (1875), посвящена Л. Ауэру.—272, 425, 441, 593.

«Упрек», проект сочинения для скрипки и ф.-п., заказанный композитору Н. Ф. ф-Мекк (неосуществившийся).—12—16, 19, 568.

Вариации на тему рококо для виолончели с сопровождением оркестра (Variations sur un thème rococo) (A-dur), ор. 33 (1876), посвящены В. Ф. Фитценгагену.—84,120,276, 495, 497, 576, 578, 580.

Для пения (хор, романсы):

Кантата на открытие Политехнической выставки в Москве, на слова Я. П. Полонского, для тенора, хора и оркестра (1872) (не издана).—371, 591, 604.

Музыка к гимну Шиллера «К радости» для солистов, хора и оркестра (1865). Экзаменационная работа для выпускного экзамена в Консерватории (не издана).—524, 525, 530, 602, 604.

Литургия св. Иоанна Златоуста, для четырехголосного смешанного хора, ор. 41 (1878).—314, 347, 391, 397, 416, 455, 477, 591.

«Вечер», слова Шевченко, перевод Мея (B-dur), ор. 27, № 4 (1875?), посвящен Е. А. Лавровской.—536.

«И больно и сладко», слова гр. Растопчиной (A-dur), ор. 6, № 3 (1869), посвящен А. Д. Кочетовой.—155.

«Колыбельная песня», слова Майкова (as-moll), ор. 16, № 1 (1872) посвящен Н. Н. Римской-Корсаковой.—494.

«Моя баловница», слова Мицкевича, перевод Мея (tempo di Mazurka) (A-dur), ор. 27, № 6 (1875?), посвящен Е. А. Лавровской.—528, 535, 603.

«Нет, только тот, кто знал», слова Гейне, перевод Мея (Des-dur), ор. 6, № 6 (1869), посвящен А. А. Хвостовой.—155.

«О спой же ту песню, родная», слова Плещеева (G-dur), ор. 16, № 4 (1872), посвящен Н. А. Губерту.—536.

Шесть романсов, ор. 38 (1878), посвящены А. И. Чайковскому.—347, 384, 476, 495, 497, 541, 542, 606.

№ 1. «Серенада Дон-Жуана», слова А. К. Толстого (h-moll).—586.

№ 5. «Любовь мертвеца», слова Лермонтова (F-dur).—384, 385, 393, 542, 543.

№ 6. «Pimpinella», флорентийская песенка, русский перевод П. И. Чайковского (G-dur).—222, 238, 451, 456, 584, 585, 606.

Учебник «Руководство к практическому изучению гармонии». (1876).—591.

Список неопубликованных произведений Чайковского см. в прим. к письму № 253, стр. 603—604.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. П. И. Чайковский в 1877 г.—Фронтиспис. С фотографии, подаренной им Н. Ф. фон-Мекк V
2. Н. Ф. фон-Мекк в 1870 годах XII
3. П. И. Чайковский с женой в 1877 г. 32
4. Коля Конради, М. И. Чайковский, П. И. Чайковский, А. И. Софронов (Сан-Ремо. 1878 г.) 200
5. Кливираусцуг оперы «Евгений Онегин» (1-е действие, 2-я картина). Корректура, правленная П. И. Чайковским . 400
6. Программа первого русского концерта на Всемирной выставке в Париже 424

Фотографии исполнены Научно-Исследовательским Кабинетом Экспериментальной и Прикладной фотографии Н. К. П. под руководством проф. В. Р. Живарс.

СОДЕРЖАНИЕ

О Чайковском. Вступительная статья Болеслава Пшибышевского VII

От редакторов текста XIX

ПИСЬМА

(указаны даты старого стиля)

1.	Мекк—Чайковскому	1876 г.	декабря	18	. . .	3
2.	Чайковский—Мекк	»	»	19 (?)	. . .	3
3.	Мекк—Чайковскому	1877 г.	февраля	15	. . .	4
4.	Чайковский—Мекк	»	»	16	. . .	4
5.	Мекк—Чайковскому	»	марта	7	. . .	5
6.	Чайковский—Мекк	»	»	16	. . .	8
7.	Мекк—Чайковскому	»	»	18	. . .	10
8.	» »	»	апреля	30	. . .	12
9.	Чайковский—Мекк	»	мая	1	. . .	13
10.	» »	»	»	1	. . .	14
11.	Мекк—Чайковскому	»	»	2	. . .	16
12.	Чайковский—Мекк	»	»	2	. . .	17
13.	Мекк—Чайковскому	»	»	2	. . .	17
14.	Чайковский—Мекк	»	»	3	. . .	18
15.	» »	»	»	3	. . .	18
16.	Мекк—Чайковскому	»	»	26	. . .	20
17.	Чайковский—Мекк	»	»	27	. . .	21
18.	Мекк—Чайковскому	»	июня	26	. . .	23
19.	Чайковский—Мекк	»	июля	3	. . .	25
20.	Мекк—Чайковскому	»	»	6	. . .	28
21.	Чайковский—Мекк	»	»	15	. . .	29
22.	Мекк—Чайковскому	»	»	19	. . .	30
23.	Чайковский—Мекк	»	»	26	. . .	31
24.	» »	»	»	28	. . .	32
25.	» »	»	августа	2	. . .	35
26.	Мекк—Чайковскому	»	»	8	. . .	36
27.	Чайковский—Мекк	»	»	11	. . .	38
28.	» »	»	»	12	. . .	39
29.	Мекк—Чайковскому	»	»	18	. . .	41
30.	» »	»	»	26	. . .	43
31.	Чайковский—Мекк	»	»	30	. . .	44

32.	Мекк—Чайковскому	1877 г.	сентября	12	45
33.	» »	»	»	29	47
34.	Чайковский—Мекк	»	октября	11	48
35.	Мекк—Чайковскому	»	»	17	51
36.	Чайковский—Мекк	»	»	20	53
37.	» »	»	»	25	54
38.	» »	»	»	25	59
39.	Мекк—Чайковскому	»	»	29	60
40.	Чайковский—Мекк	»	»	30	61
41.	» »	»	ноября	1	64
42.	» »	»	»	2	65
43.	» »	»	»	6	67
44.	» »	»	»	7	69
45.	» »	»	»	9	71
46.	» »	»	»	11	73
47.	Мекк—Чайковскому	»	»	12	75
48.	» »	»	»	13	80
49.	Чайковский—Мекк	»	»	16	81
50.	Мекк—Чайковскому	»	»	18	82
51.	Чайковский—Мекк	»	»	18	84
52.	» »	»	»	19	87
53.	» »	»	»	21	88
54.	» »	»	»	23	91
55.	» »	»	»	23	97
56.	» »	»	»	26	98
57.	» »	»	»	27	100
58.	» »	»	»	29	101
59.	Мекк—Чайковскому	»	»	29—30	102
60.	Чайковский—Мекк	»	декабря	2	103
61.	» »	»	»	4	109
62.	» »	»	»	5	110
63.	» »	»	»	9	115
64.	» »	»	»	12	117
65.	Мекк—Чайковскому	»	»	12—14	118
66.	Чайковский—Мекк	»	»	16	122
67.	Мекк—Чайковскому	»	»	17	126
68.	Чайковский—Мекк	»	»	20	128
69.	» »	»	»	21	131
70.	» »	»	»	23	133
71.	» »	»	»	24	134
72.	» »	»	»	24	139
73.	» »	»	»	30	141
74.	» »	1878 г.	января	1	143
75.	Мекк—Чайковскому	1877 г.	декабря	31—	
		1878 г.	января	2	144
76.	» »	»	»	4	146
77.	Чайковский—Мекк	»	»	6	148
78.	» »	»	»	9	149
79.	» »	»	»	10	153
80.	» »	»	»	11	155
81.	Мекк—Чайковскому	»	»	10—12	158
82.	Чайковский—Мекк	»	»	14	163
83.	» »	»	»	15	165
84.	» »	»	»	17	167
85.	» »	»	»	20—21	168

86.	Чайковский—Мекк	1878 г.	января	21—22	. . .	172
87.	Мекк—Чайковскому	»	»	22	. . .	176
88.	» »	»	»	24	. . .	180
89.	Чайковский—Мекк	»	»	25	. . .	181
90.	» »	»	»	28	. . .	185
91.	Мекк—Чайковскому	»	»	30	. . .	187
92.	Чайковский—Мекк	»	»	31	. . .	190
93.	Чайковский—Мекк	»	февраля	1	. . .	193
94.	» »	»	»	3	. . .	196
95.	» »	»	»	6	. . .	198
96.	» »	»	»	8	. . .	200
97.	» »	»	»	9	. . .	201
98.	» »	»	»	12	. . .	205
99.	Мекк—Чайковскому	»	»	12	. . .	208
100.	Чайковский—Мекк	»	»	16	. . .	214
101.	» »	»	»	17	. . .	216
102.	» »	»	»	20	. . .	220
103.	» »	»	»	23	. . .	223
104.	» »	»	»	26	. . .	224
105.	Мекк—Чайковскому	»	»	27	. . .	228
106.	Чайковский—Мекк	»	»	28	. . .	231
107.	» »	»	марта	3	. . .	233
108.	» »	»	»	5	. . .	235
109.	Мекк—Чайковскому	»	»	6—7	. . .	238
110.	Чайковский—Мекк	»		7	. . .	243
111.	» »	»	»	10	. . .	246
112.	Мекк—Чайковскому	»	»	10—11	. . .	248
113.	Чайковский—Мекк	»	«	12	. . .	251
114.	» »	»	«	13	. . .	253
115.	Мекк—Чайковскому	»	»	13	. . .	255
116.	Чайковский—Мекк	»	»	14	. . .	258
117.	» »	»	»	16	. . .	261
118.	» »	»	»	18	. . .	265
119.	» »	»	»	19	. . .	266
120.	Мекк—Чайковскому	»	»	19	. . .	270
121.	Чайковский—Мекк	»	»	22	. . .	274
122.	» »	»	»	24	. . .	275
123.	Мекк—Чайковскому	»	»	24—25	. . .	279
124.	» »	»	»	28	. . .	284
125.	» »	»	»	30	. . .	285
126.	Чайковский—Мекк	»	апреля	1	. . .	287
127.	Мекк—Чайковскому	»	марта	31—апреля 4		290
128.	Чайковский—Мекк	»	апреля	4	. . .	294
129.	» »	»	»	8	. . .	295
130.	» »	»	»	12—13	. . .	297
131.	» »	»	»	15	. . .	301
132.	» »	»	»	17	. . .	302
133.	Мекк—Чайковскому	»	»	18	. . .	304
134.	Чайковский—Мекк	»	»	22	. . .	307
135.	» »	»	»	23	. . .	310
136.	Мекк—Чайковскому	»	»	28	. . .	311
137.	Чайковский—Мекк	»	»	30	. . .	314
138.	» »	»	мая	1	. . .	315
139.	» »	»	»	4	. . .	317
140.	Мекк Чайковскому	»	»	5	. . .	320

141.	Чайковский—Мекк	1878 г.	мая	9	322
142.	» »	»	»	14	325
143.	» »	»	»	17	325
144.	Мекк—Чайковскому	»	»	17	329
145.	Чайковский—Мекк	»	»	18—19	331
146.	» »	»	»	21	333
147.	Мекк—Чайковскому	»	»	21	338
148.	Чайковский—Мекк	»	»	23	340
149.	Мекк—Чайковскому	»	»	25	342
150.	Чайковский—Мекк	»	»	25	345
151.	» »	»	»	27	346
152.	» »	»	»	29—30	349
153.	Мекк—Чайковскому	»	»	31	353
154.	Чайковский—Мекк	»	июня	2	353
155.	» »	»	»	3 (?)	354
156.	» »	»	»	6	355
157.	» »	»	»	10	358
158.	» »	»	»	12	359
159.	Мекк—Чайковскому	»	»	14	360
160.	Чайковский—Мекк	»	»	16	363
161.	» »	»	»	17	366
162.	Мекк—Чайковскому	»	»	22 (?)	370
163.	Чайковский—Мекк	»	»	24	371
164.	» »	»	»	25	377
165.	» »	»	»	29	379
166.	Мекк—Чайковскому	»	июля	2	380
167.	Чайковский—Мекк	»	»	4	383
168.	» »	»	»	6	385
169.	» »	»	»	13	390
170.	Мекк—Чайковскому	»	»	15	391
171.	» »	»	»	15	394
172.	» »	»	»	16	394
173.	Чайковский—Мекк	»	»	19	395
174.	» »	»	»	21	396
175.	» »	»	»	25	397
176.	» »	»	»	29	399
177.	Мекк—Чайковскому	»	»	29—31	400
178.	Чайковский—Мекк	»	августа	2—5	403
179.	» »	»	»	8	406
180.	» »	»	»	12	407
181.	» »	»	»	13	409
182.	» »	»	»	14—17	411
183.	Мекк—Чайковскому	»	»	14—18	415
184.	» »	»	»	19	418
185.	» »	»	»	22—23	418
186.	Чайковский—Мекк	»	»	25	420
187.	» »	»	»	28	422
188.	Мекк—Чайковскому	»	сентября	6	424
189.	Чайковский—Мекк	»	»	4—10	426
190.	» »	»	»	10	434
191.	» »	»	»	13	435
192.	» »	»	»	19	438
193.	Мекк—Чайковскому	»	»	20	440
194.	» »	»	»	20	443
195.	» »	»	»	22	443

196.	Чайковский—Мекк	1878 г.	сентября	24	. . .	444
197.	» »	»	»	29	. . .	447
198.	» »	»	»	30	. . .	447
199.	» »	»	октября	2	. . .	450
200.	Мекк—Чайковскому	»	»	3	. . .	451
201.	Чайковский—Мекк	»	»	7	. . .	452
202.	» »	»	»	10	. . .	454
203.	Мекк—Чайковскому	»	»	13	. . .	455
204.	Чайковский—Мекк	»	»	14	. . .	456
205.	» »	»	»	18	. . .	458
206.	» »	»	»	20	. . .	459
207.	» »	»	»	21	. . .	461
208.	Мекк—Чайковскому	»	»	22	. . .	462
209.	Чайковский—Мекк	»	»	24	. . .	464
210.	» »	»	»	27	. . .	466
211.	» »	»	»	30	. . .	467
212.	Мекк—Чайковскому	»	»	30	. . .	468
213.	» »	»	ноября	4	. . .	471
214.	Чайковский—Мекк	»	»	6	. . .	473
215.	» »	»	»	13	. . .	478
216.	Мекк—Чайковскому	»	»	20	. . .	479
217.	Чайковский—Мекк	»	»	21	. . .	481
218.	Мекк—Чайковскому	»	»	21	. . .	482
219.	Чайковский—Мекк	»	»	21	. . .	483
220.	» »	»	»	22	. . .	485
221.	Мекк—Чайковскому	»	»	23	. . .	487
222.	Чайковский—Мекк	»	»	23	. . .	490
223.	» »	»	»	23	. . .	491
224.	Мекк—Чайковскому	»	»	24	. . .	492
225.	» »	»	»	24	. . .	494
226.	Чайковский—Мекк	»	»	24	. . .	495
227.	Чайковский—Мекк	»	»	25	. . .	495
228.	Мекк—Чайковскому	»	»	26	. . .	497
229.	Чайковский—Мекк	»	»	26	. . .	498
230.	» »	»	»	26	. . .	499
231.	» »	»	»	26	. . .	499
232.	» »	»	»	26	. . .	500
233.	» »	»	»	27—28	. . .	501
234.	Мекк—Чайковскому	»	»	28	. . .	505
235.	Чайковский—Мекк	»	»	28	. . .	508
236.	Мекк—Чайковскому	»	»	29	. . .	509
237.	Чайковский—Мекк	»	»	29	. . .	510
238.	» »	»	»	29	. . .	511
239.	Мекк—Чайковскому	»	»	30	. . .	512
240.	Чайковский—Мекк	»	»	30	. . .	515
241.	» »	»	»	30	. . .	515
242.	Мекк—Чайковскому	»	декабря	1	. . .	517
243.	Чайковский—Мекк	»	»	1	. . .	519
244.	» »	»	»	1	. . .	519
245.	Мекк—Чайковскому	»	»	2	. . .	519
246.	» »	»	»	2	. . .	520
247.	Чайковский—Мекк	»	»	2	. . .	520
248.	» »	»	»	2	. . .	523
249.	Мекк—Чайковскому	»	»	3	. . .	523
250.	Чайковский—Мекк	»	»	3	. . .	524

1766778
1738150 Нат. Яв...
АБУК №
Р. 60 к.
кв. № 01201
ЛЕНОКОГИ
НМБ
Р. 15 0 к.
3 в 8
21
М-03